А.И.
КУПРИН

ГОЛОС
ОТТУДА
1919–1934

«СОГЛАСИЕ»

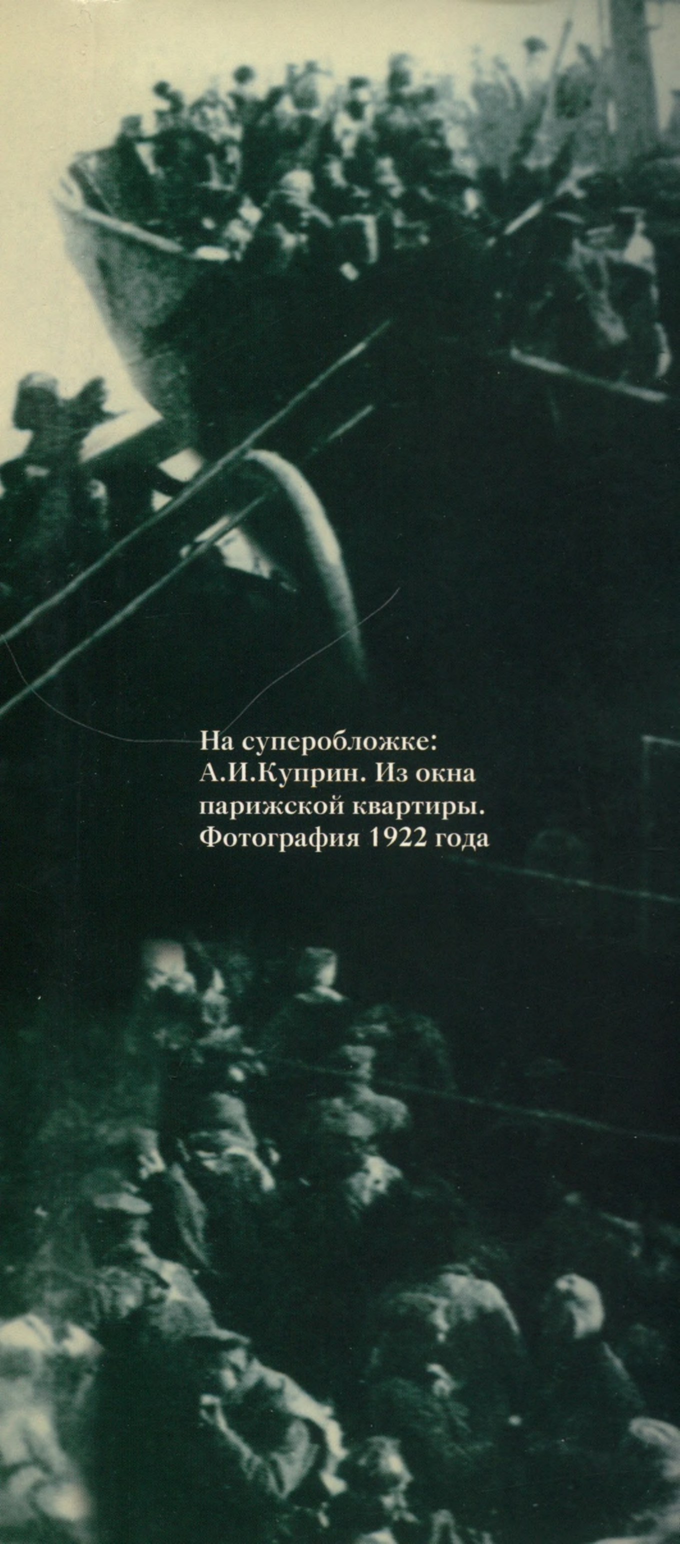
А.И.КУПРИН



ГОЛОС ОТТУДА

1919–1934

«СОГЛАСИЕ»

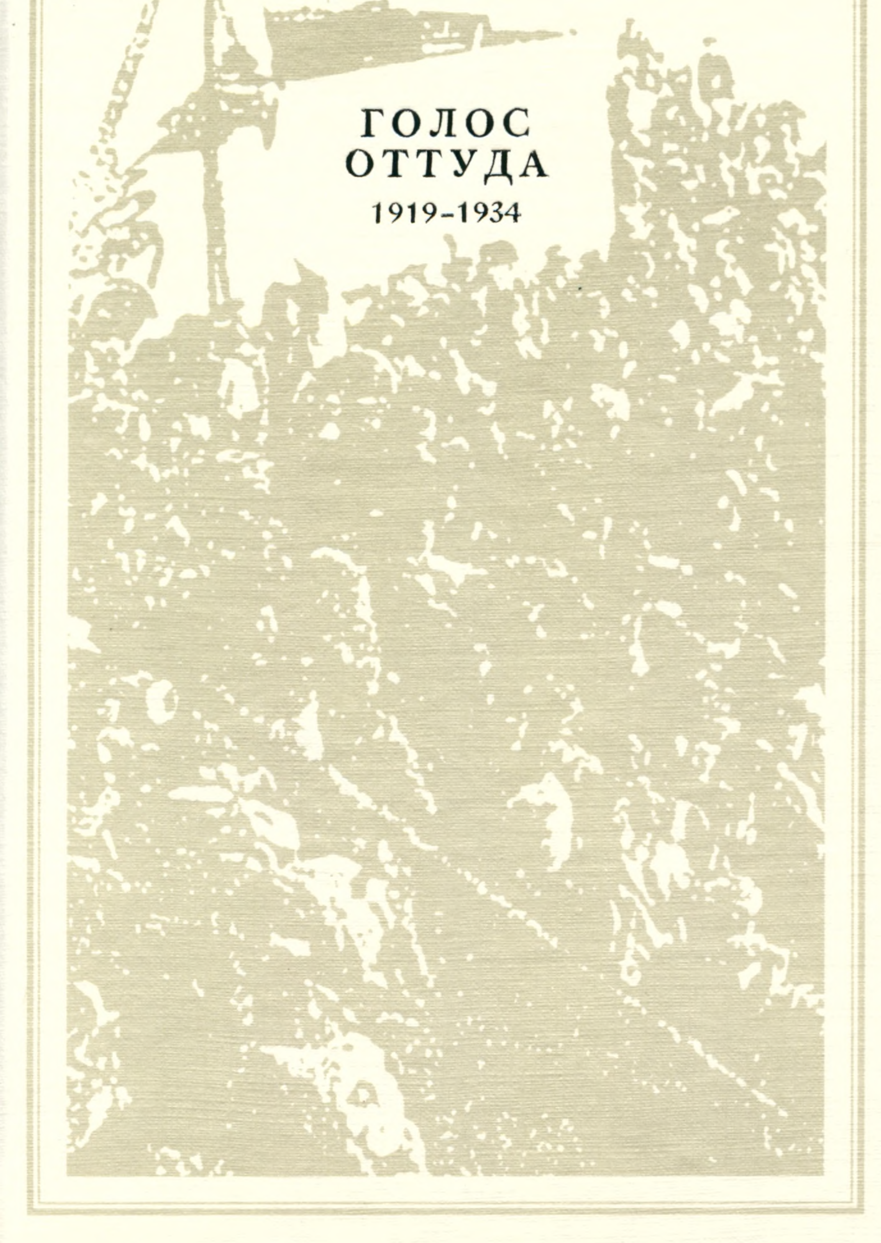


На суперобложке:
А.И.Куприн. Из окна
парижской квартиры.
Фотография 1922 года

А.И.КУПРИН

ГОЛОС ОТТУДА

1919–1934





А.И.Куприн

ДОСТОЯНИЕ
РОССИИ

*Федеральная
программа книгоиздания
России*

А.И.КУПРИН



А.И.Куприн после призыва из запаса в 1917 г.
в форме поручика

А.И.КУПРИН

ГОЛОС ОТТУДА

1919–1934

Рассказы

Очерки

Воспоминания

Фельетоны

Статьи

Литературные портреты

Некрологи

Заметки

Москва
«СОГЛАСИЕ»
1999

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 92

Руководитель программы «Согласие»
В.В.Михальский

Составление, вступительная статья, примечания
О.С.Фигурновой

Редактор
В.П.Кочетов

Художник
С.А.Стулов

СОГЛАСИЕ®
Издательство является единственным владельцем
настоящего названия в качестве товарного знака
и знака обслуживания. Свидетельство № 165848
Российского агентства по патентам и товарным знакам

ISBN 5-86884-070-4

ЧЕТВЕРТАЯ ЖИЗНЬ КУПРИНА

«Все мы переживаем теперь четвертую жизнь. Первая протекала когда-то в России широко и беспечно, вторая, тревожная и глухая, – пришла с первых дней войны, третья – жалкое подобие жизни, которую мы влачили при большевиках, четвертая – эмигрантские серые дни...» – писал в декабре 1924 года Саша Черный, подводя грустный итог шести годам, типичным для большинства русских, оказавшихся после 1917 года далеко на чужбине[1]. В том же 1924 году исполнялось тридцать пять лет творческой деятельности одного из самых знаменитых прозаиков предреволюционных десятилетий – Александра Ивановича Куприна.

В конце октября 1919 года Куприн в обозе разбитой Северо-Западной армии покинул Россию. 31 мая 1937 года в скором поезде «Париж–Москва» он вернулся на родину, которая к тому времени стала называться Советским Союзом. В этом промежутке спрессованы семнадцать с лишним лет скитаний: Эстония, Финляндия, Франция. «Считая моими последовательными этапами Гатчину, Ямбург, Нарву, Ревель, я твердо убедился, что чем глубже тыл, тем жить в нем оскорбительнее, тяжелее, гаже, непереноснее», – писал Куприн в мае 1921 года своему эстонскому корреспонденту В. Е. Гущику[2].

Среди причин, побудивших Куприна оставить Гатчину и примкнуть к отступающей Северо-Западной армии Юденича, следует выделить две «роковые», пренебрежение

---

[1] Русская газета. 1924. 20 декабря. № 204 (Публикация на странице «Александр Иванович Куприн»).

[2] Страницы живой истории: Неизвестные письма А. И. Куприна из Парижа в Таллинн / Публ. Р. Каэра // Радуга. 1987. № 6. С. 71.

коими, по мнению писателя, ставило под угрозу его собственную жизнь и жизнь его семьи. В 1920 году редактор гельсингфорской газеты «Новая русская жизнь» Ю.А.Григорков, повествуя (возможно, со слов самого Куприна) о последних гатчинских неделях писателя, как прямую речь приводит следующие слова Куприна: «На допросе ему был задан вопрос: признает ли он советскую власть. – Признаю, – ответил писатель, – как же можно ее не признавать. А вот если вы меня спросите, уважаю ли я ее, то это другое дело. – Ответ этот так не понравился большевикам, что они, как говорят, собирались его расстрелять»[1]. К этому свидетельству Григоркова необходимо прибавить и сохранившийся в «семейной хронике» Куприных эпизод, позже описанный самим Куприным в «Куполе Св. Исаакия Далматского» и включенный его дочерью Ксенией в книгу воспоминаний: «Вскоре (лето 1919 года. – *О.Ф.*) отец натолкнулся на человеческую подлость. Некий провокатор стал уверять отца, что тот якобы внесен в список расстрела... Отец не только безоговорочно поверил, не проверив, этому, но и долго еще продолжал верить, и я не раз слышала от него впоследствии, что возврат на родину будет ему стоить жизни»[2].

В последних числах октября А.И.Куприн как офицер запаса и официальный редактор армейской газеты «Приневский край» (орган генерала Юденича) покидает Гатчину. Прифронтовые районы, Ямбург и Нарву вплоть до Ревеля он прошел, не расставаясь с допотопным печатным станком, служившим ему весь девятнадцатидневный период военного корреспондентства. «Этого верблюда мы таскали с собою... Разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы. Вертеть колеса, да еще дважды в день – занятие нелегкое» («Три года»). Оказавшись с откатившейся волной Северо-Западной армии в начале ноября 1919 года в Ревеле, Куприн около месяца был вынужден ждать финской визы. В это время его публикации появляются на страницах местной русской газеты «Свобода России». Гельсингфорский период жизни Куприна (конец ноября 1919 – июнь 1920 г.) – начало его плодотворной деятельности как крупнейшего писателя-публициста русского зарубежья. Здесь за шесть месяцев Куприным было написано свыше семидесяти злободневных

---

[1] Григорков Ю.А. Александр Иванович Куприн: К 50-летию со дня рождения. Гельсингфорс, 1920. С. 6.

[2] Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1979. С. 104.

публицистических очерков и статей! Ведущая газета русской эмиграции в Финляндии «Новая русская жизнь» раскинулась почти по-походному. «Она, — как позднее вспоминал писатель, — вся помещалась в двух чуланчиках: и наборная, и типография, и корректорская, и редакция» («Три года»). В 1920 году в Гельсингфорсе в издательстве «Библион» выходит первый «эмигрантский» сборник рассказов Куприна «Звезда Соломона». Казалось бы, все шло к тому, что финская земля станет прочным прибежищем писателя. Но в том же 1920 году неожиданно рушатся все его планы относительно жизни и работы в непосредственной близи от «колючей проволоки». «Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами... Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага... Но я, русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке...» — напишет Куприн в своем последнем из Гельсингфорса письме И.Е.Репину[1]. Предложение Бунина обосноваться по-соседски в Париже определило его выбор.

26 июня в числе пассажиров парохода «Австрия» (рейс Гельсингфорс–Лондон) Куприн навсегда покидает Финляндию. Два дня пребывания писателя в Англии никаких существенных следов в жизни русских «островитян» не оставили. Но сама Англия, в частности ее политика относительно Советской России, с тех пор становится объектом пристального внимания Куприна-публициста (статьи «Неизвестный солдат», «Два путешественника», «Предел», «С душком» и др.).

4 июля 1920 года Куприн с семьей приехал на постоянное жительство в Париж. С конца июля его первые публицистические статьи начинают появляться на страницах бурцевской газеты «Общее дело». «В нем («Общем деле». — *О.Ф.*), — скажет Куприн в 1926 году, в период временного прекращения издания, — до самого конца остались лишь настоящие журналисты. Бездарные словоблуды и полуграмотные ловкачи убежали, как крысы с корабля, при первых же неблагоприятных признаках» («Три года»). Вопреки свидетельству дочери писателя, что «Куприн всегда плохо разбирался в политике, был в ней наивным дилетантом»[2], следует сказать, что во Францию писа-

[1] Цит. по кн.: Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 114.
[2] Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 150.

тель приехал уже с четко сложившимися, дифференцированными политическими симпатиями и антипатиями. Его первые публикации в «Общем деле» — статья «Генерал П.Н.Врангель» и цикл очерков «Русские коммунисты» — работа зрелого публициста, человека, скорее искушенного в политике, чем новичка-дилетанта.

В 1926 году, подводя итоги своей семилетней жизни вне России, Куприн (в который раз!) на страницах «Русской газеты» четко обозначит свое политическое кредо: «печатная борьба с большевизмом, борьба прямая и открытая, без заигрывания, уверток и задних лазеек на всякий грядущий случай» («Три года»).

Среди написанного Куприным в эмиграции многое уже хорошо известно отечественному читателю — прежде всего, романы «Юнкера» (1933), «Жанета» (1934). Годы гласности открыли нам и «Купол Св. Исаакия Далматского» (1928)[1] — трагическую хронику Северо-Западной армии, летописцем которой Куприн по праву себя называл. Тем не менее за пределами этих изданий остался громадный пласт — сотни произведений писателя, которые НИКОГДА не были собраны в книги ни самим автором, ни его посмертными исследователями и публикаторами. С удивительной небрежностью отнеслась к публицистическому наследию писателя и «поздняя» эмигрантская критика. Так, в своей монографии «Русская литература в изгнании» Глеб Струве отводит публицистике Куприна всего несколько строк, ограничившись (далеко не полным) перечнем периодических изданий, в которых сотрудничал Куприн.

С первых дней эмиграции, сменив, по крылатому выражению Саши Черного, «кисть художника на шпагу публициста», Куприн впервые заявил о себе как яростный антибольшевистский публицист. Такая резкая смена жанра обусловлена совокупностью причин: активизировавшимся в период гражданской войны «политическим темпераментом» писателя, невостребованностью художественной литературы в эти годы, острым безденежьем, вызванным в том числе и низкими гонорарами новообразованных периодических изданий, сотрудником которых с 1919 года числил себя Куприн.

«Приневский край» (с 19 октября по 2 ноября 1919); «Свобода России» (ноябрь 1919); «Новая русская жизнь»

[1] Куприн А.И. Купол Св. Исаакия Далматского. Извощик Петр: Эмигрантские произведения. М., 1991.

(с 3 января 1920 по 18 сентября 1921); «Общее дело» (с 23 июля 1920 по 7 апреля 1922); «Русская газета» (с 12 ноября 1923 по 31 мая 1925); «Русское время» (с 12 июля 1925 по 11 ноября 1928) – эти «этапы» связаны одной прямой линией: непримиримым антибольшевистским пафосом Куприна-публициста, напряженно следящего за хроникой политической жизни в России 1919–1928 годов. «Я ежедневно вижусь с десятками людей... И каждый из них... говорит одно и то же: непременно надо, чтобы хоть какой-нибудь писатель, живший под безумным игом большевизма, описал ярко и беспристрастно все его кровавые гнусности, описал с холодной точностью летописца, с цифрами в руках», – писал Куприн в ноябре 1919 года («Там»). Этот постоянный читательский укор часто вынуждал его откладывать работу над крупными произведениями и браться за перо для очередного злободневного публицистического памфлета, фельетона, статьи...

«Я только что и способен изрыгать публицистическую блевотину, перемешанную с желчью, кровью и бессильными не то слезами, не то соплями. Видели ли вы когда-нибудь, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана? Лишенная земли, она висит и плывет в воздухе, бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой... Это – я», – писал он 10 августа 1921 года своему близкому другу по Гатчине и ученику В. Е. Гущику[1].

Куприн-писатель явно не жаловал Куприна-публициста. Считая труд последнего литературной поденщиной, то есть работой черной, мучительной и неблагодарной, он за долгие годы вынужденной эмиграции все более срастался с ней, не имея ни права, ни, подчас, возможности бросить ее. Зная истинную цену этой поденной работе, Саша Черный, приветствуя Куприна в связи с 35-летием творческой деятельности, писал ему: «Когда-нибудь это зачтется Вам выше многих каллиграфически-безупречных беллетристических страниц...»[2]

Перед нами публицистика Куприна, предсказавшая наступление и семидесятилетнее торжество коммунистического «земного рая» с его траурной символикой и культом мертвого тела в центре страны. Современники, близко знавшие писателя, отмечали в нем редкий дар бессозна-

---

[1] Страницы живой истории: Неизвестные письма Куприна из Парижа в Таллинн. С. 75.

[2] Русская газета. 1924. 20 декабря. № 204.

тельного провидчества, ранее связывавшегося в русской литературе с именами Пушкина, Гоголя, Достоевского. «Оправившись от большевизма, выработав в крови стойкий иммунитет, Россия уже никогда не свернет больше на путь коммунистических утопий...» («Ориентация»). Многие публицистические очерки Куприна, мыслимые им самим как «моментальная» фотография и менее всего ценимые в собственном творчестве, по мере удаления в прошлое, обретали ореол сбывшегося пророчества («Ориентация», «Их строительство», «Пророчество первое»); и в сегодняшней политической разноголосице вполне серьезно звучат следующие фразы: «Нам чтобы долой всех коммунистов... но чтобы были советы и была республика, а над ней чтобы был царь, да такой, что как по столу кулаком треснет, то чтобы у всех в мире ноги затряслись» («Разные взгляды»).

Если до революции Куприн примыкал к антиправительственному, демократическому литературному лагерю, то события восемнадцатого и девятнадцатого годов, очевидцем которых писателю суждено было стать, в короткий срок сделали из него апологета свергнутой царской династии. И если сам Куприн считал, что кличку «монархист» он лишь приобрел, а эпитеты «черносотенец» и «мракобес» относил на счет «уличных мальчишек» левого журнализма, тем не менее, резкая смена политических симпатий Куприна очевидна. Это подтверждается и тем фактом, что ни в «Последних новостях», газете, издаваемой лидером эмигрантов-республиканцев П.Н.Милюковым, ни в «Днях», органе А.Ф.Керенского, Куприн не участвовал, более того – вел с этими изданиями ожесточенную полемику («Беженская школа», «Старый начетчик»). С 1924 года, времени провозглашения великого князя Николая Николаевича «национальным вождем», Куприн несколько лет активно поддерживал его претензии на политическое руководство русской эмиграцией. И в этой связи вполне закономерно сотрудничество Куприна в монархической газете «Русское время», генетически связанной с «Новым временем» Суворина, о сотрудничестве с которым до 1917 года у Куприна не могло быть и речи.

И все же не в текущих политических оценках главная сила Куприна. Самым значительным из собранного в этой книге являются воспоминания писателя о людях, которых он видел, и книгах, которые читал: император Александр III и Лев Толстой, Леонид Андреев и Лев Троцкий, Максим Горь-

кий и Зиновий Пешков, Гумилев и Савинков, Ленин и Колчак, Плевицкая и Арцыбашев, король Югославии Александр и шахматный король Александр Алехин...

Ностальгической нотой по ушедшей России, неповторимому московскому быту насыщены прозаические наброски Куприна: «Красное крыльцо», «Московская Пасха», «Родина», «Пасхальные колокола», «Голос оттуда», сложившиеся позднее в его знаменитый роман «Юнкера». В рассказах «Кража», «Обыск», «Допрос», тематически примыкающих к повести «Купол Св. Исаакия Далматского», писатель передает революционный быт 1918–1919 годов, общую картину которого ему так и не удалось воссоздать.

Говорить о жизни Куприна в русском зарубежье, не представляя отчетливо общего литературного пространства, в котором причудливо сплетались судьбы писателей-эмигрантов, достаточно сложно. Ведь Куприн еще с начала XX века, будучи широко известным русским писателем, знал всех, и все знали его. В эмиграции ситуация резко изменилась: все прежние литературные и личные отношения стали восприниматься под углом свершившейся в России катастрофы. Так, долгие годы приятельства Куприна с Горьким сменились в эмиграции яростной полемикой с ним и уничтожающими оценками. «Грубость таланта, в соединении с эгоистической грубостью и злостью натуры...» («Максим Горький»); «Знаменитый русский путешественник, полиглот и гастроном Максим Горький... со своим неотъемлемым безвкусием и куцым мышлением... однажды, с высоты птичьего полета, покрыл черным словом Нью-Йорк и Америку... проездом через Францию грубо обложил и эту страну... не упустил случая обгадить и свою безответную, несчастную Родину» («Рубец»). Покойный Леонид Андреев, дружба с которым была прервана в результате грубой стычки, вспыхнувшей из-за болезненной ревности Куприна, превращается под пером писателя в отвергнутого пророка – глашатая «белой идеи», вмещающего в себя «ум, душу и сердце России» («Памяти Леонида Андреева. “Спасите наши души!”»). Автор скандальных эротических бестселлеров, а впоследствии идеолог эмигрантской непримиримости и антибольшевистского активизма Арцыбашев становится для Куприна одним из святых «белого пантеона». «Брать с него пример стойкости я считаю необходимым и для себя, и для очень многих» («Роковой конь»); «Его прямая и мужественная любовь к родине сделали из него одного из самых непримиримых,

самых страстных, самых смелых врагов большевизма» («Венок на могилу М.П.Арцыбашева»).

Особняком в жизни Куприна всегда стояли два его знаменитых соотечественника, два Ивана — Иван Алексеевич Бунин и Иван Сергеевич Шмелев. Духовно и политически достаточно близкие друг другу, эти писатели в первые годы эмиграции были связаны тесными дружескими отношениями. Трещина образовалась, когда обнаружилось, что в 1922 году все трое включены в жесткую борьбу за присуждение Нобелевской премии. Трагически воспринял поведение друзей-литераторов будущий Нобелевский лауреат болезненно-самолюбивый Бунин. Удивительно, но первую весть, полученную Буниным о присуждении ему Нобелевской премии, судьба странным образом соединила с именем Куприна. О том, что он «выиграл» лауреатство, Бунин узнает 9 ноября 1933 года в синема на просмотре «веселой глупости под названием “Бэби”», где главную роль «играла хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича»[1]. После этого известия все внешние атрибуты их старой дружбы — объятия и шутливые прозвища — были как будто сохранены. Об этом свидетельствует эпизод встречи писателей в редакции газеты «Возрождение»:

«*Бунин:* Милый, я не виноват. Прости. Счастье... Почему я, а не ты? Я уже и иностранцам говорил — есть достойнейший...

Куприн: Я за тебя рад... Конечно, у всех праздник, а мне не то дорого, что праздник, а что мой Вася — именинник» (излюбленными прозвищами писателей были «Вася» и «Сережа»)[2].

Но за объятиями, поздравлениями и милыми шутками уже мерцал огонек совсем нешуточной обиды Куприна на своего литературного коллегу и «баловня судьбы», который, по мнению Куприна, ничуть не превосходил его талантом. Раздражение, охватившее Куприна, вылилось в резкую, без полутонов, эпиграмму, сохранившуюся в архиве писателя:

К ПОЭТУ

На Ив. Ал. Б<унина>

Поэт, наивен твой обман.
К чему тебе прикидываться Фетом.

---

[1] Бунин И.А. Нобелевские дни // Бунин И.А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1988. С. 299.

[2] И.А.Бунин в «Возрождении» // Возрождение. 1933. 17 ноября. № 3090.

Известно всем, что просто ты Иван,
Да кстати и дурак при этом.[1]

Тем же скрытым чувством обиды на Бунина пропитана и написанная в «нобелевские дни» юбилейная статья о другом Иване — Шмелеве, которого, не щадя болезненного самолюбия Бунина, Куприн намеренно называет «последним и единственным русским писателем, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка» («Иван Сергеевич Шмелев»).

Еще в середине 1920-х годов в эмиграции за Куприным прочно сохранялся авторитет писателя «первого ряда», его статус «мэтра» классической русской словесности был непоколебим. Литературная активность Куприна подтверждалась также его сотрудничеством во многих периодических изданиях. С 1920 по 1929 год в русском зарубежье выходят пять его авторских сборников. О широкой популярности фигуры Куприна в среде русской эмиграции говорит и тот факт, что на адрес писателя, отмечавшего в июне 1924 года 35-летие творческой деятельности, поступило свыше 500 (!) поздравлений. Его приветствовали: правление русских журналистов, Литературно-артистическое общество, Клуб русских писателей, офицеры Талабского полка, правление общества библиотеки им. И.С.Тургенева, правление Русского университета, Русская Академическая группа и многие другие общества и организации. П.Пильский, характеризуя парижский период жизни Куприна, с большой долей объективности писал: «Жить было можно. Куприн... писал, работал во многих газетах... Словом, нужды не было. Но все постепенно съеживалось и угасало, закрывались издательства, суживалось поле деятельности, были отменены многие субсидии, и в последнее время Куприн получал ежемесячное пособие только от французского Министерства иностранных дел... Но эти суммы не обеспечивали. Пришлось сначала сжиматься, потом нуждаться, наконец, почти голодать... Болезни довершили все»[2].

Последние годы Куприна на чужбине были выстужены болезнью, острой нуждой, отчаянием. Европейское культурное древо отторгло, как привитой к стволу дичок, язычески загадочную, хаотичную Русь Куприна. «Для французов мы — папуасская литература, курьез. Но курьез уже

---

[1] РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 122.

[2] Пильский П. О Куприне // Сегодня (Рига). 1937. 6 июня. № 153.

приелся...»[1] Живя в Париже, писатель постепенно лишался всего жизненно необходимого: сюжетов, вдохновения, читателя и попросту сносных условий существования. В отчаянную минуту, в 1935 году, он ухватился было за предложение Голливуда приспособить для кинематографа свою некогда скандально известную «Яму». Предприимчивые киноделыцы, предложив символический гонорар за сценарий, решили попробовать и самого писателя на роль... старого пьяницы. Нужно ли говорить, что больше попыток экранизации своих произведений Куприн не делал. Но и другие его «коммерческие» начинания — переплетная мастерская, книжный и писчебумажный магазинчик, русская библиотека — просуществовали недолго. «Кляну себя, что про запас не изучил ни одного прикладного искусства, или хоть ремесла. Не кормит паршивая беллетристика...»[2] Проекты прогорали, не хватало денег на крохотную квартирку из двух комнат. Вставал вопрос о дальнейшем физическом выживании. Вопреки его собственным словам 1926 года: «...я сам перед своей совестью принял присягу, которой не изменю до конца дней моих ни ради лести, ни корысти, ни благ земных, ни родства, ни соблазна умереть на родине» («Не по месту»), — постепенно крепло решение об отъезде в Россию, ставшую советской. Весной 1937 года это решение было принято. В том, что оно не было скоропалительным или подчиненным чужой воле, убеждают следующие слова Куприна: «...если бы в России меня оставили в покое, на какой угодно едальной категории, то я со своей стороны обещал бы не делать никакой политики и “не наводить мораль”»[3].

В начале 1930-х годов Куприн, несмотря на прогрессирующую болезнь, пытается вернуться к литературной работе. Хранящиеся в архиве писателя (РГАЛИ) «попытки» мемуарной прозы («Прошлое. Рассказы о том, что я видел, слышал и чувствовал в течение моей пестрой жизни»; «Воспоминания. О журналистах и писателях»), выведенные его изменившимся беспомощно-дрожащим почерком и умещающиеся на одной-двух страничках бумаги, свидетельствуют о том, что Куприн в свои последние парижские годы работал над новой книгой портретов и воспоминаний. Возможно, в нее вошли бы и фрагменты из мемуар-

---

1 Гущик В.Е. Куприн уехал // Поток Евразии. Книга первая. Таллинн, 1938. С. 106.
2 Там же.
3 Там же. С. 107.

ных очерков, столь щедро рассыпанных и «забытых» им на страницах эмигрантской прессы, но сил для завершения этой работы у писателя уже не оставалось. Ценным документом, свидетельствующим о катастрофическом состоянии здоровья Куприна в середине 1930-х годов (серьезное нарушение мозгового кровообращения, повлекшее за собой ухудшение двигательной способности и резкую потерю зрения), являются сохранившиеся в пересказе Пильского воспоминания И.С.Шмелева, которого Куприны посетили в 1936 году:

«Был подан чай, шел не очень веселый разговор, но ничего: Куприн сидел, слушал, что-то отвечал... Но вдруг Куприн побледнел. Голова его склонилась на грудь. На лбу выступили крупные капли пота. Шмелев и Елизавета Морицовна (жена Куприна. – *О.Ф.*) всполошились: сердце остановилось, пульса не было. Была минута, когда и Шмелев, и Елизавета Морицовна обмерли: казалось, Куприну пришел конец. Шмелев дал ему лавровишневых капель. Но они действуют не сразу, а тут была дорога каждая секунда. Тогда Шмелев налил рюмку рома и влил ее в горло Куприна. Правда, это не было медицинское средство, но зато скородействующее. Во что бы то ни стало надо было заставить пульс биться. И он заработал. Куприн открыл глаза... С трудом выдавливая улыбку, Куприн постарался обратить все происшедшее в шутку:

– А вкусный ром, – прошептал он, – нельзя ли еще?»[1]

Совсем по-другому завершился визит Куприна к художнику Ив. Билибину, в том же 1936 году принявшему советское гражданство и возвращавшемуся в СССР. Именно тогда, в декабре 1936 года, у Куприна возникла мысль о своем отъезде в Союз. Билибин сообщил советскому послу Потемкину о желании Куприных вернуться на родину, за этим последовали приглашение в посольство и несколько тайных визитов туда, организованных дочерью Куприна Ксенией. Только единственный вопрос мучил писателя, и он долго не решался задать его советскому послу: можно ли взять в СССР его любимую кошечку? (Речь шла о Ю-ю, названной в честь знаменитой Ю-ю, героини одноименного рассказа Куприна.) О последнем парижском визите Куприна, со слов Дмитрия Леховича, биографа бывшего командующего Добровольческой армией, известно следующее: «Весной 1937 года он пришел к Деникиным. Ничего не говоря, прошел в

[1] Пильский П. О Куприне // Сегодня. 1937. 6 июня. № 153.

комнату Антона Ивановича, сел на стул, долго молча смотрел на генерала и вдруг заплакал, как плачут маленькие дети. Дверь в комнату закрылась. Слышен был только голос Куприна и голос Деникина. Через некоторое время Антон Иванович проводил своего гостя до лестницы, а на вопрос жены, в чем дело, коротко ответил: "Собирается возвращаться в Россию". Антон Иванович скорбел о нем, но его не осуждал»[1].

А через несколько недель Елизавета Морицовна и Ю-ю-вторая увозили Куприна в Москву. На Северном вокзале (при твердом уговоре, что Ксения едет следом, не подозревая, что будет обманут) он почему-то не выпускал из рук ладоней дочери и уже на ходу поезда, высунувшись из окна, целуя их, быстро приговаривал: «Лапушки мои, лапушки мои, лапушки...»

Творческий путь писателя был закончен. Ни одной строки, написанной Куприным по возвращении в Россию, не существует. Тексты, появившиеся за его подписью в советских газетах, – результат «творчества» окружавших Куприна советских журналистов, заполучивших на изготовленные ими заведомые фальсификации подпись-автограф писателя.

Уже первые минуты пребывания Куприна на родной земле произвели на встречавших его советских литераторов самое гнетущее впечатление:

«Группу встречавших возглавлял А.А.Фадеев. До прихода поезда он сказал журналисту Василию Регинину, старому знакомому Куприна, чтобы тот первым подошел к Куприну, когда он выйдет из вагона. Так и сделали. Регинин с объятиями и приветствиями бросился к Куприну. Тот с каменным лицом выговорил:

– А вы кто такой?

Тогда Фадеев выдвинулся вперед и обратился к Куприну с приветствием:

– Дорогой Александр Иванович! Поздравляю вас с возвращением на родину!

Результат был такой же. Куприн тем же безжизненным голосом спросил:

– А вы кто такой?

После этого никто ничего не говорил. Вышли на площадь, посадили Куприна в машину и разъехались»[2].

---

[1] Лехович Д. Белые против красных. М., 1992. С. 294–295.

[2] Храбровицкий А.В. Куприн в 1937 году // Минувшее. Париж, 1988. Т. 5. С. 357–358.

Жизнь Куприна в Советской России до июня 1938 года, когда выяснилось, что писатель смертельно болен, вместила в себя и трибуну мавзолея (почетный гость на ноябрьском параде 1937 года), и нашествие с «маршем и песнями» дивизии красноармейцев, цирк, цыганский театр, кино... Видел ли, осознавал ли Куприн все это? В своих мемуарах, написанных в 1970-е годы, уже после возвращения в Советский Союз, Ксения Куприна, ссылаясь на воспоминания писателя Н.Д. Телешова, «цитирует» слова Куприна, сказанные им за год до кончины: «Меня, великого грешника перед родиной, сама родина простила. Сыны народа — сама армия меня простила. И я, наконец, нашел покой»[1]. Оставим на совести мемуаристов свойства их гибкой памяти. Существует искусство вспоминать. Вопрос лишь в том: мог ли Куприн, к тому времени с трудом произносивший отдельные фразы и самые простые предложения, самостоятельно составить эту покаянную, синтаксически достаточно сложную конструкцию, стиль и лексика которой удивительно напоминают сталинские «показательные» процессы тех лет? И если уж искать действительно документальные свидетельства последних месяцев и дней писателя, нельзя пройти мимо дневника жены Куприна, Елизаветы Морицовны, относящегося к 1938 году. Здесь, в одной из записей, мы находим то, что на языке христианского катехизиса принято называть покаянием. Елизаветой Морицовной зафиксированы последние слова Куприна, сказанные им уже по ту сторону земной жизни. Приводим их полностью: «Перекрестился и говорит: “Прочитай мне «Отче наш» и «Богородицу», — помолился и всплакнул. — Чем же я болен? Что же случилось? Не оставляй меня”».

25 августа 1938 года знаменитого писателя земли русской и мученически исстрадавшегося человека Александра Ивановича Куприна не стало.

О. Фигурнова

---

[1] Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 259.



Рассказы

—

Очерки

—

Воспоминания



Родина

Странными становятся вещи, явления и слова, если в них начнешь вникать глубоко и всматриваться настойчиво. Всегда показываются новые грани и оттенки.

Вот понятие — Родина. Каким оно может быть зверино-узеньким и до какой безмерной, всепоглощающей, самоотверженной широты оно может вырасти.

Я знал любовь к ней в самой примитивной форме — в образе ностальгии, болезни, от которой умирают дикари и чахнут обезьяны. С трехлетнего возраста до двадцатилетнего я — москвич. Летом каждый год наша семья уезжала на дачу: в Петровский парк, в Химки, в Богородское, в Петровско-Разумовское, в Раменское, в Сокольники. И, живя в зелени, я так страстно тосковал по камням Москвы, что настоятельнейшею потребностью — потребностью, которую безмолвно и чутко понимала моя мать, — было для меня хоть раз в неделю побывать в городе, потолкаться по его жарким, пыльным улицам, понюхать его известку, горячий асфальт и малярную краску, послушать его железный и каменный грохот.

Однажды — мы тогда жили в Химках, 21-я верста по Николаевской железной дороге — случилось так, что в доме деньги были в обрез. Я пошел в Москву пешком, переночевал у знакомого причетника и пешком вернулся назад, совсем голодный, но с душою насыщенной, отдохнувшей и удовлетворенной.

Но особенно жестокие размеры приняла эта яростная «тоска по месту» тогда, когда судьба швырнула меня, новоиспеченного подпоручика, в самую глушь Юго-Западного края. Как нестерпимо были тяжелы первые дни и недели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, суровый, бледный, скучный быт чернозем-

ного захолустья... А главное — и это всего острее чувствовалось — дикий, ломаный язык, возмутительная смесь языков русского, малорусского, польского и молдавского.

Днем еще кое-как терпелось: застилалась жгучая тоска службой, необходимыми визитами, обедом и ужином в собрании. Но были мучительны ночи. Всегда снилось одно и то же: Москва, церковь Покрова на Пресне, Кудринская Садовая, Никитские — Малая и Большая, Новинский бульвар...

И всегда во сне было чувство, что этого больше никогда я не увижу: конец, разлука, почти смерть. Просыпаюсь от своих рыданий. Подушка — хоть выжми... Но крепился. Никому об этой слабости не рассказывал.

Да и как было рассказывать? По долгу службы мне нередко приходилось производить дознания о случаях побега молодых солдат со службы. Вряд ли кто-нибудь из моих сослуживцев чувствовал так глубоко всю невинность их преступления против присяги. Разве и меня не тянуло хоть на минуточку удрать в Москву, поглядеть ее, понюхать? Но я уже был во власти дисциплины. И я был начальник.

Однако эти жестокие чувства прошли. Что не проходит со временем? Потом я изъездил, обошел, обмерил почти всю среднюю Россию. Улеглось «чувство к месту».

А еще потом я побывал за границей. Оказалось, что моя ностальгия *только* расширилась. Была всегда нерушимая, крепкая душевная основа: «А все-таки там — дом. Захочу — и поеду». Но наступал переломный момент. Большая Медведица. Вечером увидишь ее, проведешь от двух крайних правых звезд линию вверх, упрешься почти в Полярную Звезду. Север. И потянет, потянет в Россию, не в Москву, а в Россию. Запихана кое-как в чемодан всякая хурда-мурда, третий класс, и... езда.

А теперь болезнь потеряла остроту и стала хронической. Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но всё точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, ту-

пая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру.

Красное крыльцо

Это было в один из чудесных солнечных, холодных дней конца октября 1888 года. Москва ждала в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням, после железнодорожного крушения на станции Борки.

По велению государя, встречавшие его войска московского гарнизона были выведены без оружия. Они стояли шпалерами от Курского вокзала до Кремля.

А в Кремле, от Золотой решетки до Красного крыльца, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого красным сукном, стояли мы, четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища, четыреста юношей в возрасте восемнадцати-двадцати лет. Юнкер четвертой роты Александр Куприн стоит в первой шеренге: царь пройдет мимо него в пяти шагах, ясно видный, почти осязаемый.

Ждем долго. В старину выводили на смотры и на парады часа за два. Теперь же случай выдался совсем необычайный. Еще в училище каждого из нас осматривали как свои портупеи-юнкера, так и ротные офицеры, осматривали с мелочной заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый большой бал. И теперь, в Кремле, нет-нет да пройдет курсовой офицер, одернет складку мундира, поправит поясную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет больше на правый глаз круглую барашковую шапку с сияющим двуглавым орлом.

Ожидание не томит. Все мы радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми: такими они стали свежими, ясными и значительными, разрумянившись и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове — как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенны, так нетер-

пеливо волнуют эти счастливые минуты, что вдруг перегоришь в ожидании, вдруг не хватит чего-то внутри тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Мы выпрямляемся и подтягиваемся без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа, далеко-далеко, раздается и нарастает особый, до сих пор не различаемый шум, подобный гулу леса под ветром или прибою невидимого моря...

Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минутку «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней... Так без конца. Так бывает всегда на смотрах. Но на этот раз никто из нас не обижается.

Но как описать это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом? Какими словами передать это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов? Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая, старая, царева Москва!

И когда в этот ликующий звуковой ураган вплетает свои легкие веселые струи военная музыка, то кажется, что твой слух уже пресыщен, что он не вмещает больше.

Но вот заиграл на правом фланге и наш знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных сквозных воротах, высясь над толпой, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величественен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что я чувствую, как гнется под его ногами массивный дуб помоста.

Царь все ближе ко мне. Сладкий острый восторг охватывает мою душу и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподымают ежом волосы на голове. Я с чудесной ясностью вижу лицо Государя, его рыжеватую густую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Вижу его глаза, прямо и ласково устремлен-

ные в мои. Мне кажется, что в течение минуты наши взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как сияющий золотой поток, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки не забываемые секунды! Меня точно нет. Я стал невесомым. Я растворился, как пылинка, в одном общем многомиллионном чувстве. И в то же время я постигаю, что вся моя жизнь и воля моей многомиллионной родины собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого я мог бы дотянуться рукою, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого рядом с воздушностью всего моего существа я ощущаю волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного, жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Я знаю, что он всего на год старше меня, но рядом с отцом он кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой стройностью на мгновение пронизывает мое сердце теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью...

Теперь я не упускаю из виду спину государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе не маленькая, но какая изящная! Она быстро кланяется головой в обе стороны. Ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Вижу я еще двух великих княжон. Одна постарше — барышня, другая — почти девочка. Обе в чем-то светлом, у обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища!

Вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех у нас бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью... Души и тела приятно распускаются... Идем домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах:

— Государь все время на меня смотрел, когда проходил. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

– А на меня, пожалуй, целую минуту.

Я же думаю про себя: «Говорите, что хотите, а на меня мой царь глядел, не отрываясь, целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула. Она – божество!»

Розовая жемчужина

Записано по устному рассказу сенатора N

В 1882 году император Александр III посетил со всей своей семьею Москву и навещал с ней поочередно разные учебные заведения. Понятно, ждали его приезда и мы, питомцы лицея имени Цесаревича Николая.

Большой и страшный рубеж отделяет тогдашнее время от нынешнего. Теперешнее поколение и вообразить себе не может тех мыслей и чувств, которые, в ожидании царя, волновали всех нас, в том числе и меня, лицеиста старшего специального класса, а особенно в тот день, когда получилось известие, что к десяти часам государь непременно пожалует в лицей.

Вымылись мы, вычистились и выщеголились, как девицы на первый бал. Всё обдергивали и оглядывали друг дружку. Глядь — пушинка на рукаве — какой ужас! Скорее снять ее, бросить на пол, притоптать ногами. Хорошо, что досмотрели. Ну, а если бы царь заметил? Конечно, ничего бы, по доброте, не сказал, но как огорчительно: катковские меценаты, цвет московской молодежи, и вдруг представляются своему обожаемому монарху... все в пуху и перьях. О, позорище!

Репетировали в последний раз, наскоро, придворный поклон, которому нас еще с младших классов обучал с усердием танцор Императорского московского балета Петр Алексеевич Ермолов. Раз, и два, а третья позиция — спина полусогнута, голова опущена, руки, с приятной округленностью в локтях, свободно свисают вниз... и четыре — не спеша, с достоинством выпрямиться.

Государь приехал во время уроков, обошел все классы, начиная с младших, осиял всех лицеистов величественным взглядом, и оказалось потом, что никто в его присутствии не испытывал страха, а только восторг, крылатый полет души и сладкие мурашки по телу.

Когда же обход кончился, государь выразил желание посмотреть одну из тех комнат, которые у нас полагались на каждого лицеиста старшего класса. Тут между нашим начальствующим персоналом и нами, старшими, произошло некоторое смятение. Побежал взаимный электрический ток: в чью комнату вести государя? Чья лучше? Кто не подведет? И как-то сразу, почти без слова, остановились на Малюхине. Он педант, он чистёхонька. Кто же, как не Малюхин? У него шикарный письменный прибор и портреты. Конечно, Малюхин.

И вот уже слышится впереди знакомый спокойный голос директора:

— Комната лицеиста Малюхина, ваше императорское величество.

Звучный мужественный баритон государя переспрашивал с оттенком какого-то особенного внимания, почти любопытства.

— Как фамилия?

— Ма-лю-хин, ваше императорское величество.

— А! Пусть же Малюхин нас и принимает как хозяин.

Малюхина быстро выдвигают вперед.

Он был юноша умный, серьезный, честолюбивый, с большим запасом находчивости и самообладания. Не спуская глаз с государя, он за своей спиной нажимает ручку, широко распахивает дверь, сам ловко делает шаг назад и шаг в сторону и пропускает вперед государя, склоняясь в таком безукоризненном поклоне, что Петр Алексеевич, если бы видел, заплакал бы от учительского умиления, и произносит очень отчетливо, ясным молодым голосом, лишь слегка дрожащим от счастливого волнения:

— Милости прошу, ваше императорское величество.

Величаво вошел государь, рядом с ним совсем маленькая прелестная государыня, за ними наследник с братьями — Георгием и Михаилом, с сестрами — Ксенией и Ольгой, следом — дворцовый комендант генерал Гессе, наш директор и высшее начальство лицея.

Государь не спеша обвел взором комнату. В ней все блестело свежестью, чистотой и белизной. От

больших деревьев нашего сада легкий зеленоватый оттенок лежал на стенах и на полу. Домашняя старинная икона в правом углу, за нее засунуты вербочки. На столе, в ясеневых рамках, — портреты императора и императрицы, между ними — скромный букетик фиалок, с боков — фотографии отца и матери. А к стене прибит кнопками квадрат бристольского картона с жирной каллиграфической надписью:

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАЛЮХИН
второго старшего

Государь улыбается, должно быть, от удовольствия. Улыбается и государыня своей пленительной улыбкой.

Но за спиной у царской четы происходит что-то странное и совсем неожиданное. На высочайших детей налетел внезапно приступ неудержимой веселости. Один наследник старался изо всех сил сохранить серьезность: прочие суетятся, наклоняются друг к дружке, переглядываются, кивают головами, шепчутся. Слышны только отрывочные, заглушаемые восклицания:

— Мама, Малюхин!.. Папа, Малюхин!.. Миша, Малюхин!.. Оля, гляди, Малюхин!

Государь поворачивается, для того, по-видимому, чтобы лучше рассмотреть библиотечный шкафчик, а над ним, на стене, фехтовальные принадлежности: пару скрещенных рапир, проволочную маску и толстые замшевые перчатки, — и посылает укоризненный взгляд развозившимся детям. Но понапрасну он сдвигает строго свои прекрасные соколиные обсоюженные брови: у него самого искрится смех в золотых глазах. Преувеличенно деловым тоном он спрашивает у лицеиста:

— Вы не из Таврического края родом?

— Из дворян Смоленской губернии, ваше императорское величество.

— Хорошая губерния и славное дворянство, — уверенно говорит царь. — И ваша келья мне очень нравится. Кто в таком порядке держит свою комнату, у того и мысли в голове идут правильно.

Малюхин вновь отвешивает поклон, еще придворнее первого, но лицо его бледно и тревожно. А там, за могучей спиной повелителя шестой части земного шара, ни на секунду не прекращаются сдержанный смех в ладони, возня и быстрый шепот. Государь хмурится, но боится оглянуться назад, чтобы самому не прыснуть смехом.

– Сам Малюхин, живой Малюхин!.. Настоящий Малюхин... Оля, твой Малюхин!

– А-о, скажите... Малюхин, – говорит царь с такой углубленной серьезностью, как будто совещается с лицеистом по важному государственному делу, – скажите, вам не приходилось бывать когда-нибудь в Крыму?

– В прошлом году. Всего неделю. В Ялте, – отвечает уныло Малюхин.

Государь быстро оборачивается.

– Дети! Ольга! – говорит он вполголоса почти грозно, но плечи и грудь у него трясутся и в густой золотой бороде прячется еле подавляемая улыбка. Тогда он говорит решительно и торопливо, чтобы сразу оборвать неловкость положения: – Благодарю вас, Малюхин. Уверен, что из вас выйдет умный и честный слуга родине. А я о вас не забуду. – Он протягивает Малюхину руку и сам жмет руку лицеиста, позабыв на этот раз, от некоторого смущения, соразмерить свою необычайную силу. (Потом Малюхин признавался: «Должно быть, мой святой заступник Николай Угодник помог мне не закричать от боли. Вот так рука!»)

– До свидания, Малюхин, – прибавляет государь, слегка кивает головой и уходит.

На этот раз Малюхин сникает в поклоне, как пустой костюм на веревочке. Как вороны, накидывается начальство на Малюхина и долбит расспросами: бедный юноша ничего не понимает.

По отъезде государя, минут через десять, лицеистам старших классов было приказано собраться в директорском кабинете. Немного времени спустя туда прибыл генерал Гессе. Он подтвердил еще раз, что государь император остался очень доволен лицеем и лицеистами и приказал освободить их от занятий на три дня.

— Но кроме того, — добавил генерал, — государю угодно было поручить мне передать вам несколько его особливых слов, из которых вы сейчас увидите, господа лицеисты, что среди государственных трудов и забот его величество никогда не оставляет отеческим тонким и глубоким вниманием свою верноподданную молодежь. Здесь ли лицеист Малюхин?

Малюхин вышел вперед как приговоренный к смерти.

— Здесь, ваше превосходительство.

— Не волнуйтесь, молодой человек, ничего неприятного для вас не предвидится. Скажите, пожалуйста, в бытность вашу в Ялте не случалось ли вам... ну, так, в шутку, от нечего делать... начертать вашу фамилию на одной из скал красной масляной краской?

Малюхин попунцовел.

— Виноват, ваше превосходительство. Действительно, сделал глупость, написал суриком фамилию.

— Беды здесь нет никакой, — успокоил его Гессе. — Но эта надпись почему-то примелькалась государю и всей государевой семье. Его величество иногда вечером прогуливался с детьми до шоссе, которое идет от Ливадии до Ореанды, и для детей это всегда был большой праздник. Чтобы продлить любимую прогулку, они часто упрашивали государя: «Папа, дойдем хоть до Малюхина!» Одним словом, так ваша фамилия, господин Малюхин, стала привычна в высочайшей семье, что, когда играли в крокет, то тот, кому приходилось отгонять чужой шар, так и говорил обыкновенно: «Теперь я тебя пошлю прогуляться к Малюхину». Видите, как просто и мило объяснилось сегодняшнее веселое настроение великих князей и княжон? Государю же угодно было сказать: пусть лицеисты не остаются в неприятном недоумении, а славный лицеист Малюхин пусть на моих детей не сердится. И государь еще изволил засмеяться и прибавить: «Я им задам!» Ну что, Малюхин, надеюсь, вы теперь не очень сердитесь?

— Наоборот, ваше превосходительство! — воскликнул от всей облегченной души Малюхин.

Через месяц директор лицея передал Малюхину подарок императрицы — платиновую булавку для галстука с розовой жемчужиной и маленьким бриллиантом.

2—2586

Московская Пасха

Московские бульвары зеленеют первыми липовыми нежными листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные веселые облачка; когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся, или это кружится пьяная от весны голова?

Гудит, дрожит, поет, заливается над Москвой немолчный разноголосый звон всех голосистых колоколов.

Каждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезть на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хоть в самый огромадный, если только хватит сил раскачать его сорокапудовый язык и мужества выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах и то темнея, то серебрясь и почти растаивая на солнце.

Как истово-нарядна, как старинно-красива коренная, кондовая, прочная, древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные, блестящие маслом волосы... Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Как румяны лица, как свежи и светлы глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные, разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые кашемировые платки и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с

желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков!

И все целуются, целуются, целуются... Сплошной чмок стоит над улицей: закрой глаза — и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже широко распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь опускаются картузы вниз, обнажая расчесанные на прямой пробор густоволосые головы. Крепко соединяются руки. «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Головы склоняются направо — поцелуй в левые щеки, склоняются налево — в правые, и опять в левые. И все это не торопясь, вожевато.

— Где заутреню стояли?

— У Спаса на Бору. А вы?

— Я у Покрова в Кудрине, у себя.

Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением на невидимых нитках разноцветными упругими легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобкам яйца и кокаются ими. Кто кокнул до трещины — того и яйцо.

Пасхальный стол, заставленный бутылками и снедью. Запах гиацинтов и бархатных жонкилий. Солнцем залита столовая. Восторженно свиристят канарейки.

Юнкер Александровского училища в новеньком мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле. Розовый поясок, роза в темных волосах.

— Христос Воскресе, Ольга Александровна, — говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом.

— Воистину!

— Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай...

— Нет, нет, я не христосуюсь ни с кем.

– Тогда вы плохая христианка. Ну, пожалуйста! Ради великого дня!

Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий леонбергер.

– Оля, не огорчай юнкера. Поцелуйся.

– Хорошо, но только один раз, больше не смейте.

Конечно, он осмелился.

О, каким пожаром горят нежные атласные прелестные щеки. Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит: ее милые розовые губы полуоткрыты и смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск.

– Ну, вот и довольно с вас. Чего хотите? Пасхи? Кулича? Ветчины? Хереса?

А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон...

Пасхальные колокола

Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь, в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, ликующая встреча восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир в светлых сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и блаженство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят постель на трех стульях, поставленных рядком; погружаешься в сон, как камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечатление большой – нет! – огромной радости, которой как будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на жесткой подстилке, на своей же кадетской шинельке с медными пуговицами. Но что за беда? Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу!

Как невыразимо вкусен душистый чай (лянсин императорский!) с шафранным куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее!

На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки летят крикливыми стаями... Но раньше всего — на колокольню!

Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в самый большой колокол!

Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и древне пахнут старые стены. А со светлых площадок все шире и шире открывается Москва.

Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов-педалей, порою повисших совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; есть побольше — юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными: в них так же лестно позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть на козлах и хоть с минуту подержать вожжи.

Но вот и Он, самый главный, самый громадный колокол собора; говорят, что он по величине и по весу второй в Москве, после Ивановского, и потому он — гордость всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать его массивный язык; мальчишкам это приходится делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий и, наконец, — баммм... Такой оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие?

Самый верхний этаж — и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва-реки, все церковные купола и главки: синие, зеленые, золотые, серебряные... Подумать только: сорок сороков! И на каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая?

Небо густо синеет – и кажется таким близким, что вот-вот дотянешься до него рукою. Встревоженные голуби кружатся стаями высоко в небе, то отливая серебром, то темнея.

И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу.

Голос оттуда

В то время небезызвестный ныне писатель Александров был наивным, веселым и проказливым подпоручиком в одном армейском пехотном полку, который давно вписал свой номер и свое название кровавыми славными буквами на страницах истории земного шара.

Подпоручик часто подвергался домашнему аресту то на двое, то на трое, то на пятеро суток. А так как в маленьком юго-западном городишке своей гауптвахты не было, то в важных случаях молодого офицера отправляли в соседний губернский город, где, сдав свою шашку на сохранение комендантскому управлению, он и отсиживал двадцать одни сутки, питаясь из жирного котла писарской команды.

Проступки его были почти невинны. Однажды он въехал в ресторан на второй этаж верхом на чужой старой одноглазой бракованной лошади, выпил у прилавка рюмку коньяку и благополучно, верхом же, спустился вниз. Приключение это обошлось для него благополучно, но на улице собралась огромная любопытная южная толпа, и вышел соблазн для чести мундира.

В другой раз на него обиделась в собрании во время танцевального вечера полковая дама, «царица бала», как пышно и жеманно тогда выражались. Она сидела у открытого окна — дело было раннею весною, а внизу, глубоко под окном, оттаявшая густая земля сладко и волнующе благоухала, — и окруженная общим льстивым вниманием дама раскокетничалась:

— Все вы поете мне только вздорные комплименты, но никто из вас не докажет, что он — настоящий рыцарь. Вы говорите, что готовы умереть за один мой благосклонный взгляд? Ну, так вот, я предлагаю мой поцелуй тому, кто ради меня спрыгнет с этого окна.

И едва она успела договорить, как ловкое, гибкое тело мелькнуло в воздухе и ухнуло вниз, в темный пролет. Александров даже не коснулся ногами подоконника, а просто перепрыгнул через него, как лошадь через барьер. Он даже не вскрикнул, когда упал на четвереньки на землю. Без посторонней помощи поднялся он наверх в танцевальный зал. Он был бледен, перепачкан, но весел. С низким и, как ему казалось, придворным поклоном склонился он перед дамой и сказал:

— Сударыня, я не шиллеровский герой. Любой из офицеров нашего полка сделал бы это гимнастическое упражнение. Но... если можно... позвольте мне отказаться от вашего поцелуя.

В таком же духе были и все его ребяческие шутки. Ничего ему не стоило зимою выкупаться в проруби или стать у стены залы офицерского собрания с яблоком на голове и, чувствуя сладкий холодок в сердце, ждать меткого выстрела через две большие комнаты. Жалованья Александров никогда не получал — все оно шло на погашение долгов. Подпоручик только расписывался сбоку: «Расчет верен, такой-то».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что товарищам удалось убедить его посетить спиритический сеанс — один из тех сеансов, которые устраивались раз в неделю, с пятницы на субботу, у отставного полковника (или даже, кажется, майора) Мунстера. Сам Мунстер был курьезнейший человек, похожий на сказочного немецкого гнома: маленький, с длинной бородой, с толстым, лысым, красным, шишковатым черепом, в очках; брюзга, скупец и деспот в семейной жизни. Например, он по целым месяцам не решался купить жене галоши или детям теплые зимние пальтишки или отдать старшего сына в гимназию. Но достаточно только было духам на сеансе приказать ему это сделать, и он исполнял беспрекословно веления загробных жителей. То же бывало и с вечерней закуской. Стол выстукивал: «Медиум не воспринимает токов. Голоден. Дать ему подкрепиться вином, селедкой и мясом». Мунстер кряхтел, но закуска все-таки появлялась.

И все в таком же роде. Правда, кормили у Мунстера гораздо хуже, чем даже в собрании, но зато в спиритических сеансах была прелесть веселой, хотя и грубой шутки. А старенькая забитая жена полковника и дети были верными невольными нашими укрывателями и союзниками.

Подпоручик Александров сразу проявил себя медиумом мощностью в несколько десятков лошадиных сил. Даже самый первый его визит в дом Мунстера был поразителен как истинное чудо.

Предупрежденный заранее и подчитавший коечто по литературе неизъяснимого, Александров задрожал еще в передней и вдруг, как был в пальто, фуражке и глубоких галошах, закрыв глаза рукою, ринулся в гостиную. Здесь он остановился перед большим, аршина полтора в квадрате, увеличенным фотографическим портретом, изображавшим какого-то пожилого штатского с задумчивым взором и в усах, и вскричал:

— Это он! Да, это он! К нему влекла меня неизвестная сила флюидов!

Это был поясной портрет известного польского писателя и спирита Охоровича. Вокруг его лица была печатная надпись латинским шрифтом, огромными буквами:

POLKOWNIKOWI TEODOROWI MUNSTEROWI
PIERWSZEMU KRZEWICIELOWI SPIRYTYSMU
NA PODOLU[1]

И тотчас же, сконфузившись, он забормотал, пятясь назад:

— Прошу простить меня... Я сам не ожидал, что поступлю так неловко... Подпоручик Александров... очень прискорбно... это было точно во сне...

Но Мунстер уже заключил его в горячие объятья, и назвал его своим сыном, и предсказал ему огромную будущность.

И верно, никто из предыдущих и последующих медиумов не превзошел Александрова. В его присут-

[1] Полковнику Теодору Мунстеру — первому насадителю спиритизма на Подолии *(польск.)*. Здесь и далее редакторские примечания обозначаются цифрами, примечания А. И. Куприна — звездочками.

ствии столы, стулья, гитары и лампы летали по воздуху; играло пианино, материализованные духи танцевали в темноте и позволяли себя снимать рядом с медиумом; в воздухе проносилось гробовое дыхание; падали на стол полевые цветы... Когда же загробные гости звонко шлепали полковника по обширной лысине, он умиленно, дрожащим голосом лепетал:

— Благодарю вас, добрые духи... Благодарю вас...

Умиленный Мунстер уже собирался женить подпоручика на своей старшей дочери.

Десятитысячный реверс оказался пустяком для хитрого запасливого старика.

Но вот что случилось. В одну из пятниц подпоручик пришел к Мунстерам чересчур рано. Никто еще не собрался, и было скучно. Нетерпеливый «насадитель спиритизма на Подолии» предложил подержать столик втроем: он, его жена и Александров. Сделали цепь. Посредине положили чистую аспидную доску и грифель. Подпоручик ясно помнил, что его левая лежала на правой руке полковника, а правая — на левой руке Эмилии Карловны. И как всегда, как бывало много раз раньше, мадам Мунстер охотно уклонила свою руку, чтобы предоставить медиуму полный простор в действиях.

И в эту минуту грифель бешено застучал по доске. Этого не мог сделать Мунстер. Он был левшой. Да и быстрый темп письма отразился бы на колебаниях его тела. Эмилия Карловна никогда не решалась и ни за что не решилась бы выступать самостоятельно. Волосы на голове Александрова поднялись вверх и сделались тверды и жестки, как стеклянные.

Когда карандаш перестал выстукивать, подпоручик сказал вздрагивающим голосом:

— Пожалуйста... свет... дайте света.

Вытащили из-под портьеры лампу, припустили фитиль. Все трое были бледны и серьезны. А на доске тянулись ряды правильных точек и тире. И Александров первый догадался, что это — знаки телеграфной азбуки по системе Морзе.

Но прочитать текста он не мог — не умел. В тот же вечер он понес доску для прочтения своему горбатому приятелю, станционному телеграфисту Саше

Врублевскому. Тот долго вертел ее в руках, приглядывался и даже принюхивался. «Черт знает, — говорил он задумчиво, — это, несомненно, телеграфные знаки, видна верная, трезвая рука, но, черт знает, я никак не могу уловить смысла».

Потом он вдруг ударил себя по лбу и радостно воскликнул:

— Одна секунда! Я нашел! Это сигнализовано снизу вверх или справа налево. Зеркало! Я могу прочитать по отражению в зеркале.

Принесли из дамской уборной зеркало, и Врублевский прочитал глухим, но внятным голосом те слова, которых Александров не мог забыть никогда в своей жизни и после которых он уже больше не шутил со спиритизмом.

— «Мы одиноки и равнодушны. У нас нет ни одного человеческого земного чувства. Мы одновременно на Земле, на Марсе, и на Юпитере, и в мыслях каждого существа. Нас много — людей, животных и растений. Ваше любопытство тяжело и тревожно для нас. Наша одна мечта, одно желание — *не бытъ*. (Подчеркнуто на доске...) В ваших снах, в инстинктах, в бессознательных побуждениях мы помогаем вам. Нам завиднее всего вечное забвение, вечный покой. Но воля, сильнее нашей...»

Тут шрифт обрывается резкой каракулей, точно кто-то грубо оттолкнул пишущую руку.

Две знаменитости

Москва. Сочельник. Двенадцать градусов мороза. Ночь. Весь густо-синий небосклон усыпан яркими, шевелящимися, дрожащими огромными звездами. В старинной церкви у Спаса на Бору идет предрождественское всенощное бдение. Церковь эта, расположенная рядом с кремлевскими святынями, конечно, по своей величине и емкости уступает гигантским московским соборам, но все-таки среди всех сорока сороков стоит на почетном месте. Что же касается исторической седой древности, то в этом отношении Спас на Бору отличается дородностью, важностью и широкой щедростью в церковных даяниях. Это всё народ с солидным положением и весом в первопрестольной столице, люди света, разума и влияния: издревле именитые оптовые купцы-миллионеры с Балчуга, рядов, Зарядья и Замоскворечья, отцы городской Думы, биржевки с Ильинки; крупнейшие нотариусы, популярнейшие адвокаты, владельцы картинных галерей и рысистых заводов.

Вот почему обряд богослужения совершается у Спаса на Бору с величайшим благолепием и с суровой роскошью.

Протопресвитер храма, отец Евгений Иллюстровский, славится по всей Москве истинно златоустовским красноречием, с которым он говорит проповеди. Второй иерей, доктор богословия, славится необыкновенным умением так строго и так глубоко простирывать грешные души прихожан на исповеди, как знаменитый парильщик Илья из Сандуновских бань вымыливает и выпаривает бренные и пространные купеческие телеса. У третьего, младшего, священника редкостный и вдохновенный дар: с трогательной прочувствованностью, с сердечным умилением читает он Великим постом в Андреевом стоянии прекрасный канон преподобного Андрия, пастыря

Критского, отца преблаженного, заставляя прихожан и прихожанок проливать теплые сладостные слезы.

Настоящая гордость храма у Спаса на Бору — его протодиакон, отец Красноярский, переманенный с большим трудом в Москву из Сибири.

Надо сказать, что с незапамятных времен Москва славилась, гордилась и хвалилась своими могучими протодиаконами. Из поколения в поколение передавались с почетом громкие имена этих легендарных служителей церкви: Шаховцев, Россов, Databases, Львов, Громов, Самсонов, Пересветов, Буслаев и другие. Ходили о них в Москве сказочные героические предания, как о былинных богатырях. Про одного из них до сих пор говорят, что он, без тяжелых облачений, весил одиннадцать с половиною пудов. Другой на Масленой неделе в гостях у именитого купца умудрился без всякого напряжения, со здоровым аппетитом, скушать восемьдесят блинов с всяческими приправами, полив их четвертной бутылью смирновской водки номер тридцать первый. Третий, произнося многолетие, тушил силою своего огромного голоса канделябры Успенского собора. А от сверхчеловеческих возгласов четвертого все стекла лопались в просторном банкетном зале. Всего грандиознее были сказания об отце протодиаконе Громове-Первом, отличавшемся физической силой размеров прямо библических. Один из этих гиперборейских рассказов таков:

В один из дней Рождества Христова, поздно вечером, возвращался Громов к себе домой из богатого хлебосольного семейства, жившего в Замоскворечье. Был протодиакон порядочно с мухой, а дорога его лежала через Каменный мост, мимо прорубей. Шел он веселыми шагами, распахнув широко свою бобровую шубу — подарок признательной паствы, — и мурлыкал тихой октавой рождественский ирмос: «Христос рождается — славите...», «Пойте Господеви вся земли...» А в эту пору какие-то два жулика или так себе, два лабарданца, приютившихся под мостом, увидели, что идет в роскошной шубе пьяный человек, и перемигнулись: «Давай-ка этого почтенного купца освободим от лишней ноши и удерем».

Сказано – сделано. Заградили с двух сторон дорогу:

– Стой, ваше степенство! Скидовай шубу!

А Громов спокойно свысока окинул их суровым взором и, густо откашлявшись, сказал:

– О шубе потом, а теперь подвергну я вас, гнусных мерзавцев, святому крещению.

И с этими словами, схвативши воришек каждого за шиворот, понес их к проруби и, дойдя до нее, так стукнул их лбом о лоб, что они и говорить, и дышать перестали. И тут прославленный московский протодиакон трижды возопил гласом великим крещенский канон: «Во Иордане крещающеся Тебе, Господи» и трижды же старательно обмакнул бездельников в студеную воду от головы до пяток.

На страшный рев отца диакона и на отчаянный визг купаемых воришек выбежал из своей будки дежурный будочник и уже хотел тащить негодяев в буцыгарню, но Громов добродушно заступился:

– Оставь их, храбрый будочник. Они моего крещения во веки веков не забудут...

Таковы великогласные и богатырски сложенные протодиаконы в Москве. Но в храме у Спаса на Бору с незапамятных времен и духовенство, и влиятельные прихожане – все старались держать дом молитвы в строгом благочинии, во внешне скромной и изысканно-простой красоте. На правом клиросе пело всего шестнадцать певчих – восемь мужских и восемь детских голосов под регентством знаменитого Валуева. Партесные номера сочинения таких композиторов, как, например, Сарти и Вейдель, исключались – как оперная итальянщина. Допускался Бортнянский, но и то его прекрасные херувимские ценились куда ниже Старо-Симоновской херувимской. Всему предпочитали обиходное пение, собранное Балакиревым, греческие распевы и творения иеромонаха Феофана. Новшествами же не соблазнялись.

Храм у Спаса на Бору был далеко не маленький, но служить в нем таким громовержцам и потрясателям стен, как, например, Шаховцев или Россов, было бы совсем невозможно. Недостаток резонанса стеснял, глушил и обезличивал бы их голоса, подобные

трубам иерихонским. Не то — протодиакон Красноярский. Он как будто бы был рожден специально для этого старинного храма, или церковь выстроена нарочно для Красноярского, в ожидании, когда приедет он из далекой и богатой чудесными голосами Сибири. Красноярский очень велик ростом, но стройное телосложение и пропорциональность всех членов не позволяют назвать его грубым великаном, которым впору пугать капризных ребят. Он силен и красив. Его русые, темно-золотые волосы густо падают волнами на шею и на спину, взоры его больших глаз светлы, приветливы и ласковы. Все его движения в церкви во время служения полны торжественного величия и вдохновенной безыскусной красоты. Сопровождает ли он с большим светильником в руке протоиерея, совершающего обход храма с каждением, подает ли священнослужителю, вместе с лобызанием его десницы, благочинно курящееся кадило, перепоясывается ли тяжелым золотым орарем — все у него дышит ритмичностью, благолепием и непоколебимой христианской верой. Но что особенно восхищает и умиляет молящихся, что служит неувядаемым поводом к восторгу и гордости именитейших прихожан — это прекрасный голос протодиакона Красноярского, с его прелестным тембром и с его полнотою и гибкостью, с его верною музыкальностью. Голос этот — не басо профундо, а басо нобиле. Голосом своим Красноярский мог бы свободно наполнить и переполнить любой из больших московских соборов, но он сам нередко говаривал:

— Кричащий бас всегда жалок и некрасив. Он теряет свое мощное достоинство.

Голос Красноярского замечателен еще тем, что от верхних нот до глубокой низкой октавы в нем никогда не слышится ни сипения, ни рычания, ни хрипения. Он всегда плывет свободно и красиво, подобно звуку драгоценного инструмента Страдивариуса. Достоинство, весьма редкое для басов, а для протодиаконских, вероятно, единое на всю Россию.

— Экий голос-то у нашего отца протодиакона, — говорит почтеннейший прихожанин, знаменитый адвокат Плевако, — подлинно птица Сирин.

— Мед липовый, — восхищается миллионер Оловянишников.

А Коншин прибавляет:

— Шелковый бархат, шелковый, шемаханский.

Москва всегда ревниво относится к своим любимцам и главным образом хочет непременно видеть их впереди петербургских знаменитостей по всем профессиям.

Так, между прочим, докатилось до Москвы, а также и до ревностных прихожан у Спаса на Бору известие о том, что проживает-де в холодной северной столице знаменитый своим голосом и повадкой молодой диакон Малинин, отпрыск старой славной семьи протодиаконов Малининых. А служил-де этот Малинин, племянник исаакиевского протодиакона, в храме при Волковом кладбище. Так вот, говорили сведущие люди, что как богатством голоса, так и вожеватостью манер в служении оба диакона, петербургский и московский, Малинин и Красноярский, друг на друга чрезвычайно похожи и оба являют новую эру в великом протодиаконском священном искусстве.

От этих-то слов всколыхнулась, взбаламутилась, закипела кондовая, чистокровная, честолюбивая Москва, загорелась старая тяжба между столицами: Как возможно, чтобы точка в точку были похожи друг на друга два диакона! Что они близнецы, что ли? Бог и деревьев в лесу не уровнял, а тут — люди ведь. Да и как это может случиться, чтобы наш исконно русский да еще к тому же сибирский протодиакон не утер бы носа питерскому золотушному диаконишке? Здесь у нас, в Москве, все вширь и вглубь идет. И климат воздуха у нас целебнее, и пища куда питательнее, и народ куда тароватее и щедрее. А Петербург на болоте немцами построен, и едят они, питерцы, поганые впустрицы. Да вы сами взвесьте по справедливости, как мы во всем-то Петербург без места оставляем. Возьмем, к примеру, хоть театр. Сперва наш Малый загонял в щель ихнюю Александринку, а теперь наш Художественный весь мир покрыл своими рекордами. Или еще о рысаках скажем: где лучшие конюшни, где резвейшие лошади? Где всероссийское

дерби, где искусные наездники? А тройки и лихачи на дутиках? А Ивановская колокольня? А сорок сороков? А тестовские расстегаи? Нет! Вы уж с Питером, пожалуйста, помолчите, папаша. А о церковном благолепии и не заикайтесь. Чудь да весь, да чухна ваш Петербург.

Особенно же были ущемлены за живот степенные прихожане у Спаса на Бору. И вот, в ту морозную ночь, с которой началось наше правдивое повествование, после всенощной, решили наиболее видные и наиболее ревностные прихожане собраться во второй день Рождества Христова у именитого купца Носова, в его роскошном доме, для разрешения некоторых церковных вопросов, а также и для разговора о двух протодиаконах: московском и петербургском. Как решили, так и сделали. Особенно много внимания и заботы было отдано знаменитым диаконам, а потом единогласно постановили:

Во избежание смуты и кривотолков среди паствы, а также и в собственном интересе, — устроить свидание обоих в Петербурге или в Москве и наилучшим знатокам церковного служения решить по совести и разумению, какой из диаконов превосходнее. Потом это дело расширилось не на шутку. Докатился слух о соревновании протодиаконов до Петербурга и наделал тревогу. В Питере немало своих святых мест: собор Исаакия Далматского, Казанский собор, собор Равноапостольного князя Владимира, собор Александро-Невской Лавры, Петропавловский собор, царские церкви, гвардейские церкви и еще церквей десятка в три-четыре, не считая кладбищенских. И в каждом храме свои постоянные прихожане, свои радетели, усердные старатели и ктиторы, священники, сборщики, опекуны, дарившие богатые лепты на украшение храма. Всех шире, богаче и радостнее дарило на церкви купечество: ярославцы, москвичи, туляки, рязанские, костромские, архангельские — те самые, которые приходили в город сопливыми мальчуганами с разодранными порточками, а кончали жизнь в десятки миллионов. Они-то, конечно, хорошо знали Малинина, диакона с Волкова кладбища, и его диаконские достоинства и стояли за него. Азарт в

споре дошел до того, что стали купцы уже биться об заклады, давая деньги на руки. Однако дошел слух об этом азарте до ушей тогдашнего московского митрополита. Владыка же был пастырем весьма строгим и учителем суровым. Пригласил он учтиво на свое митрополичье подворье отборную головку из всех доброхотовых радетелей о храме Спаса на Бору, угостил их сперва чаем «дянь-сянь» с липовым медом, а потом как начал их кочетить:

— Это, мол, что вы затеваете, среброглавые отцы города и игемемноны? Во что церковь Божию превращаете? В беговой тотализатор? В цирковую борьбу? В петушиный бой? Опомнитесь, старые бездельники!

Кочетил, кочетил их, совсем раскочетил. Когда же они поняли свою неловкую ошибку и покаялись, то смягчился владыка, угостил их прелестной наливкой из венгерских слив и отпустил с миром, сказав на прощание:

— Послушать диаконов — послушайте, но им ничего не говорите, на борьбу за первенство не соблазняйте. Сказано ибо мудрое слово: лесть богатства и слава мира поглощает слова.

Так и не состоялось публичное состязание между двумя знаменитыми протодиаконами.

Обыск

Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года, и даже точнее: к десяти часам вечера по календарю и к часу утра по совдеповскому времяисчислению.

Собралась у меня наша привычная преферансная публика: отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик — маленький, толстенький, похожий на степного попугайчика, в белом фуляровом галстуке и я. Жена принесла нам солидное угощение: чай из сушеной морковной ботвы (отвар весьма вкусный и полезный), пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные двадцать пять граммов аптекарского ректи — стоимость двенадцатикратного цейсовского бинокля.

Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйские ручки. Потом кто-то сказал:

— Зачем же нам терять золотое время?

Другой поддержал:

— И правда, не заняться ли делом?

А я закончил:

— Чтоб укрепить нам алианс, сыграем, братья, в преферанс.

Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни в чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки, с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров.

Отец Евдоким купил на шесть без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть

ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладонью карты и скажет:

— Нет уж, пожалуйста. Я уж сам в моем курятнике похозяйничаю.

Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнеров широким рукавом рясы.

Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головою, вздохнул и сказал уныло:

— Готов Тартаков! Вынужден играть семь пик. Зарвался!

— С присидцем, отец Евдоким? — лукаво спросил полковник.

— Какой тут присидец? Дай Бог свое отыграть.

Молча зашлепали толстыми грязными картами. Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизировал все карточные запасы с клеймом Воспитательного дома: «Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом».

Вскоре батюшка очутился «в коробке». Предстояло ему: или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краешку стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых присловий — скажет: «Стала она призадумывать себя», или крикнет и воскликнет, точно в ужасе: «Тут-то Менделеева и передернуло!»

Он поглядел пронзительным взором на своих контрпартнеров — инженера и полковника, но их лица были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший, в игре не участвовал: я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом.

— Да-а-а, — протянул отец Евдоким. — Да-с. Тут-то Менделеева и...

И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули головы в этом направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Мат-

веевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда, похожая обычно на каменную глыбу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиною тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков и смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит, губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука.

Это пришли ко мне с обыском: четыре распоясанных, растегнутых солдата — настоящие вооруженные михрютки — под командованием стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенького хаки. Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке; правой руки у него не хватало по локоть.

Два солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий протянул перед собою грязный почтовый листок и сказал:

— По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною.

Я встал, но жена сказала мне движением ресниц — сядь. Я все сделаю сама.

Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказму и вредная невоздержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках и ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре настоятельно потребовались нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов.

Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске

свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенных век и уж никак не косить глаза на питательное «табу». Но не думать о предметах и мысленно не видеть их — это было бы свыше моих психологических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу мало-мальски опытного сыщика... и тут конец.

А ну-ка, закажите себе в течение двадцати минут не думать о белом медведе!

Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна. В дверях столовой комиссар сказал ей любезно:

— Мы, собственно, интересуемся английской корреспонденцией вашего мужа. Поэтому, во избежание лишней возни и потери времени, покажите нам место, где находятся все его рукописи и документы. Домашних ваших пустяков мы трогать не будем.

«Хороши пустяки, — подумал я. — А заряженный на все восемь гнезд револьвер «веладог», который затиснут в узкое пространство между ванной и стеной? А наган, лежащий под плинтусом на террасе?» Слава Богу, что жена отвела меня от этой игры в обыск.

Мы четверо остались на тех же местах. Над нами стояли сонные, грязные, вонючие, поминутно чешущиеся за пазухой и зевающие солдаты. Я предложил докончить пульку. Но мои добрые друзья зашипели на меня:

— Какая уж тут пулька! Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят. Да и вообще, тут для нас в чужом пиру похмелье. Ну, мы понимаем, вы писатель, вы там могли что-нибудь такое написать. А за что же нас-то арестовали?

Вообще, они явно впадали в панику. Отец Евдоким сказал:

— Моя матушка точно предвидела. «Не ходи да не ходи. Что тебе по ночам шататься?» Да и мне, признаться, не особенно-то хотелось идти. Нет! Понесла-таки нелегкая.

И, заметно, они на меня глядели враждебно.

К счастью, обыск продолжался недолго. Минут через двадцать однорукий с латышом вслед за женою вошли в гостиную. Партнеры мои были немедленно и очень вежливо отпущены по домам. Должен все-таки сказать, что, по торопливости, ни один из них не попрощался с хозяевами дома.

Большевики оказались людьми гораздо более светскими. Однорукий попросил позволения сесть для составления протокола, а латыш, щелкнув каблуками, спросил:

— Не разрешите ли покурить?

Они опустошили весь мой огромный письменный ясеневый стол снаружи и изнутри, а также американский классер со множеством полок и все их содержание вывалили горой на стол под большую лампу с широким золотистым абажуром. Там было несметное количество писем, деловые бумаги, контракты с издателями, десяток записных книжек, множество фотографических карточек, а больше всего черновиков — начатых и неоконченных повестей, беглых заметок, шутливых стихов и тому подобного мусора. Были и письма иностранцев, но они касались исключительно моих сочинений и никакой политикой не пахли.

Однорукий начал было составлять подробную опись всем этим забранным предметам, но потом махнул рукой и спросил:

— Нет ли у вас каких-нибудь весов?

Весы нашлись, кухонные, медные, с плоской круглой тарелкой. Их принесли. Комиссар быстро взвесил весь реквизит и дал нам расписку в том, что принял вещей на девять фунтов. Весь бумажный скарб был затем упакован и запечатан.

— А теперь, — сказал однорукий, — вы уж нас извините, но по распоряжению Революционного трибунала мы обязаны доставить вашего супруга в местный совдеп, до дальнейших указаний.

— Можно ли мужу взять с собою некоторые необходимые вещи? — спросила хозяйка.

— Нет, зачем же? Если хотите, товарищ, возьмите с собою запас папирос. Больше вам ничего не пона-

добится. И дело ваше, по-видимому, совсем пустяшное... Какое-нибудь простое недоразумение... Сегодня же ночью, а самое крайнее завтра поутру вы будете свободны. Пойдемте, товарищ.

Мы вышли из дома и пошли по Елизаветинской улице: впереди — два солдата, позади — другие два с бравым маленьким латышом, посредине — я с комиссаром.

Время перевалилось за полночь. Большие чистые звезды дрожали и переливались в черном низком небе. Ноги наши упруго и мягко ступали по слегка влажной дорожке. Смолисто и волнующе пахли развертывающиеся почки берез. Из палисадников доносился легкий радостный аромат зацветающей сирени. В такую пору, думалось мне, глухарь только что перестал играть свои страстные любовные песни, а тетерев на рассвете вот-вот начнет токовать. Господи! Как невыразимо прекрасны Твои ночи!

С жалостью и горькой злобой мелькнуло чувство утерянной свободы, и я, неожиданно для себя, громко спросил однорукого:

— Хорошо, а все-таки за что же меня арестовали?

— Не знаю, — сказал он грубо, точно тявкнул. — Да если бы и знал, то не уполномочен вас осведомлять.

Черт его возьми! На улице он растерял все свое джентльменство.

По Соборной улице и проспекту Павла I мы дошли до совдепа. Помещался он в старинном просторном деревянном чудесном особняке, где раньше живали из поколения в поколение господа командиры синих кирасир. Теперь гордый полковой штандарт был сорван с вышки и заменен грязным красным бабьим передником.

Я бывал в этом прелестном домике в начальные годы войны, вплоть до семнадцатого, когда в нем проживал в качестве гатчинского коменданта старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Боняческий, который несколько свысока дарил меня своей благосклонной дружбой. Как все русские добрые генералы, он был не без странностей. Говорил он врастяжку, хриповатым баском и величественно

не договаривал последних слогов: замеч-а-а... прекра-а-а, превосхо-о-о...

Чудаковат он был. Приезжая к нам домой инспектировать наш солдатский госпиталь, он неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял «Новое время» и «Колокол». Не терпел «Речи» и «Биржевки».

— Слишком либера-а-а... И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е...

У него была еще одна генеральская слабость: живопись акварелью. В свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стенные шпалеры, изображая на них — где дорогу в хвойном лесу, где тройку, засыпанную снегом, где березовую беседку. Чисто по-детски радовался он всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица.

Идя теперь вслед за одноруким по комнатам особняка, я узнавал сквозь мутный свет керосиновой лампы милые незатейливые картинки Дрозда-Боняческого и с печальным умилением думал: «Где же ты теперь, милый Дрозд, со своими теплыми странностями, человек, не причинивший никому огорчения в течение своей большой жизни?»

Меня привели в самый верхний этаж, в бельведер с просторным балконом. Пахло затхлостью неотворяемого помещения.

Я взялся за ручку, чтобы открыть дверь, но комиссар быстро отвел мою руку.

— Этого вы уж, пожалуйста, не делайте. Очень прошу вас! А лучше ложитесь-ка спать. Поглядите-ка, кресла-то какие царские! Об окне же и думать оставьте. Если ночью высунетесь наружу, то часовой раздробит вам голову пулей. Да, впрочем, и я проведу всю ночь, не отходя от вас. Хороших снов!

Старинное прапрадедовское раздвижное кресло из какой-то потрепанной, но нежной, неизъяснимой кожи было широко и уютно. Мне не спалось. Каждый раз, когда я закуривал папиросу, то в красноватом

освещении мне мерещился зорко следящий за мною глаз.

Сосед мой не храпел, не бредил, но каждый раз, когда я переменял положение тела, он почти беззвучно шевелился.

Должно быть все-таки, что прерывисто, на секунды, я засыпал очень глубоко, потому что порою, открыв глаза, я видел сначала серо побледневший воздух за окном, потом — удивительно чистое голубое небо, чуть тронутое по закраинам розовой тонкой окраской, потом заорали петухи и я почувствовал солнечный восход.

— Хотите, я открою окно? — спросил однорукий, поднимаясь на своем кресле.

— Пожалуйста.

Какая радость вторгнулась к нам на мансарду, когда широко распахнулись большие полукруглые рамы навстречу весне и солнцу. В первый раз мне тогда пришло в голову: почему это наш тихий исторический посад называется так непонятно, по-чухонски, Гатчина? По-настоящему ему бы надо было называться посадом Сирень. Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде за все время моих блужданий по России я не видел такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и, в особенности, дворцового парка и его окрестностей.

У государыни Марии Федоровны сирень была любимым цветком, и она разводила ее с необычайным вниманием, со щедростью и заботой. За нею же потянулась, из подражания двору, вся оседлая Гатчина.

Как радостно и странно было глядеть сверху на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, краснофиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно...

Однорукий комиссар поднялся снизу и сказал:

— Однако собирайтесь. Сейчас поедете на автомобиле в Петроград в Революционный трибунал.

— Это где же находится? — спросил я.

— В бывшем дворце бывшего Николая Николаевича.

— Что же? Он и Николай Николаевич перестал быть?

— Всех поскидали, — ответил однорукий мрачно. — Дальше и не то еще будет... Пойдемте. Автомобиль дожидается.

Мы уселись. Спереди — шофер и давно известный мне, давнишний, насквозь пропитанный злобою влиятельный большевик. Позади — я со вчерашним латышом, который был свеж, чист и весь подтянут ремнями, как будто бы только сию минуту выскочил из специальной фабрики, где выделываются эти нарядные белобрысые латыши с ледяными, на заказ, душами. Однорукий исчез. У ворот совдепа толпились жители. Я успел найти между ними женское лицо и поймать ласковую ободряющую улыбку.

Легкий изящный пежо, тоже мой хороший знакомый, принадлежавший Гатчинской авиационной школе, бойко покатился по проспекту Павла I, густо обсаженному с обеих сторон пахучими березками, мимо артиллерийских казарм и заставы, мимо Пулковской обсерватории, по широкому шоссе. За всю нашу довольно длинную дорогу никто из нас четверых не обмолвился ни словом. Я — почему же не сознаться? — немножко нервничал, и беспрестанно курил, и каждый раз, закуривая новую папиросу, предлагал, по курительной массонской этике, другую моему латышу, и он принимал ее безмолвно и серьезно, точно мы с ним исполняли какую-то серьезную обязанность.

Так мы доехали до Нарвских ворот, завернули на Обводный канал, пересекли многоводную, тяжелую, темно-синюю Неву и, оставив за собою Петропавловский собор, остановились у малых ворот прекрасного дворца великого князя Николая Николаевича Старшего.

Латышонок быстро соскользнул с автомобиля, позвонил у железной решетчатой двери, скрылся на минуту за нею и вскорости выскочил обратно.

Он и тут не издал ни звука, а только поманил меня рукой.

Мы вошли в просторную, но невысокую комнату, весело освещенную двумя огромными полукруглыми окнами с цельными в высоту и в ширину зеркальными богемскими стеклами. По всем сторонам этой комнаты тянулись низкие скамьи, обитые манчестером, рисунок которого я сначала принял за настоящий текинский ковер. Вероятно, в прежние времена здесь помещалась не парадная, а просто деловая приемная.

К этой приемной прилегала другая полутемная комната высотою не больше среднего человеческого роста, освещенная крошечной электрической лампой. В этот-то просторный и низкий чулан и завел меня щеголеватый латыш. Немного освоившись с утлым светом, я увидел в глубине помещения простые деревянные нары, а ближе к выходу стоял небольшой солдат в серой шинели и с ружьем.

Латыш сказал ему:

— Вот, товарищ, сдаю вам арестованного. Примите и следите за ним. Теперь он находится на вашей полной ответственности.

А мне он сказал:

— До приятного свидания, — и вышел, оставив меня наедине с солдатом. Потом, гораздо позднее, я услышал кое-что об этом прилизанном юном латышонке. Говорили, что во всех Чека и во всех тюрьмах, где он служил, не было подобного ему ненасытного убийцы и холодного истязателя. Имя его у меня выпало из памяти.

Я успел хорошо разглядеть солдата. Он был маленький, но крепкий и ладно сделанный парнишка. В своей серой, не по росту большой шинели он был похож на мило неуклюжего медведя-овсяника.

Минут пять мы с ним помолчали. Потом он заговорил. В тоне его было грубое участие:

— Что, брат, засыпался?

Я вежливо помычал.

— Да говори уж. Чего там стесняться? На чем вляпался-то? Небось, налетчик? Или шпикулянт?

У меня давно уже в голове роились мысли о том, что мой арест связан с каким-нибудь из моих антибольшевистских фельетонов.

Я сказал:

— По правде, и сам не знаю. Сам я газетчик, в газетах печатаю. Вот и думаю, что написал что-нибудь против начальства, а оно меня и засадило.

Солдат укоризненно покачал головой, вытер большим пальцем под носом и сказал, причмокнув:

— Э, папаша, начальство обижать — это, брат, неладно. Начальство, голубчик, надо всегда уважать. Это ты, братец, напрасно сунулся.

Солдат замолчал и на минуту прислушался.

— Держись! — сказал он. — Это наш комендант идет.

Комендант трибунала матрос Крандиенко так крепко врезался в мою память, что и теперь, через двенадцать лет, мне очень легко вызвать его сумбурный образ: лихо загнутая матросская шапка чертовой кожи, ослепительная белая рубаха, вышитая малорусским красным узором, запрятана в необычайной, гоголевской ширины шаровары, ниспадающие до сапожных лаковых носков, на груди, на солидной золотой цепочке, массивные золотые часы с «двуглавым орлом» — «Личный государев подарок, — говорил Крандиенко, — в память тех дней, когда я плавал на "Штандарте"...» (Да, вероятно, врал?)

Странна была наша встреча.

Я сидел на табуретке. Он вошел, сел на угол стола и заболтал ногою.

— Ага! пожаловали в нашу гостыницю, — заговорил он с ярким малорусским акцентом. — Добре, добре. Тут у нас на нарах иногда ночует развеселая компания. Но как только надумаете бунт или побег — расстреляю к чертовой матери! Кстати, — продолжал он, — звонила по телефону ваша супруга. Спрашивала, какие вещи вам требуется привезти.

Я начал перечислять:

— Папиросы, спички, четыре свечки, мыло, одеколон, десть бумаги, перья и чернила, — и т. д., и т. д.

— А еще что?

— Красного вина, хотя бы удельного.

— Сколько? Полбутылки? Бутылку?

— Ну, бутылки две, самое большее — три... Ну, еще ночное белье и постельное.

— Так и передам. А ананасов и рябчиков не желаете ли?

Я понял, что он издевается надо мной, и замолчал. Он посидел еще немного, рассеянно посвистал «Виют витры», поболтал ногою и ушел. Потянулось скучное время дурацкого безделья. Солдат дремал, кивая носом, прислонившись к стене и опершись на ружье. Где-то близко за стеною наяривал без отдыха голосистый гнусавый фонограф.

— Кто это играет на граммофоне? — спросил я.

— А, тут наша матросня. Делать им нечего, так они целый день заводят эту машину да подсолнухи лузгают.

И опять зеленая скука. Опять дурацкие нудные мысли. И вдруг снова приходит комендант Крандиенко, на этот раз с открытым и оживленным лицом.

— Можете выйти из этой буцыгарни и можете ходить, где вам угодно, по всему дворцю. Так приказал председатель трибунала. Да и правда, здесь для вас темно и еще вошей можете набраться. Идите, ну. Спать будете на коврах, я и подушку вам устрою. С семьею вам не воспрещено видеться. А теперь просю со мной увместе пообидать.

Еда у него была простая, но вкусная, сытная. Во время обеда привели ему каких-то мокрых, грязных мужиков.

— Скобари? — закричал он на них.

— Точно так... Скопские мы...

— Сейчас же расстреляю, к чертовой матери! Денисенко! Вестовой! Веди эту шпану на кухню и накорми, а потом — в темную. У меня так, — обернулся он ко мне, — первым делом забочусь об арестованных, потом о служащих, а потом только и сам «поим». Мое правило.

К вечеру, когда мы с Крандиенко пили чай, приехала моя жена.

— Ты жив!? — вскричала она, ощупывая мое лицо, и вдруг накинулась на коменданта.

– Что это за безобразие у вас творится? Я спрашиваю: как чувствует себя мой муж? А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: «Расстрелян, к чертовой матери».

Крандиенко улыбнулся светло и широко, от уха до уха...

– Не сирчайте, товарищ Куприна. Це я пошутковав трошки.

Допрос

Посаженный в Революционный трибунал, помещавшийся в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича Старшего, я мог бы свободно и беспрепятственно осмотреть все его роскошные помещения. Но никогда еще не чувствовал я себя ловко и уверенно, посещая чужие дома, покинутые их настоящими владельцами, хотя бы и много лет тому назад. Мне всегда в эти минуты приходило в голову тревожное ожидание: а вдруг придет сейчас истинный хозяин или его суровый призрак и скажет:

— А ну-ка, милостивый государь и наглый незнакомец! Не угодно ли вам будет немедленно убраться отсюда вон?

Воображал я также для параллели, что вот прихожу я в свой собственный одноэтажный домик, нахожу его настежь растворенным. И вдруг, с неприятным изумлением, натыкаюсь на неведомого мне посетителя, который, без всякого позволения, бродит по моим комнатам и беспечно заглядывает в мой кабинет и мою спальню, в мои альбомы и рукописи... И не от этой ли стыдливой неловкости стоит в музеях, церквах и старых замках такая тяжелая тишина, чуть тревожимая осторожным шепотом.

Потому-то я и отказывался учтиво от развязных хозяйских приглашений моего сторожа Крандиенки посетить, вместе с ним, верхние роскошные этажи.

Зато я охотно воспользовался его разрешением работать за огромным письменным столом посреди упраздненной приемной, окруженной широкими скамьями из поддельных текинских ковров.

Почем знать, думал я, сколько еще дней, а то и недель, придется просидеть под этим навязанным мне кровом?

И если удастся свободно поработать здесь, на новом месте, то уж лучше, по старой писательской при-

мете, начать сейчас же, чтобы потом не подпасть злым духам медлительности, лености и скуки.

Разложив на зеленом столе свои письменные принадлежности, я обмакнул перо номер восемьдесят шесть в чернила и на белом, приветливом, свежем листе вывел большущими буквами: «Однорукий комендант».

Крандиенко заглядывал мне через плечо, нагибая боком голову и кося глазом, как ворона на кость. Вдруг он сказал:

– Та я же ж не однорукий, а зовсим с двумя руками.

– Это не про вас, – ответил я. – Про вас будет потом, лет так через пять-шесть. А теперь очередь другого коменданта. Тут от вас в двух шагах – Петропавловский собор. И в нем царская усыпальница. Так вот, в ограде этой усыпальницы похоронен сто лет назад герой многих славных войн, впоследствии комендант Петропавловской крепости Иван Никитич Скобелев. Был он в бесчисленных сражениях весь изувечен. Левую руку ему начисто отрубили, а на правой осталось всего два с половиной пальца. Оттуда и прозвище: «Однорукий». И завещал он перед смертью, чтобы положили его за оградой усыпальницы, головою как раз к ногам великого императора Петра Великого, перед памятью которого он всю жизнь преклонялся.

Крандиенко выпустил изо рта огромный клуб дыма и воскликнул уверенно:

– О, це я знаю. Той Скобелев, что воевал с турком.

– Нет, больше с французами. С турками дрался уже его внук, Михаил Дмитриевич Скобелев, знаменитый «Белый генерал». О всех трех Скобелевых, о внуке, отце и деде, на днях очень много и очень хорошо мне рассказывал личный ординарец Скобелева-третьего, почтенный и милый старик. Так вот, пока мне здесь делать нечего и пока память еще свежа, я и хотел записать его слова.

Крандиенке стало скучно.

– Ну да, конечно, – сказал он, едва удерживая зевоту. – А все-таки написали бы вы лучше за нашу

великую революцию и за нашу геройскую «Аврору».

— Не беспокойся, — сказал я, — история вас не забудет. А издали все-таки виднее.

Вечером он весьма заботливо постелил для меня постель на широкой ковровой скамье и сел у меня в ногах. Мы курили в темноте, а он рассказывал мне эпизоды из своей прежней жизни. («Вам, как писателю, это пригодится».)

Рассказывал о том, как был актером в «малороссической» драме. Упоминал небрежно имена Занковецкой, Саксаганского, Садовского, Кропивницкого и Старицкого. Он даже напевал вполголоса куплеты из «Наталки Полтавки»:

Ей, Наталко, не дрочися,
Ей, Наталко, не дрочися,
Забудь Петра ланця,
Пройдоху, поганця,
Схаменися,
Схаменися...

Пел он также какие-то отрывки из оперы «Запорожец за Дунаем» и пробовал декламировать монологи из пьесы «Глитай, абож Павук». Но все это выходило у него плоховато. Ролей своих он окончательно не помнил или страшно перевирал их, а в пении так фальшивил, что, думаю, его не приняли бы ни в одну, даже самую захудалую, театральную антрепризу. Ведь украинцы, как и итальянцы, родятся на свет с верным слухом и с голосами, поставленными самим Господом Богом. Вернее всего было предположить, что Крандиенко перевидал в своей жизни все пьесы скудного и незатейливого малорусского репертуара и играл раза два-три в любительских спектаклях, все остальное выдумал из хвастовства.

Гораздо ярче и правдоподобнее вышел у него рассказ о хохлацкой свадьбе. Самое лестное, по его словам, но зато и самое ответственное положение в свадебном ритуале выпадало на долю сватовьёв с невестиной стороны. Пока, обвязанные рушниками, они носили над невестою венец вокруг аналоя, пока на свадебном пиру они, не уставая, пели старые хвалеб-

ные песни и говорили самые восторженные речи в честь новобрачной — они бывали настоящими королями пира. Их благодарили, всячески ублажали, поминутно целовали и обнимали, обливая водкой, дарили им платки, шарфы, вышивки для рубашек, полотенца и рукавицы.

Потом молодых уводили в каморку, и тогда веселье на час ослабевалось, становилось напряженным, натянутым. Всего неувереннее чувствовали себя невестины сватовья. Через час в каморку заходили две почтенные старые свахи и вскоре возвращались назад, держа торжественно в руках вещественные доказательства. Обыкновенно в этом случае гульба вспыхивала в удвоенных размерах. Сватовьёв опять принимались целовать, обливая водкой. Снова им дарились отличные домотканые изделия. Гуляли весь этот день, а случалось, и на другой, и на третий. Всем свадебным поездом ходили по деревне, нося на высоком шесте красную рубашку, кричали громко, целовались с прохожими, опять пили и пели:

Ой, упала,
Ой, упала
Звезда с неба красна,
Звезда с неба кра-а-сна.

Но случались изредка маленькие недоразумения, вследствие которых пирование сразу расстраивалось, молодой мрачно и молчаливо сидел в углу, отец невесты трепал волосы и жене, и дочери. На шест надевался дырявый глиняный горшок и воздвигался над крышей. Бывало, что невестины ворота мазались дегтем. Но сватовьёв в этих случаях неизбежно били (отняв у них предварительно все роскошные подарки) и били так крепко, «шо треба, бувало, швидче утикати до дому».

Потом Крандиенко стал болтать что-то невнятное о своем друге Деревенко, о яхте «Штандарт», о своих часах с орлом, об Ораниенбауме и о том, как государь однажды нашлепал маленького наследника за то, что тот, не слушаясь увещеваний дядьки и вопреки запрещению доктора, лазил по деревьям. А мальчик держался молодцом: закусил нижнюю губу и ни

пик-пик. Потом подошел к матросу и сказал, протягивая ручонку: «Прости меня, Деревенко».

Потом проскользнуло, точно в глухом тумане, имя великого князя Михаила Александровича, и больше я уже ничего не слышал, потому что бухнулся в глубокий сон, как камень в воду.

Проснулся я, как мне показалось, через секунду. В матросской комнате уже наяривал крикливый гнусавый граммофон. Весенний радостный свет лился в громадные зеркальные окна такой чистоты, что их как будто совсем не было. Выпуклая, многоводная синяя Нева несла тяжелые волны, дрожа от напряжения своей могучей силы. Надо мною стоял Крандиенко.

– Вставайте, товарищ. Пора умываться и чай пить. Пришло распоряжение отправить вас после обеда к следователю.

Сам не знаю почему, может быть, как темный отголосок вчерашней ночной болтовни коменданта, у меня вдруг всплыли в уме имя великого князя Михаила Александровича и моя недавняя статья в его защиту от большевистских утеснений, напечатанная в одной из тогдашних бесчисленных летучих газет – не то в «Эхе», не то в «Эпохе». Статья совсем невинная, в ней положительно не к чему было придраться. Правда, я вспомнил одну забытую мною мелочь, на которую я раньше почти не обратил внимания: в конце этой статейки была сноска, в которой оба редактора – Муйжель и Василевский (Не-буква) – заявляли, что они печатают этот фельетон своего постоянного сотрудника, оставляя, однако, его содержание на ответственности автора. Не эта ли глупая и трусливая приписка обратила на себя внимание новорожденной, а потому неопытной и суетливой советской цензуры?

За чаем Крандиенко вел себя как-то странно и загадочно. Он все постукивал ногтями по столу и потом мычал многозначительно:

– Да... Н-н-да-с... Такая-то штука... Н-н-да... Такого-то рода вещь... Да-а-с...

– Что это вас так тревожит, господин комендант? – спросил я.

— Не хорошее ваше положение. Можно прямо сказать — пиковое положение. Н-н-да.

Я промолчал.

— Читали вы сегодняшнюю газету?

— Нет еще. Не успел.

— Так вот, нате, читайте своими глазами: вчера был убит вашими контрреволюционерами, проклятыми белогвардейцами наш славный товарищ Володарский. Комиссар по делам печати. Понимаете ли? — И он произнес с глубоким нажимом: — Печати!.. А эта история вам — не жук начихал. Н-да-с. В плохой переплет вы попали, товарищ. Не хотел бы я быть на вашем месте.

Я улыбнулся, но сам почувствовал, что улыбка у меня вышла кривобокой.

— А что? Расстреляют?

— И очень просто. К чертовой матери. Не буду скрывать, товарищ: мне вас очень жалко, вы человек симпатичный. Но помочь вам, согласитесь, я ничем не могу. А потому примите дружеский совет. На допросе говорите следователям одну истинную правду, как попу на духу. Ничего не скрывайте и ничего не выдумывайте. Тогда, наверно, вам дадут снисхождение.

— Да за мной нет никакой вины!

Он махнул рукой.

— Э! Все так говорят... Пойду-ка я до ветру.

Еще сидя в трибунале и потом уже на свободе, дома, я много раз задумывался над сумбурною личностью Крандиенки и долго не мог понять ее, пока не решил, что мой пестрый комендант просто-напросто крикливая разновидность столь распространенной в России породы дураков. Человек он был очень неглупый, по-хохлацки хитрый, наблюдательный и не лишенный юмора, пожалуй, даже добросердечный, но в то же время бестолково упоенный безграничностью своей власти: слепо верящий в высоту своего положения и весь проникнутый насквозь ярой служебной ревностью. Его свирепые окрики, его страшные угрозы, его наборная ругань, его хвастливый цинизм — все это были лишь наезженные, настреканные приемы, грубая самовлюбленная актерская игра.

Переведенный впоследствии, после закрытия трибунала, в одну из главных петербургских тюрем в качестве коменданта, он нередко, по моим запискам, давал свидание своим заключенным с их родными, разрешал «передачу». О нем в Питере и его окрестностях составилась репутация «зверя». Но очень могло быть, что она сложилась благодаря привычным громовым угрозам Крандиенки «расстрелять, к чертовой матери, в течение четырех секунд!» Но возможно и то, что, незаметно для себя самого, крикливый комендант под конец так глубоко выгрался, въелся, вжился в свою роль, что этот театр и взаправду сделался его настоящей жизнью. В начале нашего знакомства с ним я предполагал было, что задача Крандиенки заключалась в том, чтобы под маской доброго общения, маленьких услуг и бесцеремонного свободного разговора выудить и выдоить из меня какие-нибудь веские сведения, но вскоре бросил эту мысль как вздорную. Во-первых, вытягивать из меня было абсолютно нечего, а во-вторых, я давно уже с печалью убедился в том, что злобный, разрушительный собирательный ум большевиков отличался большой практичностью и безошибочно знал – какому человеку определять какое место. Крандиенко здесь им не годился бы.

* * *

Тяжело влачились эти четыре-пять часов. Я – человек храбрости средней. В чем меня будут обвинять – я почти не знал. А тут еще бурливый Крандиенко с его расстрелом, к чертовой матери, и Володарский, которого убили так не вовремя.

Расстрелять, думал я, конечно, не расстреляют, в крайнем случае запрячут куда-нибудь на год, на два... Но эти дурацкие разговоры со следователем!..

Пробовал я писать – ничего не выходило. Курил до горечи во рту. Ходил взад и вперед по большой светлой комнате, которая казалась невыразимо скучной. Крандиенко не появлялся, точно был сердит на меня. За стеною, не умолкая, надрывался, хрипел, сипел и гнусил проклятый граммофон. От обеда я отказался.

Наконец, в исходе четвертого часа (считал по дальним часам Петропавловской крепости), быстро вошел Крандиенко и сухо сказал:

— Пожалуйте к следователю на допрос.

И тотчас же крикнул в матросскую комнату:

— Эй! Кто очередной? Веди арестованного к следователю! Живо!

Повел меня наверх необычный матрос. Был он высок ростом и массивно широк как в плечах, так и от груди к спине. Вероятно, он обладал исключительной физической силой. Но ничего типически матросского в нем как будто не замечалось. Не было ловкой, чуть медвежеватой морской выправки. Голова его, немного склоненная набок, была как бы немного приплюснута, точно неудачно выпеченный ржаной каравай.

— Ну что же? Пойдемте, — сказал он лениво.

Мы стали подыматься по задней, черной, лестнице. Она была железная, узорчатая и винтообразная, со многими площадками. Над каждой площадкой гордо красовалась мощная рогастая голова зубра, а снизу висела золоченая дощечка с надписью, когда и где был убит зверь.

— Что за прекрасное животное! — обратился я к матросу.

— Очень, — ответил он небрежно. — К сожалению, вырождаются. Нуждаются в искусственной подкормке и в человеческой помощи. Дурацкая барская затея. Скоро их не будет ни одного...

Он поправил на боку деревянный кобур маузера. (К чему ему было брать оружие? Он свободно мог бы меня прихлопнуть ударом кулака.)

Мы пришли в небольшой скромный кабинет, выходящий окнами на Неву. Следователь показал мне на место против себя. Матрос сел сбоку в кресло.

Странный был следователь. Точно из сказок Гофмана. Казалось, что лицо его было грубо вырезано из темного мореного дуба и вставлено в темно-серый костюм. Неподвижные глаза глядели, но в них не было никакого выражения. Он был похож на мертвеца, поздно вынутого из могилы, или на тех спокойных католических великомучеников, деревянные изобра-

жения которых так часто встречаются в каплицах Юго-Западного края, поставленных на перекрестках дорог. В голосе его не было никакого тембра. Фамилия его была Самойлов. Говорили, что он из румын, из той страны, где до сих пор водятся загадочные вурдалаки.

Он пошевелил бумагами, порылся в них и разгладил один газетный лист.

— Вот эта статья, — спросил он бесцветным голосом, — озаглавленная «Михаил Александрович», не вами ли она написана?

— Мной.

— Единолично или в сотрудничестве с другими лицами?

— Одним мною.

— Что же вы хотели этой статьей сказать?

— Да ведь в статье все сказано. Вы ее, конечно, прочитали?

— Прочитал или не прочитал — это другой вопрос. Мы желали бы только знать, какие мысли или идеи хотели вы внушить широкой публике посредством вашей статьи?

— Совсем я ничего не хотел. Мне просто стало стыдно за представителей нового режима. Зачем они подвергают великого князя таким незаслуженным оскорблениям, унижениям и стеснениям? Он простой и добрый человек. Он совсем не властолюбив. Наоборот — у него отвращение к власти. Он родился в высокой царской семье, но душою и всеми помыслами он истинный прирожденный демократ. Он бесконечно щедр. Он не может видеть нужды, чтобы не помочь ей немедленно. Наездники Дикой дивизии обожали его, называя «наш джигит Мишя». Он женился без разрешения престола на женщине, которую полюбил, и был за это долго в опале. Когда отрекшийся государь оставил власть в его руки, он первый сказал: я последую воле народа. Он редкий, почти единственный человек в мире по чистоте и красоте души, — и т. д., и т. д. Я процитировал ему всю статью мою наизусть и закончил словами: — Вот и все.

Настала тишина. Он долго, очень долго глядел на меня своими неглядящими глазами. Лицо его не из-

менилось. У меня было такое же тревожное и брезгливое чувство, которое невольно испытываешь, оставшись один на один с тихим сумасшедшим.

Вдруг он очнулся.

– Итак, – равнодушно сказал он. – Из ваших слов я могу вывести только одно заключение: что вы не только ненавидите, но и презираете установленную пролетарскую народно-рабочую власть и ждете взамен ее великого князя Михаила Александровича, как бы архистратига Михаила, стоящего с огненным мечом. Не так ли?

Мне хотелось ответить ему: «Балбес», но я ответил уныло:

– Да какая же здесь связь?

И опять мы скучно замолчали. Я обернулся на матроса, моего проводника. Он сидел с кислым, но смешливым лицом, щурясь, курил папиросу. Я вспомнил, что забыл свой табак внизу и попросил:

– Одолжите покурить.

Он охотно и предупредительно дал мне папиросу и зажег спичку. И еще прибавил другую папиросу про запас.

Мы опять довольно долго говорили со следователем, но у нас по-прежнему ничего не выходило. Я очень был обрадован, когда он, наконец, сказал:

– Можете идти. Все равно все ваши уловки, обходы и разные хитрости вам не помогут. Правосудие все равно доберется до ваших гнусных замыслов.

Рассказ пегого человека

Ни имени, ни фамилии, ни происхождения этого диковинного человека я так и не узнал за все наше долгое совместное сидение в петроградском Революционном трибунале, который тогда находился в реквизированном дворце великого князя Николая Николаевича. Не узнал я также и причины, по которой он попал в это злокозненное и жуткое место, хотя говорили мы с ним часто и помногу. Очень невеселая штука — сидеть в огромном, пустом, тихом доме, ежеминутно, днем и ночью, ожидая, что вот-вот придут за тобою и скажут: «Идите, товарищ, вещей можете не брать с собою».

Никак не передать словами того дьявольского томления души, которое ни на секунду не оставляет человека, готовящегося к насильственной и наглой смерти, без прощания с друзьями, без церковного напутствия...

Вот тут-то и оценишь невольно близость разговорчивого соседа, милого собрата по несчастью. Говорит он, а твои внутренние глаза явственно видят чужие дома, чужие жилища, чужие лица и движения; внутренние уши слышат давно умолкнувшие звуки слов, пения, музыки, конского ржания, детского смеха, птичьих голосов; внутреннее обоняние чует отдельные запахи цветов, кушаний, воздуха, воды и молодого человеческого тела; и на минуту поспешное воображение застилает мягким ковром дикий ужас, от которого все члены обливаются холодным липким потом.

Мой сосед и собеседник оказался чудесным компаньоном. Он никогда не ныл, не скулил, не жаловался и не покушался плакать мне в сюртук. Говорил он охотно и всегда очень занимательно, и по речи его можно было безошибочно заключить, что видел этот человек очень многое на своем веку и исколесил ма-

тушку Россию вдоль и поперек. Слушать его рассказы было бы истинным наслаждением, если бы не эта негасимая проклятая мысль о близости «стенки».

В начале нашего прочного знакомства я никак не мог, беседуя со своим сосидельцем, обойтись без имени, отчества и фамилии: так уж эта потребность въелась мне в мозги. Но сосед мой с легкой усмешкой успокаивал меня:

— Что в имени тебе моем? Оно пройдет, как шум скандала. Хотите, зовите меня Иван Иванычем. А фамилию выберите, какая вам по вкусу придется. Вот, хоть бы Пегим зовите. Так меня во Владимирской пересыльной гостинице окрестили. Да ведь оно и модно выходит: Иван Пегий — это звучит как бы Максим Горький, Демьян Бедный, Степан Кургузый... А кроме того, поглядите на мою физиономию личности: вся она веснушчатая и рябая-конопатая. И жизнь вся моя поистине была пегая, пятнистая. А главное, нет ничего обидного в таком прозвище: пегие лошади ни на скачки, ни на бега, ни на кавалерийский ремонт не допускаются, а поговорка гордых арабов говорит: пегая лошадь — брат теленку. Но эта строгость, извините, покоится на предрассудках и на важности. Спросите любого богатого мужика, цыгана, продольного ямщика, хоть и конокрада — все вам скажут: пегая лошадь — самая доброезжая и в работе не знает ни лени, ни усталости. У нее долгий дух в скачке, и дышит она через две продушины в ноздрях, а то и через три, и еще у нее достоинства: во-первых, вынослива до бесконечности и умна, как человек, только норовиста и требует хорошего ухода. Вспомните-ка знаменитого толстовского пегого рысака Холстомера. Ну уж и конь был! Только такой великий художник его мог описать, как Толстой. Невольно со слезами на глазах спрашиваешь: ах, зачем же Толстой позволил выхолостить Холстомера? Ведь если бы такого жеребца да вовремя пустить в завод и покрыть им первоклассную пегую кобылу, то какое бы славное потомство пошло! Прелесть!.. И опять: жалкий конец блестящей Холстомеровой карьеры. Ну зачем же Лев Николаевич дозволил бессердечному хозяину-свистуну и бабнику загнать до упаду прекрасную, бес-

ценную лошадь и потом опоить ее, превратив гордое Божье создание в рыхлую клячу с отвисшей губою?

Тут я спросил пегого человека:

– Вы, Иван Иванович, с такой страстью говорите о лошадях, что я могу подумать, что вы некогда занимались коннозаводством или имели дело с призовыми конюшнями?

Он на это ответил:

– Нет, к великому моему сожалению, мне не пришлось ни воспитывать, ни объезжать, ни тренировать лошадей, хотя это милое животное я всегда любил с умилением и нежностью, но вы все-таки не очень ошиблись в своем предположении. В течение целых двух лет заведовал я материальной и хозяйственной частью беговой конюшни инженера Ворышева в славном городе Киеве. Потом конюшня наша пошла с молотка, но до краха прожили мы самые веселые аркадские деньки. Старые спортсмены и до сих пор вспоминают наших серых креков, Мамонта и Утешную. Но к чему воспоминания? Во сне шубу не сошьешь.

Ах, ах, ах, что за гигант, что за волшебник, что за рисковый человек был инженер Ворышев. Орел, и лев, и хитрый лис одновременно. Где-то он теперь, сокол мой ясный, летает? К большевикам ли подался и играет у них первую скрипку? Окончил ли жизнь у стенки? Или успел перебежать за границу?

Дела он всегда делал огромные и вел их в широченных размерах. Строил мосты, храмы, театры, вокзалы, восьмиэтажные роскошные дома; создавал на акциях банки и пароходства; с необыкновенной дерзостью играл на бирже, ставя на повышение или понижение с какой-то сатанинской удачей. С таким же феноменальным счастьем играл он в карты, предпочитая всем играм баккара, а еще больше – покер. Выигрывал он сотнями тысяч, но был у него, однако, один недостаток, для пытателя судьбы очень важный: очень уж страстен был Алексей Иннокентьевич – никогда он не умел дойти до своего максимума и остановиться, прекратить баловство. Трах – и покатится с горы, когда напорется на злую колею.

Сколько раз меня тянуло остановить, придержать его... Да ведь какой же идиот полезет гладить разъяренного тигра? Он по мелочам не отыгрывался, на мелочь не играл и при крахе ну вот ничуточку не киснул. Бывало, возвращаемся мы после поражения из клуба домой. Идем пешком. Он вдруг остановит меня:

– Милостивый государь мой, деньги те я все профукал, до последнего копья, а завтра чуть свет придут каменщики за платой. Сколько вы можете дать мне взаймы?

Я ему в тон отвечаю:

– Сколько угодно, ваше священство, плюс еще немножко.

– Тогда давайте все.

– Слушаю.

Выпадали иногда дни и покруче; позовет меня инженер к себе на дом и скажет:

– Вот женины побрякушки. Будьте, милостивый государь мой, так любезны, снесите их в казенный ломбард и снисходительно заложите их за наиболее высокую сумму.

– Слушаю и повинуюсь, – отвечаю я.

Драгоценности мадам Ворышевой были замечательные не так огромной стоимостью, как редкостью и тщательным любительским подбором, и сама их владетельница была среди них бесценнейшим бриллиантом. Имя ее было – Милада, о красоте ее трудно, даже невозможно теперь рассказать. Родом она была иноземкой, трогательно плохо говорила по-русски, мужа своего она обожала до идолопоклонства. Что драгоценности? – Она бы руки, ноги дала отрезать за одну его улыбку.

Но ведь и надо сказать, что Алексей Иннокентьевич был человеком очень притягательным и великолепным шармером.

Теперь вы, наверное, интересуетесь: какую роль я играл у этого блестящего человека и чем я ему был полезен? Трудно на это ответить толком. Очень трудно! Был я у него и верным другом, и преданным слугой, и заботливым молчаливым товарищем. Всегда он меня посылал в первый огонь, когда дело казалось

щекотливым или когда оно требовало отваги, хладнокровия, изворотливости и настойчивости. В таких делах я всегда чувствовал себя как рыба в воде...

Никогда я не мог разобраться в том, кем был, в сущности, мой патрон: гениальным инженером или героическим борцом с судьбою и ее всегдашним победителем? Одно могу сказать и подтвердить клятвенной присягой: никогда я за господином Ворушевым не заметил ни тени кривизны, обмана, неверности обещанию или мошенничества, словом — ничего темного. А у меня на эти вещицы глазок-смотрок. Но иные его поручения и приказания заставляли меня разевать рот и хлопать глазами. А возражений и переспросов он не выносил. Так, однажды призывает он меня к себе и приказывает:

— Завтра утром, в такой-то час, поедете в Монако; остановитесь в такой-то гостинице и, когда отдохнете, извольте, милостивый государь мой, каждый день ходить в казино и усердно приглядываться к технике рулетки и к ее капризам и прихотям. Через несколько дней я вам вышлю некоторую сумму, потрудитесь ее утроить игрою и о результате мне телеграфируйте и ждите в Монако моего ответа. Не буду давать вам никаких советов и указаний об игре — это все ерунда. Скажу только: будут к вам приставать этакие рафинированные джентльмены: купите самую новейшую и вернейшую систему выигрыша в рулетку — гоните их как последних сукиных сынов. А еще — не торопитесь. Времени у вас будет достаточно. Теперь получите ваши деньги, необходимые на проезд, на харчи, на представительство и на прочие мелочи. Затем — до свидания, счастливой дороги и тому подобное, провожать вас не стану.

Покатил я в княжество Монако с веселым духом. Немножко меня по дороге беспокоила мысль: что за история! человек не сам развлекаться едет, а своего служащего так строго посылает? Приехал в Монте-Карло. Там еще большого сезона не было, поэтому указанная моим инженером гостиница была и очень мила, и совершенно недорога. Кормили вкусно. К законам и беззакониям рулетки я приглядывался ежедневно по два раза: днем и вечером. Играть не решал-

ся. Кое-когда отваживался поставить минимум в трант и карант (за свой счет) и всегда удачно. Две недели спустя получаю перевод на десять тысяч рублей, а тогда, батенька мой, это ведь было двадцать пять тысяч франков! И ни одного слова по почте или телеграфу. Суровое молчание.

Тогда спокойно, не торопясь (как наказывал патрон), иду в казино, сажусь за стол, который мне показался симпатичным, и холодно, как бы равнодушно, приступаю. Говорить долго о процессе игры вряд ли стоит, скучнее нет материи для слушателя, скажу одно: вел я себя умницей и в двенадцать ритмических сеансов, через шесть дней, утроил доверенную мне сумму. Семьдесят пять тысяч франков лежало у меня в банке, пора было известить патрона. Но дернул меня черт — давай-ка, думаю, играну еще раз, самый последний раз, чтобы округлить сумму до ста тысяч, благо у меня теперь везучая полоса. А для патрона будет и сюрприз, и удовольствие… Подумал, подумал… решился. Пошел в последний раз в казино и, представьте себе, с необыкновенной легкостью, как бы играючи, выиграл не хватавшие двадцать пять тысяч да еще с приблудившимися ста франками. Наутро иду веселыми ногами на телеграф и посылаю лаконическое известие: «Итого — сто тысяч».

Сердце у меня ликует от удачи и от грядущего инженерова поощрения. Но ликование мое было коротко, как заячий хвост. К вечеру получаю из Киева ответ, не менее малословный: «Услужливый дурак. Сегодня же возвращайтесь экспрессом».

Странная телеграмма: почему дурак? И почему экспресс? Однако собрался в пять минут и помчался ближайшим скорым поездом, обескураженный и взволнованный. На всякий случай дал знать Ворышеву по телеграфу о вероятном часе прибытия. Он меня встретил на перроне и, поздоровавшись, сказал мягко:

— О делах потом. Сначала я должен сообщить вам весть, не особенно приятную: третьего дня заболел ваш сынишка Сережа. Я нарочно вызвал вас экспрессом. Не пугайтесь. Опасного нет ничего. Легкий диф-

терит. Но меры приняты своевременно. Пойдемте. Я вас довезу до дома.

Я собрался было заговорить о деньгах, но он махнул рукою:

— Приходите потом, когда дома все успокоится.

Взбежал я по лестнице карьером, ног под собой не чувствовал. Жена встретила меня, исхудавшая, бледная, усталая, но на устах беспомощная и блаженная улыбка.

— Слава Богу, самое страшное прошло...

И тут она рассказала мне, как все было:

— Сереженька накануне набегался во дворе, вспотел и напился холодной воды. Утром стал немного похрипывать и жаловаться на горлышко. Я ему велела полоскать рот соляным раствором, а сама думаю: ах, беда-то какая! А вдруг заболеет перед Пасхой! Еще этого-то не хватало. Пощупала лобик — смотрю — горяченький, и мальчуган как бы мается. Позвала я первого попавшегося доктора, а он оказался какой-то дуботол. Говорит: «Ничего особенного, так себе — легкая ангиночка. Компресс поставьте согревающий, и полоскание отваром шалфея». Взял рубль и ушел, а я слышу: Сергунчик мой уже с трудом дышит, как бы задыхается. Испугалась я, и вдруг меня осенила нелепая и отчаянная мысль: а что если я в моем отчаянии да позвоню по телефону Алексею Иннокентьевичу? Не знакома я с ним лично, и человек он ужасно огромный и важный — какими миллионами ворочает. Но отважилась и позвонила. Рассказала ему все подробно и — что ты думаешь? — в один миг он приехал, привез самого прекрасного врача — профессора. Профессор осмотрел мальчика и сразу определил: «Дифтерит несомненный. Но на всякий случай возьмем мокроту на исследование. Необходимо сделать прививку». Милый господин Ворушев. Когда доктор ему советовал принять возможные меры против заражения этой прилипчивой болезнью, он беспечно ответил: «У меня, к сожалению, нет маленьких детей. А меня, буйвола, никакая бацилла не проймет». Через два дня все пошло хорошо. Хрипы и задыхание понемногу прекратились. Температура заметно стала падать. Сережа начал улыбаться Воруше-

ву, когда он приходил. Чем я могла отблагодарить его? Разве только тем, что рано утром сегодня побежала в десятинную церковь и заказала молебен Алексею, Божьему человеку.

На Пасху Ворушев позвал меня к себе и, христосуясь, подарил мне двадцать пять тысяч франков.

— Это, — сказал он, — ваш выигрыш, и дальше никаких разговоров. Афоризм об услужливом молодом человеке мы зачеркиваем и перечеркиваем. Но мне все-таки интересно знать: что бы вы стали делать, если бы, вопреки странному закону, всегда поощряющему новичков, на вас сразу навалилась сплошная неудача?

— Я играл бы до самого конца.

— А потом? Пустили бы пулю в лоб?

— Не знаю. Вряд ли. Да ведь со мной этого не случилось. Я же выиграл, а победителей не судят.

— Ну какой же вы победитель, — покачал головой Ворушев. — Наоборот: вы очень проиграли. Я нарочно послал вас в Монте-Карло. Мне хотелось посмотреть: каковы вы в игре? В азарте люди скорее всего показывают свои души. Вот я теперь и увидел, что большого, ответственного дела, требующего инициативы и выдержки, вам поручить нельзя. Живите покамест близ меня, исполняйте небольшие поручения и мелкие сделки. Почем знать — может быть, и вырастете со временем. Теперь же желаю вам всего наилучшего.

Так-то я и проиграл свою карьеру и с нею великую науку. Да, впрочем, эта головоломная революция все перевернет шиворот-навыворот!

Кража

К. Н. Кривошеину

С не совсем обыкновенным человеком свела меня судьба здесь, в Париже, года три назад. Звали его Петром Николаевичем Бровцыным.

На всемирную войну Петр Николаевич пошел в четырнадцатом году, будучи уже немолодым врачом. Последовательно он прошел довольно значительный служебный стаж. Был сначала младшим полковым врачом, потом старшим, потом дивизионным и, наконец, корпусным врачом. В эту ужасную войну бои и тиф косили докторов не менее, чем солдат и офицеров.

Но вот высыпали по здоровому телу России красные гнойные прыщи большевизма, началось дезертирство, пошли митинги, раздался нелепый девиз: «Попили нашей кровушки – будя». Заключен был в Бресте похабный договор: «Воевать не будем, а мира не признаём»... Вся в стыде, позоре и крови русская армия торопливо разлагалась, и сама Россия потеряла лик и имя.

Тогда возникло белое движение...

Доктор Бровцын – очень хороший врач, но, вероятно, в ту пору воин и патриот превозмогли в его душе целителя, костоправа и составителя растерзанных членов человеческих. Бровцын записался рядовым стрелком в тот отряд, который тогда формировался вблизи Пскова, на Талабских островах, и который потом развернулся в славный Талабский полк. В этом полку Бровцын и прослужил стрелком – от его возникновения до его разоружения в Эстонии...

Петр Николаевич обладал редким даром – зорко видеть и внимательно слышать, а видел и слышал он очень многое и передавал свои впечатления с той резкой простотой, которая делает рассказ достоверным и выпуклым.

В то время, в девятнадцатом году, после неудачи у «Красной Горки», Юденич, потеряв надежду на выступление Финляндии, приехал со своим штабом в Нарву, чтобы лично руководить действиями Северо-Западной армии. Положение ее было и тяжелое, и запутанное. С одной стороны, Юденич находился в полной зависимости от союзников, которые, при малейшем расхождении с ним во взглядах, грозили прекратить снабжение; с другой стороны, он, как и армия, всецело зависел от эстонцев, озлобленных тем, что русское правительство, имени Колчака, не желало признавать их независимости. Наконец, в самой армии Юденич, как совсем ей чужой, не пользовался никаким авторитетом, а известно, что психологическое, привычное влияние играет в добровольческой армии гораздо более решающую роль, чем в войсках регулярной армии. Юденич же принял заочное благословение Колчака на дистанции в две тысячи верст.

Снабжение армии было самое плачевное. О теплой пище давно не было помина. Единственно, что выдавалось, это – два фунта американского белого хлеба и полфунта американского сала. Жалованье не было выдано за два или три месяца. Можно ли удивляться тому, что при таких обстоятельствах армия, перешедшая к позиционной войне, начала добывать себе необходимое на местах, чем, понятно, возбудила против себя неприязненные чувства населения, еще недавно встречавшего белую армию восторженно, как избавительницу от большевиков.

Снабжение, обещанное давным-давно англичанами, все не прибывало, и настроение падало. Английский генерал Марч передает в ультимативной форме приказание Юденичу о сформировании в Ревеле Северо-Западного русского правительства, причем был дан список лиц, обязанных войти в состав этого правительства, и, кстати, между ними имя Николая Иванова. Была в этом приказании и угроза: «Если это правительство не будет сформировано в течение сорока минут, то всякая поддержка русской армии будет немедленно прекращена».

Ах! попадала ли когда-нибудь дружественная армия в такие жестокие, злые и оскорбительные тиски?

Переломным событием можно считать появление в Нарве первых эшелонов ливенцев, принадлежавших к той добровольческой дивизии, которую сформировал в Либаве светлейший князь А.П.Ливен.

Необычна и, пожалуй, даже трогательна была история создания Ливенской дивизии.

После Бреста генерал фон дер Гольц решил снять оккупацию Прибалтики: не так для него была опасна борьба с большевиками, как моральное развращение его немецких солдат – следствие пресловутых братаний, проигранной войны и долгого безделья в чужом крае. Он был не из тех исторических германских политиков, которые готовы были бы впустить в свою страну большевиков, чтобы заразить ее, заразить всю Европу и после того овладеть ею. Фон дер Гольц знал, что победа над большевиками возвратит жизнь России, а вместе с тем расчистит путь к примирению держав. Потому-то он не только не препятствовал князю Ливену формировать и обучать белые отряды, но даже оказывал ему всевозможную помощь и дал русским солдатам самое отличное снаряжение.

Появление первых ливенцев в Нарве произвело удивление, восторг, переполох: в чьих-то записках я читал, что даже – зависть. Я думаю, что у солдат это чувство было совсем другого цвета, вроде того что: «А вот нашим не удалось!» Удивительно резко сказалась эта разница между нарвскими и ливенскими солдатами на другой день после прихода ливенцев. В этот день надлежало произойти какому-то очередному официальному сборищу: обеду? рауту? заседанию? – я не знаю и не знаю также, чей острый и смелый ум изобрел к этому дню великолепную инсценировку. Не тот ли полковник Пруссинг, которого как знающего прекрасно английский язык посылали для рискованных объяснений к ужасным Гогу и Магогу, к страшным генералам Марчу и Гоффу, и который – когда надменные англичане позволяли себе возвысить голос в разговоре с русским штаб-офицером – начинал на них кричать так, как англичанин не отважится кричать даже на негра! Не тот ли Пруссинг, требованиям которого всегда уступали, ворча, оба

британских самодура; уступали и говорили потом на ушко русским полководцам: вот полковник Пруссинг у вас — это настоящий офицер.

Решено было поставить у крыльца того дома, где предполагались торжества, двойной почетный караул. Слева — от ливенцев, справа — от любой нарвской роты.

И вот стали подъезжать кареты с англичанами, французами и русским генералитетом в орденах. Впечатление — дикое. Слева стоит взвод выровненных, точно по ниточке, красавцев. Темно-синие мундиры, высокие блестящие сапоги, каски-шлемы, взоры ясные и смелые, морды толстые. А справа — одно недоразумение. Откуда взяли, из какого Мейнингского театра, из какого дворца чудес, из какой вяземской лавры этих жалких михрюток, как будто только что выловленных из помойной ямы; грязных, босых или полубосых, кто в лаптях, кто в дамских разорванных ботинках, с рваными рукавами и со штанами, махровыми, как у пуделя. И все — бледные, испитые, слабые от недоедания.

Дипломатия прежде всего рекомендует ничему не удивляться и во всех внезапных случаях прежде всего хранить спасительное молчание. Но ведь бывают же иногда настоль потрясающие явления и события, что перед ними не устоит ни железное сердце, ни пробковая голова присяжного дипломата.

Кто-то из знатных гостей иностранцев спросил неуверенно:

— Но почему же вот эти такие, а вот эти такие?

Тогда чей-то твердый голос громко произнес сначала по-французски, а потом по-английски, ясно отчеканивая каждое слово, каждую букву:

— Это обмундирование, что вы видите налево, нам дали наши вчерашние враги — немцы. А то отрепье — наши старые друзья и союзники.

Словом, «воцарилось неловкое молчание», как писалось в давнишних романах. Знатные иностранцы так торопились поскорее уйти от этого разительно-контрастного зрелища, что на каменных ступенях лестницы образовался затор.

Видите ли, бывало иногда в детстве, что тебе толкуют, толкуют целый день какую-нибудь математиче-

скую истину, а ты, хоть убей тебя, все меньше и меньше ее понимаешь, хотя уже давно у тебя пар вьется над головой. И вдруг учитель озлобится, плюнет и укажет тебе в двух грубых словах правильный подход. Не знаю, вследствие ли урока с почетным караулом или просто в силу естественного течения обстоятельств, но все-таки через десять дней прибыл первый пароход с вооружением и снаряжением. Но одно я знаю: на французских и американских представителей этот показательный фильм произвел густое впечатление, всю мощность которого они показали позднее...

Сказано давно: породистый кот особенно хорошо ловит мышей, когда он сыт. Про солдата можно тоже сказать: он гораздо лучше дерется, когда сыт, обут и одет. Глуп был тот сказочный полководец, который говорил: «А я своим солдатам четыре дня есть не дам, так они тебя, распротакого-то сына, живьем с костями сожрут и назад не вернут». Плохая игра, когда солдат между голодом и палкой...

И вот, после волшебного парохода, приоделись, помылись, наелись давешние растрепанные михрютки, стали в стройные ряды, и куда же их, прежних, узнать было! Вместо безделья ясно перед ними была начертана прямая линия. Идем на Петербург. Долой большевиков. Пусть Россия оправится, передохнёт и, не торопясь, подумает, как ей управиться.

Колоннами, почти без связи, но прямо на северную звезду поперли вчерашние михрютки — теперешние герои — сквозь междуозерные пространства, а перед ними в ужасе бежала красная армия. И не то ее пугало, что белый враг неутомим, а то, о чем с горечью в донесении писал комиссар: идут, черт бы их побрал, с песнями.

Первым же выступил 1-й батальон ливенцев.

Мне пришлось, два года назад, написать и поместить в «Возрождении» в виде фельетона почти все, чему я был свидетель и что я слышал от лиц достоверных о самоотверженном стремительном наступлении Северо-Западной армии в 1919 году на Петербург и об ее упорном, геройском и трагическом отступлении. Позднее я собрал эти статьи в отдельную

книгу, которую выпустил в свет под общим заглавием «Купол Св. Исаакия Далматского». Поэтому, не желая повторяться и боясь наскучить, я не буду говорить ни о подвигах Северо-Западной армии, ни о ее великодушии.

Но, признаюсь, меня всегда волновала и раздражала своей несправедливостью почти всеобщая привычка эмигрантов говорить огулом и непременно лишь дурное и злое о всех белых армиях. А не они ли, эти многострадальные армии, вынесли на своих плечах этих брюзгливых беженцев из большевистского ада?.. Да и не видели ли брюзги всего-навсего один тыл, изнанку войны, которая всегда и везде не без крови и грязи?

Я помню суровый, морозный конец ноября 1919 года. Отдельные воинские части Северо-Западной армии, сильно поредевшие от непрестанных боев, от повального тифа и свирепых морозов, еще дрались вместе с эстонцами против большевиков на подступах к Нарве, дрались с отчаянием раненого льва, а клевета уже начинала пачкать их славные имена. Была в Ревеле такая социал-демократическая газетка на русском языке (не «Свобода России» ли?), ее издавал Дюшен, ближайшим сотрудником был Кирдецов. Оба – личности довольно громко и весьма печально известные в печати и ныне нашедшие свое место у большевиков. Еще работал в этой газете какой-то грязнолиций недоросль Башкиров, весь развинченный и всегда мокроносый, с желтыми глазами. Пока в Эстонии находилось много белых, еще не разоруженных окончательно, они язвили несчастную армию потихоньку, с придушенным змеиным шипением. Но когда они убедились в том, что жалкие остатки этой армии совершенно обессилены и что эстонцы открыто проявляют к ним ненависть, они перестали стесняться, и каждый номер их газеты был переполнен клеветой, издевательством и ложью по адресу белой армии, которую сплошь обвиняли в грабительстве, насилии, повальном пьянстве и грабеже населения. А сами они, между тем, из спокойного Ревеля ни разу не высовывали носов. Теперь-то известно, ради каких будущих благ они вели свое гнусное дело.

Своим сдобным тенорком к ним присоединил голос ныне покойный Арабажин в гельсингфорской газете «Русская жизнь». Тот уж совсем ровно ничего не видел и не слышал, ибо от природы был лишен этих способностей. Неизвестно почему он сделал себя принципиальным врагом белого движения, но все глумливые, позорные наветы на Северо-Западную армию он целиком перепечатывал из дюшеновской газеты, в пользу и осведомление как финских, так и шведских газет Гельсингфорса. Ах, печать — обоюдоострое оружие! Она несет с собою свет, знание, гласность, справедливость, но она же, подобно базарной торговке, усердно разносит по всему миру грязь, сплетню, каверзу, клевету, раздувая горчичное семя до размеров цеппелина.

На меня лично вся краткая эпопея с Северо-Западной армией произвела глубокое, неизгладимое впечатление высоты духа, святой любви к родине, крепкого мужского покровительства людям измотавшимся, исстрадавшимся под бессмысленной, своевольной тиранией большевиков. Но все-таки, работая над «Куполом Св. Исаакия», я сам для себя хотел избежать ошибок и односторонности. Вот почему у многих десятков людей, на чей опыт, знание и правдивость я мог опереться, я не уставал расспрашивать о фактах и впечатлениях, касающихся Северо-Западной армии, и всегда радовался тому, что стою на верном пути.

По той же причине, едва только мне удалось познакомиться с доктором Бровцыным, с этим высоким хладнокровным уверенным человеком, то сразу взял его в плен и взял на несколько вечеров.

Он говорил охотно, но совершенно спокойно, и я чувствовал, что его небрежная и точная простота гораздо глубже моего пафоса.

Он говорил:

— Я согласен с вами — да и зачем собирать мелочи? Возьмите вы хоть такое, например, явление, которое для нас было обыденным: ведь при отступлении нам волей-неволей приходилось возвращаться вспять по тем же самым прежним дорогам, через те же села, деревни и хутора, в которых мы останавли-

вались при нашем наскоке на Петербург. Возвращались мы разбитые, усталые, обтрепанные, грязные, теснимые сзади красноармейцами, и что же? Нигде мы не слыхали грубого слова или попрека, не видели злого или насмешливого лица. «Ну, Бог даст, в следующий раз дойдете, всегда ведь до трех раз ждать нужно».

Идя туда, мы их потчевали салом и белым американским хлебом. Теперь они нас угощали ржаным караваем и отсыпали из кисетов махорку. Часто предлагали и, конечно бесплатно, подводы под больных. Когда уходили с ночлега, бабы крестили нас и плакали... точно по покойникам. Ну, какая же здесь ненависть населения, я вас спрашиваю?

Я глядел на Петра Николаевича с восторгом и благодарностью.

— А вот они, подлецы, — сказал я, — кричали о грабеже и краже.

— Пустое. Никаких краж не было, совсем другое было в сердцах.

Доктор помолчал немного и вдруг с лукавой полуулыбкой протянул:

— Впрочем...

— Что — впрочем, Петр Николаевич?

— Впрочем... — и полная веселая улыбка осветила его лицо. — Впрочем, случилась раз одна кража и даже в моем присутствии.

— Неужели?

— Да, уж это верно я вам говорю. И не только я был ее свидетелем, но, откровенно говорю, и участником. Вот я вам расскажу по порядку.

Знаю я, что вы в свое время дослужились до подпоручика, или, пожалуй, даже до поручика, но ведь и я не простой рядовой стрелок, а, берите выше, фейерверкер, командир отделения. Жил со своими ребятами дружно. Держал их на тугих вожжах, но, когда надобно, держал мягко. Особенно близко почему-то привязались ко мне два брата Колосовых, оба талабские рыбаки, огромного роста. Они были истинные колоссы. Я, как видите, порядочная орясина, но им обоим только по плечо подходил. Всюду они за мной путались: и в бою, и на походе, и на ночлегах, как два

оруженосца или как два громадных меделяна. Услужливы были, как няньки, а об их изобретательности нечего и говорить: одно слово, талабские рыбаки, «пскапские».

Почему я им так уж особенно понравился, трудно сказать. Язык, что ли, у меня так ладно подвешен? Или характер мой ровный им понравился? Или оттого, что я никогда не ныл и не киснул? А может быть, и то их поразило, что я так ловко перевязывал случайные раны и вправлял вывихи. Ведь никто в полку не знал о том, что я врач. Когда записывался, сказал просто: «Бровцын, Петр». А мне ответили: «Ступай во вторую роту, явись фельдфебелю». И все. Паспорт у нас не пользовался большим уважением. Хороший ты солдат — иди к котлу, братом будешь; плохой — за хвост и из компании вон. Быть одновременно врачом и солдатом мне не хотелось и по сердцу, и по логике. Одно из двух: либо дырявь, либо штопай. Вот почему я посильную медицинскую помощь оказывал по секрету, как бы контрабандой. Позднее моя тайна как-то добежала до штаба, и ничего из этого хорошего не вышло. Жил я с солдатами премило. Полагаю я, что мое знахарское искусство и прельстило так просторных талабских рыбарей.

Вот как случилась эта кража. Отступали мы. Гатчина. Колпино и Волосово остались далеко за нами. Шли мы, конечно, не в строевом порядке, а вразброд, кучками, держа взаимную связь каким-то привычным верхним чутьем... Ужасный был день. Болотный тонкий лед ломался под ногами, грязища и холод чертовские. Со вчерашнего дня ни крошки во рту не было. Идем втроем, молчим и от голода слюну глотаем. Вдруг видим, в стороне от дороги маленький отдельный хуторок. Мы — туда. Смотрим в окно. Видим, варистая печь пылает, а перед печью вся в красном огне здоровенная, дебелая «пскапская» бабища. Засучила рукава, да под саму мышку, и хлеба печет. Четыре хлеба уже положила стопкой, а пятый стоит, наклонно прислонясь к челу: это она нас заслышала, не поспела положить. Мы постучались. Отворила дверь.

— Чего нужно? — голос неласковый.

Мы здороваемся.

— Здравствуйте и вы. Чего надоть?

Старший Колосов говорит:

— Добрая женщина, нам бы хлебца немного, совсем оголодали. С большевиками мы за Петербург... дрались... Белые мы...

Она сразу взъелась.

— Много вас тут шляется по дорогам — белые, красные, желтые, синие... Мне на это наплевать. Сами скоро за милостыней пойдем.

Тут пришел мой черед вступиться.

— Красавица, — говорю я ей. — Вы же не думаете, что мы хотим бесплатно. Возьмите денег, сколько хотите. — И протягиваю ей толстую пачку юденических крылаток.

Та едва взглянула.

— А что я с твоими бумажками делать буду? Оклеивать, что ли, избу или... — Тут она ввернула два словечка очень метких, но совсем неупотребляемых в порядочном обществе. — Дал бы царских — был бы другой разговор. Проходите. Не застите.

Однако я упорствовал.

— В таком случае, сердитая хозяюшка, может возьмете часы?

— Покажи.

Я снимаю с запястья мои никелевые оксидированные часы, в которых давно уже отошла чернь и проступила жестяная белизна металла и матерчатый браслет весь обомшел и растрепался.

— Нашел тоже! Если бы еще золотые. Сказала нет — и нет.

Но тут деликатно вмешался младший Колосов. Учтивым сладким тенорком, кокетливо изгибая шею, он сказал:

— Тетенька, а если бы мыльца мы вам предложили, что на это изволите сказать?

Баба умякла.

— Мыло? Это совсем другая вещь, это дело.

— Только, тетенька, — еще нежнее запел Колосов, — уж очень мне неловко. У меня не цельный кусок, а так себе, обмылочек.

— Ладно, ладно, показывай.

Посмотрела внимательно, мотнула головой:

— Невелик обмылочек, а все-таки в хозяйстве пригодится. Ну, давай, что ли.

Отрезала она ломоть от каравая. Свирепой нам эта баба сначала показалась, а как стала резать хлеб, то мы и увидели, что она предобрая. Начала резать узко, а под конец все шире да шире. Это уж такая верная примета. А суровость она нарочно на себя напускала. Просто пособачиться захотела.

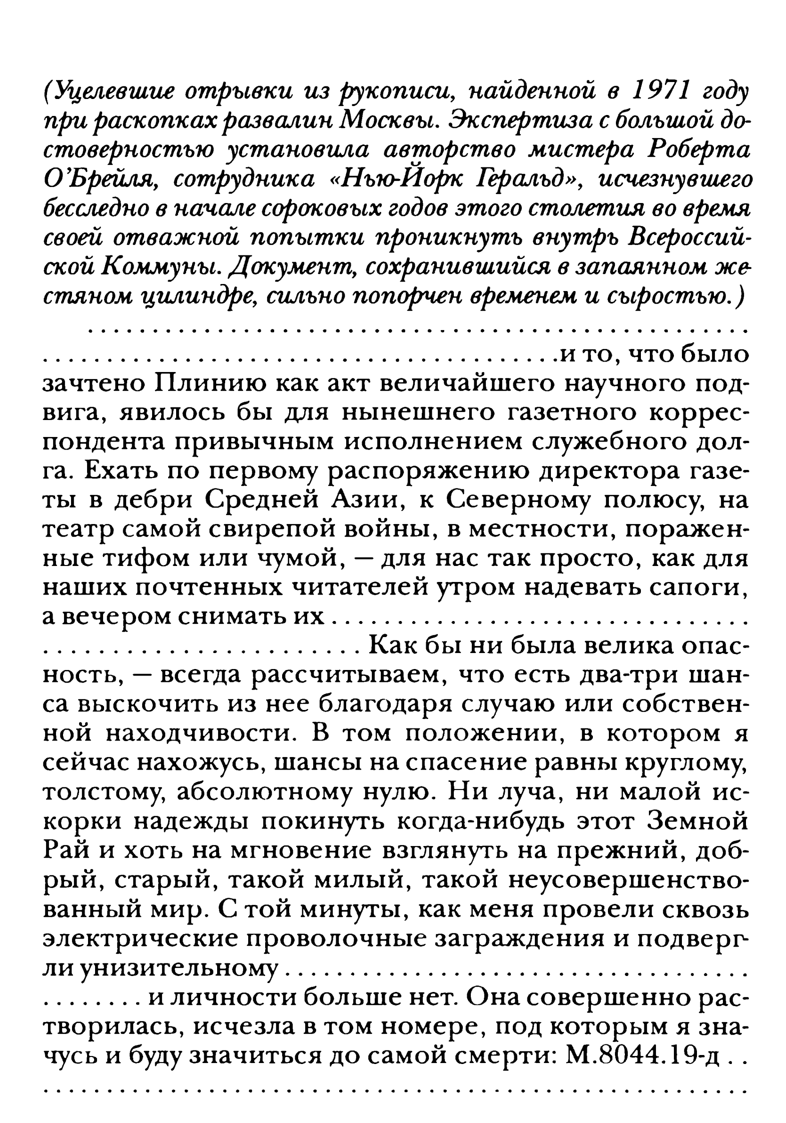
Вышли мы из избы. Сели на бревна, а дальше идти уж терпения не было. Разрезали краюху на равные части. Жуем, а от наслаждения даже жмуримся. Хлеб теплый, круто замешанный, мягкий, пахучий. Наелись досыта, воды достали из колодца, испили. Только вдруг я себя хлопнул ладонью по лбу.

— Колосов, а где же ты обмылок-то достал?

А того уже в сон клонит, отвечает лениво:

— Обмылочек-то? Да у ей же, на рукомойнике.

Рай



(Уцелевшие отрывки из рукописи, найденной в 1971 году при раскопках развалин Москвы. Экспертиза с большой достоверностью установила авторство мистера Роберта О'Брейля, сотрудника «Нью-Йорк Геральд», исчезнувшего бесследно в начале сороковых годов этого столетия во время своей отважной попытки проникнуть внутрь Всероссийской Коммуны. Документ, сохранившийся в запаянном жестяном цилиндре, сильно попорчен временем и сыростью.)

. . . .

. . . . и то, что было зачтено Плинию как акт величайшего научного подвига, явилось бы для нынешнего газетного корреспондента привычным исполнением служебного долга. Ехать по первому распоряжению директора газеты в дебри Средней Азии, к Северному полюсу, на театр самой свирепой войны, в местности, пораженные тифом или чумой, — для нас так просто, как для наших почтенных читателей утром надевать сапоги, а вечером снимать их . . . .

. . . . Как бы ни была велика опасность, — всегда рассчитываем, что есть два-три шанса выскочить из нее благодаря случаю или собственной находчивости. В том положении, в котором я сейчас нахожусь, шансы на спасение равны круглому, толстому, абсолютному нулю. Ни луча, ни малой искорки надежды покинуть когда-нибудь этот Земной Рай и хоть на мгновение взглянуть на прежний, добрый, старый, такой милый, такой неусовершенствованный мир. С той минуты, как меня провели сквозь электрические проволочные заграждения и подвергли унизительному . . . .

. . . . и личности больше нет. Она совершенно растворилась, исчезла в том номере, под которым я значусь и буду значиться до самой смерти: М.8044.19-д . .

. . . .

. . . .
. . . . Весь внутренний и внешний смысл здешней жизни можно выразить двумя словами: равенство и электрификация . . . .

. . . .
. . . . Мужчины и женщины работают вместе, но живут отдельно. И те, и другие одеты одинаково, в серое сукно: серая куртка, серые штаны, серый, круглый, без козырька картуз, серая обувь; для отличия на спине простой краской напечатаны — номер подподсекции, кроме того — буквы М или Ж, в зависимости от пола.

Во избежание соревнования и недовольства совсем уничтожено прежнее разделение на брюнетов и блондинов, шатенов и рыжих, курчавых и плешивых. Каждое утро на головах и лицах всех членов коммуны истребляется вся волосяная растительность. Операция эта производится с помощью электрических выжиганий; она безболезненна и занимает не более пяти секунд . . . . стремятся путем дозировки труда, пищи и некоторых лекарств достигнуть одинакового веса для лиц одного пола и возраста, дабы не было поводов к хвастовству и зависти. Я состою в категории 4 п. 12 ф. Допускаются колебания в пределах десяти золотников. Завтра вторник; мне предстоит очередное взвешивание; по состоянию моего здоровья я уже предвижу, что всю следующую неделю мне придется принимать на ночь «Каскар Саграда» . . . . но число слов, употребляемых членами коммуны, строго ограничено законным максимумом. Так, в прошлом году наш разговорный лексикон вмещал в себя сто тридцать пять коренных слов, декретом же этого года он сведен к девяноста словам, между которыми, впрочем, добрая половина — излишняя роскошь . . . .

. . . .

. . . .
Пейзаж и природа признаны вредно действующими на нервы и характеры. В основу построек и планировки зданий легли: куб, квадрат и прямая линия. Деревья и цветы не упоминаются даже в разговорах — их больше нет . . . .

. . . .

. . . .

Восемь часов – у станков и тракторов, приводимых в движение электричеством. Три часа – на все естественные потребности (мытье, еду, отдых и пр.). Четыре часа – на воинские упражнения; женщины отдельно от мужчин. Три часа – на изучение теории Маркса в популярном изложении Энгельса и на очередной митинг с заранее указанными темой и резолюцией. Один час – на общественную исповедь, которая состоит в том, что каждый коммунист-стка докладывают секретно своему ячейному товарищу (эти – кучковым, а те – групповым и т. д.) как о собственных своих греховных, антикоммунистических словах, делах и помышлениях, сотворенных за день, так и, особенно, о поступках и предполагаемых мыслях своих товарищей по работе и ночлегу . . . .
. . . . На сон шесть часов. Мужчины спят в своих казармах, женщины – в своих. Спальные камеры, круглые, с определенными нумерованными местами. Придя для ночлега, все в строго точный час, минуту и секунду ложатся на пол, на круглую подстилку, звездообразно, ногами в середину, головами наружу, обязательно на правый бок. Раздается звук гонга; сверху, с потолка, спускается общее, коммунальное ватное одеяло. В тот же миг электричество гаснет, и наступает обязательное безмолвие. Видеть сны строжайше воспрещается. В три часа утра коммунное одеяло, по гонгу, взвивается вверх

. . . .

. . . .

Повсюду на стенах рабочих отделений висят плакаты: «Человек может сработать в пять раз больше того, что ему позволяют его силы, коммунист – вдесятеро». Поэтому во время работы всякий из нас незаметно соединен электрическим проводом с главной станцией, где отдельные механические счетчики указывают интенсивность работы каждого станка. В случае ослабления энергии в одном, данном месте – все равно, будь это от лени, усталости или болезни – туда немедленно пускается страшной мощности ток, производящий на человека чрезвычайно воз-

буждающее и крайне болевое впечатление, и указатель счетчика мгновенно поднимается до общего уровня. Был случай, что один рабочий, скончавшийся за станком от разрыва сердца, продолжал механически работать еще полтора часа после своей физической смерти, под действием этого тока. Был и другой случай: сто двадцать рабочих одного отделения успели каким-то чудом столковаться между собой, чтобы ради отдыха поработать хоть один день в половину обычного, крайнего напряжения сил. Между ними один оказался предателем. Ради будущей выгоды он работал вовсю, и разница с его счетчиком выдала надсмотрщикам эту итальянскую забастовку. Все сто двадцать, кроме одного, были, как молнией с неба, убиты коротким электрическим ударом . . . .

. . . .

Едим три раза в день: утром и вечером сухие галеты из белковых веществ, среди дня — обед. Обедаем сообща (девиз коммуны: «Никогда одиночество») за длинными мраморными столами, в которых сделаны выемки в форме глубоких тарелок, а сбоку на цепочках прикреплены ложки. Ровно в полдень, по звонку, миски эти механически наполняются снизу единообразной густой похлебкой или кашицей, содержащей в себе размельченными (во избежание неравенства порций) все необходимые элементы питания. У каждого под мышкой цилиндрический сосуд с наконечником — подобие старинного клизопомпа. Если кто-нибудь бывает замечен в болтовне и склонности к веселью или уличается в намерении зачерпнуть ложкой у соседа, инспектор подходит к нему, опускает клизопомп в его размазню, и — фьють — тарелка разом пустеет. Перед каждой едой и после нее дежурный староста читает вслух, по обиходу, отрывки из Коммунистического Манифеста . . . .

. . . .

. . . .

. . . . но весной, в месяц Любви, некоторых из нас отправляют на сборные случные пункты, где товарищи, заведующие специально половой статистикой, распределяют . . . . большие залы, украшенные портретами прародителей и от-

4—2586

цов Великой революции . . . .

. . . . детей мы никогда не видим, так же как и глубоких стариков. Человек «изработавшийся» как-то сам собою внезапно исчезает в одно прекрасное для него утро. Подобно им исчезают и товарищи с непокорным выражением лица. В такие дни наши похлебки бывают наваристее . . . .

. . . . ибо существуют особые кабинеты для чтения мыслей при помощи остроумных электрических приборов . . . .

. . . .

В стороне от расположения коммунистического поселка над ровной плоскостью и строгими рядами казарм возвышается до неба железная башня. Там сосредоточены электрические машины, откуда передаются сигналы, и там-то живут Они, Неназываемые, Владыки, Божественные, о которых не разрешается не только говорить, но и думать. От них — пища, и вода, и свет, и тепло, и работа, и вся наша жизнь, и наша смерть. Когда они на своих воздушных машинах пролетают над поселком, мы при первом же звуке винта падаем на землю, и закрываем лицо руками, и лежим так, стараясь не дышать до тех пор . . . .

. . . .

. . . . О тех трудностях, с которыми я достал кусок кости и немного тонкой бумаги... Чернила я составил . . . .

. . . .

Встреча

Судьба вновь столкнула меня в Париже со старинным знакомым, бывшим (?) сенатором Л. Не видались мы около двадцати лет, как раз со времени назначения его виленским губернатором, кажется, в 1903 году. Пост свой он принял в самое тяжелое, сумбурное, глупое и дикое время. Тогда все явления жизни как-то вдруг кошмарно переплелись, сдвинулись и взгромоздились: крах японской кампании, лиги любви, экспроприации, повальная мания самоубийств, революция, погромы, Гапон, карательные экспедиции, Дума и ее разгон, Союз русского народа, бомбометатели. Такой дьявольской мешанины — смешной и страшной, — я думаю, не видала мировая история. Восстановить ее в точном эпическом изображении немыслимо. Просто — была бурда.

В то время вновь назначаемые губернаторы по приезде в свой город даже не раскладывали дорожных чемоданов. Все равно, срок службы — от недели до месяца, а там либо переместят, либо вежливо прикажут подать в отставку, либо убьют брошенной бомбой...

Признаюсь, когда я узнал о почетном назначении Л., я почувствовал жалость и участие к нему. «Ну вот, — думал я, — и погибла ни за что если не жизнь, то карьера умного, доброго, честного человека. Много ли их у нас».

Он был (впрочем, и остался) самым очаровательным собеседником и самым прелестным рассказчиком изо всех, кого я слушал в жизни. В нем совмещались такт и вежливость, а это не всегда случается. Он был любезен, внимателен и добр, и никогда он не обнадеживал понапрасну и не обещал более того, что может.

А сделать он мог очень многое, по своему положению правителя канцелярии министра внутренних

дел, и, действительно, многое делал. Еще до сих пор живы некоторые партийные люди, которым он, своими ходатайствами, облегчал или смягчал участь. При мне происходил один разговор с его свойственницей, издательницей журнала «Мир Божий» Давыдовой.

«Дорогая Александра Аркадьевна, – говорил Л. убедительно и ласково, – вы сами знаете, что я монархист не только по службе, но и по убеждениям и по традициям моих предков! Скажу даже, если хотите, – левый, либеральный монархист, в духе, скажем, сподвижников реформ Александра II. Но вы видите: я не отказываюсь хлопотать за ваших молодых длинноволосых бунтарей. И делаю это по совести. Я рассуждаю: у юноши кипит кровь и воспалено всяческое воображение. Он сам еще не знает толком, чем ему хочется быть: Равальяком, Следопытом, Шерлоком Холмсом? Зачем ожесточать его сердце излишней суровостью или дать его душе окаменеть в скитаниях по тюрьмам. Может быть, вернувшись в семейное лоно, он успеет отмякнуть и одуматься. Глядишь – в будущем – исправный столоначальник. Только уж очень прошу вас, дорогая, не заставляйте меня просить за очерствелых, закоренелых врагов правительства. Совсем лишняя с ними трата времени... Да и мой кредит падет. Вы ведь сами понимаете, что влияние – вещь весьма быстро выдыхающаяся от частого употребления».

Нельзя обойти молчанием еще одно явление, характерное для личности Л.: ни в то время, ни позднее мне не приходилось слышать о Л. дурных или кривых отзывов от его современников, крупных бюрократов. А ведь Л. не имел за своей спиной никакой сильной подпоры, сделав свою карьеру исключительно трудолюбием, умом, знанием и выдержанным характером.

Была в нем еще одна черта: ее я понял гораздо позже: в нем под естественной любезностью и непритворным добродушием жила мягкая, но большая и упорная воля.

* * *

К моему и общему удивлению, Л. избежал всеобщей тогда участи калифов на час. Он продержался на своем посту не только роковой месяц, но год, два, четыре года, шесть лет... Положение его было особенно тяжелое и опасное потому, что в литовской области неприязненно сталкивались разнонародные интересы и страсти. Остро стоял еврейский вопрос. Русские шовинисты точили зубы на поляков. Поляки отвечали надменно-презрительным фырканьем и скрытою ненавистью. Происходили постоянные неприятные трения между православным и католическим духовенством. Надо прибавить еще тогдашнюю раздерганность, шаткость и переменчивость правительства. Поистине: усидеть столько времени на столь шатком и валком месте мог только государственный муж, обладающий одновременно мудростью змия, кротостью агнца, силою слона и мужеством льва. С изумлением и радостью мы убедились, что за все время, пока губернаторствовал Л., в литовской сатрапии не было слышно ни о погромах, ни о карательных экспедициях, ни о покушениях, ни о вооруженных усмирениях. Литва была каким-то тихим островом среди колыхающегося мертвой зыбью всероссийского моря.

* * *

И вот, спустя двадцать лет, в Париже, мы сидим за чашкой чая и мирно беседуем. Давно известен разговор двух русских беженцев, которых надолго разлучила и внезапно свела судьба. Сначала – кто в какой тюрьме сидел, потом – кто каким образом бежал. Охотно сходимся в том, что во всех наших злоключениях нередко присутствовали два элемента: чистая доброта человеческой души и чудеса счастливого случая.

Затем я умолкаю и только слушаю, подчиняясь давнишнему очарованию, как бы развернувшему двадцатилетнюю толщу времени. Часто ловлю себя на том, что мое лицо отражает невольно мимику рассказчика, или на том, что от напряженного внима-

ния я слегка приоткрыл рот, как это делают заслушавшиеся дети. Что за человек! В нем – крупный, несомненно крупный администратор, и талантливый комедийный артист, и тонко наблюдательный художник. Но ни на одного из них он не похож, и его простой, непринужденный, прелестный рассказ никак не разложить на составные части.

– Я мог бы занять кафедру специально по тюрьмоведению, – говорит, слегка улыбаясь, Л. – Я пересидел решительно во всех петербургских тюрьмах: в Петропавловской крепости, в Дерябинской, на Шпалерной и на Гороховой.

– Бывали жуткие моменты?

– Конечно, бывало страшно, – глаза Л. тихо-серьезны. – Но мне всегда была поддержкой моя глубокая и твердая вера. Без нее я, конечно, сошел бы с ума.

Я не могу сдержать любопытства. Говорю:

– У вас всегда в руках был серьезный козырь: ваше губернаторство в Вильно...

– Представьте, как-то не догадывался, забывал. Но это пришло само собой и в очень трудную минуту.

В Чека меня продержали очень долго. Не стану описывать этого сидения. Вы сами тысячу раз слышали и читали. Ничего нового и интересного.

Таскали меня много раз на допросы. Часто по ночам. Им трудно было со мною. У меня не было никакой системы, кроме правды. На моей совести я не чувствовал ни одного бесчестного или злого поступка. Народную кровь не пил ни прямо, ни косвенно...

Повели, наконец, на суд Чрезвычайной комиссии, здесь же, в здании на Гороховой. Я знал, что это смерть, и был готов встретить ее как христианин.

Председатель суда Иссерлис, еврей. Члены президиума: русский и латыш. Все три носят имена, самое название которых повергает в содрогание и ужас: люди беспощадной жестокости. Судей шестеро: четыре еврея; национальности двух я не определил – было не до того.

После неизбежных, весьма упрощенных формальностей председатель задает мне совсем необычай-

ный вопрос: «А скажите, товарищ, где вы были и чем занимались 13 числа такого-то месяца и года?»

Я растерялся. Память у меня четкая, но не до такой инструментальной остроты. Напрягаю ее изо всех сил. Тщетно.

«На этот вопрос я затрудняюсь сейчас ответить. Не помню. Забыл». – «Ага! Забыли? А может быть, вы, товарищ, попробуете припомнить способом, который я вам подскажу. Скажите, товарищ, в числах, близких к этому дню, не испытывали ли вы нечто похожее на душевное волнение, на раскаяние, на угрызение совести? Может быть, ваша слабая память оживляется?»

Пробегаю быстро возможные случаи этого времени. Пустота. Лезут в голову смешные мелочи. Говорю: «Решительно не помню».

«Так-с? Не помните? Такого ужасного события не помните? Товарищи судьи! Товарищ Л. легкомысленно забыл, что в этот роковой, ужасный день совершился кровавый Кишиневский погром, когда, по приказанию царского правительства, были зарезаны сотни и тысячи беззащитных невинных жителей!»

Мельком взглядываю на судей. Их глаза тоже устремлены на меня. Погиб!

«А скажите суду, товарищ, какую должность вы занимали в это время?» – «Должность правителя канцелярии министра внутренних дел». – «Так-с. И вам, несомненно, как лицу, самому близкому к министру, не могло быть неизвестным, что погром был устроен именно министром, так же как для нас совершенно невероятным кажется, чтобы вы, как лицо самое доверенное при министре, могли не участвовать в разработке этого адского, этого чудовищного, этого братоубийственного плана. Что вы на это ответите, товарищ?»

Я сказал все, что мог, стараясь сохранить спокойное достоинство.

Для самого министра погром явился новостью, он узнал о нем лишь спустя два дня. Но если бы даже допустить, что план погрома действительно существовал, то я не мог ни знать о нем, ни помогать в его разработке. На моих руках была исключительно кан-

целярская часть. Дела охраны и политического розыска находились совершенно в другом ведении. Мы, чиновники канцелярии, знали о них не более чем первый человек, взятый с улицы.

«Ага. Прекрасно. А скажите теперь нам, товарищ...»

Этих «а скажите, товарищ» было много, мне казалось, бесконечно много. Правдивые мои ответы вызывали у суда кривые насмешливые улыбки. Я тону, тону. Вода доходила мне до рта.

Утомившись однообразием допроса, председатель произнес, наконец, страшную обличительную речь. Я оказался и погромщиком, и врагом пролетариата, и наемным убийцей, и кровопийцей, и угнетателем народа. Обращаясь к суду, он надеялся, что после совещания товарищи судьи вынесут мне тягчайшую меру наказания как квалифицированному преступнику.

У меня пересохло горло. Я шептал про себя молитву и вдруг...

Среди судей вдруг поднялся маленький, пожилой, весьма скромный еврейчик. «Товарищ председатель, могу я задавать подсудимому один вопрос?» — «Ваше право. товарищ судья. Прошу». — «Будьте добры, товарищ Л. Вы меня не помните?»

Нет, я и его не помнил. Господи! Сколько миллионов лиц я перевидал за мою долгую жизнь! Отвечаю со всей любезностью, допустимой местом и обстоятельствами: «Простите, пожалуйста. Но не могу вспомнить». — «Так-таки да? Не помните?» Тон его слов мне совсем непонятен. Скорее, что-то притаившееся, лукавое... Предсмертное томление овладевает моим телом. Вот вишу на тончайшем волоске. И сию минуту его перережет одним словом этот невзрачный непроницаемый человек. «Нет?» — «Нет. Извините». — «И таки совсем, совсем не помните?»

Молчу. Устал.

Тогда он обращается ко мне словами (не тоном) председателя: «А скажите, товарищ... не вспомните ли вы тот факт, что вы были виленским губернатором?» — «Да. Был». — «Тогда, может быть, вы вспомните, как вы уезжали из Вильно. Совсем уезжали». —

«Отлично помню». — «Может быть, товарищ, вы вспомните и тот факт, когда виленские рабочие поднесли вам адрес?»

Я ощущаю прилив тепла к голове. Лицо еврейчика начинает мне казаться смутно знакомым.

«Как же мне не помнить? Я храню этот адрес, как самую драгоценную награду изо всех, какие я получал в моей жизни». — «Ага! Так, может быть, вы не позабыли, товарищ, что в делегации было ровно семь делегатов? Два русских, два поляка и три еврея». — «Помню и никогда не забуду». — «Так третий еврейчик — это был я. Только я не сказал ни одного слова и стоял сзади». И, повернувшись к председателю, закончил важно: «Больше вопросов не имею».

Суд пошел совещаться. Меня конвойные вывели в другую, в пустую комнату. Я начал оттаивать... А вдруг Божья милость?..

Потом позвали. Я вошел вместе с конвойными.

«Ввиду недостатка улик (и еще чего-то), направить дело к доследованию. Подсудимого отправить в Дерябинскую тюрьму».

Я тонул. Еще вздох — и захлебнусь. И вдруг чья-то рука вытащила меня на воздух. Дерябинская — да ведь это рай! Выходя, я обернулся назад. Мой еврейчик, весь сморщившись, подмигивал мне одним глазом с непередаваемо хитрым выражением.

Ну вот, видите: остался жив и беседую с вами.

* * *

Да, в этом рассказе были и чудо случая, и благодарная память сердца.

Островок

Три года тому назад получил я приглашение на открытие «русской колонии для детей беженцев», устраиваемой С. В. Денисовой и ее младшей дочерью Н. Н. Денисовой в Мэри на Уазе, километрах в двадцати пяти от Парижа. В письме были точно указаны день и час скромного торжества и даже удобнейший поезд из Парижа.

Но именно в этот-то день я и не мог выехать из Севра, где тогда жил. Не мог по самой прозаической из прозаических эмигрантских причин. О ней легко догадаться, принимая во внимание дорогу от Севра до Мэри и обратно, хотя бы в третьем классе.

А поехать очень хотелось. Об этой колонии я уже много слышал. Признаюсь, почти непреоборимыми казались мне трудности, которые лежали на пути к цели, поставленной перед собою обеими женщинами: выбрать из несчастного беженского месива самых осиротелых, самых нуждающихся, самых заброшенных, самых одичалых детей, приютить их и накормить; согреть и оттаять их души, огрубевшие в страшных условиях революции и гражданской войны; дать им возможно широкое воспитание и образование и, наконец, выпустить их в неласковую, суровую жизнь — крепкими духом, сильными телом, полезными членами общества.

Выбор будущих воспитанников и учеников был сделан С. В. Денисовой, которая сама ездила для этого в Константинополь и в Галлиполи. Впрочем, как тут говорить о выборе, если приходилось подбирать все окончательно обрешенное, иногда прямо с улицы? Конечно, дело не обходилось без административных палок в колеса. Официальная благотворительность фыркала на частный почин. Мы, русские, без этого, вероятно, не сможем жить и в загробной жизни...

Сколько нужно было иметь энергии, любви и веры в свое дело, чтобы не бросить его с самого начала. У мужчины непременно опустились бы руки. Надо не забывать тому, кто видел, и уметь вообразить тому, кто не видел, как исковеркала война и революция детские восприимчивые души и какой скорлупой моральной коросты они их облепили. Чего только не перенесли русские дети за эти ужасные годы, чего не насмотрелись их зоркие глаза! Вот передо мною книга, изданная директором русской гимназии А.И.Петровым в Моравской Тржебове (Чехословакия) под заглавием «Воспоминания 500 русских детей». Позвольте мне привести отрывки из этих наивных и страшных детских автобиографий:

— Видел я в одиннадцать лет и расстрелы, и повешение, и утопление, и даже колесование, — пишет один мальчик.

— Я скоро увидел, — говорит другой, — как рубят людей. Папа сказал мне, пойдем, Марк, ты слишком мал, чтобы это видеть...

— Пришел комиссар, хлопнул себя плеткой по сапогу и сказал: чтобы вас не было в три дня. Так у нас и не стало дома...

— Я видел войну, чуму, голод...

— Настоящей революции у нас не было, а только был грабеж и обыски.

— Закон Божий запретили и так про него выражались, что я стал по вечерам забираться в угол комнаты и читать Евангелие...

— Не видел я в эти годы ни ласки, ни привета и жил совсем-совсем один...

— Отца нашего расстреляли, брата убили, зять сам застрелился...

— Мать, брата и сестру убили...

— Отца убили, мать замучили голодом.

— И умер наш папа, и стали мы есть гнилую картошку.

— Это было время, когда кто-то всегда кричал уа, кто-то плакал, а по городу носился трупный запах.

— Умер папа, в больницу не пустили, и стала наша семья пропадать.

— Мы шли через безводные пустыни с уральцами пятьдесят два дня.

— Ездил я по Туре, по Тоболу, Иртышу, Оби, Томи, и всегда мне было очень плохо.

— Мне приходилось тонуть четыре раза.

— Я бродил один и видел, как в одном селе на восьмидесятилетнего священника надели седло и катались на нем. Затем ему выкололи глаза и, наконец, убили.

— И пошли мы, два маленьких мальчика, искать по свету счастья. Да так и скитались пять лет.

— Наша семья такая: мама в Бельгии, брат в Индии, папа неизвестно где, а я здесь.

— Я русский язык забыл совершенно.

* * *

Нет сомнения, что каждый из пятидесяти мальчиков, привезенных С. В. Денисовой в Париж, пережил за свое малое существование гораздо больше, чем в нормальных условиях переживают пятьдесят взрослых мужчин.

Боже, спаси и сохрани одиноких детей. Сколько их пало благодаря страху, голоду и развращающим примерам. Детвора больших городов, выброшенная на улицу, лишенная семейного тепла, оставшаяся без дружеской направляющей руки, знающая уже воровство и равнодушная к убийству, знакомая с преждевременными и противоестественными пороками, предающаяся азарту, пьянству и кокаину, — вот они, больные цветы на залитой кровью земле. Но кто возьмется указать: где в падении детской гибкой души положен предел, от которого начинается безвозвратная гибель?

Колония в Мэри на Уазе оказалась счастливой в этом отношении. Со временем состав учеников дошел до пятидесяти трех человек. Но за три с половиною года существования школы всего только двух пришлось удалить за неблаговидные поступки. Сделано это было по настоянию самих учеников, по их товарищескому суду. Стало быть: или подбор мальчиков случайно оказался добротным по внутренним качествам, или сразу они попали в атмосферу деятель-

ной любви и доброй, незаметно-прочной, но мягкой власти, или, наконец, удачно слились оба условия? Но, тем не менее, своеобразное бытие колонии казалось мне настоящим психологическим и педагогическим чудом, и я все удивлялся, почему об этом исключительном деле я не нахожу ни одной печатной строки?

В самом деле: какой пестрый, странный состав учеников. Большинство – сыновья крестьян и казаков. Тридцать три из них состояли в Добровольческой армии, причем некоторые награждены Георгиевскими крестами, а один – двумя. Возраст (при открытии школы) – от шести до семнадцати лет.

Особенно одного я не могу представить: какими мерами, какими приемами удается дисциплинировать и руководить этими тридцатью тремя воинами, из которых каждый видел и тиф, и смерть, и кровь, и голод, и зверское упоение победой, и отчаяние отступления, и даже огромную боевую власть? Или уж, правда, так емок человек и так многозвучна его душа? И вот судьба, помешавшая мне видеть первые зеленые побеги колонии, дала мне неделю тому назад случай видеть ее чудесный окончательный расцвет.

* * *

Прекрасная автомобильная дорога ведет из Парижа на северо-запад, от Порт-Нейи до Мэри на Уазе. Гудронированное шоссе, тесно обсаженное с обеих сторон старыми пышными тополями, убегает назад, точно зеленый прохладный коридор. Потом вдруг раскрывается весь горизонт. Налево и направо, куда хватит взор, – густые, волнистые веселые нивы и между ними темные квадраты картофеля. Где-то далеко из края поля торчат черные кустики. Телеграфные проволоки то опускаются, повисают, то взлетают вверх. Ну, право, точно мы едем по просторам Рязанской или Тамбовской губернии.

А там замелькает навстречу глазам деревня. Серые каменные дома под красной черепицей. Белые стены, сплошь увитые плющом. Яблони, груши и сливы перегнулись на улицу тяжелыми кривыми ветвями. Островерхая башенка церкви вдалеке. Разнооб-

разная зелень огородов. И опять простор, и опять пленительный свод тополей над головами. Воздух крепко и сладко напоен запахом деревьев и трав.

Вот мы и в Мэри. Нас встречают у ворот младшие мальчики. Это — последыши. Их осталось всего пять. Остальные уже вылетели из гнезда на самостоятельную жизнь. Эти пятеро живут еще в колонии, но ходят учиться в коммунальную школу. Окончат ее — и вместе с ними окончится жизнь колонии. Одеты свободно и просто... Белые, английского фасона рубашки с длинными галстуками заправлены в короткие синие штанишки, кушаки ловко стягивают талию. Меня с ними знакомят.

Вот — комвод Никита. Круглая рыжая голова низко стриженна, свежее славное лицо все пестрит веснушками. Сытое воронежское тело крепко сбито. Вот Юра, сын летчика, сентиментальный и нежный мальчик. Вот Коля, художник по призванию. Он охотно показывает мне свой последний рисунок: юноша-всадник в богатырском шишаке, с мечом в руках скачет на неимоверно огромном белом коне. Внизу же надпись: «Привадитель шайки разбойникав». Вот Егор, степенный парнишка, любитель сельского хозяйства. Озабоченно сообщает он, что один утенок куда-то пропал и никак его не найти. Вот Имрик, бойкий калмычонок, он идет первым в коммунальной школе. Наконец, Федя. Его отдали в колонию, как в санаторию, после болезни. Он поправился, но, к сожалению всей школы, не хочет толстеть.

До обеда глава школы Б.А.Подгорный показывает нам все хозяйственное обзаведение колонии. Мальчуганы сопровождают нас, веселые и непринужденные, как молодые фокстерьеры.

Дом — бывший монастырь. И снаружи, и внутри в нем еще сохранился готический стиль. Все чисто и бело. Только дубовые лестницы с широкими перилами и точеными балясинами величественно и резко чернеют. В прежнем рефектуре спальня мальчиков: кровати и столики. У ребятишек теперь общее увлечение: украшать свои столики на манер солидных письменных столов, как у взрослых.

Большое хозяйство. За проволочными загородками множество кур. Откуда-то слышится хрюкающий свиной бас. Внизу, в тенистой ложбинке, копошатся около лужи гуси и утки. Прибегает коза с выпученными светлыми глазами, ласкается, трется мордой, трясет бороденкой. Гуляют с нами и два длинноногих гусенка. Степенный Егор поясняет: «Они с другими гусями не водятся, а только с людями. Из рук едят».

Понемногу появляются и старшие, уже окончившие, бывшие ученики. Тут следует привести несколько цифр.

До 1 июля 1924 года в колонии нашли приют шестьдесят четыре мальчика, из которых только четырнадцать имели одного или двоих родителей.

Вот воспитательные итоги:

Один окончил русскую гимназию в Париже. Трое перешли в шестой класс чешской гимназии (Моравская Тржебова), четверо окончили парижскую сапожную школу, трое вышли из этой школы, не докончив учения, трое уехали на родину. Пребывание остальных (имеющих родителей) носило временный характер.

Но главная, основная масса молодежи — двадцать два человека — прошла обучение в техническо-механической школе Рашель.

Эта замечательная, великолепно оборудованная школа, подготовляющая искусных мастеров высшего порядка, — дело энергии и щедрости Л. М. Розенталя, никогда не устающего широко жертвовать на воспитательные и образовательные цели и уже так много сделавшего для беженских детей.

Питомцы колонии обучались в этой школе бесплатно и все время — как приятно это отметить! — шли в первых рядах по успехам. Прошлой зимой министр труда, посетивший школу Рашель, обратил внимание на то, что на почетных досках, куда вносятся имена отличнейших учеников, чересчур много фамилий — целых десять — кончается на «ов». «Это кто такие?» — спросил министр. Ему объяснили: русские. «Гм... — сказал министр, — мне будет приятно, если к следующему моему приезду будет на доске такое же количество учеников-французов». А присутствовав-

ший при визите министра Л. М. Розенталь сказал на это: «Им стоит только последовать примеру русских».

Руководители школы мне рассказывали о том, что самым тяжелым испытанием для их молодежи были именно эти годы технической подготовки. Мальчикам приходилось вставать в пять с половиной часов утра. Наскоро попив чая и закусив, они ехали по железной дороге, оттуда по метро в школу. Возвращались в Мэри очень поздно и, едва успев поужинать, ложились спать. Железную дорогу оплачивала администрация школы; на завтрак в городе и на метро выдавалось на руки каждому по четыре франка. Молодым людям приходилось недосыпать и есть как бы на ходу. Однако из двадцати двух ни один не упал духом, не пропускал уроков, не отлынивал под видом болезни. Знал, что учиться необходимо. Кроме этих двадцати двух, шестеро окончили школу Рашель, а один еще учился там.

Зато теперь все двадцать два очень хорошо устроились. Каждый из них вырабатывает около тысячи франков в месяц. Живут они в Париже, большей частью по два в одной комнате, но уже ясно замечается стремление к отдельной, самостоятельной жизни.

Хозяева мастерских и заводов, где работают русские юноши, чрезвычайно довольны ими: работа чистая и всегда к сроку, но и кроме того: русские и понятливее, и чистоплотнее, и вежливее французских сверстников. Нет. Я никогда не перестану подолгу останавливаться перед такими явлениями — как будто бы незначительными, но свидетельствующими о разносторонних способностях моих соотечественников.

С этой молодежью я знакомлюсь в саду и в светлых просторных коридорах бывшего монастыря. Все они одеты тщательно. У дам целуют ручки, мужчин приветствуют крепкими, открытыми рукопожатиями. Очень милы калмыки с их шафранными лицами, с их узко и вкось прорезанными темными глазами молодых Будд. Они даже франтоваты. У одного синий костюм, и при нем все сине-белое: галстук, платочек, чулки. Калмыки носят одежду с каким-то инстинктив-

ным изяществом. Не потому ли, что все они в сотнях поколений прирожденные всадники? Ведь лошадь всегда учит человека красоте и ловкости движения.

Но что мне сразу бросилось в глаза и что мне больше всего понравилось у этой еще совсем зеленой молодежи — так это ее привычное отношение к старшим: совершенно свободное, но без малейшей тени развязности, непринужденное, но без ломания. Ни одного искательного движения, ни одной заранее соглашательской улыбки. Точно все они охотно предпочитают серьезную или веселую простоту.

И при том: как все они открыто, прямо и подолгу глядят в глаза, и у них самих такие ясные и твердые глаза! Да, здесь в отношениях господствует полнейшее взаимное доверие, ибо одна сторона не требует и не ищет никакой благодарности, а другой стороне так легко и приятно быть независимо услужливой и инстинктивно деликатной.

То же самое бессознательное душевное изящество и самоуважение я наблюдал десять лет тому назад у раненых солдат, для которых мои — жена и дочь — открыли в Гатчине лазарет — самый маленький — всего на десять человек. Однако в этом лазарете перебывали разновременно около ста человек. И у всех у них были тот же чистый взгляд, то же плотное пожатие руки и та же прочная дружба в серьезных, кратких словах.

Нас приглашают обедать. Тут только я узнаю, что это не руководители школы угощают своих бывших питомцев, нет, — они, разбросанные по всему Парижу, сговорились чествовать в последнее воскресенье банкетом своих бывших наставников и руководителей.

Очень веселый банкет. Меню: борщ, мясо со стручками и картофелем, салат-латук с огурцами, напитки — вода «Витель» и столовое вино для взрослых. Служат сами мальчики. Под конец один юноша читает по тетрадке речь, написанную карандашом. Хорошо читает и громко, но кое-где сам не разбирает своего почерка. «Простите, тут я отбился... А, мы употребим все свои молодые могучие силы на служение дорогой родине!» Тост за основателей школы.

Тосты за учителей, за воспитателей, за маленького тихонького инструктора работ. И как же оглушительно кричат ура эти сорок молодых глоток! А в глазах пожилых людей я видел какой-то не совсем обычный блеск.

Потом поют хором чудесные донские песни: «При звонком табуне», «Поехал казак», «Вдоль да по речке». И еще старинную величавую песню — «Черных гусар». Качают учителей; у меня сердце холодеет и скачет: так низки потолки.

И это еще не конец. Выходим на воздух, садимся на траву. Под нами круглая, убитая и посыпанная песком площадка. Воспитатель, полковник, с видом хорошо тренированного спортсмена выставил юношей в две шеренги. «Направо! Ряды вздвой! Шагом марш!» Впереди идет мальчик-горнист и играет на рожке древний пехотный марш — «Козу», или иначе — «Машенька гуляла». Замолчал — начинают песенники. И опять, какая старина!

Как были походы,
Я трубочку берег,
Месяцы и годы
Прятал за сапог.

Импровизированное учение занимает всего пять минут. «Стой! Налево! В ряды стройся! Смирно!»

И вдруг — нечто совсем для меня неожиданное и сладко потрясающее: полковник негромко, но четким голосом бросает взводу:

— Будьте здравы!

А в ответ ему дружное:

— Да здравствует Россия!

И тотчас же без перерыва — бум! — взлетает свечкой выше деревьев футбольный мяч, и закипела, завертелась игра. Не оторвешься.

* * *

Еду обратно в молчании. Глаза, уши и сердце насыщенны. Думаю потихоньку. Как это люди смеют говорить: «Погибла Россия, народ русский тоже погиб. Ни крестьянин, ни интеллигент никуда не годятся. Молодое поколение безнадежно развращено...» А вот

оно, малое русское зерно, зацепилось в своем бурном стихийном полете за кусочек, щепотку родной земли – и погляди, как мило, просто и радостно расцвело. Ах, живуча, живуча моя родина, и много в ней сокровенных добрых сил. И если здесь, в изгнании, не видим многочисленных примеров русской мощи и доброты, русского ума и таланта, а еще больше – любви к родине, то значит – просто – не хотим видеть или смотрим не туда, куда надо.

Старинная музыка

В одном, лишь в одном отношении я считал себя счастливцем и баловнем судьбы. В какой бы город или городишко меня ни забрасывал случай – везде меня ждали либо новое зрелище, либо занимательная встреча, которая связывала накрепко мою память с местом. Поэтому с некоторой обидой я уже думаю о том, что город Ош останется навсегда в моих воспоминаниях пустым, плоским и скучным промежутком.

Но все-таки и на этот раз привычная удача не обманула меня. Правда, под самый конец, под занавес.

Однажды утром на площади Гусиной Лапки появились большие красные афиши. В них извещалось, что такого-то числа (дней через десять) будет поставлена на улице Гоша, под открытым небом, комическая опера «Фаворитка», сочинения Доницетти. Участвуют такие-то артисты и артистки: из «Гэтэ Лирик» в Париже, из тулузского «Капитолия» и благородный бас (basse noble) из Марселя г. Казабон, хормейстер и дирижер такой-то. Билеты по пятнадцати, десяти и пяти франков, променуар три франка. Начало в восемь часов тридцать минут вечера.

Я всегда любил представления на свежем воздухе. Одно из них – «Кармен», – виденное и слышанное мною тридцать лет назад в г. Фрежюс, в развалинах древней римской арены, с участием великой Сесиль Кеттен, до сих пор еще живет в моей душе во всей его незабвенной прелести, торжественной простоте и необычайной силе.

Ждать спектакль пришлось много дней. Я несколько раз заходил на улицу Гоша. Она коротенькая, но широкая. Тротуары отделены от мостовой двумя рядами старых, мощных, развесистых платанов. В конце этой аллеи – высокий квадратный помост. Он прочен, выкрашен голубоватой масляной краской и, очевидно, выстроен для постоянного пользования.

Даже утром, в день спектакля, я не заметил около него никаких приготовлений, кроме наружной будочки — кассы с надписью «Pelouse 2 fr»[1] (очевидно, ее взяли напрокат со скачек) на двух принесенных бревнах, на которых сидели два блузника и флегматично курили. Такое равнодушие к близкому представлению меня чуть-чуть смутило, тем более что старожилы — а они всегда скептики — уверяли меня: «Не беспокойтесь, даже если не будет дождя, то все равно спектакль может не состояться по сотне внутренних причин. Такие примеры бывали. И даже за пять минут до начала».

Тем не менее к определенному сроку (уже смеркалось) я купил в деревянной будочке билет и проскользнул в щелочку забора, только что поставленного поперек улицы. Другой забор огораживал зрительный зал с другого конца.

Было пустовато. Во всем мире провинциальная публика неаккуратна: являться первым в театр, концерт или на бал — неприлично.

Занавеса не было вовсе. Вдоль всех трех стен сцены стояли пальмы в кадках и какие-то большие цветущие растения. Позади них — полураскрытые электрические лампионы, еще сзади, как фон, повисли разноцветные флаги: английские, американские, испанские, итальянские, и на первом месте — французские вокруг букв R. F. Над зрительным залом на высоком столбе сиял матово-белый электрический фонарь.

Публика собиралась вяло. Вышел на сцену какой-то серенький человек и утвердил в правом углу среди крестов деревянный голубой крест. Я сразу догадался: первый акт происходит на кладбище или около церкви. Потом оказалось — в монастырском саду.

Застучали за кулисами палкой. Пришел оркестр. Пять человек, не считая пианистки, и дирижер — лысый, с длинной седой бородой, ветхозаветный старик — взмахнул палочкой, и началась увертюра, а затем гуськом прошел хор монахов.

Ну, что сказать о содержании пьесы? Монах Фернанд влюбился в фаворитку короля Альфонса. Она —

[1] «Дешевые места 2 франка» *(фр.)*.

в него. Монах покинул монастырь. Королю подали перехваченное письмо. Вот и все. Трагической развязки я так и не узнал из-за множества купюр.

Конечно, я видал спектакли и похуже. Как и всюду, хористы (четыре человека) знали только один классический жест — жест остолбенелого изумления: тело откинуто назад, правая рука вытянута — вперед и в бок соседу — с растопыренными пальцами, глаза вытаращены. Хористки (3) стояли безучастно, с руками, сплетенными ниже живота. У благородного баса в голосе остались всего две дребезжащие ноты. У короля-баритона часто выскакивали петухи. Тенор козлил и становился на цыпочки. Примадонна на высоких нотах делала рот вроде удлиненного О, внизу немного свороченного набок. Но все это так уже положено с первоначальных дней оперы...

И все-таки... все-таки музыка Доницетти, старая, условная, наивная музыка, мила, проста и чиста, как свежая родниковая вода, вкус которой мы уже позабыли, объевшись и опившись пряными кушаньями и напитками. Все-таки оркестр и хор делали свое дело старательно и очень музыкально. Все-таки артисты увлекались и увлекали публику. И дай Бог всякому артисту, особенно начинающему, такую простосердечную, горячую и снисходительную публику. Каждую арию она встречала чудесными, искренними аплодисментами, а на ошибки только смеялась добродушно, по-семейному.

А в самом конце четвертого акта меня ожидала минута редкой красоты и радости.

Фаворитка на сцене одна в белом платье.

Жалуется она на свою печальную судьбу: страшен гнев короля, страшно за любимого и еще страшнее и горше расстаться с любовью. Нежным пианиссимо, тихими вздохами ей аккомпанирует оркестрик, и бережно, сочувственно вторит ей в терциях задумчивая, покорная валторна... Я поднял голову кверху. Рядом с электрическим сияющим шаром стоит такой же величины, как и он, полная луна. Цикады во всем Оше и окрестностях заливаются своим неумолкаемым, сухим, серебряным звоном, ароматом свежего сена наполнен воздух.

Две большие ночные бабочки взлетели на фонарь и бьются об него, бросая огромные порхающие тени на головы зрителей. И вдруг начали свой сиплый, густой, музыкальный бой трехсотлетние кафедральные часы. И вот оркестр, и цикады, и бегающие трепетные тени, и древний звук часов, и запах сена, и две луны в небе — все это слилось в такую нежную, прелестную гармонию, что сердце сжалось в сладком-сладком, не выразимом словами восторге.

Ах! Стоит жить из-за таких вот двух-трех секундочек, изредка и случайно выпадающих на нашу долю.

Обиходное пение

В последние недели, начиная с того дня, когда пришло первое известие о кончине государыни Марии Федоровны, весь русский Париж явил великое и до глубины трогательное зрелище общей скорби и общего патриотизма, в котором объединилась вся эмиграция. Заупокойные литургии и панихиды служились почти без перерыва. Но, несомненно, самый тяжелый молитвенный труд достался на долю духовенства соборного храма на улице Дарю. Священнослужители совсем изнемогали, и не так от продолжительного стояния на ногах, как от духоты, тесноты и того высокого религиозного напряжения, которое в редких, необычайных случаях передается от пастыря к пастве и обратно, находя разрешение в слезах.

Но больше всего я дивился на регента Афонского и на его прекрасный церковный хор.

Ведь одни лишь слова «чина погребения мирских человек», если их просто читать по требнику, волнуют душу своей величавой покорной печалью. Когда же их поет стройный хор в церкви, в кадильном голубоватом ладанном курении, при трепете восковых тонких свечек, когда древний распев торжественно и скорбно оплакивает бренность человека и тщету всех земных утех — тогда не только слабо верующий православный христианин, но даже иноверец, даже иудей и мусульманин невольно почувствуют и поймут печальную участь, заповеданную всему человечеству.

Земля есть, и в землю отыдеши.

Нет, не говорите мне о профессиональной привычке. Шаляпин поет такую-то роль в сотый раз, но перед выходом у него руки холодны, влажны и точно бессильны. В сотый раз на сцене он почувствует подъем и прилив вдохновения, но какой-то особенный, сокровенный слух всегда подскажет ему при

первом выходе: с ним или не с ним публика. Тут какая-то непостижимая взаимная эманация.

Я скажу и про писателей. Как бы ни был опытен и уверен в себе популярный писатель — последнее произведение непременно кажется ему слабым, бледнее всего, что он до сих пор написал. Отзывам критиков он давно уже не верит. «Все равно, — думает он, — надо воткнуть перо в дерево стола и вообще перестать писать». Но случайное доброе слово полузнакомого человека, чье-то милое письмо без подписи способны вмиг излечить его от слабодушия. «А может быть, еще попишем?..» Конечно, я говорю не о графоманах...

С утра до вечера пела панихиды капелла Афонского. Это был воистину молитвенный подвиг. Меццо-сопрано, например, перетрудила голосовые связки... Я был на панихидах трижды, в разные дни. И каждый раз меня поражало и умиляло панихидное пение соборного хора. Тут неуместно сказать слово «вдохновение». Вдохновение неразрывно связано с некоторой взвихренностью, декламацией, индивидуализмом, случайным творчеством. Церковное обиходное пение строго и сурово: тысячелетние мотивы, верность и точность как текста, так и голоса, спокойное проникновение в каждую мысль... Недаром же прошли в русском богослужении и канули в забвение оперно-фиоритурные творения Сарти и Вейделя вместе с сольными номерами (остался лишь монастырский канонарх), а обиход будет жить еще тысячи лет.

Я не хотел быть голословным. Я проверял, разговаривая со знакомыми, мое впечатление — и все подтверждали его правдивость: за все эти страдные дни ни разу никто не мог отметить ни усталости, ни торопливости, ни небрежности в пении-молитве, воспеваемой послушными, слаженными, красивыми голосами.

Сам я большой любитель церковного песнопения и в свое время восемь лет, будучи кадетом, простоял на правом клиросе. Однако не могу не сказать, что в Соборе св. Александра Невского трудно слушать пение капеллы. Он выстроен с какой-то ошибкой в акус-

тике. В нем слышится что-то вроде очень близкого эха, вливающегося с малым опозданием в мелодию, и потому слушать ее в точности можно только в двух местах: внутри – близ самого хора, а снаружи – из тех отдушин, которые расположены около спуска в нижнюю церковь. Сама нижняя церковь хоть и мала, но звучит хорошо.

Настоящей церковной, идеальной капеллы мы здесь, в Париже, не слыхали, да боюсь, что никогда не услышим. Полный церковный хор должен состоять самое меньшее из восьми голосов, и притом исключительно мужских: первый дискант, второй дискант, альт, первый тенор, второй тенор, баритон, бас и октава. Далее он может доходить до сорока, даже хоть до восьмидесяти человек. Вспомним знаменитые капеллы: Сахарова и Юхова в Москве, Калишевского в Киеве, Придворную капеллу в Петербурге и почти все Митрополичьи хоры.

Здесь, в Париже, мы не слыхали истинного восьмиголосого церковного пения, со включением нежных, прекрасно-тембрных мальчишеских голосов. Пели в церквах четверо Кедровых. Но этот замечательный, единственный в мире квартет – все-таки мужской четвероголосый хор. Не говорю о каком-то попе-расстриге, который затеял женско-мужской церковно-светский хор «Садко». «Садко» провалился и увял. Интереснее был давнишний хор Кибальчича. В нем было два достоинства. Опыт, знание и любовь к делу самого регента и солидные качества мужских голосов, особенно басов. Женский состав был собран с бору по сосенке. Женщины-певицы были не в меру индивидуальны, чувствительны, торопливы, скоро уставали или, наоборот, лезли из кожи вон, чтобы переиграть соперницу.

Всем, даже наилучшим хорам, поющим без аккомпанемента, неизбежно свойственно детонировать. Но – увы! – в двуполом хоре мужчины и женщины детонируют инако. В конце концерта у Кибальчича получалась какофония, которую тяжело и жалко бывало слышать.

Хор Афонского довелось мне слушать в частном доме. У него тоже – мужчины и женщины. Но оттого

ли, что хор его невелик, оттого ли, что в нем подобрались певцы и певицы с исключительным, абсолютным слухом, оттого ли, что все голоса как-то спелись, сроднились, взаимно уравновесились, или, наконец, потому, что общая дисциплина хора повелась от гипнотического влияния и энергии регента, — хор Афонского звучит в пении точно орган.

Я потому так подробно говорю о малой капелле Афонского, что мною руководит эгоистическая мысль. Душа моя жаждет услышать этот сверенный, точный и любящий свое скромное искусство хор в большом и прекрасно звучащем зале. Я хотел, чтобы его слушали не только я и русские друзья мои, но также англичане, американцы, немцы, голландцы и французы. Один из самых любимейших моих писателей И. Сургучев однажды сказал, что нашего восьмиголосого пения иностранцы не выдерживают: понимают, что это более чем прекрасно, но тайну красоты постигнуть никогда не смогут. Но и пусть! В России таких магических очарований было и будет — множество!

Я даже (сам для себя) предвижу программу будущего концерта: 1) Из чина погребения мирских человек; 2) Великопостное пение; 3) «Благослови душе моя» иеромонаха Феофана; 4) Из последования св. Пасхи. Правда, я одно бы рекомендовал г. Афонскому: поменьше странности в манере дирижирования. Это, конечно, дело темперамента, но он иногда как бы забывает, что хор его послушен каждому его взгляду, каждому намеку бровей.

Веселые дни

Сезон в Ницце продолжается с половины октября до половины марта. За это время все гостиницы битком набиты и цены за помещение возрастают до безумных размеров. Каждый ваш шаг, каждый глоток, чуть ли не каждый вздох оплачивается неслыханными расходами. Английская, американская и иная валюты неудержимым водопадом льются в беспредельные карманы предприимчивых французов и жадных ниццаров. Тамошняя пословица говорит: «В Ниццу ездят веселиться, в Канн – отдыхать, а в Ментону – умирать». И правда, в течение всего сезона жизнь в Ницце представляет из себя сплошное праздничное кружилище: балы, пикники, скачки, велосипедные гонки, карнавалы, множество кафешантанов, голубиное стрельбище, музыка и игра, игра, игра.

Если вы не хотите ехать в Монте-Карло – для вас гостеприимно открыты двери двух роскошных вертепов – Casino Municipal и Casino de la Caite promenade[1].

Но вот наступает конец сезона, и праздная, знатная, нарядная толпа иностранных гостей редеет с каждым днем: одни уехали в свои родовые имения, другие – в прохладную Швейцарию, третьи – в Трувилль или на один из модных английских купальных курортов. Милые беззаботные птички Божии.

Один за другим закрываются шикарные отели, и чем отель аристократичнее и дороже, тем он раньше опускает на свои окна плотные зеленые филенки, обволакивает полотном золотые вывески и запирает все свои входные двери на ключ.

Ницца облегченно вздыхает после тяжких и сладких трудов, считает награбленные деньги и теперь решает сама повеселиться. Да и в самом деле, она так долго глядела на чужое веселье и так подобострастно

[1] Казино «Городское» и казино «Веселая прогулка» *(фр.)*.

обслуживала чужие прихоти, капризы, нужды и фантазии, что ей, право, не грех позабавиться. Господа уехали — в людской веселье. Да и все равно туземцы теперь, в продолжение пяти-шести месяцев, осуждены на полное бездействие.

И Ницца пляшет.

Нет дня, чтобы вы не увидали протянутую через улицу, от дома к дому, широкую коленкоровую полосу, на которой красными буквами напечатано: «20, 21 и 22 июня (примерно) большой бал комиссионеров (извозчиков, маляров, парикмахеров, рыбаков, прислуги и т.д.) на площади Массена (Гарибальди, Нотр-Дам и проч.). Вход 1 франк». Каждый такой бал, не считая небольших перерывов для сна и еды, длится двое-трое суток. И все они на один образец. Выбирается среди площади обширное круглое место и огораживается столбами, которые снаружи плотно обтягиваются полотном. Сверху на столбы натягивается конусообразная полотняная крыша — словом, получается то, что на языке бродячих цирков называется «шапито», и бальная зала готова.

Остается только навесить крест-накрест на столбах французские флаги, протянуть гирлянды из листьев, поставить эстраду для музыкантов, отделить закоулочек под пивной буфет, и больше ничего не требуется.

С утра до вечера беспрерывной вереницей идут и идут под душный полотняный навес мужчины и женщины, старики и дети. Бал длится почти беспрерывно. И чем позднее, тем гуще и непринужденнее веселящаяся толпа. Танцуют всегда один и тот же танец — ниццкую польку. Пусть музыка играет все, что хочет: вальс, фокстрот, танго, чарльстон — ниццары под всякий размер и под всякий мотив пляшут только свой единственный, излюбленный и, я думаю, очень древний танец.

Танцуют обыкновенно пар сто-двести, заполняя весь огромный круг от центра до окружности. Тесным, плотным, живым диском медленно движутся эти пары в одну сторону — противоположную часовой стрелке. Душно, жарко, и нечем дышать. Полотняное шапито не пропускает воздуха: единственный

вход, он же и выход, не дает никакой тяги. Мелкая песчаная пыль клубами летит из-под ног и, смешиваясь с испарениями потных человеческих тел, образует над танцорами удушливый мутный покров, сквозь который едва мерцают прикрепленные к столбам лампы и от которого першит в горле и слезятся глаза.

Но самый танец, надо сказать, очень красив. Он, давно привезенный с Запада во Францию, вошел в моду в Париже под именем «танго». Он прост и несложен, как все экзотические древние танцы, но требует особой, своеобразной, инстинктивной грации, без которой танцующий будет позорно смешон. Состоит он вот в чем. Кавалер и дама прижимаются друг к другу вплотную, лицо к лицу, грудь к груди, ноги к ногам; правая рука ковалера обхватывает даму немного ниже талии; правая рука дамы обвивает шею партнера и лежит у него на спине. И в таком положении, тесно слившись, они оба медленными, плавными, эластичными шагами, раскачивая бедрами, подвигаются вперед. Иногда наступает кавалер, отступает дама, потом наоборот. Движения их ног ловко и ритмично согласуются. В этой примитивной пляске очень много грубого, первобытного сладострастия. Сколько раз мне приходилось видеть, как лицо женщины вдруг бледнеет от чувственного волнения, голова совсем склоняется на грудь мужчины и открытые сухие губы в тесноте и давке внезапно с жадностью прижимаются к цветку, продетому в петличку его пиджака. Но в то же время этот танец может быть очаровательным по изяществу. Мои друзья показывали мне двух-трех танцоров и нескольких танцорок, которые считаются лучшими в Ницце. И в самом деле, какая стройность поз, какая хищная и страстная сила в движениях, какое выражение мужской гордости в повороте головы! Нет, этому искусству не выучишься. Надо, чтобы оно жило в крови с незапамятных времен, разжигаемое моментами страстного влечения.

Был я также на рыбачьих балах, которые отличались от вышеописанных только тем, что у музыкантов все инструменты были обернуты серебряным и золотым картоном в форме разных рыб и раковин, а

на столбах укреплены весла, рули и спасательные круги.

Но всегда наибольшее оживление царит не в самом шапито, а у входа в него и вокруг его огорожи. Тут располагаются торговцы конфетами, пирожками, лимонадом. Несколько тиров для стрельбы из монтекристо. Будочки, в которых на большом столе расставлены ножики, стаканы, вазочки, флаконы с дешевыми духами и бутылки с отвратительным шампанским. Вы покупаете на несколько су пять или десять деревянных колец, вроде тех, которыми играют в серсо, и бросаете их на стол. Если вам удастся правильно окружить какой-нибудь предмет, он становится вашей собственностью, и публика, к великому вашему смущению, провожает вас аплодисментами. Здесь же помещаются беспроигрышная лотерея со всякой дрянью на выставке, а также и мошеннические лотереи, в которые вы можете выиграть живого петуха или курицу и потом, с идиотским видом, нести под мышкой неистово кричащую птицу, сами не зная, как с ней разделаться. Здесь, под открытым небом, на этом своеобразном игорном базаре, живая толпа всегда весела, жива и добродушна.

Самым интересным все-таки был бал моих друзей-извозчиков. Не помню уж, кто из них, m-eur Филипп или m-eur Альфред, вручил мне однажды почетный билет.

— Для вас и для вашего почтенного семейства, — сказал он с любезной улыбкой. — Все русские эмигрэ — наши друзья, а вы у нас свой человек. Бал будет завтра в «Калифорнии», и самое лучшее, если вы придете к четырем часам дня; мы будем ожидать вас.

«Калифорния» — это подгородное местечко, замечательное тремя вещами: маяком, прекрасной страусовой фермой и большим рестораном, к которому пристроена обширная сквозная терраса с деревянным полом для танцев.

И так как на другой день выдалась приятная, нежаркая погода, то мы большой компанией отправились в «Калифорнию», побыли около маяка, куда нас не пустили, осмотрели ферму, где, между прочим, страусовые перья продаются вдвое дороже, чем их

можно купить в Париже, и, наконец, достаточно усталые, расположились на танцевальной террасе ресторана.

Я не успел еще выпить стакана белого вина со льдом, как увидел, что мне издали делает какие-то таинственные знаки мой друг, m-eur Филипп. Я встал из-за стола и пошел к нему.

— Monsieur, — сказал он со своей обычной вкрадчивой ласковостью, — председатель, или, вернее, шеф, нашей извозчичьей корпорации слышал о вас и хочет познакомиться. Позвольте мне представить вас ему.

Я согласился. Председатель оказался пожилым, но еще красивым мужчиной — крепким, стройным, как столетний платан.

Он даванул мне так сильно руку, что у меня склеились пальцы, выразил удовольствие видеть меня и предложил мне стакан холодного анжуйского шампанского. После этого он сказал:

— Теперь, по нашему обычаю, я вас должен представить нашему королю, королю извозчиков. Жан! Тащи сюда короля.

Вскоре у стола появился нескладный, длинный белобрысый парень с бритым лицом опереточного простака. Он был одет в длинный, фантастического покроя зеленый балахон, испещренный наклеенными золотыми звездами. Сзади волочился огромный шлейф, который с преувеличенной почтительностью несли двое его товарищей-извозчиков, а на голове красовалась напяленная набекрень золотая корона из папье-маше. Король важно кивнул головой на мой глубокий поклон. «Речь, monsieur, речь, — зашептали вокруг мои друзья, — скажите несколько приветственных слов».

— Ваше величество, — начал я проникновенным голосом, с трудом подбирая французские фразы. — Я прибыл через Париж в Ниццу с крайнего севера, из пределов далекой России, из царства вечных снегов, белых медведей, самоваров, большевиков и казаков. По дороге я посетил много народов, но нигде не встречал подданных более счастливых, чем те, которые находятся под вашим мудрым отеческим покро-

вительством. Alors![1] Пусть государь милостиво разрешит мне наполнить вином эти бокалы и выпить за здоровье доброго короля и за счастье его храброго, веселого народа — славных извозчиков Ниццы.

Король левой рукой благосклонно принял предложенный мною бокал, а другую величественно протянул мне для пожатия.

В самом деле, в этом шуте гороховом была пропасть королевского достоинства.

Вскоре мы уже пили за всех французских извозчиков, и за русских, и даже за извозчиков всего мира, пили за Францию и за Россию, за французских и русских женщин, и за женщин всего земного шара, пили за лошадей всех национальностей, пород и мастей. Я не знаю, чем бы закончили наше красноречие, да и тем более, я чувствовал, что мой кошелек очень быстро пустеет, но, к счастью, ко мне подошел официант и сказал, что приехавшие со мной компаньоны скучают без меня.

Король с обворожительной любезностью отпустил меня, протянув мне на прощание руку; и вдруг неожиданно, потеряв равновесие, покачнулся, взмахнул нелепо руками и очутился на полу в сидячем положении.

— Король и в падении остается королем, — сказал серьезным тоном извозчичий шеф.

Вскоре начались танцы. Оркестра не было. Играло механическое пианино. Кто хотел — заводил его и бросал в щелочку двадцать сантимов. Так как дам оказалось очень мало, то мужчины танцевали с мужчинами, что совсем не режет глаз, потому что очень принято на ниццких балах. Но становилось уже поздно и сыро. Надо было уезжать.

---

[1] И вот! *(фр.)*

5—2586



Фельетоны

—

Статьи

—

Литературные портреты

—

Некрологи

—

Заметки



1919

Еда

Почтенные гатчинцы, вы совершенно правы! Есть очень хочется. И вам, и мне, пишущему эти строки.

Но, стягивая ремень на следующую дырочку, я размышляю так: «Да будет мой дух сильнее моего тела. Да не заглушит урчание брюха голоса разума. Пусть я останусь прежде всего человеком, венцом творения, а потом уже животным — млекопитающим, всеядным, двуногим».

— Да-а, обещали хле-е-еба! Са-а-ала! — слышу я разочарованные голоса...

Обещали и исполнят. Детей уже подкармливает американская миссия. Скоро, очень скоро прибудут питательные транспорты для всего населения.

Но, может быть, вы до сих пор еще думаете, что единственной и главной причиной стремительного захвата белыми Гатчины было исключительно пламенное желание наполнить нежной и вкусной пищей наши утробы?

Видите ли, я и сам сначала так думал. Но увидел я людей, только что сделавших беспримерный по тяжести поход, усталых, как мы с вами никогда не уставали, голодных, как мы с вами никогда голодны не бывали. И вот, вместо того, чтобы предаваться заслуженному отдыху, разнеженно прислушиваясь к звукам пищеварения, эти люди тем же ускоренным маршем стремятся на позиции, в огонь и смерть, и ведут днем и ночью вот уже шестые сутки ожесточенный бой с врагом, собравшим все свои резервы, напрягающим в позднем бешенстве последние остатки сил.

Там же, на позициях, они и спят на земле, и едят, и пьют. Вы нередко видели, как по проспекту Павла I тянутся к артиллерийским казармам походные кухни, повозки с фуражом и провиантом. А заметили вы

те телеги, которые возвращаются оттуда? Видели вы раненых? Или, облизываясь на кухни, вы их пропустили мимо глаз?

Вы слышали бой издали. Но сами вы в настоящем бою никогда не участвовали. Если бы вам хоть на секунду показать его поближе и если бы в эту секунду вы могли свободно располагать выбором, то вы бы, наверно, сказали:

— А знаете ли... дома как-то того... немного получше. Тепло и не дует... Уж лучше я дома попощусь два-три денька. Не завидую славе белого воина и не хочу с ним меняться положениями.

Но замечательнее всего то, что если бы белому воину предложить такой же выбор, то он — представьте себе! — тоже не поменялся бы с вами.

Что? Ясна для вас эта разница?

Всем нам давно известно, каково вообще состояние русских дорог, да еще не ремонтированных пять лет, да еще осенью, да еще в военное время! Транспорты, идущие из тыла, обозначенные на десять переходов, просачиваются до поры до времени, очень медленно. Кого же надо накормить в первую голову, ВАС или ЕГО?

Вы молчите. Но весы справедливости уже заколебались в ваших руках.

Это хорошо. Но вот, вот еще более убедительный довод.

Если Белая Армия разобьет большевиков, то потерпеть вам, сравнительно с тем, что вы уже вытерпели, остается самую чуточку. Откроется свободный ввоз и свободная торговля. Вы себе и представить не можете, как еще богата наша испуганная, притаившаяся, пробеднившаяся страна. Разрушители не съели ее, а только поглодали, испортив себе зубы.

Если же победят большевики, то голодными вы останетесь всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Потому что большевикам, как проигравшимся дотла и к тому же нечестным игрокам, кредита нет нигде ни на ломаный грош.

И потому еще, что свои опыты коммунизма они, по рецепту самого ихнего пророка Маркса, могут

производить только над голодным, потерявшим разум, силу и волю скотом, кормя его одними посулами. В будущем, как бы я ни был голоден, но если мне вместо еды подадут будущую карточку кушаний, помеченную так, например: «Месяца Зиновия. Года от разгона Учредилки 1001-го», я скромно откажусь и поблагодарю:

— Спасибо. Я уже обедал.

А так как Белая Армия не только победит, а уже побеждает, то следовательно...

Я вижу, как вы вместе со мною перетягиваете ремень на вторую дырочку.

25 октября 1917 – 25 октября 1919 г. Владимир Ульянов-Ленин

25 октября старого стиля 1917 года в управление всем Российским государством вступил Владимир Ленин и вот уже два года в полной мере самодержавно правит Россией. Он заключил позорный мир с Германией, он впустил германские полки разорять русскую землю, он порвал всякие дружеские отношения с нашими старыми союзниками англичанами и французами, он вместе с немцами устроил самостоятельную Украину, и он же источил русскую землю кровью, уничтожил десятки тысяч людей в тюремных застенках и под орудиями пытки палачей, он призвал наемных китайцев и латышей, чтобы пытать и уничтожать русских людей, он задушил русскую свободу и вернул Россию к самым темным временам бесправия, полицейского режима, пыток и казней. В страшные времена Иоанна Грозного русскому народу легче жилось и дышалось, нежели в Советской России в неистовые времена Владимира Ленина.

Кто посадил его на всероссийский престол? Маленькая кучка, человек в триста, никем не уполномоченных людей, исключительно петроградцев. Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов, никем не уполномоченный выражать волю всей великой России. Кто избрал его? Никто. Его имя не было известно на Руси. Он появился уже после револю-

ции, появился из Германии, нарочно присланный немцами для разложения русского фронта. Он был обвинен в шпионстве и в измене, он должен был быть предан смертной казни, из-за него пролилась при Керенском 4 июля на улицах Петрограда невинная кровь, и тем не менее он — правитель с такими страшными правами, каких не имели и цари московские в самое старое жуткое время средних веков.

Кто же он такой? Чем держится он среди народа и откуда в одном человеке могла сосредоточиться такая страшная жажда крови, такая сатанинская ненависть к людям и презрение к чужим мукам, к чужим людским страданиям и чужой жизни?

В конце семидесятых годов в одной из приволжских губерний учились два брата Ульяновых, дети зажиточного местного помещика. Младший сын Владимир отличался тяжелым, мрачным, нелюдимым характером. Он не сходился с товарищами по классу, никогда никому не помогал. Учился он хорошо. Замкнутый в себе, он проявлял необычные в молодом возрасте признаки ненависти и презрения к людям, не к кому-нибудь одному, но вообще ко всем людям, ко всему человечеству. Его старший брат был замешан в покушении на цареубийство, судим и приговорен к смертной казни. Но он так хорошо, смело, открыто и благородно держал себя на суде, что тронул судей и прокурора, и прокурор составил для него прошение о помиловании. Надо было только подписать это прошение, и успех был бы обеспечен. Ульянов отказался подписать прошение.

К нему в темницу пришла его мать с младшим братом Владимиром. Всю ночь на коленях она простояла перед сыном с написанным прошением, умоляя дать подпись под ним. Ульянов был непреклонен. Его не тронули ни мольбы матери, ни ее слезы, ни то, что она поседела за эти страшные дни суда и приговора. Молча, угрюмо, исподлобья глядя на мать и брата, наблюдал эту страшную сцену Владимир. На другой день Ульянов был казнен.

Владимир был замешан в процессе, оставаться дальше в гимназии он не мог. Он уехал за границу, в Швейцарию, где поселился очень уединенно. Он

почти не отлучался из своего дома, читал книги, немного писал, о чем-то задумывался, но когда встречался с людьми и заводил свои речи, то такая ненависть, такое нечеловеческое презрение к людям сквозили в его словах, что самым крайним анархистам было с ним жутко.

Он был помешан.

Та страшная ночь, которую он провел в тюрьме накануне казни своего брата, мольбы и унижение его матери произвели на его мозг такое впечатление, что он сошел с ума.

И помешательство его было самое страшное потому, что не проявлялось ни в диких выходках, ни в страшной непонятной речи, – наружно Владимир Ульянов-Ленин был совершенно здоровым человеком, речь его была гладкая, ясная, но поражала страшными, необыкновенными выводами, поражала своим презрением к людям, доходившим до ненависти. Была в его речах, наконец, страшная, таинственная, почти непонятная жажда смерти, убийства, разрушения. Все, что мешало осуществлению его идеи, должно быть устранено, уничтожено. Это его слова повторит Троцкий в сентябре 1917 года: «Мы, большевики, поставим в конце Невского у Адмиралтейской площади громадную гильотину и отсечем головы всем тем, кто не пойдет с нами и за нами...»

Убийство и кровь не только не смущали Ленина, но они его радовали – он был сумасшедший.

И вот его-то, умалишенного, избрали немцы своим орудием для того, чтобы уничтожить Россию и так ее ослабить, чтобы немецкое засилье могло снова в ней водвориться. Ленин с фанатизмом сумасшедшего принялся за исполнение своего сатанинского плана.

Он приехал в Петроград. На Каменноостровском проспекте, во дворце Кшесинской, на балконе, обитом красной материей, освещенном красным электрическим светом, он начал говорить свои речи. Он говорил негромко, без пафоса, без оживления, но был в его речах страшный яд, разжигавший толпу. Он говорил тогда о прекращении войны с Германией, о мире и тут же объявлял непримиримую войну

всем «капиталистам». В красном свете электрических фонарей, в алых отблесках кумача и сукна на его лице играла кровь. И эта кровь опьяняла толпу.

Все видели, что его проповедь разлагает фронт, что он подослан от немцев, уже добыты были данные, доказывающие, сколько он получил денег от Вильгельма на свою страшную работу, указывали банки, переводившие ему деньги из-за границы, и лиц, доставлявших ему банковские чеки. Все улики были налицо. Его оставалось только схватить и арестовать.

Керенский воспротивился этому. Тогда была «свобода». Тогда можно было сослать в Тобольск и томить в неволе царских дочерей и маленького отрока-наследника, тогда Кресты, Петропавловская крепость и Смольный монастырь были переполнены узниками, но арестовать Ленина было нельзя.

Ленин говорил свободные слова. Слишком свободные! С развязностью умалишенного он развязывал толпы от страха убийства. Убивайте, грабьте, берите, насилуйте, уничтожайте — все ваше, все принадлежит вам.

В нем сидел демон убийства...

И толпа заразилась его сумасшествием. Около него стали собираться подобные ему люди, люди, опьяненные кровью, и он царил над ними. Толпа насильников и убийц вознесла его на высоту и посадила на престол всероссийский...

На этом престоле, в Петрограде и московском Кремле, он был не первый сумасшедший. Правил Россиею безумный Павел, на престоле Московском сидел сумасшедший Иоанн IV Грозный.

Ленин стал председателем исполнительного комитета народных комиссаров. И его сумасшедшая воля подавила их всех. Каждый понял, что его жизнь на волоске. Каждый понял, что для их председателя нет ни свойства, ни родства, ни заслуг прошлых, что поднимутся темные ресницы над глазами, полными глубокой думы, бездонными глазами умалишенного, откуда хохочет демон разврата и убийства, явятся члены Чрезвычайной комиссии, произнесет свой страшный приговор Революционный трибунал и тут же,

подле, иногда в том же доме, где сидит Ленин, прольется кровь.

Призраки убитых по его приказанию людей его не тревожат. Пролитая им кровь его не душит. Его темный разум спокоен.

Он пишет свои декреты. В этих декретах он с настойчивостью сумасшедшего излагает устройство райской жизни для рабочих и крестьян. Имущество богатых роздано бедным, рабочие спят на пружинных матрацах буржуев, буржуи и буржуйки привлечены к труду на пользу рабочих, крестьянин обрабатывает сколько угодно земли. Женщины поделены поровну. Везде играет музыка, везде танцуют, везде веселье. Ленин счастлив. Он все национализирует, все социализирует, все роздал. Он сам живет хорошо, ест сладко, пьет тонкие вина, ездит в царском автомобиле, живет подле Кремля, он окружен свитою, военными, народом, он ведет мир к счастью. С загадочной улыбкою сумасшедшего он кивает народам Европы, приглашая их сделать то же самое, что сделал он с русским народом.

Какое громадное, какое поразительное сходство с Иоанном Грозным! Тот в сумасшедшей ненависти преследовал бояр, повсюду ища крамолу, этот в такой же сумасшедшей ненависти преследует буржуев, всюду видя контрреволюцию. При том — толпа опричников с Малютой Скуратовым во главе, при этом — латыши и китайцы с Петерсом и Троцким. При том — раболепные бояре, и при этом — продавшиеся большевикам члены исполнительного комитета и изменники — чиновники и генералы...

Но есть и страшная разница. У Иоанна бывали минуты просветления, когда с ним смело говорили Сильвестр и Адашев, когда ему давали советы оставшиеся верными России и смелые бояре, Иоанна тяготили и жгли призраки замученных им жертв. Он шел в монастыри, он каялся, и были моменты, когда мог хоть на минуту вздохнуть спокойно русский народ.

У Владимира Ленина таких просветлений нет. При нем нет никого, кто бы сказал ему правду. Наглый еврей Троцкий пляшет перед ним и разжигает

все больше и больше его ненависть к России. Исполнительный комитет взрывами восторга и нечеловеческого ржания приветствует каждый его декрет, каждое его сумасшедшее распоряжение.

Советская Россия – приют сумасшедших. Его окружили такие же сумасшедшие, его окружили уголовные преступники, и все вместе с ним пляшут дикий танец на трупах...

А русский народ? А солдаты красной армии, и голодающие крестьяне, и рабочие, и те недостойные вожди, которые их ведут, – скоро постигнут они весь ужас такого правления, скоро поймут они, в каком диком вихре кружит Россию сумасшедший Ленин, обращая ее в сумасшедший дом?

Хамелеоны

Знаете ли вы, что такое хамелеон? Это маленькая зверюшка, вроде ящерицы, которая, приспосабливаясь к обстоятельствам, меняет то ради страха, то в целях нападения свой цвет. На листве она зеленая, на коре – бурая, в момент растерянности – бесцветная, почти белая. Какой ее основной цвет – никто не знает. Предполагают, что серо-пегий, малиновый с крапинками или полосатый с пятнами...

Сейчас приближаются решительные, ужасные минуты. Внезапные, случайные, непредвиденные схватки, обходы, стычки, захваты, набеги, встречи, потеснения и т. д. скоро, на днях, выльются в целый ряд кровопролитных братоубийственных сражений. Бой между Петроградом и Гатчиной – первый сигнал к концу войны и войн.

Исход этой последней борьбы заранее известен.

Кто победит?

С одной стороны – родина. С другой – интернационал.

Здесь – разумное, трудолюбивое хозяйство. Там – принудительная, бесплодная, надуманная коммуна.

У крестьян – армия, идущая под угрозой пулеметного расстрела во имя безумной утопии. У белых – добровольцы, отдающие жизнь и кровь во имя долга, чести, добра и совести; крошечное ядро, успевшее

так быстро и крепко развиться в могущественную армию только потому, что в основе ее лежит здоровое, естественное начало.

Для вас, русские жители, выбор ясен и прост.

Все в Белую Армию!

Всё для Белой Армии!

Но для вас, хамелеоны, исключительно для вас, последнее слово...

Последнее предупреждение, делаемое ради жалости к вашим шатким душам, ради снисхождения к вашим вялым сердцам. Ради ваших многоплодных жен и малых ребятишек!

Вы столько раз перебегали туда и сюда, столько раз меняли свою окраску, так много сплетничали, доносили, божились, унижались и двурушничали, что мера всякого долготерпения переполнилась.

Молчите! Скройтесь! Спрячьтесь! Станьте бесцветными навсегда! Засохните!

Пегость ваших цветов до сих пор служила вам средством для пощады и пренебрежительного прощения.

Берегитесь! В минуту опасности взоры истребителей обостряются.

Нежинка никогда не пропадает бесследно. Даже при линянии.

Слушайте, хамелеоны!

Помните!

Памяти Леонида Андреева. «Спасите наши души!»

С таким трагическим воплем, исполненным отчаяния, горечи и любви, сошел в могилу Леонид Андреев. Его имя было известно всему миру. Но услышал ли кто-нибудь его предсмертный призыв? Понял ли хотя один человек этот сигнал, обозначавший неминуемую и страшную гибель великой страны?

Пламенное, благородное, мужественное сердце! Да, тебя услышали, тебя поняли... твое жгучее письмо переведено на все культурные языки... ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ почти единодушно высказалась против вме-

шательства в русские внутренние распри. ШИРОКАЯ ДУХОМ АМЕРИКА парализует японское содействие. Владычица морей, гордая АНГЛИЯ, СЛОВО КОТОРОЙ ПОДОБНО ЗАКОНУ, все громче и внятнее говорит о заключении мира с большевиками. Голоса отдельных людей, еще не утративших совести и чувства, доносятся до нас точно сквозь стеклянный колпак, из которого выкачали воду.

Прямой, честный и смелый ум, так мучительно и неотступно погружавшийся в самые сокровенные глубины каждой мысли, ты не знал того, что радиосигнал SOS, уловленный приемником каждого судна, плавающего в море международной политики, имеет для его команды совсем особое, жестокое и эгоистическое значение: «Отойди дальше от гибнущего корабля, чтоб он, погружаясь в пучину, не втянул и тебя в свой водоворот. Если нет возможности разойтись, то спасай себя, становись к тонущему кораблю носом и тарань его в бок». Ты не знал этого или не хотел знать и в последней страстной надежде умышленно закрывал уши и зажмуривал глаза. И может быть, сжалившись над муками окровавленной души, судьба захотела оказать ей последнюю милость, сократив на малое время срок ее земного бытия. Какие новые, тягчайшие страдания ожидали бы ее в наши черные, смрадные дни? Если не с проклятием, то с безмерным отчаянием угас бы этот пламенник мысли.

* * *

В заупокойную книгу русских писателей-мучеников бережно внесем это дорогое имя. Я не смею вникать в распоряжение Господа Бога. Вероятно, так и надо было, чтоб и Пушкин, и Лермонтов столь нелепо и трагично умерли на дуэли, Достоевский, Помяловский, Короленко, Мельшин испытали все ужасы русской каторги, Гоголь и Успенский сошли с ума, Гаршин бросился в пролет лифта, Горький поневоле с большевиками...

Залог русской жизни – ее писатели. Андреев умер. Умер. Вдумайтесь в это слово из пяти букв. У нас больше никого не осталось.

Целую землю, где лежит тело, вмещавшее в себе ум, душу, сердце России.

Речь, сказанная тов. Лениным в торжественном заседании 25 октября 1924 года в Белом зале Смольного института в присутствии коммунистов, матросов и курсантов Красного Петрограда

Товарищи! Краса и гордость русской Революции! Семь лет тому назад мы заключили в Брест-Литовске мир с Германией. Пусть злые языки людей, политически невоспитанных, называют его похабным миром. События последующих лет оправдали нашу Государственную мудрость.

Потеряв на Родине и на Боге, на этих громких, но ничтожных словах, мы выиграли на распространении по всему миру категорических идей большевизма. Армия наша сильнее, чем прежде. Она насчитывает до полутора миллионов красных штыков.

Все, до одного, красные солдаты, начиная от девятилетних мальчиков и девочек и кончая девяностолетними старцами, наперебой рвутся в передовые цепи, на борьбу с белыми бандами, с этими наемниками помещиков, контрреволюционеров и империалистов. Транспорт налажен усилиями тов. Красина.

В смысле продовольствия мы обеспечены лучше, чем когда бы то ни было. Сегодняшняя телеграмма из Царевококшайска гласит о том, что местная Красная Армия выслала одиннадцать мешков хлеба для нужд славных кронштадтских матросов.

Бесконечно шире и полновеснее наши завоевания в иностранной политике. Брестский договор был, выражаясь образно, только прелюдией в целом ряде сепаратных соглашений. В 1919 году, в декабре месяце, заключила с нами мир Англия. Эта серьезная, мужественная страна на деле доказала свою хотя и несколько запоздалую, но яркую преданность интересам интернационализма: Вестминстерское аббатство, Собор св. Павла, Кембриджский и Оксфордский

университеты, Публичная библиотека, Хрустальный дворец и многие другие памятники аристократической культуры разрушены до основания.

В 1922 году мы помирились с Америкой. Надеюсь, что всем вам, товарищи, памятны наизусть те блестящие речи, которые были произнесены товарищами Воровским, Коллонтай, Залкиндом и Сосновским в Вашингтоне, в Белом доме. Результатом нашей миссии было то, что Америка решилась, наконец, отказать белым бандам в продовольственной помощи, предоставив их, таким образом, на волю судьбы.

В 1922 году, благодаря неустанным усилиям наших эмиссаров, Франция приняла коммунистический образ правления, учредив у себя власть Советов, Чрезвычайные комиссии и Комитеты бедноты. Прах Наполеона выброшен в Сену. Лувр и Версаль обращены в красные общежития. Собор Парижской Богоматери преобразован в кинематограф для агитационных целей. (Слушайте! Слушайте!) Прекрасная Франция уже не диктует нам своих условий. Она живет по нашему пулковскому красному меридиану и ориентируется по нашему компасу.

В 1923 и 1924 годах мы принимали в этих самых стенах чрезвычайные посольства Индии, Ирландии, Гонолулу, Украины, Абиссинии, Ньям-Ньям, Центральной Африки, Косимовской Республики, не считая многих других, более мелких государств, вроде Италии, Скандинавии, Сербии и Турции. Не есть ли эти явления лучшие доказательства всемирности и всеобъемлемости большевизма? И тем непонятнее для нас, товарищи, огорчительное поведение нашего недавнего друга Германии. Вот у меня на руках радиограмма, только что полученная от генерала Гинденбург-унд-Бенкендорфа. Позвольте мне огласить ее текст в виде доказательства полной нашей откровенности в делах политики.

«Иногда бывают необходимыми подлец, шпион, предатель и палач. Но связывать с ними навсегда свою участь может только идиот». (Позор!)

Внимание, товарищи! Прошу не перебивать меня... Но еще более удивляет и тревожит нас бессмысленный образ поведения белой армии.

Эти люди втемяшили в свои упрямые башки нелепое слово «Родина» и до сих пор не хотят сдаваться. Смерть они предпочитают плену. Они не обращают никакого внимания на нашу агитационную литературу. Наши попытки к братанию они отвергают с непонятным единодушием. Они способны драться по четырнадцати суток без передышки и без смены, почти в самом деле они сделаны из бессемеровской стали. (Слушайте!)

Вот, товарищи, где осталась для нас самая последняя и грозная опасность, величину которой я не хочу от вас утаивать. Сомкните же свои ряды, славные воины революционного Красного Петрограда! Во имя Интернационала и Красного Знамени Коммунизма все вперед, в ряды Красной Армии, к быстрой и окончательной победе над наемниками империализма и капитала!

(Гром аплодисментов.)

Стенографировал А. Куприн

Там

Введение

Есть страшная легенда о Лазаре.

Воздвигнутый всемогущим словом Иисуса из своей трехдневной гробницы, он прожил еще несколько лет. Но ни разу в продолжение этой второй жизни Лазарь не улыбнулся и никому не сказал ни слова. И взгляда его опустелых глаз, видавших тайну смерти, не мог выдержать ни один из живущих.

Мне кажется, что молчание Лазаря было еще ужаснее, чем непереносимая тяжесть его взгляда. Ибо Лазарь знал, что на человеческом языке нет звуков, слов и образов, достаточно сильных для выражения того, что он видел.

Вот уже прошло более месяца, как я ежедневно вижусь с десятками людей. Многих из них я знал давно, со многими встречаюсь впервые. И каждый из них — да-да, буквально каждый — говорит мне одно и то же: «Непременно надо, чтобы хоть какой-нибудь писатель, живущий под безумным игом большевизма, описал ярко и беспристрастно все его кровавые

гнусности, описал с холодной точностью летописца, с фактами, именами, цифрами в руках».

«Такой правдивый рассказ, – говорят они дальше, – должен потрясти общественную совесть. Едва ли загранице известна хоть сотая часть тех злодейств и обманов, которые творятся там... за красной завесой, отделяющей вход в мастерскую палача, за аршинными буквами "РСФСР", за шарлатанской вывеской, красиво зазывающей в коммунистический рай.

Большевики задушили насмерть печатное слово. Большевики уничтожили всю частную корреспонденцию. Ни один смелый голос не проникнет сквозь толщу стен, ограждающих тот острог, тот сумасшедший дом, ту трупарню, которая зовется Советской Республикой.

В позорное, постыдное и смешное положение ставят большевики тех отважных иностранных корреспондентов, которые, подобно Стэнли, отважились пробраться в самую "центральную" Совдепию, в Красный Петроград. Для этих верных стражей и рупоров общественного мнения большевики успевают приготовить за какие-нибудь два-три дня такую бутафорию, какую некогда строил Потемкин во время путешествия Екатерины Великой с ее коронованными спутниками по югу России. Только там, в конце XVIII века, были на заднем плане цветущие деревья из картона, на среднем – веселые хороводы добрых, резвящихся поселян, согнанных за одну ночь при помощи розог, а на переднем плане – почтенные отцы и деды, с бородами по пояс, проливающие слезы преданности и умиления.

А здесь, в начале XX века, толкают любознательных иностранцев по фабрикам, только что, вот-вот выскочившим из утопического романа Беллами, по фаланстериям в духе сновидений Веры из "Что делать?", по заводским столовым, где толстомордые матросы, переодетые в рабочие блузы, с удовольствием разыгрывают водевиль "Отдых и обед коммунистов-рабочих в Советской России". Как видите – разница лишь во времени и декорациях, но смешная роль первого комика и простака по-прежнему принадлежит... кому?

Если судьба дала одному человеку более или менее исключительные способности к наблюдению и изображению жизни, то его долг прокричать на весь мир жестокую правду о большевиках. Почем знать, может быть, такой вопль сумеет взволновать устающие души наших зарубежных друзей, если они еще где-нибудь остались».

Вот какие речи — часто очень интересные, иногда даже страстные — я слышу каждый день. И каждый день в моей памяти возобновляется жуткое предание о Лазаре, который умер, и был погребен, и уже «смердел, аки тридневен», но был воскрешен Великою Волею. Вновь я вижу мертвые, опустошенные глаза и бескровные уста, запечатанные тайной вечной. И я спрашиваю сейчас моих собеседников:

«А видали ли вы худые, серые лица пленных и беженцев? Видали ли покойницкие оскалы ртов, заостренные, как у трупов, носы, их глубоко запавшие веки? И этот восковой отсвет лбов? И обнажившиеся скулы? А главное — заметили ли вы в их страшных глазах ту равнодушную, безнадежную тоску, которая заставляла вас невольно опускать глаза и отворачивать лицо?

И если видели, если заметили, то не становится ли для вас еще глубже, еще страшнее удивительный смысл легенды о Лазаре? Воскресший Лазарь — это все они, бредущие теперь по зимним дорогам, сидящие у костров, стучащие робко в запертые на засов двери».

Я не хочу сомневаться в том, что найдется, наконец, русский писатель, который сумеет просто и верно рассказать об этой тридневной смерти, об этом гнойном разложении. На свои силы я пока не рассчитываю. Во мне еще слишком много лазаревского отвращения к жизни. Но в самом ближайшем времени, немного передохнув, я собираюсь все-таки дать целый ряд сухих, прозаических картин из этого неправдоподобного прошлого и буду бесконечно благодарен тем, кто подкрепит мои отчеты и наблюдения фактическим, документальным материалом.

1920

Победители

Большевистские трубы трубят победу!

Еще бы! Армия, вдесятеро сильнейшая, оттеснила горсточку самоотверженных героев, в тылу у которых было предательство, равнодушие и холодная взвешенная измена.

Но они молчат обо многом. Молчат о целых горах своих убитых и раненых. Молчат о десятках тысяч пленных и перебежчиках. Молчат о сотнях роковых, непредвиденных и неотвратимых несчастий, которыми не так человеческие ошибки, как воля судьбы окружила Белую Армию Северо-Западного фронта. Молчат, но в их хвастливом победном марше слышится та же тоска, которая заставила царя эпирского воскликнуть: «Еще одна такая победа — и я разбит!»

Есть давнишнее военное правило, к сожалению, не всеми помнимое: «Воин, если тебе тяжело, помни, что и противнику не легче».

На последнем, торжественном съезде Советов среди возгласов ликования можно было расслышать и ноты отчаяния. На минуту как будто бы приоткрылась туманная завеса над той бездной горя, смерти, страданий и ужаса, в которую завлек Россию кровавый бред большевизма.

Вот что, между прочим, было сказано Троцким 10 декабря: «Военное снабжение поставлено в трудные условия, потому что вся наша страна нуждается в снабжении, у рабочих и у крестьян нет сапог, белья и шинелей. Поэтому то там, то здесь открывается воронка, через которую военное снабжение протекает в руки гражданского населения, чаще всего через самих солдат. Конечно, это можно объяснить, но этого нельзя допустить, потому что, в первую голову, нужно одеть Красную Армию. Я уже не говорю о том, что

обмундирование, которое вытекает из рядов армии, становится слишком часто предметом купли-продажи, преступной спекуляции на разных рынках и задворках. Здесь мы еще не достигли необходимых результатов. Мы теперь приступили к борьбе против злоупотреблений с воинским обмундированием. Я останавливаю ваше внимание на этом прозаическом вопросе, ибо он имеет для нас колоссальное значение; мы не сможем, идя дальше таким же темпом, одеть и обуть нашу армию».

О, конечно, воровство солдатских сапог, шинелей и шаровар... это такая проза. Но и с поэзией боя обстоит не лучше у красных.

Троцкий дальше говорит в своей речи: «Наблюдаются факты, совершенно недопустимые и постыдные для рабоче-крестьянской страны. У нас слишком часто, в силу отчасти общей нашей бедности, отчасти притупленности сознания ко всякому горю, у нас сплошь и рядом боец, который ранен и вышел из строя, совершенно исчезает с поля брани, а медицинский персонал и сестры относятся к нему далеко не всегда внимательно. Я скажу прямо, что буржуазия умела окружить своих раненых, главным образом, конечно, офицеров, гораздо большим вниманием, чем мы окружаем наших раненых и больных красноармейцев».

Ленин говорит с еще большей откровенностью о той страшной беде, скрывать которую не позволяет даже обычное советское лицемерие: «Третий бич на нас надвигается — сыпной тиф, который косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе того ужаса, который происходит в местах, пораженных эпидемией, когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств, всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим, товарищи: все внимание к этому вопросу. Вши победят социализм или социализм должен победить вшей?»

Первые бичи — это голод и холод. Послушайте только, что говорят сами советские газеты о той гибели, до которой азиатский большевизм довел ту страну, которую слепой случай отдал ему в руки для громадного социального опыта.

«Правда» 13 декабря пишет: «Мы не скрываем своих ошибок и во всеуслышание их признаем. Сотрудник газеты побывал в детских колониях Детского Села, и вот что он там увидел. Колонии принадлежат Комиссариату Народного Просвещения. Детей не больше 80. Зашли мы туда вечером. Темно, и ни одного взрослого человека. Наконец наткнулись на дверь и вошли. У стола вертелся мальчуган, который силился зажечь лампочку без стекла. Стали обходить спальни. Полы грязные, дети худые, бледные. На столике стоял жестяной грязный бачок. Этот бачок служит для еды и, по словам детей, всегда находится в таком виде. Дети как перышки, голодные, холодные, грязные, худые, брошенные на произвол судьбы, напуганные, производят тяжелое, гнетущее впечатление. Дети рассказывают, что с ними обходятся грубо и все грозят отправить в колонию преступников. Кто виноват в этом? — спрашивает "Правда". — Почему преступники не наказаны?»

«Красная газета» 13 декабря сообщает: «Ввиду того, что "Горотон" не мог справиться с возложенной на него задачей, в его деятельности были недочеты и даже злоупотребления, решено его распустить»; «Московское управление военных сообщений ввело строгие наказания по суду Революционного трибунала всех виновных в хищении деревянных частей на жел. дорогах. Растаскивают (массовое явление) на топливо снеговые щиты, столбы семафоров (деревянные) и прочие деревянные части. Отмечается также отвинчивание ламп и стрелочных указателей и расхищение другого железнодорожного имущества. Повинно в этом не только окрестное население, но и следующие по своим дорогам воинские поезда»; «Полотно железных дорог в Петербургской губернии совершенно разрушено. Губернский Исполком объявил мобилизацию всего мужского населения в возрасте от 16 до 45 лет, живущего на расстоянии 20 верст от полотна, в целях привлечения его в течение месяца на исправление путей».

Ради чего же все эти двухлетние неслыханные страдания?

Ленин дает ясный ответ:

«Первая и основная наша победа не только военная и даже вовсе не военная победа, — это есть победа на деле той международной солидарности трудящихся, во имя которой мы всю революцию начинали, указывая на которую мы говорили, что, как бы много ни пришлось нам испытать, все эти жертвы сторицей окупятся *развитием международной революции, которая неизбежна...*

...Мы всегда говорили, до и после октября, что рассматриваем себя только как один из отрядов международной армии пролетариата, выдвинутый вперед вовсе не в меру его развития и подготовки, а *в меру исключительных условий России.* Поэтому считать окончательной победу социалистической революции можно лишь тогда, когда она станет победой пролетариата, по крайней мере в нескольких передовых странах. И вот в этом отношении нам пришлось пережить больше всего трудностей».

Слышите: нам, а не ей, этой несчастной, забытой Богом и людьми стране! А дальновидные люди Европы еще надеются, что большевизм иссякнет, выдохнется, предоставленный самому себе, и что от заразы большевизма их государства, вероятно, застрахованы...

Но чем?

Голос друга

Деникин сказал недавно: «Дайте мне обмундирование, и я увеличу армию вдвое, дайте мне снаряжение, и мы возьмем Москву».

Пушки, винтовки, аэропланы, танки, хлеб, сало, снаряды, патроны, шинели, сапоги — все это вещи, которых мы сами не можем создать. И нужно быть не в тылу, а поближе к многострадальному героическому фронту, чтобы убедиться в его великой, теплой и молчаливой признательности за всякую материальную помощь, оказываемую ему Антантой.

Но есть там крайняя нужда и в другой, не менее важной помощи. Это — духовная поддержка извне, это — мужественный и добрый голос далекого друга, слово ободрения и доверия, в котором чувствуется биение чудесного человеческого сердца.

Если бы только знали и поняли наши бывшие союзники, с каким нетерпеливым волнением ждут солдаты и офицеры на фронте прихода последнего запоздалого и измятого газетного листа! С какой трепетной тревогой устремляются к привычным столбцам эти впалые, окруженные желтизной глаза, столько раз глядевшие твердо в лицо смерти! С какой любовью и почетом, иногда с трогательными ошибками, произносятся дорогие, давно знакомые иностранные имена наших заступников перед лицом справедливости, ходатаев перед судом потомства!

«Неужели мир с большевиками? Неужели невмешательство? Значит, опять одни? Какова судьба братьев-воинов на окраинах? Гибель? Или есть надежда? Неужели хотят отказать в помощи? Неужели бросят?»

Но вот раздается с газетных полос речь избранного, любимого государственного деятеля. Нет, нет. Это голос *просто человека*. «Мужайтесь, вы, усталые, босые и голодные, вы, душу свою полагающие за родину. Чтим ваш подвиг, видим вашу Голгофу, и сердца наши с вами».

Яснеют суровые глаза, свободнее вздыхают груди, расходятся резкие складки на почерневших лицах. «Слава Богу. Не одни».

Мне кажется, что Франция могла бы ближе и глубже других стран понять все величие добровольной жертвы, которую приносит Белая Армия, и всю невероятную тяжесть взятого ею на себя подвига.

Франция, наверно, помнит, что за три первых года мировой войны она и Россия принимали исключительно на себя самые свирепые натиски поистине страшного врага. Она знает, что обе страны понесли наибольшие потери — одна в процентном отношении, другая в количественном — и что территории обеих стран во все время войны были аренами смерти, крови, опустошения.

Она также видела, как ужасно и позорно, с какой чудовищной быстротой разложилась и наша русская армия, как она растаяла именно в тот великий момент, когда союзники, наконец, смогли и сумели

счастливо собрать все свои силы и бросить их для последнего сокрушительного удара.

Русскую армию погубили не большевики и не германцы, не ее усталость и даже не пресловутое ослабление нервов. Ее задушило рабство, возведенное в государственную систему, но оно же послужило, как лучший навоз, для того, чтобы на русской земле так буйно расцвел ядовитый дурман большевизма.

Франция сама испытала в семьдесят первом году все ужасы Коммуны, с такой жуткой силой описанные Полем Сен-Виктором. Но у нее, после тяжелой и неудачной войны, еще оставалось спасение – ее великая, даже в несчастье, армия. У нас вышло наоборот: сначала распаялась по всем связкам армия, а потом началось кровавое пиршество предателей, наемников, палачей и хамов.

Тем удивительнее и героичнее должно быть в глазах великой Франции возникновение из единиц, из мелких ячеек всей Белой Армии, ее подлинное воскресение из мертвых и ее быстрый рост. Это – не случайность, не авантюра, не попытки отдельных лиц, – это инстинктивная воля народа, это бессознательная потребность живого народного организма в выздоровлении, а все неудачи и затруднения, переживаемые армией, – это боль тела, которое, нарывая, силится вытолкнуть из себя гнойное заражение.

Армия, только одна армия спасет Россию от большевизма. Она же даст возможность лучшим людям страны покончить с причиной большевизма – рабством, создав новое государство на основах народной свободы и любви к родине.

Свобода! Родина! Ало-золотыми трубными звуками всегда неслись из прекрасной Франции эти упоительные слова. И ныне мы с горячей надеждой повторяем их в своей молитве: все равно, будет ли она последней перед смертью или первой перед возрождением.

Родина и свобода в опасности! Ни одна страна в мире не знает так глубоко, как Франция, всего потрясающего смысла этого вопля.

Международная политика жестока, эгоистична и расчетлива. Может быть, это так и нужно. Но, веро-

ятно, в одной Франции сохранился еще старый рыцарский дух, полагавший свою доблесть в защиту насилуемой правды и видевший красоту в бескорыстном подвиге.

Без библейской пращи идет современный Давид на хвастливого Голиафа, и сердце его горит пламенем. Да! Он победит и, поднявши с земли огромную волосатую голову, покажет ее всему миру.

Но в тяжкие минуты борьбы как отрадно ему будет поймать хоть один сочувственный, смелый и открытый взгляд, как окрылят его мужество слова, произнесенные издали голосом друга:

— Не робей. Твое дело правое.

Пророчество первое

Страшная книга. Изумительная, беспощадная, пророческая книга. Апокалипсис ближайших дней, глумливый и гневный, начертавший образами, жившими пятьдесят лет тому назад, всю суть нынешнего большевизма: его характеристику, лозунги, происхождение, идеологию и приемы, а также его бессилие. Эту книгу — «Бесы» Достоевского — надо перечитать целиком. Она ужасна и точна до портретности. Взятые мною из нее случайные выдержки я не осмеливаюсь даже сопровождать комментариями. Я только расположил их в некотором порядке.

«Люди из бумажки; от лакейства мысли всё это. Ненависть тоже тут есть. Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся...»

«Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести».

«Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе».

«Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ».

«Напечатано вдруг, чтобы выходили с вилами и чтобы помнили, что кто выйдет поутру бедным, может вечером воротиться домой богатым. Или вдруг пять-шесть строк по всей России, ни с того ни с сего: “Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи”, — и только, и черт знает, что дальше».

«Я уже потому убежден в успехе этой пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все что угодно может произойти без малейшего отпору. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках».

«У него хорошо в тетради, — у него шпионство, у него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях, клевета и убийства, а главное, равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!»

«Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и, при безграничном повиновении, достигнуть, рядом перерождений, первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать».

«Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство».

«Полное послушание, полная безличность».

«Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого».

«Первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось. Ну и наконец, самая главная сила — цемент, все связующий, — стыд собственного мнения. Вот это так сила! Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален».

«Все это клейстер хороший, но есть одна штучка еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна. — Вы этой мазью ваши кучки слепить хотите».

«Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему».

* * *

Что же это? Достоевский ли был таким зловещим пророком или большевики целиком воспользовались его гениальной буффонадой, чтобы превратить ее в свой катехизис?

А может быть, вопрос гораздо проще? Может быть, современные потрясатели всемирного покоя — всего-навсего лишь преемники старого русского нигилизма, столь давно знакомого и гнусного Парижу и Женеве, но вдруг выскочившего, подобно сероводородному пузырю, на болоте усталости и скорби русской земли?

Троцкий

Характеристика

Помню, пришлось мне в прошлом году, в середине июня, заночевать у одного знакомого на Аптекарском острове. Была полоса белых петербургских ночей, в которые, кажется, никому не спится. В бессонном томлении бродил я по большому кабинету, где мне было постлано, перебирал заглавия книг на полках, разглядывал фотографии на стенах.

Большой поясной портрет Троцкого привлек мое внимание. Около него была укреплена на стенном подвижном кронштейне электрическая лампочка с боковым рефлектором. Я зажег ее и стал долго и пристально всматриваться в это лицо, в котором так странно и противоречиво совмещены крайняя расовая типичность с необыкновенно резко выраженной индивидуальностью.

Я и раньше много раз видал мимоходом этот портрет в окнах эстампных магазинов, и каждый раз он оставлял во мне на некоторое время летучее, смутное, почти бессознательное чувство раздражения и неловкости, какое бывает у каждого, кто на людной улице увидел на мгновение, машинально, что-нибудь отталкивающее и тотчас же позабыл о нем, но через несколько секунд нашел внутри себя беспричинный осадок недовольства и спрашивает свою память: «Что это со мною только что случилось? Откуда во мне эта беспокойная тревога? Ах, да! Портрет!»

Но в ту ночь у меня было много времени. Я глядел неотрывно в это лицо, стараясь вникнуть, как бы войти в него и представить себе: ЧТО может думать и ощущать этот человек? Широкий, нависший лоб с выдвинутым вперед верхом и над ним путаное, высоко вздыбленное руно, глаза из-под стекол злобно скошены; брови сатанически вздернуты кверху, и между ними из глубокой впадины решительной прямой и высокой чертой выступает нос, который на самом конце загибается резким крючком, как клювы птиц-стервятников; ноздри расширены, круто вырезаны и открыты; энергичные губы так плотно сжаты, что под ними угадываешь стиснутые челюсти и напря-

женные скулы; широкий, сильный, но не длинный подбородок; острая тонкая бородка дополняет мефистофельский характер лица. Но самое главное — это какое-то трудноописуемое выражение в рисунке верхней губы и в складках, идущих от носа вниз к углам губ. Невольно кажется, что этот человек только что нанюхался какой-нибудь страшной гадости, вроде асафетиды, и никак не может отвязаться от отвратительного запаха. Это выражение гневной брезгливости я видал, как привычное, у закоренелых кокаинистов и у тех сумасшедших, которые, страдая манией преследования, постоянно нюхают всякую еду, и питье, и все предметы домашнего обихода, подозревая в них скрытую отраву.

И я настолько долго вникал в этот портрет, что меня, наконец, охватил темный, первобытный, стихийный ужас. Видали ли вы когда-нибудь под микроскопом голову муравья, паука, клеща, блохи или москита, с их чудовищными жевательными, кровососными, колющими, пилящими и режущими аппаратами? Почувствовали ли вы сверхъестественную, уродливую злобность, угадываемую в том хаосе, который можно назвать их «лицами»? А если вы это видели и почувствовали, то не приходила ли вам в голову дикая мысль: «А что если бы это ужасное и так чрезмерно вооруженное для кровопролития существо было ростом с человека и обладало в полной мере человеческим разумом и волею?» Если была у вас такая мысль, то вы поймете мой тогдашний ночной страх — тоскливый и жуткий.

Я безошибочно понял, что весь этот человек состоит исключительно из неутолимой злобы и что он всегда горит ничем не угасимой жаждой крови. Может быть, в нем есть и кое-какие другие душевные качества: властолюбие, гордость, сладострастие и еще что-нибудь — но все они захлестнуты, подавлены, потоплены клокочущей лавой органической, бешеной злобы.

«Таким человек не может родиться, — подумал я тогда. — Это какая-то тяжкая, глубокая, исключительная и неизлечимая болезнь. Фотография, вообще, мало говорит. Но несомненно, что у живого Троцко-

го должна быть кожа на лице сухая, с темно-желтоватым оттенком, а белки глаз обволочены желтой желчной слизью».

Впоследствии, из показаний людей, видевших Троцкого часто и близко, я убедился в верности моих предположений. Я не ошибся также, угадав, что ему непременно должна быть свойственна нервная привычка – теребить и ковырять нос в те минуты, когда он теряет контроль над своей внешностью. Я узнал также и то, о чем раньше не догадывался: в детстве Троцкий был подвержен, хотя и в слабой степени, эпилептическим припадкам.

Среди всех народов, во все времена, существовало убеждение, что иногда отдельные люди, – правда, очень редкие, – заболевали странной, гадкой и ужасной болезнью: подкожными паразитами, которые, будто бы, размножаясь в теле больного и прорывая себе внутренние ходы между его мясом и внешними покровами, причиняют ему вечный нестерпимый зуд, доводящий его до исступления, до бешенства. Молва всегда охотно приписывала эту омерзительную болезнь самым жестоким, самым прославленным за свою свирепость тиранам. Так, по преданию, ею страдали Дионисий Сиракузский, Нерон, Диоклетиан, Аттила, Филипп II, у нас – Иоанн Грозный, Шешковский, Аракчеев и Муравьев-Виленский. У Некрасова в одном из его последних полуфельетонных стихотворений мне помнится одна строчка, относящаяся к памяти близких ему по времени устрашителей:

Их заели подкожные вши.

Современная медицина знает эту болезнь по симптомам, но сомневается в ее причине. Она полагает, что иногда, изредка, бывают случаи такого крайнего раздражения нервных путей и их тончайших разветвлений, которое вызывает у больного во всем его теле беспрерывное ощущение пламенного зуда, лишающее его сна и аппетита и доводящее его до злобного человеконенавистничества. Что же касается до бессмертных деспотов, то тут интересен один вопрос: что за чем следовало – эта ли жгучая, мучительная болезнь влекла за собою безумие, кровопролитие, гран-

диозные поджоги и яростное надругательство над человечеством, или, наоборот, все безграничные возможности человеческой власти, использованные жадно и нетерпеливо, доводили организм венчанных и случайных владык до крайнего возбуждения и расстройства, до кровавой скуки, до неистовствующей импотенции, до кошмарной изобретательности в упоении своим господством?

Если не этой самой болезнью, то какой-то родственной ее формой, несомненно, одержим Троцкий. Его лицо, его деятельность, его речи – утверждают это предположение.

Слепой случай вышвырнул его на самый верх того мутно-грязного, кровавого девятого вала, который перекатывается сейчас через Россию, дробя в щепы ее громоздкое строение. Не будь этого – Троцкий прошел бы свое земное поприще незаметной, но, конечно, очень неприятной для окружающих тенью: был бы он придирчивым и грубым фармацевтом в захолустной аптеке, вечной причиной раздоров, всегда воспаленной язвой в политической партии, прескверным семьянином, учитывающим в копейках жену.

Говоря откровенно, до нынешних дней ему ничего не удавалось.

В революции 1905–1906 годов он принимал самое незначительное участие. Рабочие тогда еще чуждались интеллигентов и их непонятных слов. Гапон был на несколько минут любимцем и настоящим вождем. К осторожным, умным и добрым советам Горького прислушивались благодаря его громадной популярности. Кое-какое значение имел Рутенберг. Остальных молодых людей в очках стаскивали за фалды с эстрад и выпроваживали на улицу.

В заграничной, тогда еще подпольной работе Троцкий также не выдвигался вперед. Он отличался неустойчивостью мнений и всегда вилял между партиями и направлениями. В полемических статьях того времени Ленин откровенно называет его лакеем и человеком небрезгливым в средствах. Служил ли он тайно в охранке? Этот слух прошел сравнительно недавно. Я не то что не верю ему (бесспорно, могло

быть и так), но просто не придаю этому никакого значения. Ложь, предательство, убийство, клевета — все это слишком мелкие, третьестепенные черты в общем, главном характере этого замечательного человека. Просто: подступил ему к горлу очередной комок желчи и крови, но не было под рукой возможности изблевать его устно, печатно или действенно — вот Троцкий и пошел для облегчения души к Рачковскому. Да ведь этому обвинению — будь оно даже справедливо — никто из его товарищей не придаст никакого значения. Мало ли что человек революционной идеи может и обязан сделать ради партийных целей? И время ли теперь копаться в дрязгах допотопного прошлого?

Но Судьбе было угодно на несколько секунд выпустить из своих рук те сложные нити, которые управляли мыслями и делами человечества, — и вот — уродливое ничтожество Троцкий наступил ногой на голову распростертой великой страны.

Случилось так, что большевистская революция нашла себе в лице Троцкого самого яркого выразителя. В то же время она явилась для разрушительных способностей Троцкого той питательной средой, тем бульоном из травы агар-агар, в которой бактериологи помещают зловредные микробы, чтобы получить из них самую обильную разводку. Таким образом, фигурка, едва видимая невооруженным глазом, приняла исполинские, устрашающие размеры.

Влияние Троцкого на советские массы не только громадно, но и чрезвычайно легко объяснимо. Вся страна находится теперь в руках людей, из которых малая часть искренно смешала власть с произволом, твердость с жестокостью, революционный долг с истязательством и расстрелами, между тем как темная толпа нашла неограниченный простор для удовлетворения своих звериных необузданных инстинктов. В их глазах Троцкий — не только наглядное оправдание, высокий пример, точка опоры — о, гораздо больше! — он герой и властелин их воображения, полубог, мрачный и кровавый идол, требующий жертв и поклонения.

Его появление на трибуне встречается восторженным ревом. Каждая эффектная фраза вызывает ураган, сотрясающий окна. По окончании митингов его выносят на руках. Женщины — всегдашние рабыни людей эстрады — окружают его истерической влюбленностью, тем самым сумасбродным обожанием, которое заставляет половых психопаток Парижа в дни, предшествующие громким казням, заваливать письменными любовными признаниями как знаменитого преступника, так и monsieur Дейблера, носящего громкий титул — Maître de Paris[1].

Я не шутя говорю, что не было бы ничего удивительного в том, если бы в один прекрасный день Троцкий провозгласил себя неограниченным диктатором, а может быть, и монархом великой страны всяких возможностей. Еще менее удивил бы меня временный успех этой затеи.

* * *

Рассказывают, что однажды к Троцкому явилась еврейская делегация, состоявшая из самых древних, почтенных и мудрых старцев. Они красноречиво, как умеют только очень умные евреи, убеждали его свернуть с пути крови и насилия, доказывая цифрами и словами, что избранный народ более всего страдает от политики террора. Троцкий нетерпеливо выслушал их, но ответ его был столь же короток, как и сух:

— Вы обратились не по адресу. Частный еврейский вопрос совершенно меня не интересует. Я не еврей, а интернационалист.

И однако он сам глубоко ошибся, отрекшись от еврейства. Он более еврей, чем глубокочтимый и прославленный цадик из Шполы. Скажу резче: в силу таинственного закона атавизма характер его заключает в себе настоящие библейские черты. Если верить в переселение душ, то можно поверить в то, что его душа носила телесную оболочку несколько тысячелетий тому назад, в страшные времена Сеннахерима, Навуходоносора или Сурбанапала.

Обратите внимание на его приказы и речи. «Испепелить...», «Разрушить до основания и разбросать

[1] Хозяин Парижа *(фр.)*.

камни...», «Предать смерти до третьего поколения...», «Залить кровью и свинцом...», «Обескровить...», «Додушить...».

В молниеносных кровавых расправах он являет лик истинного восточного деспота. Когда под Москвой к нему явились выборные от его специального отряда матросов-телохранителей с каким-то заносчивым требованием, он собственноручно застрелил троих и тотчас же велел расстрелять всю сотню.

Отрывком из клинообразных надписей представляется мне приказание Троцкого о поимке одного его врага, притом врага более личного, чем политического: «Взять живым или мертвым, а для доказательства представить мне его голову. Исполнителю — сто пятьдесят тысяч рублей».

Наконец, пламенная его энергия и железная настойчивость суть чисто еврейская народная черта. Нам, русским, пришлось недавно поневоле испытать все прелести паспортной системы, черты оседлости и права жительства. Еврей знал их еще в те времена, когда наши предки ходили на четвереньках. Выносливость, жизнеспособность и неутомимость помогли ему преодолеть не только эти стеснительные путы, но выйти живым из всяких пленений, гонений и массовых аутодафе, сохранив расовый облик, древнюю религию и национальный характер.

Троцкий не умен в обширном и глубоком смысле. Но ум у него цепкий, хваткий, находчивый, легко усвояющий, фаршированный пестрыми знаниями. Стоит только припомнить его изречения — все они украдены без ссылки на источники. Словечко о гильотине, которая «укорачивает человека на голову», принадлежит одному из якобинцев. Потребовав 50000 буржуазных голов, Троцкий только прибавил два нуля к счету Марата. Мимоходом он «усвояет» у Наполеона, Бисмарка, Мольтке и даже у Драгомирова. Еще не выработав посадки на Красном Коне, он уже овладел техническими и бытовыми военными терминами.

Он не творец, а насильственный организатор организаторов. У него нет гения, но есть воля, посыл, постоянная пружинность.

У него темперамент меделяна, дрессированного на злобность. Когда такому псу прикажут «бери!» — он кидается на медведя и хватает его «по месту» за горло.

Так, отчасти, рассматривает Троцкого Ленин. Но пусть кремлевский владыка не забывает, что эта порода крайне мстительна и злопамятна. Бывали случаи, что меделян хватал «по месту» не медведя, а своего хозяина, наказавшего его накануне. А *этот* однажды уже огрызнулся.

Впрочем, и у Троцкого есть свой меделян.

Христоборцы

По-видимому, каждая революция сопровождалась взрывом безбожия: французский конвент «голосовал» Бога и все-таки допустил бытие «Верховного Существа». Отчасти из рабского подражания великому образцу, отчасти помятуя слова Достоевского о том, что русский атеист — самое нелепое и готовое на всякое преступление существо, нынешние демагоги усердно вырывают Бога из народного русского сердца.

Товарищ Шпицберг публично обозвал Бога буржуем. Какой-то матрос выскочил на эстраду и, стуча себя кулаком в декольтированную волосатую грудь, вызвал Бога на единоборство. «Вот я стою здесь и кричу Тебе! Если Ты существуешь, ударь в меня своей молнией!» Какие-то ученые комиссары пригласили почтенного протоиерея Казанского собора о. Орнатского на публичный диспут о религии, гарантировав ему свободу дискуссии и личную неприкосновенность. Через день после этого свободного состязания о. Орнатский был расстрелян на дому, а вместе с ним убили и его сына, студента, пытавшегося защищать отца.

Что русский человек в эпоху кровопролития отворачивается от лица Бога, мне это еще понятно. Так каторжник, прежде чем вырезать спящую семью, завешивает полотенцем икону. Но я не в силах представить себе, что чувствует и думает русский костромской мужичонка, когда перед ним попирают и валяют в грязи кроткий образ Иисуса Христа, того самого

Христа, близкого и родного, которого он носит «за пазушкой», у сердца.

Ужас и отвращение возбуждают во мне пролетарские народные поэты. Василий Князев печатает кощунственное «Красное Евангелие». Маяковский — единственный талантливый из красных поэтов — бешено хулит Христа. Другие виршеплеты в хромых, дергающихся, эпилептических стихах издеваются над телом Христовым, над фигурой Распятого, над Его муками и над невинной Его кровью.

И кровь, кровь твою
Выплескиваем из рукомойника.

Пилат умыл руки, предавая Иисуса суду синедриона. Эти палачи умывают в тазу руки, совершившие вторично Его казнь.

Конечно, они идут, рабски следуя воле главарей революции, которым простонародные, милые, теплые, *свои* облики Христа, Девы Марии и Николая Угодника кажутся более опасными щитами на их разрушительном пути, чем трудно постигаемый и слишком отвлеченный Бог...

Но мне кажется почему-то, что многие из них — (какой краской ни мажься, а они *все-таки* русские), — богохульствуя днем, вечером, при отходе ко сну, крестят изголовье, а потом тщательно закрещивают мелкими крестами все дырочки между собой и одеялом.

Какое подлое рабство! Какая низкая трусость! На что способен в своем падении «гордый» человек.

Пролетарские поэты

XVIII столетие, особенно конец его, застал русских поэтов в незавидном и унизительном положении. Литературного труда не существовало, было баловство и щекотание милостивых пяток. Барский крепостной стихотворец строчил вирши к дням рождения, именин и свадеб, на случай получения ордена Св. Анны третьей степени и на горестную кончину густопсового кобеля Заливая. Он лишь небольшим оттенком выделялся из толпы домашних карлов, шутов и шутих, гайдуков, сказочников и арапов. Придвор-

ный поэт сочинял оды на восшествия, победы и фейерверки. Положение его было не многим лучше, чем судьба доморощенного виршеплета. И того, и другого жаловали объедками и обносками. Тот и другой торчали в согбенных позах по передним. Порою обоих наказывали розгами на конюшне или палками, где придется, руками верных слуг.

Прошло почти полтораста лет. Былое крепостное и верноподданическое рабство нашло повторение в рабстве социалистическом. Поэт-холоп воскрес в поэте-холуе. Их даже роднит низкое и безвестное происхождение. Но царицу и вельможу сменил многоголовый и безликий пролетариат. Не стихами, а какой-то говяжьей рубленой прозой воспевают пролетарские поэты величие коммунистических субботников, подвиги чрезвычаек, необходимость расстрелов и пыток и в поте лица придумывают акростихи к фамилиям — Ленин, Зиновьев и Троцкий.

Они наглее своих прадедушек. На последнем своем съезде пролетарские поэты первым делом потребовали прибавки содержания. Прежние намекали о своих нуждишках деликатно, обиняком, в смиренной форме:

> Но хлад знобит на чердаке поэта;
> Его натура лишь во вретище одета.

И ему жаловали с господских плеч поношенную выдровую шубу.

Теперешние поставили ультиматум: «Итак, пролетарскому поэту предстоит выбор: отдаться целиком своему *призванию* и тем осудить себя на голодную смерть или взяться за побочный труд, губящий высокое *творчество* и иссушающий *вдохновение*». (Бесстыдники прямо, ведь такими нескромными словами и выразились!)

Из этой жалобы вытекает ясный вывод:

— Нужна вам пропаганда ваших декретов в стихотворной форме? Да? В таком случае не скупитесь на чаевые.

На первом заседании съезда поэт Василий Князев умудрился сделать целых три доноса (помилуй Бог, какая быстрота!).

Он натравил начальство на «Дом литераторов» — невинное учреждение на Бассейной улице, д. № 11, куда старенькие, бывшие писатели и писательницы приходили изредка, едва волоча ноги, пожевать беззубыми челюстями кобылятинки, пошептаться о дороговизне дров, отдохнуть, отогреться. По словам Князева, эта хижина дяди Тома была очагом хищений и контрреволюции!

Он обратил внимание политического сыска на государственные книгоиздательства «Всемирная литература» и «Севцентропечать». Там-де издаются сочинения прежних буржуазных писателей и нынешних гнусных саботажников, не желающих идти в нашу красную распивочную лавочку. Похерив с размаху — дорого ли это ему стоит? — все старое, прекрасное, истинное творчество, в котором было почти единое оправдание России перед миром, Князев гордо поднял красное знамя с надписью «васькина литература».

И он же сделал донос на Общество драматических писателей — взявшее под свое покровительство не только пьесы буржуазного характера, но и пьесы авторов, эмигрировавших из пределов благословенной Совдепии. А посему: самое общество взять под сюркуп, суммы же авторских гонораров немедленно реквизировать!

Не в пользу ли вдохновенных пролетарских поэтов?

Этому позорному красному болвану даже в голову не приходит, в какое невозможное и нелепое положение ставит он независимого писателя.

Если настоящий писатель напишет то, что ему подсказывают вкус, совесть и желание, его слов нигде не напечатают.

Если он попробует написать исключительно для себя и для будущих времен, то при первом обыске его поволокут в Чрезвычайку.

Если он ничего не пишет, а просто, так себе, медленно умирает от истощения — он виновен в злостном саботаже.

Если же он каким-нибудь чудом прорвется из васькиной страны в пределы недосягаемости, он — дезер-

тир, изменник, тайный агент Антанты, враг революции. А его тяжелая писательская копейка пойдет на каннибальские утехи графомана, бездарного потного рифмача, этого божеского наказания прежних редакций, запруженных его ухабистыми стихами, озлобленного неудачника, на долю которого взбалмошная судьба вдруг послала дешевый, шумный, бесконтрольный, подлый, уличный успех вместе с горячим от хозяев и наградными к праздникам.

Королевские штаны

Какая все-таки золотая неумирающая правда заложена в старых прелестных сказках! В них всегда почерпнешь мудрую мысль или чудесную аллегорию.

Таков, например, остроумный рассказ Андерсена о королевском платье.

Ну чем, подумайте, Россия – не этот самый сказочный король? Разница лишь в том, что датский король пошел на удочку шарлатанов из тщеславия, а русский – по собственному ротозейству и вследствие насилия. А разве большевики не похожи на андерсеновских портных, которые, в страшных хлопотах, кроят, шьют и утюжат воображаемый роскошный костюм из воображаемого материала? Разве на эту фантастическую бесплодную работу не ушли вся королевская казна и все королевское достояние, вплоть до дворцовой мебели и носильных вещей? И разве сам властелин – русский народ – не похож теперь на легендарного короля Дагобера, который по утрам принимал своих министров, лежа в кровати, потому что королева в эти часы чинила его единственные штаны?

У Андерсена прелестно обрисованы и король, и придворные, и раболепный народ, и классически-откровенный дурак, и богатевшие с каждым портновским жестом закройщики.

Но за то – не знаю, сознательно или неумышленно – затенена роль тех купцов, которые поставляли ко двору ленты, банты, вышивки, позументы, шелк, атлас, бархат и кружева, необходимые для воздушного платья.

Они-то ведь, несомненно, понимали всю суть мошеннической затеи, которая наполняла их карманы полновесным золотом.

Но как они сумели сохранить серьезность при этой долгой игре? Как они удержались от того, чтобы не лопнуть от смеха, участвуя в этом всенародном надувательстве? А, однако, они важно покачивали головами и деловито разводили руками, глядя на пустое пространство, где висел воображаемый пышный костюм.

* * *

Англия всегда была по преимуществу торговой страной. Иван Васильевич Грозный так и охарактеризовал ее в своем удивительном послании к королеве Елизавете, к которой он так неудачно сватался: «А королевством твоим управляют торговые мужики, а не ты».

Торговые мужики отлично знают, что принцип свободной кооперации ненавистен и страшен советской власти не менее, чем призрак буржуазной республики. Они не могут не знать, что всякие следы бывших кооперативных союзов большевиками тщательно стираются, а все деятельные и видные кооператоры — или расстреляны, или бежали от расстрелов за границу.

Но торговые мужики желают иметь дело не с коммунистической республикой, а с вольной кооперацией. Хорошо. Извольте. Мы вам представим на бумажке громадную сеть вольных кооперативных ячеек и двадцать пять миллионов кооператоров. Только сумейте, пожалуйста, сохранить на народе серьезное лицо.

Вам нужно сырье? Нужен остаток урожая прошлого года?

Прекрасно. Завтра же будет доставлено. Но, конечно, вы сделаете вид, что будто бы не слышите воплей, стонов и рева, которые раздадутся по всем русским деревням, когда специальные отряды будут выжимать из мужика зерно и лен, а также и кожу, сдираемую живьем с последней коровенки. У себя в газетах вы прикажете писать об «этом баснословном,

неисчерпаемом, колоссальном природном богатстве России».

Вы опять похвалите мимоходом новое платье и пожмете руку расторопным портным. А король?..

Пусть он сидит себе на убогой кровати, меланхолически рассматривает последние штаны и размышляет: «Где бы здесь выкроить лоскуток, чтобы подогнать новую заплату?»

Я предвижу, что острый разумом читатель спросит:

— А ваша роль, господин писатель?

— Конечно, дурака, милстисдарь.

И притом дурака несчастного.

Андерсеновского дурака услышали и поняли. Я же кричу в пустое пространство.

Слово — закон

Давным-давно слышал я один рассказ, который как-то особенно тепло отпечатлелся в моем сердце.

Русский художник, страстно влюбленный в Испанию, в ее природу, пейзаж, костюмы, краски, песни, танцы и обычаи, пристал как-то к шайке контрабандистов и странствовал с нею по диким горным тропам и ущельям. Эти живописные и прямосердечные молодцы скоро освоились с художником, все имущество которого заключалось в теплом одеяле, палитре и альбоме, а все вооружение — в игрушечной навахе, которой он соскабливал краски и резал свою долю мяса на ночлегах, у костра, в неприступных пещерах. Может быть, они даже и полюбили его, потому что в русском бродячем и талантливом человеке есть всегда множество привлекательных черт. Даже то обстоятельство, что приблудный гость не выказывал ни малейшего намерения принять непосредственное участие в отважных подвигах своих друзей, ничуть не уменьшало общего доверия к нему.

Долгое время шайке везло. Почем знать, может быть, контрабандисты — эти самые суеверные люди из суеверных испанцев — смотрели на русского как на своего рода живой фетиш, приносящий удачу? Но в одно злополучное утро вся шайка, ночевавшая с бо-

гатым грузом лионского шелка в узкой теснине, была окружена пограничниками, а после жаркой перестрелки взята в плен. С нею вместе был арестован и художник.

Правосудие того времени рассматривало контрабанду как одно из самых серьезных преступлений. В данном случае это преступление отягощалось вооруженным сопротивлением, повлекшим за собою ранение нескольких солдат и смерть двоих или троих из них. Испанский суд – скорый и немилостивый – приговорил всех контрабандистов, оставшихся в живых, к смертной казни. Вместе с ними был осужден на казнь и русский художник: его перочинная наваха была сочтена уличающим орудием преступления. Единодушному свидетельству всех контрабандистов о совершенно мирном характере и житии художника суд не придал никакого значения. Закон строг, но это – закон. Русского ожидало гарротирование, то есть публичное удушение, на площади в Севилье. Эта казнь состоит в том, что палач надевает на шею осужденного железный раздвижной ошейник и, поворачивая сзади рукоятку, сжимает кольцо до того предела, пока не наступит смерть.

У художника была подруга, испанская гитана, женщина пылкая, любящая и преданная. Она тщетно обивала пороги у судейских и всяких административных лиц. Она валялась в ногах у русского консула. Этот представитель страны, охрана, защита и прибежище соотечественников, только замахал на нее руками: «Помилуйте! Может выйти политический конфликт! Уйдите, пожалуйста, поскорее и забудьте о том, что вы меня видели!»

Впрочем, одному только Богу известно, для чего вообще существовали за границей русские консулы, эти самые ленивые, чопорные, бездарные, трусливые и равнодушные люди на свете.

Кто-то, вероятно просто наобум, посоветовал этой славной женщине обратиться к английскому консулу, которого, конечно, ни с какой стороны не могло касаться злоключение русского художника. «Поговорите с ним по сердцу, – сказал этот человек. – Если он для вас ничего не сделает, то вашему другу не поможет и Бог».

Но как это ни странно — англичанин выслушал гитану очень внимательно и близко принял к сердцу ее страстную скорбь. Сначала взял с нее клятву в том, что все, ею сказанное в защиту интересов друга, есть истинная правда. Потом попросил показать ему этюды и альбомы художника. В тот же день он в самой решительной форме потребовал у испанских властей немедленного освобождения русского.

Власти сначала попробовали оказать сопротивление. Но консул подтвердил свою волю следующими великолепными каменными словами: «Совесть мне говорит, что этот человек невиновен. Он взят мною под защиту английского флага. Англия никогда не отказывала тем, кто просил у нее покровительства. Предупреждаю, что если через двенадцать часов русский художник не будет живым и невредимым выпущен из тюрьмы, английская эскадра начнет бомбардировать Кадикс».

Художник был освобожден через три часа. Ему даже позволили пожать руки своим друзьям-контрабандистам, которым его освобождение доставило настоящую радость.

Капитан Кроми, офицер великобританской службы, убит большевиками.

Честный английский корреспондент и рабочий Килинг заточен большевиками в Бутырки.

Английские офицеры и священнослужители рассказывают о большевиках такие ужасы, от которых волосы встают дыбом.

Противоречия

Северо-Западную армию постигла жестокая неудача. Беспомощный Петроград умирал от холода, голода и всех египетских казней. Это было еще в середине ноября.

Тогда, помню, и у нас, и в Европе, и в Америке раздались возмущенные человеческие голоса:

— Нельзя предоставить население огромного города в добычу медленной и ужасной смерти. Стыдно перед Богом и историей! Надо как-нибудь организо-

вать продовольственную помощь и хоть минимальную доставку медикаментов.

Люди, кое-что смыслящие в делах и нравах Совдепии, недоверчиво покачивали головами. Но, если не ошибаюсь, ни один практический человек не подал следующего мудрого совета:

– Если хотите сделать доброе дело с настоящим результатом, то воспользуйтесь правилом американской миссии, которым она руководствовалась при кормежке детей в областях, очищенных от большевиков: «Мы охотно дадим рис, какао, хлеб, бульон и прочее. Но мы хотим лично видеть ложку во рту ребенка. Мы – выражаясь мягко – не верим в русские административные способности». Поэтому, помогая агонизирующему Петрограду, возьмите все дело распределения припасов в свои руки, минуя расторопные руки большевиков. А предварительно все-таки введите, на всякий случай, довольно сильную эскадру в Финский залив. Чем черт не шутит: ваши добросердечные продовольственные агенты в одно веселое утро могут очутиться как заложники на Гороховой, 2.

* * *

Но это сентиментальное настроение продолжалось всего лишь минуту и угасло. Мысль о частичном снятии блокады приняла другую форму. Форму – скажем для приличия – откровенную.

«Европе необходимы сырье и хлеб. Кроме того, из России очень легко вывезти до миллиона куб. сажен дров. Не все ли равно, откуда и как мы достанем необходимые нам предметы?»

Итак:

Россия замерзает – возьмем у нее дрова.

Россия падает от голода – возьмем ее хлеб.

А ей предоставим питаться, по привычке, человеческим мясом и вести эскимосский образ жизни в снежных юртах.

Вот неприкрытая мысль Ллойд Джорджа.

* * *

Частный человек – в особенности если у него дубленая совесть – может иногда входить в деловые

сношения с жуликом, пиратом, убийцей. Правительство заключает поневоле деловой контракт с палачом. Но вести товарообмен с Советской Россией уважающее себя государство может, лишь прикрывшись, как фиговым листком, мирным договором, а следовательно, и признанием всего существующего в России порядка: уничтожения собственности и церкви, насильственного коммунизма, массовых убийств как правительственной системы и т.д.

О, конечно, хлеб, сырье и дрова вы получите, несмотря на крайнее расстройство транспорта, получите скоро и исправно, получите на пограничном кордоне из рук большевиков.

В крестьянские кооперативы вы, конечно, верите еще меньше, чем мы, знающие, что их совсем не существует.

О том, как вам будет признательна Россия — которая в массе исступленно ненавидит большевизм, — станет ясно в самые ближайшие времена.

Вы же, заключив мир и обменявшись с большевиками рукопожатием, вымойте руки мылом Пирса и оставьте стыд на дне умывальника.

* * *

Но самое жуткое, смешное и нелепое противоречие заключается вот где.

Большевики ни на йоту не скрывают от вас своих завоевательных стремлений. Они прямо говорят: «Этот мир нам нужен так же, как некогда Брестский. Мы — авангард всемирной революции. Мы только передохнем чуточку, а там опять будем продолжать наше разрушительное дело до тех пор, пока сама гордая Англия не станет точным подобием русской Совдепии, с чрезвычайками, комиссарами, социализацией женщин, разрушением храмов, одной восьмой фунта хлеба в неделю, с лозунгом "Грабь награбленное!" и с комитетами бедноты в социализированных домах».

Как же, спрашивается, заключите вы мир с самым опасным, самым непримиримым врагом вашей прекрасной и мудрой государственности?

* * *

Лорд Черчилль ясно прозревает истинное положение вещей.

Но он одинок.

Город смерти

Лицо, недавно приехавшее из Петрограда, передает кошмарные сведения о техническом состоянии города.

Советская мастерская, монополизировавшая изготовление гробов для города и его окрестностей, выпускает ежедневно тысячу гробов, и этого количества не хватает. Можно считать, что в месяц умирает свыше сорока тысяч человек, а в год — до пятисот тысяч. При населении этого района в миллион человек процент смертности достигает невероятной цифры в пятьдесят процентов.

Для сравнения необходимо вспомнить: в Лондоне обычно умирает около пяти человек на тысячу в год, то есть полпроцента.

Смертность прилично обставленной больницы не должна превышать десяти процентов, а в пятьдесят процентов — это смертность больницы *чумной*.

При этом выгреба в домах разрушились; предприимчивый пролетариат просверлил фоновые трубы выше выгребов, в той их части, которая проходит в первых этажах; таким образом, первые этажи превращены в выгреба. В одном из кабинетов бывшего Данона нечистот накопилось на аршин от пола. Ванны, наполненные испражнениями, — обычное дело. Загадят один дом — переселяются в соседний.

Ту часть нечистот, которую удается вывезти из домов, вываливают по ночам на неохраняемых улицах и пустырях. Весной все это растает и процент смертности достигнет... Впрочем, нельзя предвидеть, чего она достигнет, так как это первый в истории случай загаженного города.

Не кажется ли теперь уместным поднять вопрос о выделении дела Петрограда из общего совдепского дела?

Не надлежит ли настойчиво добиваться создания вольной области (Вольный Петров-Город) под международной охраной?

* * *

К этим данным о смертности, приводимым вполне достоверным свидетелем, мы прибавим то, что большинство гробов (это было еще в начале октября) дается только напрокат, до кладбища, где труп выбрасывают в общую яму, а «домовина» возвращается назад, для дальнейшей долгой службы.

Александриты

В конце 1918 года мне пришлось быть по одному делу в Москве, на Тверской, в старинном генерал-губернаторском доме, занятом тогда, если я не ошибаюсь, Московским Советом.

Мне пришлось там беседовать довольно долго с одним видным лицом большевистского мира, человеком, кстати сказать, весьма внимательным, умным и терпимым. Его на минуту отозвали. Но я видел, как он разговаривал в соседней комнате с очень высоким смуглым монахом, у которого пышные волосы и широкая борода были, как серебро с чернью. Маленький большевик не доставал ему до плеча и в разговоре должен был задирать голову кверху. О чем они говорили, я не знаю, мой чичероне объяснил мне, что монах этот — Константинопольский патриарх, приехавший хлопотать за святейшего Тихона. Я тогда же подивился про себя на странные узоры, какие вышивает судьба по канве человеческой жизни. Наместник древнейшего патриаршества — и вдруг очутился в роли скромного просителя перед малюсеньким человеком, ставшим волею идиотского случая хозяином во дворце Салтыковых и Долгоруковых! Этот человек был — Л. Б. Каменев.

Но за время его отлучки, оглядевшись вокруг, я был не менее изумлен и заинтересован другим зрелищем. У задней стены, около большого стола, наклонившись над ним, стояли трое степенных козлобородых людей в косоворотках и высоких сапогах, типа

московских артельщиков. На столе были грудами навалены серебряные и золотые вещи — миски, призовые кубки, венки, портсигары и т.п., многие — в скомканном и сплющенном виде. Тут же помещались железные гарнцы, доверху наполненные золотой и старинной, времен императриц, монетой. Артельщики чем-то брякали, что-то взвешивали и записывали.

Я тогда же сообразил: «Так вот, значит, каким путем было выплачено германцам, по негласному пункту Брестского договора, двести сорок тысяч килограммов золотого лома, подвезенного к границе в пятнадцати вагонах!»

Но со времени этой уплаты прошло два года. Бессистемные реквизиции были оформлены в многочисленных декретах. Золото и бриллианты объявлены собственностью государства. Частным лицам разрешается оставлять у себя золотые вещи не тяжелее золотника и камни не свыше полукарата. Вещи, превышающие эти нормы, должны быть сдаваемы в казначейства или местные Советы.

В Совдепии нет ни одного взрослого человека «некоммуниста», не подвергавшегося тюрьме и предварительному обыску с попутной реквизицией драгоценных вещей. На то, что перепадает в руки комиссаров и их жен, правительство смотрит сквозь пальцы. Но оно не напрасно состоит из людей тонких и ловких. Предоставляя мелким агентам лакомиться пескарем и плотвичкой, красную рыбу, по безмолвному уговору, оно оставляет за собою. Таким образом оно и наложило тяжелую лапу не только на сейфы, но и на все заклады ссудных касс и ломбардов — частных и казенных.

Мне теперь очень ясно, откуда берутся у большевиков те миллионы золотом, которыми они расплачиваются с раболепствующими, и те миллиарды, которые они хвастливо предлагают в виде залога и поруки в верности своих обещаний.

Несомненно и то, что предполагаемый товарообмен не обойдется без участия в нем звонкой монеты, чеканенной из переплавленных наворованных вещей. Ничего. Этот вольт с успехом пройдет в небрезгливой международной политике.

Не помню, кто из римских императоров, кажется Веспасиан или Тит (это рассказано у Светония), велел построить в царственном граде множество... общественных уборных, за пользование которыми взималась плата в пользу государственного фиска. Один придворный упрекнул его: не подобает-де цезарю увеличивать казну таким грязным путем, ибо как-никак, а на монетах все же выбито изображение его лица.

В ответ на это сетование император достал золотую монету и, протянув ее придворному, сказал:

– Понюхай. Пахнет чем-нибудь?

– Ничем, великий Цезарь.

– Итак, запомни навсегда, что золото ничем не пахнет.

Поэтому оставим в стороне вопрос о родословной золотой совдеповской монеты. Меня больше всего интересует судьба тех многочисленных драгоценностей, чеканных и разных вещей, всех чудесных редкостей прошлых столетий и прочих предметов не весовой, а художественной стоимости, которые пойдут в лом. Их еще осталось без числа в руках большевиков. Далеко не всё успели скупить на Сухаревке, в Александровском рынке и у антикваров предприимчивые американцы.

Интересуюсь же я этим вопросом вот по какой личной причине.

Когда-то, в минуту сказочной роскоши, обладая несколькими свободными десятками рублей, я заказал ювелиру (Берман, Владимирский пр., № 3) сделать маленькую безделушку – дамское кольцо. В нем два александрита: один, побольше, около карата, четырехугольной формы, плоховатой воды и с трещинами, взят неподвижно в лапки, а другой, помельче, весом менее полкарата, но прелестно меняющий цвета, висит, прикрепленный к петельке. По бокам первого камня – два крошечных бриллиантика. Кольцо это, конечно, нашло себе пристанище в ломбарде и теперь составляет собственность коммуны РСФСР.

Я уверен, что второго, именно такого, чисто любительского кольца, особенно принимая во внимание характер камушков, не может быть на свете. Но я уверен также и в том, что едва только начнется тор-

говля с Совдепией, как большевики откроют на границе огромную антикварную и ювелирную лавочку. Так вот, пусть бы кто-нибудь посоветовал, что мне делать, если однажды, года два спустя, я увижу на хорошеньком безымянном пальчике какой-нибудь прекрасной леди это столь хорошо знакомое мне кольцо с александритами, представляющими, надо сказать, вообще большую редкость? Не поднимать же мне крик: «Сударыня, вы носите кольцо, уворованное у меня!»

Понятно, я только покраснею и промолчу. Да и какой может быть разговор о моей смешной безделушке, если Европа со спокойной совестью готовится покупать лес, хлеб, каолин, суперфосфаты, лен, пеньку, платину, кожу и мясо и все прочее, принадлежащее кому угодно, но только не шайке заведомых убийц, сутенеров и мошенников, самозванно именующих себя русским правительством.

Нация

Вечер. Вокруг памятника Рунеберга горят разноцветные электрические огни. Плотным хвойным барьером обнесен пьедестал. Груды живых цветов лежат у подножья. Кто-то произносит на чужом для меня языке речь; слова мне непонятны, но я чувствую их душу... Идет процессия с факелами. Студенты поют национальный гимн. Тысячная толпа скована почтительным вниманием. Нация приветствует своего поэта.

Нация!

Я умилен и растроган. Но горькая, колючая мысль шевелится на дне моей души.

Там, в городе Петра, есть Пушкинская улица, гнездилище всяких меблирашек, а посредине ее стоит памятник Пушкина.

Надо говорить правду: это не монумент, а позорище.

Величайшему поэту огромной страны, ее пламенному, благородному, чистому сердцу, ее лучшему сыну, нашей первой гордости и нашему ясному оправданию, родоначальнику прекрасной русской литерату-

ры — мы умудрились поставить самый мещанский, пошлый, жалкий, худосочный памятник в мире.

Вовсе не в маленьких его размерах заключена здесь обида. А в его идейной ничтожности.

И не оттого ли большевики пощадили этого контрреволюционера и камер-юнкера?

Улица узка, загромождена с обеих сторон шестиэтажными каменными чемоданами. Луч солнца никогда не согреет своим живым золотом обнаженную голову поэта.

Днем вокруг памятника в чахлом скверике прыгают через веревочку золотушные петербургские дети. В стороне — няньки с солдатами. А сверху сквозь ржавый туман с кислого неба сеется с натугой мелкая слякоть...

А ночью мимо него пройдешь и не заметишь.

Только по злобе или по безграничной глупости можно было втиснуть чудесного поэта в эту вонючую каменную клетку...

И видал ли кто-нибудь хоть раз в жизни хоть один цветок у ног Пушкина? И не только в чопорном Петербурге, но и в Москве, на Тверском бульваре, где стоит такой обрюзглый чиновник вместо милого, живого, нервного поэта, или в Одессе, на Николаевском бульваре, где, указывая на его бюст, местные жители с некоторым правдоподобием доказывают присутствие в жилах Пушкина доли еврейской крови.

Сказал ли кто-нибудь о Пушкине публично настоящее, большое, любовное национальное слово, за исключением Достоевского, которому и тогда, да, пожалуй, и теперь, совсем недавно, ставили в упрек его страстную, огненную любовь к России как к нации и к Пушкину как к ее величайшему выразителю?

Спел ли кто-нибудь у его памятника песню из его драгоценных слов, положенных на музыку?

Нет. На другой же день после торжественного открытия его памятника в Москве к монументу были приклеены гаденькие, подленькие стишонки.

Нет. В день столетия со дня его рождения газеты были переполнены «Пушкинианой», под которой подразумевалось сборище апокрифических стихов

и анекдотов, из которых девяносто девять процентов могли относиться к любому интендантскому писарю.

Нет. Любой интеллигентный прохвост (интеллигентный потому, что в крахмальном воротничке), знающий из всей сокровищницы Пушкина лишь одну строку –

В салазки Жучку посадил,
Себя в коня преобразил... –

с апломбом, с наслаждением копается в интимных обстоятельствах, сопровождавших дуэль и смерть Пушкина.

* * *

И так со всеми: с Гоголем, Толстым, Тургеневым, Достоевским... Со всеми...

* * *

Плевали мы на свое историческое прошлое, на светлую память своих праведников, на своего кормильца – великий русский народ, на свое национальное достоинство, стыдясь и высмеивая его. В дни неудач оплевываем русскую армию...

Плюем и удивляемся: «Что это нас как будто мало уважают!»

Нация.

Египетская работа

Большевики вывернули наизнанку все устоявшиеся человеческие понятия и нормы. Рассчитали Бога, собственность и родину. Верность слову объявили буржуазным предрассудком. Из брака сделали собачью свадьбу. Одним росчерком мохнатой передней лапы похерили поэзию...

Перед лицом всего мира скачут, кривляясь, голые уродливые обезьяны, потерявшие стыд слов, движений, жестов и гримас собственного лица. И лгут. Лгут так, как будто бы впереди, и сзади их, и рядом с ними нет ни свидетелей, ни истории, ни потомства, ни уроков прошлого.

«Свобода печати стеснена!» — кричали они в 1917 году, а в 1918-м закрыли газеты всяческих оттенков.

«Свобода собраний!» — орали они, а ныне пулеметами разгоняют сходки на заводах.

«Позор! Долой смертную казнь!» — И ввели в государственную систему как краеугольный камень такие, невиданные доселе миром, массовые пытки и казни, от которых в ужасе переворачиваются в своих гробах Нерон, Филипп II, Торквемада и Грозный Иоанн.

«Долой войну!» — И откровенно заявляют, что нынешняя война — только слабая прелюдия к мировой кровопролитной бойне, в которой России суждена роль бродильного начала, кровавых дрожжей.

«Свобода личности!» — И нет в России ни одного человека, не обысканного, не обворованного, не оплеванного, не задушенного, если только он из спасительного страха не лизал хамских пяток.

Свергнув монархическую власть, они установили охлократию — власть черни, городских подонков под именем власти пролетариата. А над чернью, — одной рукой потакая ее низменным инстинктам, а другой гоня ее через ужас смерти к рабскому послушанию, — стоит и управляет ею кучка истинных абсолютистов.

Еще недавно, лет десять тому назад, мы видели и слышали крайних монархистов, которые открыто заявляли, что единственное спасение России заключается в восстановлении крепостного права и во введении всеобщей, прямой, равной, явной и поголовной порки крестьян.

Тогда мнение этих отчаянных зубров вызывало укоризненное покачивание головами даже в самых консервативных лагерях.

Но большевики в своих семимильных сапогах оставили их далеко позади.

Не невинное крепостное право, не жалкую аракчеевскую казарму ввели они несколькими строчками декрета, а трудовую повинность по законам военного времени, с выжиманием из людей последних крох физической силы, с единственным поощрением в ви-

де куска хлеба и с единственным штрафом – в виде смертной казни.

Так строились некогда гигантские сооружения, до сих пор приводящие в недоумение нас, позднейших созерцателей: стены храма Иерусалимского, римские акведуки, египетские пирамиды...

Но пирамиды высятся и до сей поры, изумляя человечество бесполезным величием того, *что* может сделать человек. Работа же Троцкого – пирамида из трупов. Сгниют они, утучнив землю, и ничего не останется, кроме проклятой памяти о наглости одних и равнодушии других.

Подсудимые

Будут ли преданы международному суду немецкие генералы и принцы во главе с Вильгельмом II?

Вот самый жгучий вопрос самого последнего политического момента.

Великий французский воин Тома Робер Бюжо маркиз де ла Пиконнери однажды сказал: «C'est affreux, quand on pense, a ce que l'on peu oser a la gúerre» («Страшно, когда подумаешь, на что можно отважиться на войне»).

Всякая война есть акт величайшей несправедливости, жестокости и ужаснейшего насилия над человечеством.

Дело другого рода, насколько война иногда бывает неизбежной и необходимой.

Но раз она началась, то кто установит в ней меры дозволенного и недозволенного, нравственного и преступного, честного и бесчестного, если в ней убийство возводится в доблесть, шпионаж (контрразведка) становится героизмом, а целый ряд обманов, ловушек, засад, поджогов, западней и массовых потоплений называется стратегическими и тактическими приемами?

Раз война началась, то главная цель: кончить ее возможно скорее, с возможно меньшими потерями и с возможно наивыгоднейшими результатами.

Выражаясь схематически, можно спросить: «Что было бы человечнее, мудрее, а следовательно, и

предпочтительнее: окончить ли войну в несколько дней — самым жесточайшим и кровопролитнейшим образом, или, действуя под надзором и по указаниям специальных арбитров гуманности, длить ее годами, посылая на смерть поколение за поколением, осудив заранее целые страны на пожары, разорение, болезни, голод, гибель и, в общем счете, увеличив количество жертв вдесятеро, а национальные убытки — стократно?»

Когда был изобретен порох, то многие рыцари без страха и упрека повесили прадедовские мечи Дюрандели над камином и сказали со вздохом: «Умерло благородное искусство войны. Теперь могут воевать бюргеры и мужики».

Когда были изобретены разрывные снаряды, то какая-то мирная конференция — не то в Берне, не то в Женеве — нашла употребление их на войне безнравственным и недопустимым.

Когда немцы впервые выпустили снаряды с удушающими газами, весь цивилизованный мир закричал о неслыханной жестокости... но тотчас же поторопился заготовить такие же снаряды у себя дома.

Лучше же всего говорил о войне один Добромысл пацифизма: «Зачем стрелять в живых людей свинцовыми пулями? Разве нельзя придумать таких безвредных шариков, которые, попав в солдата, пятнали бы его определенным цветом — синим, красным или желтым, и такой солдат, по международным условиям, пусть считается выбывшим из строя».

В последних боях в Шампани были впервые введены в употребление, как страшное оружие, какие-то ослепляющие лучи. Ко времени будущей всемирной войны неистощимый человеческий гений несомненно додумается до таких средств, которые, на расстоянии сотен верст, будут мгновенно уничтожать, до единого человека, не только целые корпуса, но и армии.

Поэтому можно думать, что когда в день Страшного суда предстанут перед лицом высшей справедливости все зачинщики войн и все знаменитейшие вожди, то грозный ангел скажет им: «На ваших одеждах налипло так много крови, что нам трудно разо-

брать, какого они цвета: белого или черного. Идите-ка вы в чистилище, побудьте там около тысячи веков и проветритесь, а потом мы посмотрим, что с вами сделать».

И затем ангел прибавит: «А вы, предавшие родину и братьев, вы должны разделить участь Иуды. Самого Дьявола может простить Господь по неизмеримому своему милосердию, — вам же нет во веки веков ни прощения, ни оправдания».

* * *

Германцы выдумали и выпустили в Россию большевистскую заразу. Но это черное дело было последним их средством в борьбе за родину, и тут есть нечто для оправдания.

Ни одна из воюющих держав не задумалась бы, поборов естественную брезгливость, прибегнуть к такой же мере, если бы от нее зависели высшие интересы страны. И следовательно, моральную сторону этого вопроса надо оставить в стороне.

Но неужели героической Франции не приходит в голову, что дальновидный расчет германского генерального штаба, основанный на человеческой подлости, мог увенчаться и более существенными результатами, которые затянули бы войну еще на год или на два?

И разве на полях и виноградниках благословенной Шампани не пролилось бы вдвое меньше благородной и драгоценной французской крови, если бы, обманув и развратив чудесную русскую армию и предательски умертвив ее вождей, большевики не обратили ее в позорное стадо дезертиров?

Я не знаю, надо ли судить военное германское командование. Но можно много простить Германии, если бы она согласилась разжать руку, которая одна — только одна — поддерживает на весу презираемых ею Иуд, которые иначе захлебнулись бы кровавой трясиной, ими самими созданной.

Ирония

В № 32 нашей газеты была напечатана выдержка из советской газеты «Правда», которая в виде «Картинок с натуры» рассказала о том, как в Эстонии публично оскорбляют офицеров русской армии, сдирая с них погоны и кокарды, как предметы их снаряжения и обмундирования тут же, на месте, делятся между уличными насильниками, как к этому унижению нередко присоединяются побои и как в этих гнусностях принимают деятельное участие, наряду с эстонцами, также и их эстонские дамы.

В заключение картинки «Правда» привела также и случайное раздумчивое словечко одного красноармейца, случайного слушателя этого бытового рассказа: «Вот они какие... Тут им гибель, а они погонами дорожат».

Сопоставив это краткое, но веское замечание с глумливо-радостным тоном всей статьи, мы снабдили всю нашу выдержку печальным вздохом: «Нет, ни за что не поверим, чтобы эти добрые, славные, чистосердечные, прямые, простодушные эстонцы были способны на подобные издевательства над безоружными и беззащитными. Независимая, свободная, победоносная республика не допустила бы этого».

Должны признаться, мы сильно опасались, как бы эти наши слова не сочли за иронию. Откровенно говоря, мы боялись тем более, что к Эстонии мы всегда относились именно с теми чувствами, какие она заслуживает. И вот, к нашему вящему удовлетворению, мы услышали голос хоть одного человека, который принял наши слова именно так, как их и следовало принять, то есть за чистую монету.

Вот его письмо:

«М.Г. Господин Редактор!

В № 32, стр. 4-я, уважаемой Вашей газеты Вы сомневаетесь в напечатанных в “Правде” картинках с натуры, позвольте вам доложить, что, будучи в Нарве во время существования Северо-Западной армии, я был очевидцем, как с офицера в 5 час. веч. на Главной улице восемь добрых, славных эстонцев срезали

погоны, публика проходила мимо, видя это, и не заступилась.

Знаю случаи, когда офицера просто били, не снимая погон, и случаи, когда снимали кожаные форменные ремни.

По отношению к себе испытал неоднократно матерную брань по-русски, с прибавлением по-эстонски "куррат партизан".

Что подобные случаи были, видно из объявления начальника гарнизона Нарвы полковника Хинце, запрещающего эти безобразия ("Вестник С. З. А." № 135, стр. 4)».

Письмо подписано старшим лейтенантом флота (фамилия неразборчива).

Уверяем нашего случайного корреспондента, что мы безоговорочно принимаем за голую правду его сообщение, которое является одним из сотен таковых же сообщений, получаемых нами чуть ли не ежедневно от лиц, которым мы не можем не верить. Мы знаем также, что были в Нарве и Ревеле попытки офицеров приносить формальные жалобы эстонскому военному командованию за чинимые над ними насилия. Но никогда обиженным не удалось дождаться своей очереди в комендатурах, потому что в первую очередь всегда принимались и выслушивались местные жители, хотя бы и приходящие позднее, а офицеры, дождавшись предельного часа приема, уходили домой без ответа и удовлетворения.

Теперь, я думаю, г. лейтенант поймет наш сокрушенный вздох: «Не хотим верить, чтобы такое насилие и такой уличный самосуд были терпимы свободной, независимой республикой, особенно в дни именин ее государственности, в медовый месяц ее гордой самостоятельности, в эпоху, особенно располагающую к справедливости и милосердию!»

Потому что если бы этому поверили, то пришлось бы сказать, что свобода и независимость так же идут Эстонии, как свинье золотое кольцо в ноздрю.

Новые буржуи

Вчера мне случайно пришлось беседовать с лицом, только что вырвавшимся из самого жерла Совдепии, из Красного Петрограда. Человек этот был в свое время более чем богат: ему принадлежал огромный дом на Бассейной и еще два на Каменноостровском проспекте, а кроме того, он вел большое и чрезвычайно прибыльное торгово-комиссионное дело. Жил он без излишней, кричащей роскоши, но все-таки в условиях солидного и прочного комфорта, то есть светло, удобно и красиво.

В середине прошлого года в его личную квартиру, в порядке социального уплотнения, вселилась какая-то коммунистка (об ее имени он стыдливо умалчивает). Эта дама, войдя в квартиру, оглядела сквозь черепаховый лорнет обстановку, брезгливо поморщилась и заявила: «Какая мещанская мебель! Потрудитесь в течение двух часов убрать ее, куда хотите. Я пришлю свою».

И действительно, через небольшой срок приехали два грузовика, доверху нагруженные «своей» мебелью. Но какой мебелью! Здесь были кресла из цельного красного дерева с бронзовыми орнаментами и коронами, столики маркетри, шкафчики буль с мозаикой из золота, перламутра и черепахи и т. п.

А через день, в разговоре, она вскользь небрежно упомянула, что свои «сбережения» она предпочитает обращать в бриллианты, которые и емки, и портативны, и не только не теряют ценности, но с течением времени увеличиваются в ней.

Когда настали холода, коммунистка нашла, что квартира слишком велика для отопления, и переехала на какую-то более удобную квартиру вместе со «своей» стильной мебелью и «своими» камушками в замшевом кисете.

Марево

Светлые европейские умы находят, что в России, кипящей подобно котлу, строится новая, огромная жизнь, которая будет отвечать всем духовным запро-

сам и историческим стремлениям русского народа. «Не станем же, – говорят они, – мешать этому творческому процессу. Пройдем на цыпочках мимо таинственного инкубатора».

Заграничные рабочие охотно верят словам этих авторитетов, взирающих на мировые события с высоты своих наблюдательных башен. Верят уже потому, что всей душой хотят верить. А в нынешние дни вселенской разрухи мнение рабочих веско и ценно как мнение могущественного большинства. Настолько ценно и веско, что самые видные политические деятели, беспечно забыв о прежних точках зрения, искательно кланяются новой силе.

Политика – скользкое занятие, а про власть давно сказано, что она подобна морской воде: чем больше ее пьешь, тем больше хочется пить.

Русские эмигранты с волнением читают на все лады манифесты большевиков об отмене смертной казни, о призывах интеллигенции творить совместно новую жизнь, о всеобщем мире всего мира, о восстановлении торговых сношений с Европой.

Мышь думает, сидя в подполье: «Кот наложил на себя обет – скоромного не кушать. Говеет, говорят. Сомнительно. Ну, а вдруг правда?»

Заяц дрожит под кустом и размышляет: «Лиса звала вместе с ней общий дом строить. Разве пойти?»

А баран – тот без всяких колебаний пошел мириться с волком, когда тот написал ему письмо: «Давай с тобой отныне, барашек, жить в мире и в добрососедстве. И даже торговлишку откроем. Ты мне дашь шерстину, я для тебя сенцо украду где-нибудь».

Так размышляют напуганные, оскудевшие, изнервничавшиеся люди, и верят, потому что хотят верить, и закрывают глаза на обман, потому что хотят быть обманутыми.

И только люди, прибывающие оттуда, из большевистского застенка, из советского морга, люди, на которых страшно смотреть, утверждают в один голос и с такой искренностью, которой *невозможно* не верить: «У нас там никто не сомневается в близком и позорном крахе большевизма. Крестьяне решительно отказываются давать хлеб. За последних три меся-

ца было пятьдесят семь вооруженных восстаний. Дезертирство в красной армии растет не по дням, а по часам. Рабочие ненавидят комиссаров. Введение жестких законов о трудовой повинности, вызываемое крайней необходимостью, послужит последним толчком для общего развала».

Так думают и говорят не одни только недорезанные буржуи, но и сами «идейные» большевики, ибо есть и такие — один на тысячу. Они знают о зарубежных иллюзиях. Знают и горько смеются.

Ибо они видят жуткую действительность, а не газетное марево.

Зиновий Пешков

Одно лицо, проживающее в Гельсингфорсе, получило на днях письмо из Парижа от известной французской артистки Роджерс, которая, кстати сказать, прожила в России около шести лет, играя на сцене Михайловского театра, и до сих пор, несмотря на многие испытания, сохранила к русским самые искренние, дружеские симпатии.

В этом письме знаменитая артистка говорит, между прочим, о том, что ее посетил в ее ложе, во время представления, офицер французской армии Зиновий Пешков. «Правая рука у него ампутирована, — пишет г-жа Роджерс, — и пустой рукав мундира пришпилен к боку. Ему всего 28 лет, но он уже состоит в звании commandant[1] (соответственно русским военным условиям — командир отдельной части) и имеет все высшие французские военные отличия. Я глядела на него с восторгом, и несколько минут моего разговора с ним были для меня самыми приятными минутами. Удивительно, как этот славный малый (ce brave garçon[2]), проведший самые лучшие, впечатлительные годы своей юности в кружке революционеров, сохранил такое душевное здоровье и любовь к родине!»

Самое главное в письме г-жи Роджерс это то, что З.Пешков жив и здоров, вопреки газетным известиям, публиковавшим недавно о его расстреле.

---

[1] майор *(фр.)*.

[2] славный малый *(фр.)*.

Зиновий Пешков – приемный сын Максима Горького, усыновившего его двенадцатилетним мальчиком в Нижнем Новгороде. Настоящая его фамилия Свердлов. Он – племянник известного, ныне умершего Свердлова, председателя московского ЦИКа.

Судьба этого молодого человека поистине необычайна и оставляет позади себя измышления авторов героических романов для юношества.

В начале войны он поступил добровольцем во Французский иностранный легион, который давно известен во всем мире как чрезвычайной жестокостью дисциплины, так и тем, что для приема в него не требуется ничего, кроме имени, хотя бы и заведомо фальшивого, железного здоровья и выдающейся личной храбрости. Если даже там З.Пешков сумел выдвинуться, то это больше всего свидетельствует о его воле и мужестве.

В боях при Марне снарядом ему раздробило руку, которую пришлось отнять. Однако, вылечившись, он опять вступает в ряды армии и в скором времени быстро поднимается по лестнице офицерских чинов. Его отвага и энергия выделяют его в глазах высшего командования, его открытый и бодрый характер привлекают к нему симпатии солдат.

В 1915 году Пешков отправляется в Америку, где в разных городах он читает более двухсот публичных лекций, в которых призывает общественное внимание к активной поддержке держав Согласия в борьбе с Германией. Затем он опять возвращается в ряды французской армии.

В 1917 году он был командирован в Петербург с чрезвычайной миссией, имевшей в виду пропаганду дальнейшей неослабной войны с общим врагом. Пишущий эти строки видел его в ту пору: он маленького роста, живой, подвижный брюнет, однорукий.

У него большой, преждевременно облысевший лоб; желтоватый загар лица, блестящие темные глаза, маленькие усы и крошечная черная бородка придавали ему вид настоящего бравого французского офицера из колоний.

Мне ничего не известно ни о подробностях, ни об успехе его миссии в России. Но некоторый интерес

представляют его слова, сказанные о Максиме Горьком: «С Алексеем Максимовичем мы подолгу разговариваем и иногда жестоко спорим. Обо многих явлениях он не имеет понятия — даже о тех, которые творят около него. Когда я на них указываю, он не скрывает своего крайнего удивления. И тем не менее, его не стронешь с той неподвижной точки, на которой он уперся. Это его характер».

Через год с лишком М. Горький говорил мне буквально следующее:

— У меня был сегодня очень необыкновенный разговор по телефону. «Вы Максим Горький?» — «Я». — «Приемный отец полковника Зиновия Пешкова?» — «Имею эту честь». — «Он мой товарищ по оружию. Просил передать вам привет. Был недавно серьезно ранен, но теперь поправляется». — «Да где же он находится?» — «У Колчака. Идет на Петербург».

На лице у Горького одна из тех его славных улыбок, которые так очаровывают людей.

— Каков молодчик? Идет на нас. А? Я об этом в первый раз сегодня услышал...

В настоящее время Зиновий Пешков собирается проехать на Кавказ, имея в виду какие-то агитационные цели. Зная его неизменную верность русским национальным интересам, все-таки нельзя не дивиться той великой неугомонности и отваге, которая толкает этого живого и пылкого человека в самую середину осиного гнезда.

А по крови он еврей, и, для мрачных шовинистов, огулом, мысленно и печатно истребляющих все еврейство поголовно, я прибавлю — далеко не единственный среди русских евреев, составляющих благородный противовес кровавому интернационализму Зиновьева и Троцкого.

Миопия

Всякий на свете народ, если от него, конечно, отвеять дипломатов, политиков, шовинистов и партийных паразитов, несомненно, добр, созидателен, великодушен и честен. Очищенный от плевел, мешающих

его истинной национальной физиономии, он только выигрывает в чистоте и оригинальности своего характера. И слава Богу, что эти характеры так резко не похожи один на другой: здесь верный залог того, что коммунистический рай, обстригающий под гребенку все личные и расовые особенности, еще довольно далек от доброй, старой, круглой земли.

В этом именно смысле — в смысле народного лица и характера — я всегда чувствовал глубочайшее уважение к англичанам: к солидному укладу их быта, к их почтению перед стариной, к их прекрасной литературе, к их физической породистости, к их спокойной и дельной конституции, к их Я, пишущемуся с большой буквы, к их гордому «Rule Britannia»[1], к их стали, кораблям, лошадям, собакам и спорту, к их судьям, в камеру которых, если понадобится, является и сам король в качестве свидетеля, и ко многому, многому другому. И я твердо уверен в том, что, что бы ни случилось впереди, какие бы новые испытания, разочарования и унижения ни несла нам политика Англии, — все-таки мое уважение к ее народу не уменьшится и ясность его благородного лица ничем не зачернится в моих глазах.

Но нужно быть круглым дураком или грубым льстецом, чтобы не признать, что и среди этого славного народа встречаются изредка свои воры, убийцы, лжецы, мошенники, ханжи и лицемеры. Так же несомненно и то, что иногда у кормила английского государства может — скажем, случайно — оказаться человек, не совсем удовлетворяющий своему высокому назначению вследствие преобладания в нем личного и поэтому беспринципного властолюбия, склонности к панической растерянности и, наконец, вследствие политической близорукости.

Именно такой политической близорукостью и можно объяснить поведение Англии в русском вопросе. Без этого объяснения пришлось бы догадываться об умышленном, дьявольском, преступном замысле, который самое Англию толкает к гибели.

Ведь все эти разговоры о русских кооперативах, о сыре и хлебе, о помощи изголодавшемуся населению

[1] «Правь, Британия» *(англ.)* — национальный гимн.

и о мире всего мира — не более как заговаривание зубов, втирание очков, фокуснические приемы, облегчающие проворство рук. Даже для салонных дам и нынешних чрезмерно грамотных детей совершенно ясно, что Англия дрожит за свои азиатские владения и трепещет перед возникающим движением среди своих рабочих.

Все средства хороши для предупреждения этих двух опасностей, внутренней и внешней, грозящих одновременно сердцу и желудку страны. История показывает, что в выборе средств Альбион никогда не отличался излишней щепетильностью. Но среди всяких средств, какие только мог бы в создавшемся положении изобрести дальновидный и проницательный государственный ум, — мир с большевиками является самой жалкой и самой вредной выдумкой, которую могла подсказать только крайняя растерянность или честолюбивая искательная игра на популярность среди рабочих масс, но которую, из уважения к Ллойд Джорджу как к англичанину, я согласен объяснять политической близорукостью.

Да. Советская власть может дать торжественное обещание прекратить вооруженное наступление на Восток. Но где гарантия, что она, к изумлению всего мира, это слово сдержит? Не возьмут ли с нее, кстати, клятву и в том, что она откажется от своей агитационной работы в Афганистане, Персии и Индии, а также и среди рабочего населения самой Англии?

Да. Советская власть подпишет, после длинной и унизительной для английского самолюбия торговли, мирный и торговый договоры с Англией, а стало быть, и со всей Европой. Но — поверьте — не залогом свободного труда и творческого восстановления разрушенной страны провозгласят большевики этот мир, а решительной победой мирового пролетариата в деле социальной революции.

Да. Английские рабочие будут удовлетворены в своих справедливых требованиях. Но кто же не понимает того, что каждый успешный шаг русского большевизма создает вокруг его догматов во всех странах новых и новых последователей, по закону нарастания снежного шара, в кубической прогрессии? И ко-

му нынче не стал ясен социал-демократический алфавит. А — власть советов, Б — большевизм, С — коммунистический строй, затем в установленном порядке — метаморфоза собственности, церкви, брака и т.д., а в конце — таинственные литеры X, Y, Z, в которых — кровь, тьма и ужас.

Если даже у английских политиков и есть хитро спрятанная мысль — путем мира обессилить воинствующую советскую власть, то, конечно, она подсказана умышленным, боязливым закрыванием глаз перед надвигающейся опасностью.

Всем словам, какие когда-либо давали большевики, они же сами изменяли с величайшей простотой. «Мы работаем во имя свободы и счастья всего земного шара, — говорят они, — и наши задачи настолько высоки, важны и справедливы, что нам нельзя и некогда себя стеснять условной верностью обещаниям». Но единственное слово, которому можно верить, это — твердое решение большевиков не складывать оружия до конца мировой революции.

В этом смысл их бытия, оправдание их страшного образа действий и единственный выход из положения, когда сзади — сожженные корабли. Они живы, пока не прекратилось действие инерции.

Капитаны Тушины

Среди той массы человеческих образов, которые создал Толстой и которых хватило бы для заселения средней руки уездного города, есть милая, робкая и героическая — до самой глубины русская — чудесно-трогательная фигура капитана Тушина, эпизодического лица из романа «Война и мир».

Кто не помнит этого капитана в бою под Шенграбеном, его трубочки, его слабого голоса и той наивной детской грезы, в которую его сознание претворяет кровавую бойню? И вот совершил этот человек дело, доходящее до крайних границ человеческой отваги, и сам не придает ему никакого значения. «Чего же здесь удивляться? Это — так просто».

Потом этот же капитан Тушин — перед грозными генералами. Стоит, мнется, робеет, молчит. Началь-

ство в чем-то его обвиняет, кто-то мимоходом покушается устроить на деле Тушина свою карьеру. Он молчит. Разве можно возражать, когда начальство гневается? А ведь, в сущности, он-то и есть случайный, но главный герой Шенграбенского сражения. Это он зажег деревню, ключ позиции, и обстреливал ее до последнего снаряда, до потери почти всех людей и лошадей.

А выйдя из ставки, он с горячей, суетливой благодарностью жмет руку князю Андрею, сказавшему о нем всего лишь правдивое слово:

— Спасибо, голубчик... выручил...

И князь Андрей отворачивается от него *с жалостью.*

Капитан Тушин как-то мало заметен среди подавляющей массы персонажей этого романа. Он не особенно почтен вниманием читателя. Критика мало интересовалась им. А между тем о нем можно думать, говорить и писать без конца.

Он есть самый верный тип русского военного героя, да, пожалуй, и вообще русского героя. Тут и простота, и мечтательность, и врожденный стыд перед громкой фразой или красивым жестом, и полнейшая неспособность к оценке собственного подвига. Пусть меня простят: такой героизм я считаю самым высшим в мире. Он бескорыстен.

А рядом чисто русские черты — смирение, робость, рабская покорность — проклятая школа коронованных и некоронованных держиморд, — уродливая школа, породившая, в силу исторического закона противодействия, другое уродство — русский большевизм.

* * *

Достоевский в «Дневнике писателя», в одной из статей, относящихся к войне 1877–79 годов, рассказывает об английском военном агенте, который держал себя при ставке главнокомандующего самым наглым и развязным образом. Между прочим, однажды, надевая пальто, он полуобернулся к русскому офицеру с жестом, явно требовавшим помощи. Офицер пожал плечами и... помог найти рукав. Достоевский го-

ворит об этом случае с той горечью, какую только у него можно встретить.

А ведь этот русский офицер мог быть и настоящим боевым офицером. Очень вероятно, что это был тот же, но в новом поколении, капитан Тушин. И сделал он свой рабский жест не от рабства личной натуры, а от инстинктивного родового трепета перед начальством, перед главным, перед имеющим право приказывать. Давно известно, как лучшие и храбрейшие русские люди беспомощны перед наглецами и самозванцами. И — клянусь — иностранцам никогда не понять этой — в корне вовсе не унизительной — смеси героизма со смирением.

* * *

В Ревеле и Нарве все наши капитаны Тушины яснее ясного видели, что английская помощь была лишь презрительно кинутой подачкой, да к тому же подачкой третьего сорта, которая поступала не вовремя и в непотребном виде. Но, по скромности своей, они полагали Англию за свою величайшую благодетельницу, а себя — вечными ее и неоплатными должниками. Считать ли такой пустяк, как кровь? И шли умирать.

Им и в голову не приходило, что никогда и ничего Англия не делала бескорыстно, что за старые обмотки, за танки времен Кира персидского, за партию эспадронов, за пушки без замков, за аэропланы без масла, за пулеметы без лент они рано или поздно возьмут шейлоковские проценты, возьмут чем угодно: золотом, бриллиантами, углем, льном, хлебом, кожей, лесом или потом и кровью белых русских рабов.

Вернее, впрочем, им это приходило в голову и они даже говорили об этом между собою, шепотком. Но вслух? Да спаси Господи! Англичане все такие рослые, бритые и надменные — точь-в-точь как блаженной памяти придворные лакеи. Речь у них отрывиста и груба. Как с ними говорить? Помилуйте. Начальство. Невозможно.

Правда, с видным чином английского командования однажды говорил отважный русский полковник П. и говорил именно так, как следует с людьми «высо-

комерной позы», то есть наступив ему на ногу, глядя в переносицу и не прося, а требуя. Англичанин охотно согласился с его доводами и весьма быстро сделал все, что ему надлежало сделать. Впоследствии он говорил:

— Я имел большое удовольствие беседовать с полковником русской службы П. Вот — настоящий, бравый офицер, с несомненным чувством собственного достоинства.

Увы, это был штабной офицер!

* * *

Но полковник П. благополучно уехал за границу. А капитаны Тушины, безвестные и скромные герои, томятся теперь в унизительных и тяжких условиях полуплена-полукаторги в Эстонии. Вся вина их в том, что они любили родину больше себя и верили Англии, как верному другу. Бесполезно для родины растрачены и кровь, и подвиги. Англия беспечно отвернулась в сторону и забыла про капитана Тушина, которого она не только не понимала, но и не замечала.

Англия приняла в русском вопросе другую ориентацию. И бог с ней.

Но для меня — признаюсь в слабости — скромный капитан Тушин стоит все-таки бесконечно выше Веллингтона с его сапогами.

Через десять лет

Сильно драматическая пьеса в одном действии.
Боевик сезона. Не сходит с репертуара.

Действующие лица:

Товарищ Иоффе — изнеженный патриций.
Ллойд Джордж — гонец из Англии.
Товарищ Лакей.

Действие происходит в бывшем дворце Шереметевых, на Фонтанке, в Красном Петрограде. Пышная приемная зала. Посредине ее – седалище, нечто среднее между троном и курульным креслом. Других стульев нет.

Товарищ Лакей. Я вам, товарищ, русским языком говорю, что товарищ Иоффе еще спят, а вы лезете самосильно...

Ллойд Джордж. Помилуйте, почтеннейший, — половина второго.

Т. Лакей. Ну, не спят, так фрыштикают. А то, может быть, займаются этим самым педе... педе... как его?

Лл. Дж. Педикюром?

Т. Лакей. Это самое. Приходит туда одна барышня копыта им чистить.

Лл. Дж. Однако, глубокоуважаемый, примите во внимание, что я жду уже более часа.

Т. Лакей. Значит, и еще подождете. Не велика птица в перьях. *(Садится в кресло и закуривает папиросу.)*

Лл. Дж. Но все-таки, достопочтенный, как-никак, а я представитель дружественной державы.

Т. Лакей. Много у нас этих представителев в передней треплется. Все притолки пообтерли. Других даже и на порог не пускаем. Взять, к примеру, хоть бы эстонского... Плачет, бедный. Пустите, говорит, хоть обогреться. Жалко его, а ничего не поделаешь... Приказ такой вышел. А кто виноват, как не сам? Лезет, дурашка, с какими-то старыми векселями. Ну кто, спрашивается, нынче этим бумажным клочкам верит?.. А он все свое скулит: обольстили, говорит, а потом бросили. Это правда: наши на этот счет молодцы. Народ ухватистый...

Лл. Дж. Да, но ведь одно дело — Эстония, а другое дело...

Т. Лакей. Мы вас, англичан, не обижаем... Вы народ все-таки сурьезный, купцы... Окромя того, услужливы и почтительны... Это мы любим. Только уж больно шибко от вас буржуйным духом несет. И насчет церкви опять-таки слабость имеете... Баловники.

Лл. Дж. Это мы всё... как-нибудь... впоследствии...

Т. Лакей. Обещания туго исполняете... Ну, скажем, железные дороги нам починили... Хорошо... А флот где? А?

Лл. Дж. Будьте покойны... Все силы, меры... Так уж соблаговолите, почтеннейший, скажите обо мне словечко. Буду *особо* благодарен. Устал, как лисогонная собака.

Т. Лакей. Попробую... пойду... (*Уходит в дверь налево, возвращается через несколько минут.*) Кофий пьют. Скоро выдут... (*Молчание.*) Ну, а как у вас там, в Англии?

Лл. Дж. Да так себе... вообще...

Т. Лакей. Не веселят дела?

Лл. Дж. *(уныло)*. Нет, ничего... Проголодался я, в шесть часов сегодня встал... Дела, конечно, не очень чтобы важные.

Т. Лакей. Вот то-то же. Промахнулись вы малость. Ошибку дали. Вам бы вовремя забежать вперед да поклониться пониже. Другой бы толк вышел. Это мы только в Бресте похабный мир заключили. А в двадцатом году мы вас ясно упреждали: подходите, мол, пока не тесно и пока мы в милостивом духе. И надо вам было поторопиться... А вы кобенились.

Лл. Дж. Да мы, кажется, со всем усердием... Я из кожи вон лез...

Т. Лакей. Про тебя нет и речи. Вы парень старательный. За то вам и награда. Опять рабочие выборами почтили.

Лл. Дж. За вашу рекомендацию весьма признателен. А все же тяжеловато нам. Взять хотя бы контрибуцию за убытки, причиненные нашей поддержкой белых армий. Шутка сказать, сто миллионов фунтов!

Т. Лакей. Благодари Бога, что не пудов.

Лл. Дж. Опять-таки Гибралтар. Ну, ладно, уступили вам Дарданеллы. А Гибралтар-то вам зачем?

Т. Лакей. Ничего. В хозяйстве всякое пригодится.

Лл. Дж. Теперь, вот, требуете от нас низложения короля и перехода к советской республике.

Т. Лакей. Опоздали с новостями, товарищ. Не просто советской, а коммунистической. И короля не низложить, а выдать нам в качестве заложника...

Лл. Дж. *(отчаянно)*. Вот видите...

Входит Иоффе. Он в роскошном боярском костюме из парчи, украшенном самоцветными камнями. На голове соболья шапка с острым червленым верхом. Сигара в зубах. Пенсне.

Товарищ Иоффе *(покровительственно)*. А-а! Кого я вижу. Старина Ллойд Джордж! *(Садится в кресло.)* Садитесь, товарищ. *(Ллойд Джордж беспомощно озирается и остается стоять.)* Я только что позавтракал и ужасно тороплюсь... Не хотите ли стакан портвейна или хереса? *(Лакею.)* Товарищ Лакей, принесите товарищу Ллойд Джорджу стакан хереса. У меня чудесный херес, «Amotil lado»...

Лл. Дж. Позвольте отказаться.

Т. Иоффе. Товарищ Лакей, не надо вина товарищу Ллойд-Джорджу. Отставить. Ну, в чем же дело... Какие там у вас жалобы? Только предупреждаю, излагайте в двух словах. У меня ни секунды времени. Надо поспеть на репетицию в балет, на два митинга и на парадный обед в Чека. Валяйте.

Лл. Дж. *(торжественно)*. Глубокоуважаемый сэр... Истинное чувство национального английского достоинства...

Т. Иоффе *(посмотрев на часы, вскакивает как ужаленный)*. Батюшки, опоздал... Два без пяти! *(Лакею.)* Мотор подан?

Т. Лакей. Есть!

Т. Иоффе. Ах, черт меня побери, как я заболтался. Вы, товарищ Ллойд Джордж, уж когда-нибудь в другой разок забегите. Все равно вам делать нечего, а у меня, видите, хлопот выше головы. *(Идет к дверям.)* И, пожалуйста, покороче.

Занавес медленно падает.

P.S. Когда набиралась эта беззлобная шутка, редакция успела получить известие о том, что Ленин вызывает Ллойд Джорджа в Москву для переговоров.

Кровавые лавры

И враги человеку домашние его.
Евангелие

Лучший сын России погиб страшной, насильственной смертью. Великая душа – твердая, чистая и любящая – испытала, прежде чем расстаться с телом, те крестные муки, о которых даже догадываться не смеет человек, не отмеченный Богом для высшего самоотречения.

Одинокая, скорбная, горькая кончина!

Будет ли для нас священно то место, где навсегда смежились эти суровые и страдальческие глаза, с их взглядом смертельно раненного орла? Или – притерпевшиеся к запаху крови, все равно, будь это даже кровь великомученика, равнодушные ко всему на свете, кроме собственного сна и пищеварения, трусливые, растерянные и неблагодарные – мы совсем утратили способность благоговеть перед подвигом, хотя бы и бесплодным, перед жертвой, хотя бы и напрасной, и расчетливо преклоняемся только перед успехом, сулящим нам еду и покой?

Отступлению Суворова через Альпы история посвятила одну из самых блестящих страниц. То были времена, когда красота и величие личного героизма зажигали сердца трепетным огнем. Настоящие герои современной войны – генерал Гинденбург и удушающие газы.

Усилиями своей воли и своего обаяния Колчак сумел создать и спаять Восточную армию. Дважды доходил он с нею до Урала и дальше и дважды отступал в неведомые, дикие глубины Сибири, имея за собою лишь тоненькую ниточку одноколейного пути, терпя все невзгоды жестокого климата и все неудобства огромных заселенных пространств. Задача, лежавшая перед ним, превышала, по своему неизмеримому значению и по своим исключительным трудностям, все, что когда-либо выпадало на долю русских государственных людей.

Но капризное счастье дважды отворачивалось от него, приготовляя ему не победные лавры освободителя, а кровавые лавры мученика. В какой мере эта

участь была велением судьбы и в какой степени ее приблизили люди — об этом когда-нибудь скажет беспристрастная история.

Говорят, что Колчак был малодемократичен — и в этом одна из причин его неуспеха. Прочитайте вновь текст его присяги и его воззвание к русскому населению. Биение верного и правдивого сердца слышится в их каждом слове. Эти печатные документы хранятся до сих пор в крестьянских избах, за образами, как святыня, и, находя их, большевики расстреливают хозяев.

Говорят, он не умел ладить с социалистическими партиями и оттого лишился доверия общества. Наши недавние друзья и помощники особенно охотно выставляют вперед это внутреннее обстоятельство, легко маскирующее многие внешние причины. Но этот вопрос требует глубокого исследования.

Человеку предстоит назавтра идти в страшный, смертельный бой, в котором только два выхода — жизнь или гибель. Что ему надо накануне? Необременительная пища, крепкий сон до утра, чей-нибудь добрый, светлый взгляд утром и крепкое рукопожатие на пороге дома.

Если же он проведет тревожную ночь среди глупых споров, семейных дрязг, зловещих предсказаний, прислушиваясь к тому, как заранее торгуют его завтрашней кровью, — не требуйте от него на поединке ясности взгляда и крепости руки...

Я благоговейно верю рассказу о том, что Колчак отклонил предложенные ему попытки к бегству. Моряк душою и телом, он — по неписаному величественному морскому закону — в качестве капитана остался последним на палубе тонущего корабля.

Но если когда-нибудь, очнувшись, Россия воздвигнет ему памятник, достойный его святой любви к родине, то пусть начертают на подножии горькие евангелистические слова:

«И враги человеку домашние его».

Круговорот

Маленький фельетон

Жизнь человеческая идет по каким-то таинственным спиралям, делая несомкнутые круги и беспрестанно возвращаясь к прежним формам и явлениям.

С ненавистью уничтожили недоброй памяти корпус жандармов для того, чтобы вернуться к нему в образе чрезвычаек.

Борьба против эксплуатации рабочего труда привела к насильственному двенадцатичасовому рабочему дню, с угрозой лишения пайка за невыполненный урок, словом, к условиям каторжных сибирских заводских работ.

Свержен только вчера принцип единодержавия, и уже сегодня вожди коммунизма открыто признают, что только единая власть и единая воля достойны и способны управлять коллективной созидательной работой.

И так далее, без конца...

Но вот и курьезный бытовой штришок.

В старые времена, когда свирепствовали прижимы пресловутой черты оседлости, некоторые еврейские девушки принуждены были прибегать к единственному средству иметь право жительства в столицах. Они приобретали так называемый «желтый билет», то есть полицейское удостоверение в том, что данная особа занимается проституцией, зарегистрирована тогда-то и обязана в определенные сроки являться к врачу для медицинского осмотра. Слушая курсы в высших учебных заведениях, такая девушка, скрепя сердце, переносила все тяжести и оскорбления, неразрывные с ее фиктивной профессией.

В современной Совдепии люди, всунутые насильно в тиски, изощрились до того, что симулируют брак и рождение.

Уговорившись заранее, мужчина и женщина приходят в надлежащее учреждение и заявляют о своем желании вступить в брак. Им выдают свидетельство. Это дело трех минут. Полученная бумажка дает право на получение талонов, по которым, в свою очередь, выдаются ткани, несколько десятков аршин. Аршин

стоит на базаре тысячу рублей. Вся процедура заканчивается через неделю разводом, который занимает также минуты две-три.

А так как на каждого новорожденного младенца особо выдается известное количество материи, то возникла новая отрасль живой промышленности — гастролирующие младенцы.

Товарищ Ядвига

В России не со вчерашнего дня отмечается массовый, стихийный, неуклонный подъем религиозности. Надо рассматривать это явление, главным образом, как бессознательный и естественный протест против насильственной большевистской попытки вырвать одним размахом из народной жизни церковь, пустившую в ней тысячелетние корни.

Храмы, как сообщают последние беженцы, всегда полны. Но нет и тени сходства с прежними праздничными богомольцами: нет ни разговоров, ни светских приветствий с широкими улыбками, ни свиданий, ни толкотни, ни давки, ни бесцельного хождения. Слушают службу в глубоком молчании, в почтительной тишине, крестятся истово и неторопливо. Есть в нашем богослужении трогательные возгласы: «О мире всего мира, о всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, о путешествующих, страждущих, недугующих, плененных...» Каждый раз, когда их с амвона произносит дьякон, молящиеся тихо и все разом, как один, опускаются на колени.

С напряженным вниманием слушают проповедь. Духовенство очень благоразумно отказалось раз и навсегда от политических тем, по предложению митрополита Вениамина. Но зато простой и теплый рассказ священника о том, как Христос признавал и любил красоту земной жизни в образе детей и цветов, вызывает общие слезы.

На красноармейских и матросских митингах не раз поднимался вопрос о том, «приличествует ли коммунисту быть верующим», и, несмотря на попытки фанатиков безверия (о, Россия!), этот вопрос часто разрешался в пользу свободы совести. Матросы и

даже коммунисты, заявив брак в советской конторе, закрепляют его почти всегда благословением церкви. Был случай пострижения коммуниста в дьяконы. Затеянная епископом Владимиром Путятой сепаратная, рабоче-советская церковь быстро изжилась и погибла. Священников больше не гонят на общественные работы. Должно быть, сами большевики заметили, что если одно время вид духовного лица в рясе, тащущего на спине зеркальный шкаф комиссарской подруге, вызывал только свист, хохот и улюлюканье толпы уличных мерзавцев, то вскоре это постыдное и ненужное зрелище стало сопровождаться зловещим молчанием, затем гневным ропотом и, наконец, той бесхитростной общей помощью, которая красноречивее всякой демонстрации.

Совсем недавно был объявлен митинг-лекция известной товарища Ядвиги на тему об отрицании бытия Божия. Почему товарищ Ядвига считает себя компетентной в таком бездонно-глубоком вопросе — это ее тайна.

Впрочем, почему пожарный репортер из «Биржевки» назначен комиссаром Публичной библиотеки, второй в мире по величине и богатству? Весь его литературный стаж заключается в одной бессмертной фразе: «Дог, будучи попавши под колеса трамвая, кричал нечеловеческим голосом». Почему метранпаж заведует Надеждинским родильным институтом, а М. Ф. Андреева — торговлей, промышленностью и обменом пленных?

Товарища Ядвигу я видел однажды. Маленькая, толстенькая, живая, румяная. Крошечный носик пуговкой всегда самоуверенно вздернут кверху, и на нем блестят стекла пенсне без оправы. В ней есть что-то наследственное от тургеневской Eudoxie[1] Кукшиной и от акушерки Виргинской из «Бесов». Она даже, посвоему, привлекательна: такой шустрый, кругленький мопсик... Но куда же ей, бедной, о бесконечности, о душе и материи?

Оппонентом ей был приглашен молодой священник, — кажется, академик. Он отверг осторожный совет надеть штатское платье и явился на митинг в

[1] Евдокия *(фр.)*.

рясе, с наперстным крестом. Товарищ Ядвига долго барабанила дешевыми, затасканными выходками против Бога. Дурочка – она, вероятно, думала Его оскорбить. Но наплела она столько околесных глупостей, что даже терпеливая аудитория стала покрякивать.

Священник возражал ей просто, коротко, с мягкой снисходительной вежливостью. Он добродушно указал лекторше на то, что орден иезуитов (если он не ошибается) основан не во время французской революции, а как будто бы немножко раньше. Голословное свидетельство товарища Ядвиги о том, что все великие ученые отвергали существование Бога, он опроверг ссылками на десятки бессмертных имен: Исаак Ньютон писал комментарий к пророку Даниилу, Чарльз Дарвин в определенные часы был недоступен даже для самых близких людей, ибо в это время он молился, Гёте, Лавуазье, Араго, Галилей, Мечников, Менделеев и многие светила были им перечислены. Наконец он отослал товарища Ядвигу к известной немецкой анкете, которая, серьезно исследовав мнения и биографии тысячи великих мужей науки, установила твердо, что верующих между ними считается более девяноста процентов. В этом духе – мягком и убедительном – было ведено все возражение священника.

Я живо представляю себе товарища Ядвигу под этой лавиной логики, фактов и знаний, обрушенной опытным магистром богословия. Я точно въявь вижу, как сбегает краска с ее кругленькой мордочки и как на ней остается только лишь красная пуговка носа с блестящими стеклами... Я вижу, как товарищ Ядвига бледнеет, худеет и постепенно тает... и как к концу диспута от нее остается за кафедрой всего лишь небольшая лужа...

Красные товарищи слушали отповедь священника в самом абсолютном молчании, а в конце устроили ему шумную овацию. Когда он уходил, многие почтительно спрашивали у него, в какой церкви он служит и говорит проповеди. «Нам бы вас послушать, батюшка».

Заметьте: батюшка, а не товарищ поп.

Бескровная

Первые дни великой бескровной русской революции застали меня в Гельсингфорсе.

Я тогда жил в тихой уютной санатории «Tallbacka», на окраине города, в Tolo. Раз в день, после завтрака, я отправлялся пешком в город и неизменно посещал на несколько минут семью моего знакомого моряка, мичмана русской службы, отчасти литератора. Там всегда были свежие газеты и последние устные новости. Там же часто собирались офицеры из эскадры, стоявшей в Гельсингфорсе.

Задолго до петроградского восстания, еще с середины февраля, доносились из приневской столицы смутные и тревожные слухи. Заводы становятся, рабочие бастуют, гарнизон ненадежен, женщины бунтуют около булочных и мясных. Многие спрашивали: «Неужели начало революции?» Ни боязни, ни озлобления, ни растерянности я ни в ком не замечал — мысль о революции казалась совсем спелой. Было, скорее, тревожное любопытство к загадочному завтрашнему дню.

И вот посыпались телеграммы. Краткие и жуткие. Одна за другой. «На улицах баррикады. Пулеметы на крышах. Городовых снимают с чердаков. Сожжены полицейские участки. Отворены ворота тюрем и крепостей. Возглавляется Временное правительство...»

Все чаще и чаще замелькало в газетах: я — социалист, я — министр юстиции, я — присяжный поверенный, я — член Государственной Думы, я — Александр Федорович Керенский!.. Всем, всем, всем!..

Уже тогда офицеры сообщали вполголоса тревожные вести: о недоверии матросов к командному составу, об обысках у начальствующих лиц, об аресте офицеров, не пользовавшихся популярностью или слишком строгих по службе.

Наконец пришло известие об отречении царя и об условном, благородном отказе от власти великого князя Михаила. Между этими, почти одновременными событиями и днем, когда о них был оповещен гельсингфорсский флот и гарнизон, протек — и это правда — чересчур долгий срок. Стоустая молва —

как это и всегда бывает — какими-то неведомыми путями опередила официальное извещение, и это обстоятельство дало пищу толкам о том, что от солдат и матросов умышленно скрывают свершившиеся важные факты. Впоследствии в этом промедлении винили представителей местных властей — губернаторской и жандармской. Впрочем, конечно, имела место и провокация, которой успешно занимались негодяи и охотно верили дураки.

Начались рядовые убийства. Был застрелен адмирал Непенин, талантливый флотоводец, энергичный администратор, заботливый начальник, человек прекрасных качеств. Застрелили на улице одного пехотного генерала: у него недавно пали со славою на войне три сына, а сам он был всегда и неизменно любим солдатами. Убили на улице мичмана, потребовавшего от матроса отдания чести. Убили одного скромного и дельного капитана, с которым я почти ежедневно встречался в помянутой семье. Правда, он был прирожденным, убежденным монархистом и никогда этого не скрывал. Жертвы «гнева народного» складывались в Николаевском госпитале, в морге.

Город утопал во флагах: красных с желтым — шведских, белых с синим — Suomi[1], а между ними пророчески алели красные флаги. У всех жителей появились в петличках красные розетки и ленточки. По улицам разъезжал, стоя в автомобиле, финско-русский адмирал Максимов с обнаженной лысой головой. Приехал Родичев, и бубнил на всех перекрестках, и так пьянел от собственного красноречия, что, слезши с тумбы, не мог отвечать на самые простые обыденные вопросы, а только улыбался и все переспрашивал как сквозь сон — а? что? кому? Иные еще поздравляли друг друга с великой бескровной, но в широких улыбках уже чувствовались фальшь и ужас.

Пришли и более страшные телеграммы. Ротные комитеты. Отмена отдания чести. «Вы» — солдатам. Свобода мнений и допущение митингов. Декларация прав солдата без декларации его обязанностей. Видно было, до какой растерянности дошли русское общество и его державные представители.

---

[1] финских *(фин.)*.

И вдруг, как бомба, приказ № 1. Помню, как прочитав его вслух, один старый офицер сказал со слезами: «Господи, если Тебе было угодно осудить Россию на гибель, зачем избрал Ты для нее такой позорный путь?»

Убийства сделались массовыми. Офицеров, живых, завязывали в мешки, прикрепляли к их ногам тяжесть и бросали в прорубь. Иногда же их собирали в кучу на корабельном баке и из брандспойтов поливали горячим паром. По трупам нельзя было потом признать людей: кожа и мясо совершенно слезали с лиц. Не могу не сказать слова великой признательности *тогдашним* финнам. Они весьма охотно, с большим участием и даже с опасностью для себя, прятали в своих домах офицеров, скрывавшихся от звериной расправы.

Обыски все продолжались. Помню, и в нашу буколическую, мирную, чистенькую санаторию ворвались однажды пехотные солдаты с ружьями. Я спросил одного из них — для чего они присланы.

— А вот ищем, нет ли пулеметов. Тоже которые бывают изменники и шпионы.

И вдруг прибавил зловеще и как будто некстати:

— Буде. Попили нашей кровушки.

Впервые я тогда услышал этот глупый лозунг. И он прозвучал для меня как символ, как бессмысленное пророчество той бойни, которую и поныне зовут в Европе великой бескровной русской революцией.

По порядку

Неделю — может быть, немного больше — тому назад в редакцию позвонил местный представитель Эстонии.

«В вашей газете, — говорил он, — уже неоднократно печатается о насилиях, чинимых эстонской чернью над русскими офицерами. О таких фактах мы не знаем. Потрудитесь сообщить нам имена потерпевших и свидетелей, а также числа и часы, в которые могли произойти эти прискорбные случаи. Мы произведем расследование».

На другой день просьба эстонского представителя была удовлетворена: в нашей газете появилась дополнительная статья с именами и числами. Пять дней спустя – другая.

Если эстонский представитель смог и сумел прочитать первую статью, то, вероятно, он потрудится прочитать и вторую, и третью.

Теперь очередь за ним. Надеюсь, причинив нам столько много хлопот, он, со свойственной всем европейским дипломатам любезностью, не откажет сообщить нам в кратчайший срок о результатах расследования и, разумеется, о соответствующих мерах.

Не принимаемых, а *принятых*.

Иначе он, поневоле, наведет нас на прискорбные размышления.

Маленькая (по карте) страна может ознаменовать свое существование актами великодушия и забвения прежних обид. Ибо сильные не мстят.

Но из этого отнюдь не следует, чтобы маленькая (в духовном смысле) страна начинала свою политическую жизнь маленькими же гнусностями.

К счастью, мы далеки от этих печальных мыслей. Мы с нетерпением ждем дня, когда представитель Эстонии разрешится любезным ответом.

Тогда – только тогда – мы осмелимся привести новые имена и числа.

Иначе мы будем опасаться:

А вдруг наши разоблачения повредят пострадавшим?

А вдруг нашим участием мы только помогаем добивать лежачего?

А вдруг...

Ведь нет того предела, которого не переплеснет человеческая подлость.

* * *

Все это, понятно, не относится к почтенному эстонскому послу. В его лояльности и корректности мы – то есть я – непоколебимо уверены, точно так же, как уверены и в том, что бессмысленные и жестокие выходки городских подонков отнюдь не выража-

ют чувств и мыслей целого народа и его достойного правительства.

Малое стадо

Это было в самом начале XX столетия. Святейший Синод положил отлучить от Церкви болярина Льва Толстого. Решение это произвело, поистине, потрясающее впечатление во всем цивилизованном мире. И, пожалуй, Софье Андреевне – ныне покойной – совсем не подлежало бы писать митрополиту Петербургскому и Ладожскому своего письма – ничтожного по содержанию и резко-задорного по тону.

Я не имею под руками текста этого письма, но, насколько помню, в нем графиня приводила, между прочим, и такую мысль, что вот-де вы, иерархи, учите смирению и простоте, а сами разъезжаете в каретах, запряженных шестеркой, одеваетесь в парчу, шелк и бархат, возлагаете на головы золотые митры и украшаете свои одеяния бриллиантами.

Митрополит Антоний (Вадковский) – один из замечательнейших русских верховных пастырей по уму, доброте и благочестию – ответил Софье Андреевне письмом, полным вежливой сдержанности и спокойного достоинства. В нем он сказал, среди других веских и умных слов, приблизительно следующее: «Да. Ради возвеличения Церкви мы носим парчу, и золото, и драгоценные каменья. Но если настанет час Господней воли и Россию посетят скорбь, бедность и унижение, мы, как некогда наш великий святитель Сергий Радонежский, станем ходить пешком, облачаться в ризы из некрашеной холстины и приобщать паству из деревянных потиров».

В то время эти прекрасные слова митрополита Антония имели лишь высокий и трогательный смысл для освещения крупной личности самого владыки. Кому тогда могло прийти в голову, что они – через столь незначительный срок – приобретут значение страшного пророчества?

Храмы, обращенные в кинематографы, алтари – в отхожие места, престолы – в шутовские эстрады. Иконы – поруганные и обворованные, ризницы –

разграбленные. Священнослужители, чистящие панели, казармы и выгребные ямы. Епископы, совлекаемые с горних мест за волосы, чтобы их растерзать в храме или повесить на воротах церковной ограды. Это ли не венец и предел мучений, претерпеваемых всем русским народом? И не символ ли невольного Антониева пророчества то, что нынешний митрополит Петроградский и Ладожский высокопреосвященнейший Вениамин часто отправляется по своим архимандритским делам пешком или в трамвае, в скромной рясе, в домашней скуфайке?

Но как преобразовалось, как выросло в буре и пламени все рядовое, будничное русское белое духовенство!

Что говорить, слаб и немощен перед искушениями бывал нередко наш заурядный попик, стиснутый железной обер-прокурорской рукой. Был он и неучен, и трепетен перед «волею злых», и корыстен, и привержен «пьянственному виновкушению». Слишком близок он был всегда к нашей темной, бедной, грешной, черноземной жизни.

Но только в евреях да в русских попах так цельно сохранилась расовая чистота крови. Почти без преувеличения можно сказать, что путем браков, заключавшихся исключительно в своем классе, русское священство, начиная от времен Владимира Великого и до наших дней, совсем избегло примеси чужих элементов к своей добротной славянской крови. А ранние браки и здоровая деревенская жизнь предохранили эту кровь от порчи, причиняемой преждевременным истощением и дурными болезнями. И надо сказать, что наши левиты — весьма крепкое, живучее, плодовитое и прочное племя.

Их грехи и слабости были неразрывно связаны с общим нашим рабством. Если, несмотря на тяжкий гнет, русская собирательная душа все-таки не умирала и не ломалась, проявляя себя в лице гениальных избранников, то и духовенство русское всегда выдвигало из своей среды великих пастырей, учителей, борцов и мучеников. И если ныне наше духовенство, легко сбросив с себя и лесть богатства, и славу мира, поглощающие слово, и даже самый страх смерти, так

смиренно, просто и бескорыстно совершает свое высокое служение Церкви и народу — то в этом вернейший и, может быть, самый величайший признак того, что и народ близок к невиданному духовному обновлению.

Аресты, обыски, оскорбления и принудительные работы наши священники принимали спокойно, без жалоб, без просьб о пощаде, но и без аффектации, а «наглую» смерть в вонючем закоулке, на рассвете дождливого утра, у облупленной стены встречали кротко и величественно, как древние первомученики. Иные не могли сдержать в себе пламенного слова и произносили его с амвонов и с публичных кафедр, заранее зная, что их назавтра, а то и через час ожидает казнь.

В настоящее время священнослужители совершенно отказались от всякого рода политической борьбы. Решение это продиктовано мудростью и пониманием момента. Злоба гонителей и подвижничество гонимых уже сделали свое громадное дело. Все прибывающие из России единодушно удостоверяют о росте в ней религиозного сознания.

Товарищ Шпицберг с сокрушением признается, что русский народ еще слишком темен для того, чтобы можно было безнаказанно отнять у него веру.

Это общее, всенародное явление — не случайная волна, поднявшая на своем минутном гребне святую веру. Случайными волнами были — редстоковщина, татариновщина, мистицизм и пресловутое петербургское «богоискательство» — результат моды, ханжества и блазированного праздного любопытства... Это океанский прилив, растущий медленно и неуклонно. Это стихийное геологическое освобождение целого материка из пучины...

Церковь, как и в старые времена, является и символом, и прибежищем, и опорой.

И нельзя здесь не вспомнить чудесных слов Евангелия: «Не бойся, малое стадо. Ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство» (От Луки: 12, 32).

У мандрил

Вчера нам довелось слышать от людей, недавно перебравшихся из совдепского парадиза, весьма занимательные рассказы о том, в каком положении находятся там искусства и науки. Удивительные рассказы: слушая их, сам не знаешь — хохотать или плакать. Общее впечатление было такое, как будто бы перед нами развертывалась кинематографическая лента, наглядно изображающая, как в огромный музей или в богатейшее книгохранилище забралось стадо красноспинных обезьян и хозяйничает там, подражая человеческим действиям.

«В последнее время некоторые художники зарабатывали себе пропитание тем, что по заказу Петрокоммуны делали эскизы для лошадиных дуг. Лошадей в Петрограде осталось всего пятьсот; все они объявлены состоящими на службе петрокоммунного транспорта и получают паек по первому разряду. (Еще в конце 1918 года Чинизелли хлопотал в "Отделе коммунальных театров и зрелищ", чтобы лошади цирка были приравнены к артистам, а не к бездельничающим буржуям, и чтобы паек им выдавали по первому разряду; этот исторический документ тогда многие читали с любопытством.)

Теперь, когда, кроме пятисот лошадей, других не осталось, для них заказали художественные дуги. За эскиз дуги художникам платили семь тысяч рублей. За исполнение дуги по эскизу — по пять тысяч рублей за каждую. Итого, лошадиная дуга обходилась Петрокоммуне в двенадцать тысяч рублей!»

На наш вопрос художнику-рассказчику — «как же нравятся эти дуги лошадям?» — он ответил: «По-видимому, они предпочли бы побольше овса; на всех мостах валяются лошадиные трупы».

Затем речь зашла об ученом пайке.

«Мне говорили, что в вашей газете, месяца полтора тому назад, — сказал беженец, — сообщалось о том, что под председательством Горького основалась "комиссия по улучшению быта ученых", но в чем именно заключалась деятельность этого "общества

покровительства двуногим дрессированным животным" — вы вряд ли осведомлены?

Так вот: постановлено было считать учеными ровно тысячу восемьсот человек — ни больше ни меньше. При этом в каждом высшем учебном заведении особая комиссия из трех членов решала — кто суть ученые, а кто просто профессоры — и составляла списки. На этой почве, конечно, разыгрывались споры, злоупотребления и интриги. Так, например, профессоры консерватории пайка не получали, ибо не были признаны учеными. Также не попали в эту категорию и специалисты по истории искусства.

Комплект ученых из тысячи восьмисот человек должен был получать полтора фунта хлеба, добавочный паек картофеля и почему-то — *перец!..* Так как для первой же выдачи пайка ученым хлеба не оказалось, то им выдали, в виде почина и утешения, только по одной шестнадцатой перца. Во вторую очередь дали лишь гнилого картофеля, а к третьей — коммунисты выяснили, что на такое огромное количество ученых у них чистого хлеба не хватит и что они могут его заменить смесью из овса, жмыхов и льняного семени. Этой дряни выдали, кажется, два раза по три четверти фунта, а затем — за неделю до моего отъезда — заявили, что комплект в тысячу восемьсот человек — непосильная роскошь для РСФСР, и постановили штатное количество ученых, пользующихся пайком, сократить до пятисот. (Лошадиное число и лошадиный корм. — Не закажут ли и для них дуги?) Опять комиссии из трех должны были вычеркнуть из списков тысячу триста человек, оставив лишь пятьсот, которых паек предохранит от вымирания».

* * *

Мандрилы — но все-таки какие хитрые!

Им решительно все равно: пусть хоть все ученые мира «подохнут» от голода или истощения. Главное то, что пущена газетным путем на весь свет новая реклама, новая печатная агитация: «Как в Советской России бережно относятся коммунисты к наукам и искусствам!» Вислоухие заграничные дураки развесят уши и охотно поверят тому, чему приятно и удоб-

но верить. А на все прямые, ясные, горячие и несомненные разоблачения истины досадливо махнут рукой: «Я читаю газету после обеда и не хочу портить пищеварения».

Хороший тон

Если рассерженного мужчину спросят: «Обидчик ваш – не брюнет ли?» – он ответит:

– Да. Этот негодяй, действительно, брюнет.

Но женщина на этот же вопрос возразит с той нелогичной пылкостью, которая составляет одну из сторон ее очарования:

– И ничуть не брюнет, а вовсе негодяй.

Я – мужчина. Ежедневно, каждое утро, подобно правоверному мусульманину, я готов сердечно благодарить Аллаха за то, что он не удостоил меня высокой чести родиться женщиной. И оттого-то, почитая русских большевиков первейшими злодеями, я иногда умею быть к ним и справедливым. Иные их поступки и слова повергают меня в веселое и приятное изумление.

Мне, например, чрезвычайно нравится их нынешнее отношение к Антанте вообще, а к Англии в особенности.

Ни для кого, например, не тайна, что еще никогда большевики не были столь неустойчивы, как сегодня, и что ни разу за свое тысячелетнее существование Россия не находилась в таком катастрофическом положении, как в наши дни.

Но послушайте, каким языком говорят большевики со старой Европой. Так никогда не осмеливались с ней говорить ни русские венценосцы, ни дипломаты, ни вожди – даже в самые цветущие времена Государства Российского, даже в те моменты, когда священный долг перед родиной и право сильного ясно требовали не просьб и соглашений, а приказаний и суровых действий.

Они – эти сущие негодяи, но все-таки брюнеты – нашли подходящий тон.

И главное – в самую неподходящую минуту!

Они предлагают европейским державам:

– Давайте мириться и торговать.

Но тут же с похвальной откровенностью ставят оговорку:

— Только не забывайте, что этот мир и эта торговля — для нас лишь временные подорожные средства. Слова, договоры, акты — все это тлен, дым, прах, клочки бумаги. Наша путеводная цель — «Мирокоммуна». И потому скоро, очень скоро мы дадим вам вкусить все прелести мировой перманентной революции: хлебный паек в десять граммов раз в неделю, крысиное рагу, Чрезвычайку и беспредельную власть *не рабочего,* — ибо рабочий всегда великодушен, — а хулигана, апаша, уличного оборванца.

Вы всегда утешали свою соседскую совесть тем, что великий исторический кризис, совершающийся в России, естественно, неразрывно связан с великими страданиями. Процесс рождения, говорили вы, неизбежно сопряжен с болью.

Так готовьтесь и вы мужественно встретить преддверье коммунистического рая, не жалуясь на предродовые муки, но усматривая в них своего рода гармонию и целесообразность.

* * *

А все-таки оглянитесь на Эстонию. От одного дружеского пожатия из нее уже текут жизненные соки. Правда, она еще побрякивает золотыми монетами в кармане... Бедная девушка! Эти брюнеты отнимут у тебя не только твое золото, но и твои башмаки и носильное платье...

Что же касается чести — то разве стоит говорить о таких пустяках?

Ориентация

I

Пришел в редакцию огромный, черный, лохматый, бородатый человек (без очков) и — совсем неожиданно для его комплекции и наружности — тонким сиплым голосом сказал:

— Вот вы все ругаете англичан. Вам, верно, известно что-нибудь особенное? А? Так, не хотите ли, я

вам обругаю французов? Гонорар вперед по уговору. А? Я их умело распатроню. Не хотите? Странно... Впрочем, как хотите... Я мог бы, пожалуй, и немцев... Мне все равно, какая ориентация. Не надо? Гм... удивительные люди... Сами не желают сделать газету интересной и живой... А может быть, дядю Сэма? А?

Его ушли. Весьма вежливо.

Но меня не оставляет язвительная мысль: очень вероятно, что этот добродушный черный великан совсем не одинок. Что если их наберется пять-шесть? Или целый десяток? Или — почем знать — не является ли он невольным, но типичным делегатом той веской части публики, которая смотрит на газету как на своего рода бойню, мясную лавку, контору наемных убийц, школу тореадоров, густопсовую псарню?

«Люблю я читать такую-то газету. Здорово она всех прохватывает!»

В назидание этим великанам надо сделать маленькое объяснение.

* * *

Мы никогда не переставали уважать каждую народность, за которой стоит история, культура и творчество.

К английскому народу мы всегда относились и впредь будем относиться с искренним почтением. Но разве это непреложное чувство может нас заставить молчать, если мы видим, что славная нация повернула на ложный путь двойственной, зыбкой и гибельной политики?

Мы преклоняемся перед громадным государственным умом ее руководителей, опытных машинистов правительственной машины. Но если машинист временно подвержен дальтонизму, этой странной болезни, при которой больной не отличает красного цвета — опасности — от зеленого — уверенности, — если он болен и сам не замечает этого, то разве указание на такой факт — брань?

Мы давно привыкли считать английских журналистов отличными, безукоризненными и правдивыми работниками — рыцарями пера. Но каждый журналист носит цвета своей газеты, видит ее глазами,

слышит ее ушами, говорит свойственным ей тембром. В свою очередь, для газеты единственным камертоном служат настроения и желания обслуживаемого ею общества.

Итак:

Купечество хочет вести с Россией торговлю, и ему желательно, чтобы Россия оказалась платежеспособной, а ее торговый аппарат — живучим и налаженным.

Рабочие требуют заключения мира с Советской Россией. Необходима уверенность, что этот мир не повлечет за собой непоправимых бедствий для самой Англии.

Правительство должно завязать с Совдепией дипломатические отношения. Но как это сделать без внутреннего сознания, что ты протягиваешь руку лучшему, признанному всеми представителю страны, а не узурпатору, насильнику и негодяю?

Газеты — это глаза, все видящие, щупальцы, все ощупывающие. Но они видят и осязают то, что хочет воспринимать мозг. Остальное для них лишнее. Так человек, занятый всецело каким-нибудь важным делом или глубокой мыслью, не слышит грохота пушек, не узнает самого знакомого лица.

Ни Гуда, ни Ландсбери, ни Копинга, ни многих других корреспондентов мы не обвиняем в заведомой лжи, если они говорят розовые небылицы о современной России.

Они видят то, что хотят и должны видеть, чего не видеть они не смеют и не могут. Отсюда-то и берутся цветущие города, переполненные товарами склады, деятельные кооперативы, счастливое население, любвеобильные коммунисты, патриархальные нравы чрезвычаек. Остального их уши и глаза не воспринимают. Остального им и не поведают. Остальное — черная клевета русских эмигрантов и не в меру чувствительных соотечественников.

Когда в прежние, райские, времена заграничная печать распространяла невероятные слухи о России как о стране белых медведей, антропофагов, прирученных волков, развесистой клюквы и т.д., мы добродушно смеялись и не возражали.

Но теперь, руководясь достоверными источниками и личными впечатлениями, мы, газетные труженики, вынуждены говорить и кричать только голую правду. Россия бедна, голодна, больна, измучена.

Вступая в союз с правительством Ленина, Англия делает и ошибку, и грех. Можно ли считать перед людьми и перед Богом неоспоримым тот документ, который подписан лицом, находящимся в гангрене, в бреду, в беспамятстве, в опьянении? Если в его коченеющие пальцы вставили перо и насильно двигают его рукою — то подпись можно ли считать хоть сколько-нибудь ценной?

Это мы и говорим чуть ли не ежедневно. Писать об этом мы считаем своим писательским долгом.

Но — черный великан! — резкое или насмешливое слово — не ругань. Газета же — не живодерня.

II

Совершив в конце октября тяжелый «исход» из Совдепии, я сразу попал на Остров Ориентаций. Кое-кто еще верил в дружескую поддержку Америки и Англии. Другие, равняясь направо, бросали откровенные и преданные взгляды на Германию. Третьи островитяне оставались верными старому франко-русскому союзу. Были мечтатели, создавшие в пламенной фантазии великое Северное противобольшевистское единение...

Но воздушные замки распадались, миражи таяли... Никогда еще история не подтверждала с такой обнаженной ясностью той прописной истины, что в международных отношениях нет места ни возвышенному, ни безнравственному, а есть только полезное, выгодное, необходимое. Государственный акт, который отдельную личность запятнал бы вечным, несмываемым позором, трактуется, в освещении международной политики, как высший патриотический подвиг. Не знаю сам почему — но великие кормчие государственных кораблей напоминают мне иногда парижского палача, m-eur Дейблера. Пальцем руки, затянутой в белую перчатку, он нажимает на кнопку; казнь совершилась; maître de Paris, перед лицом ве-

ликого города и всего мира, торжественно стягивает с рук белоснежные перчатки и эффектно, по-французски, бросает их в корзинку, на дне которой «чихает» отрубленная голова. Преступник исключен из списка живых во имя высшего правосудия.

«На моих руках нет крови».

Но все же, вопреки доводам разума и жестокому свидетельству фактов, я, — неисправимый идеалист с седыми висками, — я хочу верить в добро и красоту, творимые не только одинокими подвижниками, но и целыми нациями.

И поэтому в то время, когда наши доморощенные, кустарные, никем не признанные отдельные «воеводы Пальмерстона» разбираются в том, под каким соусом выгоднее и приятнее для России быть скушанной тем или другим государством, когда это болтливое самоедство они зовут модным, глупым, хлестким словом «ориентация», я ломаю голову над сложным и, может быть, праздным вопросом:

— Есть ли душа у нации и государства? И если есть, то человеческая ли она?

III

Вот уже два года, как Россия истекает кровью на своей братоубийственной Голгофе. Послушные голосу государственной корысти, прежние союзники и враги мечут жребий о ее ризах. Неужели правда, что Бог отвернулся от великой страны? Неужели у нее не осталось ни одного друга?

Нет. Друзья остались. В самой Англии находятся благородные люди, мужественно указывающие издали на край бездны, в которую стремит Европу, а может быть, и все человечество, повальное безумие. Они предвидят, что если России предстоят два выхода — быстрое выздоровление или скорая смерть, — то над драгоценной западной культурой висит угроза неминуемой гибели. Оправившись от большевизма, выработав в своей национальной крови стойкий иммунитет, Россия уже никогда не свернет больше на путь коммунистических утопий, но цивилизованному миру предстоят впереди великие и долгие потря-

сения. Так, обыкновенная корь давно выродилась в Старом Свете в легкую детскую болезнь, но, будучи впервые занесена в Америку, она истребляла целые племена.

Мы слышали голос английских государственных людей и общественных деятелей, которые, вразрез с последним политическим курсом, настаивали на необходимости помочь стране — недавней союзнице, — попавшей в обезьяньи лапы лишь по причине своей чрезмерной усталости. Мы читали свидетельства английских офицеров, священников, беспристрастных журналистов, коммерсантов, которые не из окна экспресса или автомобиля видели современную Совдепию, но вложили пальцы в ее кровавые раны; которые своим телом и душой познали все ее кошмарные ужасы, вплоть до тюрем и чрезвычаек; которые были очевидцами потрясающих картин, не забываемых никогда, вплоть до смерти...

Увы! Эти пророческие голоса и эти страшные документы не действуют сегодня на общественное благоразумие, не тревожат общественной совести... От души желаем, чтобы доброй, старой Англии не привелось испить из кровавой и грязной чаши, называемой диктатурой пролетариата. Но если это случится, тогда не напрасно ли будут припомнены, с поздним сожалением, слова людей, сохранивших ныне трезвость ума, смелость духа, честность мысли и, главное, любовь к отчизне?

И все-таки я хочу верить, что этого не случится. Большевики похожи на иных опасных, буйных сумасшедших, которые неделями, месяцами прячут искусно свою больную и злую волю, прибегая для этого к необычайным уловкам хитрости и притворства, обманывая даже опытных врачей. Но в какой-то острый, критический момент их болезнь вдруг прорывается в безобразных, омерзительных, ужасных формах.

И я почти не сомневаюсь, что недалеко то время, когда внезапный «raptus»[1] спрятанного безумия отшатнет от русской Совдепии ее фантазирующих английских приятелей.

[1] «приступ» *(лат.)*.

Самогуб

Около месяца тому назад известный arbitr elegantiarum[1], петербургский и гельсингфорсский профессор Тиандер напечатал в «Рассвете» статью, в которой он энергично призывал всю русскую политическую эмиграцию вернуться назад, домой, в Советскую Россию для совместной дружной работы с добрыми большевиками над воссозданием развалившейся страны. Статья эта была своевременно и по достоинству оценена в «Новой русской жизни» г. Алексинским.

И она не осталась без результатов. Действие ее распространилось в четыре стороны.

Валютники, спекулянты и всякого рода посредники, узрев в ней первую ласточку, весело потерли руки и стали, как в первые дни октябрьского наступления, упаковывать чемоданы для отъезда в Петроград.

Люди, побывавшие в зубах у большевиков, устремили взоры на Европу и забегали по консульствам.

Беженцы из Совдепии, которые раньше просачивались сквозь границу робкими струйками, вдруг неожиданно хлынули в Финляндию, точно через прорванную плотину. Мне кажется, я постигаю ход их мыслей. «Одно из двух, — думали они, — или профессор совсем ничего не знает об условиях жизни в Совдепии, или он слишком хорошо осведомлен. В первом случае им руководит наивная доброта, которая, сама того не ведая, оказывает услугу большевистскому розыску. Во втором случае это — сознательный загон в ловушку. Как бы то ни было, а надо убегать заблаговременно. Начнут разбираться в прошлом новоприбывших, потянут снова и нас. И без того посидели достаточно в качестве заложников, контрреволюционеров и саботажников. Иные по десяти раз. Довольно. Будя».

Четвертое действие профессорского совета сказалось в красных петроградских газетах. Со свойственной им грубой прямотой, непочтительно, глумливо, жестоко встретили они старательность г. Тиандера. «Новая русская жизнь» своевременно перепечатала эти красные статьи, которые — одни! — могли бы слу-

[1] законодатель в сфере изящного *(лат.)*.

жить доказательством того, что профессор не руководствовался дальновидным, умышленным расчетом, а прислужился бесплатно, исключительно по душевной простоте.

Однако полмесяца назад тот же профессор в местной газете напечатал другую статью. В ней он, с чисто научной ясностью, весьма тщательно указал все пункты, где совершаются обычно тайные переходы беженцев на территорию Финляндии.

Редко случалось, чтобы печатное слово оказывалось столь влиятельным, как это было после второй статьи г. Тиандера. В течение последних двух-трех дней на всех указанных пунктах было схвачено усиленными красными дозорами около ста шестидесяти беженцев. Часть из них содержится в Шувалове — *на фронте!* — другие отправлены в петроградскую Чрезвычайку для опознания личности. А через лед в заливе были пропущены советские ледоколы.

Если профессор этой второй статьей хотел оказать услугу Финляндии (ласковый теленок двух маток сосет), то, во всяком случае, себе самому он оказал такую услугу, какой не мог придумать и злейший его враг. Финляндское общество весьма косо посмотрело на эту выходящую из нормы старательность. Ибо есть слова и поступки, одинаково понятные всем умам и одинаково нежно звучащие на всех языках.

Поди потом убеждай друзей, знакомых, публику и потомство, что ты писал так себе, в порядке интереса дня, а не провоцировал и не доносил сознательно!

Наконец, с неделю тому назад, — числа 4–5-го апреля — тот же профессор заявил: «В следующий понедельник я еду в Белоостров присутствовать при начале мирных переговоров».

Это заявление звучало приблизительно так же, как если бы виноградарь сказал: «Завтра иду срезать гроздья с посаженных мною лоз».

И самое лучшее, что можно ему теперь посоветовать, — это, усевшись между двух стульев, остаться навсегда на Белоостровском мосту, на нейтральной линии, подобно железному гробу Магометову, висящему в воздухе между двух магнитов. И по ту и по сю сторону границы его бескорыстные услуги если и бу-

дут поняты и взвешены, то уж, наверно, не будут вознаграждены. А доброе имя потеряно... так... по пустякам... по незлобивой наивности...

Взял человек да и погубил сам себя, поставив над всем своим ученым и литературным прошлым — большую черную точку...

Советские анекдоты*

I. ПЕРМАНГАНАТ, ИЛИ ОТРАДНЫЙ СЛУЧАЙ СОВДЕПСКОГО ПРАВОСУДИЯ

Перманганат есть химическое вещество, необходимое для выработки сахарина. Но в московской Чрезвычайке этой зимой было сделано важное открытие: вещество это не только контрреволюционно, но оно даже... Маннергейм!..

Небольшой завод сахарина в Петрограде, исчерпав свои запасы перманганата, прослышал о том, что в Москве это вещество еще можно кое-где достать, и командировал одного из своих инженеров в Москву похлопотать там в Совнархозе или ином учреждении.

Прибыв в Москву, инженер тотчас же приступил к поискам перманганата и с этой целью усердно пользовался телефоном.

— Не знаете ли вы, где у вас в Москве есть перманганат? — позвонил он своему знакомому из Совнархоза. — В Петрограде его нигде нет, и нам придется прекратить работу, если выяснится, что и здесь его нельзя найти.

Инженеру пообещали навести справки, но... в ту же ночь оба собеседника оказались на Лубянке, в московской Чрезвычайке (в Москве ее называют «Черес-чуркой»).

Лишь через три месяца сурового заключения инженер был вызван к следователю и на допросе узнал,

* Под таким общим заглавием я объединяю те мелочные вести из совдепского быта, которые хотя исходят от вполне достоверных очевидцев, но по своему курьезному содержанию носят чисто анекдотический характер.

что обвиняется он в сношениях не только с белогвардейцами, но даже с самим генералом Маннергеймом, который, будто бы, зимою был проездом... в Москве!

Конечно, несчастный инженер ровно ничего не мог понять в этой следственной чепухе, пока ему не показали как неопровержимое доказательство его виновности запись его разговора со знакомым из Совнархоза. Всюду, где встречалось слово «перманганат», оно было заменено «Маннергеймом». Оказалось, что сыскному агенту при телефоне эти слова показались созвучными или, может быть, он название «перманганат» счел анаграммой фамилии.

Потребовалась экспертиза московских ученых-химиков, научно доказавших, что перманганат ничего не имеет общего со славным финляндским генералом; на эту волокиту ушла еще пропасть времени.

Когда через полгода инженера, наконец, выпустили из тюрьмы «за отсутствием улик», то оказалось, что петроградский завод, тщетно прождав своего инженера с перманганатом, давно закрылся. В семье инженера произошло несчастье: один из его сыновей за это время умер от голодного истощения... Но все хорошо, что хорошо кончается. Детей из Совдепии умирает так много, что решительно все равно, умер ли этот ребенок при отце или без отца. Сахарин для нежных организмов комиссарских детей был признан вредным, и для них выдавалась усиленная порция сахара. Остальные дети могут отлично обходиться как без сахара, так и без сахарина. Словом, все обошлось без ущерба для кого бы то ни было, а совдепское правосудие оказалось на похвальной высоте.

II. ПОПУГАЙ-МОНАРХИСТ

Равенство — так равенство. Зачем судить за контрреволюцию только людей, когда в ней бывают повинны и... птицы. В средние века суду св. Инквизиции подлежали все млекопитающие и пернатые, в которых вселялся дьявол. Московская Чрезвычайка также не делает исключения для животных.

Этим летом из Петрограда в Москву переселилась целая семья на жительство. Дети ни за что не хо-

тели расстаться с двумя любимыми попугаями, и, на свое несчастье, родители согласились взять в Москву и птиц.

В вагоне один из попугаев стал проявлять свои лингвистические таланты и, ко всеобщей забаве, среди других известных ему фраз несколько раз прокричал: «Боже, царя храни...» Агент московской «Чересчурки» ехал в том же вагоне... Ясно, что из этого произошло... Вся семья, с детьми и попугаями, была задержана в Москве на вокзале и оттуда препровождена на Лубянку.

Напрасно родители клятвенно заверяли, что попугаи куплены ими давным-давно в магазине уже говорящими и что никто из семьи контрреволюционным фразам их не учил. Ничто не помогло. Всех держали в тюрьме — и людей, и птиц.

Следствие велось медленно, а за попугаями в тюрьме уход был плохой, кроме того, их часто дразнили, а один из попугаев — самочка — через несколько месяцев сдох. Что же касается до главного виновника общего затмения, то он, затосковав после смерти подруги, сделался отчаянным саботажником и наотрез отказался от дачи «показаний». Как ни бились комиссары Чрезвычайной комиссии, стараясь возобновить в его памяти контрреволюционную фразу, он сидел, нахохлившись, и упорно молчал. Так, молча, он и сдох от своей великой тоски, саботируя советскую власть до самой смерти.

Лишившись единственных свидетелей, на которых основывалось обвинение, московская «Чересчурка», наконец, выпустила семью из тюрьмы.

Пусть не говорят после этого, что в Совдепии нет правосудия и что невинных гноят и расстреливают в тюрьмах. Родители с детьми просидели всего лишь несколько месяцев, а попугаи не были расстреляны, но сами сдохли, даже не поев петрушки.

III. ПОХОЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЛОШАДИ

Это было давно...

Должность комиссара по музыкальным делам и посейчас прочно занимает Артур Лурье, очень цени-

мый Луначарским как незаменимый знаток музыки. Музыкальное образование его несложно: за полное отсутствие слуха и неспособность к восприятию азбучных основ теории музыки его попросили после первого семестра выбыть из числа учеников консерватории. Ввиду таких заслуг естественно, что Луначарский вверил попечениям г. Лурье все музыкальные учреждения и дела России.

При первом же взгляде на Артура Лурье каждый мог понять, что видит перед собою эстета. Всегда в ярко-зеленом костюме фантастического покроя, украшенном громадными, величиною с чайное блюдечко, зелеными пуговицами спереди, сзади и на обшлагах, в большом отложном воротничке, оставлявшем декольтированной длинную, жилистую, кадыком, шею, в бальных открытых туфлях на французских дамских каблуках, он, грациозно играя поясницей, всегда вприпрыжку ходил по комнатам своего комиссариата.

Комиссары других ведомств прозвали его «Зеленым попугаем», комиссарская молодежь — «Трясогузкой», а сторожа и курьеры — «Зеленой лошадью» и почему-то за глаза говорили о нем «она» (подразумевая, конечно, лошадь).

И вот однажды Лурье не явился в обычное время в комиссариат. На другой день приближенные к нему молодые люди ходили понурые, а на третий уже всем стало известно, что он арестован самим Урицким и сидит на Гороховой, 2.

«Мы предупреждали его, — с лицемерным сожалением говорили старшие чины комиссариата, покачивая головами, — чтобы он не так усердно “коллекционировал” редкие музыкальные инструменты, а также и другие ценные предметы из квартир, реквизированные для музыкальных нужд. Не слушал — вот теперь и сиди на Гороховой».

«Засыпалась Зелена лошадь, — говорили курьеры и гоготали. — Ей там бочища-то намнут».

* * *

Подобно Гарун-аль-Рашиду, в одну несчастную для Лурье ночь вышел Урицкий один, без провожатых, подышать чистым воздухом Петрограда. Эта прогул-

ка невзначай привела его в переулок близ мостика со львами.

Здесь, у подъезда дома, где помещалась ночная трудовая коммуна свободных девиц, Урицкий очнулся от своей задумчивости. У крыльца стояла царская карета, предоставленная Луначарским в распоряжение Лурье. На козлах мирно похрапывал кучер.

«Кого привез?» — встряхнул его за плечо Урицкий.

«Господин комиссар Лурьев изволят здесь по ночам делать пение».

«Пошел на Гороховую, 2», — приказал Урицкий, садясь в карету.

Через четверть часа наряд красноармейцев с Гороховой входил в помещение трудовой коммуны...

Как известно, Урицкий был строг, но справедлив. Поэтому когда Луначарский выяснил ему, что Лурье, действительно, интересовался лишь, по делам своей службы, постановкой музыкального дела в означенном доме, а не чем-либо иным, то через пять дней Артур Лурье, в полном блеске прежней грации, опять порхал по своему отделу в качестве комиссара.

Но с тех пор ни комиссар Лурье, ревизуя по ночам музыкальные заведения, ни другие комиссары уже не ездили туда в царских каретах. Также и представители Чрезвычайки — сначала узнавали через своих агентов, свободен ли путь, а уж затем шли дышать свежим воздухом в Львиный переулок.

Читали ль вы?

Читали ль вы поучительные анекдоты из жизни советского посла Гуковского в Ревеле?

Правда, такого сборника пока еще нет. Но если бы его составить и издать, то получилась бы занимательная и высоконравственная хрестоматия для детей восьмилетнего возраста в советских школах.

«Товарищ швейцар, вы обязаны не подавать мне пальто, а только стеречь его. А так как моя шуба на собольем меху, принадлежавшая раньше князю Демидову Сан-Донато, висит на том же месте и вы не присвоили ее себе, руководствуясь принципом грабь на-

грабленное, позвольте пожать вашу правую руку и вручить вам сто фальшивых рублей».

«Товарищ кухарка! Не вам стоять передо мною, а мне перед вами. Садитесь же, прекрасная представительница угнетенного пролетариата. Так. А я постою, на коленях. Ага! ваш муж? Постойте, постойте… Да… Нет сомнения – он расстрелян… О, пожалуйста, не волнуйтесь… Вышел сущий пустяк, самое ничтожное недоразумение. Его фамилия, вы говорите, Шитов? Ну, а мы разыскивали Шилова… Понимаете, вышла ошибка лишь в одной букве. Стоит ли обращать внимание? Позвольте вам предложить… Не желаете? Странно…»

«Товарищ ребенок… Вы плачете? Выронили изо рта леденец? Кто-то раздавил его ногой. О проклятая, бессердечная буржуазия! Пойдемте со мною в кондитерскую. M-elle, пять фунтов шоколаду. Товарищ ребенок, прошу вас… Да, да, вам, вам… У нас в России, в советских школах, каждый ребенок, кроме обширного образования, получает ежедневно на завтрак разварную осетрину, бифштекс, кофе со сливками, яблочный пирог, фунт конфект, трубу, барабан и большую книгу с картинками… Всего хорошего».

«Товарищ лошадь, приношу вам благодарность за то, что вы доставили меня домой. Позвольте предложить вам кусок сахару. Ваше нынешнее положение есть явная и жестокая социальная несправедливость. Смею уверить вас, что недалеко то время, когда вы вместе с вашими сознательными товарищами воскликните: “Да здравствует диктатура пролетариата! Долой буржуазию, катающуюся на извозчиках!”»

«Товарищ проститутка! Целую вашу руку с тем же благоговением, с каким прежде целовали руки у своих королев преданные рабы империализма. Вы всей вашей жизнью потрясли гнилые основы семьи и брака – этих двух китов, которые вместе с третьим китом – церковью – поддерживали на себе косное буржуазное общество. Нет-нет, честная эстонская женщина, не давайте мне сдачи… не надо… Вы заслужили ее…»

* * *

Все эти анекдоты, тщательно обработанные, упорядоченные и, в целях пропаганды, расцвеченные, пускаются в публику в виде слухов. Их подхватывают услужливые, а перепечатывают, по наивности, неумные газеты. Товарищи кухарки, швейцары, дети, лошади и проститутки читают эти газеты и умиляются. Большевизм стучится в их сердца.

Но мне хочется от всего сердца предупредить их:

Швейцар! Не пройдет и года, как, под угрозой мгновенного расстрела, ты — босой, озябший, голодный, больной и вшивый — будешь стрелять в родного брата, проклиная свою трижды рабскую долю всеми черными словами, какие только есть в твоем лексиконе.

Кухарка! Лишенная единственной работы, которую ты только и знаешь, преждевременно иссохшая и поседевшая, ты — прежде великая мастерица кулебяк с капустой и жареных поросят — будешь разыскивать в чужой помойке картофельную шелуху для дневного пропитания.

Ты, розовый бутуз, с одиннадцати лет узнав прелести курения, пьянства, картежной игры и прочего, изможденный, пораженный преждевременной физической и моральной собачьей старостью будущий деятельный член Чрезвычайки — станешь торговать на улице папиросами рядом со своей сверстницей и подругой жизни.

Ты, лошадь, будешь съедена теми же самыми буржуями, которые поддерживают сейчас твое существование. Горькая ирония рока!

* * *

Лишь перед одной тобой, проститутка, лежит прямой, свободный и завидный путь.

Двери всех комиссариатов широко открыты перед тобою: просвещения, призрения, зрелищ, промышленности, продовольствия — все, не исключая и дверей Чрезвычайки. Смело гряди в них. И да будет шляпка на тебе самая модная, и эспри самое страусовое, и юбка самая шелковая, и колье самое жемчужное, и сапожки о шестидесяти четырех пуговицах да

будут из самой нежной и тонкой кожи на твоих ногах колесом, и пусть благоухаешь ты духами «Violette pourpre», фабрики «Coty», и напитком твоим да будет всегда ликер «Crème de vanille».

Их деятельность

Часто приходится слышать от людей, бежавших из Совдепии, такую фразу:

«...Но в чем нельзя отказать советской власти, так это в железной дисциплине и в кипучей энергии. Деятельность советских чиновников, поистине, достойна всякого удивления».

— Например?

«На службу все являются с точностью полуденной пушки. Барышня-машинистка, замеченная во вторичном опоздании хотя бы на пять минут, подвергается немедленному исключению со службы. Никакие причины и доводы, хотя бы самые веские и логичные, не принимаются во внимание.

Комиссар Авров ждет к двенадцати часам видного генерала генерального штаба с докладом. Три минуты первого. Генерал входит. Товарищ Авров молча поворачивает к нему циферблат часов, берет у него из рук бумагу и на полях подписывает: "Бывш. генерала N подвергнуть аресту при гауптвахте на трое суток с исполнением служебных обязанностей".

Товарищу Троцкому подан мотор с опозданием на полчаса. Через день в приказе Главвоенревкома печатается: "Шофер такой-то, задержавший подачу мотора тов. Троцкому на полчаса, расстрелян ввиду особых условий военного времени".

Так ведется повсюду, в разных масштабах, от страшного до мелочно-смешного. И все тянутся».

— Так. Это понятно. Ну, а результаты?

«М-м... Как вам сказать? — мнется собеседник. — Пока, пожалуй, никаких... Но, конечно, со временем они скажутся. Видите: население Петрограда уменьшилось более чем вдвое, число же чиновников увеличилось втрое против царского режима, ибо служат буквально все. Что же касается до бумажной перепис-

ки, то она возросла в шесть раз сравнительно с прежними бюрократическими временами.

Ни одного шага нельзя сделать без бумажки. Переписываются между собою не только департаменты, отделения и столы, но часто два чиновника, сидящих рядом, ведут оживленную и бесконечную переписку по поводу выеденного яйца. Личной инициативы нет никакой. Трепет перед ответственностью — панический. Своего, особого мнения никто не имеет. Зато существуют два старых верных способа — заслать дело в другое ведомство или просто-напросто "отказать ввиду недостаточной благонадежности просителя"...»

— Значит, обывателю с его нуждишками туго приходится?

«До крайности. В прокуренных, заплеванных канцеляриях не протолпиться. Стоят люди и переминаются с ноги на ногу по три, по четыре часа, наваливаясь друг на друга, и преют, и сопят в тщетном ожидании клочка бумажки, дающей право на проезд до Гатчины, на продажу собственного клеенчатого дивана, на покупку лота редиски или на право, в порядке регистрации, попасть в ряды доблестной армии, записав в заложники своей верности — жену, мать и детей... Во время полуденного перерыва их прогонят, а через час они опять набьются тесным стадом в комнаты и стоят до вечера... И так день, два, три...

Служащие рассеяны, неумелы, нервны, грубы... Едва читают по писаному... Высокомерны и надменны. Цинично насмешливы. Особенно женщины.

"Вам — вы говорите — нужно ехать к больному отцу? Сколько ему лет? Шестьдесят восемь? Пора и помирать. Нечего есть даром народный хлеб".

А сама без помощи ближнего товарища, щелкающего на счетах, не разделит полутора пудов муки на тридцать едоков».

Их строительство

Кредиты, отпускаемые советским правительством на государственные надобности, так широки, что

размеры их приводят в остолбенение даже инженеров старорежимного военного времени.

— Вам нужно четыреста миллионов? Зачем так в обрез? Берите восемьсот.

Надо сказать, что, подписав условия, они никогда не уплатят и четверти суммы. И это не от злого умысла. Просто машины, день и ночь печатающие деньги, не успевают удовлетворять спроса, несмотря на головокружительную высоту купюр.

Но денежный голод — второстепенная причина. Главное — нет рабочих рук, нет продовольствия, нет топлива, нет транспорта. И всего этого не будет до тех пор, пока большевизм, неуклонно пятясь назад, не вернется к обычаям, нравам и приемам всякого буржуазного государства, то есть, совершив кровавый, но поучительный круговорот, не вернется к исходной точке.

* * *

А какие грандиозные замыслы! Какие волшебные перспективы! Какой размах творческой фантазии!

Большевики начали социальное строительство России с утопических формул Фурье и Аракчеева. В государственном хозяйстве они шагнули сразу через пять столетий, отмахнувшись небрежно от настоятельных нуждишек нынешнего дня.

Деревня вопит во весь голос: дай мне лошаденку, соху, гвоздей, топор, пилу!

Но совдеповские Невтоны притворяются, что не слышат этого отчаянного вопля. Они заняты новым величайшим проектом.

Россия баснословно богата торфом. Надо покрыть все губернии, уезды и деревни сетью бесчисленных заводов, которые будут добывать, при помощи нового, усовершенствованного способа, торф и превращать сго в брикеты. Брикеты послужат горючим материалом для электрических станций на местах. А станции, в свою очередь, дадут мужику не только освещение и *отопление* (!!), но, устранив лошадь, приведут в движение все самоновейшие тракторы, веялки, жнеи, сенокосилки и общественные портомойни...

Подобных проектов сотни. Мы не удивимся, когда прочитаем в советских газетах, что такие-то и такие-то молодчики открыли секрет сгущения солнечного света или превращения в служебную энергию лунного притяжения, силы ветра, земного магнетизма и т.д. и что их изобретения обеспечены широчайшими кредитами. Великая французская революция плодила гениев. Мы — хуже ли?

Европа расстегивает рот от удивления. «Какая жизнь! Какая мощная, созидательная работа! Как велик человеческий гений!»

Неужели верить? Или только притворяться?

Как ее убедить, что ей показывают издали туманную фотографию, снятую с картонного фасада, грубо раздраконенного во всех стилях и всеми цветами радуги кистями ловких обманщиков?

А за фасадом — вонючая ночлежка, где играют на человеческую жизнь — мечеными картами — убийцы, воры и сутенеры, а под нарами, в струпьях и вшах, больная, истерзанная Россия мечется в горячечном кошмаре.

Без конца

Несчастный Петроград! Бедная Москва! Точно на библейский Египет, сыпятся на них казнь за казнью... Чрезвычайки, расстрелы, тюрьмы, голод, холод, тиф, сап, испанка...

Люди, оставшиеся в Совдепии, изредка умудряются — раз в год — передать весточку своим ближним, находящимся за границей. Смысл их писем всегда сводится к одному: «Чтобы вас ни ждало на чужбине, какие тяжкие испытания, лишения и притеснения ни посылала бы вам судьба, переносите всё безропотно и ежедневно благодарите Бога или случай, вырвавших вас из совдеповского ада».

В последние дни чем ближе надвигается весна, тем явственнее наблюдается всеобщее повальное бегство из красных столиц. В продолжение всей долгой зимы городские улицы представляли собою сплошную помойную яму и единственное отхожее место. Так как от мороза полопались все канализаци-

онные и водопроводные трубы, огромное количество домов стало нежилыми. Загадив последовательно этаж за этажом, обитатели бросали здание и перебирались в другое...

С оттепелью жизнь в этих городах стала невозможной. Зараженный воздух наполнен удушающим зловонием, которое преследует жителей и на улицах, и в квартирах... Трудно даже представить себе, какими бедами и болезнями грозит наступающее лето этим загаженным городам!

Конечно, эти несчастья не коснутся избранников судьбы — комиссаров, коммунистов и идейных вождей большевизма. К их услугам maximum тех удобств, которыми они щеголяют перед заграничными корреспондентами. Для их комфорта — особняки на островах, дворцы, сады в пригородах, и царские автомобили, и царские повара...

И страсбургский пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым...

Гражданин же может себя почитать необычайным счастливцем и большим удачником, если после смерти его повезут на кладбище в прокатном гробу, а не в общей телеге, покрытой сверху, для прилика, рогожею.

Маски

I

В настоящее время красные газеты составляются с единственной целью — втирать очки Европе. Заграничное общественное мнение хочет во что бы то ни стало видеть Россию на чудесном пути к возрождению под твердым и мудрым руководством гения большевизма. Совдеповская пресса охотно идет навстречу этому желанию.

Людям, которые возвратились из советского рая не командировочным и не провокационным порядком, а тяжелым путем побега, веры нет; и не только русским беженцам, но и англичанам, и датчанам, и

шведам... Временами кажется, что весь мир обратился в какой-то дьявольский маскарад, где интрига пахнет смертью стран и самоубийством народностей. Россия, несомненно, стоит теперь в центре мирового внимания. Единственный источник, из которого можно почерпнуть хоть приблизительные сведения об ее теперешнем состоянии, — это совдеповская печать. Но читать ее приходится между строк. Так в маскараде ты можешь узнать замаскированного человека по тембру голоса, по походке, по привычному слову, по форме ушей... Или воспользуйся моментом, когда маска на мгновение полуоткрывается.

* * *

Троцкий откровеннее и ярче, а оттого и болтливее и легче расшифровывается, чем другие. Вот что он говорит о поднятии заводской промышленности:

«Каждый гражданин страны должен знать, что у нас есть Сормовский, Коломенский заводы, такие-то и такие-то ткацкие фабрики, знать, *что* они производят и что они *лучше* производили в апреле, чем в марте и феврале.

Мы должны следить за тем, чтобы у нас были заводы любимые, где пульс работы бьется как следует. А заводы, где напряженность и производительность труда ниже, должны чувствовать себя павшими во мнении страны».

«Мы» — это, конечно, не «Мы, милостью случая, Лев I». О таких вещах пока еще только думают, но не говорят. Мы — это ты, я, вы, мы, все вместе, комиссар, обыватель, чрезвычайник, добровольный соглядатай, профессиональный доносчик, автор анонимных писем, газетчик, читатель и так далее, все кто угодно, все, кому не лень делать отметки, поощрять, награждать, ставить на вид, записывать в штрафной журнал и наказывать...

Еще так недавно нас возмущал грубый, лошадиный принцип, поставленный советской властью во главу труда: награждается личное усердие; работа по тейлеровской системе, под ритм, под музыку; выжимание из человеческого мяса и нервов maximum'а напряжения...

Этого показалось мало. Целые заводы, связанные круговой порукой, взаимной слежкой, контролем платных и бесплатных дармоедов, должны выбиваться из сил, чтобы попасть в число любимцев, а не в печальный класс падших. Разница же в четверти фунта хлеба на едока... Тут призадумаешься!..

Система гениальная в своей мерзости. А у большевиков, этих Маниловых навыворот, слово — дело.

II

Товарищ Горький к пятидесяти годам стал слезлив. Впрочем, этот человек, в одинаковой мере одаренный талантливым умом и черствым сердцем, всегда был сентиментален. Он способен умиляться, например, над тем, что вот, мол, судя по газетам, в костромской деревне гонят из дерева уксусную кислоту. И с мокрыми глазами говорить:

— Подумайте... уксусную!.. Какими стремительными шагами пойдет освобожденный народ по пути строительства новой жизни!

Со всей неуклюжей старательностью идолопоклонника падает он ниц — и уже давно — перед величием механической культуры, подобно дикарю, обоготворяющему таинственный граммофон.

И каждый день открывает Америку.

Новая его слеза... по поводу введения всеобщей принудительной грамотности.

«Товарищи! — восклицает он. — Страстное внимание, с каким сорокалетние люди обучаются грамоте, так радостно волнует и радует!»

Но в том же номере газеты, где раздается этот ликующий (может быть, даже искренний) клик, товарищ Ангерт сурово раскрывает прозаическую правду.

«Работу пришлось вести с чрезвычайным напряжением. Масса неграмотного населения относилась к вопросу об обучении с некоторым предубеждением и раздражением.

Для привлечения в школы грамоты были объединены *все живые силы* Петрограда. К обходу квартир мы привлекли также и учителей, которые успешно выполнили это задание.

Можно надеяться, что через 4 месяца неграмотных окажется в Питере очень мало».

Как видите, нельзя ни минуты сомневаться в том, что сорокалетних бородачей, истощенных голодом, обходили облавой и загоном гнали в школу. Какая же тут радость?

Есть русская поговорка: «Не рад гусь на свадьбу, да за крылья тащат...»

P.S. Хороша здесь строчка: «Скоро в Питере неграмотных останется мало».

Верно. Но и грамотных скоро окажется мало.

Все они упорно саботируют советскую власть, коллективно переселяясь на Волково, Смоленское и другие кладбища.

III

Мы уже не раз отмечали в нашей газете естественный, бесхитростный, чуждый внутренней политике, но неуклонный стихийный рост религиозного сознания в России. Этот крупный общественный поворот находит себе ежедневное подтверждение во многих заметках газетной прессы.

И если в городах еще возможно вытащить священника за волосы с амвона в церковную ограду или заставить его чистить выгребную яму, то, очевидно, у деревенских красных властей укороченные руки не поднимаются больше на насилие.

Что остается делать правоверным сельским коммунистам? Только одно: писать жалобные донесения в «Красную газету» или в «Деревенскую бедноту».

* * *

«Граждане села Черенковичи Ильешской волости Ямбургского уезда на третий день Пасхи послали подводу за попом.

Приезжает он в деревню и до крестного хода был приглашен для соборования больного. В это время партия молодежи сидела у дома одной гражданки и запела "Интернационал". Гражданка дома, уже пожи-

лых лет, вышла, стала браниться и разогнала партию водой.

– Я не позволю у моего дома петь всякую мерзость. Приехал батюшка, а вы... как вам не стыдно!

Еще до приезда попа в деревню женщины начали таскать, одна перед одной, творог и масло к церковному старосте; а также и муки по 4 фунта с каждого венца.

Когда начали ходить по домам с крестным ходом, то у дьячка и у попа оказались огромные корзины с яйцами, в каждом доме давали по два яйца и еще платили деньгами, кому сколько не жалко, а сверх, по личной просьбе на ушко, по ложечке масла или творожку. В тех домах, в которых были коммунисты, они ничего не просили, а только ласково говорили: "Дай вам, Господи, хорошо жить". Когда поп выходил, то говорил: "Отходите как можно подальше от этих людей, не заражайтесь ихними дурацкими мыслями".

Когда кончился обход крестного хода по домам, все хозяйки, у которых сам поп лично просил масло и творог, тащили продукты к церковному старосте, и вскоре была полна подвода попу, на которую нагрузили муки, масла, яиц и творогу.

В тот же день вечером было собрание всех граждан, на котором пришлось поставить на вид про это церковному совету. Председатель ответил, что поп не имеет права просить, потому что, согласно постановлению, никакого сбора в натуре не может быть, кроме платы денег, не менее трех рублей. Почему-то председатель не объяснил этого до крестного хода».

* * *

Всякий донос противен, ложный – вдвое, но ябеда неумелая, шитая белыми нитками, кроме того еще и смешна.

Уж если за попом послали подводу, если собрали заранее крестный ход, если еще до приезда попа бабы *одна перед другой* таскали к церковному старосте творог, масло и муку, если платили деньгами *сколько кому не жалко,* – то уж, наверное, священника ждали нетерпеливо, а встретили радостно и широко, и незачем было ему с дьячком попрошайничать «на ушко»...

И если у коммунистов ничего не просили (потому что не просили ни у кого), если ласково говорили: «Дай вам, Господи, хорошо жить», то можно поручиться, что, выйдя из избы, хозяев не хаяли... Не ловок, товарищ, врать: уши видны!

Но баба, баба! Чудесная, пожилая, властная хозяйка из села Черенковичи. Когда она разогнала водою партию, точно кучу сварливых кобелей, знала ли она, что в ее решительном жесте заключается великий символ?

Привет тебе, матушка, и поклон!

IV

Результат губернского съезда в Красном Петрограде выразился в следующей безотрадной, многозначительной и жестокой картине деревенского быта, рисующейся сквозь строки отчетов красных газет:

«Крестьяне жаловались на *тягости* возлагаемых на них *повинностей*, указывали на *отсутствие* у них *сельскохозяйственных орудий, предметов первой необходимости, соли* и пр. Многие жаловались на тяжесть мобилизации, на *реквизицию скота*, горячо обсуждали вопрос о *подводной* повинности.

Были такие, которые настаивали на предоставлении крестьянам полной свободы в выборе форм земельного пользования. Эти ораторы забывали, что в этом вопросе советская власть никого не насилует и лишь стремится уяснить всю пользу и значение общественного землепользования.

Делегаты указывали на разные недостатки в области управления на местах, на случаи несоответствия действий тех или других ответственных работников с общими предначертаниями советской власти.

Как отрадный факт необходимо отметить, что не было ни одного выступления, ярко окрашенного враждебностью к советской власти, не нашлось ни одного крестьянина, который бы решился сказать худое слово против советской власти в целом. Все указывали лишь на мелкие недостатки, на отдельные случаи несправедливости», — и пр., и пр.

Ясно, что деревня находится в катастрофическом положении. Нет ни плуга, ни топора, ни гвоздей, ни сапог, нет — даже соли! Овцы и коровы уведены и съедены красноармейцами. Лошадей взяли в ремонт кавалерии, оставлены по две клячи на деревню, да и те постоянно в разгоне — под тещами комиссаров и свояченицами коммунистов. Вся молодежь, все ядро рабочей силы угнано за тысячу верст, — либо на фронт, либо в нелепые трудармии. В области коммунального управления на местах — превышение власти, произвол, дармоедство, глупость, бездарность, бестолковость, хамское упоение самодержавием. И все это — *мелкие недостатки*.

Перед кем наемные перья расточают эту цинически-наглую, идиотски-наивную ложь? Грамотный ребенок, пошехонская баба, прочитав такую газетную заметку, поймет, что деревня не жалуется, а воет в лапах холодного кровесосного спрута, называемого советской властью...

А то, что никто не решился обложить эту власть черным и едким словом проклятия, это понятно и без комментариев... Сегодня выскочит с протестом смельчак, у которого нестерпимо загорелось сердце, а завтра:

— Где ты, человек?

V

Советские газеты изредка, точно просыпаясь на секунду от длительного кровавого бреда, бормочут кое-какие невнятные слова о народном хозяйстве. Так, мы можем теперь припомнить наобум ценные рецепты приготовления вкусных и питательных блюд из жмыхов, жирного кофе из поджаренных и размолотых семечек подсолнуха, киселя из овсяных отсевок... Читали мы в свое время веские мнения в пользу превосходства в количестве белков конского мяса над коровьим и советы — разводить корнеплоды на крышах...

На днях мы выудили из одной красной газеты следующую заметку. Она — дельная и написана просто. Может быть, она даже и пригодится кому-нибудь из наших читателей:

«Солдаты, которым во время плена удалось поработать у немецких крестьян, рассказывают удивительные вещи.

Земля там, кроме навоза, удобряется особыми порошками. О трехполье и помину нет. Под паром держится не более одной восьмой части всей пашни. На пары скотину не пускают, а сеют на них какое-нибудь скороспелое растение для корма.

Чтобы земля не уставала, хлебные растения обязательно чередуются с травами и корнеплодами. Кроме того, многие растения сеются в рядки, а земля между рядами в течение лета неоднократно разрыхляется и как бы парует.

Земля там пашется под посев не менее двух раз.

После снятия хлеба земля сейчас же вспахивается. Получается вроде кратковременного пара. Кроме того, разрыхленная пашня хорошо пропитывается осенними дождями.

Урожай ниже 100 пудов на десятину никогда не спускается, а урожай в 150–200 пудов совсем не редкость. А ведь земля в Германии гораздо хуже нашей: больше пески да суглинок.

Скотину круглый год держат в стойле, а чтобы она не скучала, ее кормят разнородным кормом. Солому, например, дают не иначе как в пареном виде. Отрубей и жмыхов не жалеют. Летом ежедневно дают свежескошенной травы. Кормят еще картофелем, бураками (кормовой свеклой). Зимой немец ни за что не станет поить коров холодной водой, а предварительно нагревает ее в комнате, потому что холодная вода потребует излишнего корма на согревание тела животного. Нечего и говорить, что скот держится в теплых, просторных и *светлых* помещениях.

Поэтому корова, дающая *менее одного ведра* в день, у немцев бракуется и идет на мясо».

Европеец, прочитав случайно эту заметку, утрет слезу и скажет:

— Говорят, что большевики признают лишь разрушение. Но вот вам живое доказательство, что они стремятся и строить.

Но он, конечно, не знает, что «особые порошки», то есть костяная мука, сушеная кровь, гуано, томас-

шлак, вагнеровские туки, суперфосфаты и прочее мало были употребляемы в России и до войны, а теперь от них не осталось и порошинки. Что отрубей, жмыхов, картофеля и бураков не хватает для еды людям. Что солому для корма скоту снимают с собственных изб. И что последняя коровенка, даже совсем не дающая удоя, съедена красноармейцами.

Давать такие советы — все равно что человеку, у которого сгорела живьем вся семья, совать в руки брошюру о воспитании детей.

Не советы — а «одна прокламация».

VI

Случайный материал из красной прессы подходит к концу. В заключение приведем две выдержки. Они характерны, как и все, что в последнее время появляется в совдепской печати. Читаешь и невольно слышишь, как сквозь громкое пение «Интернационала» все яснее и яснее проступает голос мужика. И не прежнего, камаринского, — пьяного и распоясанного, — а трезвого и жадного хозяина, цепко впившегося корявыми пальцами в землю, глухого к побрякушкам коммунистической проповеди.

* * *

1) «В деревне Обижа Остенской волости Псковского уезда молодежь хотела сорганизоваться в кружок молодежи, но когда было назначено первое собрание, то все, кому предлагали записаться в кружок, *единогласно* сказали: *"нужно посоветоваться с родителями"*.

И когда один из кружка пришел домой и сказал матери, что я, мол, записался в кружок молодежи для просвещения, то мать набросилась на сына с руганью: "Я тебя, такой-сякой, из дома вытурю, если ты запишешься в кружок".

Молодежь, узнав об этом, заколебалась: "и нас, мол, будут так же родители ругать" — и не записалась в кружок.

Не следует молодежи слушать старых темных людей. Советская власть может держаться крепко только на молодом трудовом народе.

Долой темноту!

Да здравствует в молодой Советской республике кружки молодежи!»

* * *

Что и говорить, старый мужик темен, просвещение же — вещь полезная. Однако мудрая мать многократно права.

На кой черт — извините за выражение — нужны деревне какие бы то ни было кружки в рабочее весеннее и летнее время, когда ежедневный горячий труд требует полнейшего напряжения всех сил крестьянской семьи?

И что дают деревне эти просветительские кружки? Красную брошюратину, свободу половых отношений, разрушение устоев семьи и церкви, шпионаж и науськивание, бесконечную митинговую болтовню... А в результате толчеи — длинные, безграмотные, лакейские, подобострастные, лживые телеграммы Зиновьеву и Троцкому на деньги той же злосчастной деревни.

* * *

«За последние два года рабочие претерпевали неслыханные лишения и самоотвержения. В результате мы имеем блестящие победы на всех военных фронтах. Но чем *больше* мы имеем побед, тем *труднее* становится управление нашим рабочим государством. Мы завоевали Сибирь и Кавказ, где пролетариата почти нет, где массу населения составляют крестьяне. Мы им *товаров* сейчас *дать не можем.*

Здесь нам нужно суметь подойти к крестьянству, разъяснить ему, что в условиях переживаемого времени оно *должно давать свой хлеб рабочим в ссуду.* Все это мы можем сделать через 600000 членов нашей партии и через 4000000 трудящихся, которые объединены в профессиональных союзах. Но для этого необходимо, чтобы все они действовали заодно, нужна трудовая дисциплина».

* * *

Полагаем, что к сибирскому крестьянству подход будет еще потруднее, чем тульскому и рязанскому. Почитайте-ка, что говорит о сибирском мужике такой тонкий и беспристрастный наблюдатель, как Чехов. Живет этот мужик-старообрядец вольготно и хозяйственно-крепко на обширной и плодородной земле. Нравом суров, недоверчив и независим, однако там не бьют ни женщин, ни детей, а баба в доме — полноправная и неограниченная повелительница. Глупой болтовни не терпит и сам не многоречив. В куске хлеба не отказывает даже беглым каторжанам, выставляя на наружный подоконник «савостейки», но ни зернышка не отдает за красное словцо.

Вожди коммунизма знают и учитывают это непреодолимое условие. Отсюда можно заранее предвидеть, в каком направлении будут «действовать заодно» 600000 членов партии.

Но уже это значит прать на рожон.

VII. ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Праздновали в Москве пятидесятилетний юбилей Ленина. Говорили речи — льстивые, преувеличенные, лживые. Ораторами были: Евдокимов, Луначарский, Горький, Сталинский и еще многие другие.

«...По окончании официальной части празднования в помещение Московского комитета явился В.И.Ленин, встреченный бурными аплодисментами, перешедшими в бурную овацию. Он обратился к собранию с небольшой речью, поблагодарил за приветствие, полученное им, а также за то, *что его избавили от выслушивания юбилейных речей.*

Между прочим, он продемонстрировал карикатуру, полученную им, и просил, чтобы в будущем они потеряли интерес к юбилеям...»

Что и говорить, Ленин поступил в данном случае оригинально, резко и умно. Но как себя чувствовали в этот момент юбилейщики, только что распинавшиеся до пота в честь хозяина?

* * *

«...Районный Совет Петроградской стороны постановил представить на рассмотрение Петросовета вопрос о переименовании Петрограда в Ленинград...»

Бедный город! Разрушенный Петрополь, обесчещенная Северная Пальмира!.. Сколько пришлось на твою долю переименований! Санкт-Питербурх, С.-Петербург, Петербург, Петроград — ныне, может статься, Ленинград...

Но не окажется ли Ленин и на этот случай умнее и дальновиднее своих лакеев?

* * *

Полюбовавшись на первомайские процессии в Петрограде, Горький, по обыкновению, умиленно прослезился и обратился со следующими словами к рабочим, то есть к толпе голодных статистов, насильно согнанных на Марсово Поле опытными и жестокими партийными режиссерами:

«...Товарищи! Вот именно так, дружными усилиями организованной воли тысяч и десятков тысяч людей — именно так, не иначе! — вы построите новый мир — мир красоты, свободы, радости. Огромное значение имеет тот факт, что вы, полуголодные люди, сильно измученные годами разрухи, которую создала проклятая война, могли показать так много трудовой энергии и разумной организованности.

И если наши новые враги — поляки — узнают хоть *половину правды* о работе первого мая — не понравится им эта правда, невеселые мысли и чувства вызовет она у них...»

Зачем половину? Мы знаем больше. Знаем приблизительно девять десятых истинного положения вещей и охотно раскрываем истину. Любой живой скелет, вернувшийся из Совдепии, расскажет о том, как накануне великих красных торжеств члены райкомов и комбедов обходят квартиры и негласно предупреждают всех граждан, что каждый, кто не явится завтра на шествие, будет лишен трудового пайка. То же самое объявляется и во всех учреждениях... Попробуй-ка, не явись! И это еще полбеды — наказание

голодом. Стократно хуже и опаснее попасть в черный кондуит.

«...Потому что, — продолжает Горький втирать очки, — им станет ясно: народ, который при всех тяжких условиях его жизни умеет *так работать*, — этот рабочий народ не одолеть легко, он крепко постоит за свободу, и *хвастливая Польша, не однажды – в прошлом – разбив себе лоб* в столкновениях с *Русью,* разобьет себе его еще раз...»

Что за тон, тов. Горький! Здесь и гордое, торжественное слово «Русь» (почему уж, кстати, не Святая?). Здесь и унизительное прозвище врагу (помните? — «коварный, желтолицый, косоглазый враг»). И какая самонадеянность! «Разобьет лоб!» (помните? — «шапками закидаем», «француз не тяжелее снопа ржаного», «достаточно одной казачьей дивизии» и т.п.). А главное — тов. Горький — уж совсем точно старый боевой генерал — вспоминает былые победы славных русских войск времен Екатерины II и Николая I.

А мобилизованные революционные рабочие стоят, и слушают, и выражают бурные одобрения. «Наш дурак все слопает».

...Так думает Горький.

VIII

Ленин подводит итоги двухлетней власти пролетариата: «После нашего двухлетнего опыта мы не можем рассуждать так, как будто бы мы в первый раз взялись за социалистическое строительство. Это, слава богу, неверно. Мы *наглупили достаточно* в период Смольного и около Смольного. В этом нет ничего позорного. Откуда было взять ума, когда мы в первый раз брались за новое дело. Мы пробовали так, пробовали этак. *Плыли по течению* потому, что нельзя было отделить элемента правильного от неправильного — на это надо время!..»

Скромное словечко — «наглупили». Тридцать миллионов (не считая войны с Германией) русских жизней, погибших во имя утопической теории на войне, под расстрелами и пытками, от голода, мороза и повальных эпидемий. Разрушенные, загаженные

города. Оподление, мрак, отчаяние... Вся страна обращена в дикое, гиблое место, и нужны многие десятки лет, чтобы возобновить в ней хотя бы подобие даже прежней культуры.

Наглупили! Экие шалуны...

* * *

Последнее слово книжного совдепского рынка — брошюра товарища Гусева о восстановлении хозяйства в России. О ней много говорят в совдепских сферах. Ее не только одобрил — перед ней расшаркался сам Ленин:

«...В своей брошюре тов. Гусев говорит, что в той исключительно сложной, небывало запутанной, неслыханно трудной обстановке, в которой нам приходится приступать к хозяйственному строительству, необходим абсолютно ясный, простой, примитивно-грубый, прямолинейно-беспощадный план, проводимый с железной твердостью.

Тов. Гусев сравнивает наше государственное хозяйство с колоссальным зданием в десятки этажей и десятки тысяч комнат. Здание это полуразрушено. Обитатели различных этажей и даже комнат разрешают вопрос о ремонте этого здания каждый с точки зрения своих нужд. Одни кричат, что стропила подгнили, другие, что водопроводные трубы лопнули, третьи настаивают на починке печей и т. д. Однако ясно, что зданию грозит обвал, и поэтому единственным первоочередным делом является укрепление фундамента и стен.

"Необходима совершенно исключительная твердость, необходимо величайшее мужество, — пишет тов. Гусев, — чтобы не только не смущаться криками и стонами стариков и женщин, детей и больных, несущимися со всех этажей, но решиться даже на то, чтобы отнять у обитателей всех этажей необходимые для укрепления фундамента и стен инструменты и материалы, чтобы заставить их бросить свои углы и каморки, которые они всеми силами пытаются привести в жилой вид, чтобы выгнать их на работу по укреплению фундамента и стен".

Не забывать главного, выделить главное, сосредоточиться на нем, беспощадно выбросить все осталь-

ное, — вот что проходит красной нитью в брошюре тов. Гусева...»

От одного уже сравнения, которое тов. Гусев кладет в основу своей брошюры, мороз продирает по коже. Но давно известно, что серьезного товарища Ленина ни сравнениями, ни метафорами, ни слезами, ни даже кровью не проберешь. Хороши же должны быть практические положения у тов. Гусева, если Ленин назвал его книжку замечательной и усердно рекомендовал к сведению и руководству!

IX

Пусть большевики кричат на весь мир в своих лживых газетах о моральных победах большевизма и об идейных завоеваниях коммунистического учения. Мы, читающие между строк, ясно видим, что только голод, холод и насилие гонят в бездну неслыханного от сотворения мира рабства несчастную толпу усталых, измученных людей.

«...В бюро жалоб и заявлений при рабоче-крестьянской инспекции в Петрограде неоднократно поступали заявления граждан о несправедливости лишения домашних хозяек трудового пайка, несмотря на их тяжелый и непрестанный физический труд.

Бюро обратилось по этому поводу в подотдел трудового пайка при Петрокоммуне, которая сообщила, что если все домашние хозяйки сорганизуются в особый союз под покровительством совета союзов, который мог бы даже освободить их от внесения членских взносов, то возбужденный вопрос будет в ближайшее время внесен на разрешение правления Петрокоммуны...»

* * *

Хозяйка — это жена, сестра, мать... Кто бросит в них камнем, если, во имя семейной любви и под гнетом нужды, они, с ненавистью в сердце, последуют заманчивому совету Петрокоммуны?

А большевики — мастера учитывать психологические моменты. Они отлично помнят, что первый сигнал к февральской революции подняли женщины,

потерявшие терпение в хвостах около булочных. Они также хорошо видят, что если теперь и раздаются изредка голоса, громко проклинающие бестолковость, глупость и подлость комиссародержавия, то это именно голоса женщин, всегда бесстрашных в охране своего гнезда.

А тут мирный и легкий путь подкупа пайком... Цып, цып, цып... идите к нам, матери, с сердцем, перегоревшим от любви, гнева и муки, получите лишнюю восьмушку хлеба и распишитесь в признании благодетельных свойств коммуны.

А мы об этом факте раструбим в газетах как о громадном общественном сдвиге в сторону коммунизма.

X

Пусть большевики ежедневно на страницах своих газет печатают крупным шрифтом о трудовых субботниках, об ударных рабочих группах, о планомерной победе над разрухой. Пусть они строжайшим образом контролируют и подвергают жестокой цензуре каждое живое стороннее сообщение. Пусть! Голая правда нет-нет, а выползает из-под гигантского советского пресса и вопит о себе на весь мир.

«...На конференции рабочих Александровского завода много говорилось о тяжелом существовании рабочих, о недостаточном снабжении предметами первой необходимости при работах, как то: одежда, обувь, руковицы, мыло и т. д.

Единогласно заявлялось об отсутствии необходимых для производства материалов и инструментов.

Рабочий может согласиться с отсутствием материалов, которых нет и достать негде, — говорит представитель вагонных мастерских, — но обидно, когда достать их можно, но они лежат, не двигаясь с места по причине канцелярщины, бумажной волокиты и т. д.

Тяжелым бременем ложится на рабочих и огородная повинность, утомляющая их сильнее всяких "сверхурочных и ночных" работ.

Жалуются рабочие и на оторванность товарищей, ставших у власти и забывших свою специальность и свой завод.

Тов. Уткин (инструментальная мастерская) говорит, что за полтора года ни один из представителей власти не зашел на завод узнать о нуждах рабочих.

Озлобляет рабочих и то обстоятельство, что стегают одной и той же плетью — и рабочего, прогулявшего 5 дней, и рабочего, на 5 дней съездившего за 2–3 пудами картофеля для голодной семьи».

Квалифицированных рабочих нет: одни расползлись из Петрограда по всем концам России, другие находятся здесь же, но предпочитают работать не по прямой специальности, а больше в городских лавках, где полегче, почище. А главное, похлебнее.

XI

Мерами кроткого воздействия на умы, нервы, а главное — на желудки петроградских жителей, большевики инсценировали шумную встречу своим итальянским товарищам от имени рабочих.

«...В заключение от имени Петроградского Совета гостей приветствовал тов. Зорин, который отметил, что в чествовании на банкете английских гостей рабочие организации не принимали участия. Это потому, что английские рабочие явились к нам не вполне нашими друзьями, они пришли к нам ощупью. Зато теперь мы от глубокого сердца приветствуем дорогих гостей, ибо эти наши товарищи не бродят, не ищут...»

Таким образом, оказалось, что англичан чествовали по четвертому разряду. И поделом им. Только буйные, невоспитанные мальчики тычут во все пальцами и надоедают взрослым беспрестанными, нетактичными вопросами: «А это что? А это почему? А эта штучка вправду или нарочно? А вот этот дядя — он не врет?» Таких детей оставляют без сладкого и сажают в чулан.

Умные же дети кушают все, что им дают, держат ручки смирно, взрослых не перебивают и не расспрашивают, внимательно слушают назидательные речи, а по окончании банкета утирают губы салфеткой и вежливо делают дядям ножкой. А если им куда-нибудь нужно пойти, то они об этом сообщают

на ушко няням или воспитателям, а не ходят сами по чужим комнатам, где всегда могут наткнуться на бяку или на ваву.

И нам кажется, что вскоре на своих пригласительных билетах, внизу, большевики будут прибавлять абзац:

«Любопытникам не беспокоиться приездом».

P.S. Кстати: два лица из английской делегации уже посажены за чрезвычайную решетку. Чудаки! Они поехали в Совдепию с открытыми сердцами, с великодушной жаждой правды, со старомодным убеждением, что гость для хозяев – священная особа... Добрые, доверчивые, славные, милые люди!..

Тихий ужас

I

Нам рассказывали много страшных вещей о жизни в Совдепии. Все они имели тот смысл, который хорошо определяется выражением: «Жизнь часто бывает неправдоподобнее вымысла».

Сначала мы ужасались, ахали, заламывали руки и закатывали глаза. Но время и проклятая человеческая способность привыкать ко всему притупили наши нервы, угасили наше воображение.

Мимо бесконечной цепи чудовищных фактов, из которых в прежнее время самый незначительный заставил бы нас закричать от боли, страха и отвращения, мы проходим с усталым старческим равнодушием, с ленивым безразличием: «Да неужели?»

Антанта давно завязала глаза своей совести и заткнула уши своим культурно-христианским чувствам. Комфортабельная Англия – та просто-напросто, щадя свои нервы, решила: «Все эти русские беженцы и русские газеты врут. В Совдепии живется вовсе уж недурно, а принимая во внимание общую низменность славянской расы, и совсем хорошо. Спросите об этом наших газетных корреспондентов. Они всё знают».

Оттого-то у нас, русских зарубежных журналистов, пропадает и даже совсем пропало желание иллюстрировать советскую действительность живыми,

непосредственными описаниями со слов даже самых правдивых рассказчиков, самых достоверных свидетелей, самых холодных, тонких, беспристрастных наблюдателей.

Жизнь неправдоподобнее фантазии!

Удивило ли нас, когда мы узнали о потреблении в пищу человеческого мяса? Не поверить этому мы не могли: в сухом газетном отчете, набранном мелким шрифтом, так и стояло: китайцы Ц. и У. и красноармейцы Z и Y приговорены к расстрелу *за спекуляцию* (!) человеческим мясом.

Да, мы немного удивились... Но когда нам привели, в подтверждение этой гнусности, третий, четвертый и пятый случай, мы сказали, зевнув:

— Старо...

II

Да. Жизнь бывает в своих искажениях неправдоподобнее, чудовищнее вымысла.

Вот и сейчас в нашем распоряжении есть много потрясающего материала из совдепского бытия. Но стоит ли приводить его в печати? Чем доказать действительность этих кошмарных рассказов? Внутренним убеждением в их голой, кричащей правде? Чувством личного доверия к наблюдательности совести очевидца? Или тем, что реальность фактов, почти невероятных, подтверждается через сводку и терпеливую критику самых разносторонних вариантов на одну и ту же тему?

«Дайте живое, осязательное доказательство!»

Какое? Документ? — Его подлинность так легко опорочить. Фотография? — Но современная фотографическая техника творит чудеса. Имена? — Спасите, силы небесные, братьев, сестер, дряхлых родителей, жену, детей и племянников смелого разоблачителя, выступившего с открытым забралом. Невеселые минуты проведут они в уединенном разговоре с Петерсом, Дзержинским или с московским «комиссаром смерти» Ивановым.

Уже около двух месяцев нам ведомо о тех оргиях, которые происходили в чрезвычайках во время по-

следнего красного натиска на юг России. Сведения идут из трех разных мест: Воронежа, Гомеля, Киева. Они незначительно расходятся в подробностях, но взаимно дополняют друг друга и утверждают достоверность одного из самых ужасных явлений, какие только знала кровавая история человечества.

Никого, конечно, не поразил бы рассказ о том, что чрезвычайки после дневных трудов по допросу, пыткам и расстрелу предавались заслуженному отдыху в виде пьянства, картежа и распутства. Но как не остолбенеть на минуту, услышав, что на этих пирушках обходила хозяев и гостей круговая чаша, наполненная спиртом пополам со свежей, еще не сгустившейся, еще не почерневшей человеческой кровью. Она так и называлась: «кубок красных коммунистов». Иногда для этой цели служили священные сосуды, похищенные из церквей, — тогда это буквальное «кровопийство», это тягчайшее из кощунств сопровождалось непристойной и глумливой пародией на таинство евхаристии.

Чаще всего при этом возмутительном обряде, в виде припева, произносились слова: «Прежде они пили нашу кровь — теперь мы».

Кто мне скажет, что этого не было? Конечно, уместно было бы приспособить при этом дьявольском шабаше кодак, или кинематограф, или хоть граммофон. Но ведь все равно расчетливые скептики могли бы сказать: «Э! Инсценировка!» Но кто посмеет отвергнуть свидетельство истории?

Разве вожди гуннов, готов и скифов, справляя победные торжества, не пили кровь своих врагов из черепов, оправленных медью, серебром и золотом?

Разве в ближайшую к нам эпоху, во время Великой французской революции — точнее, в день взятия Бастилии, — опьяневшие (не телом, но душою) фанатики не вырывали трепещущих, мокрых сердец из грудей аристократов и не пожирали их в безобразной свалке?

И кто отважится пойти против точных утверждений науки?

Разве не признаны и не установлены ею причудливые явления атавизма, хотя причина их и окруже-

на тайной? Разве мы не читали клинические записки Крафта-Эбинга «Psychopathia s'exualis»[1], показывающие с жестокой, формальной правдой пределы падения человеческой души? И разве мы осмелимся хоть на минуту усомниться в том, что красные комиссары, коммунисты и чрезвычайки охвачены повальным, эпидемическим безумием?

Можно ли после этого сомневаться и в реальности «кубка коммунистов»?

Тому, кто нам лицемерно скажет: «Этого не могло быть», мы твердо ответим:

Этого не могло не быть.

Это можно, это нужно было предвидеть еще в 1917 году, когда впервые обозначился, пока еще в неясных очертаниях, образ грядущего русского бунта — бессмысленного и беспощадного, когда впервые раздался из мохнатых звериных пастей вопль: «Попили нашей кровушки!» Еще тогда, исходя из законов массовой психики, надо было с уверенностью сказать:

— Без сомнения, мы накануне всамделишного, ритуального кровопийства...

Да наконец: разве две строчки, всего лишь семь слов евангельского текста не породили омерзительную скопческую секту?

III

Последние беженцы из Москвы и Петрограда передают о новом кошмарном роде промышленности, распространяющемся в больших центрах Совдепии и вызванном, без сомнения, совокупностью таких мощных причин, как голод, болезни, всеобщая спекуляция и страх перед службой в рядах красной армии.

В Петрограде, на Невском, открыто продаются коробочки с несекомыми, взятыми с тифозных больных. Тиф в настоящее время, если можно так выразиться, выветрился, формы заболевания стали более легкими, процент смертности значительно понизился (до двенадцати процентов), а между тем красноармейцам, по выздоровлении, полагается пятимесячный отпуск. А так как из популярных объяснений

[1] «Половая психопатия» *(лат.)*.

Троцкого и Ленина серо-красная масса отлично усвоила, каким исключительным путем передается тиф от одного человека к другому, то и не надо искать дальнейших объяснений…

О Петрограде нам рассказывала только что ушедшая оттуда сестра милосердия, с которой в лазарете общины были откровенны выздоравливающие солдаты. По ее словам, коробка с рассадником стоила триста-четыреста рублей думскими.

Вчера мы беседовали с видным московским адвокатом-криминалистом, выступавшим до последних дней в качестве правозаступника по обвинениям лубянской Чрезвычайки. О торговле насекомыми ему рассказал в Москве на Николаевской дороге один из железнодорожных служащих. Адвокат выразил сомнение. Тогда железнодорожник, улучив нужную минуту, повел его на платформу, и там адвокат сам, лично, смог присутствовать при торге. Была куплена красноармейцем в форме пара насекомых по тысяче рублей за штуку. Прежде заключения сделки покупатель потребовал доказательства в том, что приобретенная им движимость — действительно живая.

В Вятке и Вологде коробочки стоят всего лишь двадцать пять рублей…

* * *

Всей этой мерзости так же нельзя не верить, как и показаниям о людоедстве и оргиастическом питии крови.

И прежде была жестока и сурова русская солдатская служба. И прежде преследовались законом членовредители, которые, во избежание военной муштры, отстреливали и отрубали себе пальцы, вырывали десятки зубов, прокалывали барабанные перепонки и т. п. Советские декреты о наборе не знают ни исключений, ни снисхождений, ни послаблений. *«Всякий, кто способен стоять на ногах, идет в красную армию»*. И точка.

Советские солдаты о процентах смертности, конечно, ничего не знают. Знают только о надежде получить отпуск. И наперебой опускают руки в лотерейную урну, где вероятность вынуть билет смерти почти

так же велика, как при расстреле через десятого. Так огромен в них ужас перед хваленой красноармейской дисциплиной и перед властью коммунистических ячеек.

И когда, наряду с этой позорной торговлей, читаешь в советских газетах статьи, телеграммы и резолюции, в которых доблестные советские войска пламенно рвутся в бой, то невольно думаешь: в преисподней на раскаленных плитах катается дьявол и давится от хохота.

IV

Вот я перечислил такие кошмары советской действительности, перед которыми бледнеют сумасшедший дом, каторга, тифозный бред и сама преисподняя. Но – увы – я бил по привычному, давно не чувствительному месту, по равнодушию и предвзятым мнениям.

Раньше была циническая поговорка: «Каждый народ достоин своего правительства».

Теперь если не говорят, то думают иначе: «Русский народ достоин своей революции».

Но у меня в запасе остался последний ужас: тихий, медленный, облеченный в форму заботливого государственного распоряжения. Несмотря на свою внешнюю невинность, он стократно страшнее всяких пыток и расстрелов. Это декрет о замене для всего населения паспортов единообразными «трудовыми книжками». Вот как комментирует это нововведение советская пресса:

«...Мы должны заставить трудиться тех, кому не приходилось трудиться ранее, и тех, кто теперь отлынивает от труда, когда его нужно удесятерить, чтобы победить разруху.

Кроме того, мы должны строго распределить наши трудовые силы, чтобы проделать нашу работу возможно быстрее и организованнее. А для этого нам необходим строгий учет и *неослабное пролетарское наблюдение*, чтобы честно трудиться научились все. Для этого мы и даем *каждому гражданину книжку, где наши предприятия и учреждения будут вписывать, каким про-*

изводительным, полезным для общества трудом занят гражданин, что он делает, чтобы считаться достойным членом государства, а не трутнем.

Рабоче-крестьянское правительство интересует только одно: трудится гражданин или лодырничает. И на этот вопрос дает всесторонний ответ эта трудовая книжка. Она поможет нам вплотную подойти к осуществлению величайшей нашей задачи: приучить всех к труду.

Когда труд станет свободным, естественным, трудовая книжка умрет, сделав свое славное дело, но до тех пор она поможет нам осуществить наш великий лозунг:

Кто не трудится — тот не ест...»

* * *

Не нужно обладать ни особенно пылким воображением, ни исключительным даром пророчества, чтобы представить себе, сколько тягчайшего, непоправимого зла несет с собою эта обезличивающая всякую индивидуальность «трудовая книжка».

Все мы, со времен нашей золотой юности, помним проклятую пяти- и двенадцатибалльную систему отметок за учение, прилежание и поведение, вместе с наградами, похвальными листами, наказаниями, штрафным журналом, волчьим паспортом и исключением по третьему пункту без объяснения причин.

Помним, как калечились наши души, когда из цветов земли мы обращались в первых и последних учеников, тихонь, зубрил, выскочек, подлиз, фискалов, любимчиков и... даже в наивных провокаторов...

Помним, каким божеским наказанием, какой египетской работой была для нас наука и сколько хитростей, уловок, — скажем прямо — даже подлостей должен был изобретать свежий детский ум для получения спасительной тройки.

Помним мы и учителей: неумных, грязных, озлобленных неудачников, придирчивых, грубых, деспотичных... Я знаю многих людей светлого ума, большого опыта и испытанной храбрости, которые чистосердечно признаются, что и до сих пор, увидав во

сне школьные экзамены, они просыпаются в холодном поту.

Система «трудовой книжки» бесконечно страшнее и гибельнее. Вся нелепая педагогическая тирания дореволюционной школы должна охватить десятки миллионов населения. На какую низость и гадость не способен человек, падающий от голода? Какой неслыханный простор для злоупотребления предоставляется пролетариям-наблюдателям, облеченным сверхчеловеческой властью над слезою и животом любого рядового гражданина! Какое безбрежное поле открывается для взаимного шпионажа, для доносов и интриг. Какое произойдет неслыханное нагромождение рабства, злости, мести, предательства, продажности чести, ума, слова и, конечно, тела!

Идет шигалевщина! Исполняются грозные слова Достоевского, сказанные им в «порыве великого гнева»:

Господи! Неужели и эта последняя кара не минует нашу грешную родину?

Два воззвания

Они появились почти одновременно в Петербурге и Севастополе. Приводим то и другое полностью.

I

ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ БЫВШИМ ОФИЦЕРАМ, ГДЕ БЫ ОНИ НИ НАХОДИЛИСЬ

Свободный русский народ освободил все бывшие ему подвластные народы и дал возможность каждому самоопределиться и устроить свою жизнь по собственному произволению. Тем более имеет право сам русский и украинский народ устраивать свою участь и свою жизнь так, как ему нравится, и мы все обязаны, по долгу совести, работать на пользу, свободу и славу своей родной матери-России.

В особенности это необходимо в данное грозное время, когда братский и дорогой нам польский народ, сам изведавший тяжелое иноземное иго, теперь вдруг захотел отторгнуть от нас земли с искони рус-

ским населением и вновь подчинить их польским угнетателям. Под каким бы флагом и с какими бы обещаниями поляки ни шли на нас и на Украину, нам необходимо твердо помнить, что какой бы ими ни был объявлен официальный предлог этой войны, настоящая главная цель их наступления состоит исключительно в выполнении польского захватнического поглощения Литвы, Белоруссии и отторжения части Украины и Новороссии с портом на Черном море (от моря до моря).

В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанес, и добровольно идти с полным самоутверждением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правительство советской рабоче-крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку-Россию.

Председатель Особого совещания при Главнокомандующем

А. А. Брусилов.

Члены совещания: *А. А. Поливанов, А. М. Зайончковский, В. Н. Клембовский, Д. П. Парский, П. С. Балуев, А. Е. Гутор, М. В. Акимов.*

II
ВОЗЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ К ОФИЦЕРАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Офицеры красной армии!

Я, генерал Врангель, стал во главе остатков русской армии — не красной, а русской, еще недавно мо-

гучей и страшной врагам, — в рядах которой когда-то служили многие из вас.

Русское офицерство искони верой и правдой служило родине и беззаветно умирало за ее счастье. Оно жило одной дружной семьей.

Три года тому назад, забыв долг, русская армия открыла фронт врагу, и обезумевший народ стал жечь и грабить родную землю.

Ныне разоренная, опозоренная и окровавленная братскою кровью лежит перед нами мать-Россия...

Три ужасных года оставшиеся верными старым заветам офицеры шли тяжелым крестным путем, спасая честь и счастье родины, оскверненной собственными сынами. Этих сынов — темных и безответных — вели вы, бывшие офицеры непобедимой русской армии...

Что привело вас на этот позорный путь? Что заставило вас поднять руку на старых соратников и однополчан?

Я говорил со многими из вас, добровольно оставившими ряды красной армии. Все они заявляли, что смертельный ужас, голод и страх за близких толкнули их на службу красной нечести. Мало сильных людей, способных на величие духа и самоотречение...

Многие говорили мне, что в глубине души сознали ужас своего падения, но тот же страх перед наказанием удерживал их от возвращения к нам.

Я хочу верить, что среди вас, красные офицеры, есть еще честные люди, что любовь к родине еще не угасла в ваших сердцах...

Я зову вас идти к нам, чтобы вы смыли с себя пятно позора, чтобы вы встали вновь в ряды русской, настоящей армии.

Я — генерал Врангель, ныне ставший во главе ее, как старый офицер, отдавший родине лучшие годы жизни, обещаю вам забвение прошлого и представляю возможность искупить ваш грех.

Генерал Врангель.

* * *

Сличая эти два документа, мы видим во врангельском воззвании прямую, ясную и честную мысль, не затуманенную никакими задними соображениями и побочными расчетами. Этого нельзя сказать про воззвание бывших царских генералов, новообращенных пособников и соратников большевизма. Даже для людей, склонных к соглашательству, для усталых, зыбких душ оно заключает между своими строками множество тревожных недоумений, беспокойных вопросов и невольного недоверия.

Во-первых, оно подписано, в первую руку, А. А. Брусиловым, председателем совещания при главнокомандующем. А где же подпись главнокомандующего?

Врангель открыто говорит о забвении прошлого. Петербургское воззвание не упоминает об этом ни одним словом, как и не упоминает о проклятой системе заложничества.

Врангель говорит от себя как от главы правительства и армии. Его незапятнанная честь, его несомненная любовь к родине, наконец, вся полнота его власти порукой за его слова. А могут ли поручиться все восемь совдеповских генералов за то, в каком настроении духа проснутся завтра Зиновьев и Троцкий, давно осмеявшие и оплевавшие дурацкие понятия: честность, верность слову, сострадание, совесть, долг.

И есть ли вообще вера им всем, если условно отвести в сторону Брусилова и Поливанова? Возбуждает ли доверие Парский, спасший ценою Риги свою жизнь и угодничеством перед советской властью свою должность? Не Клембовский ли, дважды менявший религию в интересах карьеры, ловя которую за хвост, он до войны получил кличку «мыловара», а во время войны — «кондитера», в период же тяжелых духонинских дней обнаруживший такую гибкость в сношениях с Крыленко? Не Гутор ли с Зайончковским, которые в доброе старое время были такими ярыми, такими крикливыми монархистами, что за них краснели от стыда самые правые зубры? Наконец, не Акимов ли — величина совершенно неизвестная?

И надо еще прибавить, что воззвание их носит очень полосатый характер, который легко объяснить тем, что ведь не могли же большевики позволить своим верным генералам совещаться и составлять воззвание самостоятельно, без участия бдительного ока, внимательного уха и твердой закулисной руки, дергающей за веревочки. И оттого-то на белом фоне *«любви и преданности к дорогой родине, нашей матушке-России»* ярко горят красные лоскутья интернационала, вшитые грубыми портными.

Тут и самоопределение народностей, и дорогой нам польский народ, и обвинение всех не красных офицеров в эгоистических чувствах классовой борьбы.

Но кто же как не большевики выдвинули борьбу классов в виде первого условия социальной революции?

А выражение «использовать свои боевые знания» — это уже целиком из Маркс-Троцкого катехизиса, извините за сближение.

И наконец, какая тут, к черту, родина, если самое это слово из советского обихода исключено как крайне похабное и всего лишь на днях газета «Правда» всячески заушала несчастного профессора Брауна, осмелившегося в предисловии к какой-то книжке упомянуть о любви к родине как о могучем рычаге.

Что и говорить: победа в руках Бога. Но победу над поляками большевики все-таки сумеют приписать не патриотическому подъему, а гордой и несокрушимой власти пролетариата.

Заветы и завоевания

Пусть мне кто-нибудь по совести, положив одну руку на сердце, а другую подняв к небу, ответит на следующий вопрос.

Дивизия идет приступом на укрепленный город. Но вместо того, чтобы удержать хотя бы передовые форты, она, отброшенная назад, теряет даже свое первоначальное положение. Как считать: будет эта операция завоеванием или нет?

Разовьем вопрос подробнее.

Во время атаки левый фланг отряда поднимает восстание, откалывается от своей части. Ему удается захватить самые жизненные пункты города-крепости. Хотя весь город был, по молчаливому соглашению, на стороне наступающих, тем не менее бунтари, с помощью базарной, тюремной и портовой сволочи, устраивают беспощадный разгром населения с грабежом, насилием, убийствами и пожарами. Своих бывших товарищей они яростно вышвыривают из пределов страны, предавая тюрьме и смерти не только тех, кто попадается им в руки, но и тех мирных жителей, на которых падает подозрение в сочувствии или сожалении к побежденным.

Так как же? Был город завоеван или нет?

Ясно – нет.

А вот иные парижские умники все-таки говорят, что был. Да они даже почти и не скрывают затаенную злую мысль: «Все-таки город был взят, хотя и "бунтарями", но *нашими*». Они точно не хотят видеть того, что их бескровная великая революция была самой кровавой и грозной от сотворения мира; что она на тысячи лет отбила у страны вкус ко всяким революциям; что – наконец – и была ли она революцией, а не бездарным пронунциаменто, устроенным пьяными обманутыми дезертирами во главе с предателями, хищниками и неумными, безрасчетными игроками, поставившими ва-банк то, чем распоряжаться они не имели права, и позорно проигравшими ставку.

«Мы дали землю крестьянину».

Дьявол катается от хохота по плитам преисподней, когда слышит эту напыщенную ложь...

Столь же напыщенную, как и фраза о заветах революции – громкая и пустая. Невозможно понять: почему именно этой революции – этому злобному и уродливому выкидышу – приписывают те заветы, которые были трепещущими знаменами, путеводными звездами во всех шедших снизу революциях мира, начиная, вероятно, с вавилонских, если не раньше?

Заветы!

Заветы были у декабристов. Эти большие, благородные (по духу), сильные люди поставили краеугольным камнем в своей программе не только освобожде-

ние крестьян, но и отказ в их пользу от собственных земельных владений. Можно ли сомневаться в том, что, при успехе своего дела, они с самого начала перешли бы от слова к делу? А кто из наших депутатов либерального декабристского крыла отдал свою землю крестьянам?

Заветы были у французов. Пусть были и кровь, и грязь: большие операции не обходятся без гноя и крови. Но там во всех умах кипела и во всех жилах билась огромная любовь к родине. Там люди величественно шли на смерть, платя головой за святую мысль. Там рождались пламенные слова и прекрасные жесты, ибо амфитеатром той сцены, на которой они выступали, была Родина. Там не истерическими выкриками, а глубоким чудесным символом были слова: «Мы собрались здесь по воле народа».

Все мы помним разгон Учредительного Собрания. Тогда никто не посмел произнести бессмертной фразы Мирабо. И не потому, что это показалось бы плагиатом, а просто потому, что ни у кого (по выражению одного французского актера) «не было этой фразы в ногах», то есть она не чувствовалась ни в душе, ни на языке.

Ах, если бы она была сказана! Можно ли теперь угадать ее возможные последствия? Имена Шингарева и Кокошкина, если бы они славно пали в этот роковой день, были бы для нас не менее дороги и чтимы, чем ныне. Но зато многие имена, осужденные теперь на позор или на забвение, просияли бы в бессмертной красоте, окруженные поклонением. Но зато память об этом Учредительном Собрании осталась бы навсегда истым гордым боевым кличем. Но зато весь мир с первых дней знал бы, что большевики есть то, что они есть — негодяи, а народные избранники — герои, и кто скажет, как отразилась бы эта мысль на дальнейшей судьбе России? А ведь после нашего разгона Европа свистнула меланхолически:

— Фью-ю!.. Вот так патриоты!

Возразят:

— Не всем же быть героями. Героями не делаются. Они родятся.

Нет, в те дни народному представителю надо было или быть истинным героем, или не выскакивать, подобно ярмарочному зазывателю, перед выборщиками, выкрикивая великие слова. Если не нашлось великих героев, то и революция ничего не стоила, ибо по событию герой.

Возразят еще:

– Они отступили по тактическим соображениям, перенеся войну с большевиками из тесного Таврического дворца в иную, более широкую, европейскую плоскость.

Если офицеры первыми повернули спину и, расстраивая солдатские ряды, побежали в паническом ужасе искать спасение в укромных местечках, то сколько бы они ни твердили потом о глубоких тактических причинах отступления – кто им поверит? А борьбу мы видели. Благодарим вас. Будет. Довольно. Напрасно беспокоитесь.

Когда человек высоких мыслей, благородной жизни и прочных добрых дел помнит заветы – это хорошо, нужно и полезно.

Но если лгун, трусишка, недоучка, мот, игрок, мелкий честолюбец, истерический дергун завещает современникам и потомству хранить великие идейные ценности, то выходят одни жалкие и пустые слова.

Лучше бы ему на смертном одре сказать умиленно, кротко и просто:

– Видели меня во всю мою полутораవершковую величину? Так вот: завещаю вам не быть похожими на меня.

Генерал П. Н. Врангель

Имя генерала Врангеля было на устах у всей южной Добровольческой армии со времен его блестящих операций на Кавказе. Его замечательный поход на Царицын, когда он сказал в приказе: «Не могу обороняться, перехожу в наступление», и в несколько дней сокрушил большевистский плацдарм, сделал его настоящим героем в глазах офицеров и солдат.

Широта его политических и стратегических взглядов, бесспорно, доказывается тем, что во время побе-

доносного и беспрепятственного наступления армии Деникина на север, он один настаивал на том, чтобы вместо увлечения скорыми, дешевыми, бесплодными и потому гибельными лаврами была немедленно подана деятельная помощь войскам Колчака, отступившим от Пензы. Он, по своему командному почину, перебросил с этой целью на левый берег Волги две кавалерийские дивизии, он молил и требовал у штаба Деникина о поддержке этого флангового наступления, но... безрезультатно: ему было предписано присоединиться к общему наступлению.

Вероятно, когда-нибудь увидит свет его откровенное, смелое и полное горечи частное письмо к Деникину. В этом письме, отдавая должное уважение горячим патриотическим чувствам и военным доблестям Деникина, Врангель с мужественным негодованием говорит о тех генералах, которые безрассудное стремление услыхать как можно скорее малиновый перезвон московских колоколов поставили выше совокупных целей всех белых армий, а свои частные помещичьи интересы и расчеты карьеры предпочли великой задаче победы над большевизмом.

Армия отступила и заперлась на Крымском полуострове. Общий голос уже называл Врангеля главнокомандующим. Ожидался военный переворот. Но Врангель уехал в Константинополь. Вот несколько слов по этому поводу из частного письма Врангеля к одному весьма ему близкому лицу: «С одной стороны, я не хотел, чтобы кто-нибудь смел смотреть на меня как на возможного узурпатора власти, с другой стороны, я не желал быть предлогом раздоров в армии. Я уехал в Константинополь, осудив себя на бездействие. Но я знаю моих орлов и поэтому знаю и твердо уверен, что великое русское дело освобождения родины далеко не потеряно...»

Согласитесь, что в этих *подлинных* и вовсе не рассчитанных на опубликование словах сквозит настоящее великодушие. Признаем и то, что со стороны Деникина было великодушием формально передать власть Врангелю.

Есть скромность, которая говорит о внутренней силе гораздо убедительнее всяких дерзких фраз.

Врангель пишет дальше: «Если судьбе не угодно будет предназначить меня для спасения России, то найдется другой, третий, десятый человек, а Россия все-таки будет спасена, будет сильна и здорова...»

Едва только пронеслись первые вести о вступлении Врангеля в главное командование, как неведомо откуда, из темных источников злобы и клеветы, появилась сначала в германских, а потом и в некоторых двоедушных русских газетах следующая, наспех сформулированная врангелевская ориентация: «Вся власть — царю, вся земля — крестьянам, союз с Германией».

Последний пункт явно придуман в расчете сыграть на иностранной фамилии полководца. Но Врангели, дравшиеся в рядах русской армии чуть ли не со времен Петра Великого, давно уже те распрорусские (пушкинское словцо), какими были Даль, Гааз и Фонвизин.

Что касается до царя, то надо сказать, что Врангель никогда не был ни идолопоклонником, ни ловцом выгод около трона, то есть одним из тех людей, которые так позорно, так низко, гнусно и так дружно оставили в минуту опасности своего «обожаемого монарха», подателя придворных благ.

Вот характерный случай — для показания того, как понимал Врангель свое достоинство.

Врангель командовал в то время лейб-гвардии Конным полком, когда к его ближайшему старшему родственнику прискакал в страшном переполохе известный генерал Дубенский, автор «Путешествий государя» и разных лубочных патриотических изданий...

— Ради Бога, повлияйте вы на вашего Врангеля... Так разговаривать с государем, как он... Это нечто неслыханное, невероятное...

— В чем же дело?

— Император обращается к нему: «Барон, мне, кстати, надо поговорить с вами. Не возьмете ли вы к себе в полк офицера NN?» А он отвечает: «Ваше величество, на это, как вы изволите знать, требуется согласие всего офицерского состава полка. Я не могу ручаться за решение офицеров; NN у них на дурном счету; однажды

он даже зарекомендовал себя перед лицом всего полка заведомым трусом... впрочем, если ваше величество изволит приказать...» — «Нет, если прошу», — говорит государь. «В таком случае, ваше величество, я употреблю все мои усилия, чтобы упросить вас, в интересах службы вашего величества, не настаивать на вашем желании». — «Но если я прикажу?» — «Воля вашего величества для всех нас закон. Но прежде я попрошу у вас, государь, разрешить выйти мне в отставку...»

Нет, таким языком идолопоклонники и ловцы за хвост карьеры с царями не говорят. Таким языком говорил Яков Долгорукий с Петром или Тома Робер Бюжо маркиз де ла Пиконнери с Луи Филиппом Орлеанским... Я уверен, что до отречения Николая II Врангель, как честный солдат, отдал бы последнюю каплю крови за Родину и Царя. Царя больше нет. Его мученическая смерть смыла все зло, вольно и невольно принесенное его династией России. Но ни царя, ни идеи царя больше нет. Осталась родина... И ей одной решать свою судьбу.

Об этом и говорит Врангель в своих воззваниях.

Чтобы кончить эти беглые строки, я должен упомянуть еще об одной замечательной черте ума и характера Врангеля. Обладая исключительной личной храбростью, он чрезвычайно осторожен и дальновиден в своих предприятиях. То же самое лицо, из письма к которому я приводил несколько слов, говорило мне: «Если он решился принять власть — значит, у него есть прочные основания для уверенности в поднимаемом на плечи огромном деле. Он никогда не просчитывался...»

Русские коммунисты

I

Невольно задаешь себе вопрос: что же на самом деле представляют из себя эти 600 000 коммунистов, которыми ежедневно и так громко хвалится перед всем миром советская печать?

Смело уменьшим это число наполовину (мы хорошо знаем достоверность большевистских цифр).

Примем во внимание как исключительные условия русской общественной жизни, так и замечательные особенности психики русского человека.

Не забудем, что русский коммунизм идет не от любви, а от злобы, что русский коммунист, по заданию, предполагается существом, не только всегда готовым к убийству, но постоянно подстрекаемым и подстрекающим к нему, — человек, у которого и сознание, и навыки характера, и темные инстинкты должны говорить: разрушение — единственная форма власти, смерть и голод — единственные средства управлять, кровь — цемент, связывающий товарищество. При всех этих данных состав русской коммунистической партии выразится в следующих (весьма широких и приблизительных) пропорциях.

1) Пресловутая «тысяча». О ней большевики говорили еще до октябрьского переворота... Что, может быть, было и не преувеличено. Тысяча людей, у которых партийная жизнь и, в особенности, эмиграция в Женеву вытравила всякие реальные представления о таких пустых вещах, как родина, семья, ученье (не говоря о религии) Христа, любовь, сострадание, личное достоинство и т. д., — такая тысяча, конечно, могла набраться. Они могли быть по-своему и честными, доведя в слепом усердии теорию до глухой стены, до абсурда, до отказа. Теория же и выжгла из их душ все милое, доброе, широкое, *человеческое*, на чем зиждется прямая восходящая человечества, колеблемая историческими поправками. Теория высушила их.

Поглядите на лексикон Ленина, самого талантливого. В этом лексиконе всего шестьдесят пять слов. Каждое слово как будто бы правда, но каждое слово надевает на человечество очки и подсовывает ему костыли: ни в том, ни в этом оно не нуждается, как — говоря откровенно — ни в граммофоне, ни в телефоне, ни в автомобиле, ни в поезде-экспрессе.

Женевского соблазна, злостного человеконенавистничества и — параллельно — человекоустроения избежала лишь малая кучка твердых людей, которые, как это ни смешно и ни странно, стояли не только за продолжение начатой войны, но и оказывали по-

мощь ее жертвам; отвернулись с негодованием от принципа «Все средства возможны ради проектируемого памятника III интерналионалу, в полтора раза выше Эйфелевой башни»; осмелились сказать поистине похабные слова – родина, друг и я. Говорят, что большевики ставят памятник Плеханову, будто бы их временному спутнику. Совсем ненужно. Плеханов, этот крепкий, живучий, татарской крови человек, был ими додушен. Но его прямой и честный путь был не их путем.

Однако основную тысячу мы увеличим втрое. Ведь, несомненно, к ним должно было при успехе пристать много инакомыслящих. Да мне и легче вывести итог только в один процент.

Целых десять процентов я отношу за счет русских искателей веры, Бога и правильной жизни. Несомненно, то, о чем я сейчас говорю, не богоискательство и не боготворчество, о которых так праздно некогда рассуждали иные праздные россияне. Я говорю о нелепых русских сектах: о тюкальщиках, морельщиках (ритуальное религиозное убийство в определенные дни), самосжигателях, хлыстах, скопцах, дыромолях (секта, вся вера которой заключалась в том, что, сделав дыру в темном сарае и глядя на луч, люди шептали: «Господи, помилуй нас»), штундистах, жидовствующих (субботники), бегунах, нетовцах (?) и т. д. В них, в этих сектантах по душе и натуре, вылился бессознательный протест против ужасных условий прежней России. Но они, но эта жажда поправки к принуждаемой жизни не могли вымереть. Эти люди, конечно, вешают портрет лысого Ленина, вырезанный из газеты, в красный угол рядом с Николой Угодником, и Иоанном Кронштадтским, и Чарли Чаплином. И мысленно произносят с большой буквы слово Большевик (он большой, он устроит).

Если еще прибавить сюда истерических людей, суеверов, эпилептиков, бродяг по натуре, восторженных, мечтательных русских идиотов, то вот вам и все десять процентов тех коммунистов, которых при помощи пяти пошлых актерских слов и порядочной дозы кокаина можно с уверенностью бросить в любую лобовую атаку. И мрут с благодарностью.

Умирали же в средние века на кострах сознательные ведьмы, призывая с восторгом имя Господина Дьявола, их холодного любовника, в то время когда от них уже пахло жареным мясом.

II

Заранее приравняв русскую кустарную революцию к великой французской, наши «друзья народа» во что бы то ни стало должны были инсценировать взятие Бастилии. Были открыты ворота и запоры Петропавловской крепости, Крестов и заведения на Шпалерной, откуда вышли на свободу все политические узники, а кстати, и *все* германские шпионы и агенты. Были сожжены все участки и все учреждения охранки с их *драгоценными* документами. А кстати же, широко разверзлись двери Литовского пересыльного замка и всех тюрем, откуда валом повалила на улицу веселая толпа подсудимых, подследственных и отбывавших наказание арестантов — этой дичи для каторжных вшей.

Если Петербург позволил себе роскошь разрушения десятка Бастилий, то — извините — чем же хуже Москва, Тамбов, Рязань, Чухлома и Сольвычегодск? В скромном счете, одних уголовных преступников, то есть воров, убийц, фальшивомонетчиков и насильников, влилось в мирное население около четырехсот тысяч...*

Я далеко не предвзятого, огульного мнения о всех русских преступниках, и в моем понимании их мне приятно опереться на свидетельства таких близких очевидцев и точных наблюдателей, как Достоевский, Мельшин, Короленко, даже строгий Чехов, даже легкокрылый Дорошевич.

Понимание же мое такое: в *русскую* тюрьму и в *русскую* каторгу, наряду с явными, закоренелыми, прирожденными, безвозвратными преступниками, попадали, к сожалению, и те диковинные русские люди, у которых наибольшая воля и жажда к жизни совмещена с наименьшими способностями приноравливаться

* Прошу заметить: если я привожу цифру приблизительную, то кривлю в сторону уменьшения.

к условиям мелкой, скучной, рабской, темной русской жизни. Эти преступники по буйности и широте темперамента, невыявившиеся искатели приключений — бывшие ушкуйники, Ермаки, «землепроходы», открыватели северных материков — инстинктивные индивидуалисты, страшные искатели свободы личности... Где они? Куда они рассосались? Немудрено, что большинство из них сложило свои непоклонные головушки и в коммунистических ударных батальонах, и в первых рядах у Деникина, Колчака и Юденича. Странные, горячие, непонятные, порою святые русские люди!

Но это — слишком малая частица. Большинство же освобожденных арестантов ринулось — говоря словами нашего классика Горького — «в самую гущу революции». Тотчас же половина из них обезумела от мгновенной власти, упилась до смерти у разбитых винных погребов и спиртовых цистерн, «засыпалась» в дерзких кражах и налетах или, позднее, нашла свой скорбный конец у изрешеченной стенки на рассвете дождливого дня.

Погибла «шпанка». Но прочие, но наиболее хваткие, цепкие и хитрые, все эти острожные майданщики, Иваны не помнящие родства, каторжные жиганы, зимние добровольные квартиранты тюрем и старые их жильцы, за каждым из которых числилось по десяти побегов из Сибири и по двадцати душ, — они уцелели. Остались в живых и осторожные, гибкие, чуткие профессиональные воры. Вначале все они были горько разочарованы, когда лихой молодецкий клич «грабь награбленное» вдруг стал своего рода «табу», исключительным лозунгом правительства, а «крик мести народной» предоставлялось испускать в рядах красной армии, куда гуртом погнали новоиспеченных «граждан» и «товарищей».

Но, разочаровавшись, вскоре утешились и приспособились. Все они слишком любили удовольствия жизни, чтобы обезличиться в серой массе пушечного мяса, были достаточно умны, пронырливы и закалены житейским опытом, чтобы не суметь пролезть вверх и удержаться там, благодаря давно выработанным приемам обмана и притворства. Играли же не

раз, и чудесно, беглые каторжники роли флигель-адъютантов и сенаторов-ревизоров, водя за нос провинциальное общество и администрацию. Хлестаковщина и самозванщина всегда в русском духе. Что же касается большевистской шпаргалки... то ведь она так нагло проста и груба, так легко усвояема, — ибо льстит самым низменным инстинктам, — так удобоворачиваема и в то же время дает такой широчайший простор для личного толкования, что с ней ли не сладить отчаянным русским людям, из которых каждый — прирожденный имитатор?

Бить себя кулаком в грудь на митинге, перекрикивать всех крикунов, быть всегда левее самого левого дилетанта в вопросах кровопролития — вот их путь к «чрезвычайной» власти, к ордену Красной Звезды, к содержанке из балета, к огромной карточной игре, к хорошим винам, сладким закускам и мягким перинам.

Однажды Троцкий и дважды Ленин обмолвились словечком: «К нам присосалось много всякой сволочи».

Но как горько и как смешно думать о том, что именно эта сволочь, в самом ее типическом отборе, правит теперь и Лениным, и Троцким, и Красиным, и Чичериным, а через них и судьбами мира...

Ведь уже давно ни для кого не секрет, что центр власти над Россией находится сейчас в руках Чрезвычайки и ее надежного корпуса, заменившего бывший — жандармский. Так оно и должно было быть... Играя на всем, что есть дурного в толпе, не удивляйся, что однажды ты невольно поплывешь по волне грязи и крови... И напрасно будешь ты говорить, что управляешь волею народа. Ты подобен ребенку, который ерзает на вагонной скамейке и уверяет, что это он заставляет поезд бежать. И вот, любителям никогда не переиграть профессиональных актеров. В этом ваша близкая гибель.

P.S. Из моих освобожденных каторжников я оставляю в живых лишь пятую часть. Вместе с прежними, перечисленными мною коммунистами это составляет — говоря скромно — тридцать процентов.

III

Красные латыши и красные финны, служащие под знаменами и в учреждениях Советской республики, все без исключения — коммунисты. Китайское военное командование — также. Есть «сознательные», «убежденные» коммунисты из башкир, киргизов и черемисов, вчера лишь мазавших бараньим салом и кровью жеребенка лики своих деревянных и каменных идолов; но о них, об этих бутафорских фигурах, созданных для трагикомической рекламы, стоит ли говорить?

Я не понимаю китайцев, а потому не обвиняю их и не оправдываю. Что-то древне-сонное и младенчески-наивное, какая-то страшная сила наряду с разложением и доброта с жестокостью, что-то непостижимое для нас, как китайская музыка, живет в загадочной душе этого народа.

Вот что рассказывают очевидцы-европейцы, участники китайской войны. На площади выстроен длинный ряд китайцев-преступников, обреченных смертной казни. Все они на коленях со связанными назад руками. Очередная жертва. Помощник палача становится у головы казнимого и за косу, на себя, вытягивает его шею. Следующий смертник, со спокойным любопытством, повернув лицо, наблюдает (он и сам нередко в качестве стороннего зрителя и знатока присутствовал раньше при этом зрелище). Палач взмахнул мечом. Обезглавленное туловище ткнулось в землю, поливая ее струями крови. Помощник, держа отрубленную голову за косу, стремительно пятится назад. «Хао!» («Хорошо!») — одобрительно говорит коленопреклоненный зритель и сам быстрым наклонением шеи перебрасывает через лоб свою косу... Как мне понять китайца, в общем чрезвычайно чадолюбивого отца, который равнодушно кидает на съедение свиньям лишнюю, по его бюджету, новорожденную дочку?

Для него так же просто и невинно убить человека, как и муху. От этого он ничуть не теряет своей благодушной улыбки...

Но еще меньше я понимаю красных латышей и красных финнов, людей как будто бы с европейским

строем души, издавна христиан. Чем могу я объяснить их холодную, дьявольскую изобретательность в пытках; их смертельные издевательства над истомленными, обмороченными людьми, чужими для них и неведомыми... Что думал и чувствовал тот финн, который вспорол живот у священника, прибил его кишки гвоздями к дереву и заставил его ударами резиновой палки бегать вокруг, наматывая на ствол собственные внутренности? Что думал и чувствовал тот красный латыш из московской Чрезвычайки, который испражнялся на пол и заставлял белых офицеров есть экскременты. Этого я не понимаю и не хочу ни понимать, ни догадываться...

Я только знаю, что мы со временем и это простим...

Да. Вот вам и еще верных двадцать процентов состава русских коммунистов.

Упомянем еще целый цикл изломанных душевно людей. Одни из них родились нравственными уродами, других исковеркала жизнь. Лентяи, тупицы, привычные прихлебатели, профессиональные просители на бедность, обозленные неудачники, добровольные шуты, которым раньше за деньги и для потехи мазали горчицей лицо, те тайные мысленные убийцы и воры, которым лишь трусость мешала перешагнуть через грани... Чрезмерно была богата Россия этими ненужными, бездельными людьми... Легкость службы, идиотская простота коммунистической шпаргалки, деньги, вино, женщины, власть!

Причислим сюда еще всю галерею несчастных, больных людей из «Psichopathia s'exualis» Крафта-Эбинга. Какой широкий простор и какую безнаказанность открыли их порочным наклонностям чрезвычайки, заградительные отряды, карательные экспедиции.

Я почти кончил. Мне остается отнести любой процент коммунистов на счет добавочного и усиленного пайка. Их — сколько угодно, их больше, чем нужно для моей своеобразной статистики; их можно считать и сто, и двести процентов сверх моего итога.

В цирке очень редко прибегают при дрессировке животных к побоям. Тонкая выучка вся ведется на то-

щий желудок, и награда в виде кормежки — лишь после того, когда урок закончен гладко. Оттого-то — помните ли? — во время представления все эти милые зверята так суетливо и требовательно тычут свои носы и морды в карманы и руки дрессировщика.

Уроки ведутся большевиками последовательно. Сначала зверек беспартийный, потом сочувствующий коммунизму, а там, глядь, и «записался». Не ко всему люди привыкают сразу, и не в один момент они делаются полководцами или палачами.

Но проходит будничное время еды и питья, а за содержание расплачиваться надо: совестью, верой, родиной, состраданием к ближнему или собственной жизнью.

Но не все платят одинаково. Есть целый отряд счастливцев, которые только теперь, впервые, смакуют полностью все грубые радости жизни, но ухитряются по счетам не платить. Во всех питательных учреждениях, в отделах театров и зрелищ, в отделах транспортов и заготовок — порхают беззаботные птички в прекрасно сшитых френчах, в бесподобных галифе и бридусах, в зеркально лакированных сапогах, с блестящими приборами. При встречах иноземных делегатов они сумеют безукоризненно болтать по-английски и по-французски. У них хорошие манеры, приятные лица, умеренные жесты, острое словцо на языке; и умение с достоинством сидеть в автомобиле.

Если его спросить, почему же его коммунисты не берут ни на войну, ни на коммунистические субботники, он ответит:

— Ну, туда берут только дураков. Я же числюсь в коммунистах, а не в дураках.

Ленин

Опыт характеристики

Владимир Ильич Ульянов родился в 1870 году. Дворянин, сын симбирского помещика. Учился в симбирской гимназии и Казанском университете. Еще с ученической скамьи вступил в революционную партию. Был в ранней молодости арестован, сослан, эмигри-

ровал за границу, где и прожил большую часть своей сознательной жизни. Писал под псевдонимами – Ильин, Тулин и Ленин, почти исключительно в женевских революционных изданиях. Во время русского революционного движения 1905 года был в Петербурге. Но никакого влияния на ход событий не имел, ибо это восстание имело чисто рабочий характер, а рабочие в то время относились к руководительству интеллигенции недоверчиво и недружелюбно.

Он одним из первых всплыл в самый разгар марксистского течения, оказавшись на самой левой стороне его. Когда же в партии социал-демократов произошел приснопамятный и роковой раскол, Ленин стал не только одним из главных учителей, но и пророком и вождем большевизма.

Он был еще мальчиком, когда казнили его старшего брата за участие в покушении на жизнь Александра III. Какое впечатление произвела на него эта ужасная смерть – трудно сказать: нет биографических справок. Если она и не окрасила в личные краски его теоретическую ненависть к правящему классу, то не могла не углубить ее.

О его детстве и юности имеются у меня всего лишь два показания; оба, к сожалению, несколько вялые.

Первое – поэта Аполлона Коринфского, одноклассника по гимназии. По его словам, Ульянов был мальчиком серьезным, даже угрюмым; всегда держался особняком, в общих играх, проказах и прогулках не участвовал; учился хорошо, почти всегда первым учеником. Одну его черту поэт очень твердо запомнил и, может быть, по личному опыту: никогда Ульянов не подсказывал соседу, никому не давал списывать и ни одному товарищу не помог объяснением трудного урока. Его не любили, но не решались дразнить. Так он и прошел все восемь классов – одинокий, неуклюжий, серьезный, с волчьим взглядом исподлобья.

Писатель-критик Неведомский застал его в свои студенческие годы в университете. Тогда это был уже совсем сложившийся характер – прямолинейный, жестокий, сухой. Личная дружба или приязнь не

влекли его; чуждался он и беззаботных веселых молодых развлечений. На студенческих сходках не лез вперед, не волновался и не спорил; выжидал, пока пылкая молодежь не вспотеет, не охрипнет и не упрется в вечную стену русских дискуссий: «Вы говорите ерунду, товарищ!.. Вы сами, товарищ, городите чепуху!..» Тогда он просил слова и с холодной логикой, сжато излагал свое мнение, всегда самое крайнее, иногда единоличное. И он умел перегибать посвоему решение сходки.

Надо сказать, что логика не всегда служит законом для сотни горячих, молодых, свободолюбивых голов и не в ней заключался секрет вескости мнений Ленина, так же как и не в его личном обаянии: ни симпатии, ни вражды он ни в ком не возбуждал. Он брал тем, что для него уже в ту пору не существовало ничего возвышенного и отвлеченного, никакой мечты и святыни: ни высокопарного зажигательного слова, ни красивого, но бесполезного жеста, ни резвого, но однобокого сравнения, ни внезапного исторического уподобления, выдуманного тут же, на месте, по вдохновению, но лишенного научной опоры. В его небольшом, холодном и ясном уме совсем не было места тому, что составляет радость и украшение молодости – фантазии. Он всегда напоминал серьезного зрелого математика, который пришел к мальчикам, пытающимся своими детскими домашними средствами разрешить вопрос о квадратуре круга, о геометрическом делении прямого угла на три части или о perpetuum mobile, пришел и в несколько минут доказал им с бумажкой и карандашом в руках всю несостоятельность и бесцельность их занятий, оставив их разочарованными, но послушными...

Но нет ни одного мономана, который – как бы круто он ни владел своей волей – не проболтается рано или поздно, если косвенно затронуть его излюбленную, единую мысль. Это бывало и с молодым Лениным. Он не мог без увлечения, без экстаза, даже без некоторой красочности говорить о будущем захвате власти – тогда еще не пролетариатом, а – народом, или рабочими. Видно было, свидетельствует Неведомский, что он последовательно, целыми дня-

ми, может быть, и в бессонные ночи, — наедине с самим собою, — разрабатывал план этого захвата во всех мелких подробностях, предвидя все случайности.

Сделав в нашей статье скачок вперед, мы увидим, что впоследствии в девятьсот первом-седьмом-восьмом годах Ленин участвует в нескольких вооруженных экспроприациях. Это он пробует перейти от мечты к делу, от теории к практике; это молодой волкодав, уже не щенок, но еще и не сложившийся пес, переходит к пробе своей силы и злобности — от цыплят и лягушек к овцам и собакам. По отзывам людей, близко наблюдавших его в эту полосу его жизни, Ленин проявил необычайную изобретательность, соединенную с осторожностью и дальновидностью. Личная его храбрость всегда оставалась под большим сомнением. Может быть, он дорожил собою как движущей силой, как самой тонкой частью революционной динамо-машины?

Мне приходилось от вольных и невольных, понимающих кое-какие события и вовсе их не понимающих антибольшевиков слышать одну и ту же пошлую фразу: «Хорошо им — Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Горькому и другим! Получают они большие деньги от Германии и от евреев, на остальное им наплевать. Едят, пьют вкусно, живут во дворцах, катаются на автомобилях. Не выгорит их дело — убегут за границу. Там уж у них прикоплены в банках миллионы, в золоте и в бриллиантах, и их ждет спокойная, сытая жизнь в собственных виллах, на прекрасных берегах южных морей...»

Такие люди — а их большинство среди врагов большевизма — напоминают мне легендарного хохла, который говорил: «Если бы я был царем, все только ел бы сало, и на сале спал бы, и салом покрывался, потом украл бы сто рублей и убежал».

И когда я слышу эти фразы о германско-еврейских миллионах, то думаю: «Голубчики мои! Если у вас дальше не идет воображение, то ведь в вас, право, говорит только зависть. Я заранее знаю: прочитаете газетную заметку о бессмысленности убийства с целью грабежа и непременно скажете: “Какой дурак! У

убитого нищего оказались в кармане всего копейки, а в мешке — сухие корки. И из-за этого зарезать человека!"»

А если бы не из-за этого? Если бы в нищенском мешке оказался миллион фунтов стерлингов? Да если бы все это сделать умненько, без следов? А? О чем вы задумались, ярый контрреволюционер, «антибольшевик»?

Я не говорю о Зиновьеве. Его нежный желудок органически требует куриных котлет, икры и доброго вина, а Зиновьев так необходим для улучшения революции. Я не говорю о Горьком, Шаляпине и Луначарском — они эстеты, они хранители вечного искусства, нельзя их не поставить в исключительные условия жизни, не уберечь от утомительных, иссушающих ежедневных забот.

Я говорю о Ленине. Ему ничего не нужно. Он умерен в пище, трезв, ему все равно, где жить и на чем спать, он не женолюбец, он даже равнодушно хороший семьянин, ему нельзя предложить в дар чистейший бриллиант в тридцать каратов, не навлекая на себя самой язвительной насмешки...

Люди без воображения не могут не только представить себе, но и поверить на слово, что есть другой соблазн, сильнейший, чем все соблазны мира, — соблазн власти. Ради власти совершались самые ужасные преступления, и это о власти сказано, что она подобна морской воде: чем ее больше пить, тем больше хочется пить. Вот приманка, достойная Ленина.

Но есть власть и власть...

Русский мужик (продолжаю басню о хохле) сказал: «А я если бы был царем, то сел бы на улице, на завалинке, и кто мимо идет, так я его по морде, кто мимо — по морде».

Это уже, несомненно, высшее проявление власти, центральное утверждение своего «я».

Увы! Этого наивного мужичьего исповедания власти не избегли даже такие умные (извиняюсь перед г. Троцким за сближение) люди, как Керенский и Троцкий. С конца февраля по конец апреля мы только и слышали: «Я — Керенский, я — присяжный поверенный, я — социалист-революционер, я — министр юс-

тиции, я — Верховный Главнокомандующий! Адрес — Зимний дворец!» Троцкий властвовал энергичнее, в образном библическом стиле: он разорял дома и города до основания и разметывал камни, он предавал смерти до третьего поколения, он наказывал лишением огня и воды... но инстинктивный такт — он говорил не «я», а «мы». После речей в Петербурге и Москве коммунисты и коммунистки выносят его на руках и он спокойно раздает для поцелуев свои волосатые руки...

Но растраченное «я» уже не «я». Один Пушкин из всех мировых поэтов понял, что такое сгущенность, апогей власти, когда он создал Скупого Рыцаря. Властвовать, оставаясь по внешности безвластным; хранить в подвалах, или в душе, неиспользованную, не захваченную толпой и историей потенцию власти, как хотел бы гениальный изобретатель — в платиновом сосуде кусочек вещества, способного взорвать весь мир; знать, что *могу*, и гордо думать: *не хочу*... Нет, право, такая власть — великое лакомство, и оно не для хамов.

И в Ленине — не в моем, воображаемом, а в настоящем, живом Ленине — есть, они проскальзывают, эти героические черты. Так, одно время он усиленно готовил на кресло президента РСФСР тупого, заурядного человека *Калинина*, с лицом старообрядческого начетчика и с простой тверской душой — свою марионетку под видом всероссийского старосты. Так, он присутствовал на своем собственном пятидесятилетнем юбилее. Его не было — он почивал на облаках, — пока товарищ Луначарский и т. Ногин равняли его с Марксом, а т. Горький со слезами на глазах заявил, что Петр Великий — это лишь малюсенький Ленин, который и гениальнее, и всемирнее варвара-царя. Но когда у агитаторов заболели от усердия челюсти, он вышел, как всегда скромно, беспритязательно и опрятно одетый, улыбнулся своей язвительной улыбкой и сказал: «Благодарю вас за то, что вы избавили меня от необходимости слушать ваши речи. Да и вам советовал бы в другой раз не тратить столько времени на пустое словоизвержение...»

Властвовать, не будучи видимым, заставлять плясать весь мир, сваливая музыку на всемирный пролетариат, – да, вероятно, радостно и щекотно об этом подумать, когда ты один лежишь в своей постели и знаешь, что твоих мыслей никто не подслушивает.

И моему пониманию очень ясен и доказательно дорог такой маленький анекдотический штришок.

Ленин выходит из своего скромного помещения (в комендантском крыле Кремлевского дворца) в зал заседаний. Раболепная толпа... Никаких поклонов нет, но есть потные рукопожатия и собачьи, преданные улыбки. Слова «товарищ Ленин» звучат глубже, чем прежнее «ваше величество»...

– Товарищ Ленин, если говорить по правде, то ведь только два человека решают сейчас судьбы мира... Вы и Вильсон.

И Ленин, торопливо проходя мимо, рассеянно и небрежно:

– Да, но при чем же здесь Вильсон?

Но есть и самая последняя, самая могучая, самая великая форма власти над миром: это воплощение идеи, слова, голого замысла, учения или фантастического бреда – в действительность, в плоть и кровь, в художественные образы. Такая власть идет и от Бога, и от Дьявола, и носители ее или творят, или разрушают. Те, которые творят, во всем подобны Главному Творцу: все, совершенное ими, исполнено красоты и добра. Но и черный иногда облекается в белые одежды, и в этом, может быть, его главная сила и опасность. Разве не во имя светлого Христа были: инквизиция, Варфоломеевская ночь, гонение на раскольников и уродливая кровавая секта.

Ленин не гениален, он только средне умен. Он не пророк, он лишь безобразная вечерняя тень лжепророка. Он не вождь: в нем нет пламени, легендарности и обаяния героя; он холоден, прозаичен и прост, как геометрический рисунок. Он весь, всеми частицами мозга – теоретик, бесстрастный шахматист. Идя по следам Маркса, он рабски доводит его жестокое, каменное учение до пределов абсурда и неустанно ломится еще дальше. В его личном, интимном характере нет ни одной яркой черты – все они стерлись,

сгладились в политической борьбе, полемике и односторонней мысли, но в своей идеологии он – русский сектант. Да, только русские удивительные искатели Бога и правды, дикие толкователи мертвой буквы могли доводить отдельные выражения Евангелия до превращения их в ужасные и нелепые обряды: вспомним скопцов, самосжигателей, бегунов и т.д. Для Ленина Маркс – непререкаем. Нет речи, где бы он не оперся на своего Мессию как на неподвижный центр мироздания. Но, несомненно, если бы Маркс мог поглядеть *оттуда* на Ленина и на русский сектантский, азиатский большевизм – он повторил бы свою знаменитую фразу: «Pardon, monsieur, je ne suis pas marxiste»[1].

Для Ленина не существует ни красоты, ни искусства. Ему даже совсем не интересен вопрос: почему это некоторые люди приходят в восторг от сонаты Бетховена, от картины Рембранта, от Венеры Милосской, от терцин Данте. Без всякой злобы, со снисходительной улыбкой взрослого он скажет: «Людям так свойственно заниматься пустяками... Все они, ваши художественные произведения – имеют ли они какое-нибудь отношение к классовой борьбе и к будущей власти пролетариата?»

Он одинаково равнодушен ко всем отдельным человеческим поступкам: самое низменное преступление и самый высочайший порыв человеческого духа для него лишь простые, не веские, не значащие факторы. Ни прекрасного, ни отвратительного нет. Есть лишь полезное и необходимое. Личность – ничто. Столкновение классовых интересов и борьба из-за них – все.

К нему ночью, в Смольный, приводят пятерых юношей, почти мальчиков. Вся вина их в том, что у одного при обыске нашли офицерский погон. Ни в Совете, ни в Трибунале не знают, что с ними делать: одни говорят – расстрелять, другие – отпустить, третьи – задержать до утра... Что скажет товарищ Ленин?

Не переставая писать, Ленин слегка поворачивает голову от письменного стола и говорит: «Зачем вы

[1] «Извините, месье, но я не марксист» *(фр.)*.

ко мне лезете с пустяками? Я занят. Делайте с ними, что найдете нужным».

Это — простота. Это — почти невинность. Но невинность более ужасающая, чем все кровавые бани Троцкого и Дзержинского. Это тихая невинность «морального идиотизма».

Во всяком социалистическом учении должно быть заключено зерно любви и уважения к человеку.

Ленин смеется над этим сентиментальным утверждением. «Только ненависть, корысть, страх и голод двигают человеческими толпами», — думает он. Думает, но молчит.

Красные газетчики делают изредка попытки создать из Ленина нечто вроде отца народа, этого доброго, лысого, милого, своего «Ильича». Но попытки не удаются (они закостеневают в искательных, напряженных, бесцельных улыбочках). Никого лысый Ильич не любит и ни в чьей дружбе не нуждается. По заданию ему нужна — через ненависть, убийство и разрушение — власть пролетариата. Но ему решительно все равно: сколько миллионов этих товарищей-пролетариев погибнет в кровавом месиве. Если даже, в конце концов, половина пролетариата погибнет, разбив свою голову о великую скалу, по которой в течение сотен веков миллиарды людей так тяжко подымались вверх, а другая половина попадет в новое неслыханное рабство, он — эта помесь Калигулы и Аракчеева — спокойно оботрет хирургический нож о фартук и скажет:

— Диагноз был поставлен верно, операция произведена блестяще, но вскрытие показало, что она была преждевременна. Подождем еще лет триста...

Торговлишка

Все-таки чем же торгуют большевики на международном рынке? Этот вопрос до сих пор остается чрезвычайно темным.

Чем в былые, старорусские времена торговал деревенский кулак, он же лавочник, кабатчик, со всей округи жалких предметов крестьянского производства? Да всем, чем угодно: хлебом, пенькой, дугами, ве-

ретенами, дегтем, валенками, калачами, кнутами, самоварами, гармониками, ситцами, рукавицами, зеркальцами, серебряными кольцами. Он же принимал в заклад за водку и старые сапоги, и женин самовар, и поросную свинью, и образ «Божье Милосердие». Он же не прочь был купить за грош краденую лошадь, если она уведена была издалека и надежно. Он же иногда не отказывался приобрести дешево и с надлежащей осторожностью партию фальшивых денег.

То, что большевики громко называют коммерческими сношениями с Западом, сильно напоминает эту нашу домашнюю русскую торговлишку. Сначала они заявили, что Русь переполнена сырьем и просто ломится от хлеба, что денег ей не нужно, золота она сама не знает, куда девать, – но что ей больше нравится свободный товарообмен.

Сначала на эту приманку, действительно, клюнули было опытные европейские щуки и акулы; но оглядев и обнюхав ее, вильнули хвостами и отошли прочь. Какое же это сырье, в самом деле, – триста тысяч необделанных коровьих и конских шкур, содранных с животных, павших от сапа, чумы и ящура? Предлагали еще большевики пеньку – так, вагонов около пятидесяти – и особенно суетливо носились с тремя тысячами пудов свиной щетины... То, что и пенька, и щетина, и кожи были реквизированы, то есть присвоены путем вооруженного грабежа, – на эту щекотливую сторону дела европейские капиталисты не посмотрели бы. Но удобно ли крупным, старинным фирмам компрометировать себя случайными покупками на рыночных рундучках?

Что касается хлеба, то до сих пор смешно вспомнить о том, как умные, расчетливые европейские коммерсанты могли всерьез ухватиться за это предположение в то время, когда хлеба в России едва-едва хватает для передовых частей красной армии, а городским жителям предоставляется право бесплатно пастись на улицах, заросших травою и полевыми цветами! Правда, итальянцам было отправлено, в награду за хорошее поведение, несколько тысяч пудов зерна. Но, развернув эту товарищескую посылку, итальянцы только развели руками и меланхолически

свистнули: зерно оказалось наполовину сгнившим, наполовину проросшим, вперемешку с крысиным пометом, песком, камешками и тряпками... Словом, проект обмена хлеба на паровозы и рельсы оказался таким же блефом, как и все советские предприятия.

Золото имело больше успеха — недаром этот благородный металл издавна служит самым подлым целям. Каждый день мы читаем в газетах о том, что Литвинов или Красин только что дали в задаток несколько сот миллионов — то «одной известной американской верфи», то «одному крупному шведскому машиностроительному заводу» и т. д. Нельзя ни на секунду сомневаться в истинном смысле этих газетных известий, идущих, если хорошенько проследить, все из тех же *определенных* телеграфных агентств, купленных и руководимых большевиками. Это один из обычных агитационных приемов, употребляемых большевиками для саморекламы, для вздутия своего кредита, для ошарашивания доверчивых овечьих умов толпы.

Есть, впрочем, одна отрасль ввоза в Россию, которая не только не уменьшилась после войны, но даже заняла самое прочное место в российском бюджете. Это ввоз кокаина через Финляндию из Швеции и Германии. Цифры мне неизвестны, но их надо полагать в тысячах кило, исходя из того положения, что нюхает вся красная армия, нюхают все советы, и нюхают с чисто русским запоем. Грамм кокаина — а его хватает на две-десять понюшек — стоит теперь в Совдепии около десяти тысяч рублей.

Да и золотой запас в России представляет собой нечто проблематическое, нечто вроде чичиковских крепостных душ. Добыча золота на Урале и в Сибири, по военным и иным причинам, не покрывает расходов на работу. Реквизиция обручальных колец, Георгиевских крестов и прочих предметов для лома дала уже все, что возможно, дальше ничего не выжмешь.

Надо представить себе, во что обходится большевикам их представительство в старой и новой загранице, где новоявленные дипломаты утирают носы индийским набобам роскошью своей жизни. И еще —

какие громадные средства идут на подкупы иностранных газет и общественных деятелей, на основание и поддержку своих органов печати, на шпионаж и пропаганду в тылу красной армии, на раздувание забастовок, на снабжение крайних партий оружием...

Словом, если большевики и швыряют миллионами из золотого запаса и делают это весьма широко (все равно ведь деньги чужие), то надо сказать, что это — их последние ставки. В будущее они не заглядывают. «Нам всегда подсказывает момент», — сказал Ленин.

Их пресловутый «миллиард золотом» значительно похудел, потускнел и приобрел неблагородное выражение лица. Помните ли вы об этом пресловутом миллиарде? Они его совали повсюду, предлагая как залог и поруку для начатия всемирных переговоров о мире. Одно время этот миллиард не сходил с газетных столбцов. Тут со стороны большевиков было и хвастовство деньгами (а также бережливость), и страхование на случай собственного бесчестия.

Есть и еще один род базарной мелочной торговли, которую еще пока бойко ведут большевики. Обратите внимание на то, как повсюду упали цены на бриллианты, и сопоставьте это явление с советскими декретами, по которым частные лица не имеют права хранить у себя драгоценные камни весом более полукарата, а в сложности, мелких камней — более карата. Ювелиры откровенно говорят, что Советская Россия наводнила заграницу бриллиантами. И не только мелочью, но и такими крупными солитерами, которые вместе с восхищением вызывают подозрение в многоопытных гранильщиках Амстердама. Ризницы и дворцы пошли гулять по рынку...

И не только они...

Мертвый счет

Великая Война и Красная Чума вовлекли Россию в многомиллиардные долги. Вполне понятно беспокойство кредиторов: «Заплатит она или не заплатит?»

Если России дадут после большевизма лет десять передышки, если ее мирный труд уборки, починки и

строительства будет надежно охранен державами согласия от хищнических посягательств извне и, особенно, если новые продолжатели социального эксперимента не попытаются повторить опыт Ленина, подобно тому как в смутное время четырежды повторялся Лжедмитрий, а после пугачевщины — дважды «Петр Федорович», — то, можно смело сказать, что при таких условиях Россия быстрее, чем можно предполагать, станет на ноги и начнет широкую и честную расплату. Десять лет — это три лошадиных поколения, это время, достаточное для удовлетворительной поправки транспорта и для оборудования заводов в приличном масштабе, это срок, в который уже зарубцуются раны на общественном организме.

Но внутри самой страны останется мертвый счет, который она ни к кому не сможет предъявить, кроме как к большевикам — а что с них взять? И где они тогда будут? И какое им дело до того, что осталось после их бредовой власти?

Остались вечные богатства земли и ее недр. Как ни старались большевики, но ни географического пространства, ни его изнанки им не удалось ни сожрать, ни растратить — они его лишь слегка изуродовали; зато заживо заключена в гроб, сведена почти на нет русская культура — духовная и хозяйственная. О духовном не будем говорить: после этой дьявольской войны она поразительно низко пала во всем мире, и есть много признаков, указывающих на то, что в моральном смысле мы возродимся ненамного позднее других государств: яснее всего об этом свидетельствует не только общий религиозный подъем внутри России, но и необычный нравственный рост нашего духовенства во дни гонений и крови.

Но страшно подумать, что сделали эти палачи-утописты с великим внутренним хозяйством государства! Вот уж что, поистине, можно назвать «саботажем» в прямейшем смысле этого слова, столь безграмотно понимаемом новоявленными коммунистами. Да! Сапогами, деревянными подошвами, коваными каблуками топтали они, гвоздили, вляпывали в кровь и грязь видимое лицо родины, ее молодую, всего только трехсотлетнюю культуру.

Где конские заводы? Где огромные табуны степных лошадей? Все убито, съедено, продано, замучено насмерть. Ни одного рысака не осталось знаменитых орловских кровей, от легендарных Сметанки и Лебедя. Этим лошадям недавно изумлялись американские тренеры, говорившие, что по богатству сырого материала нет им в мире равных. Серый великолепный красавец Крепыш, настоящий аристократ по крови, был расстрелян на какой-то железнодорожной станции именно за «белогвардейство». Метиса Пылюгу — прелестного серо-стального жеребца (2 м. 9 сек. — 1 с половиной версты) — запрягли в телегу, навалились на нее кучей и до тех пор били дубьем лошадь, пока она не умерла. Сетный сам искалечился при попытке ввести его в плуг.

Когда-то у нас были чудесные молочные коровы — холмогорские и ярославки, и замечательный убойный черкасский скот; на южных и восточных степях паслись огромные стада овец; славились питомники охотничьих и сторожевых собак; были образцовые фермы и племенные куроводства; питомники древесные, фруктовые и ягодные; семеноводства — огородные и парниковые, а также лекарственных и медоносных трав; было пчеловодство и хмельники; были попытки завести шелководство в средних губерниях, и начались опыты грядковой культуры злаков... Ах, мало ли что еще было, всего не перечислишь. И вдруг — ничего, пустое место, точно бык языком слизал.

Как дым развеялись по ветру артели и кооперации. А как живо, с каким доверием и пользой они прививались! В прах рассыпалось кустарное производство, а в нем таились драгоценные ростки будущей громадной национально-народной промышленности. «Туда! К черту в шапку! В самую подкладку!»

О, как они гнусно и нелепо уничтожали! В Гатчине был зверинец; не в клетках, а в свободной, на четыреста десятин, огороже, внутри которой бродили и паслись дикие козы, серны, олени, лоси. Всех их перестреляли товарищи с ружьями в медовые месяцы революции. Для еды? Нет, для забавы. «Барская затея!» В отдельном зубрятнике убили стадо молодых зубров, семнадцать голов.

А в «Ascania Nouva», имении Фальц-Фейна, где так любовно производились опыты акклиматизации и гибридизации субтропических животных, — все милое зверье было перебито красою и гордостью революции красными матросами. «Товарищи! — говорил матрос. — Видите этого, пегого, долгошеего? Так я вам объясняю, что это жирафа. У писателя Жуля Верного я читал, что путешественники по пампасам приготовляют из него очень вкусные котлеты. А ну-ка, товарищ, тебе с руки, стрельни ему под левую лопатку».

Это очень характерно. Как глупо был убит жираф, так же бессмысленно были уничтожены редкие коллекции старинных вещей, картины, библиотеки, документы, древние рукописи. «Бей мельчей, подбирать ловчей, потом разберешься».

Это делали остолопы, мгновенно переведенные из инертной неподвижности рабства в действенную инерцию безбрежной власти...

Но были и такие, которые уничтожали все столетиями накопленное добро сознательно и с наслаждением.

Кому мы предъявим этот мертвый счет? Ибо механическую культуру воскресить немудрено. А любовное собирание не повторишь и породу не восстановишь.

Два путешественника

Это — Фритьоф Нансен и Герберт Уэллс.

Каютой для английского романиста служит его кабинет, а у руля стоит широкая фантазия. Шведский ученый и мореплаватель всю свою трудовую жизнь проводит или в лаборатории над микроскопом, или на палубе настоящего корабля, следя за лотом и троллом, а верный его кормчий — северный железный человек, потомок великанов, капитан Свердруп.

Один отправляется в своих путешествиях от исходной точки, представляющей из себя физический абсурд (в чем и заключается его отличие от гениального Ж. Верна, который в задачах земных возможностей был зачастую провидцем). Ведь, на самом деле,

сущий вздор — этот изобретенный Уэллсом каворит, смазав которым подошвы, человек становится легче воздуха и летит ввысь, в небо; или состав, проглотив который, можно сделаться невидимкой; занятные небылицы и машина для странствования во времени, и алюминиевые бомбы марсиан, и селениты, и морлоки, и очеловеченные звери доктора Моро... Но именно по этой причине г. Уэллс и стал любимым писателем для читателей со скудным, ограниченным воображением. Жажда чудесного заложена во всех людях: и в нотариальных клерках, и в земских статистиках, и в ученых женщинах. Уэллс дает им это «чудесное» в таком удобном кулинарном виде, что нет надобности ни придумывать, ни разрезать, ни разжевывать: глотай с удовольствием и до пресыщения.

Другой — открыватель неведомого — всегда стоит на твердой почве. Конечно, мало кто знает о великом пути, пройденном Нансеном поперек северной ледниковой части Гренландии. Но в веках останется воспоминание о его трехгодовой экспедиции к Северному полюсу. Нансен размышлял так. Во-первых, Северный полюс есть несомненная, реальная, географическая точка на земном шаре. Во-вторых, достигнуть ее сопряжено с такими трудностями, которые вряд ли когда-нибудь становились на пути человечества к знанию. В-третьих, человеческий ум, терпение и выносливость почти безграничны в пределах возможного, а иногда и шире. Следовательно: «Капитан Свердруп, укладывайте свои чемоданы и принимайте командование». Оттого-то его сухой дневник навсегда будет источником восторга для людей с живой фантазией, предметом удивления для тех, кого Бог не обидел собственным творческим воображением.

Значительные события часто совпадают на маленьком земном шаре. Почти одновременно мы услышали о том, что Нансен и Уэллс собираются ехать в Советскую Россию для глубоких и всесторонних исследований ее состояния.

Нансен не поехал. Кто мог бы осмелиться заподозрить в нерешительности его, видевшего так близко перед собою смерть — и не мгновениями, а месяца-

ми? Привычный к научному и практическому методу мышления, он, вероятно, сказал себе: «Я и без путешествия в центр этой несчастной страны знаю о ее положении. Несколько сотен безумных, но хитрых негодяев кровавыми путами опутали загнанный, усталый, голодный, больной многомиллионный народ. Всей реальной правды эти негодяи мне не скажут и не позволят ее увидеть. А народ не сможет этого сделать и не посмеет. Одного меня ни на минуту не оставят. Не хочу же я быть в положении водевильного дурака, водимого за нос».

И не поехал.

Но Уэллс поехал. Для этой поездки у него уже был в голове готовый, изображенный им самим «каворит» – утопическое представление о благах, сопряженных с первым мировым опытом великой коммунистической республики. Иными словами, абсурдное основание будущему роману для клерков уже было заложено.

О том, как мыкали Уэллса по всем утопическим учреждениям Совдепии Горький, Луначарский и К°, о том, как он слушал Шаляпина и созерцал балет, я не буду говорить. Об этом недавно на страницах «Общего дела» очень живо и образно писала А. Даманская.

Но одна мысль меня занимает и смешит.

Не может быть, чтобы вожди Совдепии не предложили знаменитому романисту за его благосклонное, приятное и рассеянное внимание какой-нибудь веской мзды, хотя бы и в весьма замаскированном виде. Ведь они так привыкли к тому, что все берут. Однако я верю и в то, что Уэллс откажется от этого бакшиша. И тем не менее, положение его будет крайне двусмысленное.

Не сказать – останется навсегда пятно на накрахмаленной и наглаженной до блеска совести англичанина.

Сказать – насмарку все путешествие, к черту вся построенная утопия и в корзинку новый, задуманный и уже начатый фантастический роман.

О преемственности

Мужи разума и совета, политики прозорливой осторожности, ведомой в белых перчатках, — кадеты бросают многозначительные взгляды налево, в эсеровскую сторону. Почем знать, может быть, момент этого и требует.

Не высказавшись окончательно по вопросу, надо ли бить большевиков извне, они в отношении Врангеля все-таки находятся в сумеречном, чеховском настроении. Лошадь, на которую они ставили, не пришла. «Армии хорошо было драться семь месяцев и эвакуироваться при дьявольских обстоятельствах, — думают они, — но каково нам терпеть крах надежд и горечь разочарования».

Эсеры уже давно приняли формулу: ни Ленин, ни Врангель. Очевидно, посредине находятся они сами. Что ж. Фирма эта прочная, давнишняя, тронутая сединою. (Правда, ее доверенных Керенского и Чернова оклеветали современники, но когда-нибудь выйдут же в свет их достоверные мемуары.) За эсеров говорит очень многое, а главное то, всем известное обстоятельство, что их прихода исстрадавшееся население России ждет с такой же жадностью, как в семидесятых годах русский народ «от Варшавы до Ташкента с нетерпеньем ждал студента».

Против Врангеля и монархисты: он был слишком либерален. Против него и умеренные: в его рядах встречались офицеры старого режима. Фантастическая, изуверская секта «пораженцев» праздновала как именины его отступление. И даже представители древних, воистину героических партий, на которых мы глядим с таким же глубоким удивлением, как смотрели бы на случайно уцелевшего от потопа живого бронтозавра, — даже они укоризненно покачивают бородами.

«Мощной стихии» большевизма противополагается «авантюра» Врангеля. Завзятые умники пренебрежительной улыбкой встречают слова о преемственности врангелевской власти. Вчерашние искатели и льстецы восклицают, сияя: а, что! Я предсказывал...

Если бы она была его личной затеей! Но в том-то и ошибки всех зябких и кислых душ, в том-то и

сила Врангеля, что выдвинут он был во главу армии молчаливой волей самой же армии и голосом общества, как когда-то Кутузов, а позднее Скобелев. Преемственность же его в верховной власти столь неопровержима и несомненна, что, в сравнении с ней, бледным призраком, жалкой натяжкой кажется нам бутафорная претензия Временного правительства семнадцатого года на власть.

Армия старше на триста лет всех партий и дороже их в своем истинном, здоровом, незатемненном значении; она крепче их своей ясной целью и простой связью; она сильнее их духом и телом. Одинаково глупо и грешно обращались с нею как те, которые раньше пользовались ее силой и дисциплиной для карательных экспедиций, так и те, которые потом разложили ее политической агитацией.

Главной причиной ее развала и ее податливости перед открытым соблазном дезертирства была безграничная усталость от двухгодового бессильного сидения в окопах среди грязи и скуки.

Она развалилась не вся. Лучшее ее ядро уцелело, и в нем чудом сохранилась ее живая душа. Вспомним тех семьдесят офицеров, которые на глазах у «забастовавшего» полка пошли в атаку на немцев и полегли все до единого, пораженные сзади своими же пулеметами. А тупые немцы тут же, на виду у изменников, предали земле тела этих чудесных героев с музыкой и преклонением знамен. Эта прекрасная смерть была великим символом бессмертия армии.

После Брестского мира казалось, что уже навеки убит, сожжен и, как прах, развеян старый военный дух русской армии. Но вот на юге России Алексеев и Корнилов лепят из малой горсточки верных людей крошечный отряд. Он быстро втягивает в себя новые и новые добровольческие силы, по тому закону, как один кружок масла на воде присоединяет к себе при вращении сосуда другие маленькие кружки. Разве не инстинктивною волею народа создалась на юге России двухсоттысячная армия? И разве Алексеев не по глубокому священному праву преемственности носил звание ее главнокомандующего? Не мог же, в самом деле, лишить его этой чести сухопутный моряк Керенский?

Разве можно усомниться в том, что имя Верховного Вождя естественно перешло от Алексеева, Корнилова к Деникину, от него, как бы через заочное рукоположение, к Колчаку, вернулось опять к Деникину, а Деникин, чутко повинуясь воле армии, передал его Врангелю? И разве Врангель сумел бы из осколков разбитой армии воздвигнуть новую, стройную армию, если бы он духовно не был облечен уверенной в себе властью и если бы он не опирался на воистину стихийный зов народа?

Скажут: ни Деникин, ни Врангель не добились окончательного успеха. К сожалению, да. На это было много причин. Не последняя из них — подземные враги в тылу, но главную (действующую во всех странах и всегда, еще до наполеоновских войн, и доныне) теперь еще невыгодно и несвоевременно называть вслух.

Но Врангель и не брал на себя подряда делать чудеса (хотя, конечно, истинное чудо — возрождение армии и семимесячная борьба за Крым). Так же мало собирался он въезжать на белом коне куда-нибудь. Надо не забывать его скромных слов: «Если мне не суждено спасти Россию, то найдется Иванов, Петров или Сидоров, которые отстоят ее от большевиков и сделают свободной и счастливой».

И потому вовсе нельзя считать дело вооруженной борьбы поконченным. С позволения или без позволения на каждом удобном клочке России всегда сами собой будут вырастать белые армии и летучие отряды. Это живой признак того, что Россия еще не задохлась под тяжким игом большевизма.

А между тем события бегут со страшной быстротой. Может быть, совсем недалеко то время, может быть, оно завтра, когда большевики, опьяненные кокаинным миражем своего планетного значения и подстегиваемые сзади отчаянностью своего положения, дойдут до тех пределов наглости и подлости, где кончится терпение всего света.

Сохранится ли до этого часа лучшая часть армии Врангеля невыветрившейся? А каким бодрым творилом могла бы она стать.

1921

Ближе к сердцу

Лет пятнадцать тому назад Париж посетил русский писатель Максим Горький. Не знаю, когда это случилось в хронологическом порядке: до того ли, когда он уже успел плюнуть в лицо Городу Желтого Дьявола – Нью-Йорку, или после. Но некоторый успех он все же имел в Париже, в этом городе, который так же быстро кидается на экзотические новинки, как еще быстрее к ним охладевает. Надо сказать правду: от его визита осталось в Новом Вавилоне больше памяти, чем о принцессе сенегальской и казаке Ашинове. До сих пор еще кое-где в магазинах обуви на витринах-выставках висят плакаты: La semelle pour les pieds «Gorky»[1]. Текст рекламы показывает, что успех Горького носил характер истинно демократический.

Тогда в Париже другой писатель – Амфитеатров – издавал журнал «Красное знамя». Журнал настолько же шумный, насколько и безвредный. В этом журнале Горький и напечатал свое вымышленное quasi-сатирическое интервью с царем Николаем II, замечательное как образец низкой бестактности. Задача была: кровавый тиран – и смелый певец из народа. Вышло: отсутствующий помещик – и беглый дворовый раб, заочный ругатель.

Вслед за тем и в том же «Красном знамени» Горький обнародовал свой манифест к Франции. Смысл его был таков: «Добрые французы, не давайте русскому царю взаймы денег, он ими погасит разгорающуюся русскую революцию, а вы ведь первые революционеры на свете».

Очевидно, как иногда молодым матерям кидается обильное молоко в голову, так и Горькому залила моз-

[1] Стельки для ног «Горький» *(фр.)*.

ги секундная хмельная слава. Иначе он такой глупости не сделал бы. Он, вообще, человек совсем не глупый; наоборот, даже с дальновидной хитрецой.

Корректура этого манифеста случайно попалась на глаза хозяину типографии, многоопытному, проницательному и не лишенному юмора еврею.

Он принес Амфитеатрову гранки и спросил:

— Это писал ваш знаменитый Горький?

— Да. А что?

— Ну, конечно, великим людям простительны маленькие промахи. Но нужно быть абсолютным дураком, чтобы таким образом обращаться к французскому мнению.

— А, по-вашему, как же?

— Пусть бы он сказал и *доказал*, что царь не заплатит долга с процентами. Весьма вероятно, что его голос был бы услышан. Но... революция в России. Это для французов так же все равно, как государственный переворот в Гонолулу или народное восстание на Марсе.

И правда. Истерический выкрик русского писателя не произвел никакого впечатления.

Зная и чувствуя это, Горький разрешился новым плевком. «Плюю тебе в лицо, прекрасная Франция, плевком, полным желчи и крови...» и т.д.

Здесь дело не в Горьком и не в его верблюжьей склонности плеваться. Ни Вандомская колонна, ни статуя Свободы в Нью-Йорке не обратили особенно большого внимания на это оскорбление действием. Когда английского короля вели на плаху, какой-то негодяй из толпы плюнул ему в лицо. «Наверное, ты плюнул бы и в глаза своей матери», — сказал король-мученик.

Своевременно Горький сделал и это, признавшись публично в своей ненависти и в своем презрении к «так называемой родине». Малограмотный — он сослался при этом на печальные слова Пушкина: «Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом». Кто же еще так страстно и нежно любил Россию, как не Пушкин? И значит: о Горьком все. Извиняюсь, что отвлекся в сторону.

Суть анекдота в метком замечании умного типографщика, и оно сейчас одинаково относится ко

всем русским зарубежным писателям, политикам и общественным деятелям, хлопочущим о судьбах нашей родины перед общественным мнением Европы, а в частности Франции.

Все они стараются разжалобить слезой, тронуть сердца и воображение ежедневными описаниями неслыханных мук, претерпеваемых Россией от большевистского зверства.

Путь избитый и неверный.

Воображение чрезвычайно быстро утомляется, а сердце тупеет. Помните, как в начале войны, при известиях о первых убитых и раненых, мы проклинали и плакали? Боже! Двадцать молодых жизней! Сто калек!

Через полгода, откладывая в сторону газетный лист, мы говорили: «Ого! Потери в десять тысяч человек. Однако...»

А ведь для большинства иностранцев — надо говорить правду — большевистские ужасы — совсем чужие ужасы. Болит зуб у соседа — как не пожалеть, хотя бы для видимости? Но зуб у него болит и завтра, и послезавтра, и целый месяц, и ежедневно сосед приходит жаловаться. «Даша! Когда придет этот, с подвязанной щекой, скажи, что меня нет дома. Надоел, черт бы его побрал совсем!»

Вот в том-то и дело, что русские эмигранты, хотя бы для того, чтобы оправдать свое бездеятельное существование, — все они, умеющие мыслить, писать и говорить, должны не скулить, а доказывать всему цивилизованному миру, что перед ним не чужая зубная боль, а опасность всеобщей заразы, не похожей ни на холеру, ни на чуму, от которых можно отгородиться карантинами, что ему угрожает чудовищная, истребительная эпидемия, растущая по мере увеличения ее окружности, центр которой в Москве, что теперь уже поздно ограничиваться домашними профилактическими средствами.

Надо немедленно, сегодня, сейчас же уничтожить главный источник, погасить свирепый очаг северной болезни самыми решительными действиями, не считаясь с жертвами. Вопрос идет здесь не о помощи России, а о взаимной самопомощи государств всего света.

И говорить так – гораздо убедительнее и понятнее, чем причитать и плакать. И даже не говорить, а кричать на площадях и перекрестках.

Памятная книжка

С нескрываемым чувством удовольствия прочитал я газетную заметку о том, что «Воля России» похоронила нравственно и политически Мережковского, Бунина, Яблоновского и Куприна. Однако как прочно я «угроблен»! Не столь давно меня проводили в могилу близкие родственники эсеров, большевистские лакеи Демьян Бедный, Сергей Городецкий и Василий Князев. Какая пышная похоронная свита! Поэт, прозаик и журналист. Мне даже неловко, господа...

* * *

Газеты говорят о том, что скончалась дочь Александра III Ольга Александровна и что тело ее перевезено в Копенгаген. Очень может быть, что здесь очередная копенгагенская утка. Во всяком случае, есть одна умная русская примета: кого преждевременно хоронят, тот проживет долго. И думаю, что если Ольга Александровна жива, то от моего надгробного слова ничего ей не станется.

Она была одним из тех по-настоящему русских, святых людей, которые просто, скромно и красиво проходят, почти незаметные, по лицу нашей грешной земли. Быть доброй было для нее совсем не затруднительно: это была природная черта ее существа, как для нас – дышать. Подобно ее братьям, Георгию и Михаилу, она постоянно нуждалась и должала. Все деньги, которыми она могла располагать, она раздавала, потому что была естественно отзывчива на чужую нужду.

В 1914 году, в начале войны, она записалась в Евгеньевскую общину сестер милосердия. Вот что мне рассказывали две сестры, работавшие с Ольгой Александровной в продолжение всей кампании:

«Сначала мы поморщились: "Опять великую княгиню!" Это значит – тянуться, всегда быть начеку, заведутся любимчики, карьеристки, помеха работе...

Приехала она к нам как раз тогда, когда мы мыли и дезинфицировали санитарный поезд, стоявший у Петербурга, на Варшавской линии, на запасном пути. Вместо великой княгини мы увидели ласковую, приветливую женщину, просто одетую, некрасивую, но такую прелестную, что к ней невольно располагались души, должно быть, всех существ: мужчин, женщин, детей и зверей. Пожатие ее маленькой руки было крепко и открыто. Едва познакомившись с нами, она тотчас же принялась за работу. Подты́кала юбки, засучила рукава и, нагнувшись, стала мыть пол тряпкой.

Некоторые из нас еще думали, что все это поза, это только на время. Но такой, какой она поступила к нам в этот первый день, такой она осталась и во всю войну. Она ассистировала при самых тяжелых операциях, перевязывала и обмывала самые тяжелые раны, была одинаково внимательна к офицерам и солдатам и никогда, даже после нескольких бессонных ночей, у нее не сорвалось с уст ни резких слов, ни несправедливого замечания. И было много людей, которые встречали свой переход "туда" незаметно, потому что их голову поддерживали или ее терпеливо поглаживали маленькие, нежные, добрые руки».

Разве в этом не сказался весь человек? Целых три года...

* * *

Скончался Ф. Д. Батюшков. Раньше я не хотел верить. Многих хоронили преждевременно. Похоронили Е. А. Аксакова, а он, однако, жив и здоров и читает в Брюсселе лекции. Но теперь – увы – смерть Батюшкова несомненна.

Он не оставил после себя фундаментальных ученых трудов. Незамеченными прошли его работы о Ронсаре и о формировке средневекового шведского языка, а также и критические статьи о современной русской литературе. Впрочем, он совершенно не умел устраиваться, то есть торчать часами в передних, льстить, закрывать рукой глаза совести, кланяться минутному успеху, заискивать у людей случая или влияния. А ведь сколько мы знаем карьер молниеносных и незаслуженных.

Достоинство — а если кому угодно, недостаток — этого *воистину человека* заключалось в его полной органической неспособности лгать. Право, в этом смысле он был каким-то прекрасным уродом на пейзаже русской интеллигентской действительности. На его слово — не на «честное слово», не на клятву, а на простое «да» и «нет» — можно было положиться тверже, чем на всякие временные законы и декреты.

Иногда эта верность слову у него выходила трогательно-смешной. Так, в 1902 году, по поводу мартовского избиения студенческой сходки на Казанской площади, профессора Петербургского университета единодушно вышли в отставку*. Потом они все постепенно опять заняли свои кафедры. Укорять в этом я их отнюдь не намерен: бастовать учителям и ученикам против науки почти то же, что младенцу бойкотировать материнские сосцы. Но Батюшкова так никто и не мог уговорить читать лекции. «Отставка есть отставка. Выйдет, что я не хозяин своему слову».

Его очень любили простые люди. Соседние с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики из Тристенки, Бородина, Высотина и Никифоровской, конечно, поделили между собою его землю под влиянием какого-то идиотского министерского распоряжения (зачем говорить об осле, если видны его уши?), но все как один решили: «Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблок не красть и, спаси Господи, не трогать книг».

Так они и сдержали слово. Но потом в милый, старый, ветхий дом с приклеенными колоннами вселился какой-то Центропуп. Вырубили деревья, посаженные в 1813 году французскими пленными, и куда-то, к чертовой матери, пошли д'Аламберовское издание энциклопедического словаря, первопечатные книги Вольтера, римские классики с параллельными текстами, латинским и французским, — все в переплетах из телячьей кожи с золотым теснением. Может быть, на краги полковнику Каменеву? Может быть, в библиотеку любителя книги Горького?

* В числе их и Ф.Д. Батюшков, читавший тогда курс западной литературы.

В то время, когда Ф. Д. был секретарем, казначеем и председателем Литературного фонда, он очень часто, оберегая кассу, помогал литераторам и журналистам из своего скудного кармана. Бывало так, что приходил какой-нибудь беззастенчивый репортер и со слезами на глазах просил денег на похороны своего незабвенного товарища, специалиста по пожарам. А через два дня Ф. Д. встречал веселого покойника на Невском и со свойственным ему мягким юмором говорил:

— Очень рад вас видеть. Как поживает ваша вдова? Надеюсь, в добром здравии?

Последняя моя встреча с Ф. Д. была в конце девятнадцатого года, на углу Садовой и Инженерной. Он шел в Публичную библиотеку и остановился взять с лотка полугнилое яблоко. Я спросил — зачем? «Это мой завтрак...» Он умер от истощения.

Целую землю, под которой ты лежишь.

P.S. Может быть, меня спросят, какой он был партии? Никакой. Он был родной брат декабристам.

Максим Горький

Есть люди, похожие на монету или на медаль. Их души всего о двух сторонах: на одной — номер, стоимость, эмблема и надпись; на другой — лицевое изображение, иными словами — что сделал и как жил. Это — дураки, зоологические хищники, прирожденные лгуны, рабы «общих мест» и ходячих мнений, но также и праведники, и герои, и гении. Ибо бывают крупные медяшки, изготовляемые штампом по одному образцу в миллионах штук и так стершиеся от употребления, что не видать ни орла, ни решки. Но бывают и золотые, полновесные уники, которые с любовью и терпением чеканили руки Бенвенуто Челлини.

Талантливые люди — о многих гранях. Художники слова — в особенности. По их произведениям, в которых причудливо перемешивается личная жизнь с выдуманным и наблюденным, интереснее и вернее всего следить за блеском этих граней.

Грубость таланта, в соединении с эгоистической грубостью и злостью натуры, доступнее для пытливого взора. У них всегда найдется фацетка, отражающая почти всего человека в авторе.

Горький разбросал себя во многих своих персонажах. Он есть и в Луке («На дне»), в этом лукавом бродячем старикашке, который одинаково равнодушен к добру и злу и одинаково готов потакать всякому мнению; и в Маякине, хитром ростовщике, мягком краснобае; и в сапожнике Орлове, главные мечты которого — взлесть на колокольню и плюнуть оттуда на всех людишек; и в Челкаше, воре по профессии, но социал-демократе по убеждениям.

Но ключ к познанию Горького — степенный мальчишка Илья Грачев из романа «Трое».

Этот герой чрезвычайно рано узнал подвальную, грязную, пьяную, развратную жизнь, жизнь задворок большого города. Но сам каким-то чудом вырос серьезным, солидным, красивым и рассудительным юношей с высокомерным, но жалостливым взглядом в мутную среду прошлого и со жгучим презрением ко всему буржуазному наверху.

И все-таки главная черта в нем — стремление к чистоте... обстановки. Малый он не без ловкости и с языком: девки к нему лезут, женщины на него засматриваются. Торгуя лентами, шпильками, духами, гребенками, он сколачивает немного денег. Характер у него упорный: мальчишеские проказы и траты не для него. Вскоре мечта его достигнута. Своя, отдельная, крошечная, но чисто убранная комнатка, на стенах — картинки с помадных банок, на окне — тюлевые занавески, а вверху между занавесками висит клетка, а в ней прыгает канарейка. Как видите, положено начало прочному будущему благополучию. У нас в России такие твердые, самовладеющие, устремленные люди обыкновенно к тридцати годам бывают миллионерами, а к сорока — городскими головами: это непреложный закон.

Не хватало Грачеву для полного саморазвития только связи с настоящей шикарной женщиной из так называемого порядочного общества. Ну что же, горничные? Правда, они свеженькие, любят так про-

сто, наивно, весело и крепко... Но разве о таких любвях пишут в грошовых романах? И судьба милостиво посылает Грачеву адюльтер с миловидной и добродетельной женой околоточного надзирателя.

Тут бы, кажется, и поставить точку. Дальнейшая жизнь Грачева ясна, а роман получает достаточную округленность и полную насыщенность. Но разве может быть герой Горького обыкновенным буржуем? Нет! Ведь в нем живут, наряду с тюлевыми занавесками, также и ненависть к современному строю, и многие другие «высшие побуждения». Хорошо же! Горький пишет продолжение романа, или, вернее, приложение к нему.

Во-первых, Грачев убивает старого менялу-ростовщика, содержателя одной из его любовниц. Убивает ловко, хладнокровно, ударом безмена по голове. Следов и улик нет. Дело сделано чисто. Да и что тут дурного? Скорее похвально: борьба до конца с капиталистическим строем. Бей по головам буржуев! Грабь награбленное! Горький в этот момент любуется своим Ильей.

Во-вторых, Грачев, спустя день или два после убийства, идет на кладбище и плюет на могилу своей жертвы. Немного жутко? Но ведь подумайте — какой «сверхчеловеческий поступок»! А в то же время сильно бродило среди русских недоучек комнатное, самодельное ницшеанство. «Все позволено», а следовательно, почему же не убить или не стащить чужое портмоне.

В-третьих, на именинах у околоточного надзирателя Грачев злобно, но «красиво» напивается и в «огненных» словах изобличает перед всеми свою связь с хозяйкой дома. Здесь тоже ничего нет предосудительного. Наоборот. «Надо безжалостно разоблачать язвы современного буржуазного общества, потонувшего в пьянстве, обжорстве и блуде!»

На этом месте ненужного приложения к роману опять-таки следовало бы поставить точку. Может быть, нервная читательница — синий чулок тогдашних времен, — закрывая книжку, прошептала бы: «Все это ужасно! Но Грачев — он такой красивый, смелый, сильный, правдивый! Может быть, он не станет ску-

пать за гроши хлеб у невежественных крестьян и не откроет ни ссудной кассы, ни публичного дома, а, почем знать, вдруг он сделается передовым, пламенным писателем, стойким борцом за свободу!»

Но Грачев сделал непростительную глупость. Взял да и тут же, на именинах, после сказанного — и сознался в том, что убил старика. «Дурак», — сказал сам Горький, ставя третью, на этот раз уже последнюю точку.

P.S. Я враг ныряния в чью бы то ни было частную, интимную жизнь. Но лишь одну невинную черточку, роднящую Максима Горького с Ильей Грачевым, я привожу.

Это любовь к птицам в клетках.

Ленин

Моментальная фотография

В первый и, вероятно, последний раз за всю мою жизнь я пошел к человеку с единственной целью — поглядеть на него: до этого я всегда в интересных знакомствах и встречах полагался на милость случая.

Дело, которое у меня было к самодержцу всероссийскому, не стоило ломаного гроша. Я тогда затеивал народную газету — не только беспартийную, но даже такую, в которой не было бы и намека на политику, внутреннюю и внешнюю. Горький в Петербурге сочувственно отнесся к моей мысли, но заранее предсказал неудачу. Каменев в Москве убеждал меня, для успеха дела, непременно ввести в газету полемику. «Вы можете хоть ругать нас», — сказал он весело. Но я подумал про себя: «Спасибо! Мы знаем, что в один прекрасный день эта непринужденная полемика может окончиться дискуссией на Лубянке, в здании ЧК», — и отказался от любезного совета.

Я и сам переставал верить в успех моего дикого предприятия, но воспользовался им как предлогом.

Свидание состоялось необыкновенно легко. Я позвонил по телефону секретарю Ленина, г-же Фотиевой, прося узнать, когда Владимир Ильич может принять меня. Она справилась и ответила: «Завтра това-

рищ Ленин будет ждать вас у себя в Кремле к девяти часам утра».

Надо было заручиться удостоверением личности от какой-нибудь организации. Мне его охотно дали в Комиссии по ликвидации армии Южного фронта. (Все это происходило в начале 1919 года.) С ним я и отправился утром в Кремль. За мной, как за лоцманским судном, увязался один молодой московский поэт. Он составил какой-то календарь для красноармейского солдата и в этом изданьице, между прочим, высказал замечательную сентенцию: «Красный воин не должен быть бабой». Жена Ленина, г-жа Крупская, обиделась за женский коллектив и в «Московской правде» отчитала поэта. «У автора старорежимные представления о женщинах. Те женщины, которых выдвинула в первые красные ряды великая русская революция, ничем не уступают ее самым смелым и пламенным борцам-мужчинам». Поэт испугался и шел оправдываться. Для этого он держал под мышкой целую стопку каких-то прежних брошюрок.

В проходе башни Кутафьи мы предъявили наши бумаги солдатскому караулу. Здесь нам сказали, что тов. Ленин живет в комендантском крыле, и указали вход в канцелярию. Оттуда по каменной, грязной, пахнувшей кошками лестнице мы поднялись на третий этаж в приемную — жалкую, пустую, полутемную, с непромытыми окнами, с деревянными скамейками по стенам, с единственным хромым столом в углу. Из большой двери, обитой черной рваной клеенкой, показалась барышня — бледнолицая, с блекло-голубыми глазами, спросила фамилию и скрылась. Надо сказать, нигде нас не обыскивали.

Ждали мы недолго, минуты три. Та же клеенчатая дверь слегка приоткрылась, и из нее наполовину высунулся рослый серьезный человек в поношенном пиджаке поверх черной косоворотки. Лицо у него было какого-то жесткого, желтого, дубового вида, черные, круглые, упорные глаза без ресниц, маленькие черные усы, холодное, враждебное и лениво-уверенное спокойствие в фигуре и движениях.

Подобного вида внушительных мужчин можно было видеть в качестве ночных швейцаров в самых

подозрительных гостиницах на окраинах Киева, Одессы или Варшавы.

— Идите, — сказал он и пропустил нас по очереди, оставляя между собой и дверью такую узкую щель, что я поневоле прикоснулся к нему. Мне кажется, будь у меня в эту минуту с собой револьвер, он сам собою, повинуясь магнитной силе этих черных глаз, выскочил бы из кармана.

— В эту дверь, налево.

Просторный и такой же мрачный и пустой, как передняя, в темных обоях кабинет. Три черных кожаных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола подымается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то «облическое», что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная, ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например медведей и слонов. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм, очень опрятный, но не щегольской; белый отложной мягкий воротничок, темный, узкий, длинный галстух. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите.

Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты; он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает — какой я фракции. Никакой, начинаю дело по личному почину.

— Так! — говорит он и отодвигает листки. — Я увижусь с Каменевым и переговорю с ним.

Все это занимает минуты три-четыре.

Но тут вступает поэт, который давно уже нетерпеливо двигал ногами под креслом. Я очень доволен

тем, что остался в роли наблюдателя, и приглядываюсь, не давая этого чувствовать.

Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Есть скуластость и разрез глаз вверх, но эти черточки не слишком монгольские; таких лиц очень много среди «русских американцев», расторопных выходцев из Любимовского уезда Ярославской губернии. Купол черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит в фотографических ракурсах. Впрочем, на фотографиях удаются правдоподобно только английские министры, опереточные дивы и лошади.

Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, красно-рыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье!

Разговаривая, он делает близко к лицу короткие, тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее.

От природы они узки; кроме того, у Ленина есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это, вместе с быстрыми взглядами исподлобья, придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй, хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков. Подыскивая сравнение к этому густо и ярко-оранжевому цвету, я раньше останавливался на зрелой ягоде шиповника. Но это сравнение не удовлетворяет меня. Лишь прошлым летом в парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: «Вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз!» Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они — точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры.

Голос у него приятный, слишком мужественный для маленького роста и с тем сдержанным запасом силы, который неоценим для трибуны. Реплики в разговоре всегда носят иронический, снисходительный, пренебрежительный оттенок — давняя привычка, приобретенная в бесчисленных словесных битвах. «Все, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка ребенком». Но это только манера, за нею полнейшее спокойствие, равнодушие ко всякой личности.

Вот, кажется, и все. Самого главного, конечно, не скажешь; это всегда так же трудно, как описывать словами пейзаж, мелодию, запах. Я боялся, что мой поэт никогда не кончит говорить, и поэтому встал и откланялся. Поэту пришлось последовать моему примеру. Мрачный детина опять выпустил нас в щелочку. Тут я заметил, что у него через весь лоб, вплоть до конца правой скулы, идет косой багровый рубец, отчего нижнее веко правого глаза кажется вывороченным. Я подумал: «Этот по одному знаку может, как волкодав, кинуться человеку на грудь и зубами перегрызть горло».

Ночью, уже в постели, без огня, я опять обратился памятью к Ленину, с необычайной ясностью вызвал его образ и... испугался. Мне показалось, что на мгновение я как будто бы вошел в него, почувствовал себя им.

«В сущности, — подумал я, — этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же — нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И при том — подумайте! — камень, в силу какого-то волшебства — *мыслящий*! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая — уничтожаю.

Какая стыдливость!

Когда в газетах меня ругают или сообщают обо мне лживые, гнусные известия – я молчу. Страшнее всего составить себе известность как автора писем в редакцию.

Но Василевский затронул мои самые возвышенные чувства, упрекнув меня в грубости языка. Его стыдливость настолько возмутили употребленные мною однажды слова «хам» и «сволочь», что он уже дважды призывал меня к порядку.

Однако я имею смелость не находить ничего неприличного в этих словах, кстати сказать, употребленных мною по отношению к большевикам. Попробую объясниться.

Василевскому не хуже меня известен поступок второго сына Ноя, создавший этому молодому человеку настолько прочную, но печальную знаменитость, что до наших времен его имя сохранилось в мировой памяти как синоним неуважения к старости, непочтения к семье и роду, распущенности, глупости и наглости.

К кому же так легко и справедливо приклеить это имя как не к большевикам, которые не только отвергли, оплевали, истоптали родину, но и торгуют ее обморочным телом, взывая иногда от ее имени к патриотическим чувствам и продавая ее ризы?

Да и как же может показаться для большевиков обидным мое слово, если в Пролеткульте совершенно серьезно был обсужден и принят вопрос о постановке памятников Каину, Хаму и Иуде как отважным борцам за свободу человеческого духа против религиозных, семейных и буржуазных предрассудков?

Что касается слова «сволочь», то оно очень древнее, упоминавшееся в русских государственных актах от времен чуть ли не Ярослава до Екатерины II (указ о заселении г. Луги). Под ним подразумевается значительное количество людей, соединенных вместе по случайным признакам, чаще всего насильно, что ясно видно из основного глагола (сволакивать, сволочить, сволóчь).

Как иначе, чем не сволочью, можно назвать общество, состоящее из ренегатов, убийц — простых и наемных, профессиональных воров, уголовных каторжников, палачей по призванию и любопытству, озлобленных литературных неудачников, бывших филеров и охранников, предателей за деньги и по злобе, садистов, истеричек, спекулянтов, дезертиров, мародеров, сумасшедших — буйных и параноиков, помешанных теоретиков Шигалевых, сектантов и черт знает чего еще... и вместе с ними в подавляющей массе девяносто процентов трепетных, жалких, измученных невинных людей, которых загнали в коммунисты рев пустого желудка, ужас перед системой заложничества и вечный страх за близких, бесконечно милых сердцу людей?

Итак: грубо и неправильно было бы, если бы я употребил слово «сволочь» по отношению к одному человеку или к ясно выраженной идейной группе или партии. Точно так же жестоко и глупо было бы назвать человека хамом лишь за его недворянское происхождение (в этом извращенном смысле слово «хам» имеет довольно широкое хождение). Я же, как видите, употребил оба слова к месту и вовсе не в ругательном значении, и мне ничуть не стыдно.

P.S. Г. Василевский в претензии на нас, беллетристов: зачем мы не пишем новых повестей, и предполагает, что это от злобы и бессилия.

Да просто как-то не тянет увивать в изящные слова красивые образы, когда душа оскудела. Лет через пятнадцать-двадцать придут иные писатели и спокойно, в перспективном освещении напишут о нынешнем... Мы еще слепы и пристрастны.

А старое печатаем потому, что большевики «сказнили» наши книги. Да уж будто бы г. Василевский также враг старины. По крайней мере, в 1918–1919 годах, когда я томился в Гатчине, а он издавал газету в Киеве и между нами не было ровно никакой связи, он так часто печатал мои старые статьи, что некоторые наши общие знакомые спрашивали: «Можно подумать, что Василевский привез с собой целый чемодан сочинений Куприна».

Неизвестный солдат

Мысль торжественно почтить безымянного, собирательного солдата, погибшего за родину в самой великой и самой несчастной из человеческих войн, пришла впервые в голову Англии, лучшей мастерице создавать обычаи и хранить их. Останки одного «какого-то» английского солдата были извлечены из общей братской могилы и привезены в Лондон для вторичного погребения, на этот раз в Вестминстерском аббатстве, рядом с теми знаменитыми сынами Англии, имена которых бессмертны для всего мира.

Через весь Лондон протянулась великолепная траурная процессия. Георг V шел за погребальной колесницей с непокрытой головой. Вся Англия сняла шляпы, как один человек. И вот неизвестный английский солдат, воплощение национального героизма, лежит в национальном английском святилище, и плита над ним доступна для обозрения публики и путешественников в определенные часы по будням и в праздники.

Франция повторила этот прекрасный жест, превратив его в удивительный символ. Инициатива принадлежала прессе. Первоначально предполагалось похоронить неизвестного «паулю»* в Пантеоне, для чего и был совместно приурочен день перенесения туда же урны с сердцем Гамбетты.

Но общественное мнение решило иначе. Оно придало английской мысли более глубокий, теплый, интимный, широкий и демократический характер. Оно выбрало местом последнего упокоения своего безымянного героя улицу, самый людный перекресток Парижа, Площадь Звезды, в которую лучами вливаются двенадцать широких проспектов и пять улиц. Там, в центре площади, возвышается прекрасная, дважды сквозная громада Наполеоновых Триумфальных ворот с четырьмя величественными арками. Там, под одной из арок, лежит вровень с землею

---

* Щетинистый, колючий. Так прозвали любовно воинов, возвратившихся домой, в отпуск, небритыми, заросшими жесткими волосами.

большая простая серая плита, на которой вырезана скромная надпись:

Здесь
покоится
солдат
Франции,
умерший
за отечество.
1914–1918.

Плита обнесена, в виде «покоя», решеткой, увешанной серебряными, пальмовыми, деревянными и другими венками. Все пространство между решеткой и плитой горой завалено цветами, и здесь рядом с такими роскошными букетами, какие могут составить лишь парижские магазины, лежит крошечный букетик фиалок ценою в три су, милое святое подношение поденщицы.

В какое время дня ни приходилось бы вам пересекать Площадь Звезды — вы всегда увидите под аркою черное неподвижное пятно народа. Одни приходят, останавливаются, другие уходят, мужчины обнажают головы. (Помните ли Спасские ворота в Кремле?) Французы умно, просто и нежно соединили здесь почет героям войны с наглядным доказательством того, как удивительно, беспримерно связаны во Франции народ и армия.

И я стою здесь, около решетки, и думаю: «Придет сюда вдова, сестра, дочь, а главное — *мать*. И скажет: “Тяжело мне нести бремя тоски по тому, кто не возвратится никогда, чье тело я даже не могла проводить в землю прощальным поцелуем. Но вот вся страна проходит через эти гордые арки и останавливается у *его* могилы в почтительном молчании. Выше всего — родина, ее честь, слава и благоденствие”».

* * *

Моему разуму понятен этот, осыпанный цветами, прекрасный символ. Но сердце мое молчит и переполняется черной злобой. Августовские леса, Бзура, Карпаты... Миллионы русских солдат, убитых и искалеченных. Чудесному сердцу русской женщины-мате-

ри негде искать опоры и утешения. Великие братские могилы безвестных героев осквернены дезертирством и предательством живых. И вся Россия, принесшая самые тягчайшие жертвы, вынесшая самые страшные испытания, прежде сильная и богатая, а ныне обобранная, обнищавшая, в струпьях, загнанная в какой-то мрачный, зловонный тупик, где раздается дикий голос:

— Родина? Предрассудок! Ее нет. Да здравствует Третий интернационал!

Неправда. Она есть. От Корнилова и Алексеева, через Колчака к Врангелю передается неугасимое жаркое пламя чистой любви к ней и бесхитростной веры в нее. И, может быть, не так уж далек тот час, когда наши прежние союзники с ужасом поймут, что, погасив этот огонь, они повергнут всю Европу в ужас и мрак насильственного коммунизма.

О Врангеле

Еще раз о Врангеле и, конечно, не в последний.

Мы можем предположить и понять то, что на французский перегруженный бюджет действительно нелегко ложилось содержание российской армии. Мы представляем себе и то, что у Франции не вполне свободны руки в этом деле. Поэтому, становясь на точку зрения французского правительства, мы хотя и с горечью, но все-таки способны усмотреть временные побуждения логики, выгоды и необходимости в его решении ликвидировать врангелевскую армию.

Но как нам судить о деятельности тех знатных русских иностранцев в Париже и Берлине, которые с таким усердным верхним чутьем помчались по следу этой мысли уже тогда, когда она была еще в зародышевом состоянии?

Ведь сами они ежедневно долбят, как дятлы, о том, что большевизм накануне краха, что вся Россия охвачена восстаниями, что близок час — он придет через месяцы, а кто знает, может быть, через недели, — когда главнейшие вожди красного коммунизма, спешно уложив чемоданы, умчатся во все края света

и страна — освобожденная, ликующая — вступит в новый, великий период Третьей России...

Но воображают ли они, какая страшная, мертвая зыбь раскачается по всей русской земле, когда она хоть на несколько дней почувствует себя безголовой? Задумывались они хоть раз над тем хаотическим ужасом, который понесет с собою во все стороны разбежавшаяся красная армия? Нет, это уже не будут толпы бородатых, оборванных дезертиров-мужиков семнадцатого года, стремившихся стихийно к разделу земли и к бабе на печку: теперь пойдут гулять по лицу нашей родины шайки полузверей, познавших все: и расстрелы, и пытки, и радость ночного грабежа среди пылающих городов, и сладость насилия над ребенком, кричащим предсмертным криком; полулюдей, у которых трехлетняя принудительная гражданская война вышибла из памяти все — родину, семью, веру...

Разве не появятся в глухих русских берлогах самозванцы, лжепророки, основатели чудовищных сект? Разве оставшиеся внутри страны меньшие коммунисты, эти «ленинские дураки», внезапно оторванные от сладкой, веселой и легкой жизни при чрезвычайках, знающие, что пришел их крайний денечек, чувствующие давление вокруг шеи, — разве они не рассосутся в качестве бродильного начала в народной массе для поднятия тысячи большевистских восстаний против нового, по необходимости сурового режима? Это именно они бессознательно будут хлопать дверьми вместо отсутствующих Ленина и Троцкого...

Кто же в эти безумные, бредовые дни повальной анархии станет на защиту русских животов и русской худобушки против злых воровских людей? Кто сумеет не потерять головы при землетрясении?

Эсеры?

Но как?

Все, что они могут, — это написать умную декларацию, горячую прокламацию, широкий манифест или убедительными речами призвать к порядку во имя родины и человеческого достоинства. Но в то время ни читать, ни слушать никто не станет. Никто не пойдет даже за такими громкими именами, как Чернов и Керенский.

Кто же охранит остатки путей сообщения, водопроводы, музеи, склады, фабрики, шахты, телеграфы и т.д., и т.д. от злостного или просто бессмысленного разрушения?

Может быть, милиция, организованная знатными русскими иностранцами из Парижа и Берлина? Ах, мы видели эту штатскую милицию в семнадцатом году, когда она еще была дисциплинированна, полна революционного пыла и сознания долга. «Кто прицепил этого маленького мальчика к этому большому ружью?» — спрашивали мы. Мы видели, как милицейский бежал со своего поста, бросив ружье, когда вблизи его лопалась шина. И мы сами бежали врассыпную, куда попало, когда милицейскому приходила в голову дурацкая мысль полюбопытствовать: что это за штука ружейный замок и для чего это внизу под ним приделан такой движущийся хвостик?

В дни сумбура, бестолковщины, кровавого бурления, не имеющего ни цели, ни смысла, уличные озорники в той же мере наглы и беспощадны, как и трусливы и подвержены панике. Взвод настоящих, непоколебимых солдат в десять раз сильнее тысячного пьяного, орущего, расхлябанного сброда. Три тысячи испытанных воинов, для которых смерть и повиновение одинаково привычны, смогут поддерживать совершенный порядок в Москве или Петербурге. Триста — достаточно для большого губернского города. И они же, только они смогут и сумеют инструкторским путем поставить милицию на твердую, точную и быструю военную ногу.

Таких солдат у Врангеля насчитывалось до тридцати-сорока тысяч. Это настоящая твердыня, здоровое, жизнестойкое, могучее ядро, из которого без труда родилась бы новая армия — опора и защита народного труда, оплот ничем и никем не стеснимого Учредительного Собрания.

Не дай Бог, чтобы наступил тот момент, когда *Третья Россия*, захлебываясь среди пожарищ собственной кровью, закричит: «Как вы смели способствовать гибели врангелевской армии! Проклятье вам!»

Что вы ответите?

«Это, собственно, не мы, а французы... Мы только так себе... немножко болтали... Ведь от слова не станется».

Станется.

P.S. Но Брут сказал: он был властолюбив. А Брут, конечно... честный человек.

Разные взгляды

Нельзя утверждать, что советские сатрапы-министры, губернаторы и генералы так уж голословны, когда они свидетельствуют перед лицом всего мира, устно и печатно, о добровольном приятии Россией радостей коммунистического парадиза. Нет: у них имеются для этого неопровержимые доказательства, условленные нарочитыми «царскими очами» и «царскими ушами» и регистрированные специальными докладчиками.

— Есть публичные жалобы на строй?

— Никак нет, ваше-ство!

Когда-никогда заверещит вслух какой-нибудь протестант. Но только на секундочку. Потом уже больше не верещит.

— Все довольны?

— Так точно, все!

Да что греха таить: скажу про себя. Раза три в неделю мне приходилось ездить из Гатчины в Питер и обратно, и очень-очень часто сосед по вагонной скамейке обращался ко мне игриво-доверчиво:

— А что, товарищ, как вы полагаете, вот мы с вами едем, как селедки в бочке, а комиссары, небось, катаются со своими девками в экстренных поездах. Тоже, вот, насчет муки или, скажем, сахару...

Но я неуклонно и твердо возражал в этих случаях словами народа из первого действия «Периколы»:

— Простите, товарищ, я ничего этого не знаю... Я знаю только одно, что — «Да здравствуют Советы!» А с посторонними, простите, в вагонах не разговариваю...

И он уходил с видом бульдога, у которого отняли косточку.

Мне скажут:

— Но ведь это недостаток гражданского мужества.

Весьма возможно-с! Но я сам был свидетелем того, как окончился один свободный вагонный диалог. Какой-то френч пробуждал революционное сознание в корявой, но очень услужливой старушонке:

— Ты посмотри, бабка, сколько раньше было этих самых жуликов и разбойников!..

— Верно, верно, батюшка, конца края им не было... Попили нашей кровушки!

— Ну вот! А теперь стало чисто. Куда же это жулье девалось?

— Все в комиссары пошли, батюшка, все в комиссары!..

А на станции Александровской старушонку изъял из вагона человек с ружьем... Хотя разве помешал этот пустой, единичный и смешной факт картине общей российско-социалистическо-федеративно-советской республиканской идиллии? Восстания — и те не мешают.

Иные русские политики за границей глубоко убеждены, что коренное население Советской России решительно против вмешательства иностранных держав, так же как оно против изгнания большевиков вооруженной рукою. Эти политики сами слишком давно из России, чтобы быть очевидцами. Но так уверяют их партийные товарищи оттуда.

Изо всех животных только человек способен совершенно искренно видеть наяву то, что он хочет видеть, но чего нет. И не в одних только чиновничьих департаментах, но и в партиях люди умеют почти невольно, почти бессознательно —

...курить в направлении, заданном ладаном.

Разве еще задолго до 1905 года мы не бывали свидетелями того, как в редакцию толстого радикального журнала влетала зимою толстая радикальствующая барыня и, торопясь развьючиться от платков, шарфов и перчаток, сыпля вокруг себя снег, восклицала еще из передней:

— Изумительно! Потрясающе!.. Еду я сейчас на извозчике. Я ему говорю!.. А он мне говорит!.. Поразительно!.. Простой извозчик!.. Господа, революция на носу!..

И чья-нибудь седая борода в очках роняла глубокомысленно:

— Гм... Факт как таковой весьма знаменателен!..

Мы же, прожившие в России несравненно дольше, мы, тоже получающие оттуда известия, но не от сопартийников, а от простых беспристрастных наблюдателей, — мы вывели совершенно противоположное убеждение и не можем от него отступиться. Мы знаем, что вся Россия дрожала от радостного ожидания во время наступления белых армий и молилась за их вождей. Мы знаем, что если бы Юденич не оттянул почти насильно талабцев генерала Пермикина и они, так героически ликвидировавшие Кипенский прорыв, вторично докатились бы до Петрограда, то из всех домов, из всех окон полетели бы на головы большевикам горшки, стулья, лампы, кастрюли, самовары...

Видите, какое странное расхождение во мнениях. Но оно идет еще глубже.

Иные русские политики за границей утверждают, будто благоверный народ не забыл того, что землю ему дали эсеры, и что только они и могут ее закрепить за ними навеки, и что поэтому настоящее правительство дадут ему те же эсеры, ожидаемые столь нетерпеливо.

А мы, например, слыхали о следующей форме, в которую вылились народные чаяния:

— Нам чтобы долой всех коммунистов и комиссаров, чтобы были советы и была бы республика, а над ней чтобы был царь, да такой, что как он кулаком по столу треснет, то чтобы у всех в мире ноги затряслись!

Нелепо? По-моему, лепо. Здесь нет и тени монархической идеи. Здесь требование выборного начала и нестерпимая жажда твердой, близкой, своей, собственной, родной власти, какая бы она ни была, — едино- или многоличная.

И еще дальше идет наше расхождение.

Они говорят: предоставьте Россию самой себе, она восстанет и в несколько дней сбросит большевистское бремя. Видите, она уже восстает!

Ах! Вспомните первый сон Раскольникова об истязаемой клячонке, да и сами вы, конечно, видели, как на въезде на горбатый Троицкий мост озверелый мужичище хлещет по ногам и по морде лядащую, вспаренную, перегруженную лошаденку. Может быть, некоторые из вас, глядя на конвульсивные движения несчастного животного, думали: вот она сейчас разнесет вдребезги и телегу, и возчика... но лишь глядели и молчали. Но куда ей, заморенной, разнести!

А нужно было поступить вот как:

— Городовой! Что же ты, братец, сукин сын, разинул рот и любуешься? Вот мой значок! Какой твой номер? Живо разгрузить телегу, а возчика — в часть. Там ему покажут!

Или так, как сделал однажды мой приятель, цирковой артист, человек самый смирный на свете, но слишком горячо любивший лошадей. Он подошел к извозчику, обругал его единственным черным русским словом, какое только нашел — «ви! больван!» — и ударил его по скуле, что сразу произвело магическое умиротворяющее действие.

Пестрота

Теория большевизма, как, впрочем, и всякая социалистическая теория, осталась для русских масс непонятной. Глубокий, но простой и легко усвояемый смысл имела его практическая программа.

«Мир хижинам, война дворцам». «Грабь награбленное». «Смерть буржуям и капиталистам». «Вся власть пролетариату». От всех этих лозунгов густо запахло наживой, властью, местью, весельем грабежа, жутко манящей, приторно сладкой безнаказанностью убийства, пьяными разгульными красными денечками, колдовским запахом свежей крови...

И как странно, дико и пестро потянулись к большевизму русские люди всевозможных профессий сообразно с качеством этих соблазнительных приманок и с особенностями своего ремесла.

Крестьянин присмотрелся и к большевизму, и к коммунизму: насколько они смогут обеспечить ему неприкосновенность труда на захваченной навеки земле; понюхал и отвернулся, махнув рукой со злобой и отвращением. А вместе с ним махнули рукой все его городские земляки и неудержимо потянулись в деревню.

Рабочие, несущие сложный, опасный и тяжелый труд около доменных, пудлинговых и бессемеровских печей, на рельсо-прокатных заводах, около изумительных, грандиозных машин, все эти мастера, модельщики, формовщики, литейщики, машинисты и т.п., которые раньше так открыто, смело и верно служили идее революции, давно уже отвалились от большевиков и стоят к ним в оппозиции. То же самое печатники — самые языкатые, вольнолюбивые и дерзкие люди из всех рабочих.

Совсем не грешны большевизмом степенные плотники и буйные рыболовы. Они вместе с пчеловодами считают свое ремесло «Божьим». Кроме того, им близко артельное начало, а надо заметить, — и это очень странно, — что привычные к артели работники не уживаются с коммунизмом. Отсутствуют в коммунах каменщики, зато крупный уклон влево замечается у банщиков, привыкших не видеть в голых людях разницы; и те, и другие — Тульской губернии.

Мастеровые, имеющие постоянное дело с режущим, колющим и сверлящим инструментом, — чаще всего за классовую борьбу; из них, сейчас уже вслед за сапожниками и портными, этими всегдашними кривоногими бунтарями, идут слесари и водопроводчики. Исключение — как это ни удивительно — представляют повара, люди пламенного темперамента, всегда вооруженные и к тому же баснословные пьяницы; но они — как хотите — служители высокого искусства. Пожарные — за войну дворцам, кухарки — против, как они ладят — не знаю.

Надо ли говорить о лакеях, официантах, бывших денщиках? Они неизбежно на самом левом крыле, причем достойно внимания, что наиболее ревностны в служении власти пролетариата лакеи из самых

низших кабачков, а денщики — так самых лучших, добрых офицеров.

Очень старательны перед советским правительством люди полуинтеллигентных профессий и разные бывшие второстепенные, мелкие служащие: фельдшера, техники, кочегары, писаря, приказчики и всякие полуспециалисты по электричеству. В классовой борьбе они настойчиво уминают под себя докторов, инженеров и старых хозяев, обвиняя их в невежестве, эксплуатации, саботаже и корыстолюбии. Они и получают свою награду. Фельдшерам давно уже даровано звание докторов. Бывший кочегар — нередко начальник дистанции. Репортер «Биржевых ведомостей» заведует Публичной библиотекой. Но почему бывший метранпаж стоял во главе Надеждинского гинекологического института — извините, не понимаю!

Бывшие горничные, как на подбор, ярые коммунистки. Их я понимаю более всех других. Надо знать, какое вьючное животное представляла из себя в старые времена горничная, чтобы понять ее нынешние непримиримые чувства. Да! Если в большевизме отрыгнулся старинный рабовладельческий дух, то, с другой стороны, большевизм дал жестокие и незабываемые уроки для будущего! Рядом с ними поставлю дворников, и по тем же причинам. Ночные дежурства особенно озлобляют бессонную душу, если они бездоходны. Что касается швейцаров, они, подобно парижским портье, консервативны.

Курьезно разногласие в приятии большевизма среди тружеников, обслуживающих сообщения: телеграфисты — красны, радиотелеграфисты — пурпуровы, телефонистки склонны к большевизму прямо пропорционально красоте наружности (в Петербурге они были подряд хорошенькие); почтальоны и младшие чиновники почти до сих пор усердно и беспартийно служат своему развалившемуся делу. Тут чисто русский курьез: два ведомства еще до революции несли самый тяжелый труд, менее всего оплачивались, были наиболее ответственными в денежном смысле и наиболее старались не за страх, а за совесть — почтовое и лесное.

Не будем говорить о женщинах из ЧК. Их влекут туда половые извращенности, о которых даже специалисты-психиатры мало знают из-за свойственной больным женщинам этого сорта упорной скрытности (см. Крафта-Эбинга, «Половая психопатия»). Профессиональные проститутки сделались женами комиссаров. Вреда они большого не делают, состоят в законном браке, но сто́ят республике немало. Кстати: женский состав балета весь идейно обольшевичен.

«Души кучеров мало исследованы», — как сказал мистер Пиквик. Русских в особенности. Это была крепкая, наследственная порода — серьезная, самоуверенная, стойкая и несколько высокомерная; общение с лошадьми воспитывало ее в этом характере. Ныне она вымерла с вымиранием лошадей. Остались лихачи для комиссаров; но у них давняя общность работы.

Зато их потомки — шоферы, это уродливое явление проклятой механистической культуры, кажется, во всем мире настроены на красный лад. И немудрено: эти сверхчеловеки вследствие сидячей и потрясучей жизни сплошь тяжело больны приливами крови, нервы у них раскалены, а частые «освещения» во время стоянок тоже не способствуют душевному равновесию. Кроме того, вечное пожирание пространства кружит голову, а раздавленные мопсы и старухи делают сердце привычно-жестоким.

Шофер — внук кучера, но сын лихача. Подождите: то ли еще будет, когда культура произведет на свет Божий воздушных извозчиков! Те, вероятно, прямо и будут рождаться с зубами во рту, с красным знаменем в одной руке и бомбой в другой.

Русские в Париже

Для оценки вещей и событий в Париже (а значит, и во Франции) есть три ступени: народ, пресса и правительство.

Нигде газеты не расходятся в таком громадном количестве и не читаются с таким рвением, как в Париже. Хлеб, вино и газета составляют насущные потребности одинаковой важности. От министра до

каменщика, до кондуктора из метро — каждый парижанин покупает утром «свою газету». Нельзя не отметить того, что парижская публика почти не читает газет бесплатно, в общественных местах. Иные газеты выходят в день тремя, четырьмя изданиями.

Газета обладает здесь страшной движущей силой. Она может все: похоронить «Неизвестного солдата под Триумфальной аркой», обуздать аппетиты зарвавшихся торговцев, урегулировать уличное движение, сменить префекта полиции, отвергнуть постановку исторического монумента, создать человеку в один день громкую славу и в полчаса разрушить ее: Клемансо, еще будучи журналистом, приобрел свое прозвище «тигра» за легкость и беспощадность, с которыми он пожирал, одного за другим, министров...

Парижская газета никого и ничего не боится, кроме «своего читателя». Если к ее голосу чутко, чересчур чутко прислушивается правительство, то зато и она прекрасно знает вкус своей аудитории и безошибочно улавливает ее мнения. Сейчас, например, весь Париж (а значит, и вся Франция) более всяческих политических комбинаций интересуется состязанием в боксе между Карпантье и Демпси, которое на днях должно произойти в Нью-Йорке. Верьте, что все эти миллионы белых листков, в которые уткнулись люди дома и на улице, стоя, сидя и на ходу, на верандах бесчисленных кафе, в омнибусах, трамваях, поездах, лифтах и автомобилях, — все газеты полны портретами «Великого Жоржа» с его эластичной кошачьей позой, с волосами, гладко зачесанными назад, как их носит теперь, из подражания кумиру, вся французская молодежь. Окончательный и недобрый приговор большевикам был вынесен у жестяных прилавков «бистро» между двумя стаканчиками красного вина.

«Весь Париж», который раньше делал революции, создает общественное мнение страны. До поры до времени он весьма уступчив, добродушен, снисходителен. Но он не любит крайностей. Всегда может наступить минута, когда он скажет: «Вот, до этого места», и тогда сразу становится видно, что он хозяин в своем доме. Прекрасный и убедительный символ на-

родоправства. Именно с этой средой, где зарождается общественное мнение, мне приходится особенно часто и тесно сталкиваться, как по моим личным наклонностям, так и по распорядку моего дня. Приятели мои — больше из плебса: каменщики, каштанщики, устричники, почтальоны, угольщики, извозчики, газетчики и т.д. Кроме того, я ежедневно прочитываю несколько газет «попроще». И вот из этих двух источников я почерпнул несколько, пожалуй, странный взгляд:

Французскому правительству так называемый «русский вопрос», может быть, кажется и тяжелым, и запутанным, и слишком сложным, и даже неразрешимым, во всяком случае — надоедливым; да, вероятно, оно и не совсем свободно в своих решениях. Но прошел уже почти год, как я живу в Париже, присматриваюсь и прислушиваюсь и все-таки не нахожу того недоброжелательного отношения к русским ни в прессе, ни в публике, о котором предшествовала молва; думаю, его и вовсе нет.

У маленьких рантье, у всех этих лавочников и консьержек, хранятся бумаги русского займа. Вообразите себе: доверие к этим бумажкам до сих пор еще не потеряно. Часто меня спрашивают, заплатим ли мы по ним. Но в вопросе нет безнадежности; чувствуется лишь желание нового подтверждения. И я подтверждаю от чистого сердца. Пусть меня не судят за это очень строго: что я могу поделать с глубокою внутреннею увереностью, что, действительно, рано или поздно мы честь честью рассчитаемся с этими трудолюбивыми, бережливыми и бедными людьми?

За Брест-Литовск винят лишь большевиков, а за большевиков — нашу чрезмерную усталость. Помнят нашу выручку в дни Марны и Вердена. Знают наши громадные потери. Страну жалеют, правда, чуть-чуть свысока — не выказывается, но где-то нащупывается мысль: «Франция этого никогда не сделала бы...» Но и на маленьком сочувствии спасибо.

Очень живо интересуются трагической судьбою царя и царской семьи. Говорят об этом с осуждением и брезгливостью. «Позвольте, ведь и вы казнили вашего доброго короля?» — «Одно дело казнь по суду

народному, а другое — мерзкое, грязное убийство, без смысла и оправдания».

Хорошо и тепло сохранилась память об Александре III и даже о его мощной фигуре, напоминающей сильные образы первых капетингов. Этот хозяйственный царь умел быть величественным и обаятельным. Он туго шел на союз с республиканской страной, но, однажды дав слово, оказался верным другом и союзником. Память политических деятелей минуты всегда короче народной памяти.

Французы откровенны, а жизнь еще дорога, и квартирный кризис еще стоит во всей своей остроте. У нас бы давно заворчали на лишние рты иноплеменных беженцев. Здесь, по какой-то милой, осторожной деликатности, молчат и народ, и пресса. Кто-то высказал мне по этому поводу соображение: «Но ведь русские все-таки дают городу торговать».

Это я учитываю и даже должен сказать, что русским повсюду предоставляют широкий кредит. Но как раз к тому слою русских эмигрантов, которые катаются на собственных автомобилях, декольтируются ниже спины, носят на руках и на груди целые выставки ювелирных магазинов и шумно объедаются и опиваются в самых дорогих ресторанах, — как раз к этому слою, дающему более других торговать, относятся с насмешливым презрением: «Канкан во время народного траура».

К русским недоброжелательны лишь большевистские газеты; их — две, три. По поводу их травли можно спросить: «За сколько?»

Но народу, в особенности же французскому, никто не может диктовать: ни образа мыслей, ни поведения.

Часовщик

Нет, все-таки существуют на свете такие люди, которые и до сей поры к советскому бесстыдству, безобразию, хищничеству, безграмотности, глупости, оголтелости — прилагают слово *правительство.* Хотят ли эти люди быть обманутыми, обманывают ли они других или, действительно, сами обмануты — трудно решить.

Конечно, каждому правительству, даже самому дружному и стойкому, свойственно делать ошибки и затем их исправлять. Но что мы скажем о правительстве, которое только и делает, что, установив закон, сейчас же его отменяет, чтобы завтра опять принять его, а через день снова разорвать и выбросить на помойку. Поглядите на трехгодичную деятельность советского правительства.

Оно провозглашает свободу печати и, едва укрепившись во власти, уничтожает все газеты, журналы и книги, кроме своих, нужных для пропаганды.

Оно отменяет пресловутую паспортную систему, но требует от гражданина предъявления, во всех случаях жизни, такого количества всяких удостоверений личности, свидетельств, мандатов, пропусков, разрешений, ручательств и фотографических карточек, что у каждого гражданина все карманы набиты этой бумажной трухой. Наконец, к ней оно прибавило и обязательную трудовую книжку.

Оно запрещает курение табака как вредное для здоровья и выдает махорку в виде премии за усиленную работу.

Отменяет смертную казнь, опять вводит ее и опять отменяет, допуская ее лишь в прифронтовой полосе, куда и отправляются для казни все жертвы, потом еще раз окончательно ее отменяет и в то же время каждый месяц печатает о тысячах расстрелянных.

Посрывало с офицеров кокарды, погоны и ордена, но тут же установило орден Красной Звезды многих степеней, средневековые, опереточные доспехи и шишаки, награды крадеными часами, серп и молот, пентаграмму.

Прекращает свободную торговлю и разрешает ее двадцать раз в год. Так же открывает и закрывает городские рынки. Так же бестолково поступает с правом проезда по железной дороге и с переменой места жительства.

Объявляет свободу совести и чуть ли не в тот же день подвергает неслыханному гонению церковь и ее служителей.

Во имя интернационала охаяла родину как слепой, смешной предрассудок, но, начиная войну с

Польшей, завопило о чести и доблести России, о седых кремлевских стенах, об истории отечества и о патриотизме.

Устами своих трубадуров Горького и Луначарского восторженно поет о величии науки и искусства и равнодушно смотрит, как ученые и поэты умирают от тифа, голодного истощения, цинги, а лаборатории и книгохранилища гибнут от мороза и сырости.

Уничтожает всяческие права собственности и наследства. Для лучшего закрепления этого закона вселяет в чужие дома (рабочих даже насильно) трудящийся пролетариат, а прежних хозяев вышвыривает на улицу. Но прошло два года, и правительство не только предлагает бывшим собственникам купить свои бывшие, ныне разоренные и загаженные дома, но разрешает даже приобрести за деньги мебель, каковой нигде больше в России не существует.

Обещает перед каждым новым годом покончить с денежными знаками, введя трудовые карточки, и печатает сотни миллиардов ровно ничего не стоящих кредитных билетов.

Оно твердо намерено истребить в корне всякую ненужную канцелярщину, но никогда еще Россия — даже во времена Акакия Акакиевича — не утопала в таких лавинах ненужной, вздорной, бестолковой и противуречивой бумажной переписки. Число советских чиновников в десять раз превосходит количество чернильных людей царских времен. Высчитано: для того, чтобы в России получить разрешение на покупку трех лотов огородных семян или десяти сажен веревки, надо выправить бумаги из шести-семи мест, употребив на это около двух недель; еще неделя — на ожидание своей очереди.

Оно призывает граждан к счастливому, свободному и легкому труду, а его наемные барды в стихах и прозе воспевают этот священный труд. Но оно же ружьями заставляет голодных рабочих трудиться десять часов подряд, а Троцкий мечтает о применении Тэйлоровской системы.

Оно толкует о личной инициативе, а само — неумное, мелочное и слепое — лезет не только во все отрасли государственной и общественной жизни, но

даже – тьфу! – в самые бабьи дела, которыми всегда брезговал интересоваться степенный мужик: по распоряжению Главкомгриба, под надзором вооруженных коммунистов и на ответственности особых грибных старост отправляются в леса и рощи особые отряды грибоискателей.

Оно воскликнуло: дайте первое место порабощенной женщине – и сделало эту женщину палачом, чистильщицей солдатских нужников, предметом половой социализации.

Оно, наконец, хрипнет от призывов к созидательной работе, но от единого его прикосновения, от одного его дыхания, как от пожара или саранчи, со сказочной быстротой гибнет культура страны вместе с ее когда-то огромными запасами и неисчислимо богатым будущим.

Хотите еще тысячу примеров?

Были у кого-то хорошие старинные часы. Правда, они отставали немножко. Но время от времени их подводили, и шли они все-таки недурно. Хозяин изредка поговаривал, что надо было бы отнести их к хорошему мастеру почистить и проверить, но, по лености и беспечности, все как-то не собрался.

А у него жил племянник юродный, черт его знает, сколько раз юродный – этого никто не мог вычислить – зловредный и наглый мальчишка, неоднократно уже сидевший за разные пакости в исправительном. «Зачем мастер? – сказал он в своем непоседливом уме. – Я лучше всякого мастера исправлю». Надо сказать, что он видел однажды с улицы, через стекло, часовщика за работой.

И вот, уждав время, взялся он за эти часы. Первым долгом разбил стекло. Отковырнул ножичком две крышки. Отодвинул какие-то винтики, вытащил наружу зубчатые колесики... Какая-то тоненькая спиральная пружинка зашипела, раскрутилась и упала на пол, за ней посыпались и все другие внутренности.

Пробившись над часами около часа и окончательно их испортив, мальчик вспотел и сказал: «Поработал – теперь надо отдохнуть». Собрал всю металлическую мелочь, втиснул ее с пылью и сором во вмес-

тилище механизма, но закрыть крышек уже не мог... «В другой раз», — сказал он.

Пришел хозяин. Часы он тотчас же велел отнести к настоящему мастеру, а сам, расстегивая поясной ремень, приказал сурово:

— Снимай штаны!

С тех пор мальчика так и дразнили «часовщиком»...

Но ведь это только в насмешку. Никто бы не отдал ему в починку часов, особенно своих.

P.S. Сравнение мало потеряет, если мы порочного мальчишку заменим умной обезьяной или хитрым сумасшедшим.

Ребус

Из газеты «Путь» (24 августа, № 153) я с неприятным удивлением узнал о себе, что будто бы я, по достоверным сведениям, полученным этой газетой из Парижа:

1) вышел из состава редакции «Общего дела» вследствие принципиальных разногласий;

2) пришел в последнее время к убеждению, что русская эмиграция представляет глубоко отрицательное явление, и

3) нахожу, что эмигрантская политика не отвечает интересам России.

Сначала я должен заявить, что из газеты «Общее дело» я не только не вышел, но даже не думал и не думаю выходить. К этому не представлялось ни разу ни принципиальных, ни личных поводов да, полагаю, и впредь не представится.

Что же касается русской эмиграции — от меня не скрыты ее темные стороны. Но все нехорошее, что о ней можно сказать, совершенно поглощается тем, что она есть прямое следствие большевистского режима. По смыслу своего бытия она представляет собою отрицание самого отрицательного, самого безмерно-злого явления мировой истории — воинствующего русского коммунизма, — и, таким образом, в глазах моих рисуется не отрицательным, а положительным явлением. Минус на минус — плюс.

Эмигрантскую политику я, правда, наблюдаю с горем. Партийные раздоры разбили ее на множество групп, усилия которых, направленные в разные стороны, не дают равнодействующей, несмотря на то, что цель усилий для всех одна — свержение большевиков. В этом отношении, то есть в несогласованности сил, эмигрантская политика, действительно, не отвечает самому важному, вернее сказать, всеобъемлющему интересу России. И все-таки, виня в этом разброде лишь вечное русское головотяпство, рукосуйство, всезнайство, блудословие и упрямство, я, тем не менее, не перестаю верить в одно чаемое чудо, которое вдруг прояснит умы русских эмигрантов и соединит их силы в одном стремлении. Чудо не особенно таинственное, даже весьма простое — любовь к Родине.

Но куда мне отнести, чем объяснить и как назвать существование за границей тех расторопных мужчин, которые утверждают и закрепляют русский большевизм и кадят ему словесно и печатно под разными масками? Узнаю раба по льстивой речи и по согбенной спине, предателя — по глазам и по голосу, наемного убийцу — по приемам.

Зачем им понадобилось захватить меня очередной ложью — ума не приложу. Это какой-то ребус с ходом шахматного коня и с непонятным для меня квадратом, где заключена непонятная мне злая и глупая гадость.

Орочены

Незадолго до войны в суровой Финляндии почти не знали замко́в, особенно на севере, потому что не было воров. В некоторых городах Германии улицы были засажены фруктовыми деревьями, и никакому мальчишке не приходило в голову трогать плоды. Слову британца верили тверже, чем векселю. Вы могли забыть зонтик или саквояж в любом французском вагоне и на другой день найти его в бюро потерянных вещей. И т.д., и т.д.

После войны как-то разом упала общественная нравственность. Расхищают, присваивают и просто

крадут все, кроме безруких, идиотов и грудных детей. Слово совершенно потеряло вес и значение. Война слишком ясно показала многим, что человек — самое непрочное существо, которое делается беспомощным от крошечной дырки в голове. Никогда от сотворения мира не было стольких убийств с целью грабежа, и это даже в странах, гордящихся своей высокой цивилизацией... Бывшие спекулянты и мародеры — акулы войны, нажившиеся на солдатской крови, перекачавшие государственные запасы в свои карманы, эти нынешние нувориши, окруженные подобострастным восхищением толпы, — завладели не только женщинами, лошадьми, бриллиантами, яхтами и биржей, но также солнцем, луною, зарею, звездами, лесом, цветами, природою, искусством и общественным мнением.

Ну разве возможно было себе представить до войны, чтобы матч Демпси — Карпантье возбудил столь страстное внимание всех грамотных жителей Старого и Нового Света, какого никогда не возбуждали ни величайшее научное открытие, ни самая кровопролитная битва? Разве толстяк Фатти не был торжественно встречен и помпезно чествован представителями искусства Франции, царицы изящного? Разве не удостоился неслыханных царских оваций Чарли Чаплин?

Если океан в отливе или оседает земля, то вместе с ними неизбежно плывут или сползают все находящиеся на них предметы. Вместе с моральным обеднением народов обнищали духовно крупные люди, водители мнений, представители ума, власти и чести. Правда, они, пожалуй, не вытащат кошелька из чужого кармана, способны аккуратно расплатиться за бридж и, должно быть, не берут денег со своих любовниц. Они даже многое видят и понимают... Но душа человеческая так сложна и складна, а ум так ловко умеет обращаться с иллюзиями, компромиссами и софизмами... Да и кто найдет теперь язык Иеремии или пламень Савонароллы и кто отважится закричать их словами, не рискуя вызвать безумно-веселый смех во всем мировом театре — от галерки до лож бенуара?

И как это ни прискорбно, а надо нам, русским, вынув голову из-под крыла самообмана, здраво сознаться, что никто — говоря по совести — судьбою нашего отечества на этом вертящемся шаре не интересуется. Только из вежливости слушают наш робкий писк: «Помилуйте — страна Достоевского и Толстого!» Но как хотите — а романы Бурже понятнее «Идиота» и стройнее циклопической «Войны и мира», Шерлок Холмс занимательнее Чехова, а наш благоуханный, чудесный Пушкин в переводе выходит плоским местом.

Западные расы позволяют себе роскошь сентиментальности в виде жеста, фразы, легкой приправы к общежитию, но в мудром своем и прочном эгоизме они мало склонны к женственной жалости. Вымирает от голода и от язвы большевизма недавно сказочно богатая и безмерно сильная страна. «Ах, несчастные люди! Вот и у нас тоже: хлеб стоит вчетверо дороже, чем до войны, а квартиры — вдесятеро». Увы! своя заусеница болит гораздо острее, чем чужая пробитая пулею печень.

Да и что такое Россия в глазах среднего европейца? Экзотическая страна, какой-то географический, этнографический, исторический и психологический абсурд. Страна, где ходят по столичным улицам белые медведи и прирученные волки, страна самовара, les boyards russes, les tchinovnikes и les nihilistes[1], страна чудных минаретов, идолопоклонства, страна, бросившая на войне союзников, страна, разложившаяся и обнищавшая, благодаря усилиям десятка большевиков. Дикая, первобытная, варварская страна! А главное — страна, которая вот уже четвертый год распространяет волны тревоги по всему миру.

Водители заграничного мнения, люди ума, силы и изобретательности, люди исключительной чуткости, гибкости и приспособляемости, давно уже присматриваются к событиям и настроениям и взвешивают их на опытных ладонях. И, может быть, недалеко то время, когда кто-то первый из них признает старую колонизаторскую формулу.

«Земной шар слишком мал, а людей на нем чересчур много. И вот, если мы наблюдаем, что на одной

[1] русских бояр, чиновников... нигилистов *(фр.)*.

части планеты люди высокой культуры, знаний и интенсивного труда задыхаются от безработицы, конкуренции и бедности, а другая, плодородная часть, заселенная какими-то полуголодными язычниками и антропофагами, кочующими звероловами, первобытными пахарями — ковырятелями земли, лежит в первозданной нетронутости, то не долг ли, не призвание ли культурных народов занять, хотя бы силою, эту часть земли и развить на ней правильное хозяйство в интересах всего цивилизованного человечества? Так было поступлено некогда с ацтеками, северными индейцами, неграми, австралийцами, бушменами, туарегами, эскимосами; так и Россия в свое время колонизировала северо-восточную Сибирь, и где теперь следы каких-то ороченов и гиляков? — так должно быть, в силу непреложных причин, поступлено и с Россией».

Конечно, мы ответим на эту формулу горячим протестом, написанным на тридцати листах бумаги.

«Но мы вовсе не ботокуны, не орочены и не эскимосы! У нас Толстой и Достоевский. У нас Белелюбский строил мосты, Воронихин — соборы, Щукин — паровозы, Сикорский — аэропланы, Попов — беспроволочный телеграф. Кроме того, мы страстно любим родину. И кроме того, поглядите — у нас музыка и балет».

Но мудрый политик возразит нам так снисходительно-ласково, как говорят с детьми, убеждая их принять слабительное:

«Это все равно. Вот у нас в столице гостили табором дагомейцы. У них музыка очень своеобразна, рисунки их на слоновой кости просто прелесть, и на их танцы собирался смотреть весь город. Они тоже страстно любили родину — до такой степени, что умирали от ностальгии. Но все они, хотя и были одинаково черны, голы и губасты и так похожи друг на друга, что не различишь, все они происходили из разных враждующих семейств. Несогласия их истекали из-за способа молиться своим богам: одни стояли перед ними на параллельных ступенях, другие — носками внутрь, третьи — наружу. И от этого у них происходили такие распри и так они надоедали свои-

ми криками и жалобами, что наш муниципалитет решил, для их же блага, возвратить их на родину, где они должны работать на славу и пользу Европы».

Что мы возразим на последний довод?

Третья стража

Говорят, что где-то, не то в Гималайском хребте, не то в Кордильерах, есть редкая диковинка, физический абсурд. На высокой скале стоит огромнейший камень — ребром, точно острием, вниз. Центр его тяжести гораздо выше точки опоры. Равновесие настолько неустойчиво, что наблюдается легкое покачивание тяжелой массы. Американские любители сильных ощущений иногда даже всползают на вершину камня и фотографируют оттуда. И пусть их. Падение этого странного обломка ничему не грозит внизу. Но рано или поздно он упадет от малейшего сотрясения почвы.

Совершенно в таком же положении едва устойчивого равновесия находится сейчас правительство Советской России. И в этом нас более всего убеждают многочисленные письма Горького. Они, вернее всяких анкет, сообщений и свидетельств, рисуют нам образ огненного кольца и внутри его — скорпиона, готового ужалить себя в голову.

Как жалка эта эпистолярная литература! Как она бледна и натянута! Какой неверный, срывающийся тон!

К мистеру Хуверу:

«Помогите, дорогой м-р Хувер. Как-никак погибают 25 000 000. Ведь нам все равно: орочены, бушмены, гиляки — лишь бы было поле филантропическому снобизму ваших соотечественников».

К Гауптману:

«Милый Гердгард! Возбудите у себя сочувствие. Вы и я. Вы написали “Ткачи”, я — “Мещане”. Нам с Вами, товарищ, как-то неловко молчать. Кроме того, и у нас были кое-какие старики: Толстой, например, Достоевский... Или вот еще Менделеев... открыт какой-то там радий. А! Человек — ведь это звучит гордо».

К рабочим Франции через «Humanité»:

«Товарищи! Мы, стало быть, этим делали поучительный социальный опыт. Просчитались на мужике. Отнимали у него, несознательного подлеца, хлеб, стукали его по башкам, все хорошо выходило. Через год рабочий всего мира ел бы каждый день курятину — варену и жарену. А вдруг контрреволюционный Бог послал засуху. Приходит крышка. Надо, товарищи, помочь нам. А мы за это, как чуть-чуть отдышимся, немедля приступим к продолжению опыта. Главное — жаль редкий случай потерять. Эксперимент уж больно плодотворный. Деньги переводить на мое имя. Так и пишите: Россия, главному комиссару по продовольствию Горькому. Меня там все знают и любят. И верят мне».

Да, уважаемый Алексей Максимович, вас знали, и любили, и вам верили. Я и сам открыто скажу, что считал вас за самого талантливого из теперешних русских писателей и за честного, мучительно честного человека. Но как каждый человек не видит своего истинного лица и не слышит своего голоса, так и вы не знаете и не чувствуете *теперешнего* отношения к вам внутри и извне.

М-р Хувер ответит вам (если уж говорить начисто) теми же словами, какие говорила Американская миссия, вступившая в Гатчину в 1919 году вместе с Северо-Западной армией:

«Мы охотно поможем старикам, детям и недужным. Но позвольте нам удостовериться в том, что каждая ложка доходит до надлежащего рта».

И прибавит:

«Мы и теперь обойдемся без ваших продовольственных комиссаров. Долой перепродажу и приватную наградную курятину».

Гауптман ответит по телеграфу, скривив в улыбку свое бритое лицо усталого патера:

«Гм... большевики... коммунизм... Это тем более хорошо, что происходит не в моей стране. Приветствую вас, товарищ. Высылаю пятнадцать германских марок, фунт эрзац-сосисок и два тома моих сочинений. Рукопожатия письмом».

А присяжный читатель «Humanité», толстый, красный, усатый шофер, окончив в ресторане свой обыч-

ный обед из камбалы, бобов, свиной котлеты и салата с литром вина, скажет, прихлебывая сладкий кофе:

«Горький — славный товарищ. Еще лучше будет, если он пришлет нам немного русского золота. Мы бы в честь его устроили забастовку. А то, в самом деле, почему это автомобиль принадлежит хозяину, а не мне? А я вырабатываю всего сто франков в день».

Так-то Горький и хоронит заранее сам себя под завтрашними обломками большевизма. Он никогда не знал, что, в сущности, большевикам он не был ни нужен, ни полезен как слишком большой писатель и как чересчур маленький человек. Им незримо руководили для внешних балаганных эффектов. Большевики вовлекли его в громадный, скандальный кутеж, и вот, перебив под конец зеркала и посуду, уходят потихоньку, оставляя тщеславного дурака платить по неслыханному, вовеки неоплатимому счету.

Но все-таки Горький, спасибо ему, обнаружил, с острой ясностью, растерянность, шатание и близкое падение советской власти, которая рухнет и покатится от одного толчка, от дуновения.

И Россия теперь более всего нуждается в помощи соседей, чтобы, по возможности, предупредить и обезопасить размеры наступающей катастрофы, которая грозит *не ей одной.*

Крылатая душа

В нем было нечто, напоминавшее какую-то дикую и гордую перелетную птицу: маленькая, круглая сзади, голова на высокой шее, длинный прямой нос, круглый глаз со сторожким боковым зрением, неторопливые движения.

Так же, как птица, любил он простор и свободу, любил не метафорически, не теоретически, а любовью духа. Его радостью были далекие пути. Я не знаю всей его жизни, но мне хорошо известно, что бывал он в Африке, где от негуса абиссинского получил милостивые и совсем не нужные ему разрешения: охотиться на слонов и добывать золото в пределах абиссинских владений. Бывал он также на Крайнем Севере, на Вайгаче и на Новой Земле, в очарованных

странах полугодовой ночи, безмолвия и северных сияний. Зимою 1919 года я встречал его на петербургских улицах в длинном лапландском малахае из оленей-выпоротков, шитом по краям и по рукавам мелким цветным бисером. Высокий, с медлительной важной походкой, с серьезным лицом — он сам был похож на стройного, сурового экзотического жреца.

И жил он всегда в замкнутом одиночестве, как свободолюбивая, большая птица, не признающая стаи, вьющая свое гнездо в недоступных местах. О нем лично мало знали и говорили. Кому, например, было известно, что всю великую войну Гумилев прослужил в Сумском кавалерийском полку? Я только раз услышал об этом от него, когда пришлось к слову. Он лишь коротко установил факт и не обронил ни одной подробности. Совсем недавно я узнал, что за свою выдающуюся храбрость Гумилев был награжден Георгием трех степеней. Не сомневаюсь, что храбрость эта была сдержанна, холодна и молчалива.

Мало того, что он добровольно пошел на *современную* войну, — он — один он! — умел ее поэтизировать.

Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувство личной чести. И еще старомоднее было то, что он, по этим трем пунктам, всегда готов был заплатить собственной жизнью.

Он писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких цветов, прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых краткая и емкая форма вмещает гораздо больше, чем сказано. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга — он был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте. Когда читаешь его стихи, то думаешь, что они писались с блестящими глазами, с холодом в волосах и с гордой и нежной улыбкой на устах. А потом их равнодушно отдали в печать и высокомерным молчанием встретили чужое навязчивое суждение. Единственная награда заключена была в самом трепете творчества.

Как мог Гумилев — один из самых независимых, изящных, вольных и гордых людей, каких только приходилось встречать и можно вообразить, — как мог он выносить всю нищенскую тоску, арестантскую узость, подлейшую, унизительнейшую зависимость днем и ночью от любого вздорного случая и любого упившегося властью скота? Что перетерпела его крылатая душа в эти черные дни, обратившие великую страну в сплошной вонючий застенок?

Никогда, ни в каком заговоре он участвовать не мог. Заговор — это стая. В обезумевшей, голодной, холодной России, заведенной за пределы того, что *может* стерпеть человек, заговор из пяти людей уже не заговор, а провал и катастрофа. А у Гумилева был холодный, скептический и проницательный ум. Я не думаю также, чтобы он удостоил допросчиков какихнибудь разъяснений по поводу своего политического символа веры.

Но, знаете, сорвется иногда у человека, умеющего глубоко презирать и холодно ненавидеть, сорвется, может быть даже совсем невольно, — всего лишь один, быстрый, как молния, пронзительный взгляд, но в нем палач мгновенно прочтет: и то, как он микроскопически мал, гадок, глуп, грязен и труслив в сравнении со спокойно стоящей перед ним жертвой, и то... что эта бесконечная разница пребудет во веки веков... И тогда конец. Тогда неизбежна смерть избраннику — тому, кого сам Бог отметил при рождении прикосновением своего перста на возвышенную жизнь и ужасную кончину.

Но вот вопрос: где же был Горький, когда Гумилев томился на Гороховой, № 2, в одиноком молчании ожидая своей участи? Мы что-то не слыхали о Горьком в связи с расстрелом Гумилева. Или, может быть, на одном из заседаний «Всемирной литературы», где автор «Челкаша» так часто клал ноги на стол и плевал через губу, может быть, и сам Горький поймал на себе этот случайный, рассеянный взгляд в тот самый момент, когда Гумилев кристаллизировал в своем сознании художественный образ Горького в подштанниках и туфлях?

Это бывает. Невидимые стальные нити протягиваются иногда от глаз к глазам, и по ним пробегают, как искры, страшные мысли, не нуждающиеся в словесной форме.

Редкий документ

Больше года тому назад один проходной беженец показывал мне случайно уцелевший у него документ: № 3 «Еженедельника Всероссийской Чрезвычайной комиссии». Издание это представляет теперь большую редкость, так как вышло оно всего лишь в количестве шести номеров. Может быть, по этой именно причине беженец не хотел мне его оставить, а дал лишь списать одну весьма интересную статью. Потом она как-то затерялась в моих бумагах, и нашел я ее лишь на днях. Привожу ее целиком, от заглавия и эпиграфа до даты. Сожалею, что списывал ее с «ѣ» и «ъ».

ПОЧЕМУ ВЫ МИНДАЛЬНИЧАЕТЕ?

...Изобличенный английский представитель
(Локкард) в большом смущении покинул ВЧК.
(Известия ВЦИК от 3-IX)

Революция учит. Она показала нам, что во время бешеной гражданской войны нельзя миндальничать. Мы объявили нашим массовым врагам террор, а после убийства товарища Урицкого и ранения нашего дорогого вождя тов. Ленина мы разрешили сделать этот террор не бумажным, а действительным. Во многих городах произошли после этого массовые расстрелы заложников. И это хорошо. В таком деле половинчатость хуже всего, она озлобляет врага, не ослабив его.

Но вот мы читаем об одном деянии ВЧК, которое вопиющим образом противоречит всей нашей тактике.

Локкард, тот самый, который делал все, чтобы взорвать советскую власть, чтобы уничтожить наших вождей, который разбрасывал английские миллионы на подкуп, знающий, безусловно, очень многое, что нам очень важно было бы знать, — отпущен,

и в «Известиях ВЦИК» мы читаем следующие умилительные строки: «Локкард (после того, как роль его была выяснена) покинул в большом смущении ВЧК».

Какая победа революции! Какой ужасный террор! Теперь-то мы можем быть уверены в том, что сволочь из английских и французских миссий перестанет устраивать заговоры. Ведь Локкард покинул ВЧК «в большом смущении».

Мы скажем прямо: прикрываясь страшными словами о массовом терроре, ВЧК еще не отделалась от мещанской идеологии, проклятого наследия дореволюционного прошлого.

Скажите, почему вы не подвергли его, этого самого Локкарда, самым утонченным пыткам, чтобы получить сведения и адреса, которых такой гусь должен иметь очень много? Ведь этим вы могли бы с легкостью открыть целый ряд контрреволюционных организаций, может быть, даже уничтожить в дальнейшем возможность финансирования, что, безусловно, равносильно разгрому их. Скажите, почему вы, вместо того, чтобы подвергнуть его таким пыткам, от одного описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров, скажите, почему вы вместо этого позволили ему «покинуть ВЧК в большом смущении»?

Или, быть может, ему нужно было дать возможность «покинуть ВЧК в большом смущении», чтобы не вызвать гнева британского правительства?

Но ведь это значит — совершенно отказаться от марксистского взгляда на внешнюю политику. Для каждого из нас должно быть ясно, что английский нажим на нас зависит только от имеющихся у английских империалистов свободных сил и от внутреннего состояния этой страны. Англичане и так жмут, как только могут, и от пытки Локкарда этот нажим увеличиться не может.

Довольно миндальничать, бросьте недостойную игру в «дипломатию» и «представительство»!

Пойман опасный прохвост. Извлечь из него все, что можно, и отправить на тот свет.

Председатель Нолинского комитета РКП большевик (подпись).

Председатель Нолинского чрезвычайного штаба по борьбе с контрреволюцией (подпись).

Секретарь штаба (подпись).

Нолинский военный комиссар и член штаба (подпись).

г. Нолинск. Вятск. губ.
Сентябрь. 1918 г.

Документ этот следовало бы принять во внимание и подумать над ним всем тем, кто теперь начинает поговаривать, что будто бы бедных большевиков оклеветали, приписывая им разные жестокости, всякие там беженцы и журналисты. Ведь если Локкард попал в московскую Чрезвычайку, а не в нолинскую, то только потому он и избег ужасных пыток, которые так сладострастно смакует автор статьи. Да и пусть они заметят еще, что статья писана в начале осени 1918 года, то есть тогда, когда на юге России лишь едва обозначалось стягивание вокруг Корнилова первой ячейки Белой Армии, когда еще не было ни Деникина, ни Колчака, ни Юденича, ни Врангеля, когда большевики не испытывали еще положений «висения на волоске», когда еще не взошла в зенит звезда слезоточивого Дзержинского, когда расторопные агенты ЧК не успели еще ни проследить, ни спровоцировать ни одного крупного заговора.

Спросите по совести настоящего военного вождя, прирожденного солдата: «Можно ли на войне, в случае самой чрезвычайной, стратегической, государственной важности, прибегнуть к пытке пленного, если от этого можно ожидать нужных результатов?» Он слегка скосит на вас глаза и ничего не ответит. C'est affreux, quand on pensent a ce que-t-on peut oser a la guerre (T.R.Bugeaud)[1]. А у большевиков во всем чрезвычайность, воспаление, лихорадочные слова и горячечные жесты; даже такой простой вопрос, как чистка улиц, они превращают в трагедию.

И разве «Еженедельник ВЧК» стал бы печатать статью своих нолинских собратьев, если бы уже тогда, в сентябре 1918 года, его вдохновители и органи-

[1] Это ужасно, когда думаешь, на что можно решиться на войне (Т.Р.Бюжо) *(фр.)*.

заторы не разделяли этих упрощенных взглядов? С той поры ЧК стала самой мощной, самодовлеющей силой в России, но едва ли взгляды и нравы чекистов смягчились от трехлетней практики.

Да. От мертвых никаких свидетельств не дождешься. Из них извлекли все, что можно, и отправили на тот свет. Но документы иногда говорят громко.

1922

Ландрю

Если допустить, что толпа родит своих героев, то, наоборот, по героям можно судить о толпе. Главного — вот уже десять лет неизменного — героя современной всемирной толпы можно назвать безошибочно: это — тот человек, которого мы ежедневно видим на экране синема и у которого револьвер с взведенным курком служит как бы неизбежным продолжением правой руки, ее естественным отростком. В каждой сильно драматической пьесе он появляется десять раз, и мы отлично помним его фигуру, все равно в роли разбойника или сыщика: полшага вперед, склоненное туловище, вытянутая шея и торчащее из правой руки, на высоте глаз, револьверное дуло. Мы знаем, какое огромное, но до сих пор еще мало учтенное влияние приобрел Великий Немой в нынешней общественной жизни. Кто попробует утверждать, что кинематографическая фильма не оказывает известного морального воздействия на характеры и нравы своей аудитории? Несомненно, и человек с револьверным наростом на руке имеет свое воспитательное значение.

Но бывают герои временные, преходящие. Слава их разрастается почти мгновенно, со скоростью беспроволочного телеграфа, токи которого облетают весь мир в продолжение нескольких минут. Продержавшись немного дней, она так же мгновенно сникает. Через месяц толпа уже не помнит имени героя. Но успехи мгновения поразительны. Чем мог бы исчислить свой реальный, ощутимый, публичный успех Эфиальт, сжегший храм Дианы Эфесской? Тысячами двадцатью, тридцатью негодующих голосов? Беззвучным шепотом сотни завистников?.. По нынешним сценическим условиям — совсем плохой сбор.

На трагическом фарсе Ландрю присутствовала, по крайней мере, стомиллионная публика – и какая! Монархи и углекопы, министры и профессиональные воры, великие писатели и проститутки, священники и шоферы… все, кто умеют читать, говорить или повторять вслух чужие мысли…

Окончательная судьба главного и единственного артиста этого всемирного спектакля пока еще неизвестна. Приговор версальского суда был незауряден и многозначителен. Присяжные заседатели, ответив кротким, решительным «да» на все восемьдесят два – кроме, кажется, одного – вопроса, поставленных судьями о виновности Ландрю, дали суду полное основание вынести смертный приговор. И тут же всем составом они решили ходатайствовать о помиловании преступника.

Говорят, что к этому их побудило то двойственное положение, в котором они очутились. С одной стороны – непоколебимое внутреннее убеждение в том, что Ландрю убивал; с другой стороны – почти полное отсутствие прямых, непосредственных улик. Таков, вероятно, и был основной мотив этого странного ходатайства. Но мысли и чувства, движущие поступками каждого человека, так сложны и многообразны в каждый момент его жизни, что некоторые из них почти ускользают от контроля его сознания. И вот мне почему-то хочется думать, что на решение версальского жюри незримо, тайно, незаметно для самих присяжных повлиял один весьма отдаленный и тонкий мотив: не промелькнуло ли в их сердцах мимолетной, тотчас же забытой тенью такое ощущение, точно они только что вынесли косвенный приговор всему современному человечеству? Что они – скромное меньшинство, осудившее подавляющее вселенское большинство?

Я внимательно следил за этим процессом, но еще внимательнее прислушивался к газетным и устным толкам вокруг него и должен сказать, что всемирный зрительный зал меня испугал и поразил гораздо больше, чем сам артист. Настоящего ужаса, содрогания, омерзения перед тем, что такое преступление возможно, я почти не встретил. Всего лишь один знако-

мый сказал мне: «Нет, извините, я ни за что не поверю, чтобы *человек* мог пасть до такой холодной, звериной преступности». Конечно, всякий догадается, что это был голос русского интеллигента: во-первых – сентиментальность и жалость к преступнику, во-вторых – эта вечная вера в человека, в-третьих – пышность фразы. Спрашивается: когда же зверь бывает преступником, да еще холодным? И затем: куда же зверю угнаться в жестокости даже за самым средним человеком?

Гораздо больше поражали обывательское воображение те технические трудности, с которыми должно было быть сопряжено предполагаемое убийство в деловом, чисто техническом отношении. Отыскать жертву при помощи газетного объявления, познакомиться, уговорить, обольстить, заманить в Гамбе, убить, разрезать на куски, сжечь каждый кусок дотла, закопать кости, вымыть, выскрести, словом, совершенно скрыть все следы преступления – это уже чертовски трудно для одного раза, чудовищно хлопотливо и долго... Но повторить эту процедуру во второй, пятый, двенадцатый раз!..

И тут-то выступает третье, самое распространенное, обыденное мнение:

– Но позвольте. Он выгадывал самые пустяки, какое-то тряпье, старую мебель, жалкие две тысячи франков... Невероятно!..

Людям свойственно многое говорить необдуманно, и, конечно, люди – лучше своих слов, но все-таки вышеприведенные, столь практические соображения влекут за собой вопросы.

– Ну, а что *если бы* убийство каждой из этих двенадцати жертв было так же легко технически сделать, как обрезать кончик сигары гильотиной-брелоком? А что *если бы* барыш с каждой головы выражался в круглой сумме не в тысячу, а в сто тысяч франков? Интересно знать – при такой постановке вопроса, – сколько человек из стомиллионного зрительного зала сказали бы: «Гм... Это – дело совсем другого рода. Об этом стоит подумать...»

А что над такими *«если бы»* действительно работали человеческие головы, явствует из некоторых публич-

ных дилетантских пояснений к преступлению Ландрю. Кто-то проводил мысль, что все жертвы Ландрю — живы и здоровы, только Ландрю, прежде чем обобрать их, подверг их глубокому гипнозу, во время которого приказал им забыть не только свои фамилии, но и его личность. Так отпадает черная работа. Другой дилетант следственного розыска объяснил всю запутанность дела Ландрю тем, что он служил агентом германского шпионажа, а дамы помогали ему — известно, что такие услуги оплачиваются щедро.

Отчего же не сделать самого прямого, самого бесхитростного предположения, что Ландрю просто-напросто вел будничное коммерческое предприятие, вроде мелочной лавочки, страховки выигрышных билетов, букмекерской конторы и т. п. с ежедневным дневником, бухгалтерскими записями, с аккуратным сведением баланса. И без всяких ощущений неловкости в том сомнительном и условном месте, которое называется совестью.

Против такого предположения есть лишь одно «но»... Человеческое мясо и человеческая кровь...

Но разве человеческая кровь и человеческое мясо имеют какую-нибудь заповедную, запретную, священную ценность в войнах, революциях, международной политике и биржевой игре? Государственная, капиталистическая и социалистическая мудрость достаточно откровенно и цинично высказывались в этом смысле устами своих избранных людей прошлого и нынешнего века. Последняя война с особенно жестокой убедительностью показала, что жизнь отдельного человека — самый последний пустяк на свете. Чем больше людей убито у одной из воюющих стран, тем шире торговля, рынок и обеспечение сбыть товары — у другой. Разве это — не прилавок Ландрю и не его домашняя кухонька, только чуть-чуть в увеличенном размере?

А сколько сотен, нет, даже тысяч других Ландрю, непойманных, нерасшифрованных и теперь уже навеки безнаказанных незримо присутствовало на его процессе?!

Ужасная планетная война с всеобщим напряжением и с результатами, недоступными для охвата че-

ловеческой мыслью, потребовала для себя все накопленные человечеством вещи, материалы, запасы. Скажите, кто не спекулировал во время войны? Партия меди, кожи, серы, спирта, хлопка, шерсти, хлеба, мяса, соды, кокаина, йода, словом, всего, что имеется в энциклопедических и технических словарях, прежде чем попасть на фронт, в обоз или госпиталь для своего прямого назначения, переходила сквозь десятки рук, увеличиваясь при каждой передаче на тысячу процентов стоимости. Скажите, разве здесь государство — и не чужое, а свое — не обращалось для тысяч спекулянтов в мелочную лавочку? И разве чувствующим объектом этой торговлишки не был солдат с его молодым телом и прекрасной, горячей кровью?

Чем же Ландрю в своем аккуратном и заботливом маленьком хозяйстве хуже нынешних скороспелых миллионеров, создавших свое благосостояние на спекуляциях около войны, этих нуворишей и триумфаторов, нынешних обладателей трехсотсильных автомобилей, собственных театров, яхт, вилл и бриллиантовых содержанок? Никто не сомневается в том, что все они — Ландрю, дельцы без предрассудков. Ландрю — лишь виноватый во всем стрелочник. Судьба не дала ему возможности повести дело в широком масштабе.

В начале 1900-х годов мне как-то приходилось разговаривать с Чеховым. Он, между прочим, высказал мысль, что многие ошибаются, приписывая человечеству постепенное нравственное падение. Обратите внимание, говорил он, что все более и более редкими становятся преступления вроде убийства, насилия и воровства между людьми интеллигентных профессий: докторами, инженерами, адвокатами, учителями... Следовательно, человеческое образование содействует прогрессу в нравственном смысле.

Мы видим нечто обратное: современный культурный человек излечился от преступлений по страсти и аффекту, он стал сдержаннее, но зато он совершенно освободился от глупых предрассудков и категорических императивов. Ушли заплесневелые понятия — честь, совесть и Бог, семья уже рассматривает-

ся как практическое удобство, как нора, куда таскают богатства, или как суррогат эгоистического бессмертия. Под сильным сомнением — Родина. Все высокие слова обветшали. Всякое дело ценится не по средствам, а по результатам. Убийца и вор, преступление которых несомненно, однако публично не доказано, могут рассчитывать на безупречный комфорт и уважение современников при жизни, на почет потомства и на публичный памятник после смерти.

Человеческая этика нуждается в пересмотре. Законы и обычаи устанавливаются большинством и при том чрезвычайно условно — людоедство, матриархат, полиандрия и полигамия и т.д. Если бы большинство человечества состояло из Ландрю и если бы это большинство сумело утвердить свои мнения как обязательные для большинства, то Ландрю, несомненно, был бы оправдан даже в случае доказанности его преступлений. Но и теперь он вряд ли будет казнен: он слишком многим кажется неудавшимся сверхчеловеком.

Страшный суд

Удивительно, как, при всеобщей страсти к азарту, ни один изобретательный ум не дошел до простой, но чрезвычайно широкой мысли: открыть тотализатор для приема взаимных закладов на главарей русского большевизма.

Кого из них раньше?..

Взять, примерно, четыре классных высоких номера: Ленина, Троцкого, Зиновьева, Дзержинского. Для нарядности программы, а также для любителей «играть на фукса» можно подмешать кое-кого помельче: Бухарина, Литвинова, Каменева, Бонча, Иоффе, Ганецкого и других. А затем начать продажу билетов, меняя пропорции ставок в зависимости от событий дня. Нынче Ленин 2, Троцкий 1. Завтра Ленин 3, Троцкий 2. Прием в ординаре и в двойнике.

Такая лавочка имела бы несомненный успех. Большевики сами неоднократно ссылаются на сходство революций французской и русской. И сходство это, несомненно, есть, — как между суровым человечес-

ким лицом и злобной, уродливой, похабной карикатурой на него. Судьба Марата, Дантона, Эбера, Робеспьера, Сен-Жюста и других неизбежно должна повторить свою роковую гримасу над предателями, растлителями и убийцами России.

Но если бы мне была присуща страсть к игре, я все-таки не пошел бы в эту лавочку.

Я не хотел бы даже видеть этих кровавых людей погибшими от слепой народной ярости.

Нет! Они должны быть судимы перед лицом всего мира открытым всенародным судом, с опубликованием всех их тайных документов и связей. Пусть перед этим судом пройдут тысячи свидетелей, истцов и потерпевших, а за ними снова поплывут скорбные, бледные, окровавленные призраки миллионов поруганных, измученных, погибших под пыткой и расстрелом людей. Пусть суд невозмутимо выслушает рыдания старух, вопли вдов, проклятия невест.

Пусть не стол, а целая зала будет служить вместилищем вещественных доказательств преступления — от орудий пыток, перед которыми содрогнется тень Торквемады, до образцов хлеба из колючих жмыхов, перемешанного с желудями, глиной и конским навозом, — хлеба, который не хотели есть даже голодные псы, а человек ел!

Пусть они будут судимы трояко: как преступники уголовные, государственные и всемирные. И пусть, наконец, на этом великом судилище будет доказана не только преступность, но и бессмысленность коммунистических экспериментов, в основе которых лежит возбуждение в народных массах чувств мести, жажды крови и грабительских инстинктов.

Ленин сумеет много и веско сказать в эти дни в оправдание своей теории и в защиту своих методов, прикрываясь, как щитом, мечтою о будущем счастье человечества. Неужели не найдется тогда среди них людей с обширным образованием, острой мыслью, горячим сердцем и железной логикой, которые разъяснят, что большевизм был лишь кровавым утопическим бредом?

Я лично не хочу смерти Ленина. *Не смею* хотеть. Потому что если бы хотел, то на вопрос: «А ты сам,

накинул ли бы ты веревку на его шею, влажную от предсмертного ужаса?» — на такой вопрос я должен был бы ответить твердо: «Да!» А я так ответить не могу. Но всеми своими душевными силами я надеюсь, хочу, требую, жажду, чтобы обвинительный приговор Ленину был смертным приговором его идеологии.

Я знаю много людей, лихо выкрикивающих: «Вздор! Сентиментальности! Никакого суда! Дайте мне этого Ленина, и я его собственноручно повешу! И даже с наслаждением! Сигару при этом курить буду! Гордиться буду!»

Дурачки! Ну, хорошо: умертвите вы их без суда, без покаяния. Россию же вы, конечно, при всех благих усилиях, не только в десять, но и в двадцать лет не поставите на здоровые ноги. Вырастет новое поколение. Придется и ему считаться с тягостями напряженного государственного и экономического строительства, потребуются и от него великие жертвы, часто — увы — недобровольные. Рабочий и крестьянский вопросы — это не лесные орехи, их сразу не разгрызешь: жестокие испытания и жуткие минуты еще предстоят в этой области. А у нового поколения уже обмякла память о прошлом, души уже перестали то вскипать от бессильного гнева, то застывать от ужаса, а чрево хочет куска послаще. Вот тогда-то в минуты ссоры и скажутся нелепые слова:

«Батюшка-то Ленин правильно действовал. Всю землю — крестьянам, все заводы — рабочим, а дворцы — трудящимся. Недаром его тогда без всякого суда убили».

И кто знает, в синодик героев, проливавших кровь за народ, в ряду других имен не будет ли вписано даже имя толстого, похотливого, трусливого Зиновьева? Демьян Бедный не покажется ли издали большевистским Руже де Лилем? А начальники чрезвычаек — жертвами тяжелого гражданского долга?

Лихие молодчики, курящие сигары, беззаботно возразят: «Ну, мы эту дурь живо выбьем из головы!»

Значит, опять кровь?

Кровь на кровь?

Через сто лет от большевиков останутся печатные декреты. Их противоречивость и — часто — глупость легко извинят лихорадочной спешкой. Но есть в них громкие фразы, пышные обещания, краденые утопические мысли, слова лицемерной любви к народу, наигранный демагогический пафос.

Никто через сто лет не докажет, какой ложью, каким сугубым надругательством была эта шутовская, бесплодная, проклятая болтовня, которой большевики кощунственно облекали крестные муки великого народа, подобно тому как некогда Человека, ведомого на распятие, облекли в царственный пурпур.

И беспристрастный историк не найдет ни одного серьезного источника, откуда он мог бы почерпнуть правду.

В.Д.Набоков

Судьба не послала мне чести личного знакомства с В.Д.Набоковым. Я знал его только по его статьям и речам. В памяти моей чрезвычайно живо сохранилось его выступление в первый день Национального съезда в Париже, и особенно ярко запечатлелась первая фраза, поставленная как бы эпиграфом: «Из всех так называемых завоеваний революции для меня несомненно только одно: все высокие слова окончательно потеряли доверие». Поэтому и сама речь отличалась той внешней простотой, за которой чувствуется прочная логика, насыщенность содержания и убеждающая убежденность.

Такова была и вся общественная фигура В.Д.Набокова: спокойная, уверенная сдержанность, производившая внешнее впечатление холодности и отдаленности, а за ней — ясный ум, верное, благородное сердце и большая русская душа, управляемая твердой волею и привычками воспитания. Честь, подвиг, любовь к родине, уважение к своей и чужой личности, смелость, верность слову являются «высокими словами» в устах людей, ставящих себе в публичную заслугу и в громкое отличие обладание этими достоинствами. Для Набокова они были естественны, как зрение и слух, как собственная — правая и левая — рука,

о чудесном свойстве которых кому же придет в голову всесторонне упоминать?

Без обыденно-пышных фраз, но и без колебаний шел он туда, куда его влекли разум, совесть и инстинкт непоказного рыцарства. Таков он был при начальном выборе своего жизненного пути, отойдя далеко в сторону от широкой и легкой дороги, которую развертывали перед ним преимущества рода и личных крупных качеств. Так он и погиб, кинувшись навстречу неизбежной смерти, безоружный, движимый лишь мгновенным повелительным чувством — помешать злому и гадкому делу.

И этот чудесный порыв, как будто бы столь неожиданный для размеренного, всегда уравновешенного Набокова, с его чеканной речью и изысканно-простыми жестами — в сущности, определил и закончил одним молниеносным штрихом весь громадный рост и всю внутреннюю красоту его исторической прекрасной фигуры. Иначе он не мог поступить, ибо это был он.

Я не беру на себя смелости говорить о В. Д. Набокове как о политическом деятеле. Но я знаю, что именно в редких людях такого духовного состава более всего и прежде всего нуждается наша отринутая Богом Родина. Поэтому нынешняя скорбь друзей и близких В. Д. Набокова — наша общая скорбь.

1923

Сволочь

Просят не пугаться заглавия. Слово это гораздо скромнее и приличнее многих слов нашего повседневного обихода. Корень его, несомненно... родствен «волу», сильному домашнему животному, способному везти, тащить, волочь большие грузы по всяким дорогам и на дальние расстояния. Отсюда — сволокти, сволочить, сволакивать. Отсюда и сволочь. Поставив ударение на втором «о», получите глагол, на первом — имя существительное, указывающее на то, что в одном месте сволочены, без придирчивой заботы при выборе и без особо тщательного сбережения в пути, разные малоценные люди или предметы.

Потому-то существительное сволочь и употребляется лишь в собирательном смысле. Про одного человека нельзя сказать сволочь — выйдет неграмотно. Про двух, трех, даже пятерых как-то удобнее выразиться «из сволочи». Десять — это уже сволочь.

Однако про душу, ум или характер отдельного человека, принимая их как содержащее, емлющее, а их многообразные черты и качества как содержимое, можно иногда выразиться: «Душа политического деятеля X — грязная сволочь». «Ум публичного демагога Y — пестрая сволочь. Характер финансиста Z — воровская сволочь».

Это меткое образное словечко в его настоящем, первоначальном смысле давно осознано и принято русским языком. Оно встречается и в государственных актах Ярослава Мудрого, и в наказах Екатерины Великой — и всегда в прямом, вышеприведенном значении.

* * *

Мы, русские, всегда отличались (а ныне, в эмиграции, по причине общей бездеятельности, отличаем-

ся вдвое) пристрастием к двум совершенно бесцельным занятиям: перекабыльству и сваливанию общественных вин с одних плеч на другие.

«Если бы да кабы». «Если бы гвардия стояла в семнадцатом году в Петербурге!» «Если бы приказ № 1 не был опубликован!» «Ах, кабы Николай II издал манифест о подлинной конституции в конце шестнадцатого года!» «Ах, если бы Керенский не выпустил из рук в нужную минуту Ленина и Троцкого!..»

Потом — виновные. Сухомлинов, Мясоедов, немцы, большевики из пломбированного вагона, солдат, мужик, русская душа, интеллигенция, демократия, социалисты, монархисты... без конца.

Что и говорить — шлепнулись мы в глубокую и кровавую лужу. Но уж если доискиваться причин нашего падения — почему не остановиться на одной, если не самой главной, то всего легче объясняющей стремительность этого падения и чрезвычайно спелую готовность нашу к нему.

Беда наша заключалась в том, что, будучи сказочно, неописуемо богатыми, мы сами этого не хотели понимать. Мы, как дикари, играли в бабки золотыми слитками. И землею, и недрами ее, и нутром человеческим были богаты. Со временем, когда всем нам придется работать в шахтах, каменоломнях и на плантациях под надзором коммуниста с винтовкой и хлыстом, под общим руководством джентльмена в белом костюме с пробковым шлемом на голове, — только тогда мы догадаемся о размерах нашего бывшего богатства.

Но были мы также людьми равнинными, меланхоликами, кочевниками, фаталистами и распустёхами. Был у нас необыкновенно дешев хлеб и еще дешевле труд. Завтрашнего дня никто не боялся. Полагались на Бога и на соседскую жалость. Приходил нищий в булочную и спрашивал: «Ситный есть?» — «Есть». — «Теплый?» — «Только что с печки». — «Ну, тогда дайте милостыньку Христа ради».

Была у нас старая хорошая аристократия. Был — оказывается — совсем недурной государственный служилый аппарат. Были ученые, писатели, художники. Была хорошая, хотя и болтливая интеллигенция. Был

рабочий, несравненно более развитой и широкодушный, чем европейский. Был стойкий, терпеливый, сообразительный мужик. Был превосходнейший солдат.

Но ничего из этих сокровищ мы не любили, не берегли, не уважали.

Не уважали и отечества, вспоминая о нем только в скверной похабной поговорке: «Наплевать! Нечего стесняться в родном отечестве!» И все мы были подобны этому нищему в булочной, здоровенному бородатому парню. «Зачем я буду трудиться, если есть жалостливые дураки».

Оттого-то, несмотря на прекрасный человеческий материал, у нас из всех классов и слоев общества постоянно и неизбежно высачивались — и при том в количестве ненормальном — те отбросы, которые составляли отдельный огромный класс сволочи.

Попрошайки, приживальщики, содержанцы, вымогатели, стрелки, босяки, странники, монастырские бродяги, нищие, добровольные шуты, злостные неудачники, сомнительные недоучки, тюремные сидельцы, ницшеанцы из ночлежек, красноречивые пропойцы и т. д. — вот та питательная среда, которая легко, и охотно, и быстро приняла семена, брошенные Лениным: мир — хижинам, война — дворцам, грабь награбленное! Разве разрушение не первая утеха для сволочи?

И конечно, эта сволочь ныне отвечает за российский пролетариат. Не все ли нам равно, одеты ее махровые представители в вонючие лохмотья, во френч или во фрак, жмут они с подобострастием руку шестерке или коронованной особе. Суть в том, что их души — сволочь, после тридцати лет душа не меняется.

Народ же здесь, то есть большинство, то есть мужик, ни при чем. Ведь в семнадцатом году, когда около двадцати миллионов мужиков двинулись с фронта и из тыла домой, к земле, мы ждали катастрофы, подобной великому переселению народов. Обошлось пустяками.

А российская сволочь высоко подняла знамя интернационала.

1924

Дневники и письма

В чем главные пороки нынешних дневников?

По-моему, в том, что, во-первых, авторы их, стоя слишком близко к частным явлениям, не могут охватить эпоху. Батальную картину рассматривают, отойдя на другой конец зала.

Во-вторых, близкая прикосновенность к событиям переносит их центр к делам, сценам, ощущениям, лично пережитым. Каждому воину, участвовавшему в великой битве, кажется, что удача или неудача сражения зависела исключительно от его роты, полка, дивизии и т.д. «Поддержи нас вовремя N-ский полк, все повернулось бы иначе».

В-третьих, собственная внутренняя жизнь не может не отразиться на дневнике искажающим образом. Люди есть все-таки люди, склонные к обидчивости, нетерпению, мстительности, властолюбию, зависти, самовлюбленности, презрению и т.д. Трудно также в горячую минуту удержать пишущую руку от клеветы или злой сплетни...

Наконец, нередко бывает, что основным мотивом дневника и главной причиной его опубликования служит желание оправдаться в содеянных ошибках, проступках и даже преступлениях или свести кое-какие счеты.

Словом, целая гамма: от огромного Витте до ничтожного Комиссарова.

На днях я одолел три почтенных тома, заключающих в себе дневник М.С. Маргулиеса.

Напечатано по новой орфографии, и это не к пользе дневника, а, скорее, к вящему доказательству неудобности советского правописания. Даже вчитавшись в текст и вполне освоившись с печатью, — все же на каждой странице нет-нет споткнешься и бываешь вынуж-

ден снова перечитывать фразу, что очень неприятно для читателя и невыгодно для сочинителя.

Книга эта называется «Год интервенции».

Мы когда-то удивлялись на путешественника Мишеля Бернова, обошедшего per pedes apostolōrum[1] вокруг земного шара, и на сибирского казака Пешкова, который на сером лохматом коньке приехал из Иркутска в Петербург и получил в виде приза руку и сердце женщины-писательницы, старше его на шестнадцать лет и пренесносного характера. Но что значат их совокупная энергия и настойчивость в сравнении с духовной Ниагарой М. С. Маргулиеса.

В продолжение этого года М. С. Маргулиес встречается со множеством людей (по алфавитному указателю не менее пятисот) — людей видных, средней величины и так себе, еле заметных. С иными он встречается только один раз, но это — исключение. С другими, наоборот, очень часто, например с С. Г. Лианозовым до двухсот раз, с генералом Деникиным немного чаще. Мы будем весьма умеренны, если скажем, что в среднем на каждое лицо придется по пяти свиданий. Итого (не забудьте этого числа!) 2500 rendez-vous[2].

Все эти встречи чисто деловые, и притом большой государственной, общественной или военной важности. А так как деловые свидания, да еще важные, всегда происходят за накрытым столом (это всем известно!), то почти с каждым из своих собеседников М. С. Маргулиес завтракает, обедает, ужинает, а то и попросту распивает чашку чая. Мы говорим «почти с каждым», потому что иначе получился бы абсурд: если разделить количество встреч, то есть 2500, на количество дней в году, то на долю М. С. Маргулиеса получилось бы 6 repas[3] в день, а это все-таки мудрено для одного человека, даже и чрезвычайно емкого. Поэтому скажем кругло и скромно: в течение года интервенции четырежды в день М. С. Маргулиес вкушал пищу и питие, совершал этот тяжкий труд во благо великой России и во имя укрепления великих завоеваний революции.

---

1 апостольскими стопами *(лат.)*.

2 свиданий *(фр.)*.

3 обедов *(фр.)*.

Каких только стран не посетил М.С.Маргулиес, каких морей он не переплыл. С какими только людьми и в каких ресторанах не садился за стол — его впечатлений хватило бы на три средних обывательских жизни довоенного времени.

Яссы. Одесса («Лондонская гостиница»). Крым («Гостиница для чинов первых трех классов»). Бухарест (?). Париж («Лютеция»). Лондон. Гельсингфорс («Fenia»). Ревель («Золотой лев»). Нарва. Ямбург. Юрьев. Рига. Стокгольм. Опять Лондон. Опять Париж.

Это города. Конечно, многие из них я пропустил. Зато во многих успел побывать по четыре, по пять раз этот замечательный путешественник-гастроном.

Кипит человек! Ежедневно он докладывает, совещается, заседает, составляет союзы, единения, проекты, планы, организует правительства и т. д. Как он успевает все это делать между четырьмя политическими приемами пищи — уму непостижимо.

Видит ли он среди этой пестрой толкучки и скворечьей болтовни хоть кусочек настоящей жизни, хоть один правдоподобный человеческий образ?

Конечно, нет. Да и физически это невозможно. Во-первых — недосуг, а затем, как бы сказать, не дано ему этого от природы. Это видно по оценкам людей и событий.

Вот, например, особы, мнением которых он дорожит, опыту которых он верит, в чьей золотой честности он ни на минуту не сомневается и на чьих сообщениях он укрепляет свои государственные замыслы: Арабажин, Яворская, Кирдецов, Дюшен, Богданов. Не будем говорить о покойниках плохо. А из живых лик лжепрофессора Арабажина мы знаем давно, Кирдецов же и Дюшен, на наших глазах сделав неизбежный поворот в сторону большевизма, нашли свое теплое гнездо.

Зато к армии он относится с предвзятой ненавистью. Родзянко, по его мнению, неумен и мало смыслит в политике. Безукоризненно честного, благородного Пермикина, человека доблести и отваги несравненных, он одним росчерком пера путает с рыцарем из-под темной звезды Булак-Балаховичем. Над роковой ошибкой Ветренко он издевается...

Героическому выступлению Северо-Западной армии он заранее пророчит неудачу: ему, видите ли, «не показались» эти голодные, холодные, раздетые, разутые люди. В начальных успехах он заранее хочет провидеть неудачу. «Прошли немного вперед, хотя и не по главному направлению (экий стратег!). Не отступление ли маленькое?»

Но вот успех уже несомненен. Солдаты, офицеры и генералы Северо-Западной армии дерутся, как львы. Без всяких переходов М.С. Маргулиес меняет мнение. «Наши обходят Гатчину. (А раньше-то они были чьи?) Слава Богу».

Далее еще курьезнее. «Взяты Гатчина и Красное. Генерал думает не двигаться дня два-три. Зачем только эти проклятые остановки движения на три дня? Чую беду».

В «Войне и мире» есть пречудесное местечко. Пьер в своей белой пуховой шляпе, верхом на рослой лошади, попал в самую гущу переправы через мост во время Бородинского боя. Солдаты недовольны, один ударил его лошадь прикладом, а сзади сердитый голос: «Чего ездит среди батальона!» И потом опять окрик: «Какой это ездит впереди линии?»

Конечно, впереди линии М.С. Маргулиес не стал бы ездить. Но если бы, на эти три дня остановки, к нему вдруг чудом попала в руки власть Главнокомандующего, он не задумался бы распорядиться: «Немедленно наступать дальше! Под стрррахом...» Откуда же ему, бедному, было знать или догадаться, что люди шли несколько суток, с непрерывными боями, почти без сна, по болотистому и лесистому междуозерному пространству, которое красным генштабом считалось абсолютно непроходимым, и что отдых, сон и еда были для них важнее всяких других соображений. Генералы это поняли и сделали хорошо. Некоторые части успели отдохнуть, но не три дня, а всего лишь один. Талабский же полк (Пермикина) пошел, не отдыхая, вперед для несения сторожевой и разведочной службы, и вообще, я не постигаю, когда этот славный полк спал, ел и отдыхал за четырнадцать суток.

Хороши еще четыре строчки М.С. Маргулиеса. Выписываем целиком:

«Нечто фатальное – Провидение за большевиков. Любой Дыбенко, не говоря о Буденном, прошел бы триумфальным шествием в Петроград с такой горстью храбрецов, какая была у Юденича, так полно и прекрасно снабженной».

Правда, это сказано со слов К.А.Крузенштерна. Но нельзя же напичкивать книгу всяким вздором. Неужели г.г.Маргулиес и Крузенштерн никогда не слыхали о том, что в дни чудесных побед и сверхчеловеческого напряжения Северо-Западной армии она внезапно была лишена снабжения, снаряжения, провианта и т.д., что кто-то в один миг перерезал ее главную жизненную артерию. Неужели они не знают, кем было сделано это злодейское предательство, равного которому не было со времен Иуды?

* * *

Много в этой книге неточностей. Одна касается меня.

«По сведениям офицеров (?), – пишет М.С.Маргулиес, – в Царском Селе и Гатчине генералы усиленно расстреливали евреев...»

И вдруг приклеивает в строчку мое имя. «Куприн рассказывает, что его усилиями был предупрежден в Гатчине еврейский погром, который собирались учинить белые».

Должен сказать, что генералы, штаб и офицеры Северо-Западной армии за все четырнадцать-пятнадцать дней моей службы в ее составе относились ко мне доверчиво, внимательно и дружественно.

Несмотря на это, никакие мои усилия остановить погром не привели бы ни к чему, будь начальство настроено погромно. Дело же было так. В первое же утро после ночного вступления армии в Гатчину, на радостях, некий портной Хиндов (русский) в компании красноармейского солдата, задержавшегося, при оставлении красными Гатчины, специально для утех грабежа, ворвались в часовой магазин Волка. Хиндов стащил предмет по своей специальности – швейную машину, солдат – несколько часов и цепочек. Оба были скоро схвачены и еще скорее повешены на старых гатчинских березах, с руко-

писными плакатами на грудях: «За грабеж мирного населения».

И вот для успокоения одних, для устрашения других мною была составлена и напечатана в редактируемой мною газете небольшая прокламация. Что, вот-де, если между русскими бывают плохие люди, почему не быть им среди евреев? Ваших гатчинских евреев вы хорошо знаете. Их всего пять-шесть семейств. Знали их ваши отцы, и деды, и прадеды, потому что живут они здесь со времен Павла I. Видали ли вы от них зло? И потому с каждым, кто посягнет на чужое имущество или жизнь, и т.д.

Прокламация эта прошла через цензуру начштаба, сурового и весьма монархичного капитана Видягина, подписана была генералом графом Паленом и затем расклеена на столбах.

И честью свидетельствую, что не вследствие моих слов, а вследствие того великого и чистого духа, каким была пропитана вся армия — от генералов до солдат, никаких обид, зол и утеснений не чинилось никому из мирных жителей Гатчины и окрестностей, без различия крови и веры.

P.S. В заключение — на десерт — еще кусочек из дневника М.С. Маргулиеса.

«Заходил Проппер — объявляет себя федералистом, вне федерации не видит спасения. Поздравил его с тем, что в России теперь два федералиста: он и я.

Проппер прибавил: и Г.Л. Кирдецов.

Значит, три».

Компания небольшая, но почтенная. И все это всерьез, без улыбки, в стиле английского юмора.

А книгу прочтут многие, и многие с удовольствием. В ней пропасть зла, насмешек, анекдотов, сплетен. Это всегда сладко читателю.

Памятная книжка

Нам пришлось недавно на одном вечере встретиться с дамой-француженкой, прекрасно одетой с тем утонченным вкусом, когда простота и изящество костюма как бы совсем затушевывают его дорогую роскошь.

На ней было прелестное платьице из белого матового крепдешина, расшитое вдоль выреза декольте и по подолу сложным и необычайно тонким рисунком гладью из блестящего шелка и серебра. Мило улыбнувшись на наш комплимент, дама заметила: «Вряд ли из тысячи мужчин один поймет всю красоту этой глади. А по трудности с ней можно сравнить лишь те старинные кружева, которые так поражают и восхищают женские сердца и глаза в музее Клюни, в верхнем этаже. Над такой работой можно ослепнуть. И представьте себе: такие вышивки делаются руками ваших молодых соотечественниц, беженок. Модный Париж высоко ценит их работу. У нас так не делают больше».

На другой день мы навели некоторые справки, и вот что оказалось.

Существуют в Париже несколько «увруаров», возникших по почину русских благотворительных дам. Увруары эти покупают материю и приклад и раздают работу на дом другим русским дамам, исключительно образованным, интеллигентным женщинам, знавшим некогда лучшие времена, но, с поворотом колеи судьбы, впавшим в бедность. Исполненный и возвращенный заказ продается в один из великолепных парижских магазинов за цену, превышающую раза в три-четыре стоимость материала и плату за работу. Таким образом, очевидно, что египетский труд над вышивкой приносит увруару 200–300% барыша. А между тем вышивальницы получают гроши. Работая с утра до вечера не отрываясь, она еле-еле выжимает 20 франков. Но и то при условии, если она откажется от всех домашних хлопот: от стирки, стряпни и уборки грубеют пальцы, начинают шершавыми местами цепляться за капризный шелк и делают ремесло невозможным. Стало быть, приходится нанимать хотя бы на час femme de ménage[1] — 2 фр. Обедать в ресторане — лишних 2 фр. Отдавать белье (свое и семейное) прачке — еще 2 фр., и т.д., не считая того, что приходится есть и пить кое-как. Изумительнее же всего то обстоятельство, что русские вышивальницы не догадаются соединиться в артель, открыть себе

[1] домработницу *(фр.)*.

кредит в магазинах. А разве кто-нибудь чужой подумает помочь им в этом объединении?

Ленин

> Да. Таков
> Наш жребий, всех живущих,
> Умирать!
>
> *Говорит Датский Принц*

Умер и Ленин. Дальнейшая судьба его души – не наше дело. А внешняя ее оболочка теперь подвергается вечному закону тления, по воле Сказавшего: ты земля и отбудешь в землю, куда пойдут и все люди.

Многие жалеют: зачем Ленин избег насильственной смерти через повешение; зачем их глаза не насладились видом последних судорог казнимого; зачем чувство мести многих – и может быть, справедливое чувство – не нашло этого грубого, но сладостного удовлетворения?

Я мечтал совсем о другом и, признаюсь, мечтал, как всегда, в широком, несбыточном масштабе. Я думал: вот пройдет год, полтора, может, два или три года, настанет момент какого-то общего просветления умов, произойдет в России какой-то не партийный, не московский, не петербургский, а всеобщий переворот. Отступление большевикам будет отрезано. Жизнь их строжайшим образом охранена от произвола толпы. Всех их ждет суд, великий народный суд в лице избранных представителей от народа, с участием множества пострадавших и свидетелей, с привлечением наиболее осведомленных и ученых экспертов, с нелицеприятными защитой и обвинением.

Сколько бы времени этот суд ни продолжался – мне все равно. И каков будет результат – тоже. Но, по крайней мере, даже в случае смертного приговора, большевики не сойдут со сцены жизни с ореолом мучеников, праведников и героев, в каком виде многие и до сих пор представляют себе демагогов Великой французской революции. В случае же их помилования – во что я плохо верю ввиду их личных злодейств, пороков и гнусностей – они уйдут обезвреженными. Идиотская маниакальная теория, допускающая безос-

новательные эксперименты над миллионами живых существ, приносящая в жертву нелепой утопии родину, семью, церковь, дружбу и культуру, содеянную многими веками кропотливой работы поколений, теория, знающая только разрушения и сулящая золотые нужники в туманном будущем, когда кровь, хлыст и голод сделают людей богоподобными, взаиморавными существами, — теория эта должна быть разбита, дискредитирована, опорочена навсегда. Это будет урок не России, а всему человечеству, и — надолго.

И мне жаль, что в составе большевистской «головки», заседающей в эти дни на скамье подсудимых, не будет Ленина. По уму, по упорству и хладнокровию, схематичности и образованности он был бы самым опасным и твердым противником. Но и он пал бы перед свидетельством логики, истины и суммы причиненных им человечеству страданий. Я точно слышу его последние слова, которые он произносит, пожимая плечами, щуря презрительно свои яркие, узкие монгольские глаза:

— Ну, что же, вы правы. Мы поторопились.

Да. Он это скажет. Скажет потому, что уже неоднократно намекал при жизни о своем разочаровании.

«К нам примазалось много сволочи», — сказал он однажды.

«Мы наделали много глупостей и ошибок».

«На белом фронте мы победили, но на крестьянском — всегда будем биты».

Он проникал в людей. Для многих, например, была предметом удивления и восхищения бутафорская фигура Троцкого. Но всю декламацию и жестикуляцию, весь пафос и остроумие Троцкого Ленин вместил в два слова «Левины штучки». Он знал им настоящую цену, этим штучкам. Троцкого-меньшевика он в полемике обзывал лакеем и мошенником.

Если Ленин и был, вообще, доступен волнениям, то лишь в области удачи или неудачи своей дьявольской шахматной игры (человеческое в нем было выхолощено как личным душевным уродством, так и многолетней тренировкой). Проигрывая последнюю игру, он ясно видел против себя непреложный

вечный закон прямолинейной медленной эволюции человечества на пути вверх, к солнцу и звездам, а рядом с собою — вернее, под собою — смрадную мелочь. Он был одинок.

Умереть... Он умер бы легко: для него нет ничего по ту сторону. Но величайшим для него наказанием, оскорблением и мучением было бы сидеть рядом со своими товарищами, как с равными по преступлению, на позорной скамье.

Ах, до этого часа он не дожил!

Рака

Был в жизни Ленина такой день, о котором следовало бы сохранить твердую и точную память; уже потому только, что нынешние, «тамошние» его биографы об этом дне не скажут горькой для них самих правды.

В 1920 году исполнилось «вождю восставшего пролетариата» пятьдесят лет. К этому великому сроку уже готовилось грандиозное торжество, разрабатываемое заранее Совнаркомом, Совнархозом и более мелкими совдепами.

Надо отдать честь покойному. На толпу он глядел тем равнодушно-взвешивающим взглядом, каким глядит профессор-биолог на кучу доставленных в прозекторскую кроликов или морских свинок. Он искренно презирал народные восторги и брезговал человеческим стадом.

Он морщился, когда ему без спроса создавали фамильярную, псевдонародную популярность. Сам отличный журналист (см. его замечательную книжку «Руководство к составлению газеты»), он отлично знал цену печатным побасенкам о его личности. Он знал, что никогда ни одна столетняя бабка не указывала на него своим правнукам, говоря со слезами: «Вот он идет, наш батюшка Ленин, запомните хорошенько его лицо, детушки!»; никогда он под Рождество (тогда еще не было отмены Бога) не входил инкогнито в бедные жилища рабочих с елкой под мышкой и с гостинцами в руках, и никогда он не гладил вшивых детских голов.

И никто не отваживался назвать его в глаза «Ильичем», этак попросту, как кума, свояка, дядюшку. Да вряд ли где, кроме газет и телеграмм из Медыни, его так называли заочно. Горький мне однажды рассказывал, как Красин, говоря в его присутствии по телефону с Лениным, назвал шефа полуласково-полусердито лысым дьяволом. Но в этом титуле есть все-таки смысл, и не маленький. Красин к тому же был давним товарищем Ленина и соучастником в планировке лихих экспроприаций.

Поэтому-то, узнав о предполагаемом пышном юбилее, он коротко и холодно запретил выносить празднование на улицу, прибавив, однако, что помешать интимному чествованию он не может, хотя и просит его самого не утруждать. И вот... дальше я привожу целиком вырезку, сделанную мною в 1920 году из стекловской газеты:

«...По окончании официальной части празднования, на котором говорили речи Евдокимов, Луначарский, Горький, Сталинский и мн. другие, в помещение комитета явился В.И.Ленин, встреченный бурными аплодисментами, перешедшими в бурную овацию. Он обратился к собранию с небольшой речью, поблагодарил за приветствие, полученное им, а также за то, что его избавили от выслушивания юбилейных речей.

Между прочим, он продемонстрировал карикатуру, полученную им, и просил, чтобы в будущем они потеряли интерес к юбилеям».

* * *

Покойников боятся и уважают, но земной их воли не чтут и к прижизненным их характерам и обычаям не приспосабливаются. Воображаю, что было бы, если бы при жизни Ленина, еще до затмения его крепкого ума и ядовитого слова, кто-нибудь нарисовал ему нынешнюю картину его похорон и погребения со всеми дальнейшими трагикомическими глупостями. То-то задал бы он перцу фантазеру!

Да и теперь — если бы у Ленина была хоть маленькая душа, полагающаяся по штату самому жалкому смертному, хоть частица ее (к сожалению, он был

бездушен) — он не утерпел бы, встал из гроба, явился в ночное заседание Совнаркома и произнес бы загробным голосом короткую, емкую, страшную речь, увенчав ее таким концом:

— Ну, не идиоты ли вы, занимающиеся кукольной комедией, постановкой памятников и перелицовкой городов, в то время когда судьба СССР висит на гнилой ниточке? На кой черт вам понадобилось заключить меня в стеклянный ящик и выставить для обозрения, как восковую Клеопатру в паноптикуме?

Трясясь руками, ногами, головой и животом, стуча зубами и заикаясь, Зиновьев возразил бы дрожащим голосом:

— Учитель, прости. Это не ящик из музея. Это... это рака. Пусть сотни, тысячи, миллионы русских людей пройдут мимо твоей гробницы, и пусть они увидят, что ты почиваешь нетленен, подобно их бывшим святым... Какое мощное орудие в борьбе с остатками суеверия! Какая пропаганда среди темных масс! Какое возвеличивание тебя и Маркса!! И не ты ли, громаднейший из людей, учил нас, что все, решительно все подлежит использованию ради завоеваний пролетарской революции?!

Но тень Ленина омрачится и скажет:

— Дурачье. Вы всегда брались и беретесь за дела, в которых ничего не смыслите, не умеете и не можете. Хоть бы набальзамировали как следует, хоть бы положили в сухое помещение. Ведь меня так исковеркало, что самому со стороны смотреть жутко. Вы, конечно, ничего, по обыкновению, не видите и не слышите. А я целый день лежу и слушаю. Сказать вам, что толкуют бабы и мужики, проходя мимо моей раки?

«Ишь ты, как лик-то ему искорежило... Верно, черти взяли его сразу к себе, не дожидаясь Страшного суда».

Признание

Только что затихла шумная словесная пря по вопросу о признании или непризнании большевиков, а средний эмигрантский обыватель до сих пор в недоуме-

нии: какой смысл был в этих длинных дискуссиях, а также — кому и для чего они понадобились?

Ну, добро бы дискуссировала наша святая, пылкая молодежь. Она у нас всегда «спорила долго, до слез напряжения», и не было у нее более терпкого развлечения, чем «русский спор, бессмысленный и бесконечный». Спорила она долго за чаем с вареной колбасой, спорила в Женеве и Лозанне, пока не опротивела даже добродушным швейцарцам, спорила во всех парижских кафе, прокурив и проплевав их насквозь. Что же. Кто молод не бывал?

А то ведь изливали из себя словесные водопады люди серьезные, деловые, мужи совета и разума, этакие уседистые, бородатые, очкастые дяди, иные уже украшенные почтенным серебром мудрой старости... «Ну, как же, господа? Признать или не признать нам большевиков?»

Есть на свете очень много тяжелых, странных и сложных вещей, о которых не следует не только расспрашивать, но даже и думать. Так, например, вопрос: могут ли быть иногда, в редких случаях, допустимы и оправданны такие действия, как воровство, ложь, клевета, ограбление, убийство? Думаю, что такие редкие случаи возможны, ибо жизнь бесконечно разнообразна, гибка и неожиданна. Но думаю также, что разговор об этом — суета. Как изломал Достоевский своего Раскольникова для того, чтобы сказать: никогда нельзя убивать. Дядя Ерошка, язычник, на праздный вопрос Оленина: «Убивал ли ты?» — отвечает сурово: «Черт! Зачем спрашиваешь? Душу загубить мудрено». А самое главное — в том, что те люди, которые осмелятся перешагнуть через недозволенное человеку, никогда заранее об этом не рассуждают.

Но как понять и какими именами мы сумели бы назвать тех моральных идиотов, которые, со всем внешним видом серьезности, даже научности, стали бы разбираться в таких казусах:

а) Негодяи, нагнавшие ужас на округу и потому безнаказанные, насилуют связанную больную женщину. Заступиться за нее я не в силах. С другой стороны, я изнемогаю от полового голода. Одним больше,

одним меньше – не все ли равно? Осужу ли я самого себя, если присоединюсь к насильникам?

б) Можно ли убить сестру, чтобы, ограбив ее, купить себе серебряный прибор для маникюра, если этот прибор стал моей навязчивой больной мечтою?

в) Мать моя продана в рабство, в позор, унижение, страх, голод и непосильный труд. Я, продолжатель племени, возьму ли с продавших ее свою долю платы для поддержания своего существования?

Мне скажут: «Глупости! Таких вопросов никто не ставит и не ставил нигде. Разве только в безнадежных отделениях сумасшедших домов».

Неправда. Вопрос о признании большевиков представляет собою еще более густую и ядовитую эссенцию. Одиночные, личные уродливые казусы – ну их к черту! – это всего лишь вздор, щекотка, зуд, раздражение мысли. Но дискутировать о признании – значит, уже предполагать его возможность; остальное – от логики и удобства. Старым замшелым диалектикам это не повредит. Но сколько молодых, унылых умов, сколько слабых, истрепавшихся душ, наконец, сколько доверчивых сердец заколеблются и потянутся к падению, будучи натолкнуты на эти мысли.

Мы осудили в свое время сменовеховство. Но тогда большевики еще были по-настоящему сильны. Теперь они слабее, чем когда бы то ни было. И вот, вместо того чтобы соединиться для нанесения им последнего, общего удара, мы говорим: «А не признать ли их, в самом деле?» – «Здорово, ребятишки! Старайтесь! – скажут большевики. – Если надо, мы не откажем и в “пособии”».

И это страшнее, гораздо страшнее, чем приведенные мною, выдуманные кошмарные казусы. С признанием связана судьба миллионов людей, судьба целой страны.

О Горьком

В русской прессе круто и надолго заварился вопрос о том, какие ценности изымал Горький во время своей непосредственной близости к большевикам. Пола-

гаю, по совести, что материальными благами он не злоупотреблял. Да и зачем ему было это делать, если его сочинения и пьесы вместе с доходами от книжек «Знания» составили ему и без того солидный капитал. Сокол – соколом и Буревестник – буревестником, а все-таки Алексей Максимович мужик хитрый, дальновидный, бережливый и расчетливый. Простота его подобна мордовскому лаптю, плетенному о восьми концах. И уж, конечно, денег своих он не стал бы держать ни в керенках, ни в военном займе, ни в советском пипифаксе. За это хаять человека нечего. Чем он хуже тех наших земляков, которые уже в конце 1916 года перевели свои капиталы в фунтах, долларах и франках за границу? Поэтому, думаю, слухи о его любостяжании – плод обычной выдумки тех людей, которые каждый ложный или злой шаг человека, стоящего на виду, склонны объяснять лишь денежным интересом. Вот за М. Ф. Андрееву я бы не поручился.

Есть, однако, кое-что другое, что Горькому не простится.

Однажды в нем заговорила совесть, зажглась на минутку хорошая русская душа (столь им обруганная, затоптанная и заплеванная). Это случилось в середине 1917 года, не помню – в июне или июле. Смольный тогда сделал генеральный смотр своим силам, подробную репетицию будущего переворота, жестокую разведку в направлении: насколько обаранилось человеческое петербургское стадо и насколько прочна его охрана? Оказалось, что бараны находятся в полной спелой готовности идти на убой и на стрижку, что пастухи его глупы, неопытны и растерянны, а сторожевые собаки трусливы, беззубы и за кусок хлеба перебегут куда угодно.

Целый день носились по городу броневики и грузовые платформы, переполненные вооруженными людьми, увешанные красными флагами. Целый день поливали ни в чем не повинную публику пулеметным и беглым ружейным огнем. Свирепый опыт прошел безнаказанно...

Горький был в этот чудовищный день на улице. На другой день, под свежим впечатлением, он описал

виденные им сцены в такой яркой и сильной статье, какую ему еще не удавалось и уже никогда не удастся написать. Помню и теперь из его статьи грузовики, столь тесно унизанные штыками, что походили на огромных стальных ежей. Помню отдельных святых безумцев, которые голыми руками хватались за эту острую щетину и гибли. Помню, как Горький прятал пятилетнюю девочку за трамвайный столб... Статья была прекрасно закончена решительным отказом Горького идти дальше по одной дороге с большевиками, забрызганными невинной кровью. О, как мы полюбили его снова за эту горячую, искреннюю, правдивую минуту! Сказался-таки, наконец, вылез из балаганного «сверхчеловека» добрый русский человек!

Горький был не одинок. Одновременно с ним был свидетелем бессмысленного, мерзкого, предательского братоубийства и А.В.Луначарский. Но у того просто приключился нервный транс. Слабые нервы не выдержали вида крови. Теоретик побледнел и слинял. Луначарский тогда же напечатал свое известное письмо о выходе из партии, допускающей немотивированные убийства.

Однако припадок Луначарского так же быстро, как накатил на него, так и отошел. Несомненно, подействовали и отеческие внушения. Через день le beau Anatole[1] написал другое письмо, где публично признавался в том, что у него просто-напросто кишка тонка, что это было лишь первое испытание и в следующий раз он овладеет своими нервами и больше раскисать не будет.

Горький долго молчал. Он, очевидно, был ушиблен и ошеломлен собственной смелостью. Между тем, в последующие дни большевики все крепче и увереннее захватывали власть. Подтасовывались выборы в Учредительное Собрание. Урицкий контролировал избранников. Наконец матрос Железняк выгнал Чернова пинком под зад из Таврического дворца. Володарский и Зорин отдали под суд всю русскую литературу. Горький – молчал. Убили Володарского. Наконец, Канегиссер застрелил Урицкого. Горький

[1] прекрасный Анатоль *(фр.)*.

все еще молчал. Но когда через день мрачная тень Урицкого возопила к отмщению, когда не только в Петербурге и Москве, но и во всех захолустных уездных ЧК руки палачей повисли плетьми от массовых убийств заложников – твердое сердце Горького не выдержало, дрогнуло и растопилось.

«Не могу молчать! – воскликнул он. – Пока враги большевизма были идейными врагами, я восстал против большевиков, проливших кровь. Но ныне, после того, когда эти враги убили Урицкого, я побеждаю в себе сентиментальность и целиком перехожу на сторону обиженных большевиков».

Какая гнусная фальшь! Канегиссер все, что сделал, сделал ОДИН. И куда же выше и чище (сравнительно) Луначарский со своим двойным припадком, чем Горький со своим хитрым, холодным, лживым вывертом! Здесь-то Горький и изъял из обращения главные ценности: свою душу и свою славу.

Зов

I

«Ну скажите, скажите же хоть по секрету, – скоро ли мы вернемся домой, в Россию?»

Кто только не задавал этого вопроса и кто на него не отвечал глубокомысленным мычанием?

Иные не мыслят вернуться на родину иначе, как при условии, чтобы было как до войны: вагоны-рестораны по всем дорогам, торцовые мостовые, зеркальные стекла, Кюба и Фелисьен, стрельба, абонемент в оперу, цыгане в Новой Деревне, субботники у Чинизелли, утром – свежий номер «Нового времени», монументальный городовой на углу Михайловского и Невского, а главное – рубль, равный двум франкам шестидесяти пяти сантимам. Тогда они, пожалуй, согласятся.

Другим достаточно, чтобы хлеб стоил за фунт пять копеек (и не золотых, а медных). Да еще чтобы найти работенку по своему желанию, и чтобы твоим трудом никто не помыкал по произволу и капризу, и чтобы никто за твоей спиной не стоял с палкой.

Третьи, наиболее стосковавшиеся, поедут при самой маленькой, до смешного маленькой уверенности: лишь бы только наверняка знать, что твои кровные грошовые сбережения не будут отняты на пограничной станции, а сам ты за свою простоту не угодишь к Варваре на расправу – в ГПУ или в концентрационный лагерь за проволоку.

Четвертые, мы сами это видели, поторговавшись немного для приличия и высноровившись совестью, получают от СССР воспособление и идут лизать советские пятки и кадить советской власти за кратковременные успехи желудка.

Да. Тут всех оттенков не перечислишь. Но есть и такие чудаки между русскими за границей, которые готовы идти домой по первому зову без всякой торговли и на все, что бы ни сулило темное будущее: на голод, холод и даже на верную тяжкую смерть, – но идти с оружием в руках, чувствуя локтем локоть товарища. Это – несколько тысяч галлиполийцев. Это – многие тысячи офицеров и солдат, дравшихся у Корнилова, Деникина, Колчака, Врангеля и в Северо-Западной армии. Нам, эмигрантам, занятым утонченным разбором своих собственных чувств, отношений и мнений, представляется, что таких странных людей больше не существует, что они полиняли, выветрились, растворились в безличной массе, ищущей ежедневно, что бы пожевать. Нет. Они остались, как остались почетные раны на их телах и как остались живы воспоминания, от которых гневом застилаются глаза, а кулаки и зубы невольно стискиваются. Они есть, но только нет главного – первого зова.

И вот тут-то другой вопрос: скоро ли падут большевики? А к нему параграф: каким образом?

Кто, кроме безнадежных левых политиков, прежних близких подпольных большевистских родственников, верит в эволюцию большевизма? Для большевиков спуститься даже до буржуазной республики, по образу хотя бы французской, значит – оставаться одинокими и беззащитными. А на каждом большевике столько налипло и присохло человеческой крови, что во всех русских реках им не отмыться во веки вечные, и оглядываться назад им жутко, до обмороч-

ной тошноты. Есть ли у них надежда на то, что их прикроет своей мантией в тяжелую минуту партия социалистов-демократов? Нет: они лучше других знают, что это партия голода, а мантия на ней соткана воображением говорунов. Да и поздно эволюционировать. Когда им казалось, что, вот, произнесены магические слова «власть пролетариата» — и тотчас же восстанет рабочий пролетариат всего земного шара, и на другой же день человечество очутится в парадизе. Один Ленин заглядывал далеко вперед, сказавши еще в октябре месяце слова: *мы делаем революцию с запросцем.* Молодые люди, утописты из женевских кафе, впоследствии наркоманы, и пожилые мечтатели из кандальных отделений каторги, впоследствии палачи ЧК, не могли понять этих вещих слов в течение шести лет. А теперь уже стало поздно. Никто большевистской торговле с запросцем не верит, менее всего — итальянцы и англичане.

Когда болит зуб, то он кажется таким большим, что будто бы такого большого зуба еще ни у кого не бывало на свете, даже у слона. И правда: с сотворения мира не существовало такого огромного, такого больного зуба, как большевизм. Но кто не чувствует, что он уже сгнил и шатается? В самом деле, где болезнь большевизма? 75% народонаселения, крестьяне, чураются от него, как черт от ладана, и уже не мужики его боятся, а он их. Среди рабочих ему верны лишь старые партийные товарищи да — до первого случая — земных благ ради, квалифицированные мастера. А миллионную армию преторианской, когортной не сделаешь никак. Укрывать за своей спиной калифов на час она не станет. Баста.

Однако уходить большевикам некуда; это — верная гибель и смерть. Инстинкт самосохранения, смертельный ужас заставляют их длить кариозный процесс. Следовательно, на естественное и безболезненное выпадение зуба нет надежды. Нужен какой-то насильственный толчок, и он непременно произойдет. Думаем: одновременно изнутри и снаружи.

Все — левые и правые — согласны в одном пункте: при ликвидации большевистского наследства должны произойти жестокие потрясения, в противодей-

ствие которым необходима будет какая-то чрезвычайная, собранная в одних руках, единоличная, мощная, твердая власть – скажем просто – диктатора, ибо лучше всего, когда на пожаре или во время кораблекрушения распоряжается один человек. Но такие властные лица становятся во главе не по выбору, а появляются сами собою, в силу зрелости момента. Появляются и зовут за собою.

Кто же теперь позовет?

II

Г. Муравлин был вовсе не плохой писатель. Его романы – немножко от Достоевского, чуть-чуть сродни Альбову – читались в свое время не без интереса. Псевдоним «Муравлин» давно раскрыт самим автором – князем Голицыным.

Но одно дело писать беллетристику, а совсем другое дело составить текст геометрической теоремы, статью закона или параграф воинского устава. Еще же труднее написать манифест: тут необходимо на тончайших лабораторных весах взвешивать каждое слово; отполировать каждую фразу, предвидя заранее возможность ее лжетолкования и отсюда – зловредных последствий; уметь обещать или ограничить в самых точных пределах и т. д. Кроме этой аптекарски-математической работы, требуется еще особый стиль: старинный, в духе церковно-славянской вязи, и торжественный, как удар Успенского колокола. И какие ведь киты сочиняли русским царям манифесты: Сперанский, митрополит Филарет, Победоносцев!

Князь Голицын всего этого не сумел. Он только бухнул в самый большой колокол:

«Земля царева».

И сразу же опорочил весь манифест великого князя Кирилла Владимировича.

Потому что если бы этот возглас действительно дошел до мужика, вцепившегося в землю, как плющ в кору, он ответил бы одним словцом:

– Дудки!

И он был бы прав. Никогда земля не бывала царева, а была только под царской державной рукой.

Если же, расширяя государственные владения и колонизируя окраины, цари раздавали новые земли своим сотрудникам в ратном деле, то это деяние — с тех пор, как мир стоит, — почиталось законным, мудрым и даже необходимым в отечественных интересах. Нынешняя Россия, как бы она ни была растерзана и унижена, может казаться будущей колонией лишь некоторым просвещенным, но хищным мореплавателям, отнюдь же не русским великим князьям. Ведь не завоевывать же придется Россию, а лишь очистить от пакостников и ввести хотя малый порядок. С землей мы еще успеем досыта наплакаться в свой день и час.

Не понимаю я и тех умников, которые загодя разгораживают будущие отношения между Царем и Народом: «Сначала Царь, а потом Народ». Да ведь оно так всегда и было, и есть: монарх ли, президент ли — старшое лицо в государстве всегда является высшей точкой пирамиды, ее завершением, без которого пирамида не имеет смысла. (Правда, мы видели злосчастный эксперимент, когда пирамиду перевернули вверх тормашками и попробовали поставить на острие, причем наглядно убедились, что из этого опыта ничего не вышло, кроме грязи, крови и срама.) Однако никогда не надо забывать и того, что высшая точка, несмотря на свое господствующее положение, однородна в своем материальном естестве со всеми прочими точками тела.

Монарх — первое лицо государства, но и первый его слуга. Ему почет и дань, но ему же и труд, и ответственность. Хорошо это понимал Петр. «А о Петре ведайте, что Петру жизнь не дорога, жила бы Россия, ее слава, честь и благоденствие!»

Хорошо проникнуты этой же мыслью слова, сказанные (не в порядке манифеста) великим князем Николаем Николаевичем. Точного текста не помню, но смысл тот, что его высочество готов отдать все последние силы и дни на служение родине, если на то будут воля и зов народные.

Необходимость и неизбежность единоличной диктатуры давно уже созрела в умах, и мы не можем указать ни на одно лицо, кроме великого князя Нико-

лая Николаевича, которому как будто бы сама судьба готовит этот тяжкий жребий. Это единственный человек, чье беспорочное имя не только известно всей грамотной и безграмотной России, но чтимо в густой народной массе. И если его строгость (порою чрезмерная) в обращении с офицерами и генералами и заслужила ему популярность в толпе, то людям, стоящим повыше, остались памятными и его относительный либерализм последних лет войны, и его презрительная отважная борьба с распутинским влиянием. «Еду в ставку», — телеграфирует Распутин. «Приезжай, повешу». Кто из нас с удовольствием не рассказывал этого анекдота?

Русские социалисты, которые всегда были осведомлены о частной жизни императорского дома, основательнее даже придворных лакеев, утверждают, что великий князь стар для бремени диктаторской власти. Это — их обычный вздор. Великий князь находится в том возрасте, когда опыт, ум и душевное равновесие создают больших государственных деятелей, как Мольтке, Бисмарк, Биконсфильд, Гладстон, Суворов и многие другие. Надо принять во внимание и то, что великий князь во всю свою жизнь был превосходным наездником и страстным охотником, и самый разнузданный язык не повернется приписать ему никаких излишеств или злоупотребления своим здоровьем.

Скажут еще, что вместе с его диктатурой вернется и старый режим со всеми его отрицательными особенностями.

Из слов великого князя мы этого еще не видим: скорее можно надеяться на обратное. Но хорошо: вообразим на минутку, что власть переняли из рук большевиков республиканцы-демократы. Как же быть уверенным, что они не вытащат из помойной ямы забвения и презрения (милые бранятся — тешатся) своих героев: Александра Керенского и Виктора Чернова — на предмет кипучей государственной деятельности? Кто поручится, что эти словоблуды, онанисты власти, опять не потопят Россию, с ее жестокими нуждами, в водопадах болтовни? И разве, по заведенному порядку, они не выгноят из своей среды

левых и крайне левых демагогов, которые вновь выдумают свои собственные «чересчурки», заменив размен у стенки новинкой, привезенной из Парижа?

Вот тут и извольте сделать выбор, но помните: одному человеку безопаснее довериться, чем партии, да особенно русской, да еще готовой сделать новый социальный эксперимент за счет многострадального русского народа.

III

Прекрасная мусульманская поговорка гласит: «Готовь коня на день битвы, а победа — от Аллаха».

Ныне приходится уповать не только на коня, но и на всадника в ботфортах с раструбами и длинными шпорами. В этом сходятся люди самых крайних мнений. Ближайшая цель — избавить Россию от большевиков. Что предстоит в глубоком будущем? Заниматься этим вопросом — все равно что гадать на бобах или на кофейной гуще. Ничье мнение тут не обязательно. Скажут самое последнее слово — воздух и народ. Поэтому не имеет веса и мое мнение, что новое строительство России пойдет по плану, одинаково далекому как от прежней абсолютной монархии, так и от демократической республики.

Нашим общим друзьям, опекунам и благодетелям — социалистам — окончательно отвратна мысль о диктатуре лица из рода Романовых. Видите ли: с третьего класса гимназии они воспитали в себе неумолимую ненависть и жесточайшее презрение ко всем монархам: своим и чужим, легендарным, историческим, современным и будущим. Деспоты, по их мнению, только тем и занимались, что пировали в роскошных дворцах, заливая тревогу вином, утопали в разврате и почему-то — чудаки! — упорно не хотели добровольно подходить на расстояние револьверного выстрела или полета бросаемой бомбы, а наоборот, заслонялись от покушений.

— Революция, — говорят они, — навсегда покончила с монархическим принципом.

— Какая революция?

— Ну, конечно же, первая! Великая! Бескровная! Февральская!

И все это неправда. Начнем с начала: никогда февральской революции не было; были солдатско-дезертирское пронунциаменто и пропаганда пораженцев. В этом ужасном и нелепом движении не замечалось ни одного красивого жеста: недаром же свидетель-иностранец назвал его «incendie dans le bordel»[1]. А что касается до массовых убийств в Выборге, Кронштадте и Севастополе и одиночной бандитской резни по всей России, то это ли бескровность?

И если уж говорить правду, то ведь главнейшее завоевание революции, то есть подлое убийство государя, его семьи и большинства великих князей, сделано большевиками. Другие социалисты здесь, как бедные родственнички, сидели на пороге в прихожей. Но тут-то и держится их взаимная семейная связь. Но оттого-то малоумеренные социалисты и склонны оказывать снисхождение и даже поблажки своему непокорному буйному племяннику.

В возможность того, что будущий Наполеон самовоздвигнется из рядов красной армии, наши радетели и печальники — социалисты, — пожалуй, склонны поверить.

...Вот проснется однажды на Москве вахмистр Буденный в неурочное время, в третьем часу ночи, поскребет широкую лохматую грудь и заорет:

— Денщик! Квасу мне, и позвать начальника штаба.

Стремительно, на цыпочках, впорхнет блестящий спец, генерал-академик.

— Ну, барин, бери со стола трубку и валяй: «Во всех эскадронах седлать лошадей и в боевой готовности идти к Кремлю. Дать знать в пехоту, артиллерию, авиацию и в подрывные части. Вымести из Кремля всю сволочь начисто. Ударить в Ивана Великого и во все московские сорок сороков». Да не копайся, сукин сын. Чтоб в три счета! Денщик! Рейтузы и сапоги!

А потом войдет в Успенский собор, сядет с ногами, по-пугачевски, на престол и коронуется на царство. А после выпустит свой первый манифест:

[1] «пожар в борделе» *(фр.)*.

«Бей жидов, спасай Россию. Руби в капусту всю интеллигенцию, всех этих очкастых волосатиков. Лупи всех иноземцев! Довольно с ними церемонились. Кроши их! Попили нашей кровушки, буде... А книгами истопить все московские бани, и народушко пусть парится целую неделю бесплатно».

Очень может быть, что Буденный так и не поступит; может быть, он мужик не без головы и совести. Он нам, эмигрантам, совсем неизвестен. Но попечители наши – социалисты – от описанной картины не отворачивают брезгливых глаз...

Все-таки пусть лучше Буденный, чем лицо из императорской фамилии или из белых генералов.

– Да почему же? Почему, старатели?

– Да потому, что эти лица непременно принесут с собою в Россию ужасы прежнего режима, создадут вокруг себя окружение из помещиков, черносотенцев и интриганов, отнимут у крестьян землю, упьются кровавой местью за годы неудач-оскорблений и отбросят опять Россию на столетия назад, к мрачным временам рабства, невежества и бесправия.

Можно было бы возразить на эти слова тем, что Россия кондовая, хлебородная Россия, то есть 80% ее населения, и без того отброшена в начало XVII столетия заботами проказливых племянников и что при случайном успехе сами социалисты вернутся к власти в окружении родственников, свойственников, соратников и сотрудников, вытащив из гробов повапленных мертвецов – не только давно похороненных, но для верности укрепленных в земле осиновым колом: одним словом сказать, что хрен редьки не слаще.

Все это можно было бы сказать, если бы десятки миллионов россиян не ждали в диктаторе человека с твердой и доброй волей, просвещенным и широким патриотизмом, с самозабвенной готовностью служить на благо и пользу народу. И вот тут-то мы – жаждущие, – не разделяя чуждых нам сомнений, поклепов и всезнайства со стороны социалистов, спекулянтов, трусов и байбаков, вправе ожидать для себя некоторой ясности и уверенности. Ведь это только в катехизисе хорошо выходит, что «вера есть уверение в вещах невидимых как бы в видимых».

Да. Это прекрасно было раньше: подняться с вечернего ложа, надеть старые доспехи и идти на великий, святой подвиг по зову народному. Теперь значение подвига и величественнее, и святее. Но... условия, увы, переменились. Прежде одолевал басурман или супостат. Народ взывал к герою: «Иди! Спасай!» Он вставал и спасал. И это выходило очень просто. Народу оставалось только зализывать свои раны да поставить полководцу памятник. Но сегодня, когда расшаталась и рассеялась вся земля русская, когда в ней попраны и опоганены всякие отношения — правовые и просто человеческие, — когда она вся полна ненавистью, недоверием и страхом за завтрашний день и когда, в то же время, она зловеще закалилась в огне неслыханных страданий, — от нее нескоро дождешься зова. Я говорю про истинный всенародный зов, а не про поддельный бутафорский, аранжированный десятком-сотнею расторопных авантюристов или хищников. Земле надо самой услышать если не зов, то голос завтрашнего вождя. «Что ты несешь с собою?»

Старинный спор помещика с мужиком о землице, Учредительное Собрание, вече, широкая конституция, восстановление собственности, иноверцы и инородцы, местное самоуправление и федерация, свобода совести и печати, защита труда и рабочий вопрос и многое, многое другое должно быть принято во внимание будущим диктатором «успокоения» в тем более емком смысле, чем более они были пренебрежены в старые времена. Реформа должна следовать не после успокоения, а, в постепенности, рядом с ним. И твердо надо помнить закон: однажды обещав, не исполнить — значит, обмануть и положить начало гибели.

Всего этого нельзя и не надо говорить в широких шумных манифестах. Будущее — почти непредвидимо, а люди — только люди. Но каждый человек, как бы он ни был поставлен высоко родом или положением, вправе, а иногда и должен, высказать свое собственное мнение, свой частный, личный взгляд на вещи и события. Для этого кое-когда полезна бывает и повременная печать. Ведь печатное слово, само со-

бою растекаясь по свету, крепче, вернее и неуязвимее всякой тайной организации.

Памятная книжка

К. и А. Сахаровы

Мы знаем классический балет, знаем хара́ктерные, бытовые, народные танцы. Своеобразное, тонкое, грациозное искусство Клотильды и Александра Сахаровых живет где-то в другой области, которой трудно подыскать наименование. Слово «импрессионизм», к сожалению, стало слишком широким, и путаным, и плоским; да и прежде оно не отличалось определительной точностью.

В Риме начала христианской веры, в эпоху Цезарей-Августинов, чрезвычайно высоко ценился одиночный мимический танец, исполнявшийся обыкновенно артистом-мужчиной. Мимам оказывались почести и триумфы, подобающие императорам и полководцам. Известно, что Нерон публично и торжественно женился на знаменитом миме Нарциссе, вольноотпущеннике. Современные писатели сохранили для потомства имена наиболее прославленных мимов и краткие, ясные, выразительные описания их танцев. Творчество Александра Сахарова — думаем мы — как бы воскрешает это древнее прекрасное зрелище.

Возьмем, например, «Кватроченто». Сцена в серо-голубоватых сукнах. Задний занавес расположен такими массивными складками и уходит так высоко вверх, что появляющийся артист кажется поразительно, неправдоподобно маленьким. Ощущается мысль о безмерном тяжком владычестве Неба над Землей. Артист одет в длинную одежду, одновременно простую и роскошную. Волосы, длинные сзади, подстрижены над бровями ровной линией. Кто он? Воин? Художник? Монах? Молодой конквистадор? И самый танец его — это порыв к небу и пресмыкание по земле. Но ничто не подчеркнуто. Впечатление получается не через догадку, а через интуицию.

Вот «Великий век». Под медленные, важные звуки кокетливой и гордой паваны выступает перед зри-

телями надменными, вычурно-изысканными движениями блистательный придворный кавалер, вельможа времен Людовика XIV, может быть, сам король-Солнце? Как пышен его волнистый, черный парик аршинной высоты на гордо поднятой голове. Какое ослепительное богатство костюма: ленты, банты, пряжки, позументы, переливы драгоценных камней на руках, камзоле и туфлях. Вот он — причудливый, великолепный век утонченного обожания женщины, легких, страстных любовных приключений, жестоких и сложных интриг, холодной вежливой дерзости, сказочной власти, широких жестов, остроумия, презрения к смерти. (Кстати: все костюмы делаются по тщательно продуманным рисункам Александра Сахарова.)

Вот еще цирковое зрелище: «упражнение на туго натянутой проволоке». Технически это устроено так, как делают иногда клоуны, пародируя этот номер, то есть проволока воображается протянутой по земле. У Александра Сахарова все схвачено верно до последних милых мелочей. Выдержанный стильный костюм; плоский огромный зонт из бумаги для «эквилибра» в правой руке, а в левой — бумажный цветной веер; скользящие движения ног, выдерживание баланса руками и телом; мгновенные повороты; подымание платка, брошенного на проволоку; чисто цирковое щегольство и точность работы. Но Александр Сахаров не подражает, а берет как будто бы квинтэссенцию, самую душу упражнения и передает ее легкими, летучими, прекрасными намеками в воздушном танце под цирковой вальс. Мы знаем, что большинство сальтимбанков-мужчин широкоплечи, коротконоги и слишком мускулисты для понятия о высшей мужской красоте (Аполлон). У Сахарова же (впрочем, как и у классических танцовщиков) есть умение показать свое тело телом отрока, еще идущего в рост, еще не оформившегося в мужчину, еще не утерявшего отдаленных сходств с длинноногой девушкой: в этом одна из внешних прелестей зрелища. И при том — удивительная способность: ничтожным движением, чуть заметным штришком создать очень сильное впечатление. Так именно А. Сахаров передает момент

потери равновесия. В цирке это всегда некрасиво и чуть-чуть жутко. У него же секунда разлада отношений между центром тяжести и точкой опоры и быстрое выравнивание их – одна из красивейших подробностей в этой чудной мимосцене. И все-таки талант артиста и впечатлительность зрителя делают то, что на краткий миг невольно чувствуешь вместе с быстрым холодком в сердце высоту и неустойчивость.

NB. Тут примечание. Нами давно уже замечено, что крупнейшие служители сцены отдают дань пристального внимания цирковому манежу. Артисты Московского Художественного театра были любимыми посетителями цирка. Шаляпин каждый свободный, редкий свободный, вечер приберегал для него же. Талантливый Жак Копо рекомендует своим молодым ученикам ходить в цирк – учиться. Сам он, как и другой замечательный режиссер и артист – Жемье, так же как сосьетеры французской комедии, нередко по субботам заходят в ложу клоунов братьев Фрателлини дружески поболтать, а за цирковой программой следят с самым живым интересом.

Припоминается нам еще одна сцена в репертуаре А. Сахарова. Она называется «Гитара». Самого инструмента нет. Есть только лента, как бы свисающая с грифа, и бант на плече артиста. Но стоит ему повернуться немного спиной или в три четверти к сцене, как музыка и совсем не подчеркнутые легкие жесты и движения воссоздают и гитару с ее томными аккордами, и южную ночь, пахнущую «лавром и лимоном», и испанский балкон вместо сукон, и зритель видит, и слышит, и чувствует,

Как в двадцать лет, окутанный плащом,
Трепещет и кипит любовник под окном.

В этом и есть подлинное искусство мима, и об этом-то искусстве нам значительно говорит Теодор де Банвиль: «Между возможным и невозможным предстоит выбор миму; он останавливается на невозможном. В невозможном он живет, и то, что невозможно, он совершает».

* * *

Но к танцам Клотильды Сахаровой нет ни ключа, ни ярлыка, ни подхода. Она танцует так, как только она одна танцует, как до нее никто не танцевал и никто после нее танцевать не будет. Мы не говорим — *так хорошо*, или *так искусно*, или *так технически совершенно*; мы говорим: *так особенно, по-своему*.

Сколько бы раз вы не видели ее танец, всегда кажется, что это — радостный праздник и для нее, и для зрителя, какая-то неудержимая импровизация, светлый, вдохновенный экстаз. Красиво ли ее лицо? Оно больше чем красиво: оно — мило и пленительно, и, опять-таки, оно не похоже ни на чье другое лицо, в отличие от громадного большинства человеческих лиц. У нее гибкое, стройное тело с прелестными, целомудренными, неописуемо чистыми линиями рук и ног. И притом музыкальное тело!

Она начинает свою программу с «Китайских безделушек». Это... как бы сказать попроще?.. это целый рой, блестящий каскад, пестрый вихрь, состоящий из множества мгновенных поз и движений, которые, без перерыва, бегут друг за другом, но каждое из которых — если бы их закрепить отдельно на киноленте — представляет собою утонченное подобие старинных китайских фарфоровых фигур. В изумительной стремительности танца К. Сахарова здесь не уступает таким замечательным балеринам, как Федорова II или Хлюстина (Кармен. II акт. Музыкальная драма. Петербург). Но у последних пламенный темперамент горит пожаром страстной любви. К. Сахарова танцует так же весело и неутомимо, как бегают, играя, подростки ясным летним вечером на зеленом лугу. И однако, она вовсе не холодна. Она только беззаботна, а танцевать для нее — потребность и наслаждение.

Но она знает и нежнейшую, певучую лирику. Ею она очаровывает в «Весенней поэме» и в «Пастушке». Ей не чужд и легкий гротеск, окрашенный грациозным юмором, например в «Негритянской песенке». Великое мастерство сохранить всю свою тонкую грацию и милость, танцуя в курчавом негритянском парике, в длиннейших красных перчатках, с огромным

бантом на шее и в юбке из длиннейших страусовых перьев, да еще исполняя его в движениях, отдаленно говорящих о восторге принцессы из племени Ньям-Ньям при виде поджариваемого миссионера. В Америке этот номер вызывал дико-бурные овации. В заключение Сахаровы танцуют упоительный «Романтический вальс». Вот где широко и прекрасно сказывается присущая им музыкальность нервов и тел. Здесь танец как бы подымается над землею, благоухая музыкой и светясь музыкой.

И ни у кого еще я не видел такой славной манеры кланяться на аплодисменты, как у Клотильды Сахаровой. У нее это выходит всегда по-разному. Иногда ее улыбка и жест говорят: «Нравится? Ну, я очень довольна». Иногда: «Зачем вы хвалите? Мне самой так радостно танцевать!» Или так: «Не думайте, я могу еще лучше». И вдруг, в низком-низком реверансе, так опустится на землю, что кажется маленьким волшебным хорошеньким комочком.

Мы сейчас говорим о давнишней программе. Теперь Сахаров готовит новую. Нам жаль: мы староверы и консерваторы. Но — пусть! Их искусство теплое, чистое, веселое и радостное дело. Жизнь скучна.

Сумасшедшие

Давным-давно мне пришлось в качестве сотрудника одной киевской газеты посетить местный сумасшедший дом — «Кирилловское богоугодное заведение». Сопровождал меня по всем палатам доктор Горбунов, очень любезный и обязательный человек. У него были те осторожные жесты и та медлительность речи, какие я впоследствии неоднократно наблюдал у профессиональных укротителей зверей. Кстати, ему, вскоре после моего визита, сильно досталось от его начальства за мою статью, потому что я описал больницу именно в том самом виде, в котором я ее наблюдал, то есть похожей на один из кругов Дантова ада; в таких случаях начальство всегда огорчается, упоминая о соре, выносимом из избы, и о птице, пачкающей свое гнездо.

Доктор Горбунов произвел на меня впечатление человека с чувствительной душой, с любовью к своему делу, со спокойным и решительным характером. В последнем я мог убедиться в то время, когда в нашем присутствии с одним из больных сделался буйный припадок. Доктор охотно рассказывал мне историю болезни некоторых пациентов. Попутно вспоминал он о давнишних необычайных происшествиях, как случившихся при нем, так и сохранившихся в преданиях. Один эпизод особенно врезался мне в память.

Однажды из больницы убежало трое сумасшедших. Побег был задуман и исполнен очень остроумно. Но два беглеца вскоре попались в руки полиции. Третий же – инициатор и вождь побега – точно в воду канул: сыскать его так и не могли.

Объявился он только через три года не то в Ростове, не то в Одессе, не то в Николаеве, где служил приемщиком пшеницы при большой транспортной конторе, то есть занимал видное и доверенное положение. За время своего скитальчества он с замечательной выдержкой не только заручился хорошим паспортом, но успел переменить несколько солидных служб и обзавестись семьею. Выдал его неожиданно накатившийся припадок безумия, после чего он был препровожден этапным порядком обратно в Киев, в Кирилловское заведение, где вскоре и умер.

В светлые промежутки он рассказывал доктору Горбунову о своих приключениях на воле. Они были весьма занимательны, но главными ходовыми пружинами в них были не ум и не дальновидный расчет, а хитрость, притворство и шальная находчивость, вводившие окружающих в обман: люди, вообще, гораздо простодушнее, чем они о себе думают.

«Одно его признание было очень замечательно, и оно чрезвычайно характерно для большинства сумасшедших, – сказал доктор Горбунов. – Он говорил, что не однажды за эти три года он испытывал соблазн отдаться на произвол подступающему безумию, но каждый раз усилием воли одолевал эту слабость. Чем лучше делалось его положение, тем сильнее становилось искушение и тем труднее было с ним бороться. И в то же время – как это причудли-

во! — ему доставляла лукавое удовольствие мысль, что вот, мол, я сумасшедший, а никто вокруг об этом не догадывается... В Николаеве его, наконец, прорвало...»

* * *

Об этом-то сумасшедшем я непременно и вспоминаю в те дни, когда большевики подготавливаются к очередному планетарному выступлению.

В том, что они безумны — кто же сомневается, кроме тех, кому выгодно считать их в здравом рассудке? Что они притворщики и обманщики — это известно теперь и младенческим умам; не хотят этого знать и видеть лишь обманщики и притворщики более высокого пошиба и масштаба. Эти же притворщики упорно не замечают, что большевиков «прорывает» не раз в три года, как моего сумасшедшего, а более чем три раза в год.

Вспомним. Завели они меновую торговлю в мировых размерах — и прислали в качестве экспорта на финскую границу две тысячи игральных колод и восемьсот погребальных венков. Обещали снабдить всю Европу хлебом — и обокрали хуверовские благотворительные склады. Кричат на весь свет о процветании и благоденствии СССР — и на днях, почти вчера, издают декрет: «По соглашению с Комгубом, разрешается раскорчевывать сосновые пни на предмет изготовления смолистой лучины для освещения домов!!!»

Сейчас в Лондоне идет англо-советское совещание. Наши «сумасшечкины» приехали с опозданием на полчаса. Вошли в смазанных сапогах. Сморкались наизусть. И как на подбор — самые кандальные лица. Ничего. Это еще сойдет. Рабочий пролетариат. Ему не до фасонов и одеколонов. Но очередной припадок впереди. Можно держать сто против одного, что не нынче-завтра они выкинут курбет позорнее, смешнее и наглее всех предыдущих. Они и теперь про себя хитро смеются: на наш краткий век дураков хватит.

Счет

Есть странный, немножко грубый, но очень милый рассказ о том, как у Тестова подает счет закутившему купеческому сынку разбитной половой-ярославец.

«Семь рюмочек водочки – рупь семь гривен, итого семь рублей восемь гривен. Два бутербродца – двадцать копеек, итого вместе будет пятнадцать рублей двадцать пять копеечек-с. Судили-рядили, время проводили – тринадцать целковых. Итого восемнадцать да тринадцать, мелочь вам в уважение скощаю, выходит ровно шестьдесят. Папиросочки изволили курить?» – «Ик! Нет». – «Полтинник. Итого семьдесят рублей пятьдесят копеек. На чаек, что пожалуете. Николай! Подай купцу калоши. Извините, ваше степенство, сейчас запираем».

Совсем такой счет подали англичанам члены советской делегации.

«Вы, англичане, покровительствовали наступлению Северо-Западной армии на Петербург и даже руководили им. Благодаря вашему вмешательству разрушено сто двадцать три моста и столько же водонапорных башен, да еще сожжены вокзалы и станции и попорчены рельсы. И все это на подступах к Петербургу, на путях варшавских и балтийских железных дорог. Сколько же за это с вас взять? А? Думаем, что даже несколько миллионов, а может быть, и все десять миллионов? Что? Почти около ста миллионов... Вот как!»

Смысл был именно этот самый. Я, может быть, только чуть-чуть сгустил стиль. Но настаиваю на том, что он был стилем или любимовской шестерки, или побочного сына, претендующего на долю в сомнительном наследстве через подпольного ходатая.

Англичане обошли подобную выходку презрительным молчанием. Но если бы эти островитяне, хоть ради оригинальности, впервые за все свое историческое существование хоть один только раз позволили бы себе роскошь не лгать в международных отношениях, они могли бы поднести наглым псевдорусским представителям самый изумительный контрсчет.

Они сказали бы:

1. Мы вмешали в дело отвоевания Петербурга Эстонию, заранее предугадав, что для русской армии это гибель. Во сколько вы это цените?

2. Мы устроили при помощи генералов Марча и Гоффа (имена которых давно опорочены в Англии) шутотрагедию с учреждением в сорок восемь минут Северо-Западного правительства, напихав туда людей с бору по сосенке. Во сколько это цените?

3. Когда мы увидали, что наступление на Петербург оказалось, вопреки нашим чаяниям, не шуткой и не покушением с негодными средствами, а делом изумительного, неповторимого патриотического героизма, мы сделали все, что только могут сделать культурные англичане для того, чтобы погубить и обесценить этот натиск, — мы послали в армию снаряды, из которых разрывалось только девятнадцать на сто; аэропланы и к ним неподходящие пропеллеры, пулеметы и к ним ленты с патронами иного калибра. И ни одной капли касторового масла, на котором, как известно, только и работают аэропланные моторы. В Гатчине же были два аэроплана в сравнительном порядке и было двое прекрасных летчиков (не называю их милых имен и даже инициалов). Судьба бронепоездов «Ленин» и «Троцкий» могла быть решена в несколько секунд, а вместе с ними судьба всех боев и, может быть, судьбы России и мира. Во сколько вы это цените?

4. В старину великие художники не подписывали своих имен, а делали привычную ремарку, по которой знатоки и узнают подлинность картины. Так и мы снабдили нашу помощь Северо-Западной армии крупной дозой соленого юмора в духе доброй старой Англии. Однажды три четверти емкости пароходного трюма (восемьдесят мест!) мы погрузили для отправки в Ревель... знаете чем? Фехтовальными принадлежностями: замшевыми нагрудниками, перчатками, рапирами и масками.

5. Мы продолжали эту шутку еще дальше. Мы, курам на смех, послали в распоряжение Северо-Западной армии пять танков. Вот их названия: «Бурый медведь», «Капитан Кроми», «Скорая помощь», «Доброволец»... (пятое забыл). Мы отлично знали, что эти

танки — времен войны Филиппа Македонского, и нарочно к ним приставили никуда не годную английскую команду. Дальше артиллерийских казарм эти уродливые машины не хотели ходить. Шли чиниться (всего четверть версты). Правда, однажды генерал Пермикин, всунув наган в очко одной машины, заставил ее идти и стрелять вплоть до Войволы (семь верст). Но это был не человек, а генерал Пермикин, рыцарь.

6. Когда необычайные успехи Северо-Западной армии стали грозить взятием Петербурга (пробились до Дачного; полторы версты по прямой до Нарвских ворот), мы перекрыли всякую помощь армии. Помощь одеждой и едой. Да и помощь-то была не наша, а американцев (да благослови Бог эту славную страну). Во сколько вы все это цените?

7. А во сколько вы учтете то, что мы дали вам возможность существовать лишние пять лет? Уже это одно стоит много миллиардов, считая на чистое золото. А вы, идиоты, лезете с каким-то пурдамом, разрушенным случайным снарядом на деревянном полустанке?

Сад

Пришлось мне на днях прочитать в «Последних новостях» краткую заметку о том, что в окрестностях Балаклавы конфискованы дачи: П. Н. Милюкова и моя — как лиц, бежавших от развлечений советской власти, и на предмет устройства на этих местах санаторий для деятелей профсоюзов.

Дачи у меня там не было. Земля и сад на ней принадлежат другому лицу. Я лишь вместе с двумя пиндосами и одним донголоком взрыли эту землю под плантаж, да вместо крутого обрыва сделали три отлогих террасы, подперев их каменными стенами, да посадили четыре тысячи виноградных кустов, а внизу — ряд пирамидальных тополей, несколько миндальных деревьев и грецкого ореха, а также и вишен, и белой акации — все это из Чоргуньского питомника барона Врангеля. Работал я, правда, с бескорыстным упоением: ничто так не веселит сердце, как земледельческий труд. Сладко видеть его результаты. Мне этой

радости не довелось испытать. Распоряжением мудрого правительства я был выслан из Балаклавы в двадцать четыре часа, с воспрещением вовеки появляться в районе вращения двадцатипятиверстного радиуса, считая центром круга Севастополь. За что? Я до сих пор этого не знаю. Социалистом я никогда не был и уж подавно никогда не буду. Я покорился этому распоряжению с горечью, но без ропота.

Чувство собственности я очень почитаю как большой двигатель в культуре человечества. Сам же я — не знаю почему — этого чувства окончательно лишен. И в Балаклаву потом мне так и не удалось попасть. Но глубокое и, признаюсь, гордое удовольствие доставляли мне такие невинные мысли.

Вот, думал я, пройдет лет пятьдесят-сто. Прах раба Божьего Александра давно уже смешался с землею, утучнив ее. И исчезли среди живущих не только память о нем, но и самое его имя. А сад живет! Состарился и измельчал виноград. Но чья-то заботливая рука обновила его прививками или новыми посадками. Кто-то в поте лица своего разрыхляет мотыгою почву между рядами. Кто-то вместо тополей посадил благоухающую липу. Собаки и лисы по-прежнему лакомятся, с опаскою, виноградом. Мальчишки и девчонки по-прежнему воруют, озираясь, миндаль и орехи. Сорвет мимоходом душистую гроздь белой акации влюбленная девушка и, краснея, спрячет за пазуху... Идет жизнь своею милой чередою. И пусть идет.

«Кто посадил хоть одно дерево, дающее тень усталому путнику, тот уже не забыт в своей последующей жизни». Так сказал Будда, в одном из своих воплощений, устами царевича Сиддхартхи.

Что большевикам за дело до этих мыслей? Основная точка их вероучения (она же единственная опора их нелепого существования) — это отвращение ко всякому труду, равно физическому или умственному.

Толстой переписывал «Войну и мир» восемь раз. Самые нежные, самые ароматные, самые воздушные стихи Пушкина исчерчены помарками и поправками. Сказано недаром: муки нет сильнее муки слова.

Луначарский (le beau Anatol) пишет по две драматических пьесы в день, каждая в шесть актов и четыр-

надцать картин, да еще – о ужас! – в стихах. И все пьесы ставятся в театрах. Попробуй-ка не поставить!

Совпресса у себя насчитывает 1880 пролетарских романистов и 1796 пролетарских поэтов. Все люди очень образованные. Владеют тремя языками: совдеповским, пошехонским и матерным. Не устают славить Чеку, Зиновьева, Дзержинского и первейшим образом высокого стиля почитают Демьяна Бедного.

Таковы же скульпторы, чьих рук изделия – памятники Степану Разину (с персидской княжной), Пугачеву, Лассалю, Карлу Марксу, Бланки, Луи Блану и какому-то Хофюзину – обезображивают и без того обезображенные улицы, перекрестки и вокзалы Петербурга.

Таковы же и музыканты под водительством бесслухого и бездарного Лурье, художники во главе с И. Клюном и Шагалом, страдающие дальтонизмом, и архитекторы вроде планетарного Татлина...

Здесь что главное? Пиши, валяй, сочиняй, рисуй, проектируй, что в голову придет. Лишь бы были налицо: холопская преданность завоеваниям отябрьской революции и ее вождям да потеря вкуса на букве ять. Остальное приложится. А за это – корки хлеба, а то даже и косточки, брошенные с барского стола. А еще более главное – это то, что труда в этом творчестве никакого не нужно. В нашем благоустроенном мире графоманами и упорными бездарностями всегда было хоть пруд пруди.

Плюнь в пречистый Лик Влахернской Божьей Матери. Запишись в коммунисты. Предай на смерть отца и мать. Отличись свирепостью и цинизмом в расстрелах. Вот это – труд. За это – и автомобиль, и жирный стол, и шампанское вино, и девка из бывших балерин.

С самого начала своей пропаганды большевики дали понять всякой мрази и сволочи: прежде ты хоть и плоховато, с отвращением работал кое-как, а теперь – раздайся, крик мести народной! – за тебя пусть поработают твои бывшие угнетатели. А ты, красавец, поваляйся на их бывших постелях, отдохни, поблюй на текинские ковры и гобелены.

Но от этой безумной проповеди оголтелого «перманентного» разрушения и лени первым отвернулся

мужик, закрывшись плотнее всякой устрицы от коммунистов и большевиков. Ныне мы с несомненной ясностью наблюдаем, что честные и умные русские рабочие, ценою страшных усилий и жертв, делают то же самое. Бьет какой-то роковой час...

* * *

Вот и жалко мне сада, над которым я работал с такой беззаботной любовью. Запустят, загадят его профдеятели... О завтрашнем они ведь не думают. Только о нынешнем. Сыт я и пьян нынче? — На остальное наплевать...

Да и их я винить не смею. Таковы дикие, уродливые условия жизни, которые издолга привил всей России большевизм. Есть надо. А как заглянешь дальше?

В. Ходасевичу

Я знал Тебя, Владек, в юную пору нашей жизни, помнишь, на Выселках в Петровско-Разумовском, где я часто посещал вашу дачу и вашу милую семью?.. Правда, я глядел на Тебя тогда немножко свысока. Ты был штатский, а я военный. Я был кадет, а Ты приготовишка-карандаш. Мне было пятнадцать лет, а Тебе всего одиннадцать — громаднейшая разница. Старший Твой брат Михаил был моим сверстником, а Тебя мы в наши секреты не пускали. Молод еще.

Потом Ты вырос и стал Владиславом Фелициановичем: Вы, В. Ф., начали писать стихи. Вы сделались совсем недурным поэтом. Мы с почти отеческим чувством удовольствия следили за Вашими успехами. Помните ли, как однажды Вы приехали к нам в Гатчину по какому-то издательскому делу? Мы с приятным удовлетворением отметили, что Вы выровнялись в статного, высокого, красивого мужчину, со свободными и достойными манерами, с той спокойной скромностью, которая теперь — увы! — совсем улетучилась в новом поколении. От всего сердца пожелали мы Вам найти свой тон, свой лад, свой вкус в трудовом искусстве поэзии. Не желая причинить Вам огорчение, мы умолчали о том, что, по нашему мнению, Вы творите несколько растрепе́, в модном фу-

туристическом темпе, с эпилептическими дерганиями, с презрением к труду, смыслу и музыкальности. Мы думали: «Кобелек ищет травку, какая ему полезнее, а потом выправится». И Вы вскоре стали оправдывать наши чаяния.

Потому-то Вы поймете и поверите, с каким удивлением и даже с печалью мы встретили Вашу странную грубую выходку с великой тенью Пушкина. Какой злой дух подтолкнул в недобрую минуту Вашу руку на это посягательство, похоронившее надолго Ваше хорошее имя и чистую репутацию?

Да. Из многих прелестных стихов Пушкина одни из прелестнейших эти пять строк из неоконченного стихотворения*:

В голубом эфире поля
Блещет месяц золотой;
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Догаресса молодая...

В этой недоконченности есть влекущее обаяние какой-то прекрасной венецианской тайны. Почем знать, может быть, сам Пушкин нарочно остановился на полуслове?

Отрывок этот всегда волновал воображение. Аполлон Майков пробовал дописать его. Вышло неудачно. Конечно, не так гнусно, как это сделал Валерий Брюсов, доконавший «Египетские ночи». Но все же... получилась у него плоскость и пустота.

Зачем Вы решились так необдуманно повторить его неудачный опыт? Какой бледной немочью и беспомощной путаницей оказались Ваши стихи. Каким тихим, скучным, неуклюжим ужасом веет от *Вашей* первой же строфы, запруженной четырьмя отрицаниями:

На супруга *не* глядит,
Белой грудью *не* вздыхая,
Ничего не говорит.

---

* Беру по Суворинскому изданию. Вариант второй строки: «Ходит Веспер золотой».

И разве эти две нижние строчки – не гитарный перебор штабного писаря или не кусочек, выхваченный из «Конька-Горбунка»?

А еще дальше:

> И супругу он по праву
> Только за руку берет.

Это не из той ли песенки, где Стенька

> И княжну свою бросает
> В набежавшую волну?

В других строфах напущено столько шипящих и свистящих согласных, что страшно прочитать их вслух.

Бедный Пушкин, так ревниво заботившийся о гармонии своих поэтических слов, наверно, упал бы в обморок от одного вида Вашей какофонии, а он был человек с характером мужественным.

А этот ужасный канцелярский или поповский глагол «указует»!

И наконец, где же самое содержание, где смысл Вашего вододействия? Убейте меня, я терзался над ним два часа, да так и не понял, о чем Вы бормочете сквозь сон.

И зачем Вам понадобилось исказить именно Пушкина? Правда, он был грозой плохих рифмачей. Нынешних поэтов он не тронул бы, потому что сразу признал бы их писания за то, что они есть; то есть за злую и дерзкую мистификацию, дурачащую нэпманских модниц, снобов из Чека и большевизанствующих приват-доцентов срока 1917 года.

Но решиться стать перед публикой вот так, вплотную, рядышком с Пушкиным... н-да-с, на это требуется огромная решительность. Ни одна девица легкого поведения, даже самая смелая, не отважится появиться на́ люди в солнечный полдень. Она знает, каким уродливым и истрепанным покажется ее намазанное лицо при дневном освещении. А Пушкин ведь – наше яркое солнце.

Неужели человек?

Выступала одно время в цирках обезьяна — шимпанзе — знаменитый Морис II. Мне довелось видеть Мориса не только на манеже, но и в частной, интимной жизни. Он умело и опрятно носит костюм, кушает за общим столом, причем ловко повязывает салфетку, непринужденно владеет ножом и вилкой, сам себе наливает в стакан вино, с толком выбирает сигару, обращаясь с нею как завзятый знаток. С гостями он неизменно приветлив и любезен. Все его поведение свидетельствует о ясном уме и добром характере. Ну — совсем человек, и хвост, торчащий из-под его пижамы, кажется случайным недоразумением.

Европа, по лицу которой, благодаря ее нелепому попустительству, ныне шатаются под видом послов и купцов советские коммивояжеры III интернационала, сначала опасливо разглядывала сзади их фраки: не покажется ли между фалдами хоть кончик подвижного, мохнатого хвоста? Однако хвоста не разглядели и подумали: может быть, и в самом деле это люди?

Не беспокойтесь: хвосты у них есть, но из хитрости они оставляют их дома. Мы-то, жившие под их звериной властью, отлично видели всякие хвосты: собачьи, кошачьи, обезьяньи, лисьи, и волчьи, и мерзкие хвосты гиен, и свиные хвостики закорючкой. Мы до сих пор помним звериные зубы, звериное дыхание, звериное обжорство, звериную похотливость.

Есть такая смешная уличная песенка о том, как влюбленная швейка повесила на стену портрет возлюбленного... Там хорош конец:

И все будут любоваться,
В один голос говорить:
Уж и что ж это за прелесть!
Неужели человек?

И право, люди ли, в самом деле, все эти убийцы, предатели, провокаторы, пакостники, доброхотные стяжатели и палачи? О нет! Милый Морис II в своем ласковом простодушии ближе стоит, чем они, к благородному виду Homo sapiens.

Но, к сожалению, они несравненно лучше Мориса носят фрак и гораздо более его походят *внешне* на людей. Кроме того, они говорят, а Морис – нет. Последнее отличие не очень значительно. В мире накопилось такое количество общих слов, оборотов и суждений, что при помощи этого послушного материала любой ловкач может слепить почти удовлетворительную ноту и произнести достаточно связную речь на конференции.

Однако на языке большевиков нет слов творчества, любви, чести и достоинства (бесплодные угрозы – это не язык достоинства). Кроме того, их мышление страдает двумя пороками, свойственными обезьянам низших пород с плохой памятью прошлого и противоречивостью.

Оттого-то у советских дипломатов и финансистов, вращающихся в цивилизованном мире, время от времени все-таки нет-нет и мелькнет сзади отросший за долгую командировку легонький хвостик.

Раковский в довольно наглой ноте, обращенной к французскому правительству, заявил по поводу интересов мелких держателей ценностей во Франции: «Мы неоднократно обнаруживали готовность идти навстречу интересам мелких держателей».

Вероятно, совсем выпало из его мандрильей головы, на каких обезьянье-нелепых условиях согласились большевики пойти навстречу этим интересам (только пойти, а не удовлетворить их!).

А еще: как же согласовать эту неоднократную добродушную готовность с недавними словами другой гориллы – Троцкого: «Никаких долгов, сделанных при старом режиме, никогда советская власть платить не будет».

Ах, когда же, наконец, Европа придет в отчаянье от бесконечной лжи и виляния словами большевиков?

Когда же она задаст себе вопрос:

Неужели это люди?

Честь имени

I

Нигде в мире честь чужого имени не находилась в таком пренебрежении и не служила столь безнаказанно пищей для грязных сплетен, как у нас, в благословенной утробной России.

Помните: стоило, бывало, кому-нибудь покинуть милую дружескую вечеринку, как оставшиеся тотчас же с каннибальской яростью бросались перебирать и грызть его кости?

Помните ли вы старый теплый уездный город с тремя тысячами населения и пятнадцатью церквами? Прошел по середине улицы акцизный с лесничихой. «Живет с ней. Чего дурак лесничий смотрит?» Уехала дочь предводителя в Москву. «Рожать поехала». Заболели зубы у о. дьякона. «Знаем, отчего заболели!» Сказано таинственным тоном, а один черт знает, что под этим кроется. Да и не вся ли Россия была огромным уездным городом?

С каким жадным интересом копались мы в частной жизни людей, стоящих выше толпы, копались исключительно с целью разыскать кусочек потухлее! Страшно подумать, сколько мерзких гадостей прилеплено к чудесным именам Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чайковского... А еще страшнее то, что вкус к этим гадостям передается, не ослабевая, от поколений к поколениям. Так пудель найдет в помойке вонючий обглодок, поиграет им, а потом зароет до следующего раза.

Но всего больше плели мы друг другу на ухо — злой, вздорной, идиотской ерунды — это о членах царствующего дома. Главным питательным источником в этом смысле были для нас те «запрещенные» книжки, на которые мы с такой жадностью накидывались, едва перевалив из Вержболово в Эйдкунен.

Социалистов я еще понимаю. Их партийной обязанностью, их программным долгом было — опорочивать правящие классы всякими путями, среди которых особенно рекомендовалась заведомая клевета. «Цель оправдывает средства» — эта железная формула, многое разрешавшая людям великой веры, горя-

чей любви, сильной воли и широкого ума, стала ныне одинаково обелять: юного фармацевта, устроившего профессору химическую обструкцию, и Дзержинского, расстрелявшего сотни тысяч человек.

А вот мы-то чему радовались, сладострастно упиваясь в заграничном вагоне поруганиями нашей истории, вестями из ватерклозета и кустарной грубой ложью, выпиравшей из каждой строки? Прикрывались-то мы, конечно, собственным либерализмом, но из-под этого фигового листка смотрела наша собственная грамота: лестно заглянуть под чужое одеяло, любопытно сунуть нос в чужой ночной горшок, а особенно если эти вещи принадлежат людям недосягаемым.

И какое же крошево для свиней подносили социалисты нашей невзыскательной любознательности! Я был шестнадцатилетним мальчишкой и слегка подлибераливал, когда мне кто-то сунул «Запрещенного Пушкина» и «Тайны дворца Романовых». С первых же страниц я плюнул на обе книги. «Запрещенный Пушкин» навсегда, а «Тайны» очень надолго отвадили меня от похабщины и вольнодумия. А ведь теперь если подумать, что эти вздорные книги читали люди зрелые, положительные отцы семейств и городов, а читали с полнейшим доверием, – то только руками разведешь.

Что и говорить, не сплошной розовый цветник представляла наша прежняя, старорежимная жизнь. Не одними только медовыми пряниками кормило нас наше правительство. И царей наших, случалось, окружали люди прямо страшные своими отрицательными чертами: тупоумием, упрямством, корыстолюбием, леностью, распущенностью, завистью, индючьим самомнением, презрением к России, а больше всего – непомерной любовью к родственникам, влекшей за собою неслыханный непотизм.

Старая пресса, – хотя и стиснутая железными шенкелями III Отделения, хотя и осаживаемая строгим мундштуком цензуры, – все-таки умудрялась вести, на эзоповском языке, войну с двором и правительством. Эту тайную и опасную войну мы до сих пор вспоминаем с почетом. Но тогдашние рыцари пера

не заглядывали в жилые, интимные покои царского дворца. Это делало революционное подполье.

Что было за дело до чести чужого имени героям подполья. Своих имен у них не было; были клички: одна или две партийных, да еще одна от филеров, да еще псевдоним журнальный. Своя фамилия стиралась, пропадала. Да и не все ли равно? Если социалиста прежних времен спрашивали: «Какая фамилия была вашей матери в девичестве?» — он отвечал спокойно: «А черт ее знает!» Точно зародилось из банной плесени все русское подполье.

И надо сказать, оно делало свое дело опорочения не только грубо, но и совсем бездарно, как, впрочем, была бездарна вся подпольная литература: стихи, проза, прокламации, брошюры; глупее этого мусора были разве только революционные песни и гимны... Теперь и вспомнить-то стыдно, какие лубочные ужасы, какие дурацкие мерзости печатались тогда в Женеве о русских императорах! А публика глотала это вранье с наслаждением и делилась, шепотком, с друзьями и знакомыми своими сведениями.

Странно: эта позорная слабость и до сих пор еще не прошла у русских интеллигентов. Особенно у эмигрантов.

Есть, например, одна русская газета за границей. Она твердо убеждена в том, что великая русская революция с ее великими завоеваниями на веки вечные покончила не только с династическими интересами, но и с самой мыслью о монархии, хотя бы даже и расконституционной (большевики — того же мнения). «Есть, правда, — говорит она, — маленькая горсточка монархистов, а среди них — даже три-четыре легитимиста, но эти чудаки совсем безвредны, и скоро их можно будет показывать за деньги, как когда-то показывали представителей вымирающего племени ацтеков».

Но если уж так безнадежно дело монархии и монархистов, то зачем же эта газета никогда не упускает случая боднуть, кольнуть, щипнуть или мазнуть грязью имена русских усопших царей от Екатерины II до Николая II? Ведь русская монархия, по ее мнению, только тень, призрак, дурной сон, истори-

ческое воспоминание... Кто же, разумный, воюет с привидениями? И кто, кроме темных фанатиков, решится предавать поруганию и проклятью имена лиц, давно ушедших в небытие?

II

Имя Александра III менее всех больших имен давало поводов и случаев для судачения. Сплетня ломала зубы об его крупную, хозяйственную, самобытную фигуру.

Что о нем говорили социалисты?

Что он не подписал конституции, заготовленной его отцом?

Но разве не был убит Александр II социалистами почти в тот день и час, когда он хотел ее подписать? Ведь конституция была неизбежным, логическим выводом из всех прекрасных реформ царя-освободителя, завершением всего его царствования. Абсолютный монарх дает народу благо свободы, а не уступает насилию: иначе он не самодержец. И ограничивает размер своей власти он по своей воле, а не по требованию: иначе демагоги размечут по кускам и скипетр, и державу, и порфиру. Подумайте: мог ли Александр III подписать эту конституцию над неостывшим телом своего отца и именно в тот момент, когда это бессмысленнейшее и жесточайшее из убийств ясно показало, как мало стоят народ и общество оказанных им благодеяний.

Как бы в укор Александру III ставят то, что он прислушивался к советам Победоносцева. Но один из лучших даров каждого государя — это умение внимать голосу мудрости. Победоносцев был совершенно прав, рассматривая цареубийство как самую низкую подлость. Но из социалистов лишь один Лев Тихомиров это понял душою и умом. Другие и до сих пор почитают это злодеяние великим актом народного гнева.

Хорош народный гнев! Плотная мужичья масса сразу решила: «Убили царя господа за то, что он у них отобрал крестьян». Это мнение вы и теперь еще можете услышать от уцелевших древних стариков.

Говорят, что Александр III, боясь покушений, окружил себя охраной. Но, во-первых, назовите мне человека, который смотрел бы на бросаемую в него бомбу как на источник сильного, но приятного развлечения? А во-вторых: если частному человеку разрешено ставить жизнь на карту, играя со смертью, то жизнь государя должна быть оберегаема как им самим, так и правительством и народом. Посмотрите-ка: нынешний принц Уэльский — веселый, добрый и очень любимый народом юноша — чересчур увлекся скаковым спортом; после двух неудачных падений на него заворчало все английское общество: «Негоже наследнику престола так рисковать жизнью и здоровьем».

Ставят Александру III в вину то, что он утвердил смертный приговор убийцам своего отца. Оставим в стороне вопрос, насколько уместно монарху проявлять свои родственные чувства в виде кровной мести. Другой вопрос: возможно ли оставлять в живых злоумышленников, низвергающих при помощи убийства законный порядок в государстве? Ведь это только социалисты понимали так односторонне «борьбу»: когда мы нападаем и убиваем, то это «святая борьба», когда же от нас защищаются, то это уже — гнусная реакция. И тут же забывают, что, кроме героев 1 марта, кажется, ни один человек не был казнен в царствование Александра III.

Жаловались еще социалисты, что их ссылают в Нарымский, Зарентуйский, Акатуйский и другие края. Но что же было с ними иначе делать? Надо же ведь уметь изредка становиться на логическую точку зрения враждебной стороны. Да и то сказать: в этих ссылках была своя доля большой пользы. Из бездельной жизни в прокуренных чердаках, от бессмысленных русских споров и массовок молодого человека судьба переносила на лоно природы, в среду первобытных, чистых сердцем, правдивых и наивных, как дети, полудиких народов. Сколько людей вернулось оттуда выпрямленными и поздоровевшими (сохранив в целости свою непримиримость). Короленко, Елпатьевский, Дионео, Серошевский, Тан, Олигер, Чулков... всех не перечислишь. В городе они никогда бы не отыскали в себе самого главного: таланта.

Говорили еще, что царствование Александра III было скучно и серо. Да и слава Богу: тринадцать лет этот государь не хотел воевать. А ведь раньше, круглым счетом, мы воевали через каждые три года. Чего еще лучшего может пожелать народ от своего царя? И именно за время этого мирного царствования русский крестьянин начал расширять свое хозяйство.

Говорили также: «Царь простоват. Иногда он сам признается, что не понимает докладов министров». И тут неизменно приводят анекдот о тарифах, всегда один и тот же.

А между прочим, мне истинная основа этого анекдота известна лучше, чем многим другим. Вот что рассказывал граф С.Ю. Витте в Париже корреспонденту «Нового времени» И.Я. Павловскому (недавно умершему) и что Павловский в тот же день по свежей памяти записал в дневник:

«Когда Витте окончил чтение о необходимости введения нового ж.-д. тарифа, государь, терпеливо слушавший, сказал:

— Я не понимаю. Объясните.

Витте эти слова не удивили, как не удивило бы профессора высшей математики то, что студент не понимает 43-ю страницу эйнштейновской теории. Он знал лишь, что только честный и сильный государь может позволить себе роскошь признаться в непонимании. Да, надо еще сказать, что настоящим кропотливым работником по созданию новых тарифов был вовсе не Витте, а киевский буквоед профессор Афиноген Антонович. Витте дал зерно мысли. Витте был по-своему признателен Антоновичу: он добился для него поста товарища министра финансов, но киевский специалист недолго зажился в Питере — очень уж он был гугнив, косолап, невзрачен и провинциален...

И вот Витте ответил откровенностью на откровенность:

— Простите, государь, я и сам, признаться, понимаю здесь очень мало, кроме несомненной пользы для России. Если вашему величеству будет угодно выслушать В.И. Ковалевского... у него дар самые сложные вещи передавать в упрощенном виде...

Государь поморщился.

— Кажется, он социалист?

— Но верный сын родины, ваше величество».

Так-то был принят и выслушан В. И. Ковалевский, так были подписаны новые тарифы, и так было положено начало анекдоту. Я рекомендую каждому умнику покопаться в этих тарифах!

Вот, кажется, и все, что сплетня могла придумать в опорочение имени Александра III. Разве еще то, что он будто бы пил много вина. Но тут позвольте уж мне, как гатчинскому соседу, сказать правду. Вина государь никогда не пил, а за официальными обедами лишь пригубливал шампанское. Но водку, действительно, пил, раз в день, в двенадцать часов, мерный серебряный стаканчик, после чего ел с большим аппетитом. Посещая какой-нибудь полк, заходил на кухню, принимал из рук артельщика чарку, а от кашевара — пробу, причем, к радости солдат, съедал ее всю: и щи, и кашу, и порцию. Слухи об оргиях — вздор. Никто не видел государя хотя бы в малейшем опьянении.

Одного никогда не смела касаться охочая клевета: брачной жизни Александра III.

Но вот, на днях, в одной русской газете читал выдержки из дневника какой-то захудалой генеральши. Дневник напечатан в Совдепии Л. Френкелем, неизвестно — с согласия ли генеральши или просто путем проворства рук. Выдержки же, взятые газетой, все как на подбор, клонятся к опорочиванию последних Романовых.

Одна из них прямо невероятна по своей мерзости. Видите ли: Черевин будто бы сказал генералу Баранову, а генерал Баранов — авторше дневника, а авторша немедленно занесла в тетрадку, что государь страдает такими противуестественными наклонностями, о каких не упоминает даже Крафт-Эбинг в своей «Psyhopathia s'exualis». Черевин — о стыд! о ужас! — поставляет государю кормилиц...

Не заступаться мне приходится за покойного прекрасного государя. Но просто в моей памяти встает то, что мне приходилось разновременно слышать о частной жизни Александра III из уст Н. П. Азбелева

(воспитателя великого князя Георгия) и профессора Рауфуса, лейб-акушера.

Оба они – моложавый адмирал и древний профессор – рисовали жизнь царской семьи в Гатчине как хорошую, дружескую, помещичью жизнь, мало стесненную этикетом, полную ласки и взаимного понимания, богатую впечатлениями и свободой для детей. Тяжесть отцовского авторитета чувствительнее сказывалась на наследнике. Для остальной молодежи она казалась незаметной. Больше побаивались матери; впрочем, ее точности и некоторой педантичной узости, кажется, побаивался сам государь... Александр III был замечательным отцом – мало нежничал с детьми, но заботился о их воспитании и здоровье с трогательным вниманием.

«Мне говорили, что он сам выбирал кормилиц для грудных детей», – рассказывал Н.П.Азбелев.

А доктор Рауфус об этом же предмете вспоминал с оттенком легкой старинной обиды: «Императрица не могла сама кормить. Государя это огорчало. К выбору кормилиц он относился чрезвычайно ревностно. Он упорно настаивал на том, что кормилица должна по типу походить на мать. Но как мы могли найти такие данные в чухонских деревнях, да и еще при условии доброкачественности молока? Но такие требовательные родители не новость для нас, акушеров, и я однажды позволил себе спросить государя, не держал ли он когда-нибудь в руках книгу "Мать и дитя", сочинение доктора Жука? Царь на минуту как будто бы смутился: "Предположим – да. Что же из этого?" – "Да то, ваше величество, что когда мы, акушеры, практикуем простых смертных и они мешают нам своими советами, то мы рекомендуем им немедленно сжечь эту книгу, так как в ней много вздора"».

Я бы не останавливался так подробно на этой мелочи, если бы в ней не вскрывался с несомненной ясностью путь создания очередной гадкой сплетни:

1. Черевин. Это был огромный меделянский пес, безгранично и слепо преданный воле государя. Это был в царской руке вечно заряженный пистолет со взведенным курком. Царю стоило только нажать гашетку – и Черевин стрелял бы в любом направле-

нии. Так ему однажды и было приказано: найти хороших кормилиц. И он полетел доставать их.

2. Черевин об этом случае прямо и бесхитростно рассказал Баранову. Н. М. Баранов был умница, честолюбец м насмешник. Он немного фрондировал. За ним водились кое-какие грешки по части самоуправства, и государь как-то сделал ему лично замечание. В этих случаях гигантский царь бывал страшен. У Баранова осталась желчь после выговора. Передавая на вечере у генеральши рассказ Черевина о кормилицах, он, вероятно, не мог воздержаться от легкого пожатия плеч, от маленькой кривой улыбочки: вот, мол, государь, к голосу которого прислушивается весь мир, а какими пустяками занимается.

3. Генеральшино воображение истолковало улыбочку по-своему: «Ага! Пикантная подробность!» И влепила в свой дневник этот рассказ как деталь в картине общей развращенности династии.

4. А газетчик-социалист, не задумываясь, перепечатал эту деталь людям на посмеяние. Что ему за дело до чести чужого имени.

Утверждение

Есть анекдот про чудака, который, попавши в гамбургский зоологический сад Гагенбека, увидел впервые огромнейшего жирафа — от копытец до рожек трех саженей высотою. Чудак долго глядел на чудесное пятнистое животное, потом решительно махнул рукой и сурово сказал:

— Не может быть.

И пошел прочь.

И еще рассказывают не то про Чхеидзе, не то про Жорданию, что, когда кого-то из них спросили: «Почему, собственно, вам понадобилась грузинская республика?» — он моментально ответил:

— Абсолютно необходимо.

Одна из русских эмигрантских газет каждый раз, когда ей случается подходить к самым сложным, самым больным русским вопросам, неизменно прибегает именно к такого рода категорическим утверждениям и отрицаниям.

Такая голизна и такая бесповоротность убеждения были бы, пожалуй, и почтенны, и невинны: верую, ибо — верую; не верую, ибо — не верую. Что-то здесь есть от фантастического пыла или от детского неодолимого упорства.

Но нет. Упираясь против очевидности или навязывая обществу злой и опасный теоретический вздор (вот где сидят у нас эти теории!), она стремится подкрепить свой категорический императив ложью, передержками и туманом старых, обветшалых, облезлых слов. И тут она становится куда меньше убедительной, чем скоропалительная Жордания или неведомый путешественник, одним мановением руки прекративший навеки существование целой породы премилых двукопытных животных.

— России абсолютно необходима немедленная демократическая республика, — говорит она.

Мы это выслушали и отвечаем:

— Необходима? Вот как? Это ваше мнение? Очень хорошо. Оставайтесь при нем. Мы же иначе мыслим. Впрочем, до свидания, прощайте. Нам некогда.

Но газета приводит доводы, и нам становится тошно, и скучно, и жутко: столько в них теоретической ленинской долбни, столько жестокости и бессердечия, столько старческого презрительного равнодушия к истории и судьбе русского народа.

«В революции, — говорят они, — рядом с вещами, которые должны были погибнуть, потонули и многие такие, которые для блага России должны были бы существовать непрерывно».

Хотел бы я услышать, что́ не погибло в России, если к черту полетело все: ее слава, честь, здоровье, богатство, хозяйство, вера, творчество, интеллигенция, наука, история и даже песня... А что осталось? Всего только сто миллионов двуногих существ, доведенных до такого ужаса и рабства, в каком не находилось от сотворения мира ни одно вьючное, дойное или всякое другое домашнее животное.

Дальше:

«Но в своем стихийном виде революция свои основные задания выполнила».

Иными словами: «Чтобы сделать яичницу, были разбиты яйца». Ах, яичница вышла вся прослоенная говядиной – человеческим мясом, да еще своим, кровным. Ну, ладно, кушайте ее на здоровье, во славу грядущего III интернационала, который неизбежно придет на смену демократической республике. Кушайте и хвалите. Но все-таки храните стыдливое молчание о заданиях революции. Их не было. Была катастрофа. Было извержение вулкана. Был каменный град, свирепости которого вы не должны и не могли забыть, ибо вы сами тогда метались в истерической панике, а камни и обломки зданий падали вам на скорбные головы!

Еще дальше. Одна газета задает самой себе вопрос:

«Теперь спрашивается: возможна ли после *такой* (подчеркнуто в подлиннике) революции, после таких тяжких жертв *либеральная* монархия в России?»

Я бы на месте передовика одной газеты подчеркнул в этом абзаце совсем другие слова, а именно слова *тяжкие жертвы*. И я бы добросовестно перечислил эти жертвы в отчетном порядке, по рубрикам:

1. Сотни городовых, убитых лишь за то, что верны были долгу и присяге.

2. Офицеры и механики флота в Гельсингфорсе (еще в феврале!), в Кронштадте, Выборге и Севастополе. Все они были или брошены в море, или сожжены в топках; все, кроме немногих трусов, побежавших с красной тряпкой в руках лизать зады победителям.

3. Тысячи офицеров армии, убитых фронтовыми солдатами в окопах, немедленно после приказа № 1. А ведь из них многие тогда были настроены не менее либерально, чем сам П. Н. Милюков.

4. Юнкера Александровского военного училища в Москве, славные мальчики-герои, дравшиеся мужественно целую неделю и преданные большевикам. Ударный женский батальон. Трупы на Калуще и Станиславове.

5. Десятки тысяч офицеров, замученных и расстрелянных во всех губернских и уездных Че-Ка – в поминовение тени грязного Урицкого.

6. Сотни тысяч несчастных, убогих, голодных, обнаженных, дрожащих людей — просто жителей, — убитых лишь за то, что «мне твой нос не нравится» или «мне твои штаны и часы нравятся».

7. Десятки миллионов хлеборобного одураченного, ограбленного народа, погибшие от голода, холода, эпидемий и карательных экспедиций.

8. Сотни тысяч солдат и офицеров белых армий, павших в боях и расстрелянных большевиками.

9. Поразившее весь мир неслыханно зверское и подлое убийство государя и его семьи.

Вот они настоящие, вопиющие жертвы той революции, которая с самого начала протекала и углублялась под знаком азиатского большевизма. Неужели на крови этих бесчисленных жертв можно строить будущий демократический парламент, куда войдут, кстати, и Керенский с Черновым. Ведь предсмертным шепотом этих жертв были: или проклятие *такой* революции и таким революционерам, или кроткая святая молитва о скорейшем избавлении от них многострадального русского народа.

И все-таки, задавши себе вопрос о возможности в будущей России либеральной монархии, одна газета, опираясь на перечисленные жертвы, сама же и отвечает твердо, словами Чхеидзе: «Мы утверждаем, что она невозможна, и потому мы республиканцы».

Этого утверждения мы так и не чувствуем, ибо оно основано на лжи, а республиканцами... что же... будьте...

Товарищ Ходасевич

Недавно мне пришлось указать в печати на неумелую, косолапую, бездушную попытку В. Ходасевича закончить прелестный пушкинский отрывок. Мне казалось, что я лично знал этого Ходасевича. Но я ошибся, хоть и ненамного. *Этого* Ходасевича я, действительно, видел, когда ему было около двух-четырех месяцев. Познакомиться мне с ним не удалось, потому что он в это время все свои переживания и напевности выявлял первобытными, но малопонятными средствами.

Я даже не подозревал, что это был не мальчик, а девочка: на мой разбор стихотворной попытки автор ответил чисто по-женски.

Во-первых, он прибавил целых пять лет к моему уже и без того серьезному возрасту. Хоть заглянул бы в энциклопедический словарь! Там ясно напечатано: 26 августа 1870 года.

Во-вторых, не зная, в какое место укусить, вспомнил, что еще в четырнадцатом году изругал меня в какой-то газете. Я не читал этой брани, да и, признаться, печатными отзывами не интересуюсь. А женщина всегда помнит – не добро, ей оказанное, а зло, ею причиненное.

В-третьих, уличенный в некрасивом поступке, он, подобно женщине, пойманной на месте преступления, начинает, вопреки очевидности, нести неистовую путаницу и притом прямо в глаза свидетелям. Ведь стишки Ходасевича были не сказаны, а напечатаны черным по белому. И вот даже его три строчки с четырьмя отрицаниями, от которых, повторяю, веет тихой, скучной, неуклюжей бездарностью:

Последняя строка Пушкина:

Догаресса молодая...

Ходасевич:

На супруга не глядит.
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.

В свое оправдание В.Ходасевич выписывает из Пушкина четыре отрывка, содержащих *то же* (замечательно это *то же*!) нагромождение отрицательных частиц. Но их нанизывал не тоже, а просто Пушкин, и они у него служат послушно, изящно и уверенно к усилению смысла, украшению стиха и к его гармонии. Так-то. А В.Ходасевич никогда не согласится с тем, что его собственный Пегас везет его не туда, куда хочет всадник, а куда вздумается коню. Посудите сами. Что вы заключаете из трех Ходасевичевых строчек? Только то, что молодая догаресса молчит. Зачем же рассказывать о том, чего она не делает? Ведь кроме того, что она не вздыхает, она еще, может быть, и

не плачет, и не улыбается, и не подымает век, и не смотрит на небо и т.д. А кроме того, раз она молчит, то уж, наверное, ничего не говорит в это время.

Какое бестолковое водолейство.

Да, и кстати. Почему догаресса не вздыхает? Плывет она рядом со старым, властным, вероятно, нелюбимым мужем по Большому Каналу или по Лидо. Золотая венецианская ночь. Месяц. Кругом — красота... Нет, в таких случаях из ста тысяч молодых и прекрасных женщин девяносто девять тысяч непременно вздыхали бы, хотя, может быть, и старались удержать вздохи. Пушкин очень знал такие вещи.

Дальше: почему это догаресса не вздыхает именно грудью, а не просто не вздыхает? Или тут автору для чего-то понадобилось отличить это вздыхание грудью от вздыхания ноздрями, ртом, горлом, животом? Или просто ему хотелось показать белую грудь венецианской красавицы? Но ведь, во-первых, ночь, а затем «белая грудь», да еще не вздыхающая, это уж как-то совсем по-русски выходит, как-то по-писарски, если не по-смердяковски (тот тоже был любитель на гитарке), — не лучше, чем и два других стишка.

И супругу он по праву
Томно за руку берет.

А супруга по-прежнему ничего не говорит. Молчит, может быть?

* * *

Что и говорить — стишки пошленькие. Но всего непростительнее то, что В.Ходасевич не только пристегнул их к прелестному отрывку Пушкина, но у Пушкина же ищет оправдания своему безвкусию и своей неумелости. Вообразите, что В.Ходасевичу удалось высидеть такой, например, стишок:

Та ты — не ты. Ту ты — ты не заменишь.

Ему говорят: послушайте, это очень некрасиво — пять «ты» подряд; уж больно вы растыкались...

А он возражает с апломбом:

— Вы, сударь, очевидно, совсем не знаете вашего обожаемого Пушкина. У него есть стихотворение,

где в двух строчках два раза повторяется одно слово и три раза другое.

И приведет выписку:

...полна одной тобою,
Тобой, одной тобой...

И прибавит:

— А вы, сударь, невежда. Надо, сударь, учиться и работать.

Именно с этим отеческим наставлением В.Ходасевич ко мне обратился. А закончил его гордо, курам на смех, себе на позор:

«Это я всегда говорил начинающим пролетарским писателям».

С каковым признанием я и поздравляю товарища Ходасевича.

Так это, значит, он был в числе воспитателей и руководителей той семитысячной банды безграмотных сопляков со злокачественной чесоткой языка, которая облаяла и оплевала все дорогое, чем духовно жила прежняя великая, интеллигентная Россия: литературу, искусство, красоту, чистую любовь и святую веру; которая воспевала доблестные подвиги Че-Ка и бешено выплескивала кровь Распятого из умывальника?

Но если даже он и обучал стихотворству этих ублюдков, то какая-то отдаленная жалостливая симпатия не позволяет мне верить тому, что, исполняя долг, службу и покоряясь общему обычаю, В.Ходасевич писал оды по особо торжественным случаям: на пролетарские праздники, на выступления Троцкого, на приезд Дзержинского и на избавление Зиновьева от чирия. Нет. Этого он не делал.

Прощайте, товарищ Ходасевич.

Памятная книжка

Теперь уже совсем не секрет, что Н.Ф.Колин, наш любимейший прекрасный артист, подписал контракт с Абель Гансом. На два года. Ставится огромная по размерам (шесть эпизодов) кинопьеса, охватывающая жизнь Наполеона от ученической скамьи до

осторова Елена. Здесь у Колина роль, как будто бы, второстепенная, подыгрывающая. Но в ней талантливый режиссер сумел вместить то обожание к личности маленького капрала и ту простоту отношений, которые только и мыслимы были при этом, волею случая, гениальном императоре.

Замечательно то, что не Колин отыскал Абель Ганса, а, наоборот, Абель Ганс — Колина, что делает большую честь вкусу и чутью современного мага «кинотворчества». Абель Ганс простер свою дружескую любовную заботливость до того, что оставил Колину несколько свободных месяцев для съемок у прежней фирмы.

О Колине много писали в одной газете. Похож он на того-то водевильного французского актера или напоминает такого-то французского кинокомика. Суть в том, что Колин никого не напоминает и ни с кем не схож, кроме как с самим собою. Но ведь русские критики без генеалогии не могут обойтись...

Русские критики, конечно, никогда не бывали в кинематографах, обслуживающих окраины Парижа. А то бы они заметили, что еще до Абель Ганса Колин давно стал любимцем непритязательной, но суровой серой рабочей публики. «Attention! C'est Koline! Bravo Koline!»[1] А потом — слезы и аплодисменты.

У Колина совмещаются два качества: высокая (я бы сказал, возвышенная) игра с необычайной простотой изложения. Он доступен всем. Однако эти два качества не исчерпывают Колина: у него в запасе множество средств, и он постоянно учится.

Да. Перед Колиным теперь открыта большая, широкая дорога. В том, что он пройдет ее с достоинством и успехом, мы не сомневаемся. Но как жаль, что нынешнее, неусовершенствованное «кино» может похитить у нас — и навсегда — замечательного драматического артиста.

Я имел счастье видеть его однажды в пьесе Шекспира («Двенадцатая ночь»). Там он держался на грани комичного и трагического (Мальволио). Труднее положения нельзя себе представить. Он поборол его великолепно, давши диапазон оттенков, про-

[1] «Смотрите! Это Колин! Браво, Колин!» *(фр.)*.

стиравшихся от клоунады до глубокого и нежного драматизма.

Но здесь ревности нет места. Одним русским культурным заведением больше...

Марафет

Это словечко — греческого происхождения. Его хорошо знают одесситы. Родилось оно, по-видимому, в Черноморском торговом флоте, откуда перешло в жаргон воров, сутенеров и темных игроков. Наводить марафет — то же самое, что пускать пыль в глаза, напускать тумана, пускать арапа, отводить глаза и т. д. Марафет нечто вроде «тьмы египетской»: способ одурачивания доверчивых простецов...

Могло ли прийти в голову прежним одесским воришкам и шулерам, что марафет когда-нибудь и где-нибудь станет важнейшим государственным принципом? А между тем нет сомнения, что именно марафет лег в главнейшую основу внутренней и особенно внешней политики Советской России.

Марафет в планетарном масштабе!

Мелочи часто характернее определяют эпоху, чем страшные слова и громкие манифесты. Позвольте же рассказать об очередном советском марафете. Он еще очень свеж, ему не более двух-трех месяцев. В Россию приехал, с целью этнографических социальных и экономических исследований, один из современных храбрых путешественников по русским джунглям, шведский инженер Петерсен. Он был настолько дальновиден и осторожен, что обычной лестной встречей в Москве не удовлетворился.

«Нет, вы покажите мне не город, — сказал он, — а вашу деревню, в самом ее неприкрашенном виде».

Тогда его повезли в деревню. Нового Стэнли сопровождало небольшое число знатоков крестьянского быта, два переводчика и легкая охрана. К счастью отважного инженера, он не был съеден и не погиб от тифа. Благополучно вернувшись на родину, он сделал в ученых обществах несколько блестящих докладов, которые вызвали овации, напомнившие до некоторой степени былые нансеновские торжества. Теперь

он занят составлением большой книги о русской деревне.

Многие темные стороны не ускользнули от его проницательного, неподкупного взора: бедность, грязь, запущенность и первобытность сельского хозяйства, недоброжелательная хмурость поселян, нежелание их разговаривать с главою экспедиции, грубость по отношению к спутникам. Но эти отрицательные явления оказались ничтожными и легко устранимыми пустяками в сравнении с необычайной работой большевиков по электрификации всей необъятной России.

Через два, самое большое через три года, по вычислениям Петерсена, русский мужик будет иметь в своем распоряжении мощные электрические станции, черпающие свою энергию в падении бесчисленных русских рек и в торфяном топливе, запасы которого неизмеримы.

«Я сам, — говорит Петерсен, — сам, своими собственными глазами видел в деревнях электрические лампочки, освещавшие не только черные от грязи избы, но и жалкие коровьи хлевы. При виде первой такой лампочки в стойле на мои глаза невольно навернулись слезы. Ведь это только робкое начало, подумал я, а отсюда всего шаг до неслыханного сельскохозяйственного прогресса, до того времени, когда электричество осветит и отопит всю деревенскую Россию; приведет в движение ее земледельческие и домашние машины, не говоря уже о мельницах, элеваторах и электромобилях. Через пять лет хлебный рынок России будет диктовать условия всей планете. Миролюбивая советская власть сумеет упорядочить международные отношения...» — и тра-та-та, и тра-та-та.

И вывод:

Власть, осуществляющая такие грандиозные, такие важные для всего человечества замыслы, должна быть немедленно признана всеми цивилизованными странами как законная и народу русскому необходимая. А так как советская власть, для проведения своих прекрасных проектов в исполнение, нуждается в деньгах, то... и тра-та-та...

Смешнее, но и страшнее во всей этой сплошной мистификации то, что пишущему эти строки изве-

стен, через очень доверенное третье лицо, главный электрификатор петерсеновской экспедиции. Это — маленький электромонтер, бойкий самоучка. Это он ездил в караване Петерсена с чемоданчиком в руках. А в чемоданчике заключались нехитрые приборы: две батарейки Лекланша, величина каждого в кубический футляр дешевого «Кодака», два провода, две лампочки в шестнадцать свечей каждая, стальной буравчик и несколько кнопок... Вот и весь марафет. Вы скажете — пустяк. А по-моему — нет. Обошли марафетом Нансена, обошли Уэллса (помните, в советских школах дети на вопрос: «Кто ваш любимый писатель?» — ответили хором: «Дяденька Уэллс!»), обошли де Монзи и Эррио (или оба сделали вид, что они, а не их обошли), обойдут и еще многих. Великая вещь — долбление в одну точку.

А там, глядь, и признают, и дадут денег под концессии.

Тут-то и начнется самый главный марафет, марафет-гала, марафет вселенский.

Признанные дружескими державами, большевики пошлют в виде посольств в буржуазные государства самых ловких агитаторов, и провокаторов, и заплечных дел мастеров. На выуженные с такой настойчивостью деньги они расширят и углубят мировую революцию, конечно, не буржуазную и не демократическую. А на концессии, договоры и торжественные обещания просто плюнут и скажут: «Пошли вон, дураки!»

Вот это уже будет марафет из марафетов.

Два юбилея

Много времени прошло со дня рождения Пушкина: восьмая часть тысячелетия. Хорошо сделали русские эмигранты, что отметили память великого поэта. Все-таки какая-то электрическая искра пробежала от сердец к сердцам. Все-таки хоть на минутку, но сказалось общее национальное чувство среди будничного кислого равнодушия и мелочных разговоров. Официальная часть поминальных дней протекла серо и скромно, без иллюминаций и фейерверков: покопти-

ли две-три плошки, и будет. И уже рассеялся в воздухе их легкий чад.

Вспоминаются мне другие пушкинские торжества. Они происходили двадцать пять лет назад, в 1899 году, в столетний юбилей Пушкина. Вот это так было ликование: с кантатами, с пожарным оркестром, с горящими транспарантами, римскими свечами, бураками и шутихами! Портреты Пушкина появились на всем: на папиросах, конфетах, жестяных портсигарах, запонках, на мыле и на одеколоне. Возродился на свет новый Пушкин. Пушкин для широкой и безграмотной публики. Пушкин III-го класса.

В те дни у любого извозчика измелькалось в ушах это имя.

– Вашсиясь, по случаю Пушкина, прибавили бы гривенничек?

– А кто же этот Пушкин?

– А кто его знает? Сказывают, какой-то генерал, дюже храбрый!

Вашему покорному слуге пришлось в те дни «сидеть на вырезках» в большой провинциальной газете, и через руки его проходили ежедневно многие десятки повременных изданий. Боже мой! Какая тогда пошла писать развеселая гаврюшкина литература!

Пушкин в одном из своих писем обронил горькие слова о том, что публика ему приписывает почти все похабные стихи Баркова. 1899 год показал, что не только публика, но и газетная литература не повысилась с той поры ни в просвещении, ни во вкусах.

Не было тогда ни одной, самой захудалой газетишки, вплоть до «Крыжопольского вестника», которая не завела бы в нижнем этаже постоянного отдела под названием «Пушкиниана» или «Пушкиниада». Фельетоны эти составлялись, обыкновенно, коллективным способом всеми сотрудниками понемножку, включая сюда своячениц редактора, полицейского репортера и типографского рассыльного мальчишку. Побочные знакомые и друзья газеты также тащили усердно в общую мусорную кучу всякую грязную тряпку, найденную на чердаке или на улице: писарские стишки – экспромты в две и четыре строчки, с мерзкими рифмами, замаскированными точками; старые

казарменные анекдоты и случаи, когда на главное место вписывалось имя поэта; порнографию не только барковскую, но и В.Л. Пушкина, и Минаева, и Медведского, и Фофанова, но и переводную, равно как скверные изделия дерптских студентов, так и русских семинаристов. Многое, курьезное, что приключилось с Крыловым, переносилось на Пушкина. Переворачивалось все домашнее белье Пушкина, корявые пальцы залезали в самые интимные уголки его души, свиные глазки шныряли вокруг его любви и смерти...

Воистину: в бешеный, грязный поток лакейского любопытства и неугомонного, развязного суесловия было швырнуто золотое, прекрасное имя – и завертелось, завертелось там под ржание взрослых остолопов. В пустое, казалось, пространство ушла пламенная речь Достоевского на открытии памятника в Москве.

Немудрено, что после такой свистопляски настоящие поклонники и ценители Пушкина обособились от толпы, уйдя в тихое, почти тайное служение его памяти. Благодаря их терпеливой и тонкой работе вновь воссияла его поэзия, очищенная от ошибок, апокрифов и грубостей, внесенных переписчиками, издателями и неумелыми редакторами, вроде Скабичевского. С благодарностью назовем имена Морозова, Модзалевского, Саитова, Щеголева и др. Лучшая им награда – самая сладость их благородного труда. Именно сладость. Как отрадно вступить в чистую и ясную атмосферу Пушкина после ноющей скопческой Надсоновской плеяды и после уродливой полосы искусственного русского декадентства, так скоро наскучившего своим кривлянием!

Но увы! – появилась новая мода на Пушкина. Обезьяньи лапы снова захватали прекрасный образ. Появились – и в каком множестве! – пушкинисты, пушкинианцы, пушкиноведы и т.д. Каждый из них прицепил свое тощее имя к великой тени. Если он критик – он писал исследование: «Пушкин и Брюсов», «Пушкин и Блок». Если он поэт, то, срифмовав в поте лица десяток хромых строф, он брал недоконченные пушкинские стихи и прибавлял к ним кощунственный и бездарный конец. Появились специалисты по любовным романам

Пушкина и по его семейным отношениям; появились рассекатели, анатомы пушкинского стиха, пушкинской мысли, пушкинской души, пушкинского вдохновения. Каждый говорил: «Пушкин – это мой собственный Пушкин, которого только я один могу понимать». Впрочем, другие были скромнее. «Вот этот кусок Пушкина принадлежит мне, он мой собственный, и никто не имеет права его трогать...»

Под странным, путаным и неприличным знаком прошло чествование великого поэта в Сорбонне. Началось оно академически сухо, но к середине публика разделила свои симпатии и антипатии самым неподобающим образом.

Выступление В. Ходасевича, например, обратилось в сплошную оглушительную овацию этому начинающему высокоталантливому стихотворцу. С первых его слов раздались яростные аплодисменты, не умолкавшие ни на секунду. Тщетно более уравновешенные зрители старались благоразумным шиканьем остановить пылких поклонников В. Ходасевича. Напрасно сам В. Ходасевич пробовал их урезонить: «Дамы и господа, я понимаю и ценю ваши восторженные чувства ко мне. Но будем все-таки приличными и справедливыми, вспомним, что сейчас не мой юбилей, а Пушкина. Поймите, что Пушкин – отдельно, а я – отдельно!»

Нет, толпа не вняла голосу любимца. До самого конца речи она кричала и аплодировала. Видно было только, как шевелятся губы и раскрывается и закрывается рот славного стихотворца.

Совсем другая овация свалилась на голову ни в чем не повинного и никому не ведомого молодого человека. Может быть, «в нем помыслы великие теснились, упорствуя, волнуясь и спеша»? Может быть, он сказал бы драгоценные, незабываемые, новые слова об авторе Онегина? Но – увы! Едва он встал с места, как несколько голосов закричало: «Как? После Ходасевича? Пошел вон!» И весь зал зашипел, засвистел и завыл, как на дьявольском шабаше. Так неведомый молодой человек и не обронил ни одной бесценной жемчужины. Рассказывают, что он после этого, с горя, стал разбрасывать какие-то прокламации чер-

носотенного характера... Но полагаю, что это злая сплетня.

И все-таки... все это вышло немножко похоже на тот литературно-музыкальный вечер, который некогда организовал Петр Верховенский. Смотри «Бесы».

Стрекозиные души

Существуют в среде нынешней эмиграции — вольной и невольной — люди необычайно щекотливой совести и суровой непримиримости. Правда, строги и требовательны они не к себе, а исключительно к товарищам по изганнической доле.

Помню, с какой подозрительностью иные беженцы семнадцатого и восемнадцатого годов встречали беженцев двадцатого–двадцать третьего. «Почему так поздно надумали бежать? Это неспроста. Почем знать, что у них внутри? Если не советские соглядатаи, то ведь служили же у большевиков? Вся Россия служила. На всякий случай, надо с ними поосторожнее». А сами точно позабывали тот путь горьких унижений и — увы! — неизбежной лжи, который их привел в Париж или Берлин.

Эмигранты другого толка снисходительно глядели на почти явную близость беженца к Чрезвычайке, но ни за что не прощали, если он состоял в контрразведке хотя бы в качестве невинных и наивных брошюристов, никем, вдобавок, кроме его самого, не читанных.

Третьи (и их большинство) круто беспощадны в осуждении тех наших братьев, друзей и соотечественников, которые предпочли или вынуждены были остаться на несчастной, изуродованной родине. Давно известно, что человек сытый и свободный, но лишенный послеобеденной сигары любимой марки, гораздо привередливее, чем голодный и обиженный узник.

«Не понимаю: как они до сих пор терпят насилия и надругательства со стороны кучки авантюристов? Почему до сих пор не восстали и не разгромили кремлевского гнезда ехидн? Разве трудно устроить покушение на Троцкого, Дзержинского, Зиновьева?

Или, в самом деле, эти рабы и трусы, оставшиеся в России, достойны своего кровавого и наглого правительства?»

Да. Издали все легко сделать, так же как издали легко быть строгим. Но нигде это стрекозиное легкомыслие не бывало столь жестоко и взыскательно, как в праздных суждениях об отце нашем святейшем патриархе Тихоне. И — как это ни странно — строже всего относятся к смиренному иноку люди, откровенно отрицающие и бытие Божье, и искупления мира крестным страданием, и саму Св. Церковь.

«Мы допускаем свободу совести и веры, — говорят они с улыбкою мягкого сожаления, — но нам кажется, что земному главе церкви надлежит, в крайнем случае, закрепить свою веру подвигом и даже смертию».

Они прямо указывают, что именно патриарх Тихон должен пожертвовать собой. Вторгаясь в чужое, непонятное и неприемлемое им дело, они порицают патриарха в его признании советской власти и за уступку кощунственным вождям живой церкви...

Но, во-первых, какой человек может и смеет требовать от другого человека высокого подвига и преодоления ужаса насильственной смерти?

Церковь первых веков христианства была несравненно пламеннее верой, святее жизнью и выше духом, чем нынешняя. Но ее отцы и учителя были гораздо мягче к людям и снисходительнее к их земной слабости, чем нынешние судьи. Они понимали падение и страх. Они склонны были прощать даже временное отступничество ввиду лютых мучений и ужасной смерти. Они лишь выражали кроткое пожелание, чтобы ослабевший христианин «не выдавал гонителям священных книг и не показывал убежища епископов».

Во-вторых, кто же дерзнет упрекнуть святейшего патриарха в робости? Весь мир был свидетелем того высокого бесстрашия, которое он проявлял в борьбе с воинствующим большевизмом. Разве он мог тогда рассчитывать на безнаказанность, ввиду своего высокого иерархического положения, или на боязнь большевиков перед русским народом, если не перед

мнением Европы? Нет, тогда он шел прямо и непоколебимо навстречу той же кровавой ночной расправе, какая постигла митрополита Петербургского и Ладожского Вениамина.

Мы ничего не можем сказать, ибо ничего не знаем о переломе, совершившемся в душе и мыслях патриарха за время его долгого одиночного заключения.

Кто с ним говорил? Что с ним делали? Чем запугивали его воображение? И что большевики положили на одну чашку весов, если на другую патриарх вынужден был положить признание советской власти? Ведь эти верные кровопускатели и несравненные изобретатели в области зла могли убедительно показать патриарху, какие несметные невинные жертвы последуют за его упорством.

Они всегда с наибольшим наслаждением мучили безоружных, изнеможденных, безответных... Моя мысль отступает перед сценами, которые происходили между патриархом и приставленными к нему безотлучно комиссарами...

Эмигрантские судьи не прощают святейшему старцу. Ибо ничего человеческого не понимают. А вот простой тамошний народ понял и не осудил. Живую церковь он до сих пор знать не хочет и ее женатых епископов изгоняет прямо из храмов. А патриарх же как был, так и остался окружен благоговением, любовью и безграничным доверием. Не народ ли вернее и глубже понял события, чем стрекозиные эмигрантские души?

Слоны и конституция

Пришла знакомая пожилая дама и, прежде чем поздороваться, молча закивала головою. Сначала с боку на бок: «Ну и наделали вы дел, бесстыдник». Потом сверху вниз: «Вовек вам их не расхлебать...»

Я встревожился:

— Что случилось, дорогая Нина Марковна?

Дама еще раз покачала головой туда и сюда с выражением грустной укоризны; немного помолчала, вздохнула и, наконец, сказала:

— Какую ужасную статью вы написали. Все ваши друзья огорчены.

— Статью? Ничего не понимаю. Объяснитесь, ради бога.

Опять та же загадочная мимика.

— Да не томите же, Нина Марковна. Скажите лучше сразу.

— Оказывается, вы расхваливали императора Александра III за то, что он устраивал еврейские погромы.

— Я? Погромы? Откуда вы взяли такую нелепость?

— Уж не беспокойтесь. Уж мне все известно. И мне очень жаль, что вы с вашим дарованием... с вашим...

— Да позвольте, обожаемая. Вы сами-то эту статью читали?

— Нет, я не читала. Но мне только что об этом рассказывала одна знакомая, а ей говорил муж. Он каждый день читает все русские газеты...

— Тогда — дело другого рода. Вот вам моя статья об Александре III. Возьмите ее, прочитайте внимательно и скажите: есть ли там хоть намек, хоть словечко об евреях и о погромах?

С дамой, которую, кстати, я очень люблю и уважаю, мне удалось объясниться. Мы простились по-хорошему. Дружба наша осталась безоблачной, как и прежде.

Но мне все-таки интересно было дознаться, откуда мог возникнуть такой вздор? Ждать долго не пришлось. Толкований моей статьи я выслушал довольно много и из разных уст. Суть их сводилась к следующему: «Куприн, действительно, о евреях в своей статье “Честь имени” совсем не упоминал. Но говорил о покойном государе в выражениях почтительных и теплых. Что же, этот писатель забыл, или он не знал, или не хочет знать о том, как в эпоху царствования Александра III евреи страдали от черты оседлости, паспортной системы и процентной нормы?»

Нет, я не забыл ни о черте, ни о паспорте, ни о норме. Наоборот: о жестокости и глупости этой знаменитой трехвостки мне ежедневно напоминает эмигрантское бытие — мое и моих соизгнанников. Гонений на евреев я не одобрял в старое время, не

одобряю и теперь. Но пусть мне кто-нибудь растолкует, что же я должен сделать во избежание упреков в жидоедстве: забыть, вычеркнуть из памяти, например, то, что Александр III в течение тринадцати лет не вел войн и не позволял другим воевать? А если я не могу забыть, то, значит, прикажете хранить молчание об этом? И не сметь также сказать, что государь этот по-своему круто, но глубоко любил свою родину? Что он был бережлив и хороший семьянин?.. Что...

Простите, но здесь уже начинается анекдот о Гагенбеке.

Этот великий устроитель гамбургского зоологического сада особое, нежное внимание уделял слонам. Он так любил этих умных огромных животных, что однажды назначил в их честь большую премию за лучшее сочинение о слонах. К условленному сроку было получено множество рукописей и брошюр. Некоторые из них давали представление о национальном характере авторов.

Так, англичанин добросовестно изъездил азиатские джунгли и африканские дебри. Он убил множество слонов и тщательно описал способ охоты на них и их ловлю.

Немец представил кропотливую работу о всех видах и породах слонов, а также и об их месте в животном мире.

Француз блеснул остроумным этюдом о психологии и мышлении слонов.

Русский ученый успел прислать лишь первую главу огромного сочинения, предполагавшегося выйти в двадцати четырех томах, каждый из них — в десяти частях, а часть — в сорока главах. Глава эта называлась: «От клеточки — к живому организму».

Еврейский же соискатель премии напечатал большую политическую статью: «Слоны и еврейский вопрос».

В этом анекдоте нет ровно ничего обидного для евреев. Он только подчеркивает лишний раз их обостренную, пламенную чувствительность. Что же? Это черта совсем недурная. Очень жаль, что у нас, русских, она так мало заметна. Ее даже не нужно объяснять или оправдывать у евреев. Нет наро-

да в мире, который перенес столько гонений и несправедливостей за тысячелетия своего существования, как еврейский. Но эта же чувствительность порою делает пристрастными самых спокойных и умных евреев. Лев Толстой, всегда относившийся доброжелательно к еврейству и высоко ценивший многие прекрасные его качества, отметил в свое время и его небольшую слабость: склонность к преувеличению. Вот из-за этой-то невинной слабости я и созерцаю ныне вместо дружественных лиц обращенные ко мне спины.

Прискорбно. Но тут уж я ничего не могу поделать. Ни переделывать себя, ни подделываться я не умею, не смею и не хочу. Я полагаю, что для всех нас, русских писателей, есть один великий завет, положенный тем же Толстым в его кратком предисловии к «Севастопольским рассказам»: «Главный мой герой, которого я люблю всем сердцем, — это правда». В теперешнее время тот завет стал законом и долгом.

Но вздорная, капризная придирчивость отдельных лиц никак не может заставить меня переменить убеждения и перестать быть и другом еврейского народа, и его защитником в минуты бедствий... Я знаю, мне возразит кто-нибудь:

— Мы не нуждаемся в таких защитниках.

На что я отвечу:

— Пусть вы не нуждаетесь. Но я нуждаюсь. И русский народ в них нуждается, дабы не быть повинным в лишней крови, которой и так пропиталась наша русская земля.

Оттого-то, не принадлежа ни к каким партиям, я и мыслю приемлемым, желательным и необходимым для будущего России нового Монарха. Не самодержца, хотя бы и прекрасных личных качеств, но изолированного от живой жизни глухой стеной лжи, эгоизма, происков, продажности и лести, а совсем, совсем нового Государя, доступного и внимательного ко всем голосам и нуждам страны, не исключая, конечно, и еврейских нужд.

Оттого-то я и жду для России Монарха просвещенного, способного твердо присягнуть самой ши-

рокой и доброй... (друг мой, метр Захарин, наберите это слово самым крупным шрифтом, какой имеется во всех ваших линотипах)...

...КОНСТИТУЦИИ.

Предел

Лондонскую суфражистку посадили в тюрьму. Она объявляет забастовку. Все английское правительство встревожено. В полном составе является оно ежедневно в камеру заключенной и заботливо ставит ей питательную клизму. В Париже есть несколько комфортабельных пансионов для престарелых собачек и кошек из хороших домов. Есть и особое, хорошенькое кладбище, где под мраморными памятниками вкушают мирный последний сон Мимишки и Амишки. «Незабвенный Туту, мы встретимся с тобою за гробом». Загляните между часом и двумя в парк Монсо, в Люксембургский сад или в зелень Елисейских полей. Почти на каждой скамье вы увидите милых парижан, бросающих хлебные крошки доверчивым воробьям.

Английский мировой судья на днях приговорил к двухмесячному заключению в тюрьму человека, прибившего свою собаку.

Итак, вы видите, что искренняя доброта не совсем еще вытравилась из человеческих сердец.

Не так ли?

Но вот опять постигает Россию голод, угрожающий медленной, страшной смертью полутора миллионам людей: правда, русским, но ведь все-таки людям же? И весь цивилизованный мир знает об этом. Весь цивилизованный мир читает по утрам газету, без которой ему так же трудно обойтись, как без утреннего кофе. Но, наткнувшись глазами на неприятную заметку, цивилизованный мир только отмахнется рукою. «Опять эти русские... опять голод... какая скука!»

Может быть, иная мягкосердечная европейская старушка и растрогалась бы и, ради светлой памяти покойной Бибишки, решилась бы сделать доброе дело: послать на голодающих один шиллинг. Но в крат-

ких, отчетливых словах, похожих на звуки похоронного колокола и на удары молотка по гробовой доске, свидетельствуют перед всем цивилизованным миром Нансен и Хувер о тщетности и о бесполезности, даже о вреде всяких жертв — больших и малых — в пользу России.

Оба они гласно и определенно отказались от всяких попыток помощи голодающим русским ввиду того, что советское правительство в голодные годы не только продает за границу отнимаемый у крестьян хлеб под угрозою расстрела, но вырученные за него деньги тратит на насаждение большевизма за границей.

Нансен... Бог с ним... Его участие в русских делах и бедствиях было маленькое, вздорное и трагически-смешное. Не принеся ни капли пользы, Нансен, благодаря своему большому авторитету, принес России немало зла. Неужели личные наблюдения и опыт не доказали ему ясно и твердо, что правительство, вырывающее изо рта своего народа последний кусок хлеба ради утверждения фантастической химеры, — не правительство, а кучка изуверов и палачей, которые не перестанут убивать до тех пор, пока уже станет некого убивать. Вероятно, он все это понял, но — увы! — слишком поздно, гораздо позднее того дня, когда на весь цивилизованный мир он прокричал, со слезами умиления на глазах, о красоте и величии мирового подвига, взятого на свои рамена большевиками. И не только прокричал, но еще тщился гнать насильно в земной рай исстрадавшихся на чужбине беженцев.

Нансен не рамоли. Он старик бодрый и крепкий. Он, надо еще сказать, человек несомненно честный. Но в своей ошибке он так никогда и не признается. Давно известно, что дети и старики редко сознаются — первые по стыду и ложной гордости, вторые по мнимой непогрешимости — в своей вине или в заблуждении. Особенно публично. Старые же политиканы — никогда.

Так и молчит Нансен. Не оттого ли его родина дожидается лишь самого легкого толчка, чтобы пасть в очередные объятия большевизма?

Хувер – мужчина и сын своей великой страны. Всю жестокую правду о России, узнанную им через агентов, он довел до сведения своего правительства. И не оттого ли Америка так резко и так благородно отстраняет от себя даже самую мысль о возможности какого-нибудь соприкосновения с большевиками?

Имя Хувера благословлялось миллионами русских уст. Но и теперь ни одно горькое слово не сорвется с них. Кто же будет тратить силы и деньги, если посылаемый хлеб отнимают у детей и бросают псам?

И вот нет и неоткуда ждать, в тяжкую годину, дружеской помощи.

Нет надежды! А это предел ужасного.

Выползень

Давно известно: камень неподвижен, а земля вечно летит и вращается; корова лежит, а почтовая лошадь до того привыкает к ежедневным перегонам, что уже не может жить без постоянного бега: поставьте ее на отдых в конюшню – через неделю она сдохнет. И про типографского рассыльного Миневича Некрасов сказал:

Жить тебе, пока ты на ходу.

Точно так же въедаются в человека долголетние психические привычки. Душа наша одинаково легко подвержена как инерции покоя, так и инерции движения. Вспомним родного нам всем Обломова, но вспомним и о том, какими пустыми и длинными казались нам в детстве праздники. Один из предков нынешнего г. Дейблера вышел в отставку глубоким, заслуженным старцем, и все-таки каждый день ранним утром он в своем маленьком садике, всегда на одном и том же месте, проделывает те ритуальные шесть шагов, четыре телодвижения и один жест, которые ему приходилось столько раз повторять около гильотины.

В инерции душевных движений надо искать одну из самых главных причин, почему Савинков стал ны-

не большевистским перелетом. Увы! инстинкты, привычки и власть времени сильнее живут в нас, чем доводы рассудка, твердость убеждений и верность слову.

Чуть ли не с шестнадцати лет Савинков ушел в революцию и подполье. Почему так вышло? На это он сам отвечает в недавней речи, произнесенной им столь вяло и жалко на суде, в Москве.

Во-первых, революционное настроение семьи. Но это лишь слабая, случайная, косвенная причина. Чаще мы наблюдаем обратное: у стойких консерваторов дети нередко вырастают рьяными либералами, у атеистов — пламенными христианами; отец хочет сделать сына таким же, как он сам, безупречным бухгалтером, а сын ни о чем не думает, кроме музыки; сын величайшего поэта стыдится того, что отец его умер всего лишь камер-юнкером.

Во-вторых: «Я никогда не видел в молодости, — говорит на суде Савинков, — ни рабочих, ни крестьян, но с детства страдал душою за их бесправие и ненавидел их угнетателей».

Такая широкая любовь и такая святая ненависть — не для шестнадцати лет, и во всяком случае ее не познают теоретически. Конечно, можно долголетними усилиями воображения натаскать на них привычки ума и характера. Но душа останется такой, какой ее Бог дал.

В сущности, кто вербовал среди русской молодежи революционных рекрутов? Да сама русская городская жизнь — тупая, сонная, скучная, с ленцой, с грязцой, с крошечным развратцем, с витой праздностью, с мелочной тусклой злобой. При таких условиях могучий инстинкт ребенка, естественно, хватается за суррогат *полной* жизни, то есть за фантазию. Нигде в мире так не зачитывались романами с приключениями, нигде так часто не убегали в Америку, нигде не было так много детей-самоубийц, и нигде приготовительные классы революционных партий не кишели таким множеством гимназических приготовишек, как в России.

К чему он стремился, чего он искал в далеке, этот желторотый?

...Разрушить думал Государство.
Или инспектора побить?

Важно для него было лишь то, что он теперь уже не Метахино, «Пята Пантеры», знаменитый вождь Черноногих, а со-ци-а-лист, существо могущественное и опасное, которое скрывается в мрачных подземельях, маскируется то нищим стариком, то английским лордом, приносит клятву на кинжале, обменивается таинственными паролями, убегает из тюрьмы при помощи стальной пилки, запеченной в хлебе, и веревки, скрученной из простынь и одеяла. Бог ему простит эту наивную игру, если он вовремя отошел от нее по разуму брезгливости и натуральной доброте. Она была ему инстинктивно необходима, и он играл в нее так же неудержимо и невольно, как рахитический ребенок ест, походя, мел и известку. Впоследствии из него вырабатывался исправный столоначальник, усердно тащивший, вместе с другими чиновниками, государственный воз. Ну – что же? И это было хорошо. Все мы, грешным делом, зубоскалили над чиновником, чернильным пятном:

Какой-то чиновник,
На нем вицмундир,
В кармане кружовник
Валится из дыр.

Разорван под мышкой
Его синий фрак,
Разбитая рожа,
Под глазом синяк.

А все же русский государственный аппарат этой кляксой был налажен так, что всеразрушительные большевики обломали об него зубы, пока его не сковырнули. О, если бы при их энергии хоть сотую долю прежней чинодральской иерархии, прежней сцепленности всех частей механизма!

У революционного подполья была также своя иерархия, получиновничья-полувоенная, с лестницей чинов, от генералиссимуса наверху до доверчивой серой святой скотинки внизу, со своими амбицией, богдыханством, карьеризмом, сплетнями,

подобострастием, интригами, кумовством и «хлебными» местечками.

Но там были также: увлекательность постоянной борьбы, ложный ореол подвига и мученичества, обаяние тайны, прелесть риска, соблазн славы и власти — великий простор для беспокойных людей с жадными душами искателей приключений: кондотьеров, пиратов, открывателей материков. Такие люди появлялись время от времени в партиях, вносили в их дисциплинарный многостепенный организм смуту, беспорядок, иногда гибель. Таков был Нечаев, почти таков был известный «Сашка Инженер», автор подкопа под харьковский государственный банк, из того же теста сделан отчасти Троцкий, даже Азеф был не чужд этого материала. Полоса экспроприации начала девятисотых годов выдвинула целую галерею таких великолепных характеров — дьявольски дерзких, веселых, изобретательных, жестоких и ловких, этих страстных игроков, пускавших, то с холодным расчетом, то с бешеной стремительностью, свою и чужую жизнь ребром, как копейку, к чертовой матери.

Таким игроком, несомненно, был Савинков, только в размерах почти грандиозных. Горький прозвал его когда-то «сентиментальным палачом». Неверное, неумное и потому даже незлое сравнение.

Нет. Савинкову совсем не были свойственны те истерические сладкие слезы, на которые так легко падок Горький. Вряд ли он ощущает разницу между добром и злом, а если ощущал, то или забыл ее, или считал пустяком. Но разницу между красивым и уродливым он всегда помнил. «Я сумею умереть красиво!»

Бог дал ему много даров; из них самый малоценный в его глазах был его несомненный большой литературный талант. Стиль его — хотя и не везде собственный — благороден, точен, богат и ясен.

Сама природа, точно по особому заказу, отпустила на него лучший материал, из которого лепятся ею авантюристы и конквистадоры: звериную находчивость и ловкость; глазомер и равновесие; великое шестое чувство — чувство темпа, столь понимаемое и чтимое людьми цирка; холодное самообладание на-

ряду с почти безумной смелостью; редкую способность обольщать отдельных людей и гипнотизировать массы; инстинктивное умение разбираться в местности, в людях и в неожиданных событиях.

Трудно определить, во что верил и что признавал Савинков. Гораздо проще сказать, что он не верил ни в один авторитет и не признавал над собой никакой власти. Несомненно, в нем горели большие вулканы честолюбия и властолюбия. Тщеславным и надменным он не был.

Вполне понятно, что, сделав быструю и блестящую революционную карьеру, он не замедлил пойти вразрез и совсем разойтись с партийными олимпийцами. В нем совершенно отсутствовала доблесть подчинения. Ему, как своевольному баловню и любимцу, разрешали каперство, а он самовольно выкидывал, когда хотел, на своем судне черный флаг с адамовой головой. Отчетов в своих делах и тратах он не любил давать никому. В своих романах он не щадил своих прежних пестунов и их символ веры... Конечно, ему суждено было остаться одиноким, с группой заколдованных его волей и обаянием савинковцев, жизни которых он тратил с небрежным равнодушием.

По его печатным воспоминаниям можно судить, какую огромную жизнь он прожил. Излученной им жизненной энергии, наверное, хватило бы на тысячу средних человечьих существований... И наконец он... износился.

Но когда «недремлющий брегет» отказывается ходить, то его владелец (может быть, сороковой по счету) бережно кладет старые часы под стеклянный колпачок для почетного многолетнего покоя. У Савинкова же не было и не могло быть бдительного хозяина, как не было у него контроля над самим собою. Да, впрочем, кто из людей *эстрады* имеет силу воли признаться в своей старости и вовремя смиренно уйти в домашнюю щелочку! Да никто.

Я видел Савинкова впервые в 1912 году в Ницце. Тогда я залюбовался этим великолепным экземпляром совершенного человеческого животного! Я чувствовал, что каждая его мысль ловится послушно его нервами и каждый мускул мгновенно подчиняется

малейшему намеку нервов. Такой чудесной машины в образе холодно-красивого, гибкого, спокойного и легкого человека я больше не встречал в жизни, и он неизгладимо ярко оттиснулся в моей памяти.

Спустя десять лет я увидел его в Париже и был потрясен его видом. О, конечно, он и теперь был совсем необыкновенен, совсем непохож ни на кого другого. Но, сличив его с моим прекрасным прежним оттиском, я понял что... пора под футляр.

Но Савинков уже не мог жить без стремительного движения, без яростной борьбы, без хождения по ниточке между жизнью и смертью, без громадных чувств напряжения и победы. Это — страсти сильнее и неотвязнее всех наркотиков. Бессознательная инерция движения довела его до московского судилища и... позора.

Но и большевикам нечего радоваться и нечем гордиться. В их руках не Савинков, а его «выползень» (во Владимирской губернии говорят «выползина»). Это редкое словечко, которым, кстати, Даль однажды полакомил Пушкина, означает тонкую внешнюю оболочку на змеиной шкуре: каждый год, линяя, змея трется меж камней и вылезает из нее, как из чулка. Выползень так и остается валяться на земле. Я однажды в музее видел выползень удава длиною в десять метров.

Кривая нянька

Еще Стендаль отметил в русских большую способность к «шарму». Русские рабочие спустя сто лет прекрасно зарекомендовали себя перед французскими: бодрым настроением духа, всегдашней готовностью помочь товарищу или соседу, широким жестом в очередном «турне» у жестяного прилавка «бистро» по расчетным субботним дням. Нравится также независимое твердое отношение русских к патрону и контрометру. У самих французов этого нет или очень мало. В случае недоразумений русские охотно идут объясняться с начальством. Страх перед человеком и перед завтрашним днем давно остался у них там... на полях сражений или в вонючих отделениях ЧК.

Последнее не так огорчает, как удивляет начальство, тем более что русские работают превосходно даже в сверхурочные часы и всегда отличаются «башковитостью», то есть сообразительны, находчивы и, если надо, даже изобретательны. Русские «приёмисты». Это – их высокое качество, которое весьма ценилось некогда у нас, в России, на сталелитейных заводах не только русскими, но и взыскательными бельгийскими инженерами.

Но есть у русских рабочих одна странная черта, которая возбуждает опять-таки лишь удивление, отнюдь не вражду во французских коллегах: не хотят ни бастовать, ни митинговать, ни манифестировать. «Довольно. Промитинговали Россию. А от забастовок и социализации все заводы в России на нет сошли».

Совсем не рабочие, а главные заправилы CGT – этого детища амстердамского интернационала – обратили пристальное внимание на антисоциалистическое поведение русских рабочих, грозящее в будущем срывом забастовок. Отсюда и последовало требование CGT к заводовладельцам: ограничить число русских рабочих известным процентом, исключающим опасность «штрейкбрехерства» русских.

Мог ли эти явления пропустить старый рабочий Осип Минор*. Ведь это он и его единомышленники в 1917 году социализировали предприятия и выкидывали на тачках инженеров и хозяев (порою и приступкивали их). Не они ли объявили мир хижинам, войну дворцам? Не ихний ли водитель Чернов подарил мужикам помещичьи земли и рекомендовал сжечь усадьбы, порезать барский скот и растоптать ногами рояли и оранжереи? Не эти ли деяния были славой и гордостью эсеров?

Заклятый ненавистник России, всегдашний ее враг – явный и тайный – Осип Минор, конечно, был во время великой войны пораженцем и аплодировал неуспехам русской армии. Был ли он в период гражданской войны диктатором, директором или министром одного из бесчисленных правительств, приближавших к гибели белое движение, я не знаю. Но знаю

* Беру напрокат ловкое словечко у А. И. Филиппова.

твердо, что с русским рабочим во Франции он не имеет ровно никаких сочувственных отношений: ни родственных, ни дружеских, ни профессиональных, ни деловых, ни моральных: ведь преобладающее количество этих рабочих состоит из бывших воинов, сознательно полагавших живот свой за Родину.

Но разве наши социалисты справлялись когда-нибудь с тем, насколько они любезны, понятны и нужны русскому народу? Их дело было выпустить «Золотую грамоту», после которой мужик брал вилы и топор и шел бунтовать. Бунт быстро усмиряли, а мужиков пороли нагайками. Старый многоопытный дядя Влас, вставая после своей дозы лекарства, подтягивал портки и говорил: «А что! я сказал, что так будет? Так оно и вышло». И результатом «Золотой грамоты» бывало только то, что зад чесался у мужика, а не у эсера.

Теперь вот Минор загоняет русских рабочих в CGT, то есть под покровительство и опеку интернационала. Употребляются для этого и соблазн, и запугивание. Он непременно добьется того, что нерешительные, слабые и — в первую голову — плохие работники пойдут по указанному им пути. (Собрал же Милюков вокруг себя штаб из бывших белых воинов, некогда исповедовавших Единую и Неделимую.) Положение прочих ухудшится: как-никак, а все-таки им придется быть штрейкбрехерами не только по отношению к французским, но и к русским товарищам. Этот вопрос товарищеской совести, самый щекотливый вопрос для русской души, перетянет к Минору еще многих колеблющихся... но к добру ли?

Забастовка и стачка становятся для члена рабочего синдиката обязательной. Исповедь классовой борьбы — тоже. А как же отказаться от участия в манифестациях, демонстрациях и очередных столкновениях с полицией! «Где люди, там и мы». А тут уже совсем немного остается до заразы большевизмом, которым пронизаны рабочие французские массы... И готово новое баранье стадо для кремлевских пастухов.

Не Минору соваться в этот сложный вопрос. Русские рабочие не глупее его, а трезвую, настоящую жизнь знают больше его. Им и решать. Но я думаю,

что даже их французские товарищи поймут, что, бастуя наравне с французом, русский теряет несравненно больше. Он, даже натурализовавшись, – чужой в стране. Поэтому и пища, и одежда, и жилище ему обходятся дороже. У него нет опоры в родне. Он одинок.

Он никогда не усвоит себе свирепой экономии француза; также от двух вещей он не сумеет отказаться – от бани и от книги.

Беженская школа

Здравствуйте, дети. Перед началом учения повторяйте за мною слова закона:

«Нет пророка, кроме Павла Милюкова, и Борис Мирский – обезьяна его».

Итак, в прошлой лекции мы с достаточной ясностью доказали, что народ русский – самый протухлый народ на свете. В сущности даже, никакого русского народа не было. Жалкую культуру его создали с севера финны, с юга украинцы, с востока татары, с запада европейцы, среди которых самое почетное место принадлежит немцам. Истории у этого народа тоже не было. Были бессознательные инстинкты к кочевью и к распространению вширь. Была лишь история царей, писанная историками невежественными и малосведущими.

Из царей можно отметить одну сравнительно крупную фигуру Петра Великого... Господа, кто меня толкнул ногой под столом?.. Да и тот, если говорить правду, отличался жестокостью характера и грубостью нравов.

Что сказать о монархах последующих поколений? Все они пировали в роскошных дворцах, ходили по колено в крови, вели бессмысленные войны и бесконтрольно тратили народные деньги. Чтобы вы имели ясное понятие о беспримерном деспотизме последних русских царей и о вопиющем бесправии русского народа, скажу, что ужасы большевистского режима лишь в слабой степени напоминают свирепости самодержавия. И надо еще прибавить: деспоты совсем не были склонны к эволюции, между тем как

большевики уже теперь явно эволюционируют под влиянием демократической пропаганды Милюкова и Кусковой, и уже недалек тот день... впрочем, ничего... молчание...

Два великих момента, две поставленные в вечности вехи определяют начало и будущее течение истинной русской истории. Во-первых: великая русская революция с ее монументальными завоеваниями. Во-вторых: утверждение Павлом Милюковым русской демократической республики на берегах Сены.

Говорить ли о завоеваниях революции? Но это значит вновь повторять азбуку или таблицу умножения. Неучам советую обратиться к «Истории русской революции» Павла Милюкова. Там все сказано ясно и о завоеваниях, и об участии самого П. Милюкова...

Что вы там себе бурчите под нос, молодой человек в четырнадцатом ряду? Вы полагаете, что Павел Милюков – сам, лично вертевшийся и кипевший в водовороте революции и отчасти бывший ее начинателем и воспреемником – вряд ли может считаться нелицеприятным судьей и историком революции?

Ошибаетесь, молодой человек. Все другие историки, от Ксенофонта до Моммзена и Ростовцева, могут страдать близорукостью и пристрастием. Павел Милюков – никогда. Павел Милюков непогрешим, как Папа. Дети, повторите за мною закон:

«Нет пророка, кроме Павла Милюкова, и совершенен силлогизм, имеющий предпосылкою текст из его истории».

Впрочем, для невежд и суеверов я перечислю важнейшие из завоеваний революции:

Прекращение гнусной, братоубийственной войны с немцами. Низвержение вопиющего царского режима. Самоназначение Временного правительства. Учредительное Собрание. Освобождение политических борцов. Свобода слова, печати, совести, сходок, собраний и стачек. Истинное народоправство. Появление в свет «Истории русской революции» Павла Милюкова.

Еще меньше буду я распространяться о демократической республике. Если утром показывается солнце, кто будет доказывать, что наступает день. Сомне-

ваться в этом сможет лишь идиот с перевернутыми задом наперед мозгами. В самом деле: что нужно для осуществления и существования демократической республики? Волеизъявление народа к ней. Но оно уже налицо: весь русский народ, как там, за кордоном, так и здесь, в эмиграции, только тем и занимается, что жаждет ее. Вы скажете, что всякое правительство, даже демократическо-республиканское, должно в современных условиях опираться на армию? Поглядите же на эти стройные ряды казаков эрде, на бравых бывших галлиполийцев, скромно скрывающих свои имена... Кадры республиканской армии растут с каждым днем.

Чего же не хватает? Лица, облеченного народным доверием? Вождя? Президента? Но уже давно лицо это избрано нами. Я вижу, господа, на кого устремляются ваши взоры; на устах ваших я читаю тихо произносимое дорогое имя. Не беспокойтесь, Павел Николаевич, мы умеем чтить великую скромность и не назовем этого имени вслух... Дети, повторяйте за мною:

«Нет пророка...»

Ф.А.Малявин

Филипп Андреевич Малявин родился в 1869 году в селе Казанка Безулуцкого уезда Самарской губернии, в бедной крестьянской семье. Тяжелый труд хлебопашца он узнал с юных лет, но во вкус его так и не сумел войти.

Передать биографию Малявина — это значит в сотый раз повторить чудесный рассказ о том, как носитель истинного дара Божьего, руководимый лишь инстинктивной волей к творчеству, вопреки условиям рождения и быта, торжествует над неодолимыми препятствиями, «чтобы занять» по праву свое большое место на свете.

Малявин помнит себя мальчиком четырех-пяти лет и — уже рисующим. Матерьял — уголь из печки, обломок известки. А рисует он на чем попало: на стене, на доске, на полу. Став постарше, покупает у захожих коробейников бумагу и карандаши, впоследст-

вии... *даже фуксин!* Денег на это «баловство», конечно, не дают. Помогают знаменитые самарские ветры. Почва там самая степная, черноземная и оттого в жаркие дни лежит на улицах и на дорогах по щиколотку густая, мягкая и коричневая пыль. Когда подымается ветер, то глаз уже ничего не видит в сплошных несущихся рыжих облаках. Но утихла буря и — улицы точно вылизанные. Тут мальчишки и выбегают разыскивать медные пятаки и копейки.

Летом все население деревни уходит на работу далеко в поля. Там и жили под полотняными навесами, в палатках. Вот где было раздолье для малявинского угля!

В то время Малявин даже и не подозревал, что можно рисовать с натуры и что где-то есть люди, которые учат живописному искусству. В селе даже и простой школы не было. Грамоту перенял мальчик у отставного солдата-фельдфебеля, учившего детей по доброй охоте еще по азам: Аз, Буки, Веди, Глаголь... Мотивы для своих рисунков брал маленький Малявин в церковных образах.

Но однажды удалось ему нарисовать портрет... Тогда шла война с турками (1877–1879). Одна солдатка — бабочка бывалая и бойкая — додумалась послать мужу на войну изображение сынишки: о фотографии еще и не слышали в деревне. А тогда уже Филиппа Малявина дразнили по деревне «живописцем» — без зла, но таков обычай улицы; наоборот, на его работы глазели охотно и не без маленькой местной гордости, хотя самое занятие считали непутевым. Ему солдатка и дала заказ. Исполнил он его карандашом и столь успешно, что растроганная баба заплатила целый гривенник.

Этот случай, однако, не толкнул Малявина к натуре. Он все еще не догадывался, что можно писать иначе, чем с образов или «из головы». Портрет был только шуткой.

Ему пошел уже семнадцатый год, когда в село Казанку случайно забрел афонский монах-живописец, отец Прокл. Носил он, ввиду какого-то синодского постановления, мирскую одежду и возвращался на святую гору из своих родных мест, где только что рас-

продал образа афонской работы. Ему показали рисунки «собственного» юного живописца. Монах одобрил. Сказал: «Надо только пройти пареньку настоящую серьезную науку. Пустите его со мной на Афон. Там истинное благолепие церковной живописи».

Отцу было жалко сына, но он рассудил так: «Все равно из малого в хозяйстве никакого толка не будет: только звезды считает да марает бумагу. Так и быть, бери его с собою, отец Прокл. Может, что-нибудь и выйдет нужное из его блажки. А мне ведь его не бить же».

И правда, отец был хороший христианин и бесконечной доброты человек. Не только не дрался, но и браниться не умел. Бывало, на работе скажет сыну с огорчением: «Не работник ты, а только помеха. Ушел бы лучше!..»

«А я сейчас же все бросаю и иду, куда глаза глядят, рисовать. Чистейшего сердца был мой отец. Умер он в двадцатом году от голода у себя дома. Впрочем, если бы он мне не позволил тогда с монахом идти, я все равно убежал бы тайком...»

Едучи на Афон, Малявин страшился не дальнего пути, не чужих мест, не труда, не одиночества — да и кто в семнадцать лет не мореплаватель? — страшился того, что его начнут учить. Подневольной указки он, кажется, боялся и боится больше всего на свете. Как настоящий самородок, да и еще и чистопробный русский, он всегда чувствовал стеснительными духовные помочи и полагался на свой талант и на великую силу труда. Эту черту спокойной суровой уверенности *только* в своих глазах, *только* в своих руках надо будет непременно отметить будущему солидному биографу Малявина. Позднее, гораздо позднее это характерное упорство сказалось ярко в одном случае, о котором речь пойдет ниже.

На Афоне заинтересовались мальчиком-художником. Спросили, что он знает и умеет по церковной живописи. Он твердо ответил: все. Самоуверенность почти всегда победительна: Малявину дали расписывать притвор в Соборе св. великомученика и целителя Пантелеймона.

Очевидно и о. Прокл был очарован этой смелостью, потому что, спустя только очень долгое время, осмотрев работы своего ученика, он укоризненно закачал головой и бородой:

— Так, милый, писать не годится. Это все от суетного прельщения. А для угодничьих ликов установлены непреложные образцы. Вот они. По ним и пиши.

Монашеская братия, конечно, безмерно любопытная от монастырской скуки ко всякому внутреннему происшествию, была на стороне Малявина. Находила, что пишет он лучше о. Прокла. Очевидно, уже тогда говорило их скучающим душам то дерзкое «прельщение», которым так богата неистовая в красках малявинская кисть. Но отношения с добрым о. Проклом натянулись:

— Я был у него на послушании. Так, он меня в часы, когда работа была самая горячая, посылал к морю собирать ему разные ракушки на пищу. В Одессе называются «миди», здесь, в Париже, «муль». Я этой гадости никогда не ел.

В этой безмолвной, но — чувствуется — любовной ссоре перетянули монахи. Малявину дали самостоятельно расписывать новый собор на хуторе.

К этому времени относится его знакомство с художником Буткевичем (имя, канувшее в безвестность), которому Малявин растирал краски (древний, дорафаэлевской эпохи, ученический послух). Вскоре он познакомился с Богдановым-Бельским, бывшим тогда в зените. Этот много хвалил, много обещал, но ничего не сделал.

Кроме собирания ракушек и росписи собора, Малявин нес и нелегкий монастырский искус, со всем его обиходом и ритуалом. Читал и пел на клиросе. Монахи и тут его любили: с его участием служба проходила вдвое быстрее (дело молодого и нетерпеливого темперамента). Однако с тех пор сам Ф. А. Малявин не особенно усердный любитель длинных церковных служб... Поворотным ключом его жизни явился академик Беклемишев.

Это большая радость, когда один художник — все равно, живописец, музыкант, ваятель, актер или мастер слова, — отыщет, откроет нового творца. Это та-

кая же легкая и независимая услуга, как, например, дать рукой подставку садящемуся в седло ловкому всаднику: всем приятно — и помогшему, и всаднику, и лошади, и даже тому, кто смотрит со стороны. Насколько я замечал, только философы и политики начинают с вражды и кончают руганью.

Как нашел Беклемишев Малявина? Случай. Тогда возвращался из путешествия на Восток наследник цесаревич Николай Александрович. Предполагалось, что он проедет через Самарскую губернию и даже через Бузулуцкий уезд. Приготовлялись разные подношения: караваи, стихи, шитые полотенца, резные блюда, иконы и все прочее, что в эти торжественные моменты требуется. Кто-то указал на картину местного художника из села Казанки — «Крестьянская семья». Приобщили на всякий случай и ее.

Я подлинника этой картины не видел. Видел только старинный фотографический снимок. Напоминает он по точности и скупости рисунка, по условности и благородству трактовки лучшие вещи Венецианова. Сюжет простой: мальчик читает вслух, сидя на краешке лавки, какой-то печатный листок. На лавке лежит отец, лицом под Христа, тут же присел древний старец, весь серебряный; стоит у дверей зашедший на минуту сосед в тяжелом армяке; у огромной печки приютилась милая девчонка. Всё.

Кажется, наследник проехал другим путем. Но картина попалась Беклемишеву на глаза. Большую честь его имени делает то, что он не только не забыл случайную картину, не только навел справки об ее авторе, но и перетянул его из благоутробных афонских недр в Петербург, в Академию Художеств. Малявину было тогда уже двадцать лет, время обязательного военного призыва.

Попал он в Академию как раз в момент ее большого перелома. Давно уже в ней отмирал обязательный классицизм и окончательно отмер под реалистическим натиском передвижников. Вместе с незабвенным графом И.И. Толстым пришли к руководству Репин, Куинджи, Шишкин, Чистяков, Беклемишев, Петр Мясоедов (великий учитель перспективы). В прежние архичиновничьи времена Малявин вряд ли

получил бы при окончании Академии звание: для этого обязательно требовался диплом о прохождении шести классов гимназии.

А когда было у Малявина время подготовиться по алгебре, геометрии, физике и химии? Знал он только Закон Божий, да и то сомнительно, по отрывкам из шестипсалмия. Зато на свою живописную работу был «лют». Очень редко бывает, чтобы талантливые люди, а особенно русские, знали цену, тяжесть и сладость упорного, постоянного труда. Мужицкая душа Малявина эту страду понимала глубоко. Поглядите на его даже теперешние карандашные рисунки: какая изумительная чистота, какая прелестная индивидуальная красота линии. Это не дается без огромной работы.

И как хорошо верить в собственный труд. Тут кстати и приходится обещанный мною анекдот.

Беклемишев не забывал своего найденыша. Внимательно, остроумно, не понукая и не навязываясь, он легкой рукой приоткрывал для него чудесный мир прекрасного. Так, однажды он умело открыл ему Рембрандта (цела ли наша замечательная эрмитажная коллекция?). Малявин был потрясен. Опомнившись от новизны и силы впечатления, он, однако, сказал:

— И я так смогу, если захочу.

На это Беклемишев возразил с пленительной улыбкой:

— Сделайте, дорогой мой, хоть в десять раз меньше, и мы вам в ножки поклонимся.

Только спустя год Малявин признался своему учтивому ментору:

— Да, это невозможно. Уж я лучше попробую по-своему.

Беклемишев был очень доволен:

— Это и есть самое главное, — сказал он.

А еще через год, на последнем конкурсном испытании в 1899 году, Малявин взял да и выставил свой красный «Смех».

С чем сравню появление этой великолепной картины, от которой, кстати, мы и ведем двадцатипятилетие художественной работы Малявина? Разве только — слабо говоря — с бомбой, разорвавшейся в цир-

кулярном зале чинной Академии на Васильевском острове. По тогдашним временам это был скандал неслыханный и настолько длительный, что живые его отголоски я застал в Петербурге, приехав туда в 1900 году. Стыдливые академики дали звание Малявину не за эту картину, а за портрет молодого князя Оболенского. Даже дерзновенный Дягилев, благоразумно оберегая свой щекотливый тыл, отказался взять «Смех» на передвижную выставку «Мира искусства».

Но публика победила. Замечательно: это бывает только в России да в Италии. Приходили люди толпами и стояли перед картиной часами, очарованные и ядреным ярым бабьим смехом, и радостными, смеющимися красками. А уходя, уносили на лицах малявинскую улыбку, а в сердцах — сделанную в один день славу.

Судьба этой картины такая.

Она была выставлена в 1900 году на Международной выставке в Париже. Ее хотел купить Люксембургский музей. Малявин задорожился. (Другая его картина все-таки попала в это хранилище совсем недавно.) Купила ее Национальная венецианская галерея, где она и хранится до сего дня в «Русском отделе».

Смешно. Есть русская веселая поговорка: «Дурак красному рад». В годы первоначального успеха малявинских баб назревала первая, *малая* революция. Так вот: молодые неучащиеся люди и все курсята потянулись на поклон к Малявину. «Ваша картина — пророчество! Этот красный смех! Товарищ, позвольте пожать вашу честную, правую, гениальную руку».

Но какой, к черту, Филипп Малявин революционер! Он, милостью Божьею, беззаботный и добрый анархист.

Дом молитвы

Вокруг русской церкви рождаются и растут темные, тяжелые слухи в связи с претензиями советской миссии на имущества, принадлежавшие раньше законной власти.

15—2586

Совсем недавно одна дама, только что вернувшаяся от обедни, рассказывала ужасы. Будто бы большевики явились на квартиру, занимаемую при церкви одним из священников собора. Самого о. протоиерея в это время дома не было, поэтому большевики обратились к его супруге с требованием немедленного «очищения» квартиры, якобы до зарезу необходимой сейчас же новоявленным владельцам. Та сочла благоразумным запросить по этому делу разъяснений у видного русского сановника. Сановник ответил, что за большевиками если не право, то — сила, и посоветовал уступить их настояниям. И вот вся семья почтенного, престарелого священнослужителя очутилась на улице...

Слух оказался, к счастью, вздорным. Малым зерном для него послужил факт посещения русской церкви французской комиссией, а потом это зерно, катясь из уст в уста, облепилось — как всегда это бывает — всяческим словесным мусором. Самое появление французских чиновников в храме, все их пребывание там, их тон и такт были не только безукоризненны, но и успокоительны для встревоженных верующих. Рассказывают даже, что представитель комиссии весьма вежливо, но и строго, остановил какую-то даму, которая, по егозливости или по ротозейству, уже совсем было нацелилась войти в алтарь через Царские Врата...

Все это так... Но, скажите, разве невероятно то, что большевистские агенты в недалекие времена заявят — и в самой грубой форме — свои права на владение, пользование и распоряжение как самим храмом, так и его имуществом и принадлежащими ему землей и постройками? Сделали же они это в Берлине и еще где-то... Скажу даже: невероятным будет, если они этого не сделают.

И сделают не из корысти: русская церковь в Париже совсем бедна — и деньгами, и утварью, и редкими по живописи или по старине иконами. Сделают для скандала.

Ибо три элемента входят неотъемно во всю их семилетнюю историю: убийство как средство классовой борьбы, скандал как метод пропаганды и сло-

во как единственный прочный, неколебимый лозунг.

Я, признаюсь, не уясняю, какие есть у большевиков юридические права на распоряжение церковью. Может быть, они и есть. Но я твердо верю в то, что право моральное всегда выше подъяческого крючкотворства.

Все храмы мира построены народом, то есть его движущей верой и коллективной волей. Кому человек строит храм? Богу. Только Богу. Никогда и ничему другому. В этой непреложной цели как бы сгущены в едино завещания тысяч людей и десятков поколений. Большевики говорят: «Бога нет». Чем они это доказывают? А вот чем: «Я сейчас плюну на Распятие и погрожу вашему Богу кулаком. Если он существует — пусть разразит меня на части. Видите: молчит. Ну, значит, и нет Его».

Эта дискуссия с Богом — дело их большевистской совести и глубины их большевистского разума. Но живая и загробная воля миллионов людей, строивших церкви, все-таки должна оставаться неизменной. Потому что устраивать в домах молитвы клуб, синема или бордель есть всего лишь грубый, унылый, свинский скандал, проявление бессмысленной природной злобы.

В свободомыслящей Франции, где так много атеистов, все чужие религиозные культы пользуются общественным покровительством, охраною и уважением: в этом — широта духа, зрелость нации и государственная мудрость. Будем верить, что правительство Франции как-нибудь сумеет своевременно отстранить большевистскую ногу, готовую своим сапогом наступить на души многих тысяч изгнанников, нашедших здесь приют и внимание.

И еще мне кажется, что священный долг тех русских, которые по своему видному положению пользуются доступом и доверием у влиятельных французов, — долг их — вовремя сказать слово совета, предупреждения, защиты...

О хозяине и родственнике

Начнем с маленькой аллегории.

Вообразите, что Некто очень долго и терпеливо строил себе дом, вкладывая в это дело всю свою энергию и все свои кровные сбережения. Дом свой он украшал, как мог: внутри — картинами, коврами, любимыми портретами, скромной, крепкой мебелью; снаружи разбил цветничок, насадил плодовые деревья, завел небольшой огородишко... Выходило не роскошно, но, в общем, домовито, ладно и запасливо.

Вообразите дальше, что в один распроклятый день явился к Хозяину, точно с неба упал, какой-то дальний Родственник. Таковым он сам отрекомендовался. И правда, мелькали в нем какие-то отдаленно знакомые семейственные черты: не то что-то общее между Ноздревым и Кречинским, не то помесь Хлестакова с Расплюевым, но все это в образе смутном, грубом и как бы зверском. Было в нем также что-то от Маркуши Волохова и покойного Базарова. И пахло от него не то серным дымом, не то арестантским халатом; словом, весь его внешний облик не внушал никакого доверия.

Но Хозяин был человек добрый; поборов в душе сомнения, он пустил под свой кров Родственника; тем более, что тот просился всего на денек, на два.

Однако не на другой день, а в тот же вечер Родственник сел на Хозяина верхом и поехал, и поехал!

Прокурил насквозь все комнаты, наорал, наврал, набросал окурков, заплевал и исчертил каблуком вощеный паркет. К ночи вытеснил Хозяина из его привычной спальни и обругал «жирной свиньей». На прощание он протянул Хозяину ногу, чтобы тот снял сапог.

Известно: чем меньше наглость встречает сопротивления, тем более — в обратной пропорции — она возрастает; а уж если мягкий человек начал терять чувство собственного достоинства под напором нахальства, то он падет духом со скоростью падающего камня. Через день звероподобный Родственник загнал Хозяина и его семью в мусорный чулан за кухней; сам же расположился, вповалку с дикой ордой

товарищей и девок и со сворой собак, по всему дому, как Мамай на пепелище завоеванного города. Расстрелял в цель любимые портреты и фамильные иконы. Съел, почти сырьем, всю домашнюю живность, вплоть до двух канареек, сожрал незрелыми все яблоки и груши с деревьев, перебил всю посуду.

А еще на следующий день он вытащил Хозяина из чулана на свет Божий за шиворот и сунул прямо ему в нос бумагу, в которой значилось, что он-де, Хозяин, уступил Родственнику и дом, и хозяйство, и всякий домашний скарб.

— Да не уступал я тебе! — взвопил Хозяин.

— Не уступал? А свою подпись видишь? А казенную печать видишь?

— Батюшки, караул! Никогда в жизни я так грязно не подписывался. И какая это казенная печать, если на ней нарисованы черт и фига с маслом?

Родственник как загремит на него!

— Ты поговори еще. Собаками затравлю! Говорю тебе толком — пошел вон и назад не оглядывайся.

Заплакал Хозяин. Ушел и поселился с семьишкой из милости у соседа на полу. Пробовал, было, ходить кое к кому жаловаться. Все только плечами пожимают:

— Это верно, что твой Родственник подлец сверхъестественный. Но зато уж и ловок парень! Прямо — жох! Удивления достойно. Но и ты-то хорош: тряпка, кисель, коровья жвачка и больше ничего. Этаких дураков, как ты, учить надо. Ныне, братец, такие времена, что душой да добром не проживешь. Теперь волчий зуб требуется.

Родственник между тем повел дело бойко. Открыл в доме трактир третьего разряда с услужливыми девками; баню для особ обоего пола; в подвале — ночлежку с карточной игрой, и все это в кредит. Стал продавать и закладывать всякую домашнюю хурду-мурду: меха кое-какие, колечки, подсвечники, перины, подушки. Зажил превесело. Каждый день гульба. Соседи ему смеялись:

— Ты этак скоро все имущество по ветру пустишь.

А он:

— А мне наплевать. Промотаюсь — подожгу дом с четырех концов и уйду в разбойники.

* * *

Тут и нашей аллегории конец. В сущности, вышла даже не аллегория, а правдивая повесть о настоящих бедствиях российских.

Но вот что замечательно.

Европа теперь уж без всякого сомнения знает, что именно так обстоят взаимоотношения России подлинной и России советской. Какое ослепление, если не безумие, тянет ее торговать с большевиками и сажать их за стол с собою, как равных? Верить их слову — невозможно; подписи — вдвое. Тому, что они остепенятся, — также.

Или и впрямь в иных политических умах, повихнувшихся в жестокой международной беспринципности, зреет дьявольская мысль: «Чем мы их больше будем поддерживать, тем скорее они запалят дом с четырех концов».

Соседи, не опасно ли?

Советский гражданин

Изменить отчизне, пользуясь ее особливым доверием, снопиться в военное время с неприятелем, дезертировать в самую трудную минуту из армии, истекающей кровью в борьбе за родину, для того, чтобы стать в ряды ненавистников и разрушителей всего, что касается родины, нации и государства... это может сделать или подлец из выгоды, или честолюбец из сложного расчета, или святой дурак, опьяненный фанатизмом.

Все это проделал Садул. Я бы охотно отнес его к последней категории, если бы не был высокого мнения о крепком здравом уме латинской расы вообще, а французов в особенности. Да и то надо сказать: блаженный искатель правды, неистовый самосожигатель, пламенная и бескорыстная жертва — эта порода людей давно вымерла, исчезла в тисках советского режима. Восторженный Садул, француз среди практичных русских чекистов, был бы диким, смешным и неудобным зрелищем, от которого все время хочется освободиться.

А может быть, он и в самом деле был таким диким пятном, бельмом, мозолью в глазах дельцов, стряпа-

ющих в Москве перманентную мировую революцию, не забывая, кстати, о собственном кармане?

Иначе как же объяснить его приезд, или – вернее – *привоз* в Париж, тайком, под чужим паспортом, и как раз по времени торжественного вступления Красина в дом русского посольства? Ведь посольская миссия не могла не знать, что с ней вместе едет и Садул, как не могла она не знать, что этот Садул давно приговорен заочно к смертной казни чуть ли не по десяти пунктам, установленным судом.

Не думаю, чтобы Садул пустился в это далекое путешествие без каких-нибудь гарантий. С другой стороны, невозможно, чтобы большевики, «сплавляя» кого бы то ни было, не имели в виду его всячески использовать. Спокойствие, с которым Садул дал себя арестовать, свидетельствует о том, что он готов был к этому пассажу и нимало ему не удивился. Потому-то вполне приемлемо предположение о том, что здесь разыгрывается заранее рассчитанная игра с условленными уступками.

Конечно, в теперешний момент, при благодушном участии Эррио, Садул казнен не будет. Может быть, он даже попадет в широкую амнистию. Не невероятно, что он сделается мгновенным героем пролетариата... Но не лелеет ли Москва мысли о том, что Садул – новоиспеченный гражданин СССР – станет предлогом для очередного международного скандала с воплями и угрозами?

Прозревают

Удивлялись ли мы, когда люди с высокими европейскими – даже мировыми – именами, но никогда не видавшие ни России, ни подлинных русских, рукоплескали нашему азиатскому большевизму?

Ничуть. Мы давно привыкли к тому, что у просвещенных иностранцев давно сложились о нас, о наших нравах и о нашей природе легкие портативные общие мнения. «Сибирские холода, кавьяр, âme slave (Russian soul)[1], русские бояре, указ, кнут» – и прочая развесистая клюква.

[1] славянская душа *(фр.)*, русская душа *(англ.)*.

Кто только не сочувствовал большевикам за последние семь лет нашей распрогибельной неподражаемой моровой язвы? И проницательный Анатоль Франс. И прелестная легкокрылая графиня де Ноай. И старая пушка — мадам Северин. И кристально-чистый высокоталантливый Ромен Роллан, и многие безвестные снобы и снобессы.

И кто не являлся в качестве тонкого знатока России à la minute?[1] Знаменитый путешественник Нансен. Великий фантазер Герберт Уэллс. Пылкий Эррио. Правоверный де Монзи... Об акулах и шакалах не говорим.

Но, признаюсь, удивил нас своим покровительственным уклоном в симпатии к большевизму замечательнейший из современных писателей Бернард Шоу.

Ему ли, думалось, обладающему резким, скептическим умом, необыкновенной точностью и остротой мысли, ему ли, пронзительному и смелому насмешнику, — ему ли навязывать себе роль арбитра в той чертовской трагикомедии, которую до сих пор не понимают ни ее авторы, ни ее исполнители, ни миллионы статистов-жертв.

И вот, наконец, всего лишь на днях, к нашей общей радости, Б. Шоу вдруг разрешился чудесной, меткой, глубокоисчерпывающей, изящной формулой, определяющей все бессилие и всю наивность московского большевизма.

Да, он совершенно прав. Горсть русских молодчиков, изучивших социализм, сидя вокруг печки, и думающих, что они могут командовать всем миром, действительно, детски наивны в понимании людей и дел. Правда и то, что большевики далеки от истинного понимания людей и дел. Правда и то, что большевики далеки от истинного социализма, и то, что они не имеют ничего общего с заграничным пролетариатом; а русского пролетариата нет и не было.

Но самой глубокой правды Б. Шоу не знает и не может знать. Она заключается в том, что небольшая кучка убежденных большевиков давно уже ничего общего не имеет ни с русским крестьянством, ни с рус-

[1] на минуту *(фр.)*.

скими рабочими (опасно быть пророком) — может быть даже, ни с русской армией. На самой тоненькой ниточке они висят в воздухе. Ниточка эта двойная: память о бессмысленно и беспощадно пролитом нами море невинной крови и угроза проливать ее без конца в будущем. Только и всего.

Невозможно, немыслимо, чтобы эта чрезмерно напряженная нить не лопнула. И тут будет одно из двух: или Россия погибнет так окончательно, что через сто лет о ней не будет вспоминать история для школьного возраста, или она соберется, укрепится и восстанет. А раз восстанет, то — увы — надолго забудет и живой, и теоретический социализм, а будет жадно учить и развивать государственный жестокий эгоизм. Тогда, конечно, России мало будет дела до политики Мадагаскара. Но для Англии московская себялюбивая политика будет причиной многих беспокойных ночей. У нас в государственной крови вырабатывается крепкий иммунитет. А вот как вы-то справляетесь со своим творческим социализмом? И как радостно думать о том, что настанет день, когда мы скажем с холодным бесстрастием:

— Во внутренние дела Великобритании мы не мешаемся.

Ах, коромысло житейских весов всегда качается вверх и вниз. Нет ему равновесия.

Шуты гороховые

Взошел на подмостки Владимир Маяковский, в кофте наполовину зеленой, наполовину красной, одна штанина желтая, другая фиолетовая, на щеках синие звезды, в петлице приапический символ... Взошел и заорал:

— Весь ваш Пушкин не стоит моего мизинца!

С этими словами стащил с правой ноги башмак и запустил им в публику.

Публика, конечно, пришла в неистовый восторг и с этого момента закрепила за Маяковским титул гения. Незадолго до этого она же положила начало мировой славе Горького, в тот день, когда он прикрикнул на нее:

— Что вы на меня рот разинули? Утопленник я вам? Балерина? Венера Милосская? Пошли вон, дураки!

Правда, один голос из публики робко возразил:

— Мы, извините, не на вас... Мы, собственно, на Антона Палыча-с... На господина Чехова...

Но этот голос пропал в общем одобрительном ржании: «Ишь ты, как садит. Сразу видать, что большой человек. Мелкая сошка так не посмеет...»

Выходка Маяковского была сделана давно; не только до революции, но и до войны. Я ее считаю чрезвычайно значительной и глубоко пророческой. В ней как бы блеснул на миг прообраз того самого большевизма, который тогда еще смутно, дурманно и громоздко только что начинал бродить в русских головах. Футуристы бессознательно были вещими птицами большевиков. Недаром же впоследствии те и другие связались и переплелись в такой тесной дружбе, которая окончится только с их обоюдной гибелью.

Первое дело: ничего нет легче, как быть большевиком или футуристом. Для этого требуется только дерзость и бесстыдство.

Возьмем наших старых, вечно новых, прекрасных писателей, введших русскую литературу в широкую европейскую семью на почетное место. Все они были хорошо образованны и никогда не переставали читать, наблюдать, учиться. Если они знали радость долго вынашиваемого замысла, то знали и упорный, тяжелый труд претворения мысли в слово. Роман «Война и мир» был переписан восемь раз. Мы застали новаторов конца XIX и начала XX столетия. Самонадеянности у них было, пожалуй, чересчур. Но кто же станет отрицать наличие блестящей эрудиции и внутренней работы над своим талантом у Бальмонта, Брюсова, Блока, Гумилева, Вячеслава Иванова, Иннокентия Анненского, Сологуба, Ахматовой, Кузмина. Это были все-таки эпигоны великой эпохи русского искусства слова. Футуризм же — их побочное дитя, зачатое, однако, в оправдывающем неведении и равнодушии.

Футуризм сказал сам себе:

«Труд? — Отвратительно. Учиться? — Скучно. Слава? — Приятна. Деньги? — Еще вкуснее. Что публика любит наипаче? — Скандал, похабщину и все, что вне ее понимания, все равно: будь это высокая мудрость или самая пошлая мистификация».

Итак:

«Ванька! Бей в барабан! Федька, обложи публику матерно! Так ее, стерву! Сережка, валяй на заумном языке: вля-та-та, мурдапикс, оокалао. Володька, покажи публике то, что в бане ладонью прикрывают. Лупи ее, дуру, по головам палкой! Она это обожает».

И правда, обожает.

Давно известно, что нынешняя русская эмиграция представляет собою сливки русского разума и цвет русского искусства. И вот, в самых утонченнейших, самых изысканных салонах вы услышите среди общего щебетания за чашкой чая в пять часов:

— Хлебников, в нем что-то есть, не правда ли? Эренбург... У него такие слова, такие слова... но какой талант! А Есенин? А Маяковский? А Пастернак? Нет, решительно в них есть что-то новое, молодое и могучее.

Для простого, срединного русского народа в них нет ничего нового. Давно уже мужицкая поговорка осудила таковую бессмысленную безудержную болтовню и такое истерическое рифмование краткой характеристикой: «Говорок, говорок, облизал чужой творог».

На свадьбах, на масленую, на престольных праздниках эти «говорки» неизбежны, пожалуй, даже необходимы как оживляющее шумное начало. Но солидный крестьянин, создавший песню, и псальму, и былину, и сказку, и ловкую поговорку, презрительно суров к таким егозливым болтунам: «Шуты гороховые».

Разве только, изредка, на пьяной беседе, при особо непристойном выверте, кто-нибудь из мужиков скажет: «Ловко, сукин сын, загнул. А жаль все-таки человека. Хороших родителей, только совсем сбился с пути».

* * *

У большевиков вовсе не дурное генеалогическое древо, хотя все его ветви растут вбок, и именно в левый, и чем дальше — тем уродливее и безобразнее. Современный большевик наплевал и на декабристов, и на народников, и на социалистов-революционеров, и на социал-демократов. Те все-таки учились — кто много, кто кое-как; те во что-то верили, вроде культуры, цивилизации законов эволюции; те знали или чувствовали, что разрушение и созидание — не одно и то же.

Большевик просто взял да все и разрушил и растоптал ногами остатки. Стал над развалинами, расставив широко ноги, весь в крови и грязи, и кричит, скаля гнилой рот:

— Это, черт бы вас побрал, называется торжеством пролетариата. Завтра будет еще веселее. Что? Хорош я? У меня и свой язык есть: Гпу, Чека, Вцик, Рабкор, Комсомол, Срррр...

А в салонах щебечут, захлебываясь:

— Ах, как все это ужасно! Но, не правда ли, как сильно! Как гениально!

И не хотят знать, или забыли, что это тот же шут гороховый, но только не зеленый, а красный.

1925

Иван Заикин

На днях приехал в Париж, после триумфов в Америке, знаменитый русский атлет и борец Иван Заикин.

Американские спортивные журналы не без основания называют его в многочисленных статьях и заметках «одним из самых сильных людей земного шара». Мы же, русские друзья, знаем и ценим в этом колоссе широкую и добрую душу, верность в дружбе и увлекательную прелесть его свободной волжской речи, сдобренной метким, наблюдательным юмором.

Всегда, после долгой разлуки, смотрели с новым удивлением и новым удовольствием на это огромное, холодное и поворотливое тело, на это славное симбирское лицо, сквозь открытую простоту которого лучится беззлобное лукавство. Но теперь чуть слышная скорбь царапает сердце.

Вот такая была и наша родина... Простая, сильная, здоровая, крепкая, прочно сложенная... Ведь не могло же случиться, чтобы в ней навек перевелись богатыри тела и духа?

Слагаемое

В варшавской газете «За свободу» вот уже почти год ведет свои «Записки писателя» М.П.Арцыбашев, испивший чашу большевизма почти до дна и покинувший Россию, уж конечно, без милостивого разрешения или лукавого попустительства Красного Кремля. Эти записки насквозь пронизаны знакомыми чертами: ума, характера и большого таланта Арцыбашева; беспощадной правдивостью, безоглядной смелостью, цепкой логикой, которая роднит его с Толстым, а также с чисто толстовскими убедительностью и неуступчивостью. Говоря о его неуступчивости, я не могу не вспомнить отшумевшего дела о савинковском перебе-

ге. Как Фома Неверный, Арцыбашев долго не хотел подчиниться свидетельству фактов и в одиночку упорно защищал человека, нашедшего однажды место в его сердце. (Да и то сказать, не его одного, а многих сильных, опытных и зорких умел пленять этот очарователь.) И только когда убедился, можно сказать, осязательно, то отвернулся от него с болью, горечью и негодованием.

Но совсем иные, новые, волнующие звуки и крики привлекают мое пристальное и нежное внимание к статьям Арцыбашева. Говорю — новые, — потому что раньше, давно, не было у Арцыбашева поводов и возможности показать открыто ту сторону своей души, где у него таилась скромная и суровая любовь к родине. Ведь истинная дружба и бесповоротная любовь сказываются во всей своей глубине и горячности только тогда, когда их теряешь... может быть, навеки. И вот теперь все, что ни пишет Арцыбашев, полно мужественной скорбью о России, неутомимой ненавистью к ее случайным — да! случайным! — поработителям и к их добровольным прислужникам, тоской по России, а стало быть, и великой любовью.

Оттого-то мне и показалось столь простым и естественным делом то, что галлиполийцы обратились к М. П. Арцыбашеву за моральной поддержкой. Здесь проявилась большая душевная чуткость, которую можно выразить словами: у нас и у тебя самое главное и неотложное — одно и то же.

Но вышел разлад. Старинный русский разлад, как раньше в вопросах о хождении посолонь, о двуперстии, о сугубой и трегубой Аллилуйе.

Вот что отвечает Арцыбашев на обращение галлиполийцев: «Месяца два назад Правление Общества галлиполийцев обратилось ко мне с просьбой дать статью для юбилейного сборника, доход от издания которого предназначается на усиление материальных средств общества. Письмо заканчивалось списком предполагаемых участников сборника — в том числе г. г. Бунина, Куприна, Бурцева, Минцлова и др., — а также заверением, что издание будет совершенно беспартийным. Для меня “галлиполийцы” — это часть или, вернее, остатки русской армии, в кро-

вавой гражданской войне боровшейся за мою родину. Этого для меня совершенно достаточно, чтобы прийти к ним на помощь во всю меру моих сил, тем более, что ряд уважаемых имен и заверение о беспартийности, казалось мне, гарантирует меня от всяких нежелательных неожиданностей. Статью я дал и вот на днях получил этот сборник... Он украшен большими портретами Николая Николаевича и генерала Врангеля, а статья г. Ильина, имеющая программный характер, как бы объединяет всех участников сборника "под верховным водительством" бывшего великого князя. Я ничего худого не знаю о Николае Николаевиче и охотно верю, что он честный человек, искренно любящий Россию. Все то, что до сих пор мне приходилось слышать о ген. Врангеле, аттестует его как храброго офицера и патриота. Но я не монархист, а тем паче не "николаевец" и не имею никакого желания становиться "под знамя верховного вождя", знаменитую декларацию которого я, кстати сказать, еще столь недавно жестоко критиковал. А между тем появление моего имени "под сенью" портретов высочайших особ, да еще в сопровождении статьи г. Ильина, может дать кому-нибудь основание зачислить меня в ряды сторонников определенной монархической группы. Поэтому я нахожу себя вынужденным печатно и категорически заявить, что никакого отношения к "николаевцам" (и "кирилловцам" тоже!) не имею и считаю все эти монархические демонстрации вредными для дела спасения нашей родины, судьбу которой может решить только свободно выраженная воля русского народа».

В этом столкновении или, вернее, недоразумении я ни на момент не могу усомниться в искренности как галлиполийцев, так и Арцыбашева. Вся суть здесь, по-моему, во-первых, в цели, а во-вторых, в средствах для ее достижения. Цель одна: освобождение России от ужасного ига большевизма ради ее выздоровления и будущего блага. Средство же и усилия к ним могут быть разные. Но не только желательно, а и необходимо, чтобы они слагались в одном полезном направлении. В этой работе могут стать бок о бок атеист с старообрядским начетчиком, анархист с

монархистом, профессор с солдатом, фабрикант с рабочим, писатель с начальником Дикой дивизии.

Умница, очень сердечный и правдивый человек, русский доктор-хирург г. Маршак, проведший почти всю великую войну на французском фронте, передавал мне о следующем случае.

Командир корпуса генерал X, ныне маршал Франции, узнал как-то, что в рядах его войска находится некий, весьма известный социалист-экстремист. Он приказал привести его к себе, когда это было исполнено, спросил:

— Мне говорили, что вы крайних убеждений, отрицающих и современное государство, и армию. Правда ли это?

Тот ответил:

— Совершенная правда, генерал. И этим убеждениям я никогда не изменю. Но раз дело касается судьбы Франции, то я теперь только солдат, готовый отдать для ее счастья и свою волю, и свое тело.

А разве каждый из нас, считающий себя честным человеком — и Арцыбашев первый — я знаю его смелость и гордость, — не скажет того же самого, если бы не разногласия?

Есть прелестный народный сказ о том, как Господь Бог позвал однажды к себе по какому-то делу двух святителей: Касиана Римлянина и Николая Чудотворца, как они надели белые одежды и пошли; и как встретился им по дороге мужик, завязивший воз в канаве. Николай Угодник не воздержался от жалости, помог мужику, Касиан же, помня важность дня, обошел мужика сторонкой. Явились они к Владыке: Касиан — белоснежный, отец Николай — весь перепачканный. Тогда-то Господь Бог и положил решение: св. Касиана праздновать раз в четыре года, а св. Николая дважды год.

Предоставим трусам, лицемерам и хитрецам, или теоретикам и чистюлям, боящимся измять свои партийные ризы, предоставим им суесловную болтовню о том, что большевизм изживет сам себя через N-ное количество лет или что большевики, облагороженные вливанием умеренно-социалистической сыворотки, естественно свернут на путь, ведущий к демократичес-

кой республике. Нет. Тяжелый, многообразный и уже давний опыт показал, наоборот, безнадежную тщету, ненужность и вредность для России всяких левых мазей и соусов, искусственно составляемых в виде социалистических экспериментов, блоков, временных правительств, директорий, комитетов, союзов и соглашений. Большевизм же изживет сам себя лишь тогда, когда он заест до смерти, до конца, весь русский народ. По довольно точным статистическим выводам профессора Анцыферова, который берет в основу нынешний темп тамошней жизни, это может произойти в ужасно короткий срок, через двадцать лет всего. Тогда, конечно, и большевизм исчезнет в России или переползет в другое место, ибо вошь питается живой кровью: трупы пожираются другими паразитами.

Я слышал еще голоса — и это уже голоса окончательных, кубических подлецов, — кричавшие:

— Так этому народу и надо! Поделом ему, если он не сумел сорганизоваться, восстать, сбросить гнусное ярмо и т.д. Ничего этот народ не стоит.

Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял восемьдесят процентов российского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, этот изумительный народ. Богоносец ли, по Достоевскому, или свинья собачья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен; ел *его* хлеб, писал и думал на *его* чудесном языке и за все это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность?

Но упрек народу в том, что он своим рабским равнодушием поощрял успехи большевиков, я считаю ложью — явной, злобной и глупой. На самом деле, если кто неустанно и яростно сопротивлялся и до сих пор сопротивляется большевикам, так это крестьянин. Ведь почти не было в Советской России ни одного села, ни одной деревни, которые не восставали бы против их чужеядной, жестокой, бестолковой, безбожной власти и не перли против пулеметов с вилами и дрекольем. Сколько деревень было — по пышно-библейскому выражению Троцкого — предано ог-

ню и мечу и буквально сравнено с землей! Казалось бы, что крестьянство было напугано до смертельного страха, до заказа детям и внукам бунтовать против красной звезды.

И все-таки бунтовали. Всеми средствами: открытыми и потаенными. Предвидел это упорство — сжатое и непримиримое — во всей его потенциальной неисчерпаемой силе — сначала один Ленин. «На белом фронте мы победим, — говорил он, — на заграничном должны и можем победить, но на крестьянском проиграем».

И проиграли. В этом недавно сознался ряд спецов, а вчера расписался даже самомнительный дурак Зиновьев. И правда, что поделаешь? Селькоров и рабкоров убивают как явных шпионов проклятой власти, комсомольскую ячейку уничтожают с той же серьезной заботливостью, как растаптывают ногами гнездо с яйцами гадюки. Комиссар и коммунист живут в деревне лишь для официального отчета и при условии внутреннего потворства и невмешательства...

Что же делать бедному Зиновьеву? Двинуть на деревню в ударном порядке летучие отряды опытнейших агитаторов? Слушать их никто не станет, а что закопают живыми в землю — это почти наверняка. Опять начать предавать огню и мечу, «не оставляя в живых даже мочащегося к стене»? Старый опыт и, оказалось, неудачный. И кроме того, грозит опять недосевом, недородом — а чем будут кормить ВЦИК, и Совнарком, и ГПУ с его специальными дивизиями, и этих прожорливых акул, вождей заграничного коммунизма, и пропагандистов, и шпионов, и, с позволения сказать, послов Сесесерии и их махровых дам? Тут остается одно: закрыть лавочку, нагрузить карманы медяками и бежать, куда глаза глядят, с чужим паспортом (благо их в архивах прежней ЧК сколько хочешь).

Мы не посмеем бросить камень укора в городских обитателей России, особенно в интеллигентов, за их тихое молчание, вынужденное годами холода, голода, бездомья, бесправья, и хотя бы ради того, что каждый, *каждый* из них знал истому и ледяной пот

предсмертного ужаса. Но про деревню можно сказать, что она ненавидит большевиков такой мощной зловещей ненавистью, которую мы, эмигранты с заячьими сердцами, даже во сне себе представить не можем. Она если и не станет активной союзницей по активной борьбе с большевиками, то и мешать ей не будет, а отступающих большевиков, во всяком случае, лишит хлеба, огня и крова. Да. Прозевали, испортили в белом движении этот громадный элемент поддержки. Но о сем в другой раз.

Главное для нас то, что рядом с нынешним упорным, крепким, навсегдашним отвращением многомиллионного мужика к социалистическому эксперименту назревает и почти поспело другое, *внешнее*, явление. Земному шару надоели большевики с их попугаичьей, фальшивой болтовней, с их обманом и хвастовством, с их невежеством и грубостью, с их картонным кредитом, с их планетарной бесчестностью, которую они сами себе ставят в боевую заслугу. Вот два слагаемых обстоятельства. Придет ли третья содействующая сила — волевой и физический толчок *извне*, ибо изнутри он невозможен?

Тайные здешние радетели большевизма и явные его подлайки утверждают с наивно-изумленным видом: «Но позвольте! Вот уже семь лет с хвостом, как большевики правят и распоряжаются огромной страной. Значит, они — сила».

На эту деланную наивность мы должны ответить:

— Распоряжаются? Да. Правят? Нет.

За эти семь с лишком лет большевики показали, что 1) никакой государственной системы, кроме разрушения и смертоубийства, у них нет и 2) что в деле восстановления и нового созидания они окончательно и навсегда бездарны.

Правда, у них еще есть одна способность — именно к грубым, балаганным трюкам: намалевать неправдоподобную декорацию, напустить тумана в глаза, обмануть того, кто только и жаждет, чтобы быть обманутым. Но уже давно осточертели и надоели миру их пустые и похабные слова, самореклама, раздраконенная всеми цветами радуги, буффонада встреч. Беспощадные цифры показывают непрерывное па-

дение торговли и промышленности в России. Самые упорные в угодливости умы начинают понимать, что уж если правительство влачит свое существование, отнимая насильно хлеб у недоедающих и продавая его, то, пожалуй, можно его считать чем угодно, только не правительством. И уже все меньше отыскивается в Европе веселых путешественников, готовых взять на себя роль обласканного, обманутого да при том еще плохо оплаченного восторженного дурака-хранителя.

Сесесерия докатилась до краешка. Не знаю, не предвижу событий, да и кто разберется в грядущей кровавой каше? Перегрызут ли минутные баловни дьявола, кремлевские и ленинградские товарищи-владыки, друг другу горло, подобно тарантулам в банке? Восстанет ли красная армия, перебив своих комиссаров и спецов? Опрокинет ли свой, может быть случайный, гнев на войска «особых назначений»? Втянет ли ее глупая советская политика в невыгодную войну с соседями? Кто скажет? Но во всех случаях самое странное то, что Россия может на неопределенное время остаться в ужасных условиях безвластия, в стихийном бреду разбоя, грабежа, самозванщины, бессмысленного, пьяного, всеобщего разрушения.

Об этом думают, говорят и пишут многие; пишут даже люди очень левого толка. Даже и для них становится не невозможной (правда, с кисловатой гримасой) мысль о вооруженном охранении порядка в России в эти дни и затем, естественно, о диктатуре.

Но левые боятся и не хотят додумать эту мысль до самого конца. Они говорят, что события сами подскажут, сами выдвинут диктатора или, на худой случай, хоть Наполеона, который теперь, может статься, незаметно уже расправляет свои крылья в рядах красной армии. Иные в упорстве своем согласны на вторичную кандидатуру даже Керенского (он тоже согласен), даже Чернова, даже, наконец, Буденного (демократическое происхождение). От двух лишь вещей они чураются, как черт от ладана: это от помощи Белой Армии в деле освобождения России и от главенствующей роли лица императорской фамилии в

этом великом и тяжком последнем подвиге ради Родины.

М. П. Арцыбашев не с ними. Наоборот: с обычной ясностью, светлостью и благородством он высказывает уважение остаткам Белой Армии, боровшейся за его отчизну; он верит честности великого князя Николая Николаевича и его любви к России; он знает, что генерал Врангель – храбрый солдат и патриот.

Но Арцыбашева шокируют монархическая демонстрация и возможность быть кем-нибудь замеченным в рядах сторонников определенной монархической партии. Вспоминает он и свою критику декларации бывшего великого князя. И эти обстоятельства лишают его возможности прийти во всю меру его сил, как бы ему хотелось, на помощь галлиполийцам.

Но 1) разве умаляет достоинства великого князя его родословный титул? Сам М. П. Арцыбашев принадлежит к хорошей дворянской фамилии. Разве большевики, зачеркнув титулы и звания, уничтожили историю предков Арцыбашева?

2) Не декларацию объявил великий князь. Это была только беседа с журналистом. И самое главное в этой неофициальной беседе было то, что и Арцыбашев считает самым главным в своей статье то, что и я считаю самым главнейшим: а именно то, что судьбу нашей родины может решить только свободно выраженная воля русского народа.

Но пусть мне объяснит кто-нибудь: как эту волю выразит безоружный русский народ, изворачиваясь под пятой интернационала? Или каким образом поведает он ее во время новой, неизбежной гражданской войны или, что еще хуже, – во время кровавого разброда? Великий князь о том ведь и говорит, что надо сначала поставить народ в условия, дающие свободу выбора.

Я, пишущий эти строки, я совсем не монархист. Но у меня нет ни одного сомнения в искренности слов великого князя и в том, что он словам этим останется верен. И потому работать в пользу будущего спасительного для России движения, которое он возглавит, я считаю и долгом, и радостью.

Н. В. Плевицкая

7 января 1925 года

Давно большой зал Гаво не был так переполнен, как в этот вечер, и давно его высокие стены не были свидетельницами таких бурных, таких пламенных, таких чистосердечных оваций.

Н. В. Плевицкая казалась особенно в ударе и, если только это возможно, превзошла самое себя.

Конечно, налицо были все внешние, неизменные признаки огромного успеха: цветы, оглушительные аплодисменты, восторженные восклицания; конечно, певицу подолгу не отпускали с эстрады и заставляли без конца бисировать. Но сказалось еще и нечто другое, более сложное и большое: то труднообъяснимое, почти сверхчувствительное явление полнейшего душевного контакта между сценой и залом, которое даже для пресыщенных славой знаменитостей бывает столь редким, что оно остается в их перегруженной памяти, как светлый незабываемый маяк, навсегда.

Чудилось, что какие-то магнетические лучи протянулись и вибрировали в такт от певицы к публике и от каждого зрителя к певице и что только на этой невидимой и невесомой основе Плевицкая ткала прелестные, такие родные, такие нестерпимо близкие узоры русской курской песни. И я видел, как глубоко, до дна сердца, были потрясены в этот вечер многие молчаливые, суровые слушатели.

И как любят Плевицкую! Она своя, она родственница, она домашняя, она – вся русская. Со всех сторон ей кричат название любимых песен. Но она поет то, что ей нравится в эту секунду. С милой простотой говорит она название и чуть-чуть пониже тоном: «Скоморошная», «Грустная», «Гульбищная», «Хороводная»...

Какие песни! «Ой да на речке», «Комарики-мушки», «Белолицы-румяницы». В деревне их не поймешь: там девки не поют их, а кричат. Плевицкая берет русскую песню целиком, она не трогает, не изменяет в ней ни одной ноты, она только *поет* ее и раскрывает ее внутреннюю красоту. И вот – радуга

чувств и настроений: кокетство, любовь, лукавство, тоска, вихорное веселье, томный взор, тонкая улыбка... Все поочередно трогает струны вашего сердца. И это все из простой, немудреной русской песенки!

Единственно, кого рядом можно поставить с Н. В. Плевицкой, — это Шаляпина. Оба самородки, и на обоих милость Божия.

Добрый чародей

Вас. Ив. Немирович-Данченко

Стоит на поляне среди леса мощный многолетний дуб. Вокруг него подрастают, мужают, стареют и валятся поколения. Но крепкого великана щадят и топор дровосека, и свирепые ураганы, и всесокрушающее время. Ушел он бесчисленными корнями в глубь земли, утвердился на ней основанием в три человеческих обхвата, под самым небом раздвинул свой могучий шатер и стоит сто лет, непоколебимый, видимый издали на десятки верст. Каждую весну позднее всех покрывается он мелкой желто-зеленой листвой, цветет в свое время и роняет желуди и позднее всех сбрасывает свои жесткие, вырезанные, темные листья.

Вот образ нашего любимого, нашего талантливого Василия Ивановича Немировича-Данченко.

Кто из нас, людей старшего поколения, уже переваливших через вершину жизненного пути и ныне спускающихся по склону в долину Иосафатову, кто из нас в детстве, в юности и в молодости не жил часами и днями под сладкой властью этого очаровательного, многоцветного художника? Разве не с ним мы катались в гондоле по венецианским каналам, присутствовали на бое быков в Мадриде, слушали серенады в Севилье, бродили по парижским бульварам, дышали воздухом Лазурного побережья, гостили в Риме и в Неаполе? Разве не он показывал нам Дунай, Балканы, Шипку и Плевну, русскую христолюбивую армию в боях и походах, русского солдата в землянках, в окопах, в лазаретах, чудесного, несравненного прежнего солдата, который был так страшен в атаке, так стоек в беде, так терпелив в страдании, так душевно мягок к побежденному?

Все мы тогда с трудом отрывались для мелочей житейской прозы от пышного, сверкающего плетения его захватывающих романов, чтобы поскорее к ним вернуться. Волновались за судьбу его героев и героинь, обливались слезами над милым вымыслом, смеялись до слез в веселых и комических местах.

Да разве в молодости только держал он нас добровольными пленниками своего жаркого таланта? Нет, всегда снова и снова являлся он нам верным другом и старым, любимым, добрым спутником. Вот еще год тому назад нашел я у случайных знакомых затрепанный, давно мне переизвестный том Немировича-Данченко, выпросил почитать, а как начал читать, так увлекся и уже не мог отойти от чар рассказчика-волшебника.

И странно раздвоилось мое читательское восприятие. Читало нас двое: один — пожилой человек, очень много видевший и испытавший, перечитавший почти все ценное в мировой литературе и во многом разочаровавшийся, прошедший давно через пороги литературного искуса; другой — прежний озорной мальчишка, крутивший во время пристального страстного чтения вихор над правым виском, пожиравший страницы и переживавший их с верой и волнением.

И так непонятно, так трогательно сквозили один сквозь другого эти два разных и одинаковых человека. Общее же впечатление было одно: чувство красоты, радости и теплой христианской доброты.

Подумайте только: как много было читателей у этого чародея. Пишет Василий Иванович шестьдесят лет (я думаю, больше). Напечатано им не менее шестидесяти емких томов — колоссальный богач! Читали его с неизменным усердием во всей огромной России: западной и восточной. Здесь нельзя уже сказать «многочисленная аудитория», а — прямо — несколько десятков миллионов читателей разных возрастов и поколений. И ни в ком он не посеял зла, никому не привил извращенной мысли, никого не толкнул на дорогу уныния и зависти. А множеству дал щедрыми пригоршнями краски, цветы, светлые улыбки, тихие благодарные вздохи, напряженный интерес романтической фабулы...

Хорошо, когда человек, пройдя огромную жизнь и много потрудясь в ней, оглянется назад на все пережитое и сделанное и скажет с удовлетворением:

— Жил я и трудился не понапрасну.

Сказать так — право очень редких людей. Среди них — Василий Иванович, один из достойнейших.

Пожелаем же от души еще многих лет жизни и творчества этому Доброму Чародею, которого мы любим и чтим с детства, которому признательны до седых волос и дольше.

Вас. Ив. Немирович-Данченко

Военный корреспондент

Возьмем во внимание разные условия жизни В. И. Немировича-Данченко. Место рождения — Кавказ. Семья — военная во многих поколениях, с доброй долей благородной туземной горской крови. Первая школа — кадетский корпус прежней, суровой николаевской закваски. Прибавим сюда личные черты: подвижной, восприимчивый характер, страсть к перемене мест, жажду приключений, склонность к событиям грандиозным и к картинкам необычным, большую физическую выносливость, настойчивость, храбрость и — очень важное и редкое свойство — дар очарования. Все эти качества в связи с большим и ярким литературным талантом сделали из В. И. великолепного корреспондента с театра военных действий. О подобных ему прирожденных военных корреспондентах я читал лишь в одной-единственной книге — «Свет погас» Редьярда Киплинга, который знал в этом деле толк, ибо в свое время вкусил от этого тяжелого, порою горького, но восхитительного ремесла.

Помню я сентябрь 1914 года, раннее солнечное утро и Ковельский вокзал — единственное место в городе, где можно было получить кофе с хлебом. Подошел какой-то коротенький пассажирский поезд. Я вышел на платформу, и первый, кого я увидел, был вылезавший из вагона старый мой друг А. М. Федоров, известный поэт, романист и драматург, с которым я не видался лет шесть. Обрадовались, обнялись, засыпали друг друга вопросами без ответа, от-

ветами невпопад... как всегда это бывает. Оказалось, А. М. едет в действующую армию вместе с другими корреспондентами с особого разрешения высшего военного начальства и в сопровождении специальных осведомителей из офицеров генерального штаба. Об этой исключительной милости я слышал раньше, даже сам хлопотал пристроиться в этот поезд, но мне не повезло. В ту пору весьма косо и недоверчиво глядели власти на газетных сотрудников. (Впоследствии — чересчур неразборчиво.)

— Пойдем к нам, — предложил А. М.

Их было человек десять. Помню В. И. Немировича-Данченко, Людовика Нодо, Сыромятникова (Сигму). Кое с кем меня впервые познакомили. Представили и двум щеголеватым, безукоризненно-вежливым, сквозь служебную и выдержанную сухость, капитанам генерального штаба.

Мне кажется, что старые военные корреспонденты так же безошибочно должны узнавать друг друга по некоторым, порою неуловимым для чужого глаза признакам в одежде, манерах, походке и наружности, как узнают товарища по профессии цирковые артисты, наездники, летчики, настоящие охотники и военные в штатском. Все, что было на Василии Ивановиче и с ним, было как-то особенно легко, удобно, просто, практично и прочно: большая темная каскетка с прямым козырьком, английское, до колен, пальто с широким поясом, мягкие верховые сапоги, ловко пригнанный цейс; в руке — камышовый стек; ручной багаж не велик, но емок — шотландский плед в ремнях и чемодан темно-красной кожи вагонного размера...

Я с восхищением глядел на этого удивительного человека, давно перешагнувшего за шестой десяток: на его еще стройное тело, на свободные, уверенные движения, на совсем молодые глаза, с прежним удовольствием слышал его речь — живую, быструю, переливающуюся блестками мягкого, теплого юмора.

Поезд стоял долго. Мы вышли с ним на платформу поразмять ноги. Говорили о войне, о Петербурге, о прежних милых встречах. Вдруг В. И. резко остано-

вился и, совсем не в ход разговору, воскликнул с негодованием:

— Нет, подумайте!

Я взглянул на него. Его лицо выражало горечь и обиду. Правая рука нервно дергала в одну и другую сторону седые бакенбарды (я их раньше застал еще изумительными, единственными, победоносными, черно-блестящими бакенбардами).

— Нет, подумайте, — продолжал он глухим, дрожащим от волнения голосом. — Ко мне... к нам... приставили этих двух молодых людей... этих «enfants d'une bonne famille»[1]. Нет, я ничего не хочу сказать о них дурного. Они милы и обходительны. Я думаю, что они хорошие образованные люди, примерные офицеры и храбрые солдаты. Но, черт побери, разве я нуждаюсь в чьей-нибудь опеке? В чьем-нибудь надзоре и руководстве? Эта война — восьмая по счету, на которую я отправляюсь корреспондентом. Восьмая, милостивые государи. Восстание карлистов, Хива, Туркестан, Турецкая кампания, Японская война, Турецко-славянская и, наконец, эта. Всюду до сих пор я встречал внимание, доверие и помощь. А теперь? Загонят нас всех в дальний тыл — как своих ушей не видать мне будет ни фронта, ни боя, даже не услышу я выстрелов! Заставят нас всех, как учеников, послушно переписывать шпаргалку, сочиненную в штабе, — вот тебе и собственные корреспонденты с театра войны! За что же мне это оскорбление? Кто я в их глазах? Предатель? Немецкий шпион? Или я везу на фронт прокламации для солдат, против войны? Или я только штатский паникер? К этому, вот к этому самому месту на груди Михаил Дмитриевич Скобелев собственноручно прикрепил мне Георгиевский знак. Только я и художник Верещагин — из невоенных — были так отличены. И вдруг... Точно институтки... Попарно, в сопровождении двух классных дам. Какая грубая, какая ненужная обида!..

Я никогда не видел и даже не мог представить себе выдержанного, всегда спокойного В.И. в таком волнении. Мне нечего было сказать. Но я глубоко понимал и чувствовал всю справедливость его досады.

[1] «детей из хорошей семьи» *(фр.)*.

Причинили жестокую моральную боль не только замечательному бытописателю войны и, бесспорно, лучшему, достойнейшему, славнейшему из русских военных корреспондентов, но и чистому, пламенному патриоту. Что тут скажешь?

Но он тотчас же справился со своей вспышкой:

— Простите, взорвало меня. Не будем об этом больше. Надеюсь, со временем все обойдется.

Зазвонил вокзальный колокол к отходу поезда. Мы простились. В. И. вдруг что-то вспомнил и задержался на минутку.

— Попадете на войну, — сказал он, — все равно — офицером или корреспондентом, не забудьте, носите всегда при себе средства от насекомых: серу в мешочке или корень сабадиллы. Помните, вошь на войне — страшнее пулемета. Ну, Христос с вами.

От него первого я услышал это грозное напоминание, роковое предупреждение.

Без заглавия

25 марта русские художники (группа Малявина — Издебского) устраивают большой живописно-артистический вечер. Здесь не только повод, но и обязанность для журналиста вернуться к случаю, расколовшему Общество русских художников в Париже на две части, которым, полагаю, больше уже не срастись.

Публика мало уделила внимания этому прискорбному случаю, а между тем он был многозначителен. Произошло вот что.

Известно, что добрый город Париж устраивает в ближайшем времени грандиозную выставку декоративного искусства. А в этом искусстве кто же первые мастера, как не французы с их прирожденным вкусом, воображением, изяществом и остроумием? Можно почти безошибочно предсказать этой выставке широкий успех, который с излишком покроет нехватки прошлогодней Олимпиады.

Это будет праздник красоты, ума и культуры. Спрашивается: при чем же здесь советско-пролетарское искусство?

Выставка — международная. Я знаю, что многие знатоки и любители искусства охотно пошли бы поглядеть на декоративные работы таких стран, как Камбоджа, Сенегалия, Мадагаскар, Средний Нигер. В дикарском творчестве есть своеобразная наивная прелесть, детская естественность, а главное — милая свобода. Зайдут они, конечно, в «Pavillon Soviétique Archit. Melnikoff»[1]. Зайдут, посвистят меланхолично и скажут: «Все, что здесь хорошо, все это украдено из чужих особняков или у чужих умов. А все, что свое — то плохо».

Да и как же может быть иначе, если в Сесерии единственное оправдание искусства — лакейская служба правительству, единственное право на жизнь — пресмыкание перед большевиками и грубая лесть не только коммунизму, но и Чека? «Кровавые самодержавные тираны» старого режима руками своих цензоров черкали красным статьи, колеблющие трон, и карикатуры, оскорбляющие Величество, а также удаляли с выставок порнографические картины. Но кому бы из них пришла в голову шальная мысль потребовать для себя лести и восхваления от артистов пера, кисти или резца? (Мы не говорим о Пушкине и Жуковском, писавших оды: то был дух времени и то была их личная воля...)

У большевиков система:

За великое подобострастие — большой паек. За малое — малый. За молчание — ноль. А если ты в стихах, в книге или с кафедры осмелился пробурчать что-то не совсем приятное вождям пролетариата — ступай-ка, товарищ, на Лубянку или на Гороховую. О, страна неслыханной свободы слова!

Большевикам выставлять нечего. В этом на днях со смехом и свистом убедился славный город Лион, обозрев жалкий, смешной, шарлатанский павильон русской промышленности на Лионской выставке. И Париж, конечно, не ждет ничего нового и интересного от Москвы. Но есть такая деликатная, слабая уступчивость. Наглый человек так долго напрашивается на интересный дружеский обед, что ему, наконец, говорят: «Наплевать, милости просим».

---

[1] «павильон советского архитектора Мельникова» *(фр.)*.

Большевикам совсем не интересны прямые цели выставки. Главное — побольше шума, бума и даже хоть скандала. Главное — пустить пыль в нос своим, домашним, дуракам: «Мы уже равняемся с Европой и вскоре перегоним ее». Но самое главное — это, конечно, наводнить Париж и Европу своими агентами, ради сыска, подкупа, пропаганды, агитации, разложения, раздувания мирового пожара.

Все это старые вещи, всем известные и переизвестные слова. Тем не менее, едва услышав об участии СССР на декоративной выставке, Ларионов с небольшой кучкой футуристов побежал в советскую миссию: «Товарищи, примите и нас в игру!»

Не знаю, приняли их или нет. Но уж если примут, то, конечно, не задаром. Чувство симпатии к добрым открытым лицам или к выразительным влажным глазам большевикам неизвестно. Если они кормят, то работу спрашивают вчетверо. Кто раз попал им в руки — скажи прощай прошлому. Да. Первую песенку, зардевшись, поют. От сменовеховства прямой и единственный путь в Совдепию, чистить сапоги и лизать пятки. Поступок же Ларионова и К° — чистейшее сменовеховство, подразумевая под этим термином не первичный литературный смысл, а нынешний, привычный, обиходный: то есть замаскированное, тихое, желанное предательство и прикрытый наивностным неведением подлый соблазн слабым. Назад им нет ходу. Прощать такие поступки не только слабость, но преступление. И вина больше, чем большевистская. Имена людей, побивавших каменьем великомученика, пропали для священной истории, но осталось имя того человека, который стерег их одежды, хотя этот человек и искупил потом свою вину мученичеством и лютой смертью. Из двух преступников кто гнуснее? Свирепый убийца или трусливый пособник?

Слезница Ларионова и К° была принесена к стопам советской миссии без ведома остальных художников. Издебский первый протестовал против этого темного дела резким и правдивым письмом. К нему тотчас же присоединилась большая группа художников, основавших отдельное общество.

Это общество устраивает 25 марта на усиление своих средств и для взаимопомощи колоссальный

праздник-бал. От русской колонии зависит поддержать это начинание. И не так здесь важна материальная поддержка, как моральная, как сочувствие, согласие, единение в мыслях и убеждениях.

Кислятина

Пожалуй, нигде так не верят литературе, как в России. А наша литература, начиная от Гоголя, сильна и художественна лишь отрицанием. Положительные образы в ней всегда были из папье-маше, вроде благодетельного откупщика Муразова или русского немца Штольца. (Толстой не в счет: он во всем чудесное исключение.) Помните, целая эпоха русской жизни прошла под знаком «обломовщины». Потом появились «кающиеся дворяне», потом «хмурые люди», потом неудовлетворенные интеллигенты, неврастеники, восьмидесятники, самоубийцы. Нельзя было разобраться в порядке: литература ли подхватывала преобладающий тип или русские люди самосокрушенно налагали на себя литературные презрительные клички.

Что говорить! Городская жизнь наша кишела нытиками, неудачниками, бездельниками, слабняками. И безобразно жила учащаяся молодежь из классов недостаточных. В гимназиях торчали по шести часов, сидя скрючившись. У большинства интеллигентных новобранцев правое плечо оказывалось ниже левого. И дома, и в училище комната плохо проветривалась. Молодежь мало купалась и редко бывала на открытом воздухе. Гимнастика, спорт, подвижные игры почти отсутствовали.

Все мы охотно валялись среди дня на постелях и диванах. Начинали курить слишком рано, курили чересчур много и притом скверный табак. Мы читали запоем, до одурения, и это зло в нашем воспитании было из наихудших.

Еще Экклезиаст сказал: «Сын мой, много читать — утомительно для тела».

А позднее Ницше расширил это изречение: «Горе тому, кто на заре дней испачкал свои глаза и истощил свой ум праздным чтением».

Мы читали тайком на уроках, и во время переменок, и целый день дома, и ночь, при свете украденного огарка или даже лампадки. Эта привычка, всосавшись нам в мозг, не только не оставляла нас в более зрелом возрасте, но с годами становилась грубее и закоренелее. И все труднее было отучиться от нее, гораздо труднее, чем от курения и от рюмки водки перед обедом.

Из ста интеллигентов девяносто девять, оставшись в одиночестве, хватались за книжку, как дитя за иссюнявленную соску. Но все сто, целиком, без книжки никак не могли уснуть. Об этом ясно свидетельствуют зачитанные библиотечные книжки: нет ни одной, на которой через каждые пять страниц не хранились бы круглый ободок стеарина и черная копоть... Чувствует этот милый читатель, что вот-вот заведет ему сейчас глаза сладкая дремота. Страшно пожара и жалко, что свеча прогорит напрасно. А подняться и потушить — значит, разогнать сон. Хлоп перегнутой страницей о пламя, и сразу провалился человек в ласковое небытие. Скольким писателям приходилось слышать такой комплимент от ярого поклонника: «Ужасно люблю ваши сочинения. Без них заснуть не могу. Всегда читаю на сон грядущий».

Читали мы иногда до такой степени взасос, что порою у нас в головах совсем перебалтывались времена, места и события. «Когда это и с кем я спорил о бисерных чулках? Во сне это было или в действительности, или я где-то читал об этом? Фу, черт, какая, однако, дурацкая каша у меня в башке!»

Читали мы сплошь все, что попадалось: просмотрите каталог частных русских библиотек и вы убедитесь, какой дрянью они напиханы. Ведь по спросу и предложение. Я знавал столько усердных книгочеев, которые на «сон грядущий» умели погружаться в словари, прейскуранты и расписание поездов.

Я не буду говорить о том, насколько скверно все вышеприведенные дурацкие условия влияли на физиологию и психопатологию нашей интеллигенции. Скажу кратко: по клиническим наблюдениям и анкетам, порок Онана среди русской интеллигентной молодежи всегда стоял в процентном отношении гораз-

до выше всех других стран. По моему мнению, гораздо большая беда заключалась в том, что все мы с малых лет делались миниатюрными энциклопедистами и всезнайками, а от дурного характера, плохого пищеварения (следствие гнилых зубов) становились непримиримыми, несправедливыми, грубыми спорщиками, отчаянными пессимистами, крикливыми плаксами, крошечными деспотами...

Мы спорили долго, до слез напряженья...

Кто не помнит этот стишок симпатичного Надсона? Но зато кто же забудет живописный порядок этих словопрений?

— Коллега, вы городите чепуху.

— Почему же, коллега?

— Потому что вы порете ерунду.

— В таком случае, вы сами дурак.

Нам не хватало только публичной эстрады, чтобы наше всезнайское, самоуверенное, жалкое блудословие выволочь на народ. Пришла Государственная Дума. Аллах-Акбар, как мы заговорили!

Мой друг, поистине король стенографов Иван Яковлевич К-в, престижный думский стенограф, говорил мне с горечью:

— Обидно. Всего три-четыре оратора, речи которых мы записываем со вниманием. У остальных — плоские, ходячие выражения — дешевка. Сотни оборотов в пять-шесть строк мы отмечаем одной условной каракулей. Встанет, например, трудовик (словечко-то какое). Мы уже заранее знаем, как он начнет. Ставим знак оооо, бросаем карандаш и расправляем затекшие руки и плечи. А он неизменно бубнит в тридцатый раз: «В то время, когда многоголовый хвост самодержавия, обвив своим ядовитым жалом одну шестую часть земного шара, в упоении пролитою им кровью...» Что же тут записывать? Истерическая кислятина.

Межевой знак

Смерть Савинкова — новая загадка. Первой мы, вероятно, никогда не разрешим: какие цели и планы повлекли его в Советскую Россию? Сам он на это нико-

му уже не ответит. Свидетельства же третьих лиц всегда будут сомнительны.

Убил ли он сам себя и как: по холодной ли воле или в минуту острого отчаяния? Или его прикончили большевики, со свойственным им равнодушием душевных идиотов?

Очень достоверно то, что Савинкову дали ясно понять: десять лет ты просидишь неуклонно, хотя от тебя самого зависят льготы, а может быть, и сокращение срока, если ты сделаешь то и то, то есть нечто возможное и приемлемое только для заматерелого чекиста, но отнюдь не для человека, каким всегда был и каким если даже погнулся, то все-таки остался Савинков.

Я знаю, что не могла привести его в отчаяние перспектива десятилетнего тюремного заключения. В течение своей бурной, сказочной, неправдоподобной жизни он выворачивался и не из таких пут. Правда, большевики жуткие сторожа. Помните ли вы ту фотографию суда, где Савинков снят стоя, в черных перчатках, со склоненной головой, опущенными веками и губами, сжатыми в трубочку? Там за ним стоит молодой вооруженный чекист. Замечательная фигура. Это уже не человек, а самодействующий маузер — совсем новая патентованная машинка. Но Савинков ведь отлично знал, что самый вооруженный, самый злобный и самый неусыпный дурак ничего не стоит перед умной головой и двумя голыми руками. Нет, Савинков не мог умереть от страха перед долгим заключением. А у большевиков было много — очень много — мотивов для того, чтобы его устранить. Сделали они это грубо, впопыхах, ибо давно привыкли к безответственности.

Для нас самое важное то, что вместе со смертью Савинкова умер и навсегда отошел в прошлое героический период революции. Тут межа, на которой память об этом талантливом и необычайном человеке стоит высоким, трагическим символом.

Да. Можно всячески смотреть на жизнь и деятельность русских террористов. Я, например, думаю, что вся их работа ничего не принесла ни им, ни их врагам, ни России, кроме злобы, крови, взаимного ист-

ребления и замедления прогресса. Я осмеливаюсь даже думать, что всякого рода социализм является для России такой же вредной и ненужной роскошью, как бритва «джилет» для троглодита или носовой платок для свиньи.

Но одно дело — отравлять безответственно слепые, темные, невежественные массы ядом ненавистнической пропаганды, взирая на них с высоты своего среднегимназического образования как на серый материал для лепки будущего мирового счастья. И совсем другое дело идти — баш на баш, ставить свою жизнь — величайшую драгоценность — против чужой жизни.

Правительство прежней России поступало посвоему логично, сквитывая жизни при помощи веревки. Но к террористам у него все-таки были признаки уважения. И часто его агенты, к своему великому удивлению, находили в этих страшных убийцах людей кротких и вежливых. Когда Дурново приехал в тюрьму к Балмашеву уговорить его подать прошение на высочайшее имя, Балмашев прервал длинную речь товарища министра скромными словами:

— Генерал, я могу подумать, что вы моей смерти боитесь больше, чем я сам.

А Каляев, уже готовый бросить бомбу, уже уловивший самый удобный момент, останавливает свою руку: в коляске, кроме великого князя, сидит дама...

Это все отошедшие времена и неповторяемые люди. Теперь из социалистов выдохся их своеобразный рыцарский дух. Остались Чернов и Керенский.

Лучшие из социалистов (ей-богу, везде есть хорошие люди) сами признают, что их дело в будущей России проиграно на многие десятки лет. Худшие еще кокетничают с большевиками, еще оказывают им формальное сопротивление. Так при иных обстоятельствах женщина шепчет мужчине: «Скажи, что ты никого, кроме меня, не будешь любить. Хоть солги, но скажи. Ну, что тебе стоит. И тогда — я твоя...»

А большевики правы в своей мужской неподатливости. Все равно она и так падет в их объятия. Природа возьмет свое.

Сикофанты

В парижской газете «Ле Суар» появилось на днях довольно странное письмо, подписанное П. Коганом и Аросевым, двумя советскими мужами с улицы Гренель.

О П. Когане нам известно, что в далеком прошлом он — литературный критик — с образованием, вкусом и тактом. Каков он ныне, в осиянии служения большевикам, мы не осведомлены. Аросев же — просто незнакомец, укрывающийся под псевдонимом. Его боевая кличка ни о чем, имеющем касательство к искусству, не напоминает.

Говоря кратко, эта парочка осталась недовольна тем выбором русских писателей, которых пригласило бюро международного съезда писателей для присутствия на парижских заседаниях. Вероятно, по мысли П. Когана и Аросева, инициаторы и устроители международного съезда должны были бы в этом вопросе спросить раньше мнение, совет и рекомендацию у большевистских агентов?

Но ведь международный съезд писателей никакого отношения к интернационалу не имеет. Он был задуман, собран, проведен и закончен без малейшего намека на политику и пропаганду. Какое могло быть у него доверие к большевистским представителям, если атташе советского посольства уличены в злостной агитации, или к большевистскому искусству — после одиозного павильона аршитекта Мельникофф на выставке?

Тяжесть советского недовольства падет на И. А. Бунина и на вашего покорного слугу. Бунин, правда, был приглашен, но он не приехал, по дальности расстояния того места, где он теперь живет, до Парижа. Отвечать, стало быть, приходится мне.

Все мы трое — писатели, присутствовавшие на съезде, — были избраны без всяких протекций и рекомендаций. Просто многие наши книги, за время невольного изгнания, были в Париже хорошо переведены, изданы и дружелюбно встречены французской критикой. Имена наши немного на слуху. Вот и все.

Но Коган–Аросев обижены тем, что не почтены вниманием и избранием такие современные колоссы русско-советской литературы, как Маяковский и Всеволод Иванов. Ведь не может же быть, чтобы они были неизвестны Парижу и, следовательно, всей Франции?

Увы – неизвестны, и, конечно, это большая оплошность Парижа. Знают, по правде говоря, одного Есенина: по скандалу в «Фоли-Бержер», по драке в «Кавказском погребке», по безобразию в отеле «Крийон» и в других местах. Знают также в некоторых полицейских участках, куда он нередко был препровождаем для успокоения aux violons[1] или sur les planchettes[2].

И еще прямой укор съезду за Бунина и Куприна. Почтили-де в их лице врагов революционной России.

Нет, я совсем не враг России. Никогда не перестает у меня жалость к ней и тоска по ней, и никогда не перестаю я верить в то, что она опять будет сильной, здоровой и богатой. Но, конечно, без помощи большевиков. Теперь не только Россия томится их существованием, но и всему миру они успели опостылеть.

Я бы признал и революционную Россию и охотно принял бы ее, если бы, действительно, революции семнадцатого и восемнадцатого годов были революциями, а не омерзительной кровавой кашей, мраком, насилием, стыдом. И ничто в мире не заставит меня склонить голову перед убийцами моей – да, моей, а не вашей – родной земли.

Хорошо у Когана–Аросева еще одно соображение. «Вот у нас там есть сверстники Бунина и Куприна – Серафимович и Вересаев». Вересаева я не трогаю. Но Серафимович был всегда писателем с воробьиный нос. Начал же он свою новую карьеру доносом, продолжал ее мерзкой ложью, и если теперь дорос до того, что фамилией его переименовали старую семьсотлетнюю улицу, то нужно только удивляться, как в день этого торжества Серафимович не повесился на углу этой улицы, на фонарном столбе.

---

[1] в кутузке (*фр.*).

[2] на голому полу (*фр.*).

И почему только Серафимович? А Криницкий? А Оль д-Ор? А Князев? А Ясинский? А Окунев? Все они равноценны по голодной услужливости, имена же их «малы и злы».

Люди дела

Среди эмигрантского разнотолка, среди беженского разброда — одни лишь слова великого князя Николая Николаевича звучат величественной простотой, неуклонной прямотой и самой насущной правдой. В понимании этих вразумительных и кратких слов нет места ни партийным раздорам, ни враждебной розни. Партия — это вся Россия. Цель — ее здоровье и счастье. Средство — обезвреживание России от большевистской болячки. Образ будущего государственного строя установит народ. Слушайте же. Не кучка специалистов, чудесно осиянных социал-демократической или монархической благодатью, а весь народ, который купил это право годами неслыханных страданий, который ими выкупил свои вины, который, смертельно уставший, жаждет долгого отдыха и которому теперь горче полыни дальнейшие социальные или монархические опыты! Потому-то твердая искренность этих слов и собирает вокруг имени великого князя все больше и больше верных сынов Родины, стосковавшихся по ней. Совсем новые, совсем неожиданные по своему упорству лица переходят в этот свободный — воистину свободный — лагерь. И уже самые злостные, навсегда непримиримые враги не решаются прибегать к клевете — своему обычному средству борьбы; не из трусости — нет, смелости у них всегда излишек, — а вследствие внутреннего инстинктивного ощущения, что на той стороне правда, вера, сила и необходимость.

Говорят об «окружении» великого князя. Но какое же может быть окружение у человека, живущего в деревенской глуши, в скромном уединении, почти в суровом отшельничестве, нарушаемом лишь приездами преданных друзей и осведомительными докладами?

Мы знаем солдат — от генерала до рядовых, — готовых в нужную минуту вновь бесстрашно встать под

твердым водительством великого князя на защиту отчизны. Но мужей совета и разума мы покуда не видим ни слева, ни справа. Видим только людей неотрешившихся от двустороннего прошлого бреда...

Вся политическая и партийная эмиграция перед нами наперечет, как знакомые фигуры старой колоды, как незабвенные вечные типы Грибоедова, Гоголя и Щедрина. Есть между ними люди, которые умеют думать, только пока они говорят, другие — пока пишут. Есть энергичные дельцы. Они не говорят, и не пишут, и не думают, но в каждый момент готовы сделать историческую глупость.

Но из того, что мы не усматриваем новых людей дела среди эмиграции и не предполагаем их бытия в России, вовсе не значит, что их нет. Их, по правде сказать, мы мало видели и в прежней, спокойной, цельной России и потому постоянно жаловались на безлюдье: в беседах, в мемуарах, со всех трибун и кафедр.

Но не видеть — иногда означает только не замечать. А ведь строилась же кем-то Россия, чьими-то усилиями она росла, умнела и богатела. Ведь менее всего мероприятиями правительства, которое всего лучше поступало, когда не мешало частному почину, хотя и то нужно сказать, что обычные, пошлые нарекания на него далеко не были справедливыми.

Я говорю о великом множестве неведомых тружеников, обладавших предприимчивостью, острым глазом, волей и трудолюбием. Неведомыми они оставались только потому, что не лезли во что бы то ни стало наверх — к мнимым почестям, к дешевой славе, к минутной власти.

Я, исколесивший всю среднюю Россию и многое наблюдавший с пытливым и жадным любопытством, — я могу сказать, что видел таких людей десятки. Да я думаю, что, поискав хорошенько в памяти, каждый читающий эти строки вспомнит, что он изредка встречал их иногда в уездных земствах, среди лесничих, врачей, образованных сельских хозяев, промышленников и т. д.

Ни прислуживаться, ни интриговать, ни подчиняться вздору, ни кривить душой, ни разводить празд-

ную болтовню такие люди не умеют. Их нельзя было затянуть ни на государственную службу, ни в политическую партию, ни в псевдонародную говорильню. Однако у себя на местах они были чудесными работниками: властными без властолюбия, высоко ценившими свою личность и умевшими ее уважать в других, со знаниями, опытом и проницательностью государственного масштаба.

Их умели вылавливать и приближать к большим делам Петр и Екатерина. Заметьте: почти все крупные русские государственные деятели XIX столетия, начиная с великого Сперанского и кончая почти гениальным Витте, были «parvenus»[1], или близко к этому. А сколько таких умов и характеров осталось в безвестности.

Вспомним русских колонизаторов, открывателей новых стран, изобретателей. Вспомним, без кривой усмешки, среднее русское купечество, завоевавшее огромные восточные рынки, да и вспомним, кстати, кондовых, монументальных русских купцов: ведь окончись для нас благополучно великая война, они могли и сумели бы осуществить на своих фабриках и заводах такой государственный социализм, что Бисмарк перевернулся бы в гробу от зависти.

О нет, не оскудела и не оскудеет русская земля людьми воли, дела, ума, чести и разумного патриотизма! В них великое начинание великого князя найдет осуществление и опору. Они же будут ядром первого всероссийского Собора. Для большого, ясного, чистого дела должны найтись и найдутся большие люди с ясными головами и чистыми сердцами.

P.S. Слышал я, многие верят в самозарождение русского Наполеона. Увы! Птица Феникс возрождалась из огня и пепла раз в сто лет и, конечно, не из куриного яйца и, конечно, не в наши прозаические времена. Потому гораздо легче и разумнее верить не в героя, рождаемого столетиями и особыми обстоятельствами, а в разум нескольких тысяч здоровых людей.

---

[1] «выскочками» *(фр.)*.

Остатний раз

«Парижский вестник» все еще не оставляет меня своим полупочтенным вниманием. На днях он выкроил из моей статьи, из середины, отрывок — строк около пяти-шести — и на основании их заключил, что вот, даже такой белогвардеец, как я, является злостным врагом эмиграции! И, вдобавок, внизу, в отдельную строку, жирным шрифтом была напечатана моя подпись: рассеянный читатель легко мог бы подумать, по первому беглому взгляду, что я и впрямь оказался в числе сотрудников «Вестника». Ну и шутники!

Правда, я часто и не очень доброжелательно говорил о тех лицах, которые составляют порчу, зло, докуку, тормоз и причину разброда эмиграции: о неумолкающих водолеях, тщеславных пузырях и замшелых, но безграмотных реставраторах, о соглашателях, зазывателях, сменовеховцах, брюзгливых пессимистах, о спекулянтах на человеческой стадности и о спекулянтах на человеческой крови, о старцах, забывших уроки истории, как старой, так и новейшей, и о старцах, ведущих свою политику исключительно из великих начал и завоеваний великой русской революции. И еще о многих. О них же я говорил в упоминаемой статье, откуда был вырван клочок.

Но всегда я знал и помнил, что они — всего лишь легкий вредный налет, лишь поверхностная гниль на всей толще эмиграции, внутреннее ядро которой цело и крепко.

И к этой-то настоящей, здоровой эмиграции я отношусь с неизменным уважением и с постоянным сочувствием, что я всегда высказывал печатно и устно.

Я горжусь тем, что русские дети и юноши идут первыми как в учебных заведениях, так и в механических мастерских, что русские студенты серьезно учатся во французских высших школах, преодолевая легко трудности чужого специального языка, что русские профессоры почти в каждом государстве, давшем им добрый приют, воссоздают наново убежища и хранилища науки из обломков храма, разбитого революцией.

Я радуюсь тому, что на вокзалах, на заводах, на фабриках, на фермах, в магазинах — повсюду — рус-

ские рабочие, люди самых разнообразных классов, положений и профессий в прошлом, завоевали без всякой натуги доверие хозяев, высокую ценность в глазах суровых мастеров, признание равенства у французов-товарищей.

Читая газеты, я с удовольствием вижу, что количество преступлений и нарушений закона совсем незначительно, почти равно нулю, среди русских беженцев. Почему это так? Берегут ли они инстинктивно честь бело-сине-красного флага? Или, правда, за границу просочился лучший отбор? Думаю — и то, и другое.

Судить надо русскую эмиграцию не по ее будничным, серым дням, не по ее молчанию и не по ее болтовне, а по тем моментам, когда широко и трогательно проявляется ее подлинная душа. Большая душа, временно скрываемая в шелухе мелочей!

Разве все мы не помним того ужасного года, когда вся Россия корчилась от голода, умирая миллионами, чего большевики так упорно и долго не хотели признавать? Тогда началась помощь Америки, и вот вся эмиграция, точно воспрянув от летаргии, поднялась в общем движении, соединилась в общем прекрасном и живом деле. Несколько миллионов хуверовских посылок на сотни миллионов франков было послано эмигрантами из одной лишь Франции, не считая других стран. Посылали из последнего, лишая себя самого необходимого, и посылали бы еще долго и так же самоотверженно. Но... но Хувер вынужден был прекратить помощь ввиду того, что хлеб, предназначенный крестьянам, большевики отрывали от голодных ртов и продавали за границу, ради нужд Че-Ка и агитации. Хувер сказал об этом громко, на весь мир.

Вспомним и о маленьких индивидуальных посылочках: фунтик какао, фунтик риса, шоколада, карамелей, макарон и т. д. Их тоже было послано на несколько миллионов... Но они не дошли. Их большевистские таможни обложили столь несуразно огромными пошлинами, что получатели отказывались брать и в письмах умоляли отправителей не посылать больше: «Вам лишнее разорение, а нам не

выкупить, да еще под слежку попадешься...» А посылочки эти со вкусом съели Коган с Аросевым.

Вот каковой бывает эмиграция в минуты подъема и тогда, когда она видит перед собой ясную, необманную цель.

И все эти ее высокие качества давно уже поняты и оценены во Франции. Она уже давно разобралась, что есть русские хорошие люди, тоскующие в изгнании, есть русские хорошие люди, томящиеся в плену у себя на родине, и совсем отдельно существуют большевики, ничего общего с Россией и ее интересами не имеющие. И такому правильному взгляду на вещи и события мы особенно глубоко должны быть благодарны нашей трезвой, работящей, честной, здоровой и сердечной эмиграции. Со временем ее поблагодарит и Россия.

О шовинизме

В шовинизме, в этом обостренном и вынесенном на улицу патриотизме, нет, в сущности, ничего особенно дурного. Все зависит от ощущения предела, дальше которого нельзя идти, от чувства меры, без которого так легко впасть, незаметно для себя, в смешное, невыгодное или даже опасное положение.

Часто шовинизм бывает понятен и извиняем, если, например, его мотивами служат или историческая необходимость, или упоение недавней, тяжело давшейся победой, или, наоборот, общее негодование, общая горечь, общая скорбь, вызванная катастрофическим поражением. Такой шовинизм всегда совпадает с чувствами и мыслями народной массы. Но тот же народ иногда остается равнодушным, бездеятельным и скучающим зрителем, если перед ним искусственно бряцают шпорами и зовут на смерть и кровопролития исключительно ради славы родного оружия. Вспомним и сравним: жалкие, писклявые манифестации союза русского народа при объявлении японской войны и чудесный, стремительный подъем патриотизма в 1914 году при появлении манифеста.

Смешон был квасной, ернический шовинизм московского купечества и славянофильского средопу-

пия. Помните ли старые лубочные рассказы о громогласных протодьяконах, об ужасных силачах, об обжорах, рысаках, лихачах, скандалистах и кутежах, шулерах и банщиках? Умильно плакали добрые люди над этими рассказами: «Есть ли в мире что подобное матушке Расее!»

Смешон был и воинствующий шовинизм: «Шапками закидаем!», «Нашему солдатику все нипочем: и холод, и голод, и картонные подметки».

Для российского солдата
Пули, бомбы – ничего.
С ними он запанибрата.
Всё безделки для него.

«Нашему солдату три дня не давай есть, так он врага с кожей и с костями съест и назад не воротит».

Все это – самонадеянный вздор, грубый балаган, легкомысленное вранье, однако за этой похвальбишкой пряталось большое зло. Русский солдат, правда, всегда отличался, кроме многих своих прекрасных качеств, еще и изумительной выносливостью и несравнимой стойкостью. Но наши отечественные полководцы очень часто вместо того, чтобы разумно пользоваться этими драгоценными свойствами, были склонны ими злоупотреблять, особенно в последнюю войну, где порою доблесть полагалась в упорном и бесцельном бросании огромных масс в лобовые, повторные атаки. При этом совсем забывалось, что солдат есть все-таки существо, любящее свою жизнь и страдающее от боли... «Они у меня орлы, всё переносят и умирают с радостью...»

Пророчески зловещ был напыщенный, напруженный, крикливый шовинизм Германии (вернее – Пруссии). «Отними у врага все, и оставь ему лишь глаза, чтобы плакать». «Дейтшланд юбер аллес». Особенно немецкий бог, открытый кайзером, замечательное изречение Гинденбурга: «Все соборы мира не стоят капли крови одного моего солдата».

Этот бешеный шовинизм, эта яростная надменность и поставили, наконец, Германию одну против почти всего мира.

Есть, к счастью, шовинизм прекрасный и именно тем сильный, что его руководители улавливают струю, общую с безмолвной волей всего народа, угадывают невысказанное, может быть, даже неосознанное желание и согласие миллионных масс. Таков был шовинизм Деруледа, Клемансо, Пуанкаре. Такими шовинистами были у нас Скобелев и Черняев, этот один из крупнейших государственных умов России, к сожалению, не понятый современниками и временно забытый. Шовинистом был и тот царь, который, спокойно опираясь в течение тринадцати лет на сказочную мощь своей страны, отводил властной рукой каждую предательскую руку, хотевшую поднести зажженный фитиль к тому пороховому погребу, который представляла собой тогдашняя Европа.

* * *

Я вполне понимаю шовинизм государств новообразованных или восстановивших свое прерванное историческое бытие. Тут есть нечто вроде бурной преувеличенной радости, испытываемой первородящей матерью, – такой радости, от которой иногда молоко бросается матери в голову, ко вреду для младенца. Мне не стыдно и не обидно гордое самоупоение, скажем... Белоруссии. Пусть она забыла в своем симпатичном тщеславии тот факт, что вызвана она к существованию всего лишь политически-полицейскими соображениями великих держав. Пусть профессор Довнар-Запольский сочинит для нее ее собственную великую, древнюю историю с королями Лукомудом и Жигопером. Пусть высоко развевается над ее старыми рыцарскими замками (Смоленской губернии) старый национальный флаг, серо-буро-малиновый в крапинках с осьмью желтыми единорогами и вазой с ручкой. Словом, «пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...» и т. д.

Но дальше уж и стыдно, и противно, и смешно.

Зачем стаскивать статую Петра Великого с пьедестала и переливать ее в мелкую монету? Зачем взрывать русскую часовню и заколачивать русский храм? Зачем объявлять обязательным язык, не имеющий грамматики? А главное, зачем говорить, что прежняя

«тираническая» Россия была дика и невежественна, и зачем предавать ее проклятиям за все, ею сделанное для края? Вот это уж нехорошо: освятили новый дом и сейчас же его обгадили. И все это ведь на народе. А народ смотрит, слушает, молчит и уже давно покряхтывает: «Под русской рукой куда лучше жилось!..»

Французская деревня

Прошлой зимой мне довелось разговаривать с молодым французским писателем все на ту же неиссякаемую тему о прилипчивости черной большевистской хвори. Он охотно соглашался со мной в том, что большевизм, этот азиатский коммунизм, действительно, явление уродливое, что следы его заразы уже проступают кое-где в крупных европейских центрах и что бороться с ним, конечно, необходимо. Тем не менее он находил, что для Европы, вследствие ее высокой культуры, большевизм вовсе не представляет смертельной угрозы. И он приводил такое сравнение:

— Возьмите, например, чуму или холеру. В средние века они косили людей одинаково во всем Старом Свете, не отличая европейцев от азиатов. Теперь же они эпидемичны лишь для Азии и, отчасти, для России. Занесенные случайно в Западную Европу, они выражаются лишь в отдельных несчастных случаях, которые очень энергично локализуются и подавляются. Так будет и с большевизмом. Франции в особенности нет оснований его страшиться. Мы энергичны и бодры. Мы трудолюбивы, как муравьи. Страна наша богата красотою и чудесными культурными ценностями. А главное, каждый француз — каких бы крайних убеждений он ни был — прежде всего горячий патриот. Свою родину он любит и ею гордится превыше всего на свете. Наконец, мы застрахованы свободами нашей государственной конституции: это наша предохранительная прививка. Посмотрите: у нас в палате заседают бок о бок и коммунисты, и социалисты, и крайние монархисты. Отечество с одинаковым почетом хоронит и Жореса, и Анатоля Франса, и генерала Манжена. Насаждаемые у нас ис-

кусственно семена большевизма не взойдут: у нас нет для них питательной почвы.

С тех пор я с ним не виделся. Не знаю, что он сказал бы теперь. Тогда еще не начиналась война с Марокко. Тогда на прекрасном теле Франции не проступали так явственно первые пятна дурной болезни.

Отставка Мильерана и уход Пуанкаре, насилия коммунистов в Марселе и в Париже, пропаганда не только среди рабочих, но и в армии, и во флоте, и даже в самом парламенте. Лозунги: «Да здравствует Марокко! Долой войну! Да здравствует Германия!» Избиение г-жи Рашильд. Открытая проповедь пораженчества и едва ли не братания на фронте. И в конце концов почти полная безнаказанность!.. О, как нам, русским, давно и скорбно знакома эта злокачественная сыпь!

И все-таки я твердо верю в то, что Франция совсем легко и скоро переболеет свой большевизм; только лишь помается, потомится в небольшом жару и встрепенется, совсем здоровая, после самого ничтожного кровопускания. В мою веру, конечно, входят все те соображения, которые приводил мой друг, французский писатель. Я их еще подкрепляю французским деловым благоразумием, замечательным чувством меры и необычайным уважением к собственности. Но основа порядка во Франции – все же ее богатое и крепкое крестьянство.

Несчетно богата французская провинция, и каждый удобный уголок в ней тщательно возделан. Сделайте по железной дороге путь от Па-де-Кале до По или до Ниццы, полюбуйтесь хоть из вагонного окна на обильные и золотые квадраты пшеницы в человеческий рост; маисовые роскошные поля, правильные, как по нитке вытянутые, ряды отяжелелых виноградников, фруктовые деревья на межах и в садах, густая толстая зелень кормовых трав, веселая пестрота огородных грядок, светлые в зеленой оправе реки и каналы, слоноподобные першероны и ардены, везущие по прекрасным дорогам огромные тяжести, или запряженные в глубокие плуги величественные быки цвета кипяченого молока с палевыми мордами и коленами, превосходный молочный скот, домаш-

няя птица, кролики, свиньи, доведенные до чудовищных размеров и блестящего щегольства, — и повсюду в деревнях электрическое освещение, телефоны, авто- и локомобильная тяга, аптеки, доктора, нотариусы... Генрих IV мечтал о воскресной курице для мужика. Что ему курица? Он ее отправляет в город, а по праздникам ест кормленого индюка с трюфелями и запивает его собственным вином. Так же ест и его батрак.

Уж если наши мужики, малограмотные, малоученые и много битые, встали так яро, всей грудью, против покушения коммунистов на жалкие плоды их суглинков и супесков, то с каким же остервенелым упорством французский фермер, давно узнавший великую цену свободы, культуры и труда, встретит каждую попытку распорядиться его хозяйством. Он и теперь господин положения во Франции, а в случае временной победы коммунистов он просто не даст городу ни хлеба, ни мяса, ни овощей. Вы себе деритесь, а нам вас кормить задаром не с руки. И в грядущей борьбе рабочего с крестьянином, то есть города с деревней, победит, несомненно, последняя, как она побеждает уже и в России.

Французский крестьянин, кроме того что хитер, он еще и умен своим коллективным, земляным умом. Клемансо однажды сказал: «Победил Германию не только наш героический солдат, но и наш крестьянин, который давал нам самоотверженно и хлеб, и деньги, и людей».

Золотые слова. Но надо учитывать и то, что давал он так охотно еще и потому, что понимал всю невыгоду для себя поражения Франции.

Он разберет и в случае большевистского напора, куда ему идти и что ему делать, и, понятно, без убытка для себя.

Посып-хан

Существует на свете одна замечательная книга — шестая книга российских дворянских родов. Она же — Бархатная. В нее внесены все бывшие именитые фамилии, члены коих за службу своих предков в ратном

деле и в совете государевом удостоены чести быть причисленными к царскому дворцу. Хорошая и полезная книга. Надо же помнить и читать имена людей, создававших родную историю, собиравших и укреплявших родную землю!

Одно жаль: составлялась эта книга в те блаженные времена, когда методы исторического исследования имели еще характер домашне-кустарный, вследствие чего в шестую книгу и вплелось множество досадных, часто уже неисправимых ошибок.

В наши дни один из князей Долгоруких (не ручаюсь, может быть, и Долгоруковых) занимается перетряхиванием листов этой книги и их проверкой. Результаты у него порою получаются весьма прискорбные для иных эмигрантов, ставящих на своих французских карточках частицу «de». Привык такой гордец совать людям в нос при всяком удобном и неудобном случае: «Мы – столбовые. Мы – с Ивана Третьего дворяне (кстати, тогда и дворян-то не было, а были бояре). Наш предок – муж честен, выходец из Литвы (далась им эта Литва!). Мы старого корня».

И вдруг у князя Долгорукова: «Всегда состояли в однодворцах. Фамилия образовалась от местного названия бани. Или потаенно: кладовой».

Больше всего вторглось в шестую книгу моргариновых дворян после указа, по которому право преемственного дворянства получали лица, дослужившиеся до ордена Святого и равноапостольного князя Владимира третьей степени. Этой мерой правительство, несомненно, хотело разжижить действительно древнее и родовое высшее сословие, которое не прочь было побудировать, поперечить государям и посчитаться с ними знатностью происхождения, как, впрочем, бывало нередко и в других странах (Сир-де-Кусси, Роган).

И что же получилось из этой страховой меры?

Жил, например, на свете чиновник Посыпкин. Ну – самая архичиновничья, самая гованская, самая водевильно-чернильная фамилия. Сразу видно, что и отец, и дед его посыпали песком (тогда еще не было промокашек) бумаги. «Эй, ты, Посыпка, принеси-ка песочницу!»

Служил он очень долго: кляузами, происками и доносами долез до звания экзекутора, хапал налево и направо, был живоглотом, настоящей акулой; дослужился, наконец, до надворного, и вот венец чиновничьих мечтаний: великолепный орден на черно-красной ленте. И звание потомственного дворянина. А им давно уже присмотрена и приторгована была доходная деревня с четырьмястами душ, со старой барской усадьбой. Теперь он и помещик, и дворянин, гложет червь честолюбия: в шестую бы книгу хорошо вписаться, родословное бы древо завести.

За чем дело стало? Были на это ловкие специалисты в губерниях, были высокие мастера и художники в Петербурге. Недаром Департамент геральдии считался в те времена самым хлебным из всех чиновных учреждений. Отколупывал Посыпкин от своих капиталов, политых сиротскими и вдовьими слезами, изрядный кусок и совал его таким же живоглотам, каким и он сам был в экзекуторах, — и вот он уже в шестой книге, потомок владетельного князя из Золотой Орды Посып-хана, который в княжение Василия Темного передался на русскую службу и стал писаться «князь княж». Высокие артисты раскручивали Посыпкину высокое и широкое родословное древо, и в фамильном его гербе значилось: золотой жеребенок на зеленом поле; вверху справа — серебряный натянутый лук со стрелою; слева — молодой полумесяц; внизу — три серебряные башни.

Таких Посып-ханов в шестой книге чрезвычайно много, так много, что их всех, даже при настойчивом желании и упорном труде, никогда не переловить поодиночке. Да и черт с ним, с посыпкинским смешным и жалким честолюбием. Гораздо важнее заглянуть поглубже в то, каким помещиком был Посыпкин.

А тут и нужно вспомнить всю его служебную карьеру, начиная со звания канцелярского служителя. Что он видел? Тыканье, пинки, плевки, унижения, подобострастие, трепетное подхалимство, наушничество. И когда даже сам начал других тыкать, брыкать, запугивать и погонять, то по-прежнему пресмыкался и лакействовал перед высшим.

И вдруг сразу в беспрекословном и безотчетном повиновении у него оказываются сотни крепостных рабов, которых он хочет – казнит, хочет – милует, хочет – с кашей ест, хочет – с маслом пахтает. Как должна была развернуться в сладком ощущении безграничной власти его запакощенная, разъеденная оскорблениями, червивая душа! Конечно, он стал, психологически не мог не стать, мелким, злобным, ухищренным, изобретательным тираном. Именно в этих-то Посыпкиных, главным образом, и кричал позор перед всем миром русского крепостничества. Салтычиха – садическая случайность.

Не то – коренной, трехсот-пятисотлетний помещик-боярин (барин – глупое, опошленное, лакейское слово). Веками связанный с землей и народом, он понимал, что только им он обязан своим благосостоянием и потому привык землю чтить, а о мужиках заботиться.

Говорят, Толстой в «Войне и мире» совсем обошел стороною несчастного, забитого мужика (такие обвинения я слышал от народников).

Но Толстой, всегда руководимый правдой, всегда писал то, что он видел. Значит, угнетенного, обесчеловеченного мужика он никогда не видел у себя на своем жизненном пути ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности, несмотря на крепостное право.

Пушкин, как железную перчатку, бросал шестьсот лет своего дворянства в лицо придворным выскочкам, льстецам и интриганам. Но он же, возвратившись после отпущения грехов Николаем I из Москвы, где его, уже знаменитого, осыпали ласками и лестью, на место прежней ссылки, в деревню, пишет Вяземскому о том, что приятнее славы и дороже милости двора были для него слезы няни и сердечная встреча «моих хамов».

Среди декабристов был цвет русской старой, земляной аристократии, но в их мечтаемой конституции на первом месте были свобода крестьянина и наделение его землею.

Еще задолго до 1861 года лучшие, просвещеннейшие помещики заменяли барщину оброком. Бывали даже чудаки, пытавшиеся отпускать всех своих кре-

постных на волю, наделив их землею, но за это по головке тогда не гладили, а высылали за границу, отдавали под опеку или попросту сажали в желтый дом.

И вот в нынешнее время земля и мужик опять стали пробным оселком.

Бывший помещик, принадлежащий к старой, родовитой русской семье, конечно, возмущен — насильственным захватом земли и нелепыми безобразиями, которыми мужик сопровождал его. Но он сознает причину этого как в давних исторических ошибках, так и в лености, неспособности и равнодушии последних правителей и во многом другом, где вина лежит на всех. И от него вы не услышите слов гнева и угроз мести.

А внук Посып-хана говорит, сжав кулаки:

— Вернемся, провозгласим царя, землю от крестьянина отнимем и так его примемся, подлеца, драть, что навеки забудет он и думать о разделюции.

Очень печально, что оба они внесены в одну и ту же книгу, в печальный памятник прежним людям, составляющим честь, гордость и славу России.

Капля и камень

Пятичасовой чай. На столе печенье и кекс с коринкой. Коричневый теплый чай. Кто входит в переднюю, слышит скачущий гул голосов:

— А-ва-ва, а-ва-ва, а-ва-ва, — точно там тридцать человек, зажав уши пальцами, долбят вслух урок.

И вдруг раздается, покрывая все, громкий властный голос хозяйки, большой женщины с лошадиным лицом и с таким огромным висячим задом, который в 1001 ночи восторженно назывался царственным:

— Ах, господа, вы там опять о большевиках начали? Боже мой, как надоело. Оставьте их, наконец, в покое хоть в моем доме. Право, я назначу за слово «большевик» штраф в какую-нибудь пользу.

Слышишь иногда и от читателя:

— Все о большевиках да о большевиках. Я русских газет и вовсе не покупаю. Осточертело. Ну, Чека, ну, расстрелы, ну, мозги, ну, кровь, ну, голод, ну, черт в ступе. Но ведь в тысячный раз — подумайте! Я для че-

го газету беру? Чтобы отдохнуть за чашкой кофе, прочитать новости, пикантную сплетню, веселенький фельетончик, этакое «нечто обо всем» или «в свете и в полусвете». Недурно — легонький рассказик... стишки остренькие. А вы большевиками кормите. Ну и кушайте их сами, я сыт.

Странно. Катон говорил ежедневно и на самые разнообразные темы. Но был период в несколько лет, когда он каждую свою речь, какого бы она ни была содержания, заключал страстным призывом:

— А все-таки надо разрушить Карфаген!

Он хорошо понимал силу повторения, вдалбливания мысли, а так как мысль его была близка всему Риму, то его настойчивость, никого не удручая, приближала результат.

Этот закон прекрасно понимает современная коммерция, когда бросает в публику свои изобретения или изделия. Скажите, вам не надоел «Ситроен», кричащий на небе дымом и огнем о своем существовании? А мыло «Кадум» с отвратительно пухлым мальчишкой? А «Мари», с «гусями, що жрут консервы», по выражению кубанской казачки? А швейная машина «Зингер»? А «Саламандра»? Надоело до омерзения. А, однако, прочно засело в голове, и если вам что-нибудь надо купить впопыхах или посоветовать наскоро ближнему своему, то, всего вероятнее, вы машинально назовете навязнувшую в памяти фирму.

Какой-то американский король — не то пуговиц, не то зонтиков, не то плевательниц — так сообщил интервьюеру о своей карьере:

— Когда я начал дело, я тратил на рекламу всю прибыль и так поступал, пока мое дело не стало прочным, то есть не начало мне приносить сто процентов. Тогда я стал понижать расход на рекламу — до семидесяти пяти, пятидесяти, двадцати пяти процентов. Но и теперь, когда я уже миллиардер и когда мои несгораемые набалдашники известны всему миру, я отчисляю и всегда буду отчислять на рекламу десять процентов.

Большевики глубоко учли эту странную силу капли, долбящей камень, и пользуются ею с замечательной энергией. Чужие меха, царские бриллианты и

царское носильное платье, драгоценности, на которых еще видны пятна засохшей крови, хлеб, вырванный из голодных ртов, — все идет на их неутолимую, бешеную, адскую пропаганду ненависти, разрушения, убийства, клеветы.

Поймают ли их в воровстве, в подделке документов, в грязных или кровавых подлостях — они хотя и голословно, но нагло отрицают очевидные факты для того, чтобы в конце опровержения опять прокричать на весь мир о величии и мощи советской республики, о добродетелях ее вождей, о близости всемирной революции, о гигантских шагах, которыми идут в Триэсерии пролетарское образование, государственная промышленность и торговля, сельское хозяйство, искусства и науки, финансовое благополучие и демократическая чистота нравов...

Кто им верит? Никто. Они сами себе не верят. Но постоянный нажим на впечатлительность берет свое. Люди, болтающие на файф-о-клоках, люди, читающие газеты лишь для пищеварения, люди, никогда не корчившиеся при большевиках от страха, стыда, унижения и голода, люди, спокойно говорящие о непахнущем золоте, тоже не верят, но их все равно ничем не уверишь и ничем не устыдишь.

Но есть люди обыкновенные. Простые, милые, добрые, честные и — увы — слабые люди, как и все мы, грешные. Бывают у них — да и часто бывают — жестокие, тяжелые минуты, когда некуда пойти и некому сказать, что вода к горлу подступает. А тут большевистский Кадум, зазывание в газете, в бистро, на митинге. И поплыл бедняга по гнилому течению.

Да, здесь, в агитации, большевики сильнее нас, как отрицание всегда сильнее утверждения. Но из этого вовсе не следует, что им можно употреблять печатное слово как оружие борьбы, а нам — не надо, потому что, видите ли, объевшийся и продавшийся эмигрант скучает. Нет, долг, и совесть, и любовь к родине повелевают нам, во имя тысяч наших братьев, одинаково с нами верующих в счастливое будущее оздоровленной от большевиков России, — не прекращать печатной войны с большевиками, как бы она ни

была тяжела, нервна, однообразна, а в будущем, может быть, и опасна.

Роковой конь

На днях один журналист, рассердившись на то, что в Румынии существует сигуранца, а в Польше экзекютива, объявил меня плохим писателем и рекомендовал мне брать уроки и примеры у М. П. Арцыбашева.

Ну что же, учиться никогда не поздно и так же обязательно, как признаваться в незнании или ошибке. Арцыбашева я знаю давно. Люблю его большой талант. Уважаю в нем честного, чистого и смелого человека, беспощадно-правдивого к себе и другим. Учиться у него мне теперь, пожалуй, и поздно, и нечему: слишком мы для этого разные люди. Но брать с него пример стойкости я считаю необходимым и для себя, и для очень многих.

С пристальным вниманием я слежу в варшавской газете «За свободу» за его прекрасными статьями. Он пишет их не ежедневно, а спорадически, с промежутками, выпуская зараз целый ряд фельетонов, посвященных одной определенной и всегда жгучей теме. И вот что меня всегда немного удивляет, немного смешит: стоит только Арцыбашеву начать свою очередную серию «Мыслей писателя», как немедленно срывается с места г-жа Кускова, наскоро седлает коня и с пикой-ваттерманом наперевес уже мчится в лихую атаку на Арцыбашева. Удивительно здесь для меня то горячее внимание, которое г-жа Кускова уделяет именно Арцыбашеву. Смешит же меня кусковский запал: Аллах! до чего вздорной, непоследовательной и грубой может быть партийная женщина в споре! У г-жи Кусковой и посадка, и посвист совсем молодецкие, но конь ее, по какой-то роковой привычке, всегда умудряется завязнуть в луже. И не только в полемике с Арцыбашевым, а и по всем другим поводам.

Что же касается мотива ее острой неприязни к Арцыбашеву, то о ней, пожалуй, можно догадываться. Это — большевизм. Г-жа Кускова, видите ли, с большевиками до сих пор находится в теоретическом спо-

ре. Для Арцыбашева ясно, что с большевиками не спорят, а уничтожают их, и чем скорее, тем лучше. Г-жа Кускова не признает большевиков умом. Арцыбашев ненавидит их умом, сердцем, душою, всем составом своего естества. Г-жа Кускова говорит: зачем употреблять против большевиков насилие, если время, события и сила убеждения скоро докажут большевикам их ошибки в пролетарской революции? Они поймут, они раскаются, они вернутся вспять к заветам и завоеваниям великой революции, и мы заколем в честь вернувшихся блудных сыновей лучших тельцов. Арцыбашев непреклонен: зачем бесплодные убеждения, если возможно насилие? Пока время и события образумят и исправят большевиков, сколько крови вытечет из родного народа? Нет ни сговоров с большевиками, ни прощения. За пролитую кровь — «святая месть».

Вот эта-то «святая месть» и ослепила амазонку. Она выпустила поводья, и мерин повлек ее в фатальную лужу.

Чисто по-женски, по-просвирнически заговорила ученая, идейная, партийная дама: «Уж если так страстно, до кровомщения ненавидит Арцыбашев большевиков, то где же он был и что делал в самые тяжкие годы большевистской власти?»

На этот вопрос можем ответить мы, писатели, жившие в Совдепии до двадцатого года. Мы, петербургские, часто спрашивали наезжих москвичей: «Как Арцыбашев?» — «Одинок, редко где показывается, бедствует. Был у него обыск, унесли все сбережения». Приезжая на день-два в Москву, спрашивали у тамошних литераторов: «Ну, что Арцыбашев?» — «Бедствует, нигде не печатается, ни на какие компромиссы с большевиками, даже на самые косвенные, невинные, не соглашается. Не хочет идти ни в Госиздат, ни во “Всемирную литературу”, ни в брюсовское общество. В частных разговорах так ругает большевиков, что страшно за него становится».

А спустя два года, по приезде в Париж, мы получили с оказией письмо из Москвы, где прямо говорилось: «Боимся за М. П. А., как бы его не послали к Гумилеву: уж очень желчен и неосторожен».

Г-жа Кускова говорит дальше (конь уже передними ногами в луже! Sic!): «Я боролась открыто и спорила с большевиками, почему же Арцыбашев не поднимал против них своего голоса?»

Пока существовал хоть самый слабый намек на самую ничтожную свободу печати, Арцыбашев в тех же «Мыслях писателя» не переставал клеймить большевизм и коммунизм. Что же ему оставалось делать, когда вся небольшевистская, неказенная пресса была пристукнута насмерть?

Идти и вопиять на торжищах и приять, при первом же опыте, мученический венец?

Это ли хотела видеть совсем не кровожадная г-жа Кускова?

Г-жа Кускова ратоборствовала с большевиками в их же печатных органах. Оппозиция его величеству. Таковой сделки никак не перенесла бы ни гордость Арцыбашева, ни высота его гнева.

Оттого-то они и попали оба за границу столь различными путями. Ведь разные бывают приезды и уезды. Инако приехали в Россию Плеханов и Бурцев, инако — Ленин, Зиновьев и Красин. Г-жа Кускова спокойно села в вагон. «Товарищ Кускова, вот здесь, в корзиночке, закуска, здесь — теплое одеяло и кружка, здесь, в сверточке, полотенце, мыло, зубная щетка, порошок. Ну, добрый путь, товарищ! С демократическим приветом! Пишите! А надоест на чужбине — возвращайтесь. Вот будем рады».

Арцыбашев ушел без спросу. Что он испытал и перенес во время своего тяжелого и опасного побега — об этом мы, надеюсь, услышим или прочитаем когда-нибудь. Наверно, бывали и те страшные моменты, знакомые почти всем «нелегальным» беженцам, когда выносят из беды незримые заботы о нас Николая Угодника или св. Михаила Черниговского.

Святая месть

Г-жа Кускова набросилась на М. П. Арцыбашева за то, что он считает месть грабителям, насильникам, истязателям и убийцам делом нужным, естественным, законным и святым. Набросилась с запалом и с заки-

дом. В особенности раздражала ее, как красный платок — быка, святость мести. Как! Освящать кровопролитие? И пошла: тра-та-та, тра-та-та...

Возразил ей Арцыбашев очень сдержанно. Кротко указал на те места, где г-жа Кускова исказила умышленно его слова, сделала передержку или, вырезав произвольно кусок абзаца, дала по нему совершенно иное толкование всей мысли, чем то, которое имел в виду автор: обычное дамское рукоделие в полемике. Один только раз он позволил себе обронить по поводу какой-то уж очень пистолетной выходки словечко «глупо», но тотчас же рассыпался в извинениях за резкость. «Я никогда не забываю, что полемизирую с дамой, но вот до какой грубости иногда могут довести дамские приемы в споре». В общем же тон Арцыбашева таков: Господи, и без того жарко, и скучно, и противно, а тут еще эта муха над головой, хоть бы отвязалась.

Но мне все-таки кажется, что в своей статье — логичной, холодной и острой — он допустил одну ошибку, кажущуюся сначала несущественной:

«Выражение “святая месть”, — говорит Арцыбашев, — не мое. Я взял его у Пушкина».

Да. Нам известны теперь многие русские люди, которые, будучи чужды одинаково как блохоискательству в жизни Пушкина, так и проверке алгеброй гармонии его творчества, любят поэта с доверчивой простотой и умильной нежностью. Для них Пушкин — как бы кодекс добра, правды и красоты. Поэтому и ссылка Арцыбашева опирается на непререкаемый источник.

Не надо долго искать, откуда взяты эти слова. Это «Полтава», сцена пытки Орликом Кочубея. Гетман говорит о своих кладах:

Мой третий клад — святая месть,
Его готовлюсь Богу снесть.

У Пушкина, вообще, есть много прекрасных мест, где этот афей и вольнодумец является в свете истинного, глубокого христианства. Вот эти две строки. Разве они не исходят из евангельских слов: «Мне отмщение, и Аз воздам».

То есть не человеку принадлежит право расплачиваться за обиду обидой, за смерть смертью, а суду всеправедного, всезнающего и всемогущего Бога.

Правда, мы не знаем, как распорядился бы Кочубей со своей местью, если бы ему удалось вырваться из рук Мазепы. Правда, сам поэт поник венчанной головой с свинцом в груди и жаждой мести (хотя впоследствии Данзас рассказывал, что по дороге домой, в санях, жестоко мучившийся Пушкин несколько раз спрашивал о состоянии Геккерна и горячо обрадовался, что его противник не убит, а лишь легко ранен). Правда и то, что Иисус Христос, передавая людям учение высокой чистоты, благостно снисходил к недостаткам и слабостям человеческой природы. Поэтому не нам, обыкновенным и грешным смертным, судить таких же наших братьев за противление злу и извлечение меча из ножен в случаях личной обиды или защиты себя от насилия. Сильный же пусть удержит свою руку и простит, если может.

Массовая месть — это уже явление не только несовместимое со святостью, но и совершенно чуждое как Божеской справедливости, так и человеческому достоинству. Это — разнуздание в человеке всего, что в нем есть ниже скотского и яростнее звериного. Мы видели святую месть пролетариата за угнетение «трудящегося» народа. Гнуснее, позорнее, отвратительнее этого зрелища не являла еще история.

Война знает свои неписаные законы и свои пределы даже невозможному. Мстящая толпа их и не может знать, объятая всего лишь жаждой крови, огня и разрушения, поглотившая без остатка отдельные человеческие мысли, воли, характеры и сознания.

Армия, вовлеченная в такую месть, быстро разлагается, выходит из повиновения, теряет первоначальную великую идею и, наконец, в убийстве и в насилии видит уже не средство, а цель. Потребовать разубедить ее в этом — значит, обречь себя на верную гибель.

Электрификация и электрофига

Целый день от Оша до Тарба, потом до Лурда и Пьерфита карабкался поезд в гору. В Пьерфите пересели в электрический вагон и доползли к сумеркам наверх — в горный курорт Сен-Совер-ле-Бен. И во всю дорогу, то следуя рядом с ней, то ее пересекая, извивались и мелькали под мостами мелководные, быстрые, каменистые горные реки, стремительные речки, торопливые шумные ручейки, а вдали пенистые, узкие каскады повисли в горах белыми нитями. И чем выше, тем больше было этих «graves» (потоков), как их называют в Верхних Пиренеях.

Сен-Совер лежит по обеим сторонам крутобокой лощины, на дне которой бежит, то расширяясь, то суживаясь, весь в водоворотах, пене и блеске, гремучий Grave de Peau.

С чем сравнить этот горный пейзаж? Там, где он красив, — ему далеко до великолепной роскоши Кайшаурской долины и до миловидного, нарядного Крыма. Там, где он жуток, — его и сравнить нельзя с мрачной красотой Дарьяльского ущелья. Есть местами что-то, слегка похожее и на Ялту, и на Кавказский хребет, но... давно известно, что у нас было все лучше...

Несмотря на позднее время, я успел пробежаться по главной горной дороге от Люза до легкого железного моста через речку, построенного по желанию Наполеона III.

Меня поразило обилие воды. Она струится, плескается, журчит и скрежещет камнями повсюду: впереди вас, и сзади, над вашей головой, и под вашими ногами, бежит опрометью вдоль узких тротуаров, льется светлыми дугами из труб, белыми клокочущими, ярыми клубами бьет прямо из скал и с уступа на уступ падает в горах многоярусными водопадами.

Ночью я проснулся в своем гостиничном номере. Спросонья мне показалось, что на улице идет проливной дождь. Именно тот ливень, про который говорят: «разверзлись хляби небесные» и «льет, как из ведра». Я босиком пошел затворить окно. На небе было тихо и звездно. Облака спокойно окутывали вер-

шины гор. Ветер заснул. Но неумолчным шумом, ропотом, плеском, звонким говором полны были земля и воздух. Это — бежали горные воды.

* * *

Весь горный массив Пиренеев становится мало-помалу исполинским источником электрической энергии. Все эти быстрые реки, сотни говорливых речек, тысячи быстрых, звонких ручейков — все они представляют собой неистощимый запас белого угля. Их падение регулируется, их дикий разбег обуздывается системой каналов и шлюзов, их тяжесть и скорость, претворенные в электрические токи, уже дают свет городам и движение машинам. На каждом горном извороте вы увидите горное здание с надписью: «Электрическая станция». И из Пиренеев до Орлеана тянутся на шестьсот верст толстые металлические кабели, подвешенные десятками параллельных линий на массивных железных столбах.

И это всего лишь начало того грандиознейшего предприятия, думая о котором невольно проникаешься почтением к человеческому гению.

* * *

В России была не электрификация, а, с позволения сказать, электрофига, чтобы не приводить других наименований известной комбинации из пяти пальцев. Ее большевики сунули в нос Европе и своему косолапому, простому народишке одновременно с вавилонской башней Татлина и ленинским нужником из золота. Мало того, доводили наглость свою до того, что показывали успехи электрификации иностранцам. «Мы не богаты быстрой водой, — говорили они, — но вместо белого угля у нас непочатое богатство угля земляного, то есть торфа. Поглядите: вот — добывание торфа, а вот и электрическая станция». И показывали: налево стоит в меланхолической позе, по колено в болоте, мужичонка — в левой руке он держит заступ, а правой чешет под картузом затылок; а направо из деревянной хибарки торчит самоварная труба и из нее вьется и дрожит синеватый дымок от можжевельника.

Заманивали знатного иностранца в коровий хлев, где, действительно, в стене горела электрическая лампочка, едва освещая жалкую коровенку, облепленную грязью, с выпирающими маслаками, ростом не больше хорошего дога.

«Вы видите результаты? Через двадцать лет, ко времени всемирной революции, электрифицированная Россия будет богаче всех стран мира».

А коровенка, обернув назад свою тупую морду, точно хотела, но не могла сказать иностранцу: «Снаружи, в сене, спрятана батарейка Лекланше. Ее возят из деревни в деревню».

Эх! Какая уж тут электрификация, когда денег не хватает даже на пропаганду и поддержку чужих большевиков.

С того берега

Вот какое письмо мне принесли на днях из редакции «Русского времени». Оно без подписи. Но я только могу одобрить такую осторожность. Письмо вовсе не теряет своей убедительности оттого, что под ним вместо фамилии корреспондента стоит довольно широкое указание: «С того берега». Привожу его целиком:

«Милый, дорогой Куприн (для нас ваше имя мило и дорого) — я лишь недавно “оттуда”... и хочу вам сказать, что вашим именем советские волки искусно пользуются, чтобы разжечь страсти против вмешательства в русские дела. На деле же они боятся интервенции пуще всего на свете — война в России — их смерть, война вне России — их жизнь! А народ говорит: “Войною пришли — войною им и уйти”. Все эти ложные предлоги о том, “что прольется кровь”, — только подготовка отступательных позиций для тайных и явных друзей зиновьевской своры — разве ежедневно в России не льется кровь, разве ее не обескровливают систематически: каждый день там может быть последним днем!.. А здесь сентиментальничают “о пролитии крови”? А мы говорим там: откуда бы ни пришло спасение, какими бы руками ни произошло освобождение, только бы конец ежечасной муке!..»

Нет, мой дорогой безымянный друг. О крови надо говорить с величайшей опаской.

Интервенция — если таковую потребует судьба — будет направлена совсем не против народа русского и, в главном своем смысле, даже не против отдельных большевиков как объектов лакомой мести, а ради спасения огромной страны от рабства, нищенства, болезни, разрушения и окончательной государственной гибели. В этом великом деле каждая капля крови народной должна быть охранена бережно. Здесь никак нельзя маскировать страшную ответственность под легкомысленными оправданиями: «в драке волос не считают» или «не разбивши яиц, яичницу не состряпаешь».

Самая страшная сторона интервенции именно та, что она без насилия и пролития братской крови не обойдется. Кто же возьмет на себя установить меру и цену этой крови, когда большевики насильно погонят пулеметами русские полки умирать за блажную, нелепую доктрину и за их сатрапское существование?

Помню я, какая-то дама-писательница предложила однажды загадку (такую игру раньше очень любили у нас на семейных вечерах): «Едем мы на лодочке. Посредине я, а по бокам Ленин и Троцкий. И вдруг — ужасная буря, ураган! Втроем мы погибнем. Вдвоем, может быть, и спасемся. Спрашивается: кого я выброшу и кого оставлю?»

Здесь ответ ясен. Конечно, Ленин и Троцкий, не задумываясь ни на минуту, выбросили бы, как куренка, вопрошающую даму в море.

Вовсе не по примеру этой праздной дамы я ставлю себе и другим вопрос.

Вот — разбойник. На его совести сотни преступлений, за самое невиннейшее из которых он повинен лютой смертной казни. Он завладел моим домом, захватив и всех моих близких с целью грабежа, вымогательства, поругания и убийства. Уничтожить злодея — не только мой личный долг, но и обязанность перед обществом. Я вооружен. Но буду я или не буду стрелять, если разбойник вывел вперед моих — отца, мать, братьев и сестер — и сам заслонился ими?

Увы! Подобно даме, я дальше вопросительного знака не иду. Но и не отступаю. Интервенция только тогда может пройти наиболее успешно и бескровно, если большевики будут угрожаемы своим собственным тылом, то есть всей Россией. Этой-то угрозы они и боятся, потому что ясно видят сквозь общий страх общую ненависть к себе. (Так и в моем грубом примере я рассчитываю на то, что злодея схватят и обезвредят сзади.)

Но для того, чтобы интервенция не явилась новой бесплодной жертвой, мертворожденным предприятием, напрасным и безрезультатным кровопролитием, которое только укрепило бы силы и дух большевизма, — необходимо лишь одно-единственное условие.

Это — чтобы Россия ждала интервенцию и верила, что она несет за собою свободу, здоровье, мир, безопасность, равенство перед законом и правосудием.

Но для насаждения этой веры эмиграция пока еще мало работает. Все мы ждем среди нас людей, совмещающих в себе силу, мудрость и любовь. А что если окажется, в конце концов, что именно такие люди живут не здесь, а там, но живут пока с заткнутыми ртами и завязанными руками?

Осенний салон

Полторы тысячи полотен! Вообразим себе усердного, добросовестного посетителя, который, честно покрывая входную плату, решил посвятить на осмотр каждого номера выставки всего лишь *одну* минуту. Знаете, сколько в общем он употребит на это времени? Ровно двадцать пять часов: сутки с часом.

Полагая три часа как предельный срок, в течение которого возможно мотаться по музею или выставкам без особого вреда для ног, глаз и мозга, наш рачительный, но все же торопливый посетитель получит об осеннем салоне приблизительное, но случайное представление лишь после восьмого визита.

Приведенные мною цифры можно, в сущности, признать ничтожными, потому что перед некоторыми полотнами зритель может простоять четверть ча-

са и больше и отойти в полном недоумении: «Меня ли здесь дурачат? Я ли отстал от быстроты новых течений? Или оказалась негодной старая, крепкая формула: “Искусство может выбрать своим предметом и прекрасное, и ужасное, но никогда – отвратительное”».

Сравнительно с прошлым годом выставка находится в гораздо лучших условиях. Свет падает сверху – ровно, обильно, мягко. Нет прежней круговой путаницы с ответвлениями. Нет зловещих «угольных ям». Обойдя выставку по одной и по другой стороне, вы не пропустите (если захотите) ни одной картины. А в Гран-Пале приходится иногда взывать к помощи сторожа.

Но – увы! – тем назойливее лезут в глаза беспомощность, скудость, жалкая манерность, худосочие и золотуха современной живописи.

Я ходил и думал: «А что если бы на эту выставку каким-нибудь астральным или оккультным чудом вдруг проникли старинные, чудесные мастера. О, конечно, не в качестве экспонентов – их картины все равно были бы мгновенно и единодушно забракованы, – а просто так, незримыми зрителями, что, по мнению Кона́н Дойля, отнюдь не невозможно. Интересно было бы таким же четырехмерным путем ознакомиться с их впечатлениями.

Раньше всего они, конечно, сказали бы: “У этих молодых людей нет ни веры в Бога, ни уважения к искусству, ни простой вежливости к людям. Потомства с его воистину страшным судом для них не существует”.

А затем “незримые” перейдут к подробностям.

1. Очевидно, нынешние художники живут в темных подвалах, с окнами, выходящими в семиэтажные колодцы.

2. Всем им было некогда учиться и работать. Впрочем, это немудрено в теперешний сумасшедший, торопливый, оглушительный, мелькающий век.

3. Куда девалось прекрасное женское тело? Здесь на полотнах сплошная кунсткамера уродов. Откуда, из каких больниц и моргов собрали сюда все эти кривые ноги, вывихнутые руки, желтые, большие, вялые животы; зады, висящие бараньими курдюка-

ми?! Плоские бедра, вывернутые плечи, свинцовые лица, узкие тазы? Или красивые женщины стали прятать от современных художников свои цветущие, благословенные прелести? Наши натурщицы были и нашими любовницами. Поглядите на них: они во всех музеях мира. В наше время мир был переполнен красотою.

4. И как, должно быть, бедны эти несчастные молодые люди. Дойти до того, чтобы скупиться на краски, можно только в состоянии крайней голодной нищеты. Они кладут краски с такой экономией, что сквозь них – и даже не на свет – можно разглядеть всю нить полотна. И какой непрочный, жидкий холст! Какие жалкие, жухлые краски! Беднякам, вероятно, некогда самим приготовлять их? Да ведь и все равно – пишут они в расчете не на столетия, а на один счастливый денечек. Пишут не годами, а часами. Где уж тут думать о грунте или фоне! Ах, бедняги, бедняги! И горестно смотреть на их картины, и противно... Уйдем».

* * *

Но, конечно, это только общее, огульное впечатление. Среди мусора, среди рыночной стряпни, среди вопиющего безобразия, рассчитанного на скандал, и просто плоской бездарности все же глаз изредка отдыхает и на вещах, заключающих в себе и красоту, и ум, и правду, и благородный, возвышенный труд. Вот прекрасная голая купальщица у Боннара, приставленная, увы, к пестрому и непонятному телу. Площадь Сен-Мишель с розоватыми колоннами и зеленой бронзой Жюля Фландрена и его же Реббека. Фужита опять нарисовал мраморную, но живую женщину на ковре. Трогательно, наивно и прекрасно, чистым рисунком и в благочестивых тонах написано «Введение во храм» Андре Марре. Мил и сладок для глаза Анри Матисс; его картинки точно персидские миниатюры, показанные через лупу. Положительно хорош Пьер Нери в его пейзаже (Шебер). Замечателен натюрморт Валлотона. Этот швейцарский художник изобразил, с конечным совершенством, на темном фоне два предмета: химическую большую зеленоватую бутыль тонкого стекла, налитую до

половины, и рядом с ней тазик, так и горящий свеженачищенной желтой медью. Эта простая вещица — шедевр. Она бессмертна и по высокому мастерству недосягаема: в ней заключена какая-то особая тайна художника. Очень хороша у Валлотона также улица Рокандур.

Ван Донген выставил голову Аллы Назимовой (я, глядя издали, подумал, что это молодой Байрон). Белое с голубым. Сходство — как всегда у Ван Донгена — точное. Но избаловался фаворит: работа небрежна до распущенности — тяп-ляп.

Не сомневаюсь в том, что я многое ценное проглядел. К сожалению, я был не один. Со мной шел рядом один талантливый художник и ругал все картины, а это отвлекает внимание. Впрочем, бранились вслух очень многие, особенно пожилые дамы.

Теперь о русских художниках.

Н. С. Гончарова. На этот раз представилась она не с футуристическим, а с хорошим, настоящим, божеским пейзажем. Как приятно было бы надеяться, что этот большой, оригинальный, изящный и богатый талант пошел вновь по естественному пути, указанному художнице природой и личным изысканным вкусом.

Евгений Зак. О нем много говорят и пишут за последнее время. Странный живописец. В нем есть какая-то осенняя сквозьтуманная прелесть. По тонам его письмо похоже на детские переводные картинки — декалькомани, еще до переноса их на бумагу.

Григорий Глюкман. Спиною к публике женский манекен, забронированный черным лионским шелком — толстым, скрипучим, скользким и цепким. Фабрика и цены не указаны.

Константин Терешкович. Птенец футуристической высидки заговорил по-человечески и, право, совсем не заикаясь. Очень мила его кокетливая улица, вся в солнце и в тенях, веселая и нарядная. Другая картина — «Испанская женщина». Почему она со шпагой? Таких могучих бедер не видно было со времен Тициана. К тому же они обтянуты вплотную светлым трико, и даже глаз чувствует их стальную упругость. Я бы, на его месте, так назвал картину: «Бёдра».

Малявина я оставил нарочно под конец. О нем нового ничего нельзя сказать русской публике — так широко, прочно и определенно он ей знаком. Красное, оранжевое, пунцовое, малиновое, коричнево-красное, семчовое — и все это в пылающей восхитительной гармонии. У Малявина тоже свой таинственный секрет. Избирать краски, и их смешивать, и накладывать. Здесь область, где он одинок. Картина называется «Крик». Просто разбрелись две девки и третья — старая баба, ведьма, у которой из темного угла заднего плана видишь только ядовитый глаз да последний кривой зуб во рту. Почему орут — от веселья или злобы — не понять, да и не нужно понимать, не мужское это дело. Но так закричались, что левую девку даже в зевоту ударило. Публики здесь всегда полно. Только и слышно на разных языках: превосходно, чудесно, замечательно, поразительно и т.д., и т.д. С чем мы Ф.А. Малявина и поздравляем второпях.

Второпях потому, что по залам издали шествует толстый, добрый Левинсон и длинный, заостренный Шлетцер. Все картины сразу осунулись, побледнели и озябли. Ведь все-таки в каждой из них живет частица той души, которую в нее вдохнул художник.

Мы, дилетанты, уступаем поле профессионалам, старым жрецам.

О сплетнях

Сплетни — это слух о каком-либо живом или жившем лице, пущенный из ушей в уши и приобретший, благодаря неточностям устной передачи, преувеличенные размеры и искаженные формы. Сплетни весьма напоминают прогрессивное нагромождение катимого снежного шара. Русское слово «сплетня» гораздо выразительнее французского «les commerages». Там — живописно: беседа кумушек у воды или за чашкой кофе. У нас точнее: постоянное сплетение тонкой нити истины с нитями плохой памяти, дурного характера, игра воображения, тайного недоброжелательства, стремления поразить эффектом, что в результате — как продукт коллективного творчест-

ва – многоцветный узор, в котором порою совсем пропадает первоначальный мотив.

Наиболее живучи и плодущи сплетни в среде малокультурной, тесной, замкнутой в узкие границы совместной жизни или профессии. Скука является хорошим питательным бульоном сплетен. Больше сплетничают в маленьких провинциальных городишках, в тюрьмах, в монастырях, в эмигрантских кругах, партиях. Напрасно говорят, что женщина сплетничает охотнее и чаще, чем мужчина. И те, и другие занимаются этим с одинаковым усердием. Мужская работа даже солиднее и прочнее женской, как, впрочем, во всяком ремесле и искусстве. Чем выше, в интеллектуальном смысле, то общество, в сфере которого катятся сплетни, тем они тоньше, злее, ядовитее.

Сплетни всегда заключают в своем составе и клевету, и диффамацию. Но последние преследуются законом. Сплетни же безнаказанны и безответственны, ибо они по существу своему анонимны: до их родителей так же не доискаться, как до авторов пословиц и анекдотов. Если даже проследить течение сплетен в обратном порядке, от их полного разлива до истока, то вы никогда не найдете того пункта, где они теряют свой невинный вид и принимают гнусный облик, отнимающий у далекого, чужого, иногда даже умершего человека честь лица и имени. Так путешественник, совершив кругосветное путешествие с Запада на Восток, теряет один день... Где он его потерял – неизвестно. В каждой точке и нигде.

Как явление сплетни интересны тем, что подлежат не только наблюдению, но и опыту. Всем известна игра «телефон», весьма распространенная как забава на домашних вечеринках. Она состоит в том, что молодые особы обоих полов садятся в кружок: начинающий игру передает на ухо своему соседу какое-нибудь вымышленное известие, тот – другому, другой – следующему и т.д. Последний в очереди, слегка прикрасив от себя услышанное, объявляет его вслух, а после него первый игрок восстанавливает первоначальный текст. Иногда выходит забавно.

В тридцатых и сороковых годах светские баловники Петербурга развлекались иногда этой веселень-

кой игрой в чрезвычайно крупном масштабе и, к чести тогдашнего поколения, надо сказать, не задевая отдельных личностей. В четыре часа дня, в хорошую погоду, выходили двое таких шутников на Невский проспект, на солнечную его сторону, по которой в это время прогуливался весь видный Петербург, и, идя, скажем, от арки Главного штаба до Зимнего, останавливали самых болтливых из своих друзей, чтобы сообщить им самую свежую, самую нелепую новость, например: «Вчера в залу Сената, во время заседания, вбежал чей-то муругий гончий кобель, вскочил на стол и опрокинул чернильницу». Пройдя неторопливо весь проспект, они возвращались назад (час туда, час обратно) и уже ловили пущенный ими слух в расцвеченном, разукрашенном, махровом виде: «Откупщик Мурузи, уличенный комендантом Скобелевым в чернокнижье, был вызван в Синод, но его разбил паралич».

Очень жаль, что два явления, столь обычные в человеческой жизни, как сон, — вранье и сплетни, — до сих пор в своей природе и психике не исследованы при помощи научных методов... А надо сказать, что во всех трех есть общие, родственные черты.

У Шекспира Меркуцио (в «Ромео и Джульетте») говорит:

— Рассказывающие свои сны часто врут.

Вранье и лганье — близкая родня, и оба входят в существо сплетен: первое — не умышленно, по вдохновению, второе, хотя бы в слабейших оттенках, нарочно.

Сплетни, — если отбросить умышленные, злостные искажения, — проникают по тем же капризным, случайным путям, как сны, как и наши мысли, когда они не направлены усилием воли к определенной цели, а предоставлены самим себе. Звено за звено цепляются не по законам логики и правды, а по беззакониям созвучий, сближений, противоположностей, сходств, соседству образов, внезапному господству ничтожных мелочей и т.д. Для проверки этого наблюдения попробуйте вспомнить какой-нибудь ваш длинный сон по его этапам. Или еще лучше. Сядьте в метро на станции «Дофин», но без книжки, без собе-

седника и без нарочного плана мыслей, подъезжая к «Венсэн», поймайте самого себя: «О чем я сейчас думаю?» А когда поймали, попробуйте, идя задним, обратным, путем, добраться до самой первоначальной мысли (ведь *не думать* человек не может ни одной секунды). И вот вы с удивлением увидите, какими странными, причудливыми, ничтожными, воздушными мостами соединены острова ваших мыслей и как детски-случаен их ход и их возникновение. Так и сон, так и сплетни.

Врем и лжем мы походя, каждый день и каждую минуту. «Да, сударыня, вы хоть и мать, но правы. В вашем трехмесячном ребенке, действительно, видны зачатки гения». «Что вы, Иван Исидорович, восемьдесят лет? И это вы называете старостью? Да у вас совсем жениховский вид». «Наденька! Скажи ты ему, ради бога, что меня нет дома» — и т. д. Лгут и врут, сами этого не замечая, почтеннейшие, достойнейшие люди. Не помню, какой из английских юмористов написал рассказ о том, как некий молодой человек решился — на пари — говорить в течение *только* одного дня, но во всех, даже самых мелких случаях одну голую, прямую правду. К вечеру он подвел итог своим убыткам. Богатый дядя лишил наследства. Горячо любимая невеста отказала. Родители прокляли. Со службы выгнали. Кроме того, юноша успел побывать в тюрьме и в сумасшедшем доме.

Незаметно для себя мы и сплетничаем ежедневно, повторяя ближним слышанное от ближних о ближних и непроизвольно накладывая новые штрихи на пересказ. Но от лганья и вранья можно отстать, отучиться или хоть воздержаться в иных случаях. От сплетен — никак и никогда. Нельзя же не говорить о самом интересном — о живых и знакомых людях. А в этом-то прикрытии и заключается могущественная сила сплетен.

Я не знаю во всем свете ударов, равных по силе тем, которые наносят сплетни. Они способны отравить человека на всю жизнь и даже убить его — да, да, физически убить: всем кажется, что человек умер от того, что выстрелил себе в рот из нагана, а его, на самом деле, убили сплетни, переданные дружескими или даже любимыми устами.

Жил-был в революционном эмигрантском подполье бунтарь Петров, добрый и милый малый. Как-то назвали его имя в тайном собрании столпов зарубежной революции в связи с каким-то поручением средней важности. Один столп вдруг гмыкнул. Может быть, даже без всяких задних мыслей гмыкнул, так, просто откашлялся. Но на него обратились все взоры, и кто-то спросил:

— Вы что-нибудь имеете против Петрова, Афиноген Анкудимович?

Момент неловкости. Расплох. Спрошенный пожимает плечами:

— Я? Гм... Ничего.

Но это «ничего» вышло у него от внезапности немного фальшиво, ну, на самую чуточку, на одну восьмую тона, и главное, вышло совсем невольно. Это часто встречается в обычной жизни. А на следующий день другой из заседавших столпов в разговоре с видным членом о том же Петрове уронил небрежно:

— Ах, Петров? За ним ничего нет такого, но, знаете, как-то... все-таки...

А через неделю Петров, холодея от ужаса, заметил косые взгляды, враждебное молчание... руки, заложенные за спину. На восьмой день Евдокия Кукшина, всегда выпаливавшая правду в глаза, так ему прямо и брякнула при свидетелях:

— Почему? А потому, что вы провокатор. Служите в Третьем отделении, значитесь за полковником Поцелуй-Дубским и получаете содержание от парижских агентов охранки.

В течение двух месяцев Петров доискивался правды. Верховный Олимп был наглухо заперт железными засовами. 17 апреля 1889 года Петров кончил жизнь самоубийством. Тогда еще не было наганов. Он застрелился из паршивенького «лефоше» и долго мучился перед смертью.

Сплетни неуловимы и ненаказуемы. От них есть лишь одно средство, которое я укажу, в первую голову, в «Руководстве для эмигрантов», если, конечно, я когда-нибудь напишу эту книгу. Вот оно:

— То, что вы собираетесь рассказать теперь об Н., повторите ли вы то же самое в его присутствии?

Старый начетчик

Не понимаю, почему заслуженный статистик и старый народоволец Пешехонов явился вдруг истолкователем душ и сердец русского народа. Человек он почтенный, это несомненно, возраст его — возраст тишины и мудрости. Почему же вдруг такая самоуверенность в приговорах, выносимых им судьбам эмиграции и по ту сторону России?

Ну, Осоргина я еще понимаю. Молодой человек, лет тридцати трех, недурной наружности, свистун, весельчак и наездник (вернее — поддужный), кроме того, парень, не лишенный острого, хваткого, развязного таланта. Ему легко: ошибся, засмеялся, пожал плечами, и все прошло, поскакал дальше. Любимец публики, балованное дитя.

Пешехонов должен строго отвечать за свои слова. Ему бы, по совести, надлежало сознаться, положив руку на сердце:

— Ничего в этих делах я не смыслю, «старам стала, умом назад пошла». Всю жизнь провлачил в цифрах, в тюрьмах, в партийной конспирации и был засушен навеки между серых листов «Русского богатства», засушившего своевременно прекрасные таланты Глеба Успенского и Короленко, чтобы дать на исходе место жалкому Муйжелю. И не могу совсем разобраться в страшной катастрофе, отторгнувшей значительную часть моей родины в зарубежное изгнание и посеявшей ненависть между оставшимися и ушедшими. Могу только повторить вам слова Иоанна Богослова, говорившего в последние дни своего пребывания на острове Патмосе только четыре слова: «Дети, любите друг друга!..» Как бы красиво было!..

Но старичок Пешехонов, видимо, потерял где-то и совесть, и доброту, и меру, и чувство такта. Даже «Последние новости», даже «Дни» вежливо одергивают его.

— Почему я не эмигрировал? — спрашивает он самого себя и нас во всеуслышание.

Мы же отвечаем ему:

— Ваше дело, батюшка, отец Пешехонов. Это только ваше личное дело. Мы знали многих людей, кото-

рые могли бы эмигрировать, но не сделали этого из чувства любви к России и долга перед ней. И почти все они погибли ночью в смердных подвалах чрезвычаек, под гул заведенных моторов. Ваше же дело вовсе маленькое, и вопрос о нем не дороже орешка-пустышки.

Но Пешехонов возражает надрывным голосом.

— Я не эмигрант!.. Я был выслан!..

— Были высланы? Значит, были пощажены? Значит, все ваши дела, слова, мысли и писания не представляли из себя никакой опасности? Мы не смеем сказать, что большевики предвидели пользу в вашем пребывании среди эмигрантов: это было бы клеветой на чистый, знакомый нам ваш душевный образ. Но — просто — вы были для них свой. Крошечная разница в обряде, двуперстное сложение, сугубая Аллилуйя, хождение посолонь. Эта дружеская пощада, однако, делает скорее честь пощадившим, чем пощаженному.

И вот, точно чувствуя слабую сторону своей позиции, но боясь в этой слабости громко признаться, Пешехонов выкрикивает, совсем уж как театральный герой из крыжопольской драматической труппы в пьесе «Любовь, Тюрьма и Свобода!»:

— Я вернусь в Россию, чтобы снова рвать свои оковы!..

Опять-таки никому не горько и не сладко самогубительное стремление Пешехонова. Пострадать в самом жерле Се-Се-Серии. Правда, как смешно и неловко будет ему самому вторично оказаться прощенным и вторично высланным! Неприятная жертва, деревянный кинжал, картонные оковы, жест, не замеченный публикой!.. Но опять-таки все это личный каприз, истерический возглас!..

Тогда зачем же ему обзывать всех прочих эмигрантов расчетливыми трусами? Почти изменниками родины?

Подавляющая часть эмиграции, ее подлинно рабочая часть, знала настоящую жестокую борьбу с большевизмом, борьбу словом и оружием. За нею есть и войны, и заточение, и раны, и близость смерти, и издевательство кровавых шутов, и чувство мучитель-

ной истомы перед пробным, инсценированным расстрелом, и казнь близких... Зато у засушенного Пешехонова вовсе нет ни воображения, ни умения чувствовать за других. Стихийное сопротивление большевизму, оказанное Белой Армией и оказываемое до сих пор лучшей и большей частью эмиграции, он считает только контрреволюционными попытками с корыстными целями. «С большевизмом, — говорит он, — имеем право бороться только мы, их политические совопросники, и притом бороться в форме дискуссии — печатной и устной...»

Что может быть прекраснее свободного слова? Почтим и пешехоновскую свободу. Но наша обязанность указать на то, что Пешехонов, Кускова, Осоргин и К°, пользуясь этой свободой говорения, распространяют соблазн. И хуже всего то, что они соблазняют не слабых людей, а истосковавшихся горько по родине. Кто из нас не видит во сне родины? А тут предлагается легкий путь: отрекись от того, чему жертвовал жизнью, честью и мыслью, и тогда получишь паек в земном парадизе Москвы.

Липкая бумага

О возвращении в Россию пошли большие разговоры и накопилась увесистая литература. Появились термины «возвращенцы» и «возвращенчество». Кстати: каких только нелепых, неуклюжих и некрасивых кличек не давала русская интеллигенция носителям общественных идей: народовольцы, чернопередельцы, отзовисты, пораженцы, непротивленцы, мирнообновленцы, сменовеховцы, постепеновцы и даже накопиоты, выдуманные недавно А. Мягковым. (Не пустить ли в ход словечко «возвратителисты»?)

Надуманностью, временной самодельщиной, неуважением к слову пахнет от этих прозвищ, столь же бренных, как и вызвавшие их движения.

И какой странный характер — напряженный и искусственный — принял этот жгучий вопрос, требующий исключительной деликатности в его разрешении.

Еще недавно все обстояло просто. Налицо были: тоска по России и тяга к ней — вполне понятные и

уважительные чувства. Одни их высказывали на площади, с громким пафосом, другие таили в суровом молчании, с опущенными веками, третьи называли эти чувства зоологическими. Время от времени кто-нибудь, не выдержав ностальгии и эмигрантского бытия, уезжал на родину. Никто его не осуждал. Отправлялись домой порою целыми партиями — и не только из Европы, но даже из Америки. Все мы помним их письма «оттуда», исполненные горьким поздним сожалением; кончались они всегда тяжелыми словами: «Заклинаем вас, не следуйте нашему слепому безумию». Их раздевали на границе догола, отнимали вещи и деньги и, еще слава Богу если в адамовом костюме, ссылали в Нарым: людей с прошлым, выдавив из них полезные сведения, просто расстреливали.

Затем были придуманы систематические липкие бумажки. Первой мухоловкой для литературных мух была группа сменовеховцев. При ней состояли особые специалисты по загону на «тэнгль фут»: ловкий, циничный Ветлугин и восторженный, слюнявый Василевский. Заманивали они всех писателей-эмигрантов, но уловили лишь одну крупную шпанскую муху — бывшего графа Толстого. Журнал «Смена вех» предназначался служить как бы чистилищем, переходной ступенькой, подставочкой при падении. Но малоуспешность этого заведения вскоре надоела большевикам, и они его прикрыли, переведя руководителей на меньший паек.

Клубы возвращения оказались средством, действующим сильнее. В них все устроилось сразу на большевистский манер: простые, ядреные развлечения, неразборчивость в составе, пропаганда, идущая не к сердцу, а к желудку. Из клуба прямая дорога на Гренель. Признайся в нижайшей преданности советской власти, исповедуйся во всех прошлых прегрешениях, назови все имена и все адреса, которые знаешь, — и вот тебе в зубы бумажка с каиновой печатью. А съедят тебя или помилуют — это будет видно там, на месте. Во всяком случае, лишь долгим и тяжким путем рабской услужливости ты завоюешь право на минимум воздуха и хлеба и притом навеки — под надзором недреманного ока.

И сменовеховство, и клубы возвращения, и грубые зазывания «Парижского вестника» давно были расшифрованы и по достоинству оценены всей русской зарубежной печатью, без различия направлений и оттенков. Казалось бы, за этой чертой не было никакого места разногласиям. И вдруг точно свалились с неба две странные формулы.

Первая — кусковская:

Возвращаться могут и должны лишь люди, чуждые политике: они нужны для строительства России. Мы — политические изгнанники — останемся для дальнейшей непримиримой борьбы с большевизмом из заграницы, подобно Герцену, Бакунину, Кропоткину и другим, боровшимся с империализмом. Офицеры и солдаты, дравшиеся некогда с германцами и большевиками, отнюдь не могут оправдать свое пребывание в эмиграции политическими причинами, а потому, наравне с прочими, подлежат возвращению...

Ах, как легко на бумаге распоряжаться участью сотен тысяч живых людей! У нас всех еще в памяти первое рассеяние врангелевских солдат и беженцев в Константинополе и на островах. Не русские ли некоторые журналисты писали тогда, в назидание французским, что пребывание такого огромного количества военной силы, сгруппированной в одном месте, является опасной угрозой, а кормление значительной массы беженцев влечет-де громадные расходы? Но вспомнив эту — скажем — ошибку некоторых журналистов, вспомним и благородную настойчивость Врангеля. А что если однажды Франция найдет для себя обременительным оказывать дальнейший приют миллиону русских и начнет разрежать их количество? Коснется ли эта немилость политиков? А если для них будет сделано прямое исключение, то по каким признакам? Это уже не бумажное дело.

Вторая формула — пешехоновская:

«Идите в Россию все! Идите без всяких условий! Омойте себя слезами покаяния! Целуйте землю! Большевики совсем переродились! Их и узнать нельзя! Из волков стали овцами!»

Это — невинная истерия, в которую впал чистый, честный, но издерганный и истомившийся человек.

А печатное слово все-таки такая вещь, которая действует и пользуется большим влиянием на жизнь. Нельзя звать людей на убой ради журнальной позы, газетной полемики и расстройства нервов. Здесь слова ведут за собой кровь.

1926

Анатолий II

Это — клоун Анатолий Анатольевич Дуров, сын Анатолия I, знаменитого покойного русского клоуна. Мы не без основания обозначили здесь порядок рождения торжественными римскими цифрами. Давно известно, что лишь королям и клоунам принадлежит привилегия обращаться друг к другу, официально и интимно, со словами: «mon cousin»[1].

Нынешний, молодой, Дуров не унаследовал от отца ни его остроумия, ни находчивости на манеже, ни голосовых средств, ни изобретательности в репризах, которые уже давно стали ходячими местами повсюду на земном шаре, где существуют постоянные цирки или полотняные «шапито».

Скорее, он пошел по стопам своего дяди, и ныне живущего в Москве, Владимира.

Тот понимал животное и зверя. И животные его понимали. Но брал он свое зверье, уже дрессированным, в Гамбурге, от знаменитого Гагенбека, причем надо сказать, что в постоянном дрессинге поддерживала бессловесных сотрудников его неутомимая и талантливая жена Анна Игнатьевна. Однако опыты гипнотического внушения собакам у Владимира Дурова были поистине замечательны.

А. А. Дуров работает с животными, которых дрессирует он сам, с их младенческого возраста. Его правило: ни удара, ни крика, ни наказания. Конечно, прикормка имеет свое постоянное значение. Но главнейшим образом — ласка и разговор.

Его цирковые номера не отличаются большим внешним эффектом. Но знаток дела будет посещать сеансы Дурова во второй раз, в третий и десятый.

Совместить дружественные выступления перед публикой таких артистов, как, например, лису и пету-

[1] Здесь: «мой брат» *(фр.)*.

ха, кота и белых мышей, — это дано не всякому. Еще мудренее выдрессировать хорька и енота. Нам казалось, что хорек — единственное животное, об которого могут обломать зубы, руки и ноги все дрессировщики мира. Однако дуровский хорек целуется со своим хозяином, танцует на ковре какой-то нелепый верблюжий танец и бегает зигзагами между тоненькими столбиками. Енот, оказывается, непонятливее. «Только и умеет, болван, что стрелять из пистолета!» — с унынием говорит Дуров.

У Дурова есть еще олени-карлики, множество собак, мартышка Манго — необыкновенная умница, но, к сожалению, большая кокетка, и множество других млекопитающих и пернатых. Мечтает он, бедняга, купить шимпанзе, но — увы! — молодящиеся старики вогнали цену на этих благородных обезьян в десять тысяч франков. Как купишь? А жаль. Мы бы увидели знаменитого Морица, окончившим не приготовительную школу в Совдепии, а Кембриджский колледж.

На 1926 год

Как человек вежливый и осторожный, не желая обидеть ни Юлия Цезаря, ни папу Григория, я решил встретить мой новый год посредине обоих календарей. Ведь, в сущности, и то, и другое исчисление далеко от точности. Но в бесконечности времен — какая разница между тринадцатью днями и тринадцатью секундами? В особенности для нас, эмигрантов, у которых даже шеи удлинились вперед от долгого ожидания, а между тем шесть лет промелькнули как один день. Еще быстрее пробегают десятилетия в тюрьмах, где каждый день тянется с год.

* * *

1925 год был ознаменован в Париже тремя маниями: игрой в перекрестные слова (мо круазэ[1]), газетными анекдотами и жеванием смолки.

Увлечение «крестословицами» было воистину стихийным. В любом вагоне метро, в каждом трамвае и омнибусе вы могли наблюдать молодых людей обое-

[1] кроссворд *(фр.)*.

го пола с разграфленным в клеточку картоном на коленях, со словарем Ларусса под мышкой. Психиатрическая статистика отметила десятки случаев помешательства на почве разыскивания самых диковинных слов. Тристан Бернар – обладатель самого острого юмора, самой толстой фигуры и самой роскошной бороды в Париже – издал целую солидную книжку загадок на перекрещивающиеся слова. Наш талантливый собрат П. П. Потемкин собирается приступить к изданию ежедневного журнала, посвященного тому же полезному развлечению. Ваш покорный слуга, отдав самую краткую дань этому поветрию, пришел к убеждению, что множество коренных русских слов выпало из эмигрантского словаря, а подрастающее поколение не знает из них и десятой части. Такие, например, простые слова, как чичер, елань, оброт, гуж, суровец, полтретя, емкий, сноха, деверь, шурин, затор, прясли, застреха и т. п., оказались никому не известными.

Жевание хвойной смолки, занесенное в Париж, несомненно, северными американцами, для нас, русских, не новость. Почти все кондовые сибиряки, приезжавшие в Москву или Петербург, удивляли нас и немного смешили упорным, неизлечимым пристрастием к постоянному жеванию шариков из кедровой смолы. Если у какого-нибудь милого, широкого, кроткого сероглазого «чалдона» заболевали, наконец, скулы от беспрестанной мускульной работы, он вынимал изо рта свой катышек и прилеплял его под закраину стола, чтобы потом его, при надобности, нащупать. В хороших сибирских семьях такие запасные подстольные смолки считались общим достоянием.

Сибиряки уверяли, что жевание смолки дает зубам здоровье, челюстям силу, а желудку хорошее пищеварение. И проделывали они самый процесс жевания с серьезной и неторопливой степенностью. Совсем не то выходит у парижской мидинетки: она жует с торопливым, самозабвенным увлечением, делаясь похожей на белку, на козочку или на другое нежное, кроткое животное.

Анкеты производятся через опросные печатные листы, рассылаемые всем, чье имя хоть немножко на

слуху или на виду. Спрашивают о всякой всячине и часто в форме столь невразумительной, что ответить на нее можно лишь просьбой о растолковании вопроса. Спрашивают французы, немцы, итальянцы и русские и т. д. Нас, писателей, более всего преследовали вопросами:

1. Что вы написали в истекшем году?

2. Что вами приготовлено для наступающего?

3. Что думаете написать в новом году?

4. Кого считаете самым лучшим писателем: а) в мире, б) в Европе, в) во Франции, г) в России, д) в эмиграции.

Но незадолго перед новым годом запросы сделались еще затруднительнее. «Потрудитесь предсказать судьбу и события 1926 года, а также выскажите все ваши пожелания этому году, этой стране, этому государству, этой партии и этой газете».

Слуга покорный. Я совсем отказываюсь от роли предсказателя, считая это занятие и грешным, и шарлатанским. Можно, конечно, без ошибки предвидеть некоторые вещи. Например: что новый год займет собой время в триста шестьдесят пять дней с небольшим хвостиком; что в этом году будет изобретен новый газ неслыханной смертоносности; что во Франции произойдет по крайней мере одна перемена правительства; что войдет в моду хоть один новый танец. Но, относясь к будущему со всей широтою «возможного», отчего не допустить предположения, что наша планета-песчинка через месяц, сорвавшись со своего многовекового пути, не полетит сломя голову в бездну, не вспыхнет мгновенным огоньком и не погибнет вместе с астрономией, ядовитыми газами, правительствами, фокстротами и фокстерьерами?

А потому-то, воздерживаясь от пророчеств, я искренно желаю всем моим русским сотоварищам по эмиграции лишь одного: «Хоть один раз только сговориться нам всем не в делах разброда, недоверия и ненависти, а в добре и согласии».

А что касается до анкет, то они такое же невинное развлечение, как «мокруаз» и жеваная смолка. Правда, злой ум может приписать эту бесхитростную игру торговому расчету, желающему приобрести бесплат-

ный интересный материал и случайные крупные имена, а вместе с тем и лишний тираж. Но — фу! — что за недостойное подозрение. Ведь анкетами так мирно и умилительно балуются под праздник господа издатели, самые бескорыстные, самые нерасчетливые, самые добродушные люди в мире.

Белая горячка

Есть счастливые люди. Для них ясны самые запутанные мировые события. На пеструю, многосложную, всегда неожиданную в своих прихотях историю человечества они накладывают кальку, вычерченную теоретическими квадратами, и насильственно подчиняют хаос мировых событий высиженному в кабинетах закону. Они не знают ошибок.

Очевидную ошибку они замолчат и обойдут ее сторонкою, делая перед самим собой вид, что другие этой ошибки не заметили.

Так, теоретики, специалисты по революциям, решили уверенно, что нынешнее время есть самое благоприятное для переустройства мира на основаниях всеобщего материального равенства и социалистического рабства. И они как бы имеют некий внешний успех — правда, весьма временный.

Но они упорно отворачиваются от того простого наблюдения, что после угрожающих по своим размерам и жестокостям войн человечество живет в совершенно ненормальных условиях. Опившись до рвоты кровью, перенеся неслыханные душевные потрясения, оно находится в состоянии той невменяемости, в которую впадает человек, очнувшийся, после долгой, беспамятной пьяной оргии, в белой горячке. Он ходит, говорит, улыбается, но в глазах его безумие, нервы напряжены до последней степени. Мания величия у него сменяется манией преследования. Он склонен к галлюцинациям, к самоубийству, к неистовой религиозности и гнусному кощунству, к чрезмерной ласковости и к яростным припадкам гнева. Конечно, при умелом обращении ловкий, опытный злодей сможет заставить такого больного подписать любой вексель. Но какой же суд не признает это дей-

ствие вовлечением в невыгодную сделку, подлежащую расторжению?

* * *

Современное состояние Европы — это именно бред при нормальной температуре. Вот перед нею потрясающая картина России, доведенной войной и коммунистическим опытом до пределов рабства и обнищания. Казалось бы — страшный урок? Нет. Разорители великой страны едут в культурные государства, они приняты, их выслушивают, у них покупается краденое, окровавленное имущество — движимое и недвижимое. С собою они везут пропаганду и агитацию, смысл которых довести не только Европу, но и всю нашу планету до морального и вещественного оскудения. Их золото сеет вражду между классами, зажигает костры восстаний, питает в каждой стране врагов родины и мирного, творческого труда. И повсюду, вместо отпора, раздается лишь одно утешение: «Горит не у нас, а у соседа».

Франция, богатейшая из стран, идет к финансовому краху. В самом сердце ее, в Париже, поселяются отступники, взывающие нагло о помощи тому врагу, с которым отечество ведет войну. А Марокко — это хлеб, единственное, чего не хватает Франции. Бунт против правительства, против республиканской конституции хлещет своими грязными волнами до самых трибун палаты депутатов. Но зачинщики, но ораторы разрушения безнаказанны. В тот день, когда Франция уступит власть над собой социалистам, она начнет катиться все влево и влево. О, дай Бог, чтобы она не докатилась до русских идиллических дней современности! Да и, в конце концов, Франция всегда находила у себя тех твердых, сильных и трезвых людей, которые не теряли головы и воли во время болезненных кризисов.

Что творится в гордой, старой, самоуверенной Англии? Рабочие соглашаются на такой минимум работы и требуют такую высокую оплату своего труда, что частные предприниматели должны идти заранее на убыль и разорение. Не можете платить — социализируйте заводы и копи. А пока этот вопрос составля-

ет самое жгучее место государства, безработные получают субсидию. Да еще такую субсидию, которая позволяет им, ввиду высокой английской валюты, отдыхать летом на французских пляжах. Где же мудрость и сила старой, могучей Англии? А вчерашний каторжник, ныне повелитель ниспроверженной России, потирает руки в Кремле и злобно хихикает. И ведь всему миру известно, что в английских колониях он сеет ненависть к англичанам.

Все всё знают и робко молчат. А я только говорю, что если человек бредит, то любой негодяй обведет его вокруг пальца и вовлечет в чудовищные сделки. И когда же мир вытряхнет этот бред из своей похмельной головы?

«Условные рефлексы»

Создавая и развивая свою гениальную теорию «условных рефлексов», академик И. П. Павлов произвел множество замечательных лабораторных опытов. Один из них особенно сильно поразил наше воображение. Это — опыт, показывающий «относительную силу» центров, заведующих важными жизненными реакциями. Состоит же он вот в чем:

Собаке, стоящей в станке, пускается в одно из выбритых мест кожи сильный электрический ток. Животное, естественно, визжит и вырывается. Ему подносят в то же время пищу. Вначале собака к корму не притрагивается. Опыт повторяется много раз. Понемногу собака начинает с осторожностью принимать подачку. Вместе с тем у ней уменьшается оборонительная реакция.

Опыт повторяют ежедневно без перерывов. Наступает то время, когда ток не вызывает в животном протестующих движений и оно спокойно ест.

И вот, наконец, приходит долгожданный момент: ток вызывает возбужденное виляние хвоста; собака умильно взбирается туда, откуда обыкновенно подается пища; обильная слюна капает с морды. Судя по объективным признакам (дыхание, биение сердца), раздражение перестало быть болевым. Становится неоспоримым, что нервная энергия переключилась

из одного центра — защитного — в другой, более сильный — пищевой.

Одновременно с этими опытами над собакой в лаборатории И. П. Павлова идет необычайно интересное наблюдение над белыми мышами. Первое поколение этих милых зверьков было, после долгой дрессировки, приучено прибегать для кормежки по звонку. Второе поколение оказалось податливее, третье — еще более. И вот, наконец, тридцать пятое поколение прибежало, без всякого предварительного обучения, на первые звуки колокольчика.

* * *

Знаменитый ученый не делает из своих опытов никаких сближений или сопоставлений с суетой и беготней мира сего. Человеческие страсти, ненависть классов, борьба политиков — совершенно чужды его уму, устремленному в глубь и в высь вечного. Но нас, людей слишком земных и потому привыкших мыслить образами, замечательные опыты И. П. Павлова повергают в печаль и тревогу.

В самом деле, опыт над собакой, которая начала с того, что визжала и рвалась от боли, причиняемой током, и — голодная — отказывалась от пищи, а кончила тем, что, забывши про станок и про боль, виляла хвостом и, конечно, лизала руку экспериментатора, — ведь этот опыт был проделан большевиками в дьявольски огромном размере, причем лабораторией им служила целая треть земного шара.

1918 и 1919 годы не были неурожайными, но большевики умышленно создали эти проклятые условия, когда паек в осьмушку фунта скверного хлеба стал недосягаемой небесной радостью. Большевики знали, что в мире нет тиранов более безжалостных, чем еда и стремление к размножению, причем требования желудка гораздо повелительнее любовных зовов. С первого соблазна они и начали.

Когда люди, истощенные постоянным недоеданием, умирали сотнями в трамваях и на улицах, около стен и заборов, Троцкий сказал презрительно:

— Это вы называете голодом? Голод будет тогда, когда мать съест свое дитя.

Сам Сатана, несомненный пособник большевиков, послал России и это ужаснейшее испытание. Миллионы людей умерли от голода, и людоедство стало обычным явлением. Это неслыханное бедствие и привело большевистский опыт к блестящим результатам.

Собака потеряла защитные рефлексы. Человек духовно куда выше и богаче животного. У него, кроме инстинктов родины, чести, свободы, добра, религии, еды и любви, есть еще понятия о семье, сострадании. Все пошло насмарку перед голодными спазмами желудка. От сопротивления, которое оказывала Россия большевикам в первые времена узурпации ими власти, не осталось и следа. За ломоть хлеба стало возможным не только предаться коммунизму, но предать коммунистическому застенку самого близкого человека и, уж конечно, вытерпеть любое унижение, самое жесточайшее оскорбление, виляя хвостом и лижа руки владыки.

А когда наступили в России времена сравнительной сытости и высокие движения человеческой души оказались почти атрофированными, большевики приступили к широкому опыту над вторым могучим жизненным стимулом: над половым влечением. Начали они с венчания вокруг ракитового куста и с разрешения абортов...

Но не смеем мы винить несчастных русских людей. Нет воли, которая не погнулась бы при таких тлетворных опытах. Что делать! Скоро появится на свет и тридцать пятое поколение белых мышей!

P.S. Ссылки на теорию И.П.Павлова беру из статьи В.В.Драбовича в «Последних новостях».

У русских художников

I. С.А.СОРИН

Я люблю бывать в мастерской этого замечательного живописца. В ней нет ни ярких лоскутьев, небрежно разбросанных на полу и на мебели, ни леопардовых шкур, ни дикарских копий, ни парчи, ни железных

фонарей, ни медных кувшинов, ни фаянсовых черепков, ни прочей претенциозной рухляди, утомляющей глаз и рассеивающей внимание. Зато есть глубокая тишина, мягкий спокойный матовый свет и много воздуха. Мне кажется, в такой простой обстановке писали свои строгие картины средневековые художники-монахи.

И потом, разве можно сравнить те ощущения пестроты, беготни, тесноты, усталости, головной боли и отупения, которые испытываешь на художественных выставках, со спокойным созерцанием картины, наедине с нею, у нее дома, в том месте, где она была зачата и рождена?

* * *

В этот день я уже не застал двух портретов, знакомых мне по прежнему, давнишнему посещению: Н. И. Кованько и Льва Шестова. Я их видел одновременно, и меня тогда надолго заставила задуматься разница в психологических и в художественных подходах Сорина к двум столь различным сюжетам. Прекрасная звезда кинематографа, нервная и чувствительная артистка, живущая неправдоподобной жизнью экрана и ослепляемая дьявольским огнем прожекторов, царица толпы и ее раба. И рядом с нею, в коричнево-желтых тонах, — резко и сильно выписанная голова оригинальнейшего из современных философов — голова апостола Фомы, — умиленного и сомневающегося, страстно верящего и жаждущего полной веры через осязание... Эти портреты — два полюса. Чтобы их написать, надобна, кроме искусной кисти, проникающая и понимающая душа.

* * *

Уверенными, медленно-точными, привычными, чуть-чуть медвежьими движениями поворачивает Сорин мольберты и ставит на них картины в подрамниках. Это все материал для будущей весенней выставки. Художник мне ничего не объясняет, я не делаю ни вопросов, ни — упаси Аллах — замечаний. Так-то лучше.

Вот портрет балетной артистки (не классической) г-жи Н. О нем я слышал раньше, и при первом

же взгляде на полотно миллионный раз убеждаюсь в том, как узки и слепы мнения прохожих.

Говорили мне только о «дерзновенной» наготе. Да, наготы здесь много. На прелестной цветущей женщине одежды всего лишь коротенькая шелковая юбочка, гораздо выше колен. Весь ее торс обнажен; он худощав, гибок и силен; очертания груди девственны; тон тела нежно-розовый с серебристо-шелковыми бликами на ярко освещенных изгибах. Ноги поставлены широко и крепко, отчего коленные чашечки чуть вогнулись, потемнели, сморщились. Поза обыденная, домашняя, простая. А все вместе так естественно, целомудренно и чисто, что лишь профессиональному павиану захочется здесь зачмокать мокрыми губами...

А через дверь, на очень высоком мольберте, портрет женщины с гитарой. Она одета с величайшей скромностью: серо-синее платье и красный легкий шарф оставляют открытыми лишь голову и кисти рук. Но отчего же от ракурса ее головы, закинутой назад, склоненной и повороченной влево, от ее нетерпеливой улыбки, от жгучей тревоги ее глаз веет искушением, зовом и сладким грехом? Менада в современном приличном платье!

А вот чудесный портрет русской волжской женщины, в ситцевой розовой поношенной кофте, в юбке кирпичного цвета, с головой, плотно обвязанной белым полотенцем. Красива ли она? Нет, черты ее лица неправильны. Но в этом своеобразном, ни на какой собирательный образ не похожем лице, в изумительном рисунке бровей, в здоровой свежести щек, в спокойном и сильном взгляде, в золотом загаре рук есть больше, чем красота, есть та глубокая, ненаглядная и неизъяснимая прелесть, высшая, чем красота, — прелесть русской женщины.

И опять, как аккорд, взятый в новой тональности, захватывает внимание и волнует портрет молодой еврейской девушки. Цвет лица у нее бронзово-оливковый (не глядите на меня, что я опалена солнцем). Одежда груба, точно из верблюжьей рыжей шерсти, и перевита жестким темно-красным шарфом. А голова и глаза повернуты вправо как будто бы

с ожиданием, вопросом и предчувствием. Не так ли Рахиль смотрела на приближающегося Иакова перед тем, как дать ему напиться воды и напоить его верблюдов, что было предсказано Исааком.

Чудесен портрет молодой леди Керзон. Холеная, упругая, независимая голубоглазая англичанка. Очень хорош казак-инвалид — лицо крепкого и спокойного отшельника — в французской рясе.

II. Н.Л.АРОНСОН

Искусство ваяния всегда внушало мне чувство почтительного удивления, близкого, пожалуй, к священному ужасу. В самом деле, кто из художников был первым: тот ли, который вырезал на оленьей лопатке чудесную сцену охоты, или тот, кто вылепил из податливой глины подобие человека и зверя? И кроме того: живопись, музыка, зодчество, танец и слово на своих технических путях пользуются сотнями усовершенствованных приемов и средств, а ваяние и по сию пору так же первобытно, и просто, и наивно, как оно было десять тысяч лет назад. Материалом осталась та же глина. Орудиями — десять пальцев да какая-то жалкая щепочка. Что же касается камня, то стократно был мудр скульптор, обмолвившийся однажды великолепным словечком: «В каждом кусочке мрамора заключена прекрасная статуя; надо только убрать лишнее».

Не могу я без волнения созерцать процесс лепки, когда ваятель мнет, жмет, тискает, ковыряет, насилует огромный кусок сырой глины, вдавливая его в форму человеческой головы. Меня поражает смелость, почти дерзость ваятеля. Случалось ли вам видеть, как энергичная молодая мать моет своего пятилетнего ребенка? Вся его головенка в густой мыльной пене. Из широко разинутого рта несутся самые трагические вопли. Беспощадные материнские пальцы залезают разом и в глаза, и в уши, и в рот. Так и хочется крикнуть мучительнице: сударыня, нельзя же так зверски поступать с беззащитным младенцем! Но попробуй-ка скажи...

Друзья ваятели! Приравнивая ваши рабочие жесты к бесстрашным, но верным движениям материн-

ских пальцев, я делаю вам, может быть, самый изысканный комплимент изо всех, которые вы когда-либо слышали.

* * *

Мастерская Аронсона находится где-то на задворках тупика, впадающего в улицу Мэн. Огромное помещение состоит из двух соединенных ателье. Свет, льющийся сверху, так мягок, ровен и чист, что глаза с удовольствием ощупывают приятную выпуклость каждого предмета. Как много человеческих фигур, созданных из мрамора, лабрадора, дикого камня, порфира. Как здесь тихо, просторно и торжественно. Говорят, что жутко ночевать в церкви. Я бы не смог заснуть в мастерской скульптора. Что, а вдруг если все эти каменные люди начнут жить своей, какой-то особенной, таинственной жизнью? Во всяком случае, порог мастерской ваятеля я всегда переступаю с обнаженной головой.

Тонкая, нежная, как пшеничная мука, лежит пыль мрамора кое-где на полу, на выступах глыбы, на постаментах. И не она ли – кажется мне – так осеребрила пышную гриву милого хозяина ателье? Прошло два года, как мы не виделись. Нет. Это время так заботливо и терпеливо пудрит нас каждый день белой пудрой. Но глаза Аронсона по-прежнему живы и блестящи, крепко, широко и подвижно его широкое, ладное тело, и сам он все тот же неугомонный мечтатель, мечтающий каменными образами.

* * *

Многое, что я видел в мой прошлый приход, уплыло из мастерской за океан, через Ла-Манш и в музеи. Но кое-что осталось, и со странной радостью вижу я старых знакомых. Некоторые из них необыкновенно выросли за это время. Например, была бесформенная серая груда мрамора, и из нее едва-едва начинал вырисовываться, выдираться, выкарабкиваться смутный зародыш детской фигуры. Теперь это тринадцатилетний еврейский мальчик. Он впервые надел молитвенную одежду и ремешком укрепил на лбу крошечную коробочку со священными письме-

нами. Он уже полноправный член общины, человек, могущий по закону Моисееву вступить в брак и достаточно наученный, чтобы участвовать в богослужении, словом — муж разума и совести. И не потому ли в сознании великой ответственности так глубоко задумчиво и сурово его еще детское лицо?

А вот почти совсем новое для меня. Юная пара. Мальчик и девочка. Сверстники. Оба целомудренно наги. Им лет по четырнадцати-пятнадцати. Не видались они, должно быть, на протяжении длинных летних каникул. Четыре месяца! Миг для мальчугана огромный, страшный период для девочки, ставшей девушкой. Встретились. Он для нее так и останется шершавым, грубоватым, но милым мальчиком, забиякой, дергавшим ее когда-то за косички, сотоварищем по играм. Она же для него — совсем новое, совсем непонятное существо. Откуда эти новые формы тела, откуда эта стыдливость и этот взгляд свысока? Куда девалась прежняя беззаботность в играх? Почему невольно хочется говорить ей «вы»?

* * *

Подходим к главному. И мне не терпится поглядеть на Ленина, да и художник раза два-три, будто вскользь, упомянул об этой новой работе. Ловкими, точными движениями освобождает он массивный бюст из-под влажных тряпок и... опять-таки мне вспоминается заботливая мать, переменяющая у младенца мокренькие пеленки.

О нет, это совсем не шутки — укутать глиняный образ (чтобы он не сох) и раскутать его. У каждого скульптора здесь есть свои собственные мелочные особенности, подобные тембру голоса или почерку: по ним ваятель всегда узнает, если к его работе прикоснулась чужая, нескромная рука.

Вот и Ленин, вылепленный из слабо-зеленоватого пластилина. Это, несомненно, он. Именно таким я и видел его однажды, глядя не по поверхности, а вглубь. Правда, преувеличены размеры его головы, как преувеличены его алгебраическая воля, его холодная злоба, его машинный ум, его бесконечное презрение к спасаемому им человечеству и полное

отсутствие милых, прелестных человеческих чувств, подаривших миру и поэзию, и музыку, и любовь, и патриотизм, и геройство.

Голова Ленина совсем голая. Череп, как купол, и видно, как под тонкой натянутой кожей разошлись от невероятного напряжения больного мозга черепные швы. Рот чересчур массивен, но это рот яростного оратора.

Громадная, вдумчивая работа. Но я — косоглазый. Одновременно с бюстом Ленина я вижу висящий на стене давешний горельефный портрет Пастера. Там тоже человек, настойчиво углубленный в мысль. Но суровое лицо его прекрасно, и внутренний благой смысл его будет ясен каждому дикарю. Впрочем, и Ленин будет ему ясен. Как же не различить разрушение от созидания?

III. Б.А.СТАРЕВИЧ

В Фонтеней-под-Лесом в чистенькой игрушечной вилле живет один волшебник.

Всем известно, что волшебники бывают добрые и злые и что, кроме того, каждый из них владеет своим особым, специальным колдовством. Так вот, рекомендую: волшебник этот — Бронислав Александрович Старевич, творец самого интересного, самого милого, самого доброго и самого оригинального кинематографа на свете.

В своем киноискусстве Старевич — все.

Он сочиняет или выбирает сюжеты; он составляет синопсис и подробный сценарий, он метрансцен, режиссер, декоратор, оператор, машинист, костюмер и заведующий световыми эффектами; он сам придумывает своих артистов, создает их из глины, дерева, железа, тряпок, перьев, картона, клея, пружин и, наконец, вдохнув в них, подобно Пигмалиону, жизнь, заставляет их, по своему усмотрению, двигаться, думать и чувствовать. Спрашивается: какой директор театра, какой талантливый режиссер или какой великий актер обладал такой совершенной полнотой сценической воли и власти?

Впрочем, оговорка. В этой изумительной группе есть одно лицо, одушевленное одиннадцать лет назад, при своем рождении, нашим общим Великим Хозяином. Это Ниночка Старевич, Звезда и Красная Строка Фонтенейского синема. Отличается она от взрослых взаправдушных звезд только лишь простотой, скромностью, приветливостью, правдивостью, отсутствием честолюбия, бескорыстием и непосредственной детской прелестью: разница, как видите, совсем пустяшная.

Мы в ателье. Крошечная комнатка. Мягкие кресла. Перед нами серебряно-бело-серый экран — не более метра в длину, немного короче в ширину. Сзади нас в стене вырезано квадратное малое отверстие, за ним что-то таинственное шипит. Закрываются портьеры. Минутная темнота. Вдруг экран озаряется, точно внутренним светом, растаивает, и на его бывшем месте начинается причудливая жизнь.

Первая картина, которую нам показывают, — «Соловей». Она получила большую золотую медаль в Америке, на кинематографической выставке. Ее уже одна американская фирма взяла в аренду на два года. Предлагали на десять, но Старевич настоял на укорочении срока.

Сюжет ясен и прост до последних пределов, но в этом и достоинство его, и обаятельность, особенно после тех «чудес-достижений», от которых стало мучиться зрение в современном синема.

Старый, заброшенный, весь проросший плющом сад. Серая, изъеденная временем мраморная урна на пьедестале. В этот тихонький укромный уголок любит прилетать соловей. Сядет на ветку, оглядывается, охорашивается, потом запоет. Но ведь как поет! Ваш покорный слуга, будучи молодым офицером лет двадцати двух, однажды задумался и засиделся весенним утром на волочисском кладбище, где так тесно разрослись сирень, шиповник, жимолость и бузина. И вот, также прилетел соловей, также покачался на ветке, в двух аршинах расстояния, и также запел, поднимая самозабвенно кверху головку, расширяя крылья и трепеща ими. Я долго не хотел верить тому, что соловей Старевича искусственный, и поверил

лишь тогда, когда мне его показали. Это показывает, до какой степени остро, метко и верно наблюдал художник все мельчайшие движения птицы и с каким невероятным терпением они запечатлены на экране.

Прилетает к серому королю певцов его скромная подружка, но она на втором плане. Это он, обладатель несравненного бельканто, привлекает все напряженное внимание Ниночки, которая украдкою, из-за кустов, слушает его чудесные рулады. Ах, хорошо бы этого соловья в клетку да в комнату!

И желание девочки исполняется. Коварная дорожка из вкусной приманки ведет к старинному проволочному ящику. Птичке и страшно, и соблазнительно. Недоверие, колебание... но аппетит пересиливает. Соловей уже в клетке. Хлоп, щелкнул деревянный тугой запор. Птичка в западне.

Прибегает Ниночка. Сначала ей померещилось, что попалась большая серая крыса (да и нам, публике — тоже). Испуг и отвращение. «Ах, ведь это соловей. Какая радость! Милый соловей, ты теперь будешь жить в большой серебряной клетке и ты будешь кушать самые отборные лакомства!»

Наступила ночь. Клетка с соловьем висит на окне. Нина спит в своей постельке. Безмятежная улыбка на милом личике. Снятся, должно быть, сладкие сны. Но почему вдруг омрачился лоб, дрогнули губки, почему на лице жалость, печаль, сострадание? Та же мраморная урна. Прилетает знакомая, вторая, птичка. Глядит туда, сюда, ищет, тревожится, суетится, недоумевает. Помните, в старинной песенке начала прошлого столетия:

Ее миленький дружочек
Улетел от друга прочь.

Конец ясен. Проснулась Ниночка, вспомнила сон, вышла с клеткой в сад. Повздыхала, повздыхала (кто тут не вздохнет!) и широко открыла дверцу соловью. Порх — и нет его. И опять качается на ветке над водой, и поет, и по горлышку его, под кожей, надувается и ходит комочек.

Я потом когда-нибудь расскажу о других прекрасных, полных жизни, юмора пьесах Старевича — сей-

час мало места. Но с неотрывным вниманием, с неиссякающим интересом я смотрел развертывающиеся передо мной картины: «Лягушки, просящие у Зевса царя» и «Война всех добрых насекомых против зловредных пауков с участием на стороне вторых храброго вороненка». Пусть действующие лица — птицы, жуки, муравьи, лягушки, а румяный и седой Зевс сделан из тарлатана и ваты: их жизнь не менее, если не более, правдоподобна, чем «сильно-психологические переживания» артистов взрослого синема.

Но работа Старевича мне кажется прекрасной по любви, которая в нее вложена, и непостижимой по ее кропотливости. Десятки фигур, и движение каждой из них прослежено и проверено на каждый миллиметр.

Конец сеанса. Все герои лежат рядом со мною на рабочем столике в живописном беспорядке и притворяются, что спят. А Ниночка у себя наверху растянулась на ковре, голова уткнута в ладони, и читает книжку. Терпеть не может стульев. Б. А. провожает нас — А. И. Филиппова и меня — до вокзала. Воздух чист вечером, и в нем пахнет наступающей весной.

Гибель Николаевска-на-Амуре

Страшная и правдивая книга эта написана А. Я. Гутманом (Анатолий Ган). Я прочитал ее с волнением и ужасом и вот до сих пор нахожусь в недоумении: почему она сразу не обратила на себя самого пристального, самого страстного, самого негодующего внимания русского общества.

Книгу свою талантливый журналист начинает с трогательного посвящения: «Памяти в борьбе за Родину на далекой окраине мученически погибших русских людей автор благоговейно посвящает свой труд».

И надо сказать, что книга его вполне достойна высокого посвящения. Вся она основана не только на личных впечатлениях, но, главнейшим образом, на документах и на свидетельских показаниях сотен несчастных очевидцев. Здесь правда не сгущена, а, скорее, ослаблена, потому что в том бешенстве и бес-

стыдстве, до которого может дойти разнузданный и безнаказанный человек, испускающий «крик мести народной», есть такие пределы мерзости, каких не в силах вытерпеть даже твердая бумага судейского протокола.

Вот что говорит скромная резолюция Сахалинского областного съезда, обратившегося в количестве 71 члена с заявлением ко всему населению Государства Российского:

«Сахалинская область управлялась именем Российской Социалистической Федеративной Республики в течение 3 месяцев, с 1 марта по 2 июня 1920 года. В этот промежуток времени представители советской власти в Сахалинской области расстреляли, закололи, зарезали, утопили и засекли шомполами и резинами всех офицеров, за исключением одного, случайно спасшегося подполковника Григорьева, громаднейшую часть интеллигенции, много рабочих и крестьян, женщин, детей и младенцев, уничтожили всю, без исключения, японскую колонию, с японским консулом и экспедиционным отрядом, совершив над японскими женщинами и детьми различные зверства, свойственные диким людям. Сожгли весь город Николаевск, каменные здания взорвали. Уцелело только несколько домов мелких, расположенных по окраинам города. Сожгли и уничтожили все портовые здания, пристани и портовое имущество. Все катера морского и полуморского типа взорвали и потопили. Взорвали пристань вместе с находившимся на ней народом, искавшим спасения от огня, пожиравшего город. Сожгли и уничтожили ряд оборудованных рыбопромышленных предприятий, расположенных в лимане Амура и по берегам последнего. Сожгли несколько крестьянских селений, совершенно уничтожили ряд оборудованных золотопромышленных предприятий. Насиловали арестованных женщин и девушек. Надругались над священными предметами всех религий.

Женщин, детей и часть мужчин, не успевших скрыться в тайгу и оставшихся в живых от избиения в Николаевске, в количестве до пяти тысяч увели на Керби и Аргунь, по дороге куда детей приюта сброси-

ли с барж в Амур. Часть увезенных в Керби и Аргунь умертвили. По официальному заявлению сахалинской власти советов, находящихся на Керби, помещенному в газете "Красный клич" от 11 июля 1920 года за номером 27, советской властью уничтожена половина населения области. Насилия, убийства и издевательства со стороны поборников и агентов советской власти были прекращены прибытием в Николаевский район японских войск.

Область буквально разорена. Продукты питания, обувь и одежда отсутствуют».

Но показания отдельных лиц — сплошная жуть.

«Расстрелянных и убитых везли на санях на свалку, причем среди мертвых были и еще живые. Двое, моторист порта Прутков и юнкер Адамович, очнулись на свалке и прибрели в город. Пруткову удалось спастись, юнкер же Адамович был поднят и отнесен в лазарет, где ему сделали перевязку, у него было 26 ран, а затем, по распоряжению Тряпицына, которому сообщили об этом, он был выведен и расстрелян» (показание Е. И. Василевского, податного инспектора).

«Нина Лебедева (Кияшко) обещала китайцам жен офицеров. В городе ходили слухи, да и партизаны говорили, что был проект выдать китайцам мандаты на всех женщин, у которых убиты мужья, но не был осуществлен, потому что запротестовал китайский консул. Но была устроена лотерея, на которой разыгрывались женщины» (Анна Николаевна Божко).

«Тряпицын подступил к Николаевску с лозунгами: "Перебить офицерство, буржуазию, еврейство"» (А. Н. Божко).

Когда нашли труп владелицы шхуны Назаровой, у нее к рукам и ногам были привязаны дети. Три из детских телец держались, четвертое — сорвалось. На одной руке женщины был узел, указывающий на то, что и к нему был привязан ребенок.

Японцы нашли труп беременной женщины, у которой в разрезы на животе вытащены руки и ноги младенца.

«Столько выстрадать, столько пережить. У того зарезано восемь душ детей, у другого — пять, у третье-

го на глазах закололи жену и отрубили голову трехлетнему сыну» (Чиликин).

А еще дальше — медицинский акт, составленный по поводу нахождения женских трупов, плывших по реке Аргуни. Я не осмеливаюсь цитировать здесь извлечения из этой официальной бумаги. Это такое гнусное надругательство над женским телом, живым и мертвым, которое не придет в голову даже самому дьяволу в образе павиана. Что же? И это также — крик мести народной?

К книге приложены фотографические портреты главных руководителей, создателей пролетарского эдема в Николаевске: Тряпицына, Нины Кияшко, Будрина, Дед-Пономарева, Лапты и других членов красного штаба. Когда вечером, в тишине, при свете лампы долго и пристально приглядываешься к этим лицам и как бы проникаешь за их телесную оболочку, то во рту начинаешь ощущать то кислое, тягучее раздражение, которое предшествует обмороку.

И опять страшно становится, когда подумаешь, что в каждой губернии русской и сибирской, в каждом уездном городишке и посаде были свои Тряпицыны и свои Нины Кияшко, а таких Чухлом и Николаевсков было у нас десятки тысяч, да когда помножишь это число на число жертв — убитых, замученных, поруганных, оплеванных, — то воистину спрашиваешь себя:

Так это вот и есть завоевания революции? Это и есть священный гнев народа? И наконец, разве такие же бредовые картины не могут повториться с буквальной точностью при новом грозовом ветре? Нет, госпожа Кускова, поезжайте-ка вы одна в СССР, а других не маните. Вам, как родственнице, многое там сойдет и простится. А слабых всегда будет ожидать двойной расстрел юнкера Адамовича. Мы же останемся и не простим.

Не по месту

Прошлый месяц был для меня месяцем невеселых газетных сюрпризов. Красная пресса обратила на меня внимание совсем особого характера.

Прежде красные газеты, все равно — по поводу или без повода, называли меня наемником Антанты, прислужником капитализма, певцом белогвардейщины и т.д., и т.д. Все это было, конечно, в общеупотребительном порядке слов, фраз и понятий, и я не тревожился.

Теперь началось нечто новое, послышался какой-то иной камертон.

Георгий Устинов в «Красной правде» удивляется и очень искренно: почему я здесь, в эмиграции, а не там, в СССР, почему я с акулами империализма, а не с истинными друзьями народа? Мои-де прежние сочинения и до сих пор могут идти рядом со специально-красной литературой нынешних дней.

А в «Бегемоте» Воинов, изругав в стихотворной форме, всех талантливых русских писателей, выкинутых мутными волнами революции за границу, вдруг посвящает мне две заключительные, жалостные строчки:

...Но Александра Куприна
И до сих пор до боли жалко.

Не буду приводить других подобных мелочей, а также и частных писем (тоже от литераторов). Но только думается мне, что это новая тактика: такой ласковый подход был их вернейшим средством для возбуждения внутренней ссоры между нынешними писателями, живущими в большой тесноте, нужде и ревности. Ведь это было уже на моей памяти, когда эмигрант срока 1918 года встречал эмигранта срока 1919 года подозрительным взглядом искоса и зловещим закулисным шепотом: «Сумел, однако, ловкач служить у большевиков целый год!»

И по поводу вышеприведенных их лирических вздохов я услышал на днях от одного литератора чрезмерно-дружескую сентенцию: «Ведь вы в свое время так много страстно говорили о язвах и болячках старого строя».

Вот тут-то мне и надо объясниться, я заранее прошу прощения у моих снисходительных читателей в том, что буду говорить о себе.

Я шел часто поперек старому царственному режиму, хотя с брезгливостью сторонился всяких партий.

Моим душевным инстинктом всегда было стремление идти против большинства и силы, которые оба мне всегда представлялись неправыми. Судьба дала мне возможность видеть очень многое в течение моей пестрой жизни: артистов, рыбаков, плотников, мужиков, ямщиков, босяков, монахов и так далее без конца. Но моими общениями всегда руководила любовь к каждому отдельному человеку и еще большая любовь к моей чудесной родине. Я ссорился с русским правительством только потому, что в корне своем оно было здорово и мощно. И я отвечал за свои дерзкие слова, по крайней мере, своею личной свободой, если не собственной жизнью.

Война с Германией мгновенно остановила мое, в сущности, невинное будирование. Дрязги и перекоры, неизбежные, увы, в каждой семье, вылетели из моего сердца и ума, как жалкий сор, лишний и вредный во время пожара. Насколько позволяли мне мои физические силы, я служил в русской армии и русской армии.

1914–1915 годы — 323-я дружина в Гельсингфорсе, а в то же время лазарет в моем гатчинском доме; в 1916-м — Земгор в Киеве (разочаровался); в 1917–1918-м — авиационная школа в Гатчине. В 1919-м я вступил в ряды славной, незабвенной Северо-Западной армии, где вместе с генералом П. Н. Красновым вел прифронтовую газету во все дни великолепного наступления на Петербург и сказочно-героического отступления.

Эта газетная служба Родине и Армии началась для меня с последних февральских дней 1917 года, когда (еще до отречения государя) гельсингфорсские матросы и солдаты, под водительством чухонского адмирала Максимова, стали резать, вешать, ошпаривать кипятком и сплавлять живьем в проруби доблестных офицеров армии и флота. Тогда-то я впервые услышал лозунг похабной революции: «Попили нашей кровушки! Будя!» И ее девиз: «Матерное слово!»

Брестский договор укрепил меня в том железном мнении, что война с большевиками есть логическое продолжение войны с немцами во имя возвращения России славы, здоровья и спокойствия. В этом смыс-

ле я сам перед своей совестью принял присягу, которой не изменю до конца дней моих ни ради лести, ни корысти, ни благ земных, ни родства, ни соблазна умереть на родине.

Теперь видите ли вы, мои потусторонние печальники, как тщетны для меня ваши ласковые слова? И вы, корящие меня тем, что в прежнем счастливом житии я был подобен «птице, марающей свое гнездо».

Поймете ли вы, каким тяжелым путем я дошел до моей непримиримости?

Sic! Sic!

Я от души желаю Зарубежному съезду всяческих успехов в смысле взаимного согласия, уважения, терпения к ошибкам, уступчивости и, главное, полного понимания громадности предстоящей ему работы. Странный и старинный человек, я еще верю в чудеса и, стало быть, верю в возможность внезапного наития благого духа на собрание избранных людей, объединенных единою, высокой и чистой целью. А что же может быть святее дружного стремления освободить родину и дать ей новую привольную жизнь на основе широкой справедливости?

Мне немножко стыдно того, что я до сих пор так мало интересовался съездом. До того мало, что, когда меня в конце прошлого месяца два почтенных и мною весьма уважаемых лица пригласили к участию в делах Зарубежного съезда, дабы служить разновеской в перевесе левого блока над ультрафиолетовым архимонархизмом, — в этот миг, по своей наивности, рассеянности и полной политической безграмотности, я был твердо убежден, что съезд крепко существует уже в продолжение полугода. Ну, какой же я, к черту, политик?

Узнав из утренних газет о том, что я значусь в числе кандидатов в представители, я растерялся от неожиданности. Выражаясь языком прежних славных беллетристов, «кровь оледенела в моих жилах». Я тотчас же бросился к телефону и мотался на нем около трех часов. Бесполезно! Я оказался выдвинутым в кандидаты партией беспартийных. Уверения мои в

том, что я не политик и не общественный деятель, мольбы мои о снятии моего имени со списка не помогли. Заведующий вечерним выпуском сказал мне: мы получили известие от комитета, предваряющего съезд, и никакие ваши отказы и поправки недействительны.

У меня вздыбились волосы на голове. В обществе пяти человек я уже теряю дар самой простой человеческой речи. Кроме того, я всегда считал себя тем киплинговским диким котом, который ходил всегда сам по себе по диким лесам и махал диким хвостом. Всякая власть, даже самая легкая, всегда теснила меня, паче же всего презирал я анархистов. И вдруг — клетка.

К счастью, через день узнал я, что голоса разбились и я только выборщик. Ах, это утро отмечено мною жирным красным шрифтом в календаре всей моей будущей жизни.

Но зато уж теперь я буду следить за заседаниями и делами съезда с неутомимым вниманием, не пропуская ни малейшей мелочи и служа ему по мере сил.

Кстати: вот и первая услуга. Это — из слышанного, но достоверного.

Один мой друг подошел в день открытия съезда к американцу, который, в клетчатом костюме, с золотой папироской в платиновых зубах, сидел и внимательно прислушивался, перекинув ногу через ногу.

Приятель мой приблизился к нему и спросил по-английски: сэр, ваше впечатление?

Тот вдруг сказал по-русски:

— Жду, когда начнется дело.

Американец этот оказался миллиардером...

Sic!

Насмарку

Съезд разъехался, и у всех русских, волею или неволею расползшихся после большевистского погрома по всей поверхности земного шара, осталось в памяти и в душе сумбурное впечатление от всего сказанного и сделанного их делегатами на парижском собрании.

Сказано было слов очень много. Но у нас, у русских, так уж устроен говорильный аппарат, что произносить речь мы можем только в форме периодов, похожих на игрушечные вкладные разноцветные яйца. Открывается большое красное яйцо, в нем заключено второе, поменьше, синее, в этом синем — еще меньше, зеленое, желтое, белое, оранжевое и т.д., пока в конце концов не доберешься до величины неделимой, до шарика величиной с заячью картечину. Этот шарик и есть та новая блестящая мысль, которая послужит к восстановлению новой России, то универсальное средство, вроде порошка Арагаца, которое истребит большевиков.

Невыносимо скучны бывают эти бесконечные, вялые, ватные периоды для терпеливого слушателя. Они становятся прямо мучительными в те минуты, когда самодельный оратор потеряет порядок мыслей и тщетно тщится связать их обрывочки, причем во время длинной паузы мычит, жует губами, нервно чешет висок, безнадежно пьет воду и роется в обрывках бумажек, ловя их на столе и под столом. Ах, когда же мы научимся говорить силлогизмами, афоризмами, парадоксами, максимами или хоть включать наше слово в образы и сравнения. Есть, правда, специалисты, умеющие говорить безостановочно, громко, с пафосом и с размашистыми жестами. Но прочтите его речь в стенограмме: в ней нет и заячьей дробинки: пустота.

Были ли у съезда заранее определены цели и планы? Как будто бы нет. Съехаться, высказаться, поспорить в пределах джентльменской этики, ознакомиться с мнениями и чаяниями на местах, наконец, объединиться для общего великого дела... да дальше?

Слова, слова... И сам съезд почувствовал вскоре, что ему грозит перспектива повиснуть без точки опоры в пространстве, наполненном невесомыми и безответственными словами. Тогда-то и выплыли два решения: возглавление над съездом высокого имени великого князя Николая Николаевича и учреждение постоянного органа Зарубежного съезда.

Первое решение, как нам кажется, вышло несколько вразрез с умеренными, терпимыми и широ-

кими мнениями, высказанными раньше великим князем, который ясно сказал, что он готов отдать все свои силы на служение заболевшей родине, когда народ позовет его. Так же твердо отказался наперед великий князь и от всякой политики справа и слева: русский народ сам выскажет, что ему нужно.

Но съезд — увы! — принял сразу не только очень густую политическую окраску, но даже ясно уловимый душок старого Союза русского народа (не к ночи будь помянут). Ультраправые оказались организованными не хуже первоклассной театральной клики. Марков II держался на заседаниях, как у себя дома, в шлафроке и с чубуком в руках. Его реплики с мест, никем не сдерживаемые, сбивали робких либералов слева и опрокидывали их. Правда, Марков II взял назад свои роковые слова о ждущей людей свободомыслящих стенке справа в будущей России. Эта поправка делает честь его взрослой душе, ибо дети и трусы никогда не сознаются в ошибках. Но глубоко-черная кулиса искренно упивалась этой несчастливой репликой.

Крайние, ультраправые — и в моральном, и в численном большинстве. Отсюда несомненно, что в подавляющем, если не в абсолютном, большинстве они вошли бы и в постоянный орган Зарубежного съезда, буде таковой создался, в грандиозных целях представительства, руководительств, распоряжения и даже обложения налогами кротких беженцев.

Но, как все мы убедились, кроткие беженцы оказались хитрее. Они предпочли... ликвидировать комиссию.

С душком

Большевики переслали десять тысяч фунтов стерлингов углекопам для поддержки их стачки. «Деньги эти — заветные, — приписали они особливо, — их уделили от своих трудов и сбережений русские шахтеры Донецкого бассейна, которые просят нас, при сей верной оказии, передать привет и сочувствие английским товарищам в их борьбе против ненавистного капитала».

Нам пока неизвестна судьба этих стерлингов. Общественное мнение Англии, в его здоровой и преобладающей части, высказывается за возвращение их великодушным жертвователям. Министр внутренних дел полагает, что деньги должны быть вручены адресатам, так как ныне стачка утратила политический характер, сузившись из всеобщей, грозившей колебаниям основ конституции, в частную, то есть в прю рабочих с хозяевами при арбитраже правительства.

Но общественное мнение — пусть оно даже не одержало верха — кажется мне и правым, и мудрым, и дальновидным. Великодушные стерлинги пришли вовсе не от шахтеров.

Какая такая найдется у русского шахтера в кармане товарищеская лепта, которую он может уделить далекому английскому землекопу, когда он сам получает гораздо меньше необходимейшего минимума, едва обеспечивающего барачную крышу, логово на нарах и кое-какую бурду для укрощения голода?

Разве из самых подлинных красных газет мы не знаем достоверно, в каких ужасных, невозможных, нечеловеческих условиях протекает жизнь и работа донецкого шахтера?

О сбережениях даже говорить смешно. Какие же сбережения можно делать из заработной платы, неуплачиваемой иногда по полугоду? Ведь это же все равно, что вить веревки из ветра.

Важно лишь то, что большевики деньги послали. Если послали — значит, достали. Способ же доставания у них всегда один — пресс. Защемят они в него крестьянина, или рабочего, или нэпмана, закрутят рукоятку — и потечет в желоб золотое масло...

На этот раз, очевидно, пресс был нажат до отказа. Финансовое положение большевиков совсем расхлябано. Лицо, недавно приехавшее из Москвы, чтоб через неделю опять уехать, к тому же обладающее и связями, и умением видеть, слышать и понимать многое, говорит мне убедительно и с тревогой, что все взоры и надежды советских главарей пронзительно устремлены теперь на урожай этого года. Будет урожай — они вывернутся и перевернутся. Нет — один

Аллах ведает, какие новые испытания ждут впереди многострадальный, все выносящий русский народ! Но отсюда ясно одно: чьи-то кишки были выдавлены на любезное поощрение забастовщикам.

И какая трагическая нелепость в этой инсценированной помощи, оказанной нищим миллионеру, ибо кто же, как не сказочный богач, свободный английский рабочий в сравнении с советским рабом? Что может быть благословеннее свободы передвижения, веры, мысли, слова, мнения и распоряжения собственностью? Всего этого совершенно лишен русский невольник. Вот английский шахтер забастовал против хозяина, предъявляя ему свои требования, и вся Англия, во главе с ее умным правительством, сдержанно и внимательно следит за этой великой борьбой, а наследный принц, столь любимый страною, посылает свой дружеский взнос в забастовочную кассу углекопов.

О забастовке русский рабочий и мечтать не смеет. Не отваживается он пикнуть даже тогда, когда месяцами не получает скудной оплаты своей тяжелой работы. Нет движения без вожаков, но вожаки давно уже умудрены горьким опытом и отлично знают, что всякое общество в СССР – рабочее, фабричное, студенческое и другие – прослоено обильно и искусно пластами шпионажа. Толпе – расстрел, возбудителям мысли и воли – предварительное бесшумное изъятие и таинственное исчезновение в неведомом.

Нет. Такие деньги принимать грех: от них пахнет трудовой слезой, но также и фальшью. Большевиков интересует положение английских углекопов? Вздор! Забастовка в их планетарном мировоззрении – невинная игра в бирюльки. Раздуть мировой пожар, взрезать живот буржую, поставить аристократию к стенке, осквернить храм – вот откуда только начинается ее новый строй жизни, рекомендуемый большевиками всему земному шару.

Строгим

Была страшная, холодная ночь. О ней мы с детства знаем из Евангелия. Дважды пел петух, и дважды от-

рекался от Господа своего и Учителя Петр. В третий раз возгласил петел, и в третий раз отрекся ученик и, отойдя от костра, закрыл лицо и горько плакал. Да и кто не обливался слезами — и теперь, более тысячи лет спустя — над этим горестным, над этим простым и точным евангельским сказанием?

Но также знаем мы, что миновала минутная ночная слабость Петра. Как ревностный апостол, безбоязненно открывал он смелым, неведающим людям благую евангельскую весть. Бестрепетно принял он мученическую кончину на кресте. И — по пророчеству краеугольный камень воздвигаемой церкви — не был ли он троекратно прощен в своем троекратном человеческом колебании?..

Мы, нынешние люди, весьма слабо верующие или вовсе растерявшие благодать веры, мы очень строги к слабостям и колебаниям своих близких, гораздо строже Спасителя, позвавшего мытаря, очистившего блудницу, оправдавшего разбойника и простившего Петра.

Как мало времени прошло с тех дней, когда мы отсюда посылали святейшего патриарха Тихона на насильственную смерть, требуя запечатления в смертном часе непоколебимости своей веры! И как были разочарованы якобы естественной кончиной пастыря!

Однако простой народ лучше нашего понял, взвесил и оценил все: и жизнь, и страдание, и смерть святейшего, воздвигнув ему в своем соборном сердце чистый, неизменный памятник. И вера, всуе колеблемая живцами, не расшаталась, а стала крепче, углубленнее и теплее.

Много было злобных толков в связи с переходом русских беженцев в католичество. Но искать свою правильную веру никому не возбраняется. Недаром тропарь св. Владимиру Равноапостольному гласит так: «Уподобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славнодержавный Владимире».

Переход в католичество православных — для нас далеко не новость еще в нашей прежней домашней жизни. Но случаи эти были весьма редки, все наперечет: несколько десятков из аристократии (преимуще-

ственно дам) и кое-кто из ученых мистиков. Народ шел весьма туго — и то лишь на Юго-Западе — в Унию. Религиозные искания его охотно выливались в сектантство, порою очень крайнее.

Здесь, во Франции, влечение русских к католичеству вовсе не так велико, чтобы им тревожиться. Да и как осуждать человека, если его душа искренно пленена другими догматами, а слух и зрение — другими обрядами? Я знаю одного милого, кроткого человека, который ушел к католикам лишь потому, что у них на паперти не курят, не смеются и не болтают о злобе дня. Молиться Богу можно в любом христианском храме, но также и на море, и в поле, и в лесу.

Другое дело, если человек меняет веру из материальных выгод. Говорят, это хоть редко, но бывало. Но о слабых сладкоежках, столь легко покупаемых, жалеть не приходится. Захудалая овца — из стада вон. Да и та, может быть, еще погуляет в чужом стаде, затоскует и вернется домой. Не отвергать же ее, блудную? А колеблющимся это лишь хороший урок.

Но есть назидание и более строгое, чем осиротелость в чужом Доме и горькая, нежная тяга к возврату в родной Дом. Примкни к чужой религии, когда твоя прежняя станет опять здоровой и сильной. Но переход от нее в ту пору, когда она подвержена заушению и оплевыванию от злодеев, похож, простите мне, не на переход, а на дезертирскую перебежку или вот еще на что:

Моя родная мать ослабела, обеднела, растрепанная, убогая, в слезах и в синяках. Пойду-ка я поищу себе приемную мать, поблагообразнее, побогаче, живущую правильно и строго.

Повторяю: если ушел по глубокой, горячей вере, что скажешь? Если по легкомыслию, то Бог с тобою. А если как торгаш — ты ничего не стоишь. Только — увы! — горячая и глубокая вера стала здесь, на этой стороне рубежа, гораздо большей редкостью, чем там, по ту сторону.

Те же толкования приложимы и к принятию чужого подданства. Случаи эти довольно многочисленны, а вскоре еще значительно участятся. Но, осуждая их, надо строгому судье всегда и прежде всего зада-

вать себе вопрос: кем бы я хотел скорее видеть поколебавшегося — французским гражданином или «возвращенцем», этим глупым самоубийцею, рабом и тряпкой в руках самых жадных, самых бессовестных, самых жестоких и самых грязных насильников, каких только рождал свет?

Французский гражданин Ярославской губернии все же не забудет родину и останется ее другом. Возвращенец — нуль, или враг по понуждению.

Три года

Ужас, как шибко летит «быстрокрылое время» в подневольной эмиграции. Говорят, что в тюрьме — еще скорее: день похож на день, как две капли падающей воды, как два удара маятника, — а годы протекают совсем незаметно.

Вот, не успели мы оглянуться, как окончилась третья годовщина издания «Русской газеты» и уже начинается четвертая.

Три года — громадный срок для журналиста! Есть среди чувств, связывающих людей в неразрывные, прочные группы, два особенно сильных и цепких: это — преданность полковой семье и привязанность к печатному органу: оба въедаются в кровь, оба оставляют в душе самые живучие воспоминания. Я встречал в моей жизни журналистов с весьма диковинным стажем, которые, с гордостью ветеранов, говорили про самих себя: «Я старый работник печати! Я участвовал в целых десяти коллективных уходах из редакции!..»

Да. Протесты в таких формах бывают — увы — иногда неизбежны. Но это — самая тяжелая, ответственная и свирепая мера. К ней можно прибегать лишь в крайнейших, печальнейших случаях, когда все другие способы воздействия исчерпаны. Хвастаться количеством уходов стыдно. Всегда, расставаясь навеки с милыми, шумными, кипучими комнатами привычной газеты, оставляешь там кусочек сердца. И еще. Замечал я, что эти хвастливые гробокопатели все как на подбор — бездарные журналисты. Журналистом ведь все-таки надо родиться.

Я с удовольствием вспоминаю те возбужденные, беспокойные и теперь, издали, такие светлые и веселые дни, когда «Русская газета» впервые начала выходить в свет еженедельным изданием. Однако тогда нелегко приходилось малой редакционной кучке. Сами фальцевали листы, сами их заключали в бандероли, сами, от руки, делали адреса и сами развозили по киоскам.

Так это напоминало мне конец девятнадцатого года, когда мы с генералом Красновым выпускали для фронта Северо-Западной армии газету «Приневский край», везя за собою Гуттенбергов станок с ручным колесом из Гатчины в Ямбург, а оттуда — в Нарву и Ревель... И начало двадцатого года, когда «Новая русская жизнь», выходившая в Гельсингфорсе, вся помещалась в двух чуланчиках: и наборная, и типография, и корректорская, и редакция... А потом, в последние дни «Общего дела»... в нем до самого конца остались лишь настоящие журналисты. Бездарные словоблуды и полуграмотные ловкачи убежали, как крысы с корабля, при первых неблагоприятных признаках.

Эти четыре газеты тем навсегда останутся милыми и дорогими для моей памяти, что основным их принципом была печатная борьба с большевизмом, борьба прямая и открытая, без заигрывания, уверток и задних лазеек на всякий грядущий случай.

И тем еще привязала меня к себе «Русская газета», что предоставила мне полную свободу высказывать мои мысли. Лично мне это удовольствие принесло мало пользы. Говоря о монархизме в разрезе идеологии, заступаясь за скорбные исторические тени, подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку монархиста, и уличные мальчишки левого журнализма тыкали в меня, на моем чистом пути, пальцами и кричали: вот идет монархист, вот идет черносотенец, вот идет мракобес. Да бог с ними, впрочем.

Не я ли — неудачник — и дал «Русской газете» репутацию монархической? Но должен сказать, что единственным и искренно убежденным монархистом был между нами лишь Е. А. Ефимовский. Он начал работать с нами с первого номера. В вопросе о ле-

гитимизме мы разошлись с ним. Но разошлись, не потеряв ни взаимного уважения, ни личной дружбы.

Из еженедельной газета стала ежедневной, и вот просуществовала три года, вопреки злостно-радостным предвещаниям. Громадный срок — три года! Значит, есть же среди русской эмиграции целый слой общества, которому газета близка и необходима. И заметьте, читатель наш небогатый, не искатель скоромненького, не ловец скандального, не крайне левый, не крайне правый. Преобладающего шумного успеха «Русская газета» оттого не захватила, что она шла по среднему течению. У русских людей — увы — далеко не в почете и давно осмеяна и заклевана золотая середина. Ей нужны огульные мнения и взгляды на вещи в патентованных шорах. Широкое и свободное мнение пересекается на десятитысячном тираже.

Почему же наша газета и до сих пор жива и здорова? Это — от сплоченности редакции и постоянства сотрудников. Мне помнится, как однажды посетил нашу редакцию Стефан Лозан, король парижских журналистов. Он был растроган и умилен той скудной иноческой простотой, тем общим дружным трудом, теми минимальными условиями удобства и простора, в которых рождалась и выходила в свет наша газета. Много места в своем журнале он посвятил этому скромному подвигу. И я благодарен ему от всего сердца за те милые строки, которые он посвятил мне в своей блестящей статье.

Саранча

Это прожорливое, беспощадное насекомое издревле считалось бичом Божьим, наказанием разгневанного неба грешной земле. О нем с ужасом говорят и Библия, и Апокалипсис.

Когда саранча движется пешая, она сплошь покрывает поля на необозримые пространства, когда же летит, то густыми массами своими затемняет солнце и наводит мрак на землю. Все, что попадается на ее грозном пути — всходы и растения, злаки, травы, овощи, листья, цветы и плоды, — все уничтожает-

ся ею дотла. После ее прохода остается лишь голая почва и обнаженные деревья на ней, да несчетные мириады заложенных саранчой яичек: уйдут старые полчища, а вслед за ними через положенный срок восстанут из небытия, и поползут, и полетят тьмы тем нового поколения. Огонь и вода плохо помогают в борьбе с саранчою. Действенно только заблаговременное разыскивание и уничтожение яичек, оставленных ею в громадном количестве.

Именно о страшной саранче я всегда вспоминаю, когда думаю о том жадном, бесчисленном и тлетворном двуногом гнусе во образе человека, который путем хищных биржевых спекуляций подрывает корни и высасывает соки у государств, впавших в немилость рока.

Как жаркое лето благоприятствует жизни и размножению саранчи, так война между государствами есть живительная стихия для спекулянта. Все равно какая война: вооруженная, при содействии пороха и стали, или финансовая, при помощи банков, трестов и пошлин. Кто-то сказал чудовищный парадокс: «Деньги – кровь страны». Во всяком случае, достоверно то, что из-за денег льется крови и слез, за мирными кулисами жизни, не многим меньше, чем при войне.

Спекулянт тем страшен и тем подобен саранче, что хотя и действует скопом, в тесной массе, но соединен с нею отнюдь не взаимным договором и круговой порукой или даже простым знакомством, а лишь общностью жадных расчетов и инстинктивным нюхом. Потому-то одного спекулянта можно поймать и обезвредить, но, вытащенный за хвост правосудием из общей кучи, он никогда не тянет за собой гирлянд сцепившихся соучастников и сотрудников.

Но спекулянт подобен мародеру, грабящему мертвых и приканчивающему раненых лишь той стороны, которая потерпела поражение, хотя бы временное. Ведь победители всегда скорее позаботятся о своих друзьях, оставшихся на бранном поле, и заступятся за них.

Но есть в нем общее и с волостным ростовщиком: чем глубже входит он в свое позорное, жестокое занятие – тем неутомимее его алчба. Сто на сто – не-

винная прибыль. Вращая и взращивая свой капитал почти ежедневно, приобретая поочередно на повышении и на понижении, спекулянт, начиная с ничтожными средствами, становится в полгода миллионером. Но он не игрок. Он знает, когда остановиться, чтобы зажить полной, комфортабельной жизнью, обеспечив основательно, навсегда, себя и семью. Детей своих он, обыкновенно, любит с нежностью. В этом его большое отличие от особи саранчи: та, повинуясь всемирному закону, снесет яйца в рыхлую землю и, забыв о них, продолжает свое опустошительное шествие. Прогорают из них лишь те спекулянты, нувориши, которых плебейское честолюбие выскочек тянет заводить скаковые конюшни, открывать собственные театры и газеты и окружать себя придворными льстецами из разорившейся аристократии. Истинный, кровный спекулянт воздержан.

Для настоящего спекулянта нет родни и жалости к ней, как нет в нем вообще никаких отвлеченных предрассудков. Как нам всем, видевшим тыл войны, не помнить и как нам забыть дьявольскую вакханалию кутежей и горячечную перепродажу из рук в руки всего, имевшего хоть малейшее касательство к военным нуждам: железа, леса, сукна, хлеба, медикаментов, бумаги, лошадей, автомобилей, бензина, словом — всего, включая сюда военные секреты, планы и шифры. Случалось, что поезд с пшеницей делал два и три кругооборота, возвращаясь все к тем же лицам, трижды срывавшим с него легкие, беззаботные деньги.

И уж подавно не шевелится у спекулянта в его шерстяной душе сострадание к чужой стране, хотя и давшей ему широкое и милое гостеприимство: этих чувств нет в руках и в ногах у шиберов. «Честность, местность и известность — все звук пустой», — напевает он, думая, что это из «Пиковой дамы». Я вспоминаю еще самое начало двадцатых годов. Во Франции спекулянтам было мало места, где бы развернуть свои шакальи аппетиты. Все они ринулись в Германию, у которой валюта неизбежно скользила вниз. Ах, эта чертовская игра на понижение! В то время когда вся страна героически цепляется за всякую точ-

ку, чтобы удержать падение своей финансовой жизни, спекулянт забегает в будущее, ловит за много лет вперед очередную катастрофу, им же создаваемую, и из несчастья оголодавшего, отчаявшегося народа, из его фантастической валюты, выражающейся в астрономических цифрах, выжимает прочные фунты и крепкие доллары.

С Германией скоро будет покончено. Дельцы, приехавшие в нее с десятком-двумя тысяч франков, вернулись в Париж с сотнями тысяч в самой наитвердейшей валюте. Но это еще не начало сладостного покоя и заслуженного столькими трудами умелого наслаждения жизнью. Нет еще особняка в тихой части столицы, нет виллы в грандиозной Ницце, нет подлинного Луи-Каторз в гостинной и двух-трех Рембрандтов на стене, автомобиль же всего один, да и то скромненький «рено».

И они принялись за французскую валюту с тем же усердием, с каким помогали падать немецкой. И теперь, когда франк начинает едва-едва, с великим трудом, становиться на твердые ноги, спекулянты, видите ли, недовольны. «Помилуйте, при таких условиях нельзя работать!»

А все-таки интересно знать, куда денутся эти ловкие любимцы судьбы, когда франк стабилизуется? Конечно, хорошие дела можно делать в России. Но сколько надобно связей и прочных знакомств! А то ведь наскочишь на Дзержинского в недобрую минуту... и поминай, как звали.

Да. Мученическое звание эмигранта бывает не только почтенно, но и выгодно и безопасно в стране с падающей валютой.

После войны...

Говорить о том, что современный мир, потрясенный последними событиями, живет с мозгами, свихнувшимися несколько набекрень, — это значит повторять общее место. Мы, русские, отменно помним сумбурные месяцы после первой малокровной (в сравнении со второй, вовсе бескровной) революции. Помним эпидемию налетов, убийств и самоубийств,

помним лиги свободной любви и компании «огарков», помним необычайно пышный и зловонный расцвет порнографии... Дыхание смерти, ужаса, тления и крови пронеслось над страной и утихло, но еще долго раскачивалась, бурлила и пенилась взбудораженная им в человеческих душах мертвая зыбь.

Результаты великой, воистину планетарной войны, ее последствия, влияния и отголоски прямо неисчислимы и совершенно недоступны ни воображению, ни подсчету современников. Но они сказываются решительно во всех сторонах многообразной человеческой жизни, которая как будто бы наверстывает все бывшие потери, торжествует над всеми бывшими угрозами, вознаграждает себя с бешеной, безумной лихвой за все лишения; от самоутверждения влечется к крайнему эгоизму, от вынужденной дисциплины к упоению властью, от воздержания к обжорству — и всюду и во всем в размерах уродливых, карикатурных.

Мы часто наблюдаем, как французские парочки целуются на улицах, в скверах, в метро. Мы, русские, почему-то особенно склонны возмущаться этим явлением и относить его к невоздержанности французского темперамента в любви. Я же, наоборот, гляжу снисходительно на эти публичные проявления половой, а может, и родственной нежности. Это — милый пережиток, трогательный отзвук войны. Сколько миллионов людей уходило на войну, на почти верную смерть, прощаясь с любимой, милой женщиной — женой, невестой, любовницей, сестрой, матерью. Миллионы приезжали оттуда на краткий отпуск, на минуточку. Чудом — буквально чудом — живые, чтобы, едва переведя дыхание и сжав сердце в каменный клубок, опять вернуться в ад, огонь, грохот. Кто осудил бы эти торопливые жадные поцелуи, встречи и прощания? Никто и не осуждал. Но святое нетерпение, смоченное сладкими и горькими слезами разлуки, обратилось, когда кончилась война, в привычку, в простительную вольность, порою в задорную забаву. Французское правительство мудрее эмигрантских приват-доцентов. «Пережиток, — сказало оно, — есть явление неизбежное. Отеческим заботам полиции

надлежит вводить эту любовную интермедию в надлежащие рамки приличия».

Надо, однако, сказать, что оскорбителями русского, приват-доцентского, целомудрия является толпа, чернь, плебс – скажем – народ, в котором предрассудки, привычки и обычаи живут дольше и невиннее, чем в высших классах, где они лишь толкающий повод к тому, чтобы в смокинге, за дорогую цену и в приличной позе, дозволить себе первобытную радость грызни насмерть за кусок мяса, свободную случку и безнаказанность половых сношений.

...На войне умирали в один день сотни тысяч. Жизнь человеческая никогда не бывала так обесценена. И эта ничтожность жизни отразилась и до сих пор отражается во множестве омерзительных, хладнокровных убийств. Гаарман и Ландрю – только громкие процессы. Теперь об этих кровавых и грязных гадостях мы читаем с обтерпевшим равнодушием.

Гейне сказал:

Рядом смерть идет с любовью.

Наблюдения и статистика показали, что война и голод родят половой голод и проституцию. Не на поцелуи в трамваях, а на нынешние танцы должны были бы, вместо полицейского агента, обратить внимание правительства всех государств. В современных танцах далеко не так безнравственно то, что дамы танцуют их без нижнего белья, в одном лишь тонком, как паутина, крепдешиновом покрове, и даже не то, что в этих танцах тела партнеров соприкасаются по всей их длине и ширине вплотную... Нет. Ужасный и холодный разврат заключается в наемном танцоре. Нельзя себе представить, какая дикая бурда наполняет и умы, и души тех братьев, мужей, женихов и отцов, которые спокойно нанимают за несколько десятков франков молодого профессионального плясенника, чтобы он, под стонущую музыку, изображал с близкими им, уважаемыми и порой даже обожаемыми женщинами и девушками имитацию полового акта.

Война была неуверенностью в завтрашнем дне. И страх за дороговизну и тяжесть будущего остался це-

ликом до сих пор. Ребенок является одной из тягчайших обуз и угроз для бюджета как лишний рот, а для женского тела как причина старости и изуродования. Никогда газеты не были так переполнены объявлениями, рекомендующими средства к бездетности, и заметками о неудачных абортах. И никогда еще в мировой истории не процветала, как теперь, однополая, следовательно, безопасная любовь. И если мы теперь нередко с трудом отличаем издали светскую девушку от светского молодого человека, приписывая эту неразбериху моде, то мы ошибаемся. Смысл глубже. Он берет начало в войне и питается ее вредными результатами, которые своею длительностью превосходят годы войны.

И бесконечно невозможно вообразить себе ту мертвую зыбь, которая раскачается за следующей, еще более ужасной для нас, теперь еще не представляемой войной.

Мой герой — правда

Я совсем не понимаю непреклонно-гордых и белоснежно-чистых эмигрантов, которые огульно хулят все, что живет, зреет и дышит по ту сторону... называйте, как хотите... рубежа, рва, карантина... в Советской России.

Во-первых, нет никакой Советской России, а есть та же самая русская Россия, подпавшая, Божьим попустительством и капризом дьявола, под власть слепых, глупых, безграмотных и бессовестных теоретиков, а также мстительной, жадной и злой сволочи, а также еще мастеров, выжимающих золото из грязи и крови.

Во-вторых, не назовете же вы гнойником человека, у которого оспа обметала лицо. Вы сами знаете, что болезнь пройдет и больной встанет с постели здоровее прежнего. Вспомните-ка всех рябых, конопатых, которых вы встречали в вашей жизни: какой все крепкий, упорный в работе, серьезный, мужественный народ! Недаром мужик твердо верил, что с натуральной оспой выходят из человека дурные соки.

Вот так-то принято у нас хаять почем зря тамошнюю художественную литературу. Правда, мне смешны истерические восторги, расточаемые молодым советским писателям в салонах, где футуризм и большевизанство считаются последним криком хорошего тона. Правда, мне противны рассчетливые критики слева, которые своими неумеренными комплиментами — иногда вздорным, трескучим и наглым бездарностям — страхуют себя на случай перемены декорации (ах, как бы не опоздать!). Но, по совести и чести, я должен признать, что из восьми тысяч девятисот четырнадцати пишущих и печатающихся там беллетристов (о сорока тысячах поэтов я не говорю — не моя специальность) можно насчитать несколько десятков писателей, одаренных и умом, и талантом, и жаром сердца. А самое хорошее в них то, что украдкой от хлыста и надзора они, в младые годы, все-таки почитывали прозу Пушкина, и Достоевского, и Гоголя, и Тургенева, и Чехова, и Л. Толстого — того великого, обильного Толстого, к которому как нельзя лучше применимы слова чеховского монаха — импровизатора акафистов из рассказа «Святой ночью»...

Радуйся, древо светло-плодовитое, от него же питаются вернии. Радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози.

Я не говорю о подражании. Гению так же нельзя подражать, как невозможно его и пародировать. Но нет ни одного из больших писателей, кому не открыли дыхания, слуха, зрения и обоняния великие предшественники.

Это как помазание святым миром при крещении, чтобы крещаемый шел верными стопами к правде. И в этой близости к чудесной русской литературе, в этой совсем невольной преемственности и заключается сила как здесь, так и там.

Я знаю, что от моих слов прыснут врозь многие из здешних и из тамошних. Но разве литература не есть самый заметный маяк нации, по которому можно судить о ее жизни, жизнеспособности, скажем даже — бессмертии. Вывод гораздо более выгодный для нас, антибольшевиков, чем для большевиков и их прихвостней.

Да, я с большим интересом читаю Пильняка, Пантелеймона Романова, Леонова, Федина, Никитина, Зощенко, Вс. Иванова и других. Бабеля я открыл сам для себя еще до войны. Многое у них меня и захватывает, и трогает, и обольщает, и веселит, и тревожит.

Да. Я отлично вижу их минусы. Первый из них – неизбежное жертвоприношение красной цензуре. Мы хорошо знаем и помним жесточайшие примеры цензурных строгостей при разных самодержавных режимах. Но мир еще ни разу не удосужился создать такого тираннейшего из тиранов, который, не довольствуясь запрещением писать о том-то и том-то, требовал и апологии своему величию. Красные вожди этого требуют и это ставят первым условием появления книги на свет.

И нужно сказать, что лишь человеку абсолютно безграмотному не кидаются в глаза ложь, фальшь, горький пот проклятого усилия, неестественная фистула подобострастия в вынужденных жертвенных страницах.

Но внимательный здешний читатель, умеющий видеть самое жизнь за печатными строками, познает и о подсоветском бытии с его скукой, глупостью и ужасом, с затаенной всеобщей ненавистью к скоморошному правительству гораздо больше, чем он мог бы почерпнуть из советских газет и осторожных сообщений приезжающих. Видите ли: русский одаренный писатель не может лгать. А если лжет под хлыстом, то выходит у него не мелодия, а ряд дессонансов, откровенно режущих уши. И на это уже жалуются красные цензоры, умеющие оттяпывать своими ножницами головы, но бессильные перед художественной мыслью.

Кому было нужно?

Давно, еще в прежние времена, художник Бунин выставил в Москве картину, писанную масляными красками. На ней были изображены Толстой, Короленко и Чехов, которые, в виде рыбаков в засученных выше колен штанах, вытягивают к берегу большой невод. Смысл был ясен. «Ловцы душ человеческих». И кар-

тина сама по себе была совсем недурна. Но газеты подняли вокруг нее бум: негоже-де выставлять на посмеяние толпы в голоногом виде трех великих писателей земли русской. (Спрашивается: при чем в этой троице оказался Толстой?) Нашелся, наконец, один пылкий журналист — Любошиц. У него газетное фальшивое негодование выперлось в размашистый и нелепый жест. Подошел он однажды к нашумевшей картине и через все полотно наискось толстым красным карандашом написал: «Гадость!!!»

Бедный! Свершая свой категорический приговор, он сам не предполагал его результатов. Взбудораженное общественное мнение сразу обрушилось на него же. Месяца четыре его имя зло и грубо трепали все газеты, от столичных до «Крыжопольского вестника». На целых полгода он приобрел широкую известность, которой, кажется, никто не завидовал.

В таком же порядке скандала, бесцельного и жалкого, хотя и громкого, было сделано и знаменитое выступление Максима Горького во Франции. Он, видите ли, приехал в Париж с высокой целью убедить французов, чтобы они, творцы великой революции, не давали взаймы денег русскому самодержавному правительству. Никем он на эту важную миссию не был уполномочен. Толкнули его на этот путь две дурные силы: беспорядочно, жадно, впопыхах и не в меру проглоченная, а потом весьма плохо переваренная марксячья брошюрятина, с одной стороны, и мгновенная известность, бросившаяся ему в голову, как иногда бросается молоко первокормящим матерям, и принявшая в его воображении размеры великой славы и мирового значения.

Попытка его оказалась вздорной. Он встречал повсюду лишь удивленные большие глаза, недоуменно расставленные руки, иронически-веселые улыбки.

Тогда Максим Горький, в припадке священного товарищеского гнева, порешил нанести буржуазной Франции жестокое, несмываемое, историческое оскорбление. Он написал в «Красном знамени» незабвенное проклятие: «Плюю тебе в лицо, прекрасная Франция, плюю плевком, полным слюней, желчи, крови и злобы!»

Похабщина эта в перепечатках обежала чуть ли не всю иностранную прессу. Никто не возразил плеваке из чувства простой брезгливости. Заем был устроен. Но к пресловутой «ам сляв» прибавилась еще одна, грязная, черта. Увы!

Поступок Яровенко, отколовшего молотком каменные руки американскому солдату на памятнике франко-американского боевого единства, — из той же нелепой категории. Неразборчиво и долго накачивался несчастный глупый человек газетными толками, этим настоящим ядом, вредное значение и влияние которого в области массовой психики еще так мало учтено и исследовано. Наслушался он болтовни доморощенных политиканов и сам наорался до хрипоты в спорах о политике... И вдруг его осенила вдохновенная мысль о великолепном поступке мирового, громадного характера. Купил молоток, тяп-тяп и, изуродовав монумент, передал свое имя бессмертию, взволнованный земной шар — его новой участи, а свое русское тело — заключению в кутузке. Конечно, не было в его деянии места ни сумасшествию, ни подкупу. И журналист Любошиц, и Максим Горький, и Яровенко — всего только русские головотяпы со скудной, уголовной, сумеречной фантазией.

Но все-таки становится горько и обидно, когда думаешь об этой дурацкой выходке. Как мы все радовались и гордились той выдержанностью, той лояльностью, трудолюбием, обходительностью, приветливостью, рассудительностью, талантливостью и еще многими достоинствами русской трудовой эмиграции, которая так выгодно и благородно выделяла русских от других иностранцев. И вот этот идиотский, отвратительный случай — на Площади Соединенных Штатов — вдруг становится обильной пищей для пересудов, порицаний и — что всего ужаснее — обобщений.

К изуродованному памятнику подъезжают моторы и экипажи. Множество венков вокруг постамента. Дамы, в трауре, положив цветы, долго и молча стоят с наклоненными головами, с опущенными веками, точно творя мысленную молитву. Сделано разрушение не стихией, не бешеным животным, а все-таки

человеком, хотя он и Яровенко. Но почему же так стыдно становится, что ты русский?

Нет, я хочу верить в то, что следствие по этому дикому делу найдет, наконец, тех людей, в чьих сознательных и злонамеренных руках жалкий Яровенко был заводной, зловещей, бессмысленной машиной.

Невероятно, чтобы человек безграмотный, очень глупый, вдобавок живущий очень далеко от центра Парижа, сумел бы найти путь к этой уединенной, никем не посещаемой площади Пляс Этаз-Юни и сразу найти памятник французского и американского солдат, пожимающих друг другу руки в братском единении.

Разве мы знали об этом памятнике?

Слово святейшего

Вот мы, пережившие в сознательном возрасте величайшее мировое побоище, революцию и гражданскую войну, находимся еще в такой близости к этим событиям невероятно громадного размера, что судить о них с исторической точки зрения, требующей беспристрастной дали и холодной высоты, мы не умеем и не можем. Мы только припоминаем и записываем отдельные случаи, эпизоды, картины и чувства. Какой писатель, живописец, музыкант или ученый возьмется рассказать о циклоне, находясь в самом его центре, как корабль, который треплется, стонет, скрипит и трещит под бурей, ежеминутно грозящей гибелью. А ведь русский ураган в нынешние часы делает лишь минутную передышку, чтобы зареветь с удвоенной силой.

Но в хаосе нашего недавнего, всего девятилетнего прошлого лишь одна исконная сторона русской жизни поражает своим величием, укрепляя дух своей твердостью, умиляя горячностью своей веры, — рисуется непоколебимо и светозарно-ярко. Это русская церковь.

Не с гонением Нерона и Диоклитиана можно сравнить мучения, пытки и казни, которым большевики подвергли и подвергают служителей православ-

ной церкви. Римляне терзали и умерщвляли христиан, но не пытали их пыткою духа. Нет, если уж искать исторического подобия, то найдем его только в Евангелии, в кратком и страшном описании Христовых мук. Облекли в багряницу, оплевывали, стегали, глумились, надели на чело, увлаженное предсмертным потом, царский венец из терниев и злобно издевались. Распятому кричали: «Сойди с креста!» Жаждущему, к воспаленным устам Его поднесли губку, напитанную желчью и оцетом. С холодной брезгливостью глядели железные, равнодушные к крови римские воины на воющую в бессмысленной злобе толпу.

Так поступали и до сей поры поступают большевики с русской церковью. И с таким же равнодушием глядят на мучимую и на мучителей не только иноземцы с сердцами, закованными в сталь, но возглавители их церквей.

Но какую беспримерную силу духа и какой пламень веры проявили пастыри и архипастыри русской церкви — этого не посмеет ни обойти, ни замолчать история! Деревенские попики и дьяконы — предмет нашего прежнего зубоскальства — малоученые, забитые и светским, и духовным начальством, подверженные многим слабостям, вдруг восстали на защиту церкви с неслыханной священной ревностью и в страшных муках, физических и нравственных. Тысячами принимали мученические венцы. И сотни епископов, которых мы склонны были упрекать в том, что они ездили в каретах, запряженных четверками, и носили драгоценные камни на клобуках и панагиях, бестрепетно пошли на смерть впереди своих иереев.

Жертвенный подвиг нашего духовенства не пропал бесследно. В невиданном доселе единении сплотилась и окрепла церковь, собрав вокруг себя, как вокруг единого, нерушимого пристанища, и верующих, и маловеров, ставших верующими. Ни преследования большевиков, ни живоцерковцы не могут поколебать той силы, которую составляет народная вера.

Образ в Бозе почившего святейшего патриарха Тихона стал родным, близким и святым. Верующие не могли отстоять его жизни от большевиков, но прекрас-

ное, чистое, смиренное и святое его имя они отстояли от клеветнических ухищрений, которые возводили на святейшего не только большевики и живоцерковцы, но и болтливые в беспомощности эмигранты.

Нужно ли говорить о том, как теперь драгоценно каждое запомненное слово патриарха Тихона для его осиротелой паствы, не говоря уже о его прижизненных распоряжениях и указах?

Я не смею вникать в те трения, которые возникли — и гласно! — между митрополитами Евлогием и Антонием. Но знаю, что вся небольшевизанствующая и неполитиканствующая русская церковь, в лице священнослужителей и прихожан, станет на сторону того, кто следует слову и мысли священномученика.

Заокеанская знаменитость

На днях получили мы из Америки довольно толстую бандероль, отправителем которой значится г. Леонид Тульпа, секретарь «Общества распространения полезных знаний среди иммигрантов в Америке». Цель — поднятие культурного уровня населения. Особенный интерес Общество уделяет русским.

«В Америке, — пишет г. Тульпа, — когда производитель желает продать свой товар, он не жалеет средств и времени на ознакомление широких слоев с товаром: фабриканты раздают сотни тысяч сделанных ими вещей бесплатно. Люди ходят по домам и раздают людям полновесные куски мыла, зная, что мыло, действительно, прекрасное и, раз попробовав его, люди будут покупать его.

Книга продается за деньги. Следовательно, книга — такой же товар, как и всякий другой. Как познакомить 800 000 русских с хорошими книгами? Как познакомить их с писателями? — Помещение объявлений много не поможет. Заглавие книги и фамилия писателя ничего не говорят темному рабочему. Нужно дать им образцы вашего письма. Надо в кратких словах показать им, что за человек данный писатель и почему его книги следует читать. И вот мы предлагаем вам кооперировать с нами.

Напишите свою автобиографию, пришлите нам свою фотографию, и мы напечатаем 10000 листовок по образцу прилагаемых. Эти листовки разойдутся по всей Америке, от Аляски до Мексики и от Атлантического океана до Тихого, ибо у нас агенты — наши читатели, распространяющие наши листовки. В этой работе принимают участие не только рабочие, но и священники, доктора — люди всех профессий, всяких политических и религиозных убеждений. Из этих листовок наши читатели узнают, кто вы такой, какие книги вы написали, где эти книги можно достать и по какой цене. Кроме того, мы предлагаем вам написать три кратких письма к читателям, или три лекции, или три рассказа (см. три главы из книги Г. Д. Гребенщикова). Эти три листовки мы тоже напечатаем в 10000 экземпляров каждую и распространим по всей Америке.

Прочтите прилагаемые при сем образцы листовок, которые мы распространили уже среди русских. Вы увидите, что мы стоим вне политики, вы увидите, что цель наша высока и благородна. Вот почему мы смогли создать такой широкий круг читателей. Вот почему мы получаем такое множество писем».

Это воззвание мы прочитали внимательно и подумали: затея отдает американским размахом, но в стержне ее есть какое-то доброе начало. Правда, карьера мыла «Пирс» или «Кадум» имеет мало общего на своих путях с дорогой хорошего романа к сердцу и уму читателя, но, что поделаешь, Америка есть Америка.

Прочитали мы также листовки г-на Л. Тульпы «Экономическая жизнь человечества и разделение труда», «Зависимость людей друг от друга как последствие разделения труда», «Борьба за существование, инстинкт самосохранения и самоотречение», «Первая лекция по гигиене. Воздух».

Очень дельные листовки. Первоклассные Марксовы положения сводятся в них не к борьбе классов, а к любви между людьми. Практические советы о соблюдении чистоты воздуха, жилища, тела и одежды — просты, кратки и внушительны и потму легко запоминаемы... Но дальше г. Тульпа отсылает нас к

сторонникам Гребенщикова как к образчикам того, что приблизительно следует писать писателям, вступающим в кооперацию с почтенным гуманитарным американским Обществом. И тут-то мы с горечью убедились, что бедный Гребенщиков — человек с малюсеньким, перочинным, но, право же, с несомненным дарованием — делает то, что сразу роняет его как писателя и как человека. И роняет надолго, если не навсегда.

Все заказы Общества он исполняет аккуратно. Здесь портрет (клише), и автобиография, рассказанная как бы от третьего лица, и мысли о великих вопросах жизни.

По техническим условиям мы его портрета не приводим, да, по совести сказать, и не очень интересно. Но невероятно наглую рекламу делает самому себе Гребенщиков, попирая толстыми американскими подошвами два лучших качества, всегда сопровождавших таланты русских писателей: правду и скромность. Вот этот похабный документ целиком.

КТО ТАКОЙ ГРЕБЕНЩИКОВ И ЧЕМ ОН СЛУЖИТ СВОЕМУ НАРОДУ

Георгий Дмитриевич Гребенщиков — известный русский писатель, сибиряк, сын алтайского рудокопа, сделавший себе большое имя и почти всемирную славу исключительно путем самообразования, упорного труда и великой любви к родному народу. Приехал он в Америку с главной целью — ознакомить русских и американцев с его богатейшей и великой родиной Сибирью, которую он называет страной будущего, будущей Всемирной Америкой. Из многочисленных статей о писателе мы знаем, как высоко не только русские, но и иностранные читатели и критики оценивают литературные труды и книги сибирского самородка. Известные знатоки русской литературы, знаменитые французские ученые-профессора Г.Д.Гребенщикова называют классиком («образцовым писателем»). Знаменитейший во Франции скульптор (художник), делающий статуи (Антуан Бурдель), называет его «великим мастером слова». Наш великий русский поэт К.Д.Бальмонт посвящает ряд

стихотворений, в которых говорит: «Ты выпытал в крестьянской доле, как творчески идет соха». Известный русский художник Рерих говорит о Гребенщикове: «Радуюсь Сибири, которая взлелеяла такого большого человека». Ф. Шаляпин называет себя «очарованным златорокотными сказаниями Георгия Гребенщикова о нашей матери-России». Произведения Гребенщикова восхитительны, и читают их со сцены лучшие артисты Московского Художественного театра. Максим Горький говорит, что книги Гребенщикова написаны на долгие годы. Проф. Н. И. Мишеев в номере 18-м журнала «Перезвон» ставит Гребенщикова рядом с Ломоносовым, Толстым, Достоевским, Шаляпиным и называет чудом, возможным только среди русского великого народа, что Гребенщиков из бедной лачуги и полной неизвестности дошел до всемирной славы. Американское Общество распространения полезных знаний среди иммигрантов в Америке обратилось к Г. Д. Гребенщикову с просьбой поделиться с нашими читателями своими мыслями о великих вопросах жизни. Писатель охотно и немедленно откликнулся и прислал нам три отдельных главы из его новой книги, которая будет называться «Первая помощь человеку». Здесь писатель затрагивает самые могучие и необходимые вопросы жизни не только иммигрантов, но и всякого трудового человека, желающего укрепить и украсить жизнь свою. Мы считаем своим долгом перечислить книги Гребенщикова, ибо они несут в себе силу, бодрость и зов к самодеятельности и строительству новой жизни. Вот эти книги:

«МИКУЛА БУЯНОВИЧ» — роман в 3 ч., цена 1.75 д. «ЧУРАЕВЫ»: первая ч. — «Братья» 1.50 д., вторая ч. — «Спуск в долину» цена 1.50 д., третья ч. — «Веление земли» 1.50 д. «В ПРОСТОРАХ СИБИРИ» и «РОДНИК В ПУСТЫНЕ» по 1.35 д. каждая. «ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» — 50 центов. «СТЕПНЫЕ ВОРОНЫ» — рассказы из жизни киргиз — 15 центов. Книги можно выписать по адресу:

ALATAS, inc. 310, Riverside Drive, New York.

Читаешь такую гадость и невольно краснеешь и думаешь:

«Что же такое, в самом деле, Гребенщиков?» Ведь в таком жанре, с обозначением цен на флакон и полфлакона, и приведением писем почтенных клиентов, и с приложением портрета изобретателя составляются лишь газетные рекламы:

«Я, Анна Чилаг, с роскошными волосами до пят! Я был лыс! Употребляйте Кефоидолетор. Нет больше импотенции! Резиновые секреты!

Бойтесь подражания, верьте авторитету!

Перевод по почте и по телеграфу!»

Русская литературная этика всегда отличалась большой внутренней строгостью. Это пахло навязчивостью. Авторы не решались письменно благодарить критика за лестный почетный отзыв. Предполагалось, что критик в своей моральной неподкупности пишет для своей публики, а отнюдь не для того, чтобы сделать удовольствие писателю, что отзывало бы кумовством. Правда, этот наивный ригоризм значительно ослабел после смерти Чехова и Толстого, а особенно в беспардонные времена свободной журналистики 1905–1906 годов. Эмиграция также несколько распоясала писательские нравы, хотя в размерах все же приличных и терпимых. К саморекламе Гребенщикова не нужны никакие комментарии. Это просто — эгоистическое свинство.

Что же касается того, как Гребенщиков «разрешал» великие вопросы жизни, то это всего лишь беззубый лепет, водица с малиновым сиропом. «Будьте не тоскливы и радостны. Глядите на птичек, на голубое небо и на барашковые облака. Счастье человеческое не в волшебных замках богачей, а в нас самих. За неудачей идет удача. Спать надо меньше, а работать больше».

И к кому Гребенщиков обращает это малиновое сюсюканье? К русским рабочим, которые работают по двенадцати часов в сутки и томятся самой тяжкой из болезней — страстной тоской по родной земле.

Белые и пунцовые

«Бойтесь лжепророков!»

Так говорит Библия, так говорит Евангелие, так говорят многие мудрые книги.

Известно давно, что именно в наиболее тяжкие и смутные времена возникают среди утомленных народов лжепредсказания и лжепредзнаменования.

Древний библейский лжепророк носил на себе подобие вдохновенности: растерзанные одежды, вздыбленные волосы, простертые худые руки, глаза, опаляющие огнем, речь, полная неистовой страсти. Он не доказывал и не убеждал. Он громил и испепелял своими словами. Проповедь его имела обычный конец: его побивали камнями...

Русская эмиграция имеет также своих лжепророков, появление которых весьма легко объяснимо нашей беженской усталостью, неутомимой печалью по прежней России, ноющей тоской по родине, неусыпным чаянием лучшей жизни и общей жаждой веры, чуда и точки опоры.

Нынешний лжепророк не вопиет, и не сотрясается в припадке священного безумия, и не раздирает своих покровов. Место его проповеди не дикий камень среди голой пустыни и не кровля дома, а спокойный кабинет редакции или кафедра в зале Гражданских Инженеров, при благосклонном участии парижских ажанов, умеющих сдерживать температуру публичного вдохновения в пределах, допустимых общественным градусником.

Библейский пророк возбуждает людские нервы и чувства гигантскими метафорами, картинами поражающих размеров и красочности, чудовищными проклятьями. Нынешний — наоборот. Его вся сила в лжелогике, лжематематике, лжестатистике и лжеистории, подносимых публике в виде холодного блюда, искусно обложенного лженаучным гарниром.

Нынешний лжепророк выхватывает два-три исторических момента, два-три разрозненных примера, пяток произвольных случаев. Пусть его выборки совсем не носят признаков соприкосновения или параллельности: привычный актер, он делает нужный

ему эффектный вывод, памятуя, что «публика — дура», она ни в чем не разберется и все слопает.

Самый любимый его подход к русским болячкам — это французская революция, сопоставляемая и сравниваемая с русской. Вывод же зависит от того, каких цветов хитон на проповеднике.

Лжепророк в ризах красноватых — о! отнюдь не чисто красных, а так, в цветах сомон или «фрезэкразе» — делает заключение: «Итак, вы ясно видите, что Россия бессознательно стремится к демократической республике, которая одна является абсолютно нужной и необходимой формой общественной жизни».

А лжепророк в стареньком, заплатанном, но бережливо выстиранном белом хитончике черпает из того же материала непоколебимую уверенность в том, что вся Россия истосковалась по единой самодержавной власти, по распорядительному земскому начальнику и по монументальному городовому.

Опираясь на полный комплект номеров «Правды» (газеты, как известно, побившей все рекорды услужливого, рабского вранья), «сомоновый» ясновидец непоколебимо уверен в постоянной и планомерной эволюции большевизма в сторону мудрого демократического социализма.

Если же сама жизнь жестоко опровергает и разрушает эту маниловскую иллюзию, лжепророк с ловкостью фокусника проглатывает свою ошибку и начинает вытаскивать из волшебного цилиндра новые ленты и прочие предметы: публика, мол, ничего не заметила.

Белые же лжепророки питаются не советскими газетами, а рассказами достоверных приезжих свидетелей или письмами верных людей «оттуда».

«Красная армия вся пропитана монархическим духом. Девятое Термидора будет завтра или послезавтра. Мы не в силах предотвратить грядущего еврейского погрома».

Белый конь показывает на пробных галопах большую резвость, только разделяются мнения о том, как его назвать: Наполеон, Муссолини или Минин-Пожарский?

Цикломеновые пророки пользуются проворством рук. Живя в самом центре, в самом бучиле революции и будучи ее близкими участниками, непосредственными вдохновителями и двигателями, они умудряются писать Историю. Да, да, не воспоминания, не заметки о революции, а так-таки ее историю, с умозаключениями и выводами!

Белые склонны к мистике и к аллегории: «Смешение всех цветов солнечного спектра составляет белый цвет. Стало быть, не ясно ли, что в белом начале — спасение России?»

Этот скачок мысли очень напоминает мне старый анекдот.

Некий помещик, угнетаемый сомнениями в вере, вызвал к себе одного попика, известного своей начитанностью и авторитетностью в вопросах религии, для душевной беседы.

— Особенно непонятно мне и возбуждает мои сомнения воскресение из мертвых, — пожаловался он.

На что иерей ответил:

— Сие вам станет вразумительно после аллегории. Поглядите внимательно: сорока, птица малая, а хвост у нее предлинный. Опять-таки — медведь! Огромная махинища, а хвост всего в мой ноготь... Такожде и воскресение мертвых.

И все-таки не к серизовым влечет меня сердце, а к другим, в белых, старых, простиранных одеждах. Белые честнее. Они все-таки говорят своим недругам: соберемся, поговорим, может быть, с уступками, с оговорками, сойдемся на чем-нибудь для блага дорогой России.

Серизовые же криво улыбаются: «Истина у нас. Какая там Россия и какие у нас с вами могут быть разговоры?»

Кусочек правды

Ну, вот приехал в Париж русский инженер. Приехал один. Жена осталась «там». С апреля этого года опять вошла в силу система заложничества. Инженера я знаю с 1896 года, с тех времен, когда он был летним студентом-практикантом при строящемся

Волынцевском сталелитейном заводе, а я там же заведовал учетом столярной и кузнечной мастерских.

Разница в нашем возрасте была лет в пять-шесть. Но она нам не мешала купаться в реке Маныче, и ловить в ней ночью, на свет фонаря, раков, и на ее сонном берегу голыми бороться по правилам римско-французской борьбы.

Мне, по делам моей службы, приходилось видеть его чертежи. Только инженер-чертежник и художник-гравер знают и понимают в полности изящество и верность линии. Мой инженер обладал этим искусством совершенно. Но ему однажды довелось изумить таких авторитетных специалистов, как Енакиев, Подгоецкий, Малишевский и Сущов, и заслужить их нелицемерное, профессиональное восхищение. Сложенная из бельгийского доломитового кирпича, выработанного по специальным лекалам, доменная печь (первая из четырех) отказалась действовать, как ее ни разжигали. Мой инженер первый догадался о том, что расчет топки был выведен на английском кардиффе, а не донецком легкопламенном антраците. Он посоветовал прибавить к флюсу (засыпке) двадцать пять процентов извести, и домна пошла полным ходом. Но еще ценнее было его публичное признание в том, что не он сам додумался до разрешения трудной задачи, а его надоумил рабочий, старший мастер при доменных печах.

Из всего того, что я рассказал, явствует, что мой старый знакомец, во-первых, очень весомый спец, а во-вторых, человек, обладающий не показной, но прирожденной внутренней честностью.

О, конечно, я с горечью увидел на его милом незнакомо-знакомом лице те беспощадные борозды, которые проводит неотвратимое время. Да и он, поглядев на меня, склонил набок голову и меланхолически посвистел... Конечно, он вздрагивал и быстро застегивался каждый раз, когда звонил телефон или рявкал на улице автомобиль. Условные рефлексы, черт бы побрал! Конечно, он говорил о том, что готовый костюм, им купленный где-то на Монмартре, стоил всего сто тридцать франков («изумительно де-

шево!»), в то время как «у нас» такой костюм стоит целых семьсот рублей.

Кстати, я узнал от него, что он, выдающийся из инженеров, получает в месяц всего шестьдесят пять рублей. *Совсем без злобы* (это я подчеркиваю) он рассказал мне, что Зиновьев получает за каждую свою брошюру, выпускаемую в количестве около двухсот тысяч экземпляров, по сорок тысяч рублей. Брошюр этих никто не читает: частные торговцы и кооператоры завертывают в них колбасу, селедку и гвозди...

Но был момент, когда он горько и сухо рассмеялся!

Он спросил меня: как учитывает эмиграция Пешехонова, Кускову и К^{о}?

Я ответил искренно:

— Как сказать? В порядке дискуссии. Но мы все-таки удивляемся: почему их за почетные услуги не приглашают туда?

— Представьте себе, этот вопрос я задавал, при удобных случаях, многим олимпийцам. И всегда ответ бывал одинаков: «На кой черт нам они? Пустое место, лишняя болтовня и лишние рты. А там, сидя в Европе, они все-таки помогают, хотя и невинным, старческим, *но все-таки разлагательством*».

И я подумал, слушая его едкие слова: «Ах, как убедительна пощечина!..»

Смехунчики

Сколько раз приводило меня в смущение и в брезгливую скуку то дурное усердие, с каким эмигрантские фельетонисты, карикатуристы, юмористы, сатирики и даже беллетристы «чистой воды» высмеивают в печати тяжкие стороны нашего беженского бытия. А главное, как плоско, тяжело, однообразно и жалко высмеивают. Ну, ударь раз, ударь два, но нельзя же до бесчувствия!

Все одно и то же из номера в номер! Поиски квартиры, ночлег под мостом Александра III, карт д'идантитэ, виза, сквозная, дырявая мансарда под крышей, худые сапоги, из которых торчат голые пальцы, самовар. И фамилии всё одни и те же. Если мужчины —

то: Беженцев, Бегунов, Зарубежников. Дамы: Визова, Увруарова, Бежалкина... Что смешного, скажите на милость, в бедности? Она бывает жалка, некрасива, трагична, даже отвратительна. Но около нее место не смеху, а состраданию или просто молчанию.

В самом деле, пристойно ли обращать в публичную буффонаду то, что русский эмигрант, насильственно отторгнутый от родины, вспоминает в дружеской беседе ее милые, тихие прелести, когда-то незамечаемые, теперь – увы! – невозвратимые, утерянные навсегда. Ха-ха-ха! Зоологическая любовь к Отечеству! Ха-ха-ха! Подсвистывали индюку и резались в преферанс по маленькой!

И это все?

Почему же как-то непринято смеяться над эмигрантом, который, пренебрегая общественным мнением, вернее, плюя на него с высоты Эйфелевой башни, закатывает пышный вечер в четыреста тысяч франков, на котором его – короля тряпичного дела – саттемоны величают Вашим Величеством? Почему же не клеймят сатирою угольного креза, обессмертившего себя изумительным по жестокости, циничным изречением. К нему обратились с подписным листом в пользу больного, безрукого и одноногого инвалида, а он закричал:

– Какого черта вы ко мне лезете с вашими глупостями, когда у меня любимая китайская собачка больна инфлюэнцей?

И большевиков, считается, неприлично трогать:

– Ах, оставьте!.. Это так старо!..

И все как-то усиленно и дружно отворачиваются от тех прекрасных, возвышенных и сильных чувств, которые скрываются за грязной, бедной, заплатанной занавеской, прикрывающей незаметную, будничную, интимную жизнь беженца-труженика. Поглядите, с какой щедрой и легкой готовностью несет он свою «лепту вдовицы» для доброй, скорой и *несомненной* помощи. Просмотрите подписные листы помощи инвалидам или беспризорным мальчикам. Всё он – рабочий у станка, шофер, маневр, грузчик, судомой – всё он обильно дает посильные вклады своею мозолистой рукою.

Знаете ли вы о том, как держат отдаленную связь друг с другом земляки, однокашники, товарищи по войне, разбросанные волей судеб по разным концам земного шара? Всегда забота, внимание, поддержка. Выхлопотать места, послать денег на проезд, пригреть у себя в комнате на первое время пребывания в Париже — это для друга легкий долг и священная обязанность.

И отчего не отметить еще одно отрадное явление. Во всей французской хронике преступлений русские рабочие почти вовсе не фигурируют.

Поклониться надо низко такому беженцу, а не хихикать над ним!

Славный урок

Да, мы глядели с некоторым пренебрежением на возникновение лимитрофов, на эту сложную и дробную систему международных коридоров, буферов и заграждений. Что греха таить — нам, помнящим и не забывшим прежний простор Великой России, развернувшейся на одну шестую часть земного шара, было сначала дико и непереносимо появление десятка новых республик, вплоть до Белорусской, с одной стороны, и Эскимосской — с другой. Но вот маленькая Литва, точно вспомнив свою древнюю славу, вдруг показала всему миру твердый, решительный пример государственной силы и мудрости.

Вчера она была под угрозой обольшевичения. А сегодня — переворот, и железная рука настоящего патриотизма разрушает все дьявольские козни московского интернационала.

Если тебя укусила змея или ты заразился трупным ядом, имей мужество поскорее прижечь рану купоросом или каленым железом. Не укутывай пораженное место теплыми тряпками, не мни, что тебе помогут заговоры, нашептывания, болтовня и жалобы. Прими героические меры, и ты отделаешься легкой лихорадкой.

Мне неведомо, опиралось ли новое правительство Литвы на чье-нибудь молчаливое согласие или одобрение в Европе. Если даже нет, то, во всяком слу-

чае, она дала цивилизованному миру высокий и незабываемый урок.

Вот уже почти восемь лет, как большевики объявили себя правительством России, и в течение этих восьми лет они явили пропасть доказательств, что они — самые ядовитые враги России, злейшие, чем некогда половцы и татары.

За эти восемь лет они столько налгали и напакостили по всему миру, что их заграничных заступников начало тошнить. В одном они были честны: в том, что их конечная цель — мировой пожар. И правда: не было ни одного случая забастовки, саботажа, измены, шпионажа и предательства, на которых не оставляли бы следа длинные и грязные руки Москвы. Англии, Франции, Германии, Италии, а вместе с ними и другим лимитрофам следовало бы с сугубым вниманием присмотреться к событиям, происходящим в Литве. Своим энергичным поведением она доблестно заслужила и самостоятельность, и древний город Вильно с его старинной Острой Брамой, ее исконным владением.

1927

Домой

Новогоднее письмо А. И. Куприна

Дорогой Мирон Петрович.

Во первых строках письма моего желаю Вам здоровья, журналу же Вашему – «Иллюстрированной России» – вящего процветания, а нам, сотрудникам Вашим, повышения гонорара, что будет очень естественно.

В полушутливой анкете Вашего журнала обмолвился Бунин неуверенным словечком. Смысл был таков приблизительно: в пророках не состою, но (почем знать), может быть, 1927 год будет годом перелома для России?

И мне кажется, что Бунин был прав в своем случайном (и оттого-то наиболее ценном) предсказании, тем более что после него дела и обстоятельства в России сами собою идут к конечному разрешению.

Нет, мы далеки от мысли звать массу эмиграции назад домой, как бы это ни казалось заманчивым. Сперва уедут специалисты, простые труженики, восприявшие в невольном заграничном бытии рабочие навыки и приемы Запада. А поучиться здесь есть чему. Как не вспомнить, печальной памяти, прежних заграничных командировок в Европу государственных чиновников и отцов города на предмет ознакомления с вопросами сельского хозяйства и городского благоустройства? А теперь за границей натуральным путем, сам собою, образовался кадр настоящих специалистов, познавших суть ремесла путем трудовых мозолей. Это ли не выучка Петра Великого? И таких пионеров, несомненно, все встретят с радостью и оберегут с величайшим тщанием товарищи (в настоящем смысле этого прекрасного слова) по орудиям работы. Ибо гораздо менее страдает и скучает Рос-

сия от насилия и бессудности, чем от бездеятельной болтовни и бумажных водопадов.

И хотелось бы мне, чтобы никто не торопился. Со временем понадобятся и банки, и биржи, и капитал. Но сама жизнь позовет сначала черновых тружеников: ведь так много в России надо будет починить, заштопать, постирать, охранить, оберечь. Белоручки необходимы, но они приедут попозднее.

И знаете, что войдет со временем во Франции в ходячее слово, в поговорку? Это память о русских рабочих. Много-много лет спустя, когда большинства из нас уже не будет в живых, потомки наши, свободно приехавшие в Париж, услышат веселую похвалу: «Хорошо выточен стальной конус. Такой работой остался бы доволен и русский мастер». Или: «Вот шофер, отлично знающий Париж, не уступит русским». Или еще: «Прекрасно поет хор, конечно, далеко до русского, но все-таки...»

И правда, уймется послевоенная злая неразбериха. Утрясутся и рассядутся спокойно люди, как это бывает в вагонах и на пароходах после сумятицы отъезда, и всплывет наверх все хорошее: и память, и признание, и благодарность.

Вам, рабочие, шоферы, маневры, я шлю в этот день сердечный привет и низкий поклон. Не посланники, не агенты, не дипломаты, не знатные путешественники, не boyardsrusses[1] (Чистоплюев и Тонконогов) показали Европе настоящее русское лицо, а вы — только вы — впервые и навсегда. И хочется мне под конец сказать вам словом апостола Иоанна: «Не робей, малое стадо, тебе бо принадлежит Царство».

Венок на могилу М. П. Арцыбашева

В четверг, 3 марта, в 4 часа пополудни в Варшаве скончался от менингита большой русский писатель Михаил Петрович Арцыбашев.

Он родился в Ахтырском уезде, близ Святых Гор, в старой дворянской семье. Первые творческие побуждения влекли его, как и многих русских литераторов, к художественной живописи, и, надо сказать, пи-

[1] русские бояре (*фр.*).

санные им портреты, которые мне доводилось видеть, говорили о настоящем даре. Литературное призвание указало ему другую дорогу.

Я застал Арцыбашева в Петербурге в начале девятисотых годов. Он уже писал тогда в больших журналах — в «Русском богатстве» и в «Мире Божьем». Уже тогда он смущал и беспокоил редакторов независимостью своих мнений, непохожестью ни на кого из предшественников, упрямой решимостью идти во всех «проклятых» вопросах до конца, до упора, до парадокса. Причиной этих тревожных свойств было отнюдь не желание оригинальничать или пугать непривычную публику. Нет: Арцыбашев сам вечно искал и искренно мучился. Прямолинейная, грубоватая, не ломающаяся и не гнущаяся честность была его главной чертой как в литературе, так и в жизни. Эта черта роднит его с Толстым и Андреевым.

После появления «Санина» Арцыбашев узнал и шум обширной известности, и яд недоброжелательства. Но ни то, ни другое не опьянило и не отравило его.

Однако мы не можем забыть, какой ливень пошлости, гадостей и глупостей был вылит на голову этого гордого и правдивого человека.

Его прямота и мужественная любовь к родине сделали из него одного из самых непримиримых, самых страстных, самых смелых врагов большевизма. Живший до конца 1923 года в Москве, он был так резок, откровенен и неосторожен в своих решительных отзывах о красной власти, что все знавшие его писатели беспокойно каждый день думали: жив ли сегодня Арцыбашев?

Судьба хранила его и помогла ему — при необыкновенно опасных и тяжелых условиях — перебраться в Варшаву. Там, работая постоянно в газете «За свободу!», он точно совсем забыл про художественное исскусство слова. Но все мы помним его веские фельетоны, направленные на красную Москву, полные гнева против насильников, сжатой, крепкой тоски по родине и всегдашней суровой честности.

Он был человек очень сильный физически, хороший спортсмен, детски весел в своем кругу, превос-

ходный товарищ, всегда помощник начинающему, нежный защитник слабого.

Он всю жизнь боролся с туберкулезом, проявлявшимся у него в мучительных формах. Но никто от него не слыхал жалоб.

Вечная память!

Душа мира

Каждый пройденный человечеством век имел свое содержание и свою окраску. Века первого христианства, века старых монархий, века рыцарства и крестовых походов, века возрождения искусства, века борьбы католичества с реформацией, века путешествий и открытий новых земель, век французской революции, век Наполеона...

Прожитый нами XIX век был характернее всего веком изобретений.

Если мы, люди полувека, не застали рождение первых паровозов и пароходов, то все-таки странно и жутко подумать о том, как при нашей жизни и на наших глазах широко и быстро шагал вперед изобретательный гений человека! Электрический телеграф, электрическое освещение, динамит, фонограф, синематограф, подводные лодки, аэропланы и цеппелины, беспроволочный телеграф и телефон, система Менделеева и открытие новых, но предугаданных элементов с чудесными, могучими свойствами... всего не перечислишь в размерах газетной статьи!

Но во все столетия и почти во все годы — все равно, появлялись ли или не появлялись на небе страшные, хвостатые кометы, — человечество никогда не переставало враждовать и в жестоких битвах проливать взаимно драгоценную человеческую кровь. Напрасно лучшие умы и пламенные сердца поднимали свой голос против кровавого истребления братьев по телу, духу и вере. Каждая новая война бывала гибельнее и ужаснее предыдущей. Страшно подумать: каждое новое открытие или изобретение, только что сделанное гением человека на очевидную пользу и к радости человечества, тотчас же превращались в но-

вые, могущественные орудия беспощадной войны. Наполеоновские битвы — игрушка в сравнении с русско-японской войною, но и эта нелепая война, в сравнении с недавней великой войною, то же, что робкий свет стеариновой свечки, тонущий в лучах маячного прожектора...

XX век, судя по его началу, может возвыситься над всеми прошедшими веками, как великан над карликами, как Эверест над Монмартрским холмом. То, что издревле являлось загадочным хаосом, то, что происходило через уродливые формы пытания, в виде то толкований иступленных монахов, то колдовства, то спиритизма и астрологии, — словом, таинственная область человеческой души, ее сущность, ее возможности и отправления, — все это становится мало-помалу материалом для строгих и точных научных опытов и исследований.

Теперь никого уже не удивляет перенос человеческой воли на расстояния, может быть, не имеющие пределов. Теперь невидимые эманации человеческого мозга или человеческой души начинают быть уловляемы контрольными аппаратами. Теперь скептические ученые считаются, как с неопровержимыми фактами, с явлениями ясновидения, проникновения в будущие события, чтения мыслей или запечатанных писем. Душа отдельного человека все более и более обрисовывается в тесной связи с душою животных, растений и всего видимого мира.

У английского писателя Честертона есть замечательный рассказ — одно из тех фантастических сочинений, которым суждено как бы опережать земные дела и события.

В нем какие-то путешественники случайно попадают в глубь земли, почти к самому ее центру. Там они находят потомков племени, спасшегося чудом от всемирного потопа. Вследствие особых удачных условий, культура этих людей перегнала надземную человеческую культуру на несколько тысячелетий. Жизнь там блаженна, светла и добра. Необычайное развитие души каждого подземного жителя так огромно, что он простым усилием воли может убить на любом расстоянии своего собрата.

— Значит, у вас убийство — каждодневное явление? — спросил один из путешественников.

— Нет, друг наш, — ответили ему. — Последний случай произошел две тысячи лет тому назад...

И я думаю, изучая человеческую душу и душу природы, стремясь ее понять, человечество придет к тому, что станет ее любить и чтить как Божество.

И страшно подумать, что новая, неслыханная и невообразимая война снова отбросит человечество ко временам троглодитов.

Русская душа

Совсем, совсем не вовремя сунулся величайший советский писатель Демьян Бедный со своим благотворительным сентимом в пользу русской эмиграции. Ни в ком не вызвала возмущение эта выходка, затеянная на злобу, а выпекшаяся на глупость. Эмиграция только улыбнулась полупрезрительно-полугадливо: «Не укусил, а послюнил».

Рыков погрозил у него перед носом пальцем:

— В другой раз, болван, когда будешь писать об эмиграции, посылай мне сначала на просмотр.

Конечно, очень легко упразднить душу и рассчитать за ненадобностью Бога, возглавив над миром интересы желудка и пола: гораздо становится удобнее и проще протянуть временное земное бытие, чем перейти потом навсегда в черное «ничто».

Но русскому человеку не жить без души.

Хорошее есть старое мужицкое словечко.

Пожалейте мужика, скажите ему: «Ах, ты, бедный!» — Он поправит вас: «Беден один черт. У него души нет».

Оттого-то у меня не хватает слов, чтобы выразить в газетной статье все глубокое уважение, весь гордый восторг, которые я испытываю, когда думаю о том, как прекрасно, широко и благостно проявляется живая русская душа здесь, на чужбине, среди трудов, скорбей и лишений, вдали от милой родины.

Я не говорю уже о последних днях святого предпраздничного подъема, когда у всех беженцев, по некрасовским словам,

Как ветром полу правую
Отворотило вдруг...

в пользу голодающих и безработных. Но как не вспоминать о той щедрой и поспешной готовности, с которой русское эмигрантское общество отзывалось на каждую нужду, на каждую боль... Вспомним о сборах в пользу инвалидов, вспомним создание убежища для беспризорных, брошенных русских мальчиков, вспомним массовые отклики на каждый отдельный случай братского несчастья, вспомним об усердных дарах на церковные надобности и... пожалуй, устанем перечислять примеры величия, чуткости и доброты русской души в изгнании.

Не пройдем также благодарной памятью тех тяжких времен, когда шли из эмиграции в Россию хуверовские и индивидуальные посылки. Это было дело многих миллионов франков. Оборвалось оно по злой вине тех же большевиков с упраздненною душою.

Ах, братья мои, слезы радости стоят в глазах, когда думаешь: «Жив Бог, жива Россия, живем и цветем неизменным цветом русской души».

Рубец

Знаменитый русский путешественник, полиглот и гастроном Максим Горький долгое время был у нас предметом восторга и подражания.

«Рожденный летать», он однажды, с высоты птичьего полета, покрыл черным словом Нью-Йорк и Америку (правда, пробыв в Соединенных Штатах всего полчаса). Им тогда восхищались: «Как смело!»

Проездом через Францию он грубо обложил и эту страну всего лишь за то, что Франция, вопреки горьковскому совету, не отказала России в займе. Ему аплодировали: «Как дерзновенно!»

Обложив иноземцев, он не упустил случая обгадить и свою безответную, несчастную Родину: «Презираю тебя, нищая российская страна. Презираю и ненавижу! Уже мой литературный предшественник, не лишенный дарования стихотворец Пушкин нена-

видел тебя. Недаром он повторил мои слова: "Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом!"».

Горькому и книги в руки. В своей ревностной отличной службе интернационалу против Родины он должен быть последователен.

В годы страшной войны он считался одним из главных застрельщиков чудовищной партии пораженцев (ведь выдумали же русские люди такое невероятное, похабнейшее слово!), то есть партии, яростно способствовавшей словом и делом кровавому разгрому, полному уничтожению России немцами.

Но совсем напрасно прихватил Горький себе в попутчики небезызвестного сочинителя Пушкина, фамильярно похлопывая его по плечу. Приведенную фразу Пушкин, правда, написал в частном письме, но не в горьковском смысле и по поводу, уважительному даже и поныне. Он узнал однажды, что по распоряжению Бенкендорфа почта распечатывала его самые интимные семейные письма и выдержки из них доводила до сведения высшего начальства. Возмущенная гордость, мужской гнев зажгли душу поэта. Не на Россию, Родину свою, он негодовал в эту минуту, а на гнусную секретную правительственную меру. Но разве осмелился бы тогда хоть один русский человек, зная, что его письма распечатываются, обругать не только правительство, а — скажем — квартального надзирателя? Россию — сколько угодно, а за непочтение к властям предержащим не угодно ли проехать в Вятку или на Кавказ?

Горький этого не то что не хотел понять, а просто не понял со своим неотъемлемым безвкусием и куцым мышлением. И вероятнее всего, что мимо его памяти прошло, не задержавшись в ней, замечательное письмо Пушкина к Чаадаеву.

Оно было написано 18 октября 1836 года, за три с половиной месяца до трагической кончины великого, прекрасного поэта, и было ответом на письмо этого образованного западника, глядевшего с недружелюбным разочарованием на историю и судьбу России. Вот центральное место из письма Пушкина:

«Хотя лично я и привязан сердцем к императору, но я далеко не всем восхищаюсь, что вижу вокруг себя; как писатель, я раздражен, как человек с предрассудками, я оскорблен — но, клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы ни переменить отечества, ни иметь другой истории, как историю наших предков, такую, как нам Бог ее послал».

Эти чудесные, крепкие слова написаны той рукой, которая уже предощутила холод дуэльного пистолета, и продиктованы самой чистой, пламенной и правдивой русской душой, сумевшей в этот момент возвыситься над личными страданиями и раздражениями, победив их волею и чувством справедливости.

Этих слов пусть не забывает на чужбине каждый русский. Мы верим в то, что Россия выздоровеет от долгой и тяжкой болезни и вновь займет подобающее ей место среди мировых государств. Мы не предвидим еще формы власти, под которой она возродится, но уверены, что жизнь ее потечет по широкому и глубокому руслу просвещенного национализма, в котором дружно сойдутся входящие в нее племена, религии и допускаемые государственной мудростью политические партии, работающие на пользу и благо страны. И страшная, кровоточивая борозда, проведенная десятилетним безумием большевизма, заживет. Но рубец от нее останется как память русского страстотерпчества и как суровый, последний урок всему миру.

Красный гроссбух

Правда, нет более жестокой и несправедливой меры из тех, которые применяются на войне, чем система заложничества. Но что поделаешь. Война есть война, и страшно становится, когда подумаешь, на что можно на войне отважиться. Однако из военной истории мы почти не знаем примеров, чтобы заложников хватали для того, чтобы угрозами пыток над ними и смертной казни навести ужас на их сограждан и родственников. Есть сведения о том, что Пебедоносцев изложил проект: в борьбе с террористами отпла-

чивать за каждое покушение головами родственников и близких покусителей. Проект этот был отвергнут. Заложников, взятых на войне, обыкновенно держат в плену с целями размена или выкупа... Здесь сказывается некоторое уважение к врагу и милость к побежденному.

Но какими словами описать то невероятное положение, когда кучка фанатиков, мошенников, упорных идиотов и злых безумцев, самочинно назвав себя правительством страны, держит всю эту огромную страну, все ее стомиллионное население в тягчайшем, кровавейшем залоге. Такой нелепый, кошмарный сон никогда не снился человечеству за тысячелетие его сознательной жизни. «Мы не казним, — говорят большевики, — мы просто уничтожаем». Нет, еще проще — они выводят в расход. У них, видите ли, ведется нечто вроде бухгалтерского гроссбуха. *Налево – приход:* во-первых, все богатства и все имущества России, движимые и недвижимые. Во-вторых, все человеческие жизни и весь прирост русского населения. *Направо – расход.* Во-первых, роскошная жизнь, золото, вино, дворцы, бриллианты и женщины для сотни сатрапов и тысячи клевретов, а также многомиллионные траты на пропаганду и воспламенение всемирной революции в мировой пожар. Во-вторых, расход человеческих жизней.

Этот расход самый широкий. Он уже считается многими миллионами россиян, погибших от голода, от эпидемий, в братоубийственной войне, в карательных экспедициях, в застенках ЧК и в массовых расстрелах. Никогда пролетарский террор не прекращался в России. Уничтожают людей за происхождение, за неловкое слово, за косой взгляд, за ученость и образование, за недовольство воздушным пайком, за ропот по поводу неплатимого жалованья. Убивают просто из той болезненной, свирепой, подозрительной мнительности, которой страдали все злые тираны и сумасшедшие деспоты.

Теперь начинается опять расстрел заложников, тайных врагов Советской республики. Но сколько их? Пожалуй, побольше, чем девяносто процентов всего российского населения. Большевиков в России

давно уже все ненавидят; все, за исключением самих большевиков: на своих подлиз, шутов и прихлебателей большевикам не опереться — продадут.

Но уже подошло время падения большевистской утопии, близится срок, в который обломки фантастического кроваво-красного здания рухнут и полетят вниз, в бездну, со все возрастающей скоростью. Неужели перед своей гибелью большевики хлопнут, по совету Троцкого, дверью? Неужели это хлопание выразится в войне, которой уже давно, бряцая оружием, большевики грозят миру? Конечно, для дураков эта бешеная предсмертная агония будет замаскирована высокими национальными целями. Но таких дураков осталось мало и в красной армии. Все знают, что интернационал — ядовитейший враг национальности. А разводить мировой пожар после того, как сами поджигатели обанкротились перед всем светом столь позорно, жалко и гадко, — кому же будет охота?

Но судьба великой и несчастной заложницы — России — не может и не должна оставить равнодушными мировые державы. Если воззвание к христианским чувствам ныне не достигает до сердец культурных людей, то есть же — черт побери — у них человеческое достоинство?

И страшная жизнь безвольных, бессудных, бесправных миллионов людей проходит ведь не в дурных сновидениях мира, не в ужасной книге, не на Луне или Марсе, а здесь, на маленькой прекрасной Земле, всегда знавшей тяжесть страдания, великую цену сострадания и благостную помощь твердой руки в час катастрофы.

Полковник И. М. Ставский

1889–1927

Илларион Михайлович Ставский родился в июле 1889 года, в заслуженной, исконно военной семье. В 1908 году окончил Петергофскую гимназию; в 1912-м — Николаевское военно-инженерное училище. Служил во Владивостоке, в саперном батальоне. В 1914 году, с начала великой войны, нес боевую службу в понтонном ба-

тальоне в Польше во время наступления немцев на Варшаву. Затем снова перевелся в саперы и принимал участие во взятии Львова и Перемышля.

Истинный воин, по призванию, он после карпатского отката армии решил, ради ближайшего участия в войне, перевестись в пехоту. Это удалось ему после больших усилий. Сравнительно с пехотой, инженерные войска считались привилегированными, и для главного начальства понятен был перевод из высшей части в низшую лишь по дурной аттестации. Тем не менее в 1916 году И.М.Ставский вступил в партизанский отряд полковника Пунина, в котором он командовал конно-саперной командой. После смерти Пунина – уже при Керенском — И.М. принял командование этим отрядом, войдя с ним в состав 12-й армии, под Ригой. При отступлении, в начале 1918 года, он разделил свой отряд на три части. Из них одна обошла Чудское озеро в северном направлении через Нарву, другая – с юга через Псков; Ставский же, с третьей частью, перешел озеро в самом узком месте, привлекая на себя внимание немцев, по льду, и засел в деревне Самблово.

Преследуя Ставского, немцы перешли вслед за ним озеро и попали в ловко стянувшийся мешок, поплатившись множеством пленных, пулеметов и снаряжения.

Это была последняя схватка с немцами на Северо-Западном фронте.

Во время приостановки военных действий Ставский работал усердно в братстве Белого Креста в Петербурге, а в декабре 1918 года одиночкой пробрался в Эстонию, в штаб Северо-Западного корпуса.

В начале мая 1919 года, во время первого наступления на Петербург, Ставский образовал особый отряд из штабного конвоя, атаковал во главе его Ямбург и очистил его от большевиков; а в конце мая ликвидировал прорыв красных у деревень Негодицы — Готонтоло. В июне он вошел в состав Талабского полка, в качестве командира 3-го батальона, и с тех пор делил до самого конца геройскую, славную, самоотверженную и трагическую судьбу этого полка.

При Гатчинском прорыве он самостоятельно обошел обходную колонну красных, разгромил ее и на плечах бегущих красноармейцев первым ворвался в Гатчину.

Инженерные познания и личная энергия помогли ему в поразительно короткий срок наладить совершенно разрушенное железнодорожное сообщение Гатчина–Ямбург.

Ставский не знал отдыха. Вслед за взятием Гатчины Талабский полк в тот же день идет на Царское Село. И затем две недели сплошных боев, дневных и ночных: Онтоло, Царское, Гостимцы, Новосилицы, Сиворицы, Кипень, Красное и т. д.

Сколько нужно было иметь присутствия духа в тех случаях, когда, как, например, в Ропше, положение красных и белых было подобно, по выражению Ставского, пирогу со многими прослойками, или тогда, когда полковник Ставский, комендант Царского Села, должен был трижды менять квартиру своего штаба, всегда засыпаемого снарядами по неуловимому телефонному указанию, или тогда, когда Ставский, приказав своему 3-му батальону Талабского полка отступить, остался один и последний в Царском Селе, в доме близ кирпичного завода на площади, где стояли треугольником три броневика: он сумел уйти невредимым и догнал свою часть.

После Кипени следует арьергардное отступление со всеми его муками и тяжестями. Конец Северо-Западной армии у проволочных заграждений Нарвы, тифозные бараки в Эстонии... конец!

Для многих талабцев – все же не конец. В 1920 году Ставский дерется против большевиков в Латвии при 6-м Рижском полку, в особом партизанском отряде Северо-Западной армии. Затем – Польша... последний вздох меча и обессиленная рука рыцаря. Германия, Париж. Шоферский руль.

И. М. Ставский умер от жестокого туберкулеза во французском госпитале Hotel Dieu. За месяц до его смерти я видел его на панихиде за упокой души капитана Августиновича и других товарищей-талабцев. Он был небольшого роста, с нежным, девическим лицом, на котором пылал зловещий багрянец. Редкие

светлые волосы легким пухом вились на его голове, улыбки почти беззубого рта были приветливы. Мне казалось — начнись опять вооруженная борьба против большевиков — Ставский прожил бы еще много лет. Но утром 27 августа он, находясь в больнице, самовольно пресек свою жизнь. Его самоубийство не было внезапным порывом отчаяния. Еще до поступления в госпиталь он отослал свои записки матери в чужую страну; раздарил свои вещи и книги друзьям. Он опередил смерть всего на двое-трое суток. Он был прирожденным талантливым воином, но умер всего лишь тридцати восьми лет. Он был чудесным товарищем, старшим братом и отцом для солдат, суровым лишь в случаях попыток к грабежу населения. Похоронили его на кладбище Pantin, куда его проводили остатки Талабского полка в лице шести-семи офицеров. Нет! Проводила его до места вечного покоя еще старая француженка m-me Daugnet, хозяйка крошечного ресторана на улице Descartes, где в свободные часы встречались талабцы. Она же возложила на его могилу букет цветов, купленных по подписке французскими посетителями этого кабачка.

Слеза на чужбине или добрый жест — не все ли равно?

Где-то, в углу пятого округа Парижа, французы любили чудесного талабца!

Шахматы

Посвящается Алехину

Только не чемпион! Ради всего изящного и высокого, не чемпион мира, а — король шахматной игры.

Чемпион — это для демократии, для плебса. Чемпионы — Демпсей и Сики. «Черномазый, разбей ему подбородок!» «Джо, выбей цветному глаз!» Но знаменитый шахматист, одолевший на всемирном состязании самого лучшего, самого первого игрока, по всей справедливости и без всякого колебания может гордо носить титул короля шахматной игры.

Эта благородная игра насчитывает за собою тысячелетия. В старых египетских пирамидах ученые находят ее несомненные следы с досками, конями,

башнями и воинами. Раскопки древнейшего человеческого жилья на Крите, относящегося ко временам за три тысячи лет до нашей эры, то есть за тысячу лет до Моисея, и непосредственно примыкающего к неолитической эпохе, — обнаружили каменные, искусно выделанные дощечки, разграфленные в шахматном порядке, и при них загадочные драгоценные фигурки.

Вот это так королевство: древностью в пять тысяч лет и пространством во всю эту круглую вертящуюся штуку — Землю! И какое величие быть королем, властвующим не по правам престолонаследия и не по случайностям плебисцита, а в силу остроты своего ума и всемирного, добровольного и доброхотного согласия, при котором нет ни единого избирателя, протестующего или воздержавшегося.

Недаром так любили эту прекрасную игру все династические короли с медальными профилями и охотно предавались ей в редкие часы отдыха от государственного бремени, от кровавых побед, от восторженного рева и скверного запаха народных толпищ, когда, снявши тяжкие короны, уложив горностаевые мантии в шкафы с нафталином, а грозные скипетры — в шагреневые ящики, устланные внутри бархатом, они радостно чувствовали себя просто людьми, созданными из глины, в которую Божество вдохнуло свое чудесное дыхание.

Любил ее также один великий, отнюдь не династический, но все же сам себя короновавший император. Но он не знал отдыха. Он играл в шахматы накануне страшных боев у себя в походной палатке.

Я не собираюсь писать историю шахмат, но мне приятно сказать о том, что и другие владыки мира, некоронованные владыки, господствовавшие над ним чудесной властью творческого гения, с интересом и уважением относились к шахматной игре. И тут, конечно, на первом плане у меня, как и всегда и повсюду, Пушкин. Вот Ольга и Ленский за шахматами.

Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,

На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

А вот Пушкин пишет Наталии Николаевне в одном из своих прелестных писем: «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе: докажу после».

Жаль – доказательство до нас не дошло.

И еще: вот что он пишет 4 сентября 1831 года в своих «Записках», вспоминая Вульферта: «Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он сказал мне: холера-morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас... Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно, одни во всей России беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы».

* * *

В утешение королям шахмат я могу сказать, что короли власти все играли в эту благородную игру посредственно. Но зато и шахматные короли, старый Стейниц и лохматый милый Ласкер, были бы королями третьего сорта, сидя на золотом троне, под малиновыми занавесками, одетые в парчу.

* * *

Шахматная игра давно окружена легендами. Привожу одну из них.

Жил в древности индийский могущественный раджа. Сверхчеловеческая власть и чрезмерные богатства привели его неизбежно под конец жизни к тоске и усталости. Он жаждал новых впечатлений и не находил их, хотя и готов был заплатить за них щедрой рукою.

И вот пришел к нему однажды некий странник.

– О, всемогущий, преклони свой слух к рабу твоему. Я принес тебе новую великолепную царскую игру... Посмотри.

И показал ему шахматы.

Раджа пришел в восхищение. Играл он с волшебным странником три дня и три ночи подряд и на утро четвертого дня сказал:

– Ты открыл мне неисчерпаемую радость. Проси у меня все, что хочешь.

Странник же возразил, простираясь у его ног:

– О, владыка, даже ты, богатейший во всем мире, не в состоянии будешь исполнить моей просьбы.

Чело раджи нахмурилось. Он сказал сурово:

– Говори. Хоть полцарства.

Путник же сказал:

– Вели положить на первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно, на вторую два, на третью четыре, на четвертую восемь и так далее, с каждым разом удваивая количество зерен. И так, до 64-й клетки.

Лик раджи прояснился.

– Только-то?

И он воскликнул, ударив в гонг:

– Слуги, принесите мешок пшеницы!

Принесли. Стали числить меркой и взвешивать. Но не дошли еще до пятидесятой клетки, когда Раджа вскричал:

– Довольно! Кто посмел насмеяться над царем, достоин смерти. Отрубите голову этому человеку!

И правда: для того, чтобы выполнить скромную просьбу странника, потребно было бы собрать миллион судов, с тоннажем каждый в миллион пудов, и нагрузить их доверху пшеничным зерном. Задача, которая даже и в наше время неосуществима.

1928

До обрыва

Еще не дошло до Гельсингфорса отречение императора, за день до него, матросские команды на военных кораблях уже бросают офицеров в топки, ошпаривают их кипятком из шлангов, кидают в море с привязанными к ногам колосниками. Отдельные матросы, вооруженные кольтами, маузерами и браунингами, рыщут по всему городу, вытаскивая офицеров из их береговых квартир, из семейных гнезд.

Это – первое рычание бескровной революции. Эхо от него разносится по всему Российскому флоту. Выборг, Кронштадт, Севастополь подхватывают его. Корабли, набережные, стены домов обливаются офицерской кровью.

Армия, насквозь пропитанная разлагающей пропагандой, убивает своих офицеров и тает от дезертирства. В светлые дни Временного правительства ходят по улицам Петербурга развращенные, распоясанные, грязные, волосатые, сопливые солдаты или декольтированные матросы с челками и срезают у встречных офицеров погоны. Керенский объезжает войска и демонстративно подает руку лишь барабанщикам.

Оружие, какое только было у мирных жителей, приказано сдать милиции, и вот целыми днями перед бывшими участками терпеливо стоят длинные хвосты послушных, покорных граждан. В июле большевики производят кровавую пробу того, насколько публичная масса напугана и оболванена. Грузовые автомобили, набитые вооруженными солдатами, носятся по всему городу. Без всякой причины, науськанные, пьяные, озверелые хулиганы в военном обличии палят залпами и частым огнем в ни в чем не повинных уличных зевак, в женщин и детей. Петер-

бург не сопротивляется, да и чему сопротивляться? Петербург поспешно залезает в подворотни.

Это была разведка перед Октябрем. Костюмная репетиция.

И вот Октябрь. Позор Учредительного Собрания. Матрос Железняк. Презренное молчание лучших людей огромной страны. Полки, торопящиеся присягнуть насильникам. Подлость отдельных лиц. На фронте ударники и женские батальоны. «Аврора», бомбардирующая Зимний дворец. Десятки тысяч офицеров и интеллигенции как чудовищная жертва, принесенная тени Урицкого. Похабный мир в Брест-Литовске, запечатленный самоубийством генерала Скалона. Свирепый террор, ужас которого увеличивается всеобщим голодом. Усталость, изнеможение, старческое равнодушие. Конец Великой России. «Если я прикажу всем жителям Петрограда идти в такой-то день и час на Марсово поле, где их поочередно будут драть розгами, то в определенное время, — так говорил Троцкий, — весь город станет в хвосты». Это ли не конец?

Нет, все-таки не конец.

На юге России, сперва еле заметно, потом все крепче, все решительнее намечается новое движение против большевистской захватной власти, созревает святой патриотический протест. Это Алексеев с малой группой сподвижников формирует Белую, Добровольческую армию. Со всех сторон угнетенной родины, таясь, прячась, проникая сквозь заградительные кордоны, собираются вокруг Алексеева офицеры и солдаты, не изменившие в проклятых условиях жизни ни любви к родине, ни долгу перед ней. Отсюда открываются первые страницы той книги, в которой написана история Белой Армии, с ее великими подвигами и с ее крестным мученическим путем. Эта книга останется бессмертной в будущей России. Никогда не предадутся забвению славные имена: Алексеева, отца добровольческого движения; Корнилова и Каледина, которые чудом избежали страшной участи генерала Духонина, чтобы вскоре пасть так трагически. Имена погибших со славою Маркова, Дроздовского и имя Покровского, так подло убитого из-за

угла, и еще многие имена воинов, живот свой на поле брани за честь и жизнь отечества положивших. И другие водители армий и отрядов, чудом оставшиеся в живых, тоже будут внесены золотыми буквами в эту великую книгу.

Громадное значение имел белый протест потому, что на почин Алексеева откликнулась истинная Россия со всех ее концов: Миллер с севера, Колчак на востоке, Юденич на северо-западе. Цивилизованному миру было предъявлено неоспоримое свидетельство того, что далеко не вся Россия согнула свою голову под большевистскую пяту и что белые воины, нашедшие теплый приют в доброй Европе, вошли под ее кров не как трусливые или корыстные беглецы, а как доблестные защитники своей родины, сделавшие невозможное для ее спасения, дравшиеся за нее до полного изнеможения, но условиями гражданской войны, изменою друзей и волею судеб загнанные шаг за шагом до стены, до упора, до того морского обрыва, откуда остается спасаться вплавь, полагаясь на волю Божью.

Донбасс

Великий Вольтер занимался несколько лет реабилитацией несправедливо казненного Калласа и, наконец, все-таки добился, хотя и много времени спустя после смерти своего подзащитного.

Золя с пламенной решимостью выступил против общества и правосудия в защиту Дрейфуса, привлекши к этому делу внимание всего цивилизованного мира.

В наши дни мы почти ежедневно являемся свидетелями того самозабвенного, безоглядного, святого самопожертвования, с каким люди идут на помощь кораблям, потерпевшим крушение или затертым льдами, подводным лодкам, затонувшим на большой глубине, безвестно пропавшим авиаторам, путешественникам, заблудившимся в дебрях и пустынях.

Эти отважные подвиги радуют сердце, вливая в него бодрость, новую веру в человечество и новую уверенность в том, какое драгоценное и прекрасное существо человек!

Именно теперь, когда после четырех с лишком лет свирепствовавшей всемирной бойни людьми, по-видимому, всецело овладели жесточайший эгоизм, равнодушие к чужим страданиям, страсть к наживе всякими средствами, жажда грубых телесных утех, полное презрение к таким пустякам, как долг, дружба, любовь, совесть, — именно в наши дни эти отдельные случаи готовности положить душу свою за други своя высятся над миром светлыми спасительными маяками. Обращая к ним глаза и внимание, думаешь с надеждой и благодарностью, что человечество вовсе не до конца растлело, унизилось и испакостилось, что оно только временно переживает тяжкий, но неизбежный кризис, за которым опять придут годы сознательного, доброго творчества.

Но одного не хочет, не может и не умеет понять и принять душа моя. Почему же ни один из этих немногих людей — светочей, людей с горячим сердцем, ясными глазами и неомраченной совестью — не возвысит своего громкого, авторитетного, *человеческого* голоса по поводу того наглого и кощунственного издевательства над правосудием, которое открыто разыгрывается теперь в России под видом следствия и суда по делу шахтенских служащих Донецкого бассейна?

В самом деле: даже самому неопытному, самому непосвященному взору сквозь балаганную, игрушечную, лучинную, аляповатую постройку внешнего правосудия видны мрачные кровавые кулисы, страшные огни и орудия застенка. Там, в проклятой тьме, в сущности, и ведется весь процесс, вся подготовка к заранее известному приговору.

В судебный зал вводят совершенно готовых, вышколенных свидетелей, выдолбивших свои первые показания наизусть. Как, какими дьявольскими средствами, в какой сатанинской кухне обрабатывали обвиняемых — этого не представит себе самый изобретательный ум. Все они покорно, нелепо, механически-равнодушно соглашаются с прокурором. «Да. Вы правы. Я был вредителем (право, точно должность такая существовала). Я повредил шахты, забои, машины». — «Почему вы это делали?» — «Мне платили

деньги». — «С какой целью?» — «Чтобы завод достался прежнему владельцу».

И эту совсем вздорную чепуху повторяют один за другим взрослые, неглупые, хорошие люди.

Но вот одному из свидетёлей, или, вернее, лжесвидетелей, оклеветанный ими друг говорит мягкие слова упрека. И тот закрывает лицо руками, и разражается рыданиями, и берет назад показание. «Я был слишком взволнован». Вот одному из сознавшихся вредителей жена кричит из публики: «Коля, зачем ты лжешь? Зачем взводишь на себя поклеп!» И он, точно освободившись от гипноза, встряхивает головой, приходит в себя и говорит: «Я так страдал на следствии, я так изнервничался...»

Такими загадочными и ужасными штрихами полно каждое заседание!

Имеющие уши и глаза! Имеющие голос и право голоса! Свободные люди свободных стран и городов! Внимание!

Сейчас, под видом дела Донбасса, совершается в России такое ужасное насилие, которое ляжет кровавым пятном на весь культурный мир, если люди совести и власти спрячут голову под крыло.

Кто он?

Он Алексей, но... Николаич,
Он Николаич, но не Лев,
Он граф, но, честь и стыд презрев,
На псарне стал Подлай Подлаич.

Когда надоест

Вот не выходят и не выходят у меня из головы две строчки старых некрасовских стихов:

Злобою сердце питаться устало;
Много в ней правды, да радости мало...

Из этого вовсе не следует, чтобы я вдруг вздумал проповедовать примирение, прощение, непротивление и другие почтенные, но кисло-сладкие вещи. Напротив: честь и слава тем, у кого и до сих пор при од-

ном воспоминании о большевистских кровавых гекатомбах невольно сжимаются кулаки, желтым огнем зажигаются глаза и во рту становится горько.

Но не могу я забыть вот что.

Когда мы еще в самом начале эмиграции, еще переполненные ужасами, творимыми большевиками в Москве, Петербурге, да и по всему лицу земли русской, рассказывали о них европейцам, они не хотели ни слушать нас, ни верить нам. «Слишком неправдоподобно». «Слишком преувеличено».

Однако в скором времени, когда наша скудная летопись, писанная слезами и кровью, сошлась и сверилась с показаниями многих, стало уже неловко.

Разве от прессы можно укрыться и спрятаться? Повсюду: в Англии, во Франции, в Польше, в северных и южных лимитрофах, в Америке и в Индии, во всех европейских колониях растут следы московской пропаганды и московских денег... Конечно, об этих посевах змеиных яиц отлично знает культурный и цивилизованный человек, однако смотрит на эти пагубные явления с окончательно непонятным для нас примирением, прощением и непротивлением. «Нам бы только восстановить торговлю, а потом...» Ну, а что потом? Об этом никто не говорит.

А между тем... в самой России-то пожар все идет да идет на убыль. И вовсе не потому он стихает, что большевики устали, или одумались, или умягчили свои сердца. Нет! Просто потому, что для огня нужна пища в виде горючих веществ и руки для постоянной подтопки. А иностранцам ее уже нельзя и неловко стало считать недостоверной. Тогда умный европеец, чтобы, подобно страусу, опять засунуть голову в песок, придумал другую оговорку:

Революция – это дело особого государства и особого народа. Нам негоже в нее вмешиваться. Каждый народ делает свою революцию на свой собственный манер. Во Франции усердно работала на Гревской площади Святая Гильотина, и в Англии «короля своего Кармуса до смерти убили». Так мы лучше посмотрим со сторонки. Горит у соседа, а не у нас... К нам не перекинется, мы застрахованы бронею нашей многовековой культуры и совершен-

ными противопожарными средствами утонченной цивилизации.

Что же вы думаете? А ведь и в самом деле стало перекидывать через заборы сначала искорки, потом угольки, а потом и малые красные головни от русско-азиатского пожара. Закрывать глаза и прибегать к спасительной фигуре умолчания — в СССР и то, и другое уже начинает убывать, да еще в заметной прогрессивной пропорции?

Не может быть перманентной революции в течение десяти лет, и нет возможности раздувать ее искусственно. Пафос превращается в скучный балаган, жест безобразно застывает в неподвижности, голос гнева и мести народной приобрел отвратительный тембр граммофона.

Да, друзья наши, господа европейцы, Россия разрушилась от насилия, соблазна и соседского покушения. Воскреснет она — правдивая — именно от того, что фальши, притворства и скуки она дальше не потерпит.

Именно здесь, а не в гаданиях на кофейной гуще и не в спиритических сеансах почерпаю полную уверенность в ее скором оздоровлении.

В гостях у Толстого

Я видел Толстого только раз в моей жизни, летом 1904 года в Ялте, на борту парохода «Св. Николай», в тот день, когда Лев Николаевич уезжал из Крыма к себе домой.

Должен оговориться: представили ему меня не по моей просьбе, а по его желанию. Тогда же я получил от него и от Софьи Андреевны приглашение навестить их в Ясной Поляне. Однако этим приглашением — хотя оно и отвечало моей давней заветной мечте — я никогда не решился воспользоваться. Чересчур огромное, потрясающее впечатление произвели на меня пятиминутный незначительный разговор с Толстым и те полчаса, в течение которых я видел его вблизи и издали. Всего больше меня поразила какая-то особая, чарующая простота этого самого необыкновенного из людей, когда-либо мною виденных.

Еще потому я не поехал в Ясную Поляну, что отлично знал, какая масса паломников стекалась к Толстому почти ежедневно. Из этих посетителей иностранцев я отвожу в сторону. У них все-таки предполагались выработанные веками культурные качества: вежливость, тактичность, уважение к Человеку и к Дому Человека, а также инстинктивное понимание мудрого житейского правила: «Гость, знай момент ухода». Русские посетители валили к Великому Человеку со всяким вздором, по самым пустяшным поводам, чаще всего из праздного любопытства, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с усталостью, ни со скукой Льва Николаевича. У них, которые с трепетом и тайной молитвой шли по делу к частному приставу, были, по их дикому, но глубокому убеждению, какие-то полные, неоспоримые права на досуг Гениального Писателя, на его кошелек, на портреты с автографами, на его книги, мысли, рукописи, на его столовую, спальню и другие, более домашние комнаты; наконец, не только на всю его интимную прошлую и настоящую жизнь, но и на его земной прах, как показали первые дни по смерти Толстого. Словом – вот та причина, по которой я не отважился поехать в Ясную Поляну. Боялся попасть в эту досадительную толпу и смешаться с нею.

Но в памяти у меня сохранились из газет, из устных рассказов и пересказов многие встречи с Толстым самых разнообразных личностей. Для меня ценно то в этих анекдотах, что в некоторых из них на мгновение как бы показывается сам Толстой с его такими милыми человеческими чертами, с его простотой, с его лицом, голосом, улыбкой, с мощностью, краткостью и яркостью его слов.

* * *

В Сандуновских банях на полке завязывается общий разговор (отрада бывших москвичей и древних римлян). Толстой, как и всегда, горячо нападает на ложную цивилизацию, на машинную культуру, на войну, на всякий государственный строй. Парящийся инженер спрашивает:

– Ну, хорошо, Лев Николаевич. Предположим, что все это мы похерили. Но что же вы нам дадите взамен?

Толстой отвечает:

— Предположите, что я кому-нибудь дал совет лечиться от дурной болезни, а он меня спрашивает: «Что же вы дадите мне взамен моего сифилиса?»

* * *

В числе многих совопросников и обличителей Толстого приехал к нему отставной полковник, вегетарианец и защитник животных.

— Лев Николаевич. Вот вы говорите о милосердии ко всему живущему, а сами между тем каждый день ездите несколько часов верхом на лошади. Конечно — это для вас удовольствие, но для лошади — принуждение, которое кажется ей и бесцельным, и утомительным.

— Я больше не буду, — сказал Толстой кротко.

И действительно перестал ездить на лошади, на которой катался, кажется, восемь лет. А лошадь ведь так привыкла к нему и каждый день встречала его приход в конюшню радостным, тихим греготанием и тыкалась храпом в его карманы, ожидая сахара. Не умерла ли она от тоски?

* * *

К Толстому приехал из Парижа по поводу перевода его сочинений на французский язык И. Д. Гальперин-Каминский. Л. Н. принял его весьма радушно, но зорким глазом своим сразу увидел, что тот болен.

— Что с вами?

— У меня приступ старой болотной лихорадки, схваченной в Поти.

И вот Толстой настойчиво принимается за лечение своего гостя. Отводит ему отдельную комнату, приносит лекарство, устанавливает режим. И каждое утро приходит с вопросом:

— Ну что? Как? А? Ведь я и сам был болен кавказской желтой лихорадкой.

* * *

Одному писателю, тогда еще очень молодому, но уже довольно известному, он сказал:

— Вот вы такой рослый, плечистый, здоровый, а все как-то киснете. Молодость должна быть энергичной.

— Лев Николаевич, что же мне делать, если меня заедает самоанализ?

— А вы бы, голубчик, поменьше водки пили.

Надо сказать, что писатель этот и был, и остался трезвенником.

* * *

Какой-то одессит долго экономил и копил деньги, чтобы поехать к Толстому и из уст его непосредственно услышать ответ на важный, тревожащий его вопрос:

— Скажите мне откровенно ваше мнение о Максе Нордау.

— Свистун, — сказал Толстой, исчерпав в двух слогах всю сущность знаменитого социолога. Надо сказать, что это был единственный отзыв Л. Н. о Нордау, нагромоздившем о нем много злого и нескромного вздора в своем «Entartung».

* * *

Однажды теплая компания московских благодушных интеллигентов типа, приблизительно, «Русской мысли» и «Русских ведомостей», завтракала в «Большом Московском», причем, как всегда, завтрак дотянулся до обеда. Говорили все о Толстом, о его гении, о его морали. Цитировали наизусть строки из «Казаков», «Войны и мира», «Анны Карениной». Наконец пришли в такое умиленное настроение, что решили поехать всем гуртом в Ясную Поляну на поклон.

И в самом деле, приехали, но уже настолько поздним вечером, что идти к Толстому было не время. Их проводили в баню, где на свежевыструганных белых липовых досках устроили им из сена роскошный ночлег.

Утром москвичи проснулись и пришли в раскаяние и в ужас.

«Батюшки! Что же мы с пьяных глаз наделали?» Умылись наскоро у колодца, попросили прислугу передать Толстому свои извинения и поспешно уехали.

Когда Льву Николаевичу об этом рассказали за завтраком, он сказал:

— Какие славные. Почему их не задержали до меня?

Потом подумал и, тихо улыбнувшись, сказал:

— Я люблю пьяненьких.

Это он-то! Великий враг вина.

* * *

Очень характерен рассказ покойного И.Я.Павловского, рассказ, как раз относящийся к той эпохе, когда обезьянствующие интеллигенты, по примеру Толстого, положили суть нравственной жизни в шитьё сапог.

Летним вечером Л.Н. пошел прогуляться. Сопровождал его И.Я.Павловский. Когда возвращались домой, было уже так темно, что едва стали различимы дальние предметы. Толстой вдруг сказал:

— Здесь налево — деревня. Нам ее не видно, но замечаете ли вы там маленький красный огонек?

— Вижу.

— Там живет мой старый друг, сапожник Фома Евстигнеев. Я вам про него расскажу препотешную историю.

Тогда я только что окончил «Анну Каренину». Сколько я держал корректур — не помню. Очень много. Наконец Катков телеграфировал мне: «Больше корректур не посылаю. Так опоздаем на 10 лет. Отдал приказание печатать».

И вот у меня стала на душе огромная пустота. Точно сбросил с себя человек тяжкий груз, который тащил много верст, и ноги у него сразу ослабли и заплетаются. Ничего я не мог ни делать, ни мыслить. И вот тогда-то и подумал: начну учиться шить сапоги. Ну хоть чем-нибудь заполнил время. А они...

Позднее Толстой сказал:

«Извините, я не толстовец».

* * *

Я не знаю, не помню, кто приехал в Астапово, чтобы встретить там умиравшего Толстого. Но последние его слова незабвенны по своей глубокой и величественной простоте:

«Что вы все так тревожитесь обо мне? Сейчас страдают миллионы людей, а не один Лев».

Ночные бабочки

Многое, многое выпадает из памяти. Но никогда мне не забыть этой ночи с 9-го на 10-е ноября 1910 года.

Жил я тогда в Одессе. Жил одиноко, скучно и бедно. Стояла тоскливая, мокрая, грязная южная зима. Окно моей комнаты выходило прямо на одесский морг, куда то и дело возили покойников, небрежно покрытых рваной холстиной.

Ах! Какое великое и нежное утешение для тоскующего сердца – волшебные творения Толстого! Я развернул наудачу первый попавшийся том. Оказалось – «Казаки».

И вот сразу забылось все: и трупарня, и недуги, и вероломство друзей, и желтое отчаяние, и самое течение времени. Передо мною развернулся душистый толстовский сад.

Читал я до жидкого, мутного рассвета. Ведь когда читаешь Толстого, то раз двадцать вернешься назад, чтобы еще и еще раз насладиться любимым местом. Надо ли признаваться в том, что порою во время чтения плакал я сладкими слезами умиления и бесконечной благодарности? Впрочем, кто же из нас не обливался слезами над вымыслом? С новой и новой радостью слушал я беспечную и мудрую философию кубанского Пана, дяди Ерошки.

– Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть со зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает... А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что это одна фальшь.

И тут же, рядом:

«...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхающимся огнем свечи и попадали в него. “Дура! дура! – заговорил он. – Куда летишь”...»

«...Он приподнялся и стал своими толстыми пальцами отгонять бабочек.

“...Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много”, — приговаривал он нежным голосом, стараясь учтиво поймать ее за крылышки и выпустить.

“...— Сама себя убьешь, а я тебя жалею...”».

Ярко вижу эту милую сцену и уже знаю заранее, что сейчас Оленин спросит дядю Ерошку:

— А ты убивал людей?

И Ерошка, от которого так неприятно пахло чихирем, водкой, табаком и запекшейся дичиной кровью, сурово оборвет его:

— Дурак! Разве легко человеческую душу загубить?

Читаю и, как уже давным-давно, вижу в Оленине тот образ юного Толстого, который мы все знаем по ранним дагерротипам, а вместо Ерошки — позднего Толстого, столь похожего на микеланджеловского Моисея...

Я никогда не был близок с Толстым, я только один раз видел его в течение трех-четырех минут, я никогда не писал ему и никогда не получал от него писем; прошу заметить также, что все сверхчувственное и сверхчеловеческое совершенно чуждо мне. Но в эту памятную, тревожную ночь вся душа моя трепетала у его ног, полная восторга и благодарности.

А наутро я получил из «Русского слова», от Руманова, телеграмму о его смерти...

1929

Помощь студентам

В Париже существует «Русское Общество помощи больным и неимущим студентам». Председатель его В.Н.Сиротинин, товарищи председателя: М.А.Алданов и С.А.Смирнов, казначей и в то же время сердце общества – М.Н.Аитова. С неустанной энергией ведет общество свою ответственную и благую работу.

Мне приходилось слышать многочисленные рассказы о деятельности этого общества, довелось также прочитать большое количество писем, как просительных, так и благодарственных: и те, и другие были трогательно искренни и чрезвычайно деликатны. Общее впечатление у меня сложилось такое: неимущая часть русского студенчества совершенно лишена помощи от семьи, находится в таком тяжелом, бедственном положении, когда каждое «завтра» грозит холодом, голодом, истощением и болезнью.

Конечно, работа на заводе или езда на такси лучше помогли бы студентам сводить концы с концами в тяжелом эмигрантском положении. Но такого вида труд отнимает у человека весь день, оставляя ему время лишь для еды и сна и в конце концов изматывая его силы, духовные и телесные. Юноше, посвятившему себя науке, необходимо урвать хоть вечерние часы на учение и слушание лекций.

Для шофера книга – сладкий отдых в случайно свободный час; для студента физический труд – единственное средство, чтобы учиться по книге, имея минимум питания и крышу над головой. Поэтому студенты поневоле берутся за работы хотя и дешево оплачиваемые, но не занимающие целого дня: моют, например, стекла в кафе и магазинах; служат в ресторанах судомоями и тому подобное.

Ютятся студенты по трое-четверо и больше в неотапливаемых железных чердаках или десятками в полуразрушенных бараках, в которые сквозные ветры свободно приносят и дождь, и снег, или, в печальные дни денежного кризиса, урывками — опять в гулких теплых переходах подземки, или, наконец, зайдя в мрачный ночной кабачок и выпив входной стакан прокислого красного вина, дремлют за столом, положив на него локти и склонив голову на свои кулаки.

И надо еще сказать, что истощенный организм, к тому же плохо подтапливаемый пищей и отвыкший от здорового спокойного сна, — это самое любимое гнездилище для всевозможных болезней.

Из газет мы знаем, что Франция теперь бьет в набат, призывая всех своих граждан к дружной борьбе с туберкулезом, ставшим отечественной опасностью. Но ведь всегда люди помогают сначала своим родным, потом близким, потом соседям, потом землякам. Кто же заступится за русского студента? Когда до него дойдет длинная очередь? Друзья мои! не наша ли первая очередь, не наш ли ближайший долг прийти к нему на помощь?

Я твердо верю в отзывчивость русского общества, и у меня для этой веры есть устойчивые основания. Вспомним времена хуверовских посылок, вспомним сборы в пользу инвалидов, в пользу беспризорных детей, в пользу пострадавших во время общей французской безработицы, вспомним и о частных случаях, когда отдельного человека постигала лихая судьба. Всегда русское сердце откликалось на бедствие, откликалось так ласково, как оно одно умеет. Широко давали люди богатые, еще щедрее — люди среднего достатка, но в простом великодушии впереди них шли люди, чье даяние так походило на лепту евангельской вдовы: жертвовали заводские «экипы», рабочие мастерские, русские гаражи, и часто неизвестные Коля с Варенькой отказывались от конфет и подарков, чтобы скопить свой взнос, столь малый в человеческой руке и столь веский на весах Господних.

Кто станет отрицать величие науки? Но почему она так беспощадна к своим преданным и бескорыстным служителям?

1931

Старый шут

К поездке Бернарда Шоу в Советскую Россию

У известного английского писателя Бернарда Шоу есть несколько превосходных сочинений, написанных преимущественно в драматической форме. Но наряду со сценической славой Шоу особенно знаменит своим парадоксальным образом мыслей. Парадокс, как известно, это — изречение, идущее вразрез с давно усвоенным, привычным понятием и как бы переворачивающее его вверх ногами. Парадоксальным может быть не только слово, но и поступок, жест, музыка, живопись и вкус. Преимущественные же области парадокса — печать и эстрада.

Спокойная, сытая Англия всегда высоко ценила юмор и раньше была богата им. Но кто может сказать, куда в последние десятилетия уходит, исчезает, испаряется этот истинный дар Божий? Его теперь почти и нету на свете. Его заменил грубый бесцеремонный парадокс, которому, по правде сказать, осталось ныне настоящее место только в клоунских репризах.

Расцвет парадокса пришелся ко временам Оскара Уайльда, и надо сказать, что этот великолепный артист слова умел придавать ему изящество и красоту, улыбку и свежесть новизны. Уайльд был выше Шоу на высоту Монблана.

Теперь Бернарду Шоу семьдесят пять лет. В такие годы люди стоят уже на крутом спуске в долину Иосафатову. Какое тут творчество? Когда стало изменять ему творчество драматурга, Шоу заметил это. Да и как было не заметить, когда имеются театральный зал и многоголосая пресса? Он перестал писать пьесы. Однако он все же не замечал, что резвый талант парадоксалиста изменил ему гораздо раньше. Тут не было критерия. Его отупевшим остротам смеялись по прошлому, уже оплаченному счету.

В последние годы он падал с ускорением. Репутация остроумца помутила его ум. Он гримасничал лицом, одеждой и даже обнаженным жалким старческим телом. Заметно было, как он глупеет и пошлеет с каждым парадоксом. Настоящая — породистая и образованная — Англия давным-давно перестала им интересоваться. Тогда он стал выламываться, «валять дурака» для той галерки, которая в Англии зовется «mob»[1], или еще презрительнее «rebel»[2]. Он не мог уже остановиться, объятый недержанием слов, в своем старческом скоморошестве. Парадокс превратился в его организме в «условный рефлекс».

Несколько дней назад он ездил в Россию, засыпая по дороге парадоксами, как старческим песком, пароходы, поезда, таможни, станции и ландшафты. Зачем ему Россия? Зачем он России? А, однако, идут день за днем, и по тридцати раз в день сажают Бернарда Шоу в автомобили и развозят его по всевозможным залам ВЦИК, БРЗЖУК, ТРПФТ, ВЕРЗЛ и так без конца.

И не знает, не понимает, не чувствует жалкий, утомленный, долговязый старец, как смешна и противна его усталая болтовня в дикой стране СССР.

Вся страна тяжело больна трудно излечимой болезнью, грязной болезнью, вроде подкожных вшей, проказы, рака или белокровия. А он, Шоу, пляшет, свистит и гримасничает почти у предсмертного одра.

О! Как ужасен и противен вид старого шута, кривляющегося и лупящего себя по щекам, когда ноги его дрожат, голова седа, руки трясутся, по отвислой губе течет слюна, а голос нудно сипит... Тьфу!

Король-демократ и герой

К десятилетию царствования короля Югославии Александра

16 августа сего года исполнилось ровно десять лет с той минуты, когда на трон Югославии — иными словами: соединенных Сербии, Хорватии и Словении —

---

[1] толпа, чернь *(англ.)*.

[2] мятежники, бунтари *(англ.)*.

взошел король Александр I, славный потомок древнего рода Карагеоргиевича.

В тяжелые и страшные дни пришлось ему надеть корону: во дни, когда его стране грозила свирепая карательная экспедиция немцев и жестокая аннексия, во дни начала всемирной войны и первых успехов Германии.

С самого начала боев король Александр ни разу не покинул своей небольшой, но сплоченной его постоянным присутствием и общностью духа армии. Не было ни одного солдата, который не видел бы своего государя спокойно обходящим окопы во время канонады, пренебрегая защитными укрытиями. Вслед за королем шли югославские воины в движении на Корфу. И венцом его отваги и горячей преданности родине был, несомненно, приснопамятный Салоникский прорыв, который навсегда останется в военно-мировой истории как один из самых доблестных примеров.

В ту пору все настоящие мужчины, считая в их числе и стариков, и юношей, пошли на войну. Державе короля Александра I, оставшейся без оружия и без крепкой защиты, грозила тяжкая и злая участь, ибо одновременно над ее жизнью и независимостью висели три величайшие опасности: со стороны немцев, болгар и турок. Страна вопияла о помощи.

Настойчивая и упорная мысль Александра I о Салоникском прорыве не встречала ни малейшей поддержки среди веских военных авторитетов – среди высших командиров Франции, Англии и России. Ее считали фееричной и невыполнимой. И вот, на последнем вечернем генеральном заседании, услышав в десятый раз о невозможности прорваться, король-герой сказал, со своим, как всегда, приветливым взором, своим негромким, ласковым голосом приблизительно следующее:

– Да, господа, вы, может быть, и правы. Вероятнее всего – вы даже совершенно правы. За вами опыт, военная наука и мудрое благоразумие. Но должен вас уведомить: мною уже отдан приказ моей армии выступить завтра ранним утром, и отменить этого приказа я теперь не могу.

И что это был за великолепный, самоотверженный, сделанный в самых крайних пределах человеческой силы и выносливости поход! Враги с фронта и тыла, с левого фланга и с правого, свирепые погоды, горные кручи и обрывы... и все-таки побеждает воля короля-вождя, магически передаваемая сердцу каждого солдата. И значительно растаявшая армия входит, наконец, в Белград победительницей. Но, Боже, в каком виде! Растрепанная, оборванная, черная от загара и от пороха. Исхудалые солдаты с огромными черными глазами, еле стоящие на ногах от усталости, и впереди — король Александр. Разве такие минуты не запечатлеваются навсегда в памяти и разве они не крепчайшая связь короля с народом?

Судьба милостива была на войне к королю. Сотни солдат падали вокруг него ранеными и убитыми; немецкая пуля попала в голову принца Георгия, родного брата короля, стоявшего с ним рядом, бок о бок, результатом чего была трепанация черепа и впоследствии душевная болезнь. Александр I оставался неуязвимым. Или право то старинное поверье, которое говорит, что смерть отводит свое лицо от тех, кто бестрепетно смотрит ей в глаза?

Проходит 1918 год. Неслыханная, невообразимая по своей громадности и по своим жертвам война окончена. Югославия свободна и независима. Наступает черед ее возрождения и нового строительства. И во главе этой непрестанной, ежедневной работы мы видим волю и инициативу энергичного короля. Теперь нельзя узнать прежних маленьких городков Югославии, бывших похожими на первобытные деревни. Теперь они выстроились, оделись камнем, обзавелись шоссейными дорогами, школами, больницами, университетами.

Белград, этот удивительный город-столица, растет со скоростью новых американских центров и лет через двадцать станет в ряду самых блестящих и крупнейших европейских городов. Конечно, строит и правительство, и строит, надо сказать, широко и мудро. Так, оно выстроило громадные даже для парижского масштаба здания Бактериологического института, Института экспериментальной медицины,

клинику по внутренним болезням и еще много лабораторий и клиник. И все эти здания вынесены почти за город, за Славию, очевидно, предвидя будущую тесноту города.

Учащаяся молодежь отправляется для серьезного, окончательного образования в Париж. Во Франции же учатся молодые югославские офицеры. Армия в Югославии великолепна. Люди, от рождения, прямы, стройны и очень красивы. Многовековые войны создали здесь у мужчин настоящий рыцарский тип: орлиные носы, горящие глаза, воинскую выправку. Восхитительно видеть в Белграде парад Сербской армии, когда над нею высоко реют эскадрильи аэропланов. И всюду в этом упорном строительстве чувствуются глаз, рука, воля короля Александра I.

Король работает много и неустанно, но всегда спокойно. Осенью он разрешает себе недолгие каникулы и уезжает за город в свою собственную усадьбу. У него давняя и прочная дружба со своими соседями, селяками... Он знает, сколько у крестьянина свиней, коров, лошадей, у кого родился сын или дочь, кто потерпел от пожара или недорода... Вместе с тем он — многократно посаженый и крестный отец и всеобщий кум. С удовольствием ходит он к селякам на праздник их славы, пьет с ними густое, черное вино и, говорят, прекрасно танцует «коло» — эту веселую, изящную и красивую хороводную пляску, где так удобно блеснуть мужской удалью.

Крестьяне считают, что их хозяйство становится благословенным, если до его плодов коснется Александрова рука. Они любят его, как родного, и верят ему, как родному.

Для нас, русских, юбилей короля Александра имеет очень большое значение. Александр Карагеоргиевич воспитывался в Петербургском кадетском корпусе и потом — в Пажеском корпусе. Россия пригрела и его старого отца, короля Петра. Россия первая поднялась на защиту Сербии в 1914 году и охранила ее от гибели. Благородное сердце короля Александра I никогда не забывает прошлого, и надо сказать, что русским эмигрантам тепло и уютно живется под милостивым крылом югославского короля.

Петр Пильский

Тридцать лет литературной деятельности

Имя Петра Пильского достаточно хорошо известно и всем писателям, и широкой публике, и мы не сомневаемся в том, что на его юбилей охотно откликнутся русские читатели со всех сторон.

С ранней юности его властно потянула к себе литература, да так и оставила до наших дней под своим непреодолимым, суровым обаянием. Первые его литературные опыты были в чистой беллетристике. Я плохо помню даты, но до сих пор у меня в памяти живы два его рассказа, напечатанные в журнале «Мир Божий» («Современный мир»): один – «Подруги», другой – «У фабричной трубы». Оба были написаны языком свободным, изящным и легким, без всякого подражания кому-либо, ни даже Чехову, с которого тогда усердно списывали все юные писатели. Сам Ангел Иванович Богданович – тогдашний негласный редактор «Мира Божьего» – человек, несмотря на внешнюю хилость и плюгавость, строгий до свирепости, придирчивый, недоверчивый и дерзкий на язык, бурчал, просматривая через дымчатые очки корректуру:

– Да-с, это вам не Потапенко, и не Альбов с Баранцевичем, и не Якубович с Серошевским и Таном. Из этого прет большой талантище: помяните мое слово: он далеко пойдет...

Хвалил его и требовательный Н.К.Михайловский. Но вулканический темперамент, врожденная нетерпеливость, перегруженность занятиями и материалом, неудержимое стремление к печатной борьбе, наконец буйный, боевой темперамент – все эти качества, сами собою, привлекли его на газетную работу, в которой он скоро стал острым критиком, неистовым фельетонистом и задорным спорщиком...

Он знал прекрасно классическую русскую литературу, хотя никогда в полемике и критике не злоупотреблял цитатами из нее. Пильским были горячо встречены первые искренние попытки поэтов-новаторов найти новые созвучия в русском языке и расширить формы поэзии. Бальмонт, молодой Брюсов,

Гиппиус, Гумилев, Блок, Анненский нашли в нем рыцаря и апологета. Писал он также, со всегдашним увлечением, и о конквистадорах новой прозы: о Ремизове, Замятине, Кузмине, Андрееве, Белом и Пришвине.

Зато воистину окунал он перо свое в яд и пропитывал желчью и ацетом, когда пронизывал им литературных приживальщиков, бездарных декадентов, наглых футуристов, «огарков», сопливых членов лиг любви! Как жаль, что блестящие газетные статьи и заметки живут всего один день, подобно пестрым мотылькам!

У Пильского есть очень удачный прием, свидетельствующий о его всегдашнем настойчивом стремлении округлить, зафиксировать тему или портрет. Он берет сравнение, уподобление, родственность черт, схожесть темпераментов и на этом строит свою критику или рисуемый им портрет. Его влечет яркость изображения.

Я не знаю — может быть, Пильский рассердится на меня, если я напомню ему тот вечер, когда мы оба были у Дальского, в доме Княжевича, и видели его в последний раз в наших жизнях. Может быть, Пильский вспомнит, как Мамонт читал нам «Въезд Лариных в Москву», все ускоряя и ускоряя темп, и как широко и величественно распростер он руки, восклицая в конце: «Москва! Москва!» А потом он читал «Отелло», сцену в сенате.

Я видел и не могу забыть, как становились огромными его горящие глаза, как краснели его белки и наливались слезами. Я также помню, как некий талантливый критик нервно поправлял двумя пальцами свое пенсне, чтобы скрыть влажность век...

Прекрасно написаны Пильским моментальные портреты Карсавиной, В. Давыдова, Орленева, лохматого Кугеля и неистового Акима Волынского, статьи, составившие его книгу «Роман с театром». Нашел он точные, дышащие искренней любовью слова о «кулисах», о тайне театра и о цирке. Его мнения и мысли о театре остаются как бы глубокой бороздой, отчеркивающей прекрасное прошлое от нынешних времен.

В 1914 году Пильский был призван на войну и вернулся с нее лишь в конце 1916 года, раненный осколком снаряда. Война укротила, немного остепенила неистовый темперамент Пильского и в то же время отшлифовала его талант.

В начале мартовских дней семнадцатого года он теряет веру в русскую революцию. Первые выступления солдат, матросов, коммунистов и большевиков приводят его в ужас и в негодование. С этих пор Пильский делается непримиримым врагом планетарного опыта большевиков.

В начале восемнадцатого года в одной из бесчисленных антибольшевистских газет, в которых он сотрудничал, Пильский пишет чрезвычайно яркую статью. В ней с научной серьезностью, опираясь на последние данные психиатрии, он классифицирует всех главных проповедников большевизма по видам их буйного сумасшествия и настаивает на заключении их в изолированные камеры сумасшедшего дома, с применением горячечной рубашки. В самый день появления этой статьи Пильский был увезен в здание Революционного трибунала и посажен за решетку. Относительное счастье его было в том, что хлесткий фельетон свой он успел напечатать до убийства Урицкого. Иначе не избежать бы было ему офицерской поездки на баржах из Питера в Кронштадт.

Он вдвойне был виновен перед великой революцией: как белогвардеец, потому что участвовал в войне, и как гнусный милитарист, потому что был тяжело ранен.

Мне не пришлось узнать, какими путями и с какими приключениями удалось ему уйти в Бессарабию, а потом переехать в Ригу. Странно: сколько мне ни приходилось разговаривать на эту тему с беженцами – я всегда находил в их рассказах труднообъяснимые элементы чуда или диковинного случая.

Годы, жестокий опыт и мудрость смирили его севильский темперамент. Прежний Пильский стал глубоким и благожелательным критиком. Феноменальная память сохранила ему великое множество лиц,

событий, анекдотов, речей, слов и приключений, относящихся к прежней бурной нашей жизни в Москве и Петербурге. Рассказы его из этой прошлой красочной области всегда очаровательны.

1933

Иван Сергеевич Шмелев

На днях исполнилось шестьдесят лет Ивану Сергеевичу Шмелеву, одному из самых талантливых и любимейших русских писателей – человеку, чье имя, несомненно, века проживет и тленья избежит.

Шестьдесят лет – это далеко не старость. Это – возраст. Это возраст, когда можно и пора сделать выдающемуся человеку истинную и справедливую оценку. Это возраст мудрости, прозорливости, спокойных, обдуманных решений, беспристрастного творчества, веских слов и умной доброй улыбки...

Шмелев – добрый хозяин: так я его мысленно всегда себе представляю. Своему слову, однажды данному, он, Иван Сергеевич, хозяин верный, крепкий и непоколебимый. Ложь для него отвратна, как грязь и мусор в чистом доме, и неправда никогда не оскверняет его уст.

Все у Шмелева хозяйственно: и глаз, и прочность мысли, и вкусы, и знания, и увлечения. Вот, например, живет он на Лазурных берегах, в благоуханном Грассе, наслаждаясь прелестями юга, а с севера, из Риги, уже летит к нему заказной пакет с семенами муромских огурцов, и Шмелев безошибочно знает, как нужно удобрить грядку, как притенить от солнца молодые всходы и когда поливать их, чтобы через два месяца можно было бы угостить приятелей свежим, ядреным, хрупким огурчиком. Но он замечает также, что южные кедры беспрестанно роняют свои маленькие орешки, и возвращается в Париж с небольшим холщовым мешочком, полным этой любимой московской заедочкой. В Капбретоне он разводит подсолнухи и каждому из них, судя по наружности, дает имена знакомых писателей. Но этого мало. В капбретонском лесу он открывает грузди, которые можно со-

лить впрок, и привозит их в лукошке как будущую солидную закуску для друзей.

Таков он в жизни, но таков же он и в творчестве. Все, что он написал, дышит хозяйственным трудолюбием, совершенным знанием дела, места и языка. Богатство его лексикона необыкновенно широко, и слово всегда ему благодарно, послушно.

Шмелев теперь — последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка... Шмелев... коренной прирожденный москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа. Вот почему большинство произведений Ивана Сергеевича имеют место в Москве...

Эх! Если станешь прилежно всматриваться в теперешних писателей, то без труда найдешь: кто у кого учился, кто у кого заимствовал, кто кому подражал. У Шмелева только один помощник, это — ШМЕЛЕВ. Его узнаёшь сразу, по первым строкам, как узнаёшь любимого человека издали по тембру голоса. Вот почему Шмелев останется навсегда вне подражания и имитации. Бог дал ему редкий свой дар — печать милосердного и великого таланта — спокойный, задушевный юмор.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли тексты А.И.Куприна, написанные им в эмиграции (октябрь 1919 – май 1937) и не включенные ни в прижизненные авторские сборники писателя (Звезда Соломона. – Гельсингфорс, 1920; Рассказы для детей. – Париж, 1921; Суламифь. – Париж, 1921; «Прапорщик армейский» и другие рассказы. – Прага, 1921; Новые повести и рассказы. – Париж, 1927; Купол Св. Исаакия Далматского. – Рига, 1928; Елань. – Белград, 1929; Колесо времени. – Париж, 1930; Юнкера. – Париж, 1933; Жанета. – Париж, 1934), ни в собрания его сочинений, ни в сборники, изданные в СССР и постсоветской России. Тексты представлены с максимально возможной для составителя полнотой. Помимо немногочисленных произведений, указанных в библиографических изданиях (Фостер Л. Библиография русской зарубежной литературы: 1918–1968. Т. 1, 2. Бостон, 1970; Русская эмиграция: Журналы и сборники на русском языке. 1920–1980: Сводный указатель статей / Под ред. Т.Г.Гладковой, Т.А.Осоргиной. Париж, 1988; Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии: 1917–1944. Stanford, 1990–1991), в данную книгу включены тексты, обнаруженные нами при сплошном просмотре периодических изданий русской эмиграции, в которых, по имевшимся у нас сведениям, участвовал или мог участвовать Куприн. Работа по выявлению текстов проводилась в Научной библиотеке федеральных архивов России, в отделе Русского зарубежья Российской государственной библиотеки, в библиотеке-архиве Российского фонда культуры, Научной библиотеке Тартуского университета, Научной библиотеке Рижского университета. Всем сотрудникам этих учреждений, и прежде всего А.А.Федяхину и В.В.Леонидову, а также Т.Л.Ворониной (ИМЛИ РАН), Н.А.Николиной (МГПУ), М.В.Ардову и Н.Н.Глен приношу свою искреннюю благодарность за неизменную помощь в работе.

В настоящую книгу включены произведения, подписанные, помимо фамилии писателя, его инициалами: А.К., А.К-рин, К. (там, где авторство не вызывало у нас сомнений), а также его известным псевдонимом: Али-Хан. Анонимные произведения, опубликованные в изданиях, где активно сотрудничал Куприн, и, возможно, также принадлежащие ему, нами не атрибутировались.

Все произведения Куприна, включенные в данный сборник, разбиты на два раздела. В первый раздел собраны его художественные произведения: мемуарная проза, зарисовки, очерки. Рассказы «Родина», «Красное крыльцо», «Розовая жемчужина», «Московская Пасха», «Пасхальные колокола», «Голос оттуда», «Две знаменитости» навеяны воспоминаниями о детстве и юности писателя, проведенных в Москве, и примыкают к центральному произведению эмигрантского периода Куприна — роману «Юнкера». Цикл рассказов «Обыск», «Допрос», «Рассказ пегого человека», «Кража» описывает жизнь писателя в Советской России в 1918–1919 гг. и примыкает по своему содержанию к повести «Купол Св. Исаакия Далматского» (1928). Возможно, этот цикл вместе с рассказами «Встреча» и «Шестое чувство» должен был войти в состав еще одного большого автобиографического сочинения Куприна, оставшегося незавершенным. В очерках «Старинная музыка», «Обиходное пение», «Островок» и «Веселые дни» отразились впечатления о жизни писателя в эмиграции. Особняком стоит памфлет «Рай» — редкий в творчестве Куприна опыт сатирической антиутопии. Во второй раздел книги включены публицистические и литературно-критические произведения писателя — в своей совокупности они представляют всё многообразие жанров, в которых работал Куприн-публицист и литературный критик в последние два десятилетия своей жизни. Это статьи о писателях-классиках (Пушкин, Толстой, Достоевский) и исторических деятелях прошлого, некрологи, литературные портреты, воспоминания о современниках (политиках, военных, писателях, художниках, артистах, спортсменах); репортажи и хроникальные заметки о культурной жизни Франции и общественной деятельности в ней русской эмиграции; политическая публицистика Куприна, дающая современному российскому читателю совершенно новое представление об этой грани его писательского дарования.

Все произведения Куприна в настоящем издании публикуются полностью, с исправлением замеченных опечаток и явных описок. Сохранены авторская орфография и пунктуация в тех случаях, где они носят принципиальный для Куприна характер.

В примечаниях использованы следующие условные сокращения:

В – Возрождение: Русская ежедневная газета. Париж. 1925–1940.

ИР – Иллюстрированная Россия: Еженедельный журнал. Париж. 1924–1939.

НРЖ – Новая русская жизнь: Ежедневная газета. Гельсингфорс. 1920–1922.

О – Отечество: Еженедельная газета. Париж. 1926.

ОД – Общее дело: Русско-французская газета. Париж. 1918–1922.

ПК – Приневский край: Военно-осведомительная литературная и политическая газета. Гатчина, Нарва. 1919–1920.

РВ – Русское время: Ежедневная газета. Париж. 1925–1929.

РГ – Русская газета: Еженедельная, затем ежедневная газета. Париж. 1923–1924.

С – Сегодня: Ежедневная газета. Рига. 1919–1940.

СР – Свободная Россия (Свобода России, За свободу России): Ежедневная газета. Ревель. 1919–1920.

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Родина (с. 21). – Впервые – *РГ.* 1924. 25 декабря. № 208. Рождественский номер.

С. 21. *С трехлетнего возраста до двадцатилетнего я – москвич.* – Куприн в 1874–1876 гг. жил (с матерью) во Вдовьем доме в Кудрине, в 1876–1879 гг. – в Александровском сиротском училище, в 1880–1888 гг. – во 2-й Московской военной гимназии, в 1888–1890 гг. – в Александровском военном училище.

...моя мать... – Любовь Александровна Куприна (урожд. Кулунчакова; 1839–1910).

...судьба швырнула меня... в самую глушь Юго-Западного края. – В 1890–1894 гг. Куприн служил младшим офицером в 46-м пехотном Днепровском полку, вблизи границы с Австро-Венгрией.

Красное крыльцо (с. 24). – Впервые – *РГ.* 1924. 7 августа. № 89.

Рассказ представляет собой один из первых набросков к будущему роману «Юнкера» (см. гл. «Торжество»). Об отношении писателя к личности императора Александра III

см. рассказ «Розовая жемчужина» и статью «Честь имени» в наст. изд. Рассказ «Красное крыльцо» получил восторженную оценку И.Е.Репина: «Вот сила истинного гениального таланта: краткая страница, слетевшая с крылатого пера, разрастается в огромный этюд в натуральную величину и неизбежно поселяется в памяти навсегда, в виде исторической картины "Войны и мира". О, горячо обнимаю Вас за этот сюрприз» (Письмо И.Е.Репина – А.И.Куприну от 9 сентября 1924 г. Цит. по: Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1979. С.183).

Розовая жемчужина (с. 28). – Впервые – *РВ.* 1925. 13 сентября. № 80. Подпись: Али-Хан.

С. 28. *Сенатор N* – возможно, родственник Куприна по первому браку Дмитрий Николаевич Любимов (до революции губернатор Виленской губернии, член Государственного Совета; после 1917 г. – в эмиграции), давший Куприну сюжеты и для некоторых других его произведений: «Гранатовый браслет» (1911), «Тень императора» (1928).

Петр Алексеевич Ермолов – имеется в виду Ермолов Иван Алексеевич (1831–1914) – артист балета, педагог, дядя М.Н.Ермоловой. Танцевал в труппе Большого театра с 1850 г. С 1858 г. – солист труппы. В 1880–1898 гг. преподавал в Московском театральном училище.

С. 29. *...государыня... наследник с братьями – Георгием и Михаилом, с сестрами – Ксенией и Ольгой...* – Имеются в виду жена Александра III Мария Федоровна (1847–1928) и их дети: будущий император Николай Александрович (1868–1918), Михаил (1878–1918), Георгий (1871–1899), Ксения (1875–1962), Ольга (1882–1960).

Гессе Петр Павлович (1846–1905) – генерал-адъютант, дворцовый комендант.

Московская Пасха (с. 34). – Впервые – *РВ.* 1926. 2 мая. № 268. Пасхальный номер.

Рассказ, навеянный воспоминаниями об Александровском юнкерском училище, – из набросков к роману «Юнкера».

С. 35. *Запах... бархатных жонкилий.* – Жонкилии – сорт садовых нарциссов.

С. 36. *...рыжий леонбергер.* – Порода собак, выведенная в Германии путем скрещивания сенбернара, ньюфаундленда и пиренейской овчарки.

Пасхальные колокола (с. 37). – Впервые – *РВ.* 1928. 15 апреля. № 565. Пасхальный номер.

Автобиографический рассказ. Относится к периоду пребывания Куприна в московском Вдовьем доме (1874–1876).

С. 38. *Но вот и Он, самый главный, самый громадный колокол собора... гордость всей Пресни.* – Имеется в виду храм Иоанна Предтечи на Пресне.

Голос оттуда (с. 40). – Впервые – *ИР.* 1929. № 48 (237).

Набросок к роману «Юнкера», печатавшемуся в те же годы.

С. 40. *...в маленьком юго-западном городишке...* – В 1890–1994 гг. полк, где служил Куприн, располагался в г. Проскурове, местечках Гусятин и Волочиск. См. примеч. к рассказу «Родина».

С. 42. *Это был поясной портрет известного польского писателя и спирита Охоровича.* – Речь идет о Юлиане Охоровиче (1850–1917), польском филологе, публицисте, поэте, психологе.

С. 43. *Десятитысячный реверс...* – Реверс – денежное обеспечение, залог, вносившийся офицером при женитьбе.

Две знаменитости (с. 45). – Впервые – *В.* 1934. 7 января. № 3144. Рождественский номер.

Церковное пение являлось постоянным предметом увлечения Куприна. См. его знаменитый рассказ «Анафема» (1913).

С. 45. *...биржевки с Ильинки...* – Первоначально московское купечество собиралось на биржевые торги в среднем проходе с Ильинки на Гостиный двор, затем на углу Гостиного двора, выходящего на Ильинку и Хрустальный переулок. В 1839 г. напротив Гостиного двора было выстроено здание биржи.

С. 45–46. *...читает он Великим постом в Андреевом стоянии прекрасный канон преподобного Андрия, пастыря Критского, отца преблаженного...* – Андрий (ум. 726), архиепископ Критский, канонизирован православной церковью. На Всенощном бдении (стоянии) на пятой неделе Великого поста читается канон Андрия Критского.

С. 46. *...произнося многолетие...* – «Многая лета» – молитвенное возглашение за богослужением о долгоденствии царствующей особы или высокой персоны.

...мурлыкал тихой октавой рождественский ирмос... – Ирмос – первый стих в каждом каноне, связывающий по числу стоп и строк тропари.

...два лабарданца... – Т.е. плута, обманщика. Лабардан – просоленная и провяленная треска без хребтовой кости.

С. 47. *Партесные номера сочинения таких композиторов, как, например, Сарти и Вейдель...* – Партесное пение – разбитое на голоса по партиям хоровое пение православной церкви. Церковную музыку для партесного исполнения писали итальянский композитор Джузеппе Сарти (1729–1802) и украинский композитор и хоровой дирижер Артемий Лукьянович Вейдель (1772, по другим сведениям 1767, 1770–1808).

Допускался Бортнянский... его прекрасные херувимские... – Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – композитор, капельмейстер, с 1796 по 1825 г. – руководитель Придворной певческой капеллы, автор ряда кантат и ораторий, общегосударственной Литургии, в том числе херувимских песнопений (духовных песнопений православной церкви, получивших свое название от первых слов текста: «Иже херувимы...», исполняющихся в начале Литургии. Наибольшую известность получила «Херувимская» № 7).

Всему предпочитали обиходное пение, собранное Балакиревым, греческие распевы и творения иеромонаха Феофана. – Обиходное пение – песнопения общественного богослужения, собранные в церковную нотную книгу (обиход). Одним из составителей обихода был композитор и хоровой дирижер Милий Алексеевич Балакирев (1837–1910). Национальной особенностью певческого искусства российских мастеров было искусство распева – ведение голосом основного мотива с возможностью многообразных вариаций внутри него. Преподобный Феофан Начертанный (IX в.) известен как составитель более 145 канонов.

С. 48. *Голос этот – не басо профундо, а басо нобиле.* – Т.е. не низкий бас (профундо), а бас благородный (нобиле).

Плевако Федор Никифорович (1842–1908) – юрист, адвокат.

С. 49. *...Коншин прибавляет...* – Коншины – известные в России владельцы мануфактур. Возможно, Куприн упоминает Николая Николаевича Коншина, до преклонных лет стоявшего во главе дела.

Малинин Михаил Дмитриевич (1853–1919) – диакон.

С. 50. *А тестовские расстегаи?* – Имеются в виду знаменитые расстегаи, подававшиеся в популярном среди москвичей трактире, владельцем которого в конце XIX столетия был И.Я. Тестов.

Обыск (с. 52). – Впервые – *В.* 1930. 24 ноября. № 2001; 25 ноября. № 2002.

В основу рассказов «Обыск» и «Допрос» легли события, произошедшие летом 1918 г. в Гатчине, где семья Куприных жила постоянно с мая 1911 г. Арест Куприна большевистскими властями был спровоцирован статьей писателя «Михаил Александрович» (Молва. 1918. 22 июня. № 15) в защиту великого князя Михаила Александровича, высланного в марте 1918 г. из Гатчины в Пермь, а в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. «таинственно исчезнувшего» там (как выяснилось позже, в эту ночь он был похищен и убит группой местных большевиков во главе с Гаврилой Мясниковым без санкции центра). В ночь на 1 июля на даче Куприна был произведен трехчасовой обыск, после которого писатель был арестован и препровожден в помещение гатчинского совдепа. Утром 1 июля его увезли в Петроград и поместили в здание Революционного трибунала. Вскоре Куприн был переведен в тюрьму «Кресты». Арест писателя длился в общей сложности трое суток. 4 июля он был освобожден из-под стражи. По этому поводу в газете «Вольность» (от 4 июля) появилась статья А. В. Амфитеатрова: «Лично писатель не был знаком с князем Михаилом Александровичем – единственная связь, существовавшая между ним и б. князем, заключалась в том, что детям А. И. Куприна и детям М. А. преподавала французский язык француженка Берле. В восстановление монархии в России А. И. Куприн абсолютно не верит и лично является противником всякой власти. Власть одного человека над другим – это духовное нищенство». О событиях, связанных с великим князем Михаилом Александровичем и его семьей, имевших место в начале 1918 г., см. также очерк В. Е. Гущика «Тайна одной переписки» (Вести Дня. Таллинн. 1926. 11 декабря. № 72).

С. 52. *Отец Евдоким* – прототипом этого персонажа послужил священник о. Александр, с которым Куприн свел близкое знакомство в Гатчине.

...двадцать пять граммов аптекарского ректи... – Ректи – очищенный спирт.

С. 53. *Дальский* (наст. фам. Неелов) *Мамонт* Викторович (1865–1918) – драматический актер. В 1917–1918 гг. – анархист. В июне 1918 г. погиб в Москве. Об отношениях М. Дальского и Куприна см. в кн.: Куприна К. А. Куприн – мой отец. С. 70–71.

С. 57. *Дрозд-Бонячевский* Александр Иванович – генерал-майор, с 26 января 1909 г. комендант Гатчины.

С. 58. *«Новое время»* – ежедневная петербургская газета (1876–1917). Закрыта большевиками.

«Колокол» – ежедневная петербургская газета церковно-монархического направления (1905–1917).

«Речь» – ежедневная петербургская газета. Орган конституционно-демократической партии (1906–1917).

«Биржевка» – имеются в виду «Биржевые ведомости» – ежедневная петербургская газета (1880–1917).

С. 60. *Николай Николаевич* (Старший) (1831–1891) – великий князь, фельдмаршал, командующий русской армией в период русско-турецкой войны (1877–1878).

С. 61. *...тянулись низкие скамьи, обитые манчестером, рисунок которого я... принял за настоящий текинский ковер.* – Манчестер – хлопчатобумажный бархат; текинские (туркменские) ковры издревле считаются непревзойденными по художественному мастерству.

...был похож на... медведя-овсяника. – Медведь-овсяник – средний по размерам бурый медведь, охотник до овса.

С. 62. *...в память тех дней, когда я плавал на «Штандарте»...* – «Штандарт» – яхта, принадлежавшая Николаю II и императорской семье. См. также рассказ «Допрос» и примеч. к нему.

Красного вина, хотя бы удельного. – Удельное вино – вино из винограда, выращиваемого на удельной (т. е. принадлежащей дому Романовых) земле.

С. 64. *А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: «Расстрелян, к чертовой матери».*

Крандиенко улыбнулся светло и широко, от уха до уха...

– Не сирчайте, товарищ Куприна. Це я пошутковав трошки. – Ср. с воспоминаниями К. А. Куприной: «Оказывается, когда мама звонила, чтобы узнать о судьбе Куприна, комендант пошутил и ответил своей любимой фразой: “Расстрелян, к чертовой матери”. Мама кинулась на него с упреками, но он радужно улыбнулся: “Я трошки пошутил, товарищ Куприна”» (Куприн – мой отец. С. 94–95). История ареста описана Куприным также в рассказе «Шестое чувство» (*В.* 1930. 21 декабря. № 2028; 22 декабря. № 2029).

Допрос (с. 65). – Впервые – *В.* 1930. 14 декабря. № 2021; 15 декабря. № 2022.

С. 66. *«Однорукий комендант»* – рассказ Куприна. Впервые опубликован в альманахе «Окно» (Кн. 1; Париж, 1923).

Скобелев Иван Никитич (1778–1849) и его внук *Скобелев Михаил Дмитриевич* (1843–1882) – русские генералы.

Личный ординарец М.Д.Скобелева – Ефим Викентьевич Гущик (его семья жила в Гатчине; сын его, Владимир Ефимович (1892–1947), стал близким другом и литературным учеником Куприна).

С. 67. *Упоминал небрежно имена Занковецкой, Саксаганского, Садовского, Кропивницкого и Старицкого.* – Актеры, игравшие в киевских малороссийских частных труппах, суфлером которых был Куприн: Занковецкая М.А. (1854–1934); Саксаганский П.К. (1859–1940); Садовский Н.К. (1856–1933); Кропивницкий М.Л. (1840–1910); Старицкий М.П. (1840–1902).

«Наталка Полтавка» – пьеса И.П.Котляревского (пост. 1819; одноименная опера Н.В.Лысенко).

«Запорожец за Дунаем» – комическая опера С.С.Гулак-Артемовского (1863).

«Глитай, абож Павук» – «Мироед, или Паук» – пьеса М.Л.Кропивницкого (1882).

С. 68. *...о своем друге Деревенко...* – Деревенко Андрей Еремеевич (ум. 1921), боцман императорской яхты «Штандарт», стал дядькой наследника русского престола цесаревича Алексея Николаевича (1904–1918).

С. 69. *...в одной из тогдашних бесчисленных летучих газет...* – Имеется в виду газета «Молва». См. примеч. к рассказу «Обыск».

Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924) – прозаик.

Василевский Илья Маркович (псевд. Не-буква; 1882–1938) – фельетонист, журналист, литературный критик. В 1920–1923 гг. – в эмиграции. С 1922 г. – сменовеховец. См. полемику Куприна с ним в статье «Какая стыдливость!» в наст. изд.

С. 70. *Володарский* (наст. имя и фам. Моисей Маркович Гольдштейн; 1891–1918) – социал-демократ. В 1913–1917 гг. – в эмиграции. С 1917 г. – большевик. После Октябрьского переворота – член президиума ВЦИК, редактор петроградской «Красной газеты», с марта 1918 г. – комиссар Петрокоммуны по делам печати, пропаганды и агитации. Убит в Петрограде 20 июня 1918 г. эсером-террористом. Его памяти Куприн посвятил статью «У могилы» (Эра. 1918. 8 июля), написанную вскоре после выхода из заключения.

С. 73. *Каплица* – часовня, молельня.

Наездники Дикой дивизии обожали его... – В 1914 г., по предложению наместника Кавказа И.И.Воронцова-Дашкова, была сформирована из кавказских народностей кава-

лерийская дивизия, прозванная «дикой». Начальником Дикой дивизии был назначен великий князь Михаил Александрович.

Рассказ пегого человека (с. 75). — Впервые — *В.* 1934. 8 апреля. № 3231. Пасхальный номер.

С. 76. *Что в имени тебе моем? Оно пройдет, как шум скандала.* — Пародийный парафраз стихотворения А.С.Пушкина «Что в имени тебе моем?..» (1830).

Спросите любого... продольного ямщика... — Продольный (протяжный) ямщик — делающий большие прогоны без смены лошадей.

С. 77. *...наших серых креков...* — Крек — порода лошадей.

С. 80. *...поставить... в трант и карант...* — Т.е. на тридцать и сорок.

С. 82. *...в десятинную церковь...* — Первая кирпичная церковь на Руси, была построена в 991–996 гг. в Киеве при киевском князе Владимире Святославовиче в центре Киевского кремля. Свое название получила от слова «десятина», т.е. десятой части княжеских доходов, выделявшихся на содержание церкви.

Кража (с. 83). — Впервые — *В.* 1930. 1 января. № 1674.

В рассказе Куприн описывает события, связанные с отступлением Северо-Западной армии генерала Юденича в октябре-ноябре 1919 г., непосредственным участником и летописцем которых стал он сам. В частности, летом 1920 г. на вопрос корреспондента газеты «Общее дело»: «Какое впечатление осталось у Вас от армии Юденича?» — Куприн ответил: «Самое лучшее: прекрасная дисциплина, мужество и выносливость» (16 июля, № 79).

С. 83. *Заключен был в Бресте похабный договор...* — Мирный договор между Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией был заключен в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. «Похабным», т.е. унизительным для России, его считали представители всех политических партий, в том числе и подписавшие договор большевики. 13 ноября 1918 г. договор был аннулирован Советским правительством.

...в тот отряд, который тогда формировался вблизи Пскова, на Талабских островах, и который потом развернулся в славный Талабский полк. — Талабский полк — часть Северо-Западной армии, формировашаяся из крестьян-добровольцев на Талабских островах Чудского озера под командованием полковника, а затем генерала М.Н.Пермикина.

С. 84. *...в девятнадцатом году, после неудачи у «Красной Горки»...* — «Красная Горка» — форт на берегу Финского залива, защищавший подступ к Петрограду. 13 июня 1919 г. гарнизон форта поднял антибольшевистское восстание, подавленное в течение нескольких дней.

...Юденич... приехал со своим штабом в Нарву, чтобы лично руководить действиями Северо-Западной армии. — Юденич Николай Николаевич (1862–1933) — генерал от инфантерии в русской армии. В марте-апреле 1917 г. — главнокомандующий войсками Кавказского фронта. Осенью 1918 г. эмигрировал в Финляндию, затем — в Эстонию. 10 июня 1919 г. назначен Колчаком главнокомандующим Северо-Западной армией. Северо-Западная (сначала Северная) армия была сформирована в Эстонии 19 июня 1919 г. на базе Северного корпуса. При поддержке государств Антанты в сентябре она начала наступление на Петроград. Передовые части дошли к 17 октября до Пулково. В конце октября-ноябре армия потерпела поражение; ее остатки были отброшены в Эстонию. 22 января 1920 г. армия официально прекратила свое существование. Н. Н. Юденич прошел весь путь Северо-Западной армии. С 1920 г. — в эмиграции.

...русское правительство, имени Колчака... — Колчак Александр Васильевич (1873–1920) — адмирал, моряк, полярный исследователь, государственный деятель. В 1916–1917 гг. — командующий Черноморским флотом. В 1917–1918 гг. — за границей (Англия, США, Япония, Китай). В октябре-ноябре 1918 г. — военный министр в Правительстве Всероссийской Директории. 18 ноября 1918 г. в результате переворота в Омске, свергнувшего Директорию, захватил власть и был объявлен Верховным Правителем России. Существовавшее при Колчаке правительство и он сам, провозгласив лозунг «единой, неделимой России», не признавали государственную независимость стран, возникших на западной границе бывшей Российской империи, что затрудняло возможность сотрудничества этих государств с белым движением. О А. В. Колчаке см. статью «Кровавые лавры» в наст. изд.

Английский генерал Марч передает в ультимативной форме приказание Юденичу о сформировании в Ревеле Северо-Западного русского правительства... — Марш (Марч) Франк Грэм (1875–1957) в 1919 г. командовал английскими войсками на Северо-Западном фронте в районе побережья Балтийского моря. В начале августа 1919 г. правительство Эстонской республики стало выражать резкое недовольство действи-

ями командования Северо-Западной армии, находившейся в основном на территории Эстонии, которой до того времени оказывало значительную военную помощь, и поставило перед британским командованием вопрос о ее немедленном расформировании. В первой декаде августа 1919 г. английские генералы Гоф и Марш, собрав русских политических деятелей в Таллинне, в ультимативной форме потребовали от них немедленного создания русского правительства, которому будет подчиняться Северо-Западная армия, а также немедленного признания этим правительством суверенитета Эстонии. Состав правительства, в значительной мере, был также продиктован английским командованием. 11 августа 1919 г. такое правительство во главе с С.Г.Лианозовым было создано и получило признание генерала Юденича. Однако трения между правительством и командованием продолжались до расформирования Северо-Западного правительства в декабре 1919 г.

Иванов Николай Никитич – до 1917 г. присяжный поверенный и банкир в Петрограде, публицист. В июне-июле 1919 г. руководил гражданской администрацией освобожденного от большевиков Пскова. В Северо-Западном правительстве некоторое время исполнял обязанности министра общественных работ. Оставил воспоминания: «Записки бывшего члена Северо-Западного правительства» (Архив гражданской войны. Т.1. Берлин, 1922).

С. 85. *Переломным событием можно считать появление в Нарве первых эшелонов ливенцев, принадлежавших к той добровольческой дивизии, которую сформировал в Либаве светлейший князь А.П.Ливен.* – Ливен Александр Павлович (1862–1937), светлейший князь – до 1917 г. – ротмистр кавалергардского полка; в январе 1919 г. основал на свои средства русский добровольческий отряд для борьбы с большевиками, который к осени превратился в дивизию (5-я дивизия), сражавшуюся в составе Северо-Западной армии. После гражданской войны жил в Латвии.

Гольц Рюдигер фон дер (1865–1946) – генерал. В январе-октябре 1919 г. командовал германскими оккупационными войсками в Прибалтике.

...к ужасным Гогу и Магогу... – Гог и Магог в эсхатологических мифах иудаизма, христианства и ислама – символы «конца времен». В обиходной речи синонимы тиранов, злодеев.

Гофф Губерт – генерал; в 1919 г. – главнокомандующий войсками стран Антанты в районе Балтийского моря.

С. 86. *...из какого Мейнингского театра...* – Оперный театр в Германии, славящийся своими бутафорскими декорациями.

С. 87. *Мне пришлось, два года назад, написать и поместить в «Возрождении» в виде фельетона почти все, чему я был свидетель...* – Куприн был сотрудником «Возрождения» с сентября 1927 г. по май 1934 г. Имеется в виду документальная повесть «Купол Св. Исаакия Далматского» (впервые: *В.* 1927. 6 февраля. № 614 – 24 февраля. № 634).

С. 87–88. *Позднее я собрал эти статьи в отдельную книгу...* – «Купол Св. Исаакия Далматского» вышел отдельным изданием в 1928 г. в Риге с предисловием П.М.Пильского.

С. 88. *Была в Ревеле такая социал-демократическая газетка на русском языке (не «Свобода России» ли?)...* – Имеется в виду «Свободная Россия» (далее «Свобода России», «За свободу России») – литературно-политическая газета. Издавалась в Ревеле в 1919–1920 гг. Статьи Куприна, помещенные в ней, см. во втором разделе наст. изд. По поводу этой газеты ревельские «Последние известия» писали: «Вначале она была органом Юденича, а затем стала проявлять все большее тяготение к большевизму и, наконец, стала его рупором» (1920, № 13).

Дюшен Борис Васильевич (1886–1949) – журналист и политический деятель. В 1919 г. – один из неофициальных фактических редакторов газеты «Свобода России». В 1919–1920 гг. жил в Ревеле. С 1922 г. – сменовеховец, сотрудник берлинской газеты «Накануне». Автор книги «Республики Прибалтики» (Берлин, 1921).

Кирдецов Григорий Львович (наст. фам. Дворецкий; 1880–1938?) – журналист. Уехал из Петрограда осенью 1918 г. В 1919 г. прибыл в Ревель с документами на имя английского корреспондента Фиц-Патрика. В 1919 г. – один из неофициальных редакторов газеты «Свобода России». С 1922 г. – сменовеховец. В 1922–1924 гг. редактировал берлинскую газету «Накануне», затем работал в отделах печати советских посольств в Берлине и Риме. Автор воспоминаний «У ворот Петрограда. 1919–1920» (Берлин, 1921).

Башкиров Кирилл Александрович – журналист-экономист. В 1919–1920 гг. – корреспондент газеты «Свобода России». В 1921 г. уехал в Ригу. Автор книги «Под белым крестом» (Рига, 1922).

С. 89. *Арабажин* Константин Иванович (1866–1929) – критик, историк литературы. В 1913–1919 гг. жил в Гельсингфорсе. В 1918–1919 гг. редактировал там газеты «Русский голос» и «Русская жизнь». В 1920 г. уехал в Ригу.

«Русская жизнъ» – ежедневная газета, издававшаяся с марта по ноябрь 1919 г. в Гельсингфорсе. С декабря – «Новая русская жизнь».

С. 91. *...как два громадных меделяна.* – Меделян – порода собак. В России Куприну принадлежал меделян по кличке Сапсан – см. одноименный рассказ Куприна (1916).

Рай (с. 94). – Впервые – *С.* 1921. 7 июня. № 126.

Фантастическая сатира на казарменный коммунизм (любопытно, что в том же 1921 г. Е. Замятин закончил свой роман «Мы», ставший классическим образцом этого жанра).

С. 94. *Плиний* – Гай Плиний Секунд (Старший) (24–79) – древнеримский писатель, ученый, государственный деятель, естествоиспытатель.

Встреча (с. 99). – Впервые – *РГ.* 1925. 19 апреля. № 304.

С. 99. *...со старинным знакомым, бывшим (?) сенатором Л.*– О Любимове Дмитрии Николаевиче см. примеч. к рассказу «Розовая жемчужина» в наст. изд.

С. 100. *...разговор с его свойственницей, издательницей журнала «Мир Божий» Давыдовой.* – Давыдова (Горжанская) Александра Аркадьевна (1849–1902) – мачеха первой жены Куприна М. К. Иорданской-Куприной.

С. 103. *...кровавый Кишиневский погром...* – Один из крупнейших еврейских погромов в истории России (1903).

Островок (с. 106). – Впервые – *РГ.* 1924. 13 июня. № 69.

С. 107. *А. И. Петров*, директор русской гимназии в Моравской Тржебове, участвовал в подготовке к изданию кн.: Воспоминания 500 русских детей / Предисл. В. В. Зеньковского. Прага, 1924.

С. 110. *В прежнем рефектуре спальня мальчиков...* – Рефектур *(лат.)* – столовая.

С. 111. *...дело энергии и щедрости Л. М. Розенталя...* – Розенталь Леонард Михайлович (ок. 1870–1955) – предприниматель. Выходец из России. В молодости переселился во Францию и сделал там большую коммерческую карьеру. Был известен в кругах русской эмиграции как «король жемчуга», меценат. В апреле 1922 г. предлагал денежную по-

мощь Куприну, Мережковскому, Бунину и Бальмонту (см. кн.: Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. Милицы Грин. Т. 2. Франкфурт/Майн, 1981. С. 85). За денежной помощью к Розенталю обращалась также М. Цветаева (см. текст ее письма к Розенталю от 7 марта 1925 г. в кн.: Цветаева М. Неизданное: Сводные тетради. М., 1997. С. 345).

С. 113. *...жена и дочь – открыли в Гатчине лазарет – самый маленький – всего на десять человек.* — Подробнее об этом см. в кн.: Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 66–67.

Старинная музыка (с. 116). — Впервые — Либавское русское слово. 1926. № 95.

События, изложенные в очерке, нашли также отражение в письме Куприна к дочери Ксении от 1 сентября 1925 г.: «Вчера я был в театре на представлении оперетки Доницетти (XVII столетие) "Фаворитка", под открытым небом и освещением электрическим и лунным, а вместо стен — два ряда старых огромных платанов» (Цит. по кн.: Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 209).

С. 116. *Доницетти* Гаэтано (1797–1848) — итальянский композитор.

...променуар три франка. — Здесь — «стоячие места» в партере.

...«Кармен»... с участием великой Сесиль Кеттен... — Об исполнении роли Кармен французской оперной певицей Сесиль Кеттен (ум. 1912) см. очерк Куприна «Лазурные берега» (гл. «Кармен»).

Обиходное пение (с. 120). — Впервые — *РВ*. 1928. 11 ноября. № 595.

С. 120. *...на регента Афонского и на его прекрасный церковный хор.* — Афонский Николай Петрович (1892–1971) — регент русской православной церкви. В 1925 г. в Париже был назначен регентом в Кафедральный собор Св. Александра Невского и приступил к созданию парижского Митрополичьего хора (хор Афонского), которым руководил в течение двадцати двух лет, до переезда в США в 1947 г.

С. 121. *...остался лишь монастырский канонарх...* — Канонарх (буквально старший над хором) — один из клира, начинающий пение тропарей канона; здесь и в значении сольного исполнения, оставшегося преимущественно в монастырях.

С. 122. *Вспомним знаменитые капеллы: Сахарова и Юхова в Москве, Калишевского в Киеве, Придворную капеллу в Петербурге*

и почти все Митрополичьи хоры. – Юхов Иван Иванович (1871–1943) – хоровой дирижер; в 1900-е годы организовал в Москве любительский хор, преобразованный в 1919 г. в 1-й Государственный хор (с 1925 г. – хор им. М. И. Глинки). Калишевский Яков Степанович (1856–1923) – украинский хоровой дирижер; с 1893 по 1923 г. – руководитель церковного хора в Киеве; в 1919 г. возглавил в Киеве хоровую капеллу им. Н. В. Лысенко. Придворная певческая капелла в Петербурге основана в 1713 г. Ее первоначальное ядро составили тридцать певчих, привезенных в Санкт-Петербург Петром I. С 1756 по 1793 г. капеллой управлял Марк Федорович Полторацкий; с 1796 (официально назначен с 1801 г.) по 1825 г. – Д. С. Бортнянский; пост директора капеллы в разное время занимали также Ф. П. Львов и М. И. Глинка. Из всех Митрополичьих (областных) хоров в эмиграции наибольшей известностью пользовался хор Н. П. Афонского.

Пели в церквах четверо Кедровых. – Имеется в виду сохранивший традиции православного литургического пения знаменитый квартет под управлением Николая Николаевича Кедрова (1871–1940) – выпускника Петербургской консерватории, руководителя хора дебютантов в Бесплатной школе Балакирева, артиста Московской Частной оперы, основателя квартета (1897); в квартете участвовали также его брат Константин Николаевич Кедров (вошел в квартет в 1913 г.) – певец; сын Николай Николаевич Кедров (младший) (ум. 1981) – выпускник Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова, пианист (вошел в квартет в 1930-е годы); Н. Денисов – бывший тенор Мариинского театра. Квартет прекратил свою деятельность после Октябрьского переворота, воссоздан уже в эмиграции в 1920-е годы.

Не говорю о каком-то попе-расстриге, который затеял женско-мужской церковно-светский хор «Садко». – Имеется в виду И. Титов – руководитель хора «Садко».

Интереснее был давнишний хор Кибальчича. – Кибальчич В. Ф. – хормейстер, режиссер, актер, педагог.

С. 123. *Сургучев* Илья Дмитриевич (1881–1956) – прозаик, драматург, очеркист. С 1920 г. – в эмиграции.

Веселые дни (с. 124). – Впервые – *ИР.* 1929. № 49 (186).

Летний сезон 1929 г. семья Куприных провела на юге Франции (Лазурный берег, мыс Гурон). Французская Ривьера напоминала Куприну российский уголок на западном

побережье Черного моря Баты-Лиман, который до революции был излюбленным местом отдыха русской интеллигенции (Милюков, Короленко, Чириков, Билибин и др.). В середине 1920-х годов, оказавшись в эмиграции, бывшие «баты-лиманцы» пытались возродить близ Ниццы второй «Баты-Лиман». На Лазурном берегу Куприным была написана серия очерков «Мыс Гурон» (1929). К ним непосредственно примыкает и очерк «Веселые дни».

С. 127. *...тиров для стрельбы из монтекристо.* — Монтекристо — пневматическое ружье. Получило название по имени героя романа Дюма-отца «Граф Монте-Кристо».

ФЕЛЬЕТОНЫ, СТАТЬИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ, НЕКРОЛОГИ, ЗАМЕТКИ

1919

Еда (с. 133). — Впервые — *ПК.* 1919. 24 (11) октября. № 3. Подпись: А. К.

25 октября 1917 – 25 октября 1919 г. Владимир Ульянов-Ленин (с. 135). — Впервые — *ПК.* 1919. 25 (12) октября. № 4.

Одна из первых статей Куприна, написанных для белой печати. Статья представляет собой первую попытку писателя дать психологический и политический портрет вождя большевистской партии, основателя Советского государства. В дальнейшем Куприн посвятил Ленину несколько статей (см.: «Ленин. Опыт характеристики», «Ленин. Моментальная фотография», «Ленин», «Рака» в наст. изд.). Биографию Ульянова-Ленина Куприн излагает на основании немногих имевшихся тогда печатных источников, а также воспоминаний соученика Ленина по симбирской гимназии поэта А. Коринфского (см. примеч. к статье «Ленин. Опыт характеристики»). Многочисленные ошибки и неточности (например, упоминание о том, что В. Ульянов ездил к брату Александру, ожидавшему казни, что отец Ленина был помещик и т. д.) оставлены нами без комментариев.

С. 136. *Он был обвинен в шпионстве и в измене, он должен был быть предан смертной казни...* — 5 (18) июля 1917 г. после провала большевистского восстания в Петрограде министр юстиции Временного правительства П. Н. Перевер-

зев передал в печать материалы еще незаконченного расследования о связях Ленина и некоторых других большевистских вождей с германским военным командованием и финансировании большевиков из-за границы. Вскоре было объявлено о возбуждении уголовного дела по обвинению в государственной измене против двенадцати человек. Двое главных обвиняемых — Ленин и Зиновьев — скрылись от ареста, остальные десять были арестованы, однако через два месяца освобождены под залог. Относительно «смертной казни» Куприн ошибается — она была отменена Временным правительством еще в марте 1917 г. за все преступления.

С. 137. *Это его слова повторит Троцкий в сентябре 1917 года: «Мы, большевики, поставим в конце Невского у Адмиралтейской площади громадную гильотину и отсечем головы всем тем, кто не пойдет с нами и за нами...»* — Неточная цитата из речи Троцкого «О свободе печати», произнесенной в Петрограде 27 ноября 1917 г.

С. 138. *Керенский воспротивился этому.* — Мнение Куприна, что аресту Ленина воспрепятствовал Керенский, ошибочно.

Кресты — дом предварительного заключения в Петрограде.

С. 139. *При том – толпа опричников с Малютой Скуратовым во главе, при этом – латыши и китайцы с Петерсом...* — Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (ум. 1573) — приближенный Ивана Грозного, прозванный Малютой, с 1565 г. стоял во главе политического сыска и отличался особой жестокостью и личным участием в казнях. Петерс Ян (Яков) Христофорович (1886–1938) — большевик, с декабря 1917 г. — председатель Ревтрибунала, член коллегии и заместитель председателя ВЧК; в 1919 г. — уполномоченный ЧК в Петрограде, для жителей которого его имя стало символом красного террора.

...с ним смело говорили Сильвестр и Адашев... — Сильвестр (ум. 1566) — священник, с 1560 г. — монах. Писал Ивану Грозному послания, в которых высказывал свое несогласие с его политикой. Алексей Федорович Адашев (ум. 1561) — государственный деятель, приближенный Ивана Грозного, с 1560 г. — в опале.

Хамелеоны (с. 140). — Впервые — *ПК*. 1919. 2 ноября (20 октября). № 7. Подпись: А.К.

Памяти Леонида Андреева. «Спасите наши души!» (с. 141). — Впервые — *СР.* 1919. 20 ноября. № 54.

Леонид Николаевич Андреев (1871–1919) был литературным ровесником Куприна. В 1902–1911 гг. писателей связывали приятельские отношения и сотрудничество в одних и тех же литературных изданиях — альманахах «Знание», «Шиповник», журнале «Мир Божий» («Современный мир»). Эти отношения прервались после резкой стычки 2 ноября 1911 г., вызванной личной размолвкой («драка Куприна и Андреева» стала в тот период одной из центральных тем бульварной российской прессы). Андреев, сразу после большевистского переворота уехавший из Петрограда на свою дачу в Финляндию, стал после закрытия границы между Финляндией и Советской Россией в мае 1918 г. одним из первых русских писателей, оказавшихся в эмиграции. В феврале 1919 г. Л. Андреев написал памфлет «SOS» — страстный призыв к интервенции стран Запада против Советской России. Этот памфлет был в 1919 г. одним из центральных пропагандистских документов, распространявшихся в Северо-Западной армии генерала Юденича. Таким образом, Леонид Андреев являлся как бы официальным идеологом армии (сам писатель пытался получить место министра пропаганды в будущем Всероссийском правительстве). Куприн включился в белое движение через месяц с небольшим после смерти Л. Андреева, внезапно скончавшегося 12 сентября 1919 г. в финском местечке Нейвола. Скоропостижная смерть Андреева сопоставляется в статье Куприна с трагическим концом Северо-Западной армии — в день публикации некролога он стал уже очевиден.

С. 141. *...сошел в могилу Леонид Андреев.* — После отпевания гроб с телом Андреева был поставлен в часовню на даче Горбик, где и пролежал пять лет. В 1924 г. гроб был захоронен на кладбище Картавцева в местечке Мецекюля, а в 1956 г. прах Андреева был перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде.

...твое жгучее письмо переведено на все культурные языки... — Памфлет «SOS» был издан в 1919–1920 гг. на русском языке в Финляндии (2 издания), Франции (2 издания), США и Польше. Переведен на английский, венгерский, голландский, французский, чешский и шведский языки.

С. 141–142. *Прекрасная Франция... Широкая духом Америка... Англия, слово которой подобно закону...* — Фактически цитата из «SOS». Куприн противопоставляет комплименты, раздаваемые Андреевым союзникам белого движения, и

их недостаточную помощь этому движению, которая стала одной из причин его краха.

С. 142. *...Достоевский, Помяловский, Короленко, Мельшин испытали все ужасы русской каторги...* — Из названных Куприным писателей каторгу отбывали только Ф. М. Достоевский (в 1849–1854 гг.) и Петр Филиппович Якубович (псевд. Л. Мельшин; 1860–1911; на каторге — в 1887–1897 гг.).

...Гаршин бросился в пролет лифта... — 24 марта 1888 г. во время одного из приступов тяжелой депрессии русский писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) выбросился в лестничный пролет.

Речь, сказанная тов. Лениным в торжественном заседании 25 октября 1924 года в Белом зале Смольного института в присутствии коммунистов, матросов и курсантов Красного Петрограда (с. 143). — Впервые — *СР.* 1919. 22 ноября. № 56.

С. 143. *...усилиями тов. Красина.* — Красин Леонид Борисович (1870–1926) — советский государственный деятель, в 1920–1923 гг. — народный комиссар внешней торговли. В 1920–1921 гг. вел в Лондоне переговоры об экономическом сотрудничестве Советской России и Великобритании.

С. 144. *Воровский* Вацлав Вацлавович (1871–1923) — революционный деятель, литературный критик, советский дипломат.

Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) — партийный деятель, дипломат.

Залкинд Иван Абрамович (1885–1928) — в октябре 1917 — январе 1918 г. — зам. народного комиссара иностранных дел РСФСР, в дальнейшем — на дипломатической службе.

Сосновский Лев Семенович (1886–1937) — большевистский публицист, партийный деятель, в 1918–1924 гг. — член Президиума ВЦИК, редактор газеты «Беднота».

...от генерала Гинденбург-унд-Бенкендорфа. — Куприн объединяет фамилии германского фельдмаршала Гинденбурга и бывшего при Николае I начальника Третьего отделения Бенкендорфа как символ владычества немцев в России.

Там (с. 145). — Впервые — *СР.* 1919. 23 ноября. № 57.

С. 145. *Есть страшная легенда о Лазаре.* — См.: Ин. 11: 39.

С. 146. *Стэнли* Генри Мортон (1841–1904) — журналист, исследователь Центральной Африки. Первый совершил плавание по реке Конго.

Беллами Эдуард (1850–1898) — американский писатель, автор социально-утопических романов.

...по фаланстериям в духе сновидений Веры из «Что делать?»... – Фаланстер – в утопических социальных учениях фурьеристов – здания особого типа, являющиеся средоточием жизни коммуны-фаланги (т.е. общины до 2000 человек). Нагромождения алюминиево-чугунно-стеклянных конструкций, приснившиеся героине романа Чернышевского «Что делать?» (1863) Вере Павловне (см. гл. «Четвертый сон Веры Павловны»), были восприняты ею как прообраз «здания будущего».

1920

Победители (с. 148). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 3 января. № 2. Подпись: А.К.

С. 148. *...заставила царя эпирского воскликнуть: «Еще одна такая победа – и я разбит!»* – Имеется в виду царь эпирский Пирр (319–273 до н.э.), полководец эллинской эпохи, в 279 г. до н.э. одержавший победу над римлянами при г. Аускулум ценой огромных потерь (так называемая «пиррова победа»).

...сказано Троцким 10 декабря... – Очевидно, имеется в виду речь Троцкого «Наши новые задачи» (Красная газета. 1919. 9 декабря. № 277; 11 декабря. № 279; 12 декабря. № 280).

С. 149. *Ленин говорит с еще большей откровенностью...* – Далее цитируется речь Ленина на VII Всероссийском съезде Советов (доклад ВЦИК и Совнаркома) от 5 декабря 1919 г.

С. 150–151. *Ленин дает ясный ответ...* – Цитируется речь Ленина на VII Всероссийском съезде Советов 5 декабря 1919 г. (Правда. 1919. 7 декабря. № 275).

Голос друга (с. 151). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 9 января. № 5.

С. 153. *Франция сама испытала в семьдесят первом году все ужасы Коммуны... описанные Полем Сен-Виктором.* – Сен-Виктор Поль де (1825–1881) – французский эссеист, театральный критик.

Пророчество первое (с. 154). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 10 января. № 6.

Мысль о романе Ф.М.Достоевского «Бесы» (1871–1872) как о пророчестве русской революции была выдвинута деятелями русского религиозно-философского возрождения начала XX в. (В.В.Розановым, Д.С.Мережковским, С.Н.Булгаковым, В.И.Ивановым, Н.А.Бердяе-

вым) и в 1917–1918 гг. стала общепризнанной на страницах антибольшевистской печати, а затем и в литературе русского зарубежья. До 1917 г. Куприн не проявлял к творчеству Достоевского особого интереса, целиком принадлежа к «толстовскому» направлению в литературе. Фрагменты, цитируемые Куприным, принадлежат разным героям романа, прежде всего Петру Верховенскому, Шигалеву и Кармазинову.

Троцкий (с. 157). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 19 января. № 13; 20 января. № 14; 21 января. № 15.

С. 159. *...Дионисий Сиракузский, Нерон, Диоклетиан, Аттила, Филипп II, у нас – Иоанн Грозный, Шешковский, Аракчеев и Муравьев-Виленский.* – Тиран Сиракуз Дионисий I (Старший; ок. 432–367 до н.э.), римские императоры Клавдий Нерон (37–68) и Диоклетиан (243–между 313 и 316), предводитель гуннов Аттила (ум. 453), испанский король Филипп II (1527–1598) и русский царь Иван IV Грозный (1530–1584), а также руководитель российского политического сыска Степан Иванович Шешковский (1727, по другим данным 1720–1793), всесильный временщик при Александре I Александр Андреевич Аракчеев (1769–1834) и русский генерал, граф Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866), получивший титул Виленского за подавление польского восстания 1863–1864 гг., – отличались крайней жестокостью, подозрительностью, деспотизмом.

«Их заели подкожные вши». – Строка из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1866–1877).

С. 160. *В революции 1905–1906 годов он принимал самое незначительное участие.* – Куприн ошибается. В октябре-декабре 1905 г. вернувшийся из эмиграции Троцкий быстро выдвинулся в Петроградском Совете рабочих депутатов и стал в нем товарищем председателя. Арестованный вместе со всем составом Совета, Троцкий упрочил свою всероссийскую известность вызывающим поведением на суде (1906).

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – петербургский священник, организатор Союза фабрично-заводских рабочих, инициатор и руководитель манифестации рабочих к царю 9 января 1905 г. После расстрела манифестации призвал народ к вооруженному восстанию, эмигрировал, считался одним из вождей российской революции. В конце 1905 г. вернулся в Россию, начал сотрудничество с правительством и департаментом полиции. 28 марта 1906 г. был убит членами боевой эсеровской дружины за измену.

Рутенберг Петр (Пинхус) Моисеевич (1878–1942) – эсер, политический наставник Гапона, в дальнейшем организатор его убийства.

В полемических статьях того времени Ленин откровенно называет его лакеем и человеком небрезгливым в средствах. – Куприн, очевидно, по памяти или с чужих слов приводит негативные отзывы Ленина о Троцком, которые в изобилии встречаются в статьях Ленина 1903–1916 гг., когда Троцкий активно сопротивлялся претензиям Ленина на единоличное руководство российской социал-демократией.

Служил ли он тайно в охранке? Этот слух прошел сравнительно недавно. – Слухи о связях Троцкого с полицией объясняются тем, что на службе у австро-венгерской полиции находился некто Никола Троцкий.

С. 161. *Рачковский* Петр Иванович (1853–1911) – заведующий заграничной агентурой российского Департамента полиции в 1885–1902 гг. Один из организаторов политического сыска.

С. 162. *Рассказывают, что однажды к Троцкому явилась еврейская делегация... Я не еврей, а интернационалист.* – Рассказ подтверждается в автобиографии Троцкого.

Он более еврей, чем глубокочтимый и прославленный цадик из Шполы. – Цадик – духовный настоятель евреев-хасидов, которому приписывается особая чудодейственная сила. Шпола – еврейский городок на западе России в черте оседлости.

...в страшные времена Сеннахерима, Навуходоносора или Сурбанапала. – Имеются в виду Сенекерим Арцруни – царь Васпуракана в 1003–1021 гг.; Навуходоносор II (669–ок. 633 до н.э.) – царь Вавилонии, разрушивший Иерусалим; Ашшурбанипал – царь Ассирии в 669–ок. 633 до н.э.

С. 163. *Словечко о гильотине... принадлежит одному из якобинцев. Потребовав 50000 буржуазных голов, Троцкий только прибавил два нуля к счету Марата.* – Имеется в виду один из лидеров партии якобинцев Марат Жан Поль (1743–1793) и его сочинение «Дар отечеству» (1789). Куприн неточно цитирует речь Троцкого «О свободе печати» (27 ноября 1917 г.).

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) – первый рейхсканцлер Германии в 1871–1890 гг.

Мольтке Хельмут Иоганн (1849–1916) – германский генерал, начальник генерального штаба.

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) – генерал от инфантерии, теоретик военного дела, писатель.

Христоборцы (с. 164). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 22 января. № 16.

С. 164. *...отчасти памятуя слова Достоевского о том, что русский атеист – самое нелепое и готовое на всякое преступление существо...* – Мысль неоднократно повторялась Достоевским в романе «Бесы» и публицистических статьях в «Дневнике писателя».

о. Орнатский – Орнатский Философ Николаевич (1860–1919), священник Санктпетербургской церкви при Экспедиции заготовления государственных бумаг, председатель Общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Получил известность как один из лучших церковных ораторов. Автор проповедей «О воспитании детей» (СПб., 1890), «О самоубийстве» (СПб., 1894) и др.

С. 165. *Василий Князев печатает кощунственное «Красное Евангелие».* – Князев Василий Васильевич (1887–1938) – поэт. До 1917 г. печатался в основном в сатирических журналах. С января 1918 г. – один из ведущих сотрудников петроградской «Красной газеты», в годы гражданской войны – один из лидеров большевистской поэзии, автор «Песни коммуны» и сборника «Красное Евангелие» (1918). См. также примеч. к статье «Пролетарские поэты».

Маяковский... бешено хулит Христа. – Очевидно, имеются в виду богоборческие мотивы в пьесе Маяковского «Мистерия-буфф» (1918).

«И кровь, кровь твою / Выплескиваем из рукомойника». – Неточная цитата из стихотворения А. Мариенгофа «Твердь, твердь за вихры зыбим...» (1919).

Пролетарские поэты (с. 165). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 23 января. № 17. Подпись: Али-Хан.

С. 166. *На первом заседании съезда поэт Василий Князев умудрился сделать целых три доноса...* – Куприн имеет в виду выступление Князева в 1920 г. на Конференции пролетарских писателей г. Петрограда и Петроградской губернии с докладом «О буржуазной культуре» (Грядущее. 1920. № 1/2).

С. 167. *«Дом литераторов»* – общественная организация взаимопомощи литераторов, существовавшая в Петрограде в 1918–1922 гг., отличалась демонстративной аполитичностью.

«Всемирная литература» – петроградское издательство, основанное в 1918 г. по инициативе М. Горького. С 1919 г. – в системе Госиздата. Осуществляло грандиозный

план по переводу на русский язык и выпуску основных произведений мировой литературы с древнейших времен до XIX в., обеспечивая тем самым средствами к существованию гуманитарную интеллигенцию Петрограда и других городов Советской России. О сотрудничестве Куприна в этом издательстве см. его интервью в газете «Общее дело» (1920. 16 июля. № 79).

«Севцентропечать» – управление печати при Совете коммуны Северной области. Существовало в 1918–1919 гг.

...«васькина литература». – Куприн саркастически перефразирует с использованием имени Князева выражение «ванькина литература», до революции означавшее низкопробную литературу.

Общество драматических писателей – имеется в виду Общество драматических писателей и оперных композиторов, учрежденное в 1874 г. в Москве с целью защиты материальных интересов драматургов; в 1904 г. разделилось на московское и петроградское отделения.

А посему: самое общество взять под сюркуп... – Сюркуп (от *фр.* surcoupe) – карточный термин, означающий «подставить карту противника под удар».

Королевские штаны (с. 168). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 24 января. № 18.

С. 168. *...остроумный рассказ Андерсена о королевском платье.* – Имеется в виду сказка Х. К. Андерсена «Новый наряд короля» (1837).

...легендарного короля Дагобера... – Имеется в виду Дагоберт I (ум.638), сын франского короля меровинга Клотаря II. Благодаря таким качествам, как мягкость, благоразумие и преданность церкви, стал чрезвычайно популярен в сказаниях.

С. 169. *Иван Васильевич Грозный так и охарактеризовал ее в своем... послании к королеве Елизавете...* – Русский царь Иван IV и английская королева Елизавета I (Елизавета Тюдор, 1533–1603; королева Англии с 1558 г.) в 1570–1580-х годах состояли в дружеской переписке.

Слово — закон (с. 170). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 28 января. № 21.

С. 172. *Капитан Кроми, офицер великобританской службы, убит большевиками.* – Кроми Фрэнсис (1882–1918) – английский морской офицер, георгиевский кавалер, был убит 31 августа 1918 г. в здании Британского посольства в Петрограде, защищая посольство от чекистов, искавших доказательств причастности британских дипломатов к убийст-

ву Урицкого и покушению на Ленина. Его именем был назван один из танков в составе Северо-Западной армии, наступавшей на Петроград.

Противоречия (с. 172). — Впервые — *НРЖ*. 1920. 30 января. № 23.

С. 173. *...могут очутиться как заложники на Гороховой, 2.* — По этому адресу располагалась Петроградская ЧК.

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., крупнейший лидер либеральной партии.

С. 175. *Черчилль* Уинстон (1874–1965) — один из главных организаторов антисоветской интервенции держав Антанты. В 1919–1921 гг. — военный министр и министр авиации в правительстве Ллойд Джорджа.

Город смерти (с. 175). — Впервые — *НРЖ*. 1920. 31 января. № 24. Подпись: А.К.

С. 175. *В одном из кабинетов бывшего Данона...* — Имеется в виду известный в Петербурге ресторан, находившийся на Невском проспекте.

Александриты (с. 176). — Впервые — *НРЖ*. 1920. 6 февраля. № 29.

С. 176. *...за святейшего Тихона.* — Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865–1925) — патриарх Московский и Всея Руси с 28 октября 1917 г. См. примеч. к статье «Стрекозиные души» и статью «Строгим» в наст. изд.

Этот человек был – Л.Б.Каменев. — Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) — политический деятель, журналист. В 1918–1925 гг. — член Политбюро ВКП(б), председатель Моссовета. В апреле 1926 г. вместе с Троцким и Зиновьевым вошел в «объединенную оппозицию». 23–26 октября того же года пленумом ЦК ВКП(б) исключен из Политбюро. В декабре 1934 г. арестован. В августе 1936 г. предстал в качестве обвиняемого на открытом политическом процессе вместе с Г.Зиновьевым, Г.Евдокимовым, И.Смирновым и другими крупными деятелями ВКП(б). Расстрелян. Интересно сравнить эту статью с описанием Каменева, данным В.Ходасевичем в очерке «Белый коридор. Званый вечер у Каменевых» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 247, 254–255). См. также статью «Ленин. Моментальная фотография» в наст. изд.

С. 177. *Тут же помещались железные гарнцы...* — Гарнцы — посуда, предназначенная для хранения сыпучих продуктов.

С. 178. *...кажется, Веспасиан или Тит (это рассказано у Светония)...* – Имеется в виду Веспасиан Тит Флавий (9–79) – римский император. Светоний Гай Транквилл (ок. 70 – ок. 140) – римский писатель, автор книги «Жизнь двенадцати цезарей».

...взималась плата в пользу государственного фиска. – Фиск – государственная казна, налоговая служба.

Кольцо это, конечно, нашло себе пристанище в ломбарде... – Ср. с воспоминаниями К.А. Куприной: «Материальное состояние нашей семьи в 1917 г. было неважное, если судить по сохранившимся распискам ломбарда. В них числятся брошка, серьги, три кольца, брелок с бриллиантами и камнями и цепочка с тремя брелоками, золотая. Срок перезакладки 2 июня 1919 г. ...Этих вещей в эмиграции с нами не было, наверное, так и остались в ломбарде» (Куприн – мой отец. С. 86).

С. 179. *Не поднимать же мне крик: «Сударыня, вы носите кольцо, уворованное у меня!»* – Этот эпизод обыгрывается Куприным в стихотворении «Сударыня, вы носите кольцо, которое у меня украли» (*С.* 1920. № 72).

Нация (с. 179). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 10 февраля. № 32.

С. 179. *Вокруг памятника Рунеберга...* – Рунеберг Йохан Людвиг (1804–1877) – финский поэт; писал на шведском языке. Памятник ему установлен в Хельсинки (Гельсингфорсе).

С. 179–180. *Там, в городе Петра, есть Пушкинская улица... а посредине ее стоит памятник Пушкина... и в Москве, на Тверском бульваре, где стоит такой обрюзглый чиновник... или в Одессе, на Николаевском бульваре...* – Памятники А.С. Пушкину работы А.М. Опекушина установлены в Петербурге и Москве в 1884 и 1880 гг. В Одессе установлен памятник работы скульптора Ж. Полонской.

С. 180. *Сказал ли кто-нибудь о Пушкине публично настоящее, большое, любовное национальное слово, за исключением Достоевского...* – О речи Достоевского на открытии памятника Пушкину в Москве см. примеч. к очерку «Два юбилея» в наст. изд.

С. 181. *«В салазки Жучку посадил, / Себя в коня преобразил...»* – Неточная цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 5, II).

Египетская работа (с. 181). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 11 февраля. № 33.

С. 182. *Торквемада* Томас (1420–1498) – великий инквизитор Испании с 1483 г.

Подсудимые (с. 183). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 13 февраля. № 35.

С. 183. *Вильгельм II* (1859–1941) – германский император в 1888–1918 гг.

Великий французский воин Тома Робер Бюжо маркиз де ла Пиконнери... – Бюжо де ла Пиконнери Тома Робер (1784–1849) – французский маршал, генеральный правитель Алжира с 1841 г. Один из кандидатов на президентских выборах в 1848 г. от буржуазно-республиканской партии.

С. 184. *...прадедовские мечи Дюрандели...* – Дюрандаль – меч, принадлежавший, по преданию, Роланду, герою средневекового французского эпоса «Песнь о Роланде» (XII в.).

Ирония (с. 186). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 15 февраля. № 37. Подпись: Али-Хан.

С. 187. *...с прибавлением по-эстонски «куррат партизан»*. – Куррат – черт.

«Вестник С. З. А.» – «Вестник Северо-Западной армии» (ранее «Вестник Северной армии») – военно-литературная ежедневная газета, издававшаяся в Нарве в 1919 г.

Новые буржуи (с. 188). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 17 февраля. № 38. Подпись: Али-Хан.

Марево (с. 188). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 18 февраля. № 39.

Зиновий Пешков (с. 190). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 21 февраля. № 42. Подпись: А. К-рин.

Статья Куприна – одно из первых на русском языке описаний биографии *Зиновия Алексеевича Пешкова* (наст. имя и фам. Иешуа-Залман Моисеевич Свердлов; 1884–1966), одного из самых необычных людей в русской истории XX в. Родившийся в семье нижегородского часовщика и гравера, он в 1902 г. при помощи Горького принял крещение (изменив при крещении отчество и фамилию). С 1901 по 1911 г., с перерывами, жил в семье писателя (Россия, США, Италия), исполнял обязанности его секретаря. В 1914 г., вступив добровольцем в русский батальон Иностранного легиона французской армии, принимал участие в первой мировой войне и сделал блестящую военную карьеру, которой не помешали тяжелое ранение и ампутация руки. В 1917 г. З. Пешков приехал в Петроград в составе французской военной миссии, где с ним и познакомился Куприн. (В изложении биографии З. Пешкова писатель допускает много фактических ошибок, которые мы специально не отмечаем, заменяя их исправление настоящим ком-

ментарием.) В 1918–1919 гг. Пешков – офицер связи при армии Колчака, в 1920 г. – с той же миссией при армии Врангеля в Крыму. В 1920–1930-х годах служит в Иностранном легионе в Африке. В 1940 г. З. Пешков стал одним из первых французских генералов, примкнувших к де Голлю, до 1949 г. возглавлял дипломатические миссии Франции на Дальнем Востоке. Последнее десятилетие жизни провел в Париже. Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Загадочная личность Пешкова, связанного родственными узами с виднейшими деятелями советского режима и одновременно пользовавшегося доверием французских военных и политиков, всегда была окружена слухами и легендами.

С. 190. *...известной французской артистки Роджерс...* – Роджерс Генриетта – французская драматическая актриса.

С. 191. *Он – племянник... председателя московского ЦИКа.* – З. Пешков – не племянник, а старший брат Якова Михайловича (Моисеевича) Свердлова (1885–1919), председателя ВЦИК в 1917–1919 гг.

В боях при Марне... – В районе реки Марна разворачивались наиболее кровопролитные сражения первой мировой войны. Подробнее об этом см. примеч. к статье «Русские в Париже» в наст. изд.

Миопия (с. 192). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 3 марта. № 51.

С. 194. *Советская власть подпишет, после длинной и унизительной для английского самолюбия торговли, мирный и торговый договоры с Англией, а стало быть, и со всей Европой.* – Действительно, торговое соглашение между РСФСР и Англией, переговоры о котором шли в 1920 г., было подписано в Лондоне 16 марта 1921 г.

Капитаны Тушины (с. 195). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 4 марта. № 52.

С. 196. *Достоевский в «Дневнике писателя», в одной из статей, относящихся к войне 1877–79 годов, рассказывает об английском военном агенте...* – Имеется в виду статья «Лакейство или деликатность?» («Дневник писателя», 1877).

С. 197. *...времен Кира персидского...* – Кир (ум. 530 до н.э.) – персидский царь, завоеватель Малой и Средней Азии, Вавилона и Мессопотамии.

...шейлоковские проценты... – Шейлок – персонаж шекспировской пьесы «Венецианский купец», прославившийся своей скаредностью.

С. 198. *Веллингтон* Артур (1769–1852) – английский герцог, главнокомандующий британской армией в период войны с Наполеоном, победитель битвы при Ватерлоо.

Через десять лет (с. 198). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 6 марта. № 54. Подпись: Али-Хан.

С. 198. *Товарищ Иоффе* – Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) – советский дипломат. В ноябре 1917–январе 1918 г. – председатель, в январе-феврале 1918 г. – консультант советской делегации на переговорах с Германией в Брест-Литовске. В апреле-декабре 1918 г. – полпред РСФСР в Германии. В 1919–1920 гг. – член Совета обороны, нарком Госконтроля УССР. В 1920 г. – председатель советской делегации на мирных переговорах с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.

Курульное кресло – переносное сиденье из слоновой кости – атрибут высших должностных лиц Древнего Рима.

С. 199. ...*фрыштикают.* – Т.е. завтракают (от *нем.* frühstücken).

Кровавые лавры (с. 202). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 7 марта. № 55.

Некролог Александру Васильевичу Колчаку (см. о нем примеч. к рассказу «Кража» в наст. изд.). После первоначальных успехов армии Верховного Правителя Колчака, наступавшей на Советскую Россию с востока и почти дошедшей к весне 1919 г. до Волги, инициатива летом 1919 г. перешла к Красной Армии; осенью войска Колчака отступили в Сибирь, в ноябре 1919 г. оставили свою столицу Омск и продолжали отступать на восток. В декабре 1919 г. Колчак отказался от звания Верховного Правителя России, передав его генералу Деникину, и со своим поездом отступил в Иркутск, где был задержан воинскими частями чехословацкого легиона и передан в руки возникшего в Иркутске Правительства политического центра, состоявшего из оппозиционных Колчаку социалистов. В том же месяце это правительство передало власть большевикам, и 7 февраля 1920 г., по приговору иркутского Военно-революционного комитета, Колчак был расстрелян.

Через год к годовщине гибели Колчака Куприн перепечатал эту статью в «Общем деле», дав ей в качестве заголовка эпиграф: «И враги человеку домашние его» (Мф. 10: 39) (*ОД.* 1921. 7 февраля. № 207). Статья Куприна о Колчаке была помещена на полосе газеты «Памяти адмирала А. В. Колчака» рядом со статьями И. Бунина, Д. Пасманика, Ф. Родичева.

С. 202. *Гинденбург* Пауль фон (1847–1934) – немецкий генерал-фельдмаршал, в 1916–1918 гг. – начальник германского генерального штаба. В печати стран Антанты – символ германской военщины.

С. 203. *...верю рассказу о том, что Колчак отклонил предложенные ему попытки к бегству.* – В декабре 1919 г. во время отступления из Омска в Иркутск Колчаку предлагали, бросив поезд с золотым запасом России, уйти на лошадях в Китай. Однако это предложение было Колчаком отвергнуто.

Круговорот (с. 204). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 9 марта. № 56. Подпись: А.К.

Товарищ Ядвига (с. 205). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 10 марта. № 57. Подпись: Али-Хан.

С. 205. *...по предложению митрополита Вениамина.* – Вениамин (Казанский Василий Павлович; 1874–1922) – в 1917–1922 гг. митрополит Петроградский и Гдовский. Расстрелян. Канонизирован Русской Православной Церковью в 1989 г.

С. 206. *Затеянная епископом Владимиром Путятой сепаратная, рабоче-советская церковъ быстро изжиласъ и погибла.* – Имеется в виду попытка раскола в Русской Православной Церкви, предпринятая в 1919 г. бывшим архиепископом Пензенским Владимиром Путятой, лишенным сана «за тяжкие грехи против нравственности». Советская власть Пензенской губернии пыталась поддержать Путяту, однако Ленин этой поддержки не одобрил, после чего раскол, получивший название «владимирщина», быстро сошел на нет.

...пожарный репортер из «Биржевки» назначен комиссаром Публичной библиотеки... – В ноябре 1917 г. Ленин сделал доклад «О задачах публичной библиотеки», а в феврале 1918 г. назначил комиссаром Публичной библиотеки в Петрограде А.А.Пресса.

...а М.Ф.Андреева – торговлей, промышленностью и обменом пленных? – Андреева (наст. фам. Юрковская) Мария Федоровна (1868–1953) – актриса, общественная деятельница. В 1904–1921 гг. – гражданская жена Горького. Комиссар театров и зрелищ Петрограда в 1919–1921 гг. и одновременно комиссар Петроградского отделения Комиссариата внешней торговли. О М.Ф.Андреевой см. также примеч. к очерку «О Горьком» в наст. изд.

Бескровная (с. 208). – Впервые – *НРЖ.* 1920. 12 марта. № 59.

С. 208. *...об... отказе от власти великого князя Михаила.* – О Михаиле Александровиче, великом князе, подробнее см. в рассказе «Обыск» и примеч. к нему.

С. 209. *Был застрелен адмирал Непенин...* – Непенин Адриан Иванович (1871–1917) – вице-адмирал. В 1916–1917 гг. – командующий Балтийским флотом. Во время Февральской революции убит матросами в Гельсингфорсе.

...финско-русский адмирал Максимов... – Максимов Андрей Семенович (1866–1951) – до революции вице-адмирал. После убийства командующего флотом Непенина в марте 1917 г. избран матросами на его должность. Финско-русским адмиралом Куприн называет его потому, что после своего избрания Максимов три месяца безвыездно находился в Гельсингфорсе, отказываясь прибыть в Петроград для явки к Временному правительству.

Родичев Федор Измайлович (1853, по другим сведениям 1856–1932) – присяжный поверенный, один из лидеров партии кадетов. Был прозван «первым тенором» Партии народной свободы за темпераментные выступления в Думе и на митингах. С марта по май 1917 г. – министр Временного правительства по делам Финляндии, противник ее свободного отделения от России. После Октябрьского переворота был избран в состав Учредительного Собрания от партии кадетов. С 1919 г. – в эмиграции, с 1920 г. жил в Лозанне, входил в демократическую группу П. Н. Милюкова.

С. 210. *...приказ № 1.* – Приказ по Петроградскому гарнизону, изданный в начале Февральской революции военной секцией Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Приказ отменял отдание чести, титулование, вводил в воинских частях выборное начало.

По порядку (с. 210). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 17 марта. № 63.

Малое стадо (с. 212). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 20 марта. № 66.

С. 212. *...Софье Андреевне... совсем не подлежало бы писать митрополиту Петербургскому и Ладожскому своего письма...* – 26 февраля 1901 г., через два дня после публикации определения Синода об отлучении Толстого от Православной Церкви, С. А. Толстая отправила письмо митрополиту Антонию (Вадковскому; 1846–1912) с протестом против этого решения (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 61. С. 146–147).

...великий святитель Сергий Радонежский... – Сергий Радонежский (до принятия монашества – Варфоломей Ки-

риллович; ок. 1314–1391) – выдающийся церковный и общественный деятель, основатель Троице-Сергиевой Лавры. Признан Русской Православной Церковью святым чудотворцем.

С. 213. *...нынешний митрополит Петроградский и Ладожский высокопреосвященнейший Вениамин...* – О Вениамине см. в фельетоне «Товарищ Ядвига» и примеч. к нему.

У мандрил (с. 215). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 23 марта. № 68. Подпись: Али-Хан.

С. 215. *Чинизелли* Сципионе (Чипиони) (ум. 1929) – наездник, дрессировщик. В 1891–1918 гг. – владелец крупнейшего петроградского цирка, построенного в 1877 г. его отцом Гаэтано Чинизелли. Эмигрировал. См. также статью «Зов» в наст. изд.

...под председательством Горького основалась «комиссия по улучшению быта ученых»... – Такая комиссия – КУБУ – действительно была создана в 1919 г. и просуществовала до середины 1930-х годов. Была преобразована в систему Дома ученых.

Хороший тон (с. 217). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 25 марта. № 70. Подпись: Али-Хан.

Ориентация (с. 218). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 2 апреля. № 76; 4 апреля. № 77; 9 апреля. № 79. Подпись: Али-Хан.

С. 222. *...«воеводы Пальмерстона»...* – Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784–1865), граф – английский политический деятель.

Самогуб (с. 224). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 16 апреля. № 83.

С. 224. *...профессор Тиандер напечатал в «Рассвете» статью...* – Тиандер Карл Федорович (1873–1938), профессор Санктпетербургского университета, журналист. После революции – сотрудник русских и шведских газет в Финляндии, преподаватель Рижского университета. С 1922 по 1937 г. – корреспондент финских газет в Германии. «Рассвет» – русская газета, выходившая в Гельсингфорсе в 1919–1920 гг.

Статья эта была своевременно и по достоинству оценена в «Новой русской жизни» г. Алексинским. – Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) – русский политический деятель, журналист. В 1905–1910 гг. – большевик, депутат II Государственной Думы. Один из первых разоблачил связи Ленина с германским правительством. С июня 1919 г. – в эмиграции. См. также примеч. к статье «Владимир Ульянов-Ленин».

Советские анекдоты (с. 226). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 18 апреля. № 85; 20 апреля. № 86; 22 апреля. № 87. Подпись: Али-Хан.

С. 226. *Маннергейм* Карл Густав Эмиль (1867–1951), барон – финляндский государственный и военный деятель, фельдмаршал (с 1938 г.). Служил в русской армии. В 1918 г. – главнокомандующий финской армией. В декабре 1918 – июне 1919 г. – регент Финляндской республики. В январе 1919 г. дал разрешение генералу Юденичу на формирование в Финляндии белогвардейских частей. В открытом письме президенту Финляндской республики К. Стольбергу (2 ноября) настаивал на участии финской армии в походе на Петроград. С 1931 г. – председатель Совета государственной обороны, с 1939 г. – главнокомандующий финской армией. С 1944 по 1946 г. – президент Финляндии.

С. 228. *...сдохли, даже не поев петрушки.* – Для попугаев петрушка – сильнодействующий яд.

Лурье Артур (наст. имя и отч. Наум Израилевич; 1891–1966) – композитор, музыкальный критик. В 1909–1916 гг. учился в Петербургской консерватории. С 1913 г. примыкал к русским футуристам, пытался писать «футуристическую» музыку. В 1918–1922 гг. – заведующий Музыкальным отделом (МУЗО) Наркомпроса РСФСР. Имел репутацию проводника политики большевиков в музыкальном искусстве. В 1922 г. выехал за границу в командировку, некоторое время сохранял советский паспорт; в Лурье продолжали видеть «красного комиссара». В эмиграции был близок к музыкальному авангарду. С 1941 г. жил в США.

С. 229. *Луначарский* Анатолий Васильевич (1875–1933) – народный комиссар просвещения РСФСР в 1917–1929 гг.

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) – председатель Петроградской ЧК (Гороховая, 2) в марте-августе 1918 г.

Читали ль вы? (с. 230). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 23 апреля. № 89. Подпись: Али-Хан.

С. 230. *...из жизни советского посла Гуковского в Ревеле?* – Гуковский Исидор Эммануилович (1871–1921) – первый посол РСФСР в Эстонии (1920–1921).

С. 232. *...эспри самое страусовое...* – Эспри – головной убор наподобие диадемы.

Их деятельность (с. 233). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 25 апреля. № 91. Подпись: Али-Хан.

С. 233. *Комиссар Авров...* – Авров Дмитрий Николаевич (1890–1922) – командир и политработник Красной Армии. Во время наступления генерала Юденича на Петроград – комендант Петроградского укрепрайона. В ноябре 1920 – апреле 1921 г. – командующий войсками Петроградского военного округа, участвовал в подавлении Кронштадтского восстания.

Их строительство (с. 234). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 27 апреля. № 92. Подпись: Али-Хан.

С. 235. *...с утопических формул Фурье и Аракчеева.* – Фурье Мари Шарль (1772–1837) – французский утопический социалист. А.А. Аракчеев стоял во главе военных поселений, введенных в России в 1816 г. по инициативе Александра I.

Без конца (с. 236). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 4 мая. № 97. Подпись: Али-Хан.

С. 237. *«И страсбургский пирог нетленный...»* – Неточная цитата из пушкинского «Евгения Онегина» (гл. 1, XVI).

Маски (с. 237). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 5 мая. № 98; 6 мая. № 99; 7 мая. № 100; 8 мая. № 101; 11 мая. № 103; 12 мая. № 104; 20 мая. № 110; 21 мая. № 111; 29 мая. № 117; 17 июня. № 126; 19 июня. № 127.

С. 239. *«Товарищи!.. Страстное внимание, с каким сорокалетние люди обучаются грамоте, так радостно волнует и радует!»* – Цитата из статьи Горького «О неграмотности» (1918).

С. 240. *«Деревенская беднота»* – газета, выходившая в Москве с 1918 по 1924 г.

С. 242. *Результат губернского съезда в Красном Петрограде...* – Первый губернский съезд Советов совместно с членами Петрогубсовета проходил в Петрограде с 15 по 17 декабря 1919 г.

С. 247. *Ораторами были: Евдокимов... Сталинский...* – Евдокимов Григорий Еремеевич (1884–1936) – большевик; с 1919 г. – член ЦК РКП(б). Сталинским Куприн называет И.В. Сталина.

Он обратился к собранию с небольшой речью, поблагодарил за приветствие... а также за то, что его избавили от выслушивания юбилейных речей. – Куприн практически дословно цитирует отрывок из речи Ленина на собрании, организованном Московским комитетом РКП(б) в честь его 50-летия 23 апреля 1920 г. Краткий отчет опубликован в газете «Правда» (1920. 24 апреля. № 87).

С. 248. *...не окажется ли Ленин и на этот случай умнее и дальновиднее своих лакеев?* – Петроград был переименован в Ленинград в 1924 г., уже после смерти В.И. Ленина.

...Горький... обратился со следующими словами к рабочим... — Далее цитируется речь Горького «Первое мая» (Петроградская правда. 1920. 5 мая. № 96).

С. 249. *Ленин подводит итоги двухлетней власти пролетариата: «После нашего двухлетнего опыта мы не можем рассуждать так, как будто бы мы в первый раз взялись за социалистическое строительство... нельзя было отделить элемента правильного от неправильного – на это надо время!..»* — Цитата из отчетного доклада Ленина о деятельности ЦК на IX съезде РКП(б) 29 марта 1920 г.

С. 250. *...брошюра товарища Гусева о восстановлении хозяйства в России.* — Гусев Сергей Иванович (наст. имя и фам. Яков Давидович Драбкин; 1874–1933) – партийный деятель; в феврале-марте 1918 г. – секретарь Комитета революционной обороны Петрограда, затем – управделами Совета Народных Комиссаров Северной Коммуны. Имеется в виду его брошюра «Единый хозяйственный план» (1920).

С. 250–251. *...перед ней расшаркался сам Ленин: «В своей брошюре тов. Гусев говорит... Не забывать главного, выделить главное... – вот что проходит красной нитью в брошюре тов. Гусева...»* — Речь Ленина на IX съезде РКП(б) 29 марта 1920 г.

С. 253. *...от имени Петроградского Совета, гостей приветствовал тов. Зорин...* — Зорин (наст. фам. Гомбарт) Сергей Семенович (1890–1937) — в 1918 г. — председатель Революционного комитета Петрограда, в 1919–1922 гг. — второй секретарь Петроградского комитета РКП(б). См. также статью «О Горьком» в наст. изд.

Тихий ужас (с. 254). — Впервые — *НРЖ*. 1920. 22 мая. № 112; 23 мая. № 113; 26 мая. № 114; 27 мая. № 115. Подпись: Али-Хан.

С. 255. *...проведут они в уединенном разговоре с Петерсом, Дзержинским или с московским «комиссаром смерти» Ивановым.* — О Петерсе см. примеч. к статье «25 октября 1917 — 25 октября 1919 г. Владимир Ульянов-Ленин». Дзержинский Феликс Эдмундович (1887–1926) — с декабря 1917 по февраль 1922 г. — председатель ВЧК; с февраля 1920 г. — председатель Комитета по всеобщей трудовой повинности; в 1922–1926 гг. — председатель ГПУ–ОГПУ, одновременно с 1924 г. — председатель ВСНХ СССР. Иванов Модест Васильевич (1875–1942) — инспектор войск ВЧК.

С. 257. *...клинические записки Крафта-Эбинга...* — Имеется в виду Крафт Эббинг Рихард фон (1840–1902) — немецкий психиатр, автор трудов по сексопатологии.

...образ грядущего русского бунта – бессмысленного и беспощадного... — Парафраз из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

С. 259. *...декрет о замене для всего населения паспортов единообразными «трудовыми книжками».* — Паспорта были снова введены в СССР в декабре 1932 г.

Два воззвания (с. 261). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 10 июня. № 123. Подпись: А.К.

С. 262. *Брусилов* Алексей Алексеевич (1853–1926) – генерал от кавалерии. В первую мировую войну — главнокомандующий Юго-Западным фронтом. С мая по июль 1917 г. — Верховный Главнокомандующий русской армии. В гражданской войне участия не принимал. С мая 1920 г. — председатель Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами Республики, которое обратилось с воззванием к бывшим русским офицерам выступить на защиту родины против «польского нашествия». Написал цитируемое Куприным воззвание в мае 1920 г. (Красная газета. 1920. 30 мая. № 117), с этого времени стал занимать крупные военные посты в Красной Армии.

Поливанов Александр Андреевич (1855–1920) – русский генерал. В 1915–1916 гг. – военный министр. С 1920 г. — в Красной Армии.

Зайончковский Андрей Медардович (1862–1926) – русский генерал. В русской армии командовал корпусом.

Клембовский Владислав Наполеонович – генерал от инфантерии с 1885 г.

Парский Дмитрий Павлович (1866–1921) – русский генерал, командующий армией. С 1918 г. – на командных постах в Красной Армии.

Балуев Петр Семенович – генерал от инфантерии с 1882 г.

Гутор Алексей Евгеньевич – генерал-лейтенант с 1895 г.

Акимов Михаил Васильевич – генерал.

Все перечисленные лица, будучи видными военачальниками русской армии, до 1920 г. не участвовали (кроме Парского) в гражданской войне на стороне красных.

С. 264. *Крыленко* Николай Васильевич (1885–1938) – с января 1918 г. — член Всероссийской коллегии по организации и формированию Красной Армии; с марта 1918 г. — член коллегии Наркомюста РСФСР, один из организаторов советского суда и прокуратуры. С мая 1918 г. — председатель Ревтрибунала (с 1922 г. – Верховного трибунала)

при ВЦИК, одновременно государственный обвинитель на крупнейших политический процессах. Расстрелян.

С. 265. *Браун* Федор Александрович (1862–1942) – филолог-германист, профессор Петербургского, с 1921 г. – Лейпцигского университетов.

Заветы и завоевания (с. 265). – Впервые – *НРЖ*. 1920. 9 июля. № 153.

С. 267. *Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749–1791), граф – деятель Великой французской революции.

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) – член ЦК партии кадетов, врач. С 1909 г. – член бюро межпарламентской группы Думы, главный оратор в Думе по финансовым вопросам. Министр земледелия в первом Временном правительстве (март-июнь 1917 г.). 2 июля вышел из Временного правительства. 28 ноября, в день предполагавшегося открытия Учредительного Собрания, арестован, доставлен в Петропавловскую крепость. 6 января 1918 г. переведен в Мариинскую тюремную больницу, где в ночь на 7 января был зверски убит матросами.

Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) – приват-доцент, профессор кафедры государственного права Московского университета, один из основателей партии кадетов, член ее ЦК. После Февральской революции – председатель Юридического совещания, учрежденного Временным правительством 20 марта 1917 г. С 23 мая 1917 г. – председатель Особого совещания по подготовке проекта Положения о выборах в Учредительное Собрание. После Октябрьского переворота активно участвовал в подготовке и выборах в Учредительное Собрание. На основе декрета Совнаркома, объявившего кадетскую партию партией «врагов народа», 28 ноября 1917 г. арестован и отправлен в Петропавловскую крепость. 6 января 1918 г. вместе с А.И.Шингаревым был переведен в Мариинскую тюремную больницу, где был зверски убит матросами в ночь на 7 января.

Генерал П.Н.Врангель (с. 268). – Впервые – *ОД*. 1920. 31 июля. № 81.

Очерк написан во время наибольших успехов армии генерала Врангеля, начавшей в конце мая 1920 г. наступление из Крыма на Советскую Россию.

Барон *Петр Николаевич Врангель* (1878–1928) окончил Санктпетербургский Горный институт (1901), Академию Генерального штаба (1910). В 1914–1917 гг. – участник первой мировой войны (продвинулся от командира эскадрона

до командира кавалерийского корпуса). В 1917–1918 гг. жил на Украине, пытался поступить на службу к гетману Скоропадскому; в Добровольческую армию вступил только после первых ее успехов (в августе 1918 г.). В 1919–1920 гг. командовал армиями Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР), в феврале 1920 г. выслан генералом Деникиным за границу. После эвакуации Добровольческой армии с Кавказа в Крым и ухода Деникина с поста главнокомандующего генерал Врангель 22 марта (4 апреля) 1920 г. был назначен его преемником и вернулся в Крым из кратковременной эмиграции. 11 мая 1920 г. объявил о реорганизации ВСЮР в Русскую армию. После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г. Врангель жил в эмиграции.

С. 269. *Деникин* Антон Иванович (1872–1947) – генерал-лейтенант (1916), один из организаторов Добровольческой армии. С апреля 1918 г. назначен ее командующим, с 8 октября 1918 г. – главнокомандующим. С 8 января 1919 г. – главком Вооруженными Силами Юга России. Летом-осенью 1919 г. предпринял «поход на Москву». 22 марта (4 апреля) 1920 г. объявил своим преемником генерала Врангеля и отплыл на английском эсминце в Константинополь. В эмиграции в Париже поддерживал близкие отношения с Куприным. Был единственным, с кем Куприн простился перед отъездом в Россию. Письмо Врангеля Деникину написано в феврале 1920 г. после получения им распоряжения покинуть Россию. Полностью опубликовано в 1921 г. в кн.: Дрейер В. фон. Крестный путь во имя родины / Предисл. А. И. Куприна. Берлин, 1921.

...ему было предписано присоединиться к общему наступлению. – В этом абзаце Куприн касается вопроса о стратегических и личных разногласиях между Врангелем и Деникиным в 1919 г. Эти разногласия по-разному освещались в мемуарах обоих полководцев, написанных в эмиграции, а также в посвященных гражданской войне исследованиях.

С. 270. *Дубенский* Дмитрий Николаевич (1858–?) – генерал-майор, придворный историограф императора Николая II.

С. 271. *Долгорукий Яков* Федорович (1639–1720), князь – русский государственный деятель, соратник Петра I, прославился независимым поведением.

Луи Филипп (1773–1850) – король Франции в 1830–1848 гг.

Русские коммунисты (с. 271). – Впервые – *ОД*. 1920. 6 августа. № 82; 13 августа. № 83; 20 августа. № 84.

С. 273. *Плеханов* Георгий Валентинович (1856–1918) – философ, публицист, теоретик и пропагандист марксизма в России. После Февральской революции возглавил социал-демократическую группу «Единство», стоявшую на патриотических позициях, поддерживал Временное правительство с его лозунгом «Война до победного конца!», выступал против большевиков, их курса на социалистическую революцию (апрельские «тезисы» Ленина, провозглашавшие этот курс, назвал «бредовыми»).

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев; 1829–1908) – протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте.

С. 274. ...*Мельшин*... – См. примеч. к статье «Памяти Леонида Андреева. "Спасите наши души!"».

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) – журналист, публицист, театральный критик.

С. 276. *Чичерин* Георгий Васильевич (1872–1936) – с января 1918 г. – заместитель наркома иностранных дел. Глава советской делегации на переговорах с Германией; участвовал в подписании Брестского договора. С 30 мая 1918 г. – нарком иностранных дел РСФСР.

С. 277. *Вот что рассказывают очевидцы-европейцы, участники китайской войны.* – Имеется в виду международная военная экспедиция 1900–1901 гг. для подавления вспыхнувшего в Китае ихетуаньского («боксерского») восстания. В экспедиции приняли участие и русские военные части.

Ленин (с. 279). – Впервые – *ОД*. 1920. 10 сентября. № 87.

Статья представляет собой второе обращение Куприна к личности Ленина. Ей предшествовало редакционное предисловие, принадлежавшее, очевидно, перу редактора *ОД* В.Л.Бурцева:

«На страницах "Общего дела" не раз говорилось о Ленине как о цинике, хищном фанатике и преступном авантюристе. Еще недавно на этих же столбцах В.Л.Бурцев обрисовал мрачную фигуру Ленина – Иуды, в цинизме своем дошедшем до исполнения приказаний германского генерального штаба, который пользовался услугами Ленина в разгар войны Германии с Россией.

Тупой, черствый, упрямый, фанатичный Ленин, словно маньяк, увлечен сейчас одной "идеей". Не глядя по сторонам, не замечая моря крови, он упорно и упрямо продолжает свой "опыт прикладной социологии" над живым телом России. Наша обескровленная и истощенная родина

вот уже почти три года является предметом вождений великого циника Ленина. Ленин с хладнокровным цинизмом производит свои вивисекции над измученным телом России, подобно тому как раньше он спокойно участвовал в экспроприациях или вел в Берлине переговоры с руководителями военных операций против России.

Ленин – циник и тупой фанатик, Ленин – предатель и уголовный преступник хорошо знаком широким кругам читающей публики. Один из наиболее популярных из современных русских писателей А.И.Куприн дает в нижеприводимом "опыте характеристики" Ленина попытку психологического анализа личности Ленина. Из-под пера художника-психолога вылетают искры, по-новому, порой, освещающие того, кто войдет в историю под кровавым именем второго Иуды.

"Опыт характеристики" А.И.Куприна, не изменяя общего представления о мрачной и циничной фигуре Ленина, углубляет и расширяет существующее о нем мнение, давая яркие и образные черты жестокого средневекового циника, живущего и действующего в XX веке».

С. 280. *Коринфский Аполлон* Аполлонович (1868–1937) – русский поэт, переводчик Мицкевича, Беранже, Кольриджа. В 1879–1887 гг. учился в симбирской классической гимназии в одном классе с В.Ульяновым. Воспоминаниями о Ленине поделился с Куприным, скорее всего, в 1917–1918 гг. Воспоминания Коринфского публиковались также в газете «Вечернее время» (Петроград. 1918. 1 июня) с подзаголовком «Листки воспоминаний».

Неведомский (наст. фам. Миклашевский Михаил Петрович) (1866–1943) – публицист и литературный критик. В 1887 г. учился вместе с В.Ульяновым в Казанском университете. Куприн мог слышать его отзывы о Ленине в кругу журнала «Современный мир», сотрудниками которого были они оба.

С. 282. *...участвует в нескольких вооруженных экспроприациях.* – Куприн неточен. Хотя теоретически Ленин всегда был сторонником экспроприации как одной из форм «партизанской войны», ни личным участником вооруженных ограблений, ни их непосредственным организатором Ленин никогда не был.

Зиновьев (наст. фам. Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) – один из руководителей большевистской партии. В 1917–1925 гг. – председатель Петроградского Совета, первый секретарь Губернского комитета

партии. В годы гражданской войны практически был диктатором Красного Петрограда. Расстрелян.

С. 283. *Я не говорю о Горьком, Шаляпине и Луначарском...* — Упоминание имени Федора Ивановича Шаляпина (1873–1938) в одном ряду с большевистскими лидерами вызвано тем, что в 1918–1920 гг. Шаляпин принимал самое активное участие в культурной жизни Советского государства. Выступал на праздничных концертах в честь революционных дат. В ноябре 1918 г. был удостоен звания народного артиста Республики. Весной 1920 г., сразу после подписания мира между Советской Россией и Эстонией, Шаляпин съездил туда на гастроли. До середины двадцатых годов Шаляпин, хоть он и уехал из Советской России в 1922 г., воспринимался как лицо, приближенное к большевикам. Окончательный переход Шаляпина в стан эмиграции состоялся только в 1927 г. Об отношениях Куприна и Шаляпина до революции см. рассказ Куприна «Гоголь-моголь» (1915).

С. 284. *...тупого, заурядного человека Калинина...* — Калинин Михаил Иванович (1875–1946) — городской голова Петрограда в 1917–1918 гг., затем — руководитель городского хозяйства. Был избран на пост председателя ВЦИК РСФСР, т.е. официального главы государства, в марте 1919 г. после смерти занимавшего этот пост Я.М.Свердлова.

Ногин Виктор Павлович (1878–1924) — в 1918–1920 гг. зам. наркома труда РСФСР, член президиума ВСНХ.

С. 285. *Вильсон* Томас Вудро (1856–1924) — американский государственный деятель. В 1913–1920 гг. — президент США. Один из организаторов победы Антанты в первой мировой войне, автор проекта Лиги Наций. Считался в европейской прессе крупнейшим политическим реформатором. Сопоставление Ленина и Вильсона продолжалось в мировой печати вплоть до их кончины в 1924 г.

С. 286. *...он повторил бы свою знаменитую фразу...* — По свидетельствам современников, в последние годы жизни Маркс неоднократно так шутил.

К нему ночью, в Смольный, приводят пятерых юношей... — Рассказ о приведенных к Ленину юношах — неточное изложение истории братьев Ганглез и их друзей-французов, арестованных в Петрограде в конце февраля 1918 г., в дни наступления германской армии, и самовольно расстрелянных командиром одной из большевистских частей.

Торговлишка (с. 287). – Впервые – *ОД*. 1920. 24 сентября. № 89.

С. 289. *Литвинов* Максим Максимович (наст. имя и фам. Макс Валлах; 1876–1951) – партийный и государственный деятель. С ноября 1918 г. – член коллегии Наркоминдела. 23 декабря 1918 г. от имени Советского правительства обратился из Стокгольма с мирными предложениями к державам Антанты. С начала 1921 г. – полпред РСФСР в Эстонии. С мая 1921 г. – заместитель наркома иностранных дел. (В 1922 г. – заместитель руководителя советской делегации на Генуэзской, затем глава делегации на Гаагской международных конференциях.) В 1930–1939 гг. – нарком, в 1941–1943 гг. – заместитель наркома иностранных дел СССР.

Мертвый счет (с. 290). – Впервые – *ОД*. 1920. 10 октября. № 90.

С. 291. *...подобно тому как в смутное время четырежды повторялся Лжедмитрий, а после пугачевщины – дважды «Петр Федорович»...* – Имеются в виду: Лжедмитрий I (беглый монах Отрепьев, бежавший в Польшу, принявший в 1602 г. имя Дмитрия, сына Ивана Грозного, и с помощью поляков захвативший власть в Московском царстве в июне 1605 г.; коронован как Дмитрий I; в мае 1606 г. убит в ходе антипольского восстания), Лжедмитрий II («Тушинский вор», неизвестного происхождения, в мае 1607 г. объявил себя чудесным образом спасшимся Дмитрием I, в 1608 г. обосновался под Москвой в селе Тушино, где было создано новое русское правительство, в состав которого вошли князья Трубецкие, Филарет Романов и др.; в 1610 г. убит своей охраной), Лжедмитрий III (пскович Сидорка, в 1611 г. объявил себя чудесно спасшимся Дмитрием I; поддержан казачьим атаманом Заруцким), а также самозванцы, выдававшие себя за чудесно спасшегося мужа Екатерины II Петра III, убитого по ее приказу в 1762 г. Наиболее известным из них был Е.И.Пугачев (1740–1775) – в 1773–1774 гг. – предводитель восстания яицких казаков.

С. 293. *...в «Ascania Nouva», имении Фальц-Фейна... все милое зверье было перебито... красными матросами.* – Имеется в виду заповедник в Херсонской губернии «Ascania Nouva» (владелец барон Ф.Э.Фальцфейн), на территории которого содержались редкие экземпляры животных и птиц в условиях, близких к природным. В заповеднике велись опыты по гибридизации животных.

У писателя Жуля Верного... – Имеется в виду Жюль Верн (1828–1905) – французский писатель.

Два путешественника (с. 293). – Впервые – *ОД*. 1920. 24 октября. № 101.

Отклик на поездку *Герберта Уэллса* (1866–1946) в Советскую Россию в октябре 1920 г. по приглашению М. Горького. В Петрограде Уэллс останавливался на квартире Горького. Переводчиком и гидом английского писателя была М. И. Будберг (Бенкендорф), исполнявшая обязанности секретаря Горького. 6 октября в Кремле состоялась беседа Уэллса с Лениным. Впечатления от двухнедельного посещения России легли в основу книги Уэллса «Россия во мгле» (1920). Поездка Уэллса в Россию широко комментировалась эмигрантской прессой в резко отрицательных тонах. См.: Даманская А. Г. Уэллс в Петрограде // Народное дело (Ревель). 1920. 8 октября. № 55; Бунин И. Несколько слов английскому писателю // ОД. 1920. 24 ноября. № 132; 25 ноября. № 133; Мережковский Д. Письмо Уэллсу // Свобода (Варшава). 1920. 12 декабря. № 125. См. также кн. Н. Берберовой «Железная женщина».

С. 293. *Нансен Фритьоф* (1862–1930) – норвежский полярный исследователь, общественный деятель. С 1920 г. – Верховный комиссар Лиги Наций по делам беженцев (Комитет Нансена). Основными его подопечными стали русские эмигранты, в 1920 г. массово бежавшие из Советской России после краха белого движения. В 1922 г. Лигой Наций по инициативе Нансена были введены временные паспорта для беженцев. «Нансеновский паспорт» – удостоверение личности владельца, подтверждающее его статус лица без гражданства, – давал право на жительство и возможность трудоустройства. Действовал до конца 1940-х годов. Русская эмиграция, считая Нансена одним из своих главных защитников в международном масштабе, возлагала на него сначала большие надежды, отразившиеся и в данной статье Куприна. Однако когда в 1921–1922 гг. Нансен начал деловое сотрудничество с правительством Советской России и выступил за возвращение туда основной массы беженцев, «непримиримая» эмиграция стала относиться к нему резко критически.

С. 295. *...на страницах «Общего дела» очень живо и образно писала А. Даманская.* – Даманская Августа (Августина) Филипповна (1885–1959) – писательница, переводчица. В эмиграции – литературный критик и мемуарист. Летом

1920 г. бежала из Советской России в Эстонию, затем жила в Берлине и в Париже.

О преемственности (с. 296). — Впервые — *ОД.* 1920. 22 декабря. № 160.

С. 297. *...на юге России Алексеев и Корнилов лепят из малой горсточки верных людей крошечный отряд.* — Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — генерал от инфантерии (с 1914 г.), один из главных руководителей белого движения. В ноябре 1917 г. создал в Новочеркасске «Алексеевскую организацию», ставшую ядром Добровольческой армии. С декабря 1917 г. — член триумвирата «Донского гражданского совета». В июне 1918 г. выдвигался кандидатом в военные диктаторы. С 31 августа 1918 г. — Верховный Руководитель Добровольческой армии и председатель Особого совещания. Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал. В июле-августе 1917 г. — Верховный главнокомандующий русской армии. С декабря 1917 г. — главнокомандующий Добровольческой армии. Убит в бою.

1921

Ближе к сердцу (с. 299). — Впервые — *ОД.* 1921. 22 января. № 191.

С. 299. *Лет пятнадцать тому назад Парижъ посетилъ русскій писатель Максимъ Горькій.* — Весной 1906 г. Горький был в Париже проездом из Германии в США.

...от его визита осталось в Новом Вавилоне больше памяти, чем о... казаке Ашинове. — Ашинов Николай Иванович — русский офицер, путешественник, авантюрист. В 1888 г. создал в Африке, на побережье Красного моря, русскую земледельческую колонию без согласия на то правительства. В 1889 г. поселение было уничтожено французским военным десантом, а сам Ашинов под конвоем отправлен на родину.

Тогда в Париже другой писатель – Амфитеатров – издавал журнал «Красное знамя»... В этом журнале Горькій и напечаталъ свое вымышленное quasi-сатирическое интервью с царем Николаем II... Вслед за тем и в том же «Красном знамени» Горькій обнародовал свой манифест к Франции. — Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) — крупнейший русский журналист, беллетрист, редактор. В 1904–1916 гг. и с 1921 г. — в эмиграции. Об отношениях его с Куприным см. кн. Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 95, 155, а также в кн.: Минувшее: Исторический альманах. Вып. 22. СПб., 1997. Жур-

нал «Красное знамя», представлявший собой внепартийное революционное издание, выходил в Париже под редакцией Амфитеатрова в 1906–1907 гг. Горький активно сотрудничал в этом журнале. Куприн упоминает его произведения: «Мои интервью» (Красное знамя. 1906. № 3) и «Прекрасная Франция» (мнение Куприна о публикации последнего очерка в «Красном знамени» ошибочно. Впервые в кн.: Горький М. Прекрасная Франция: Интервью. Verlag von J.H.W. Dietz, 1906; в России впервые: Знание: Сб. СПб., 1906. Кн. 13).

С. 300. *Когда английского короля вели на плаху...* – Имеется в виду британский король Карл I, казненный в 1649 г. в ходе английской революции.

...он сослался при этом на печальные слова Пушкина: «Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом». – Цитата из письма Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. См. также статью «Рубец» в наст. изд.

Памятная книжка (с. 302). – Впервые – *ОД.* 1921. 31 января. № 200.

С. 302. *...прочитал я газетную заметку о том, что «Воля России» похоронила нравственно и политически Мережковского, Бунина, Яблоновского и Куприна.* – «Воля России» – газета, затем журнал, издававшийся в Праге в 1920–1932 гг. эсерами. Выступал против белого движения и его идеологии, одновременно ведя борьбу с советской властью под лозунгом «демократии и социализма». Упоминаемые в списке газеты рядом с именем Куприна имена Д.С. Мережковского (1865–1941), И.А. Бунина (1870–1953), А.А. Яблоновского (1870–1934) употреблены как символы литераторов, которые, оказавшись в эмиграции, продолжали безоговорочно поддерживать белое движение.

...большевистские лакеи Демьян Бедный, Сергей Городецкий и Василий Князев. – Демьян Бедный (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945) – пролетарский поэт. Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт, прозаик; летом 1920 г. вернулся с Кавказа в Петроград и заявил о переходе на «коммунистические рельсы»; в 1920–1921 гг. активно сотрудничал в петроградских газетах, разоблачая «контрреволюционную» интеллигенцию. Василий Князев – см. примеч. к статье «Пролетарские поэты».

Газеты говорят о том, что скончалась дочь Александра III Ольга Александровна... – Великая княжна Ольга Александровна (1882–1960) эмигрировала из России весной 1918 г. Слухи о ее смерти в 1921 г. были ложными.

С. 303. *Скончался Ф.Д.Батюшков.* — Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920) — филолог, литературный и театральный критик. Близкий друг Куприна, автор статей о нем. С 1902 г. — редактор журнала «Мир Божий» («Современный мир»), в котором деятельное участие принимал Куприн. В апреле 1917 г. был поставлен во главе управления бывшими Императорскими театрами. В 1919–1920 гг. участвовал в работе издательства «Всемирная литература». Скончался 18 марта 1920 г. в Петрограде. Статья Куприна, посвященная Ф.Д.Батюшкову, появилась почти через год после его кончины.

Похоронили Е.А.Аксакова, а он, однако, жив и здоров и читает в Брюсселе лекции. — Очевидно, имеется в виду сын известного в петербургских кругах спирита, теософа, переводчика и издателя А.Н.Аксакова.

Ронсар Пьер де (1524–1585) — французский поэт.

...критические статьи о современной русской литературе. — Очевидно, Куприн имеет в виду работу Батюшкова «Критические очерки и заметки» (СПб., 1900–1902), а также «Историю русской литературы XIX века» (М., 1909–1910) и «Русскую литературу XX века» (М., 1914–1915), где перу Батюшкова принадлежит ряд статей, в частности о В.Брюсове и И.Бунине.

С. 304. *...в 1902 году, по поводу мартовского избиения студенческой сходки на Казанской площади...* — Имеется в виду демонстрация студентов у Казанского собора в Петербурге 4 марта 1901 г. (а не 1902 г., как пишет Куприн), разогнанная полицией и казаками. Избиение студентов вызвало громкий протест русских писателей и общественных деятелей.

С. 305. *В то время, когда Ф.Д. был секретарем, казначеем и председателем Литературного фонда...* — Батюшков был членом комитета Литературного фонда и Театрально-литературного комитета при Дирекции Императорских театров с 1900 г.

Максим Горький (с. 305). — Впервые — *ОД*. 1921. 10 февраля. № 210.

С 1900 г. писателей связывали близкое литературное сотрудничество и тесная дружба, в 1919 г. сменившаяся резким взаимным отчуждением. В 1918–1919 гг. Горький привлек Куприна к сотрудничеству в руководимом им издательстве «Всемирная литература», сотрудничали они и в «Союзе деятелей художественной литературы»; именно Горький предложил и помог Куприну встретиться с Лениным.

Свидетельством благодарности Куприна своему литературному сверстнику служит поздравительное письмо Горькому ко дню его рождения – от 31 марта 1919 г. (см. кн.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 126–127). Однако уже через несколько месяцев, попав в эмиграцию, Куприн резко меняет тональность своих отзывов о Горьком.

Ленин (с. 308). – Впервые – *ОД*. 1921. 21 февраля. № 321.

В очерке рассказывается о единственной встрече Куприна с Лениным, состоявшейся в Москве, в кремлевской квартире Ленина, 25 декабря 1918 г. Марк Алданов считал этот очерк лучшим из литературных портретов Ленина.

С. 308. *Я тогда затеивал народную газету...* – Речь идет о беспартийной газете для крестьян «Земля». Проспект газеты см. в кн.: Куприн А.И. О литературе. Минск, 1969. С. 36–42.

Фотиева Лидия Александровна (1881–1975) – личный секретарь Ленина.

С. 309. *...один молодой московский поэт.* – Имеется в виду Леонидов (наст. фам. Шиманский) Олег Леонидович (1893–1951).

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) – с 1920 г. – председатель Главполитпросвета при Наркомпросе.

Какая стыдливость! (с. 313). – Впервые – *ОД*. 1921. 11 апреля. № 270.

С. 313. *Но Василевский затронул мои самые возвышенные чувства, упрекнув меня в грубости языка.* – Об И.Н. Василевском см. примеч. к рассказу «Допрос». Упоминаемая Куприным статья опубликована в газете «Последние новости» (1921. 1 апреля). В статье содержатся выпады против А.И. Куприна, И.А. Бунина, А.А. Яблоновского, которые в обличении большевиков переходили, по мнению Василевского, все границы литературных приличий и пользовались недостоверными фактами.

...в Пролеткульте совершенно серьезно был обсужден и принят вопрос о постановке памятников Каину, Хаму и Иуде как отважным борцам за свободу человеческого духа против религиозных, семейных и буржуазных предрассудков? – Сведения об установлении в Советской России памятников этим библейским персонажам регулярно печатались в белогвардейской, а затем и эмигрантской прессе со ссылкой на провинциальную печать. Их достоверность весьма сомнительна, во всяком случае, в плане монументальной программы,

утвержденном Лениным весной 1918 г., сооружение подобных памятников не предусматривалось.

С. 314. *...в 1918–1919 годах, когда я томился в Гатчине... он издавал газету в Киеве...* – В 1918 г. Василевский издавал газету «Свободные мысли» в Петербурге, в конце того же года выпускал газету под тем же названием в Киеве.

Неизвестный солдат (с. 315). – Впервые – *НРЖ.* 1921. 20 апреля. № 89.

С. 315. *Георг V* (1865–1936) – английский король с 1910 г.

...урны с сердцем Гамбетты. – Гамбетта Леон (1838–1882) – лидер левых республиканцев, премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882 гг.

О Врангеле (с. 317). – Впервые – *НРЖ.* 1921. 10 мая. № 103.

Статья посвящена судьбе русской армии под командованием генерала Врангеля, которая после эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г. была размещена на территории Турции, на полуострове Галлиополи и на острове Лемнос. Армия снабжалась командованием стран Антанты (Англии и Франции). К весне 1921 г. Антанта сообщила Врангелю, что продолжать финансирование армии больше не может, и предложила расформировать ее. См. также статью «Генерал П. Н. Врангель» и примеч. к ней.

Разные взгляды (с. 320). – Впервые – *ОД.* 1921. 16 мая. № 304.

С. 320. *...словами народа из первого действия «Периколы»...* – «Перикола» – оперетта Ж. Оффенбаха.

С. 323. *Вспомните первый сон Раскольникова об истязаемой клячонке...* – Упомянутый Куприным сон об истязаемой мужиком Миколкой лошади герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866) Родион Раскольников видит накануне задуманного им убийства.

Пестрота (с. 323). – Впервые – *ОД.* 1921. 23 мая. № 311.

Русские в Париже (с. 326). – Впервые – *НРЖ.* 1921. 2 июля. № 147. После заголовка указано: «Перепечатка воспрещается».

С. 327. *Клемансо* Жорж (1841–1929) – французский государственный политический деятель, премьер-министр Франции (1917–1920). Председатель Парижской мирной конференции (1918–1920). Осенью 1919 г. провозгласил политику «санитарного кордона» вокруг Советской Рос-

сии, оказывал военную, экономическую, финансовую поддержку российским контрреволюционным силам.

...состязанием в боксе между Карпантье и Демпси... – Жорж Карпантье – чемпион Франции по боксу. Джек Демпси – американский боксер. Их матч состоялся 2 июля 1921 г. в США.

...все газеты полны портретами «Великого Жоржа»... – Имеется в виду Ж.Клемансо.

С. 328. *Помнят нашу выручку в дни Марны и Вердена.* – Около Марны и Вердена разворачивались самые кровопролитные сражения первой мировой войны. Имеется в виду знаменитый «Брусиловский прорыв» – одна из крупнейших боевых операций первой мировой войны, когда русская армия под командованием генерала А.А.Брусилова, осуществив мощный прорыв в направлении Луцка и Ковеля, поставила Австро-Венгрию перед угрозой полного поражения. Для спасения положения Германия была вынуждена снять с французского фронта значительную часть своих войск. В результате французами был сохранен Верден.

Очень живо интересуются трагической судьбою царя и царской семьи. – По постановлению Уральского областного комитета, санкционированному председателем Совнаркома Лениным и председателем ЦИК Свердловым, Николай II, его семья, а также находившиеся при них слуги в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. были расстреляны в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге. В 1921 г. русские эмигранты в Европе еще не имели точных сведений об обстоятельствах гибели Николая II и его семьи. Ходили упорные слухи об их «чудесном спасении». Описание картины убийства было впервые дано в книге следователя Н.М.Соколова «Убийство царской семьи» (1924).

С. 329. *...напоминающей сильные образы первых капетингов.* – Капетинги – династия французских королей в 987–1328 гг.

Часовщик (с. 329). – Впервые – *ОД.* 1921. 29 августа. № 408.

С. 331. *...а Троцкий мечтает о применении Тейлоровской системы.* – Тейлоровская система – система научной организации труда (НОТ), разработанная американским инженером Ф.У.Т.Тейлором (1856–1915).

Ребус (с. 333). – Впервые – *ОД.* 1921. 16 сентября. № 426.

С. 333. *Газета «Путь»* выходила в Гельсингфорсе в 1920–1922 гг. под редакцией Н.И.Иорданского, второго

мужа первой жены А. И. Куприна Марии Карловны Иорданской (в девичестве Давыдовой; 1881–1966), видного социал-демократа, в 1909–1917 гг. редактора журнала «Современный мир». Н. И. и М. К. Иорданские эмигрировали из Петрограда в Финляндию в начале 1919 г. Издававшаяся Иорданским газета, отражавшая взгляды демократического крыла эмиграции, с 1921 г. стала эволюционировать в сторону признания советской власти. В 1922 г. Иорданские были высланы из Финляндии в Советскую Россию.

Орочены (с. 334). – Впервые – *ОД*. 1921. 18 сентября. № 428. Под статьей проставлена дата: 16 сентября.

Орочены – народность в Сибири.

С. 335. *...языкъ Иеремии или пламень Савонароллы...* – Иеремия – пророк, предсказавший иудеям семидесятилетнее вавилонское рабство (в 589 г. до н.э.) (4 Цар. 24–25). Савонаролла Джироламо (1452–1498) – проповедник, отличавшийся фанатизмом. В 1492 г. провозгласил Иисуса Христа королем Флоренции и при поддержке Франции основал республику теократического типа. Казнен.

С. 336. *Бурже* Поль Шарль Жозеф (1852–1935) – французский писатель.

С. 337. *У нас Белелюбский строил мосты, Воронихин – соборы, Щукин – паровозы, Сикорский – аэропланы, Попов – беспроволочный телеграф.* – Белелюбский Николай Аполлонович (1845–1922) – инженер-строитель; Воронихин Андрей Никифорович (1751–1814) – архитектор, строитель Казанского собора в Петербурге; Щукин Николай Леонидович (1848–1924) – русский ученый в области железнодорожного транспорта; Сикорский Игорь Иванович (1889–1972) – авиаконструктор, с 1918 г. – в эмиграции; Попов Александр Степанович (1851–1905) – один из изобретателей радио.

Третья стража (с. 338). – Впервые – *НРЖ*. 1921. 18 сентября. № 214.

С. 338. *...многочисленные письма Горького... К мистеру Хуверу... К Гауптману...* – Горький летом и осенью 1921 г. неоднократно обращался к видным представителям западной общественности, в том числе к Герберту Кларку Гуверу (1874–1964). О нем см. также статью «Помощь студентам» и примеч. к ней. Герхард Гауптман (1862–1946) – немецкий писатель.

Крылатая душа (с. 340). – Впервые – *ОД*. 1921. 10 октября. № 450.

Очерк посвящен поэту Николаю Степановичу Гумилеву (1886–1921), расстрелянному 23 августа 1921 г. по приго-

вору Петроградской ЧК. Куприн, весьма далекий по своим литературным вкусам от кругов петербургских модернистов, в которых вращался Гумилев, был, тем не менее, поклонником его таланта — см. воспоминания Дона Аминадо «Поезд на третьем пути» (М., 1993). Лично они познакомились, скорее всего, в годы гражданской войны, в период совместного сотрудничества в издательстве «Всемирная литература», членом коллегии которого был Гумилев. Об участии Гумилева в Таганцевском заговоре (так называемое дело «Петроградской боевой организации»), которое Куприн отрицает, см. в кн.: Лукницкая В. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 270–295 (полная публикация следственного дела), а также: Тименчик Р. По делу № 214244 // Даугава. 1990. № 8; Перченок Ф., Зубарев Д. На полпути от полуправд // In memoriam. М., 1995.

С. 341. *...Гумилев был награжден Георгием трех степеней.* — Куприн ошибается. Н.С. Гумилев был награжден двумя, а не тремя Георгиевскими крестами: 4-й степени, № 134060 от 24 декабря 1914 г., и 3-й степени, № 108868 от 5 января 1915 г. Эти события отражены Гумилевым в стихотворении «Память» (1921): «Но Святой Георгий тронул дважды // Пулею нетронутую грудь».

С. 342. *...где же был Горький, когда Гумилев томился на Гороховой, № 2...* — В следственном деле Гумилева хранится ходатайство за него, подписанное группой петроградских литераторов, включая и Горького.

...на одном из заседаний «Всемирной литературы»... — Гумилев принимал активное участие в деятельности издательства «Всемирная литература» в качестве переводчика.

Редкий документ (с. 343). — Впервые — *ОД*. 1921. 7 ноября. № 477.

С. 343. *...показывал мне случайно уцелевший у него документ: № 3 «Еженедельника Всероссийской Чрезвычайной комиссии».* — Имеется в виду «Еженедельник Чрезвычайных комиссий», издававшийся осенью 1918 г. Президиумом ВЧК. Публикация в № 3 этого издания статьи «Почему вы миндальничаете?», в которой предлагалось использование пыток на допросах, вызвало резкую реакцию ЦК РКП(б) и Президиума ВЦИК. В один день — 25 октября 1918 г. — оба эти органа признали эту статью вредной и приняли решение о прекращении издания (см.: Декреты Советской власти. Т. 3. М., 1975. С. 450–451). Хотя формально до 1937 г. пытки осуждались советским руководством, имеется мно-

жество свидетельств, что на практике они применялись постоянно, особенно в провинции.

...Изобличенный английский представитель (Локкард) в большом смущении покинул ВЧК. – Локкарт Роберт Брюс (1884–1970) – британский дипломат. В феврале-августе 1918 г. – специальный представитель британского правительства в Советской России. В начале сентября 1918 г. арестован как глава контрреволюционного заговора, после месячного пребывания под арестом выслан из Советской России.

1922

Ландрю (с. 347). – Впервые – Последние известия (Ревель). 1922. 4 января. № 3.

Публикацию статьи Куприна редакция газеты «Последние известия» предварила следующими словами: «Настоящая статья предоставлена в распоряжение редакции “Последних известий” парижским отделением агентства “Русспрес”, предложившим Александру Ивановичу Куприну поделиться с читателями мыслями по поводу процесса Ландрю». – Имеется в виду знаменитый судебный процесс над Анри Ландрю, открывшийся 7 ноября 1921 г. и захвативший на месяц внимание всей общественности Франции. Преступник, на основании найденных у него на вилле в Гамбо записных книжек и своеобразного дневникового «досье», обвинялся в зверском убийстве (расчленении тел и сожжении их в печи) более ста женщин. Было установлено, что Ландрю, выдавая себя за инженера, заводил знакомства с женщинами из мелкобуржуазной среды якобы с целью женитьбы, добивался согласия жертв и брал на себя заботу о ведении их коммерческих дел. После посещения виллы в Гамбо женщины таинственно исчезали. На протяжении всего процесса находившийся до этого три года в тюрьме Ландрю полностью отрицал свою вину, ссылаясь на то, что может предоставить адреса исчезнувших женщин. Некоторые из упомянутых в «досье» действительно оказались живы, но после свидетельства профессора антропологического института Антоли, что найденные близ виллы в Гамбо кости являются останками 256 людей, суд 1 декабря 1921 г. вынес Ландрю смертный приговор.

С. 347. *...Эфиальт, сжегший храм Дианы Эфесской?* – Куприн ошибается. Храм Дианы Эфесской сжег в 356 г. до н.э.

не Эфиальт (афинский политический деятель середины V в. до н.э.), а Герострат.

Страшный суд (с. 352). – Впервые – Маяк (Рига). 1922. № 16.

С. 352. *...можно подмешать кое-кого помельче: ...Бонча... Ганецкого...* – Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – партийный и государственный деятель. С ноября 1917 по октябрь 1920 г. – управделами СНК РСФСР, участвовал в организации правительственного аппарата Советского государства. Один из организаторов Госиздата и Центропечати, работал в ЦЕКУБУ. Был хорошо известен Куприну как постоянный сотрудник журнала «Современный мир». Ганецкий (наст. фам. Фирстенберг) Яков Станиславович (1879–1939) – русский и польский революционер, большевик. В 1917 г. был разоблачен как посредник при получении большевиками денег от германского правительства.

С. 353. *Судьба Марата, Дантона, Эбера, Робеспьера, Сен-Жюста...* – Перечисленные деятели Великой французской революции были казнены; Марат – убит террористкой.

С. 354. *Руже де Лиль* Клод Жозеф (1760–1836) – французский поэт и композитор, автор «Марсельезы».

В.Д.Набоков (с. 355). – Впервые – *ОД*. 1922. 7 апреля. № 563.

Некролог посвящен памяти виднейшего русского юриста и общественного деятеля Владимира Дмитриевича Набокова (1869–1922). Набоков был членом ЦК партии кадетов с момента ее образования в 1905 г., соредактором ее главного органа – петроградской газеты «Речь». В первые месяцы существования Временного правительства (март-апрель 1917 г.) – управляющий его делами. В ноябре 1918 – апреле 1919 г. – министр юстиции Крымского краевого правительства. С апреля 1919 г. – в эмиграции (Лондон, Берлин). 22 марта 1922 г. в Берлине председательствовал на лекции П.Н.Милюкова, в момент покушения на докладчика попытался обезоружить террориста-монархиста и был убит.

С. 355. *...в первый день Национального съезда в Париже...* – Русский Национальный съезд состоялся в Париже в июне 1921 г., собрав политических деятелей, считавших себя продолжателями белого движения. На съезде был создан Русский национальный комитет во главе с А.В.Карташевым. До начала второй мировой войны претендовал на политическое руководство русской эмиграцией.

1923

Сволочь (с. 357). – Впервые – *РГ.* 1923. 2 июня. № 9.

С. 358. *Потом – виновные. Сухомлинов, Мясоедов...* – Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) – военный деятель. В 1909–1915 гг. – военный министр. В связи с неподготовленностью армии к войне несколько раз арестовывался. В сентябре 1917 г. приговорен к бессрочному заключению, 1 мая 1918 г. освобожден ввиду преклонного возраста; эмигрировал в Германию через Финляндию. Мясоедов Сергей Николаевич (ум. 1915) – русский жандармский офицер, руководил пограничной охраной на железнодорожной станции Вержболово. В 1915 г. был обвинен в шпионаже в пользу Германии и казнен.

1924

Дневники и письма (с. 360). – Впервые – *РГ.* 1924. 7 января. № 1; 14 января. № 2; 28 января. № 4.

С. 360. *...от огромного Витте до ничтожного Комиссарова.* – Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф – русский государственный деятель. В 1892–1906 гг. занимал министерские посты (министр путей сообщения, министр финансов, премьер-министр). Куприн имеет в виду его трехтомные «Воспоминания», впервые изданные в 1921–1922 гг. Комиссаров Михаил Степанович (1879–?) – жандармский офицер, скандально прославившийся в годы революции 1905–1907 гг. печатанием погромных прокламаций. С 1916 г. – генерал, руководил охраной Григория Распутина. После 1920 г. – в эмиграции, где печатал в периодических изданиях свои воспоминания, полные самооправданий. Высказывались подозрения, что Комиссаров работал на советскую разведку.

Маргулиес Мануил Сергеевич (1868–1939) – видный врач, общественный деятель, известный адвокат, масон. В 1905 г. – один из основателей Радикальной партии. В годы первой мировой войны – товарищ председателя Центрального Военно-промышленного комитета, председатель Санитарного отдела Союза городов. С 1918 г. – в эмиграции. В августе-декабре 1919 г. – министр промышленности, торговли и народного здравоохранения Северо-Западного правительства. С 1920 г. – в Париже. Об отношении Куприна к Северо-Западному правительству, чем объясняется памфлетный тон рецензии, см. примеч. к рассказу «Кража». Книга Маргулиеса *«Год интервенции»* (Т. 1–3. Берлин,

1923) до настоящего времени остается одним из основных источников по истории белого движения на северо-западе России.

С. 361. *Лианозов С. Г.* – см. примеч. к рассказу «Кража».

С. 362. *...Арабажин, Яворская, Кирдецов, Дюшен, Богданов.* – О К.И.Арабажине, Г.Л.Кирдецове, Б.В.Дюшене см. примеч. к рассказу «Кража». Богданов Петр Алексеевич (1888–1941?) – министр земледелия Северо-Западного правительства. Яворская (урожд. Гюббенет, по мужу кн. Барятинская) Лидия Борисовна (1871–1921) – актриса.

Родзянко А.П. – генерал-майор, первый командующий Северо-Западной армией (июнь-сентябрь 1919 г.).

...благородного Пермикина... – О М.Н.Пермикине см. примеч. к рассказу «Кража», а также повесть «Купол Св. Исаакия Далматского».

...с рыцарем из-под темной звезды Булак-Балаховичем. – Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) – в русской армии ротмистр. В мае-октябре 1918 г. – командир полка в Красной Армии, в начале ноября 1918 г. вместе с полком перешел к белым. Его полк входил в состав Северного корпуса, в дальнейшем преобразованного в Северо-Западную армию. В мае-июле 1919 г. – командир дивизии (получил чин генерала), занимал Псков и часть Псковской губернии. Прославился безудержным грабежом и террором, лично участвовал в казнях. В августе 1919 г. за недисциплинированность отчислен из Северо-Западной армии. Жил в Эстонии. В январе 1920 г., в момент расформирования Северо-Западной армии, конфисковал остатки ее казны, перебрался в Польшу, сформировал там «Народно-Добровольческую армию» своего имени, участвовал в польско-советской войне, после ее окончания остался в Польше. Убит.

Над роковой ошибкой Ветренко он издевается... – Ветренко – генерал Северо-Западной армии. Во время наступления на Петроград возглавляемая Ветренко 3-я дивизия получила приказ Юденича отправить один из полков для захвата железнодорожной линии Москва–Петроград. Приказ не был выполнен. В военно-исторических исследованиях и мемуарной литературе это обстоятельство считается одной из причин поражения Северо-Западной армии.

С. 364. *Крузенштерн К.А.* – полковник, начальник внешних сношений Северо-Западной армии.

Дело же было так. – См. об этом эпизоде в кн.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. С.105.

С. 365. *Проппер* Станислав Максимилианович (1885–1931) – журналист, редактор-издатель газеты «Биржевые ведомости».

Памятная книжка (с. 365). – Впервые – *РГ.* 1924. 14 января. № 2.

С. 366. *...в музее Клюни...* – Имеется в виду музей Декоративного искусства в Париже (des Arts Décoratifs), находившийся по адресу: rue de Rivoli, 1ᶜ.

...несколько «увруаров»... – Здесь – рукодельная мастерская *(фр.).*

Ленин (с. 367). – Впервые – *РГ.* 1924. 11 февраля. № 6.

Статья написана на смерть Ленина, скончавшегося 21 января 1924 г. в Горках под Москвой.

С. 367. *А внешняя ее оболочка теперь подвергается вечному закону тления...* – См. ниже статью «Рака», написанную после того, как Куприн узнал, что тело Ленина не будет предано земле.

Рака (с. 369). – Впервые – *РГ.* 1924. 25 февраля. № 7.

Статья написана после получения сообщения о сооружении в Москве временного мавзолея Ленина.

С. 370. *...стекловской газеты...* – Имеются в виду московские «Известия», редактировавшиеся в 1917–1925 гг. Юрием Михайловичем Стекловым (наст. фам. Нахамкис; 1873–1941), и их номер от 24 апреля 1920 г., где помещен отчет о праздновании 50-летия Ленина 23 апреля 1920 г.

Признание (с. 371). – Впервые – *РГ.* 1924. 17 марта. № 11.

С. 372. *Она у нас всегда «спорила долго, до слез напряжения»...* – Цитата из стихотворения С.Я.Надсона «Мы спорили долго – до слез напряженья...» (1883).

О Горьком (с. 373). – Впервые – *РГ.* 1924. 24 марта. № 12.

С. 373. *...круто и надолго заварился вопрос о том, какие ценности изымал Горький...* – Сведения о приобретении Горьким в годы гражданской войны ценных коллекций антиквариата впервые были обнародованы в печати в дневнике З.Гиппиус, опубликованном в 1921 г. В конце 1923 г. М.Арцыбашев, начавший в газете «За свободу» яростную антигорьковскую кампанию, упомянув об этом факте, назвал Горького «уголовным преступником», что вызвало оживленную полемику в эмигрантской прессе, в ходе которой сама Гиппиус взяла свои обвинения назад.

С. 374. *Пипифакс* – туалетная бумага.

Вот за М. Ф. Андрееву я бы не поручился. – В 1918–1921 гг. М.Ф.Андреева занимала видные посты в органах управле-

ния культуры Петрограда. Сведения о ее финансовой нечистоплотности вызваны шумным скандалом и судом, разыгравшимися в 1905–1906 гг., когда выяснилось, что покончивший жизнь самоубийством миллионер Савва Морозов застраховал свою жизнь на 100 000 рублей и передал страховку не своей семье, а Андреевой. См. также статью «Товарищ Ядвига» и примеч. к ней.

Смольный тогда сделал генеральный смотр своим силам... — имеется в виду большевистское выступление в Петрограде 3–4 июля 1917 г., закончившееся разгромом большевиков и уходом Ленина в подполье.

С. 374–375. *...он описал виденные им сцены в... яркой и сильной статье...* — Имеется в виду статья Горького «Несвоевременные мысли» (Новая жизнь. 1917. 14 (27) июля. № 14).

С. 375. *Луначарский тогда же напечатал свое известное письмо о выходе из партии...* — Куприн ошибается. Письмо — о выходе не из партии, а из состава Совнаркома — Луначарский опубликовал не в июле, а в начале ноября 1917 г. Оно было вызвано сообщениями о разрушении Кремля артиллерийским огнем во время Московского вооруженного восстания. На следующий день Луначарский опубликовал новое письмо, где сообщал, что остается на посту (ср. у Куприна: «овладеет своими нервами и больше раскисать не будет»).

...Железняк выгнал Чернова пинком под зад из Таврического дворца. — Железняк (наст. фам. Железняков) Анатолий Григорьевич (1895–1919) — матрос, анархист. 5–6 января 1917 г. — начальник караула в Таврическом дворце, где проходило заседание Учредительного Собрания, по приказу Совнаркома объявил Собрание распущенным. Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — политический деятель, один из основателей и руководителей партии эсеров. В мае-августе 1917 г. — министр земледелия Временного правительства; в январе 1918 г. был избран председателем Учредительного Собрания. С 1920 г. — в эмиграции. В глазах демократически настроенной эмиграции и своих собственных являлся законным главой Российского государства.

Володарский и Зорин отдали под суд всю русскую литературу. — О Зорине см. примеч. к статье «Маски», о Володарском — примеч. к рассказу «Допрос». Оба они возглавляли организованный в 1918 г. в Петрограде «Революционный трибунал печати», выполнявший функции государственной цензуры.

...Канегиссер застрелил Урицкого. — Канегиссер (правильно Каннегисер) Леонид Иоакимович (1896–1918) — поэт. 30 августа 1918 г. застрелил председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого. Расстрелян.

С. 376. *...твердое сердце Горького не выдержало, дрогнуло и растопилось.* — Горький перешел от конфронтации к тесному сотрудничеству с большевиками сразу же после покушения Ф. Каплан на Ленина, произошедшего в тот же день, что и убийство Урицкого, — 30 августа 1918 г.

Зов (с. 376). — Впервые — *РГ.* 31 марта. № 13; 1924. 7 апреля. № 14; 14 апреля. № 15.

С. 376. *...не мыслят вернуться на родину иначе, как при условии, чтобы было как до войны... Кюба и Фелисьен... субботники у Чинизелли...* — Кюба и Фелисьен — знаменитые петербургские рестораны. О Чинизелли см. примеч. к статье «У мандрил».

С. 379. *Г. Муравлин был вовсе не плохой писатель... Псевдоним «Муравлин» давно раскрыт самим автором – князем Голицыным.* — Голицын Дмитрий Петрович, князь (1860–1928) — консервативный писатель и общественный деятель, председатель монархического Русского собрания.

...чуть-чуть сродни Альбову... — Альбов Михаил Нилович (1851–1911) — русский писатель, последователь Достоевского.

И какие ведь киты сочиняли русским царям манифесты: Сперанский, митрополит Филарет, Победоносцев! — Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф — русский государственный деятель, автор манифестов для Александра I в 1809–1911 гг. Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) — с 1826 г. митрополит Московский, один из духовных руководителей Русской Православной Церкви в первой половине XIX в., автор текста манифеста об отмене крепостного права в 1861 г. Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — юрист, богослов, один из учителей Александра III в бытность его наследником, вдохновитель его консервативной внутренней политики; в 1880–1905 гг. — обер-прокурор Святейшего Синода; один из авторов манифеста Александра III «О незыблемости самодержавия», оглашенного в апреле 1881 г. См. также статью «Честь имени» в наст. изд.

Кирилл Владимирович (1876–1938) — великий князь, двоюродный брат Николая II, третий по очередности наследник российского престола (после цесаревича Алексея и младшего брата царя Михаила Александровича). См. о

них в рассказах «Розовая жемчужина» и «Обыск» и в примеч. к ним. После Февральской революции 1917 г. жил в Финляндии. С 1918 г. – в эмиграции. После получения за границей точных сведений о гибели на Урале ближайших наследников в 1922 г. объявил себя местоблюстителем престола, а 31 августа 1924 г. был коронован в Париже как Всероссийский император. Монархическая эмиграция резко раскололась на его сторонников, «кирилловцев», составлявших явное меньшинство, и «николаевцев», сторонников великого князя Николая Николаевича (Младшего) (1856–1929), не имевшего формальных прав на престол, но пользовавшегося гораздо большей популярностью среди русской эмиграции в качестве военного и политического деятеля. В 1905–1914 гг. великий князь Николай Николаевич командовал гвардией и Петербургским военным округом; в 1914–1915 гг. был Верховным главнокомандующим, в 1915–1917 гг. – наместником Кавказа. С апреля 1919 г. – в эмиграции. В 1924 г. значительной частью русской эмиграции провозглашен Национальным Вождем. К сторонникам великого князя Николая Николаевича принадлежал и Куприн.

С. 380. *Хорошо проникнуты этой же мыслью слова, сказанные... великим князем Николаем Николаевичем.* – Именно в этот период, весной 1924 г., великий князь Николай Николаевич начинает активную политическую деятельность, заявляя о своей готовности политически возглавить русскую эмиграцию. Эти намерения были оформлены в различных интервью, данных им русским и иностранным журналистам.

С. 384. *Все-таки пусть лучше Буденный...* – В военно-эмигрантских кругах кандидатура Буденного всерьез связывалась с надеждами на захват власти в результате антибольшевистского переворота с крестьянским уклоном. См. также статью «Слагаемое» в наст. изд.

Памятная книжка (с. 386). – Впервые – *РГ.* 1924. 7 апреля. № 14.

С. 388. *Сосьетеры* – основатели *(фр.).*

...заходят в ложу клоунов братьев Фрателлини... – Фрателлини – династия цирковых артистов. Глава династии – Фрателлини Густаво (1842–1905).

«Как в двадцать лет, окутанный плащом...» – Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «К вельможе» (1830).

Банвиль Теодор де (1823–1891) – французский поэт.

С. 389. *Федорова II* – Федорова Софья Васильевна (1879–1963), балерина Большого театра, обладавшая выразительностью драматической актрисы и ярко выраженным стихийным темпераментом. «Ее область — темная мистика души», — писал о ней Вяч. И. Иванов. С 1922 г. жила в Париже.

Сумасшедшие (с. 390). — Впервые — *РГ.* 1924. 23 апреля. № 1.

С. 392. *Сейчас в Лондоне идет англо-советское совещание.* — Дипломатические отношения между Великобританией и СССР были установлены в феврале 1924 г., после прихода к власти лейбористского правительства во главе с Р. Макдональдом. После их установления между правительствами обеих стран начались экономические переговоры с целью урегулировать претензии британских собственников по поводу их имущества, национализированного в России.

Счет (с. 393). — Впервые — *РГ.* 1924. 27 апреля. № 5.

Сад (с. 395). — Впервые — *РГ.* 1924. 30 апреля. № 7.

С. 395. *Пришлось мне на днях прочитать в «Последних новостях» краткую заметку о том, что в окрестностях Балаклавы конфискованы дачи: П. Н. Милюкова и моя...* — О дачной колонии в Крыму Баты-Лиман см. в кн.: Куприна К. А. Куприн — мой отец. С. 221–222, а также в примеч. к очерку «Веселые дни». Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, политический деятель. С 1909 г. — один из руководителей конституционно-демократической партии (кадетов). С 1919 г. — в эмиграции. С 1921 г. — редактор газеты «Последние новости». Постоянный оппонент консервативных газет, в которых сотрудничал Куприн.

С. 396. *Луначарский... пишет по две драматических пьесы в день...* — Куприн иронизирует над многочисленными драматургическими опытами Луначарского, определенными им самим как «миниатюры-драмалетты». К 1923 г. Луначарский составил из своих «миниатюр» два тома (см.: Луначарский А. Драматические произведения. М., 1923).

С. 397. *Таковы же скульпторы, чьих рук изделия – памятники Степану Разину (с персидской княжной), Пугачеву, Лассалю, Карлу Марксу, Бланки, Луи Блану и какому-то Хофюзину – обезображивают и без того обезображенные улицы, перекрестки и вокзалы Петербурга.* — Усматривая в сооружении памятников революционерам мощное орудие массовой пропаганды, 12 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров издал за № 265 декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников

Российской социалистической революции» (см.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. М., 1918. № 31. С. 416). Уже 1 мая 1918 г. должны были быть «сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников». Ленин с нетерпением настаивал на сооружении памятника К. Марксу. «Возмущен до глубины души. Бюста Маркса для улицы нет. Объявляю выговор за преступное и халатное отношение» (письмо к Луначарскому от 12 сентября 1918 г.). 7 ноября 1918 г. был установлен временный памятник Марксу в Петрограде около Смольного. Временный памятник Степану Разину был сооружен в Москве на Лобном месте скульптором С. Коненковым.

Клюн (наст. фам. Клюновский) Иван Васильевич (1878–1942) – художник-авангардист, последователь К. Малевича.

Шагал Марк Захарович (1887–1985) – русский художник-сюрреалист; с лета 1922 г. – в эмиграции.

Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) – живописец, график, художник-конструктор; в 1918–1919 гг. – заведующий Московской коллегией Отдела изобразительного искусства Наркомпроса. В 1919 г. закончил проект памятника III Интернационалу – так называемая «башня Татлина» (осталась неосуществленной).

В. Ходасевичу (с. 398). – Впервые – *РГ.* 1924. 3 мая. № 10.

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939) был давним литературным недругом Куприна. См., например, резко отрицательную рецензию Ходасевича на путевые очерки Куприна «Лазурные берега» (Русские ведомости. 1914. 26 июня. № 6), где Куприн обвинялся в антикультурности: «В его путешествиях всё какие-то кабаки, боксеры, сутенеры, лавочники, извозчики, крупье». В 1924 г. литературная неприязнь усугубилась и политическим фактором: Куприн находился в стане «непримиримой» белой эмиграции, а Ходасевич с 1922 г. жил за границей с советским паспортом, печатаясь и в эмигрантских, и в советских изданиях, был одним из ближайших соратников Горького в 1922–1925 гг., соредактором журнала «Беседа». Поводом для купринского выпада стало стихотворение Ходасевича «Романс», опубликованное в газете «Последние новости» (1924, 27 апреля) и представляющее собой попытку завершить пушкинский набросок 1830 г. Статья Куприна вызвала резкую отповедь Ходасевича, с достаточным основани-

ем считавшего себя одним из крупнейших русских поэтов и квалифицированным пушкинистом, а не «девицей легкого чтения» (см. его статью: А. И. Куприну // Последние новости. 1924. 22 мая. № 1251). В свою очередь Куприн ответил памфлетом «Товарищ Ходасевич» (см. наст. изд.), на который Ходасевич отвечать не стал: см. упоминание в письме Ходасевича Горькому от 18 июня 1924 г. (Архив Горького). Сатирическое описание Куприным (статья «Два юбилея») выступления Ходасевича в Сорбонне на 125-летии со дня рождения Пушкина было оставлено Ходасевичем также без внимания. В дальнейшем, после того как Ходасевич в 1925 г. перешел на положение эмигранта, а с 1927 г. стал сотрудничать в газете «Возрождение», постоянным автором которой был Куприн, их конфликт был исчерпан, и о поздних произведениях Куприна Ходасевич высказывался весьма доброжелательно — см. его рецензии на роман «Юнкера» (*В*. 1932. 8 декабря) и сборник «Жанетта» (*В*. 1932. 27 октября). В своем «открытом письме» Куприн допускает ряд фактических ошибок: разница в возрасте между ним и Ходасевичем составляла не 4 года, а 16 лет; «в модном футуристическом тоне» Ходасевич никогда не писал, будучи убежденным противником футуризма. Нужно сказать, что из всех новейших поэтических течений начала XX в. именно футуризм вызывал яростное отрицание Куприна, являясь для него символическим воплощением «антикультуры». См. его статью «Футуристы и большевики» (*НРЖ*. 1920. 17 апреля. № 84).

С. 398. *Старший Твой брат Михаил...* — Михаил Фелицианович Ходасевич — московский адвокат, коллекционер.

С. 399. *Аполлон Майков пробовал дописать его. Вышло неудачно.* — Имеется в виду стихотворение Аполлона Майкова «Старый дож» (1888). Кроме Майкова, аналогичную попытку предпринимали С. Головачевский, М. Фроман, Г. Шенгели.

...не так гнусно, как это сделал Валерий Брюсов... — Имеется в виду написанное В. Брюсовым окончание пушкинской поэмы «Египетские ночи» (1916).

Неужели человек? (с. 401). — Впервые — *РГ.* 1924. 6 мая. № 12. Подпись: Али-Хан.

С. 402. *Раковский в довольно наглой ноте, обращенной к французскому правительству...* — Раковский Христиан Георгиевич (1874–1941) — революционер, деятель международного социалистического движения (жил в Румынии,

Болгарии, России, Франции). В 1918–1923 гг. – председатель Совнаркома Украины. В 1924–1927 гг. – дипломат (посол СССР в Англии, затем – во Франции). Репрессирован и расстрелян.

Честь имени (с. 403). – Впервые – *РГ.* 1924. 11 мая. № 17; 14 мая. № 19; 16 мая. № 21.

С. 404. *...когда мне кто-то сунул «Запрещенного Пушкина» и «Тайны дворца Романовых».* – Очевидно, имеются в виду неоднократно печатавшееся за границей «Собрание запрещенных стихотворений А.С. Пушкина» (в Лейпциге с 1873 г. выдержало 25 изданий), а также разоблачительные брошюры о царствующей в России династии.

С. 405. *Есть, например, одна русская газета за границей. Она твердо убеждена в том, что великая русская революция... на веки вечные покончила не только с династическими интересами, но и с самой мыслью о монархии, хотя бы даже и расконституционной (большевики – того же мнения).* – Имеется в виду парижская газета «Последние новости», редактировавшаяся П.Н. Милюковым.

С. 406. *...мог ли Александр III подписать эту конституцию над неостывшим телом своего отца...* – Царствование Александра II (1818–1881), российского императора с 1855 г., отца Александра III, отмечено так называемыми великими реформами: освобождением крестьян (1861), введением гласного суда (1864), почти полной отменой телесных наказаний, военной реформой (1870). 1 марта 1881 г. он подписал подготовленный министром внутренних дел Лорис-Меликовым проект указа о созыве выборных представителей от населения для обсуждения законов, что рассматривалось как важный шаг на пути превращения России в конституционную монархию. В тот же день он был убит взрывом бомбы, брошенной революционером-народовольцем. Александр III, взойдя на престол после гибели отца, резко изменил направление внутренней политики и подчеркнул незыблемость самодержавия, отказавшись от проектов конституционных реформ.

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) – в 1879–1887 гг. – революционер, член исполнительного комитета партии «Народная воля», ведущий партийный теоретик. В 1888 г., живя в эмиграции в Париже, обратился к Александру III с покаянным письмом, получил прощение, вернулся в Россию, стал консервативным журналистом.

С. 407. *Принц Уэльский* – имеется в виду Эдуард VII (1841–1910), английский король с 1901 г.

...утвердил смертный приговор убийцам своего отца. — Участники и организаторы покушения на Александра II А.И.Желябов, С.Л.Перовская, Н.И.Кибальчич, Т.М.Михайлов, Н.И.Рысаков были приговорены к смертной казни через повешение и, несмотря на призывы Льва Толстого и Владимира Соловьева, обращенные к царю, по-христиански помиловать убийц, 3 апреля 1881 г. были казнены. Получила помилование только террористка Геся Гельфман по причине беременности.

...кроме героев 1 марта, кажется, ни один человек не был казнен в царствование Александра III. — Утверждение Куприна неверно. В 1882–1889 гг. было казнено 17 революционеров-террористов.

Сколько людей вернулось оттуда... Короленко, Елпатьевский, Дионео, Серошевский, Тан, Олигер, Чулков... — Куприн перечисляет фамилии русских писателей и журналистов, получивших литературную известность после пребывания в ссылке в Восточной Сибири: Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) был в ссылке в 1879–1884 гг.; Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933) — в 1884–1887 гг.; Дионео (наст. имя и фам. Исаак Вульфович Шкловский; 1864–1935) — в 1886–1891 гг.; Вацлав Серошевский (псевд. Вацлав-Серко; 1858–1945) — с 1880 г. до середины 1890-х гг.; Тан (наст. имя и фам. Владимир (Натан) Германович Богораз; 1865–1936) — в 1889–1899 гг.; Николай Фридрихович Олигер (1882–1919) — 1904–1905 гг. провел в тюрьме; Георгий Иванович Чулков (1879–1939) — в ссылке с 1902 по 1904 г.

С. 408. *Павловский* Исаак Яковлевич (псевд. Иван Яковлев; 1852–1924) — парижский корреспондент газеты «Новое время».

Антонович Афиноген Я. — профессор политэкономии и полицейского права, товарищ министра финансов (1893–1896).

Ковалевский Владимир Иванович (1844–1934) — директор департамента торговли и мануфактур (1892–1900), затем товарищ министра финансов (1900–1902), председатель правления Общества вагоностроительных заводов («Братья Бромлей»).

С. 409. *Никто не видел государя хотя бы в малейшем опьянении.* — Сведения Куприна не точны.

...читал выдержки из дневника какой-то захудалой генеральши. — Имеется в виду книга А.В.Богданович «Три последних самодержца» (М.; Л.: Л.Д.Френкель, 1924).

Черевин Петр Александрович (1837–1896) – генерал-адъютант, начальник царского конвоя при Александре II, близкий друг Александра III и начальник его охраны.

Баранов Николай Михайлович (1837–1901) – генерал.

С. 410. *Рауфус* – Райхфус Карл Андреевич (1835–1915) – лейб-педиатр (Куприн допускает неточность, называя его лейб-акушером), действительный тайный советник.

Жук Николай Николаевич (1846–?) – приват-доцент Киевского университета.

Утверждение (с. 411). – Впервые – *РГ.* 1924. 25 мая. № 29.

С. 411. *Чхеидзе* Николай (Карло) Семенович (1864–1926) – политический деятель, один из лидеров меньшевизма. В 1918–1919 гг. – председатель Учредительного Собрания Грузии. С 1921 г. – в эмиграции.

Жордания Ной Николаевич (1869–1953) – лидер грузинских меньшевиков, публицист. В 1918–1921 гг. – глава правительства меньшевистской Грузии. С 1921 г. – в эмиграции.

Товарищ Ходасевич (с. 414). – Впервые – *РГ.* 1924. 28 мая. № 31.

См. примеч. к статье «В. Ходасевичу» в наст. изд. Куприн продолжил полемику с Ходасевичем-пушкиноведом в очерке «Два юбилея» (см. наст. изд.).

С. 417. *И приведет выписку: «...полна одной тобою / Тобой, одной тобой...»* – Неточно цитируется пушкинское стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

Памятная книжка (с. 417). – Впервые – *РГ.* 1924. 3 июня. № 35. Подпись: Али-Хан.

С. 417. *Колин* Николай Федорович (1888–1973) – русский артист, актер французского немого кино. Начал творческую деятельность в студии МХТ и 10 лет был бессменным членом правления студии. В России в кино не снимался. Наибольшую известность ему принесли фильмы «600 000 в месяц», «Втихомолку», «Парижский тряпичник». Во многих фильмах снимался вместе с И. Мозжухиным. В 1956 г. уехал из Парижа в США. Скончался под Нью-Йорком, в Ньяке. О взаимоотношениях Куприна и Колина см. в кн.: Куприна К. А. Куприн – мой отец. С. 136.

...контракт с Абель Гансом. – Ганс Абель (1889–1981) – французский кинорежиссер.

Марафет (с. 419). – Впервые – *РГ.* 1924. 6 июля. № 63.

С. 419. *Нового Стэнли сопровождало небольшое число знатоков крестьянского быта...* – См. примеч. к очерку «Там».

С. 421. *Монзи* Анатоль де (1876–1947) – французский политический деятель, один из инициаторов восстановления дипломатических отношений между Францией и СССР. Первую поездку в СССР совершил в 1923 г.

Эррио Эдуард (1872–1957) – французский общественный и политический деятель. С 1924 г. неоднократно избирался премьер-министром Франции. Установил дипломатические отношения с Советской Россией. См. также статью «Прозревают» в наст. изд.

Два юбилея (с. 421). – Впервые – *РГ.* 1924. 11 июля. № 67.

С. 421. *Хорошо сделали русские эмигранты, что отметили память великого поэта.* – 7 июня 1924 г. русская эмиграция праздновала 125 лет со дня рождения А. С. Пушкина.

С. 422. *Вот это так было ликование... с римскими свечами, бураками...* – Римские свечи, бураки – бумажные трубки, набиваемые горючим составом и хлопушкой для потешных огней – иллюминации, устраиваемой, как правило, на Пасху.

...похабные стихи Баркова. – Барков Иван Семенович (ок. 1732–1768) – издатель сочинений Кантемира, переводчик сатир Горация. Получил широкую известность как автор непристойных стихотворений (широко издаются в России с 1991 г.).

С. 423. *...порнографию не только барковскую, но и В. Л. Пушкина, и Минаева, и Медведского, и Фофанова...* – Пушкин Василий Львович (1767–1830) – поэт; Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) – поэт некрасовской школы, переводчик, автор многочисленных эпиграмм; Медведский Константин Петрович (1866–1919?) – поэт, литературный критик, публицист; Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) – поэт.

...пламенная речь Достоевского на открытии памятника в Москве. – Ф. М. Достоевский произнес речь на открытии памятника Пушкину в Москве 8 июня 1880 г.

Скабичевский Александр Михайлович (1831–1911) – русский литературный критик, историк литературы.

С благодарностью назовем имена Морозова, Модзалевского, Саитова, Щеголева... – Морозов Петр Осипович (1854–1920) – историк русской литературы, пушкинист, театровед. Модзалевский Борис Львович (1874–1928) – ученый-пушкинист, один из основателей Пушкинского Дома, с 1919 г. – его старший ученый хранитель. Саитов Владимир Иванович (1849–1938) – литературовед, пушки-

нист, текстолог, библиограф. Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – историк русской литературы и революционного движения, пушкинист.

С. 423–424. *Если он критик – он писал исследование: «Пушкин и Брюсов», «Пушкин и Блок». Если он поэт... он брал недоконченные пушкинские стихи и прибавлял к ним кощунственный и бездарный конец... Каждый говорил: «Пушкин – это мой собственный Пушкин...»* – Куприн иронизирует над появившимися в русской литературе исследованиями, содержащими формальное сопоставление поэтики Пушкина и русских литераторов XX в. Например, работы В.М.Жирмунского «Наследие Пушкина и В.Брюсов» (Пг., 1922) и В.Я.Брюсова «Мой Пушкин». См. также примеч. к статье «В.Ходасевичу».

С. 424. *Выступление В.Ходасевича, например, обратилось в сплошную оглушительную овацию этому начинающему высокоталантливому стихотворцу.* – Куприн иронизирует над выступлением Ходасевича (разбор пушкинского стихотворения «Не для житейского волненья...») 12 июня 1924 г. в Сорбонне на торжественном заседании, посвященном 125-летию со дня рождения А.С.Пушкина. См. статьи Куприна «В.Ходасевичу» и «Товарищ Ходасевич» в наст. изд.

«...в нем помыслы великие теснились...» – Неточная цитата из стихотворения Н.А.Некрасова «Памяти приятеля» (1853).

Стрекозиные души (с. 425). – Впервые – *РГ.* 1924. 3 августа. № 86.

С. 426. *...в праздных суждениях об отце нашем святейшем патриархе Тихоне.* – Патриарх Тихон осудил Октябрьский переворот и декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В феврале 1922 г. осудил решение ВЦИК конфисковать церковное золото. С 16 мая 1922 г. содержался под домашним арестом. Освобожден после опубликования заявления с призывом к сотрудничеству с советской властью (1 июля 1923 г.). Умер в Москве. Останки патриарха Тихона были обнаружены в 1992 г. в Соборе Донского монастыря. Канонизирован Русской зарубежной церковью, позже – Московской патриархией. См. также статью «Александриты» и примеч. к ней, а также статью «Строгим» в наст. изд.

С. 427. *...тогда он шел прямо и непоколебимо навстречу той же кровавой ночной расправе, какая постигла митрополита Петербургского и Ладожского Вениамина.* – О митрополите Вениамине см. в фельетоне «Товарищ Ядвига» и примеч. к нему.

Слоны и конституция (с. 427). – Впервые – *РГ.* 1924. 10 августа. № 92.

С. 428. *Вот вам моя статья об Александре III.* – Имеется в виду статья Куприна «Честь имени» – см. наст. изд.

Предел (с. 431). – Впервые – *РГ.* 1924. 21 августа. № 100.

Выползень (с. 433). – Впервые – *РГ.* 1924. 28 сентября. № 133; 1 октября. № 135.

Очерк посвящен знаменитому революционеру-террористу Борису Викторовичу *Савинкову* (1879–1925), печатавшему свои художественные произведения под псевдонимом В.Ропшин. Куприн познакомился с Савинковым во время своей поездки в Италию и Францию весной-летом 1912 г. (Савинков, временно прервавший свою революционную деятельность, жил тогда на Средиземноморском побережье с семьей и писал свой роман «То, чего не было»). В путевых очерках «Лазурные берега», опубликованных в 1913 г. в газете «Речь», Куприн глухо упоминал о своем «спутнике», сопровождавшем его в путешествии, однако, по цензурным соображениям, назвать его имя не мог. Снова Куприн и Савинков встретились в Париже в 1922 г. (на этот раз оба были эмигрантами). Савинков, возобновивший литературную работу, показал Куприну рукопись своей книги «Конь вороной» и спросил его мнение об этом произведении. (Отзыв Куприна см. в письме Савинкова к сестре от 9 октября 1923 г. – ГАРФ. Ф.6756. Д.20. Л.47об). Появление очерка «Выползень» вызвано резкой переменой в судьбе Савинкова – в августе 1924 г. он был завлечен в СССР с помощью сложной провокации ГПУ, после ареста пережил психологическое потрясение и на суде (27–29 августа 1924 г.) раскаялся в своей антибольшевистской деятельности и признал советскую власть (расстрел был заменен ему десятью годами лишения свободы). 7 мая 1925 г. покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна служебного кабинета здания ОГПУ на Лубянке. 22 мая 1925 г. в Праге в Соборе св. Николая по Б.В.Савинкову была отслужена панихида. См. интересный отклик на его смерть М.Цветаевой: «Террорист – коммунист – самоубийца – и православная панихида. Как по-русски!» (Письмо к О.Е.Колбасиной-Черновой от 25 мая 1925 г. // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 745). Суд над Савинковым и его раскаяние стали одной из основных тем эмигрантской печати в сентябре 1924 г. Статья Куприна является одним из наиболее точных психологических

портретов Савинкова, несмотря на непродолжительность их знакомства.

С. 433. *«Жить тебе, пока ты на ходу»*. — Из поэмы Н.А. Некрасова «О погоде» (ч. 1; 1859).

С. 435. *«...Разрушить думал Государство...»* — Из стихотворения Некрасова «Еще тройка» (1867).

С. 436. *Таков был Нечаев... даже Азеф был не чужд этого материала.* — Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) — русский революционер, авантюрист; в 1873 г. приговорен за убийство члена своей организации к пожизненной каторге. Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) — один из основателей партии эсеров, член ее ЦК и глава боевой организации, одновременно в течение 15 лет секретный сотрудник Департамента полиции. Разоблачен в январе 1909 г.

С. 437. *По его печатным воспоминаниям можно судить, какую огромную жизнь он прожил.* — Куприн имеет в виду «Воспоминания» Савинкова о своей террористической деятельности в 1903–1908 гг., впервые опубликованные в журнале «Былое» в 1917–1918 гг., отдельное издание — в 1918 г.

...«недремлющий брегет»... — Цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 1, XV).

Кривая нянька (с. 438). — Впервые — *РГ.* 1924. 16 октября. № 148.

С. 439. *Совсем не рабочие, а главные заправилы CGT – этого детища амстердамского интернационала...* — CGT — международное объединение социалистических профсоюзов Всеобщая конфедерация труда, руководимая Социалистическим Интернационалом с центром в Амстердаме.

Филиппов Александр Иванович — журналист, критик, редактор парижской «Русской газеты», в 1928–1934 гг. — один из редакторов журнала «Театр и жизнь». О Филиппове см. также статью «У русских художников» в наст. изд.

Беженская школа (с. 441). — Впервые — *РГ.* 1924. 19 октября. № 151.

С. 441. *Мирский* (наст. фам. Миркин-Гецевич) *Борис* Сергеевич (1892–1955) — приват-доцент, журналист. С 1920 г. — в эмиграции. В 1920 г., в первые месяцы эмиграции, был в приятельских отношениях с Куприным, однако после перехода Мирского в «Последние новости» их отношения прекратились.

С. 442. *Кускова* (урожд. Есипова, во втором замужестве Прокопович) Екатерина Дмитриевна (1869–1958) — издательница, мемуаристка, общественно-политический деятель, публицист. Виднейшая представительница умерен-

но-социалистического крыла русского освободительного движения. См. также статью «Роковой конь» в наст. изд. и примеч. к ней.

...к «Истории русской революции» Павла Милюкова. — Куприн неточно цитирует название книги Милюкова «История второй русской революции» (София, 1921–1923; Париж, 1927).

С. 443. *...на эти стройные ряды казаков эрде.* — «Казаками эрде» Куприн иронически называет эмигрантских журналистов — сторонников республиканско-демократической группы П. Н. Милюкова.

Ф.А.Малявин (с. 443). — Впервые — *РГ.* 1924. 18 ноября. № 176; 19 ноября. № 177; 20 ноября. № 178. Подпись: Али-Хан.

Статья написана Куприным к персональной выставке Малявина в парижской галерее Шарпантье (1924).

Малявин Филипп Андреевич (1869–1940) — живописец, график, мастер экспрессивных композиций с изображением крестьян. Окончил петербургскую Академию Художеств, в которой с 1894 г. занимался в мастерской Репина. С 1903 г. — член Союза русских художников. Был избран академиком живописи. В 1920 г. на Всероссийской конференции являлся делегатом от Союза русских художников. Рисовал с натуры портреты Ленина и Луначарского в Кремле. В 1921–1922 гг. участвовал в выставках «Мира искусства» и Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1922 г. получил разрешение Луначарского на организацию своей выставки за границей, вывез из России почти все свои полотна и немедленно объявил о разрыве с Советской Россией. Жил в Париже, затем в Ницце. Персональные выставки Малявина были организованы в Праге, Белграде (1933), Ницце (1933, 1937), Лондоне, Стокгольме (1935). В 1940 г., находясь в Бельгии, попал в немецкий плен, подозревался в шпионаже. Доказав, что является лишь художником, был отпущен. Похоронен на городском кладбище в Ницце.

С. 446. *Богданов-Бельский* Николай Петрович (1868–1945) — русский художник-передвижник. С 1921 г. жил в Латвии.

Поворотным ключом его жизни явился академик Беклемишев. — Беклемишев Владимир Александрович (1861–1920) — скульптор, профессор. Обстоятельства знакомства Беклемишева с Малявиным описаны Куприным неточно.

С. 447. *...с незабвенным графом И. И. Толстым...* — Толстой Иван Иванович (1858–?), граф — нумизмат и археолог.

Президент Академии художеств. Способствовал основанию и устройству Русского музея Александра III в Санкт-Петербурге. После Октябрьского переворота эмигрировал.

Петр Мясоедов — Мясоедов Григорий Григорьевич (Куприн ошибочно указывает имя) (1835–1911) — живописец; за картину «Заклинание» в 1870 г. получил звание академика. Основатель Товарищества передвижных выставок.

С. 448. *А еще через год, на последнем конкурсном испытании в 1899 году, Малявин взял да и выставил свой красный «Смех».* — Представленная на конкурс картина «Смех» только благодаря вмешательству Репина была засчитана как дипломная работа, что дало Малявину право на звание художника.

С. 449. *Стыдливые академики дали звание Малявину не за эту картину, а за портрет молодого князя Оболенского.* — Куприн неточен. Звание художника Малявину принесла именно картина «Смех».

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) — театральный деятель, редактор-издатель журнала «Мир искусства».

Она была выставлена в 1900 году на Международной выставке в Париже. — В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже картина «Смех» была удостоена Золотой медали.

Дом молитвы (с. 449). — Впервые — *РГ.* 1924. 27 ноября. № 184.

С. 450. *...большевистские агенты... заявят... свои права на владение... храмом... Сделали же они это в Берлине и еще где-то...* — Многие русские православные храмы в зарубежных странах до 1917 г. были собственностью Русской Православной Церкви. После признания Советского правительства де-юре Европой Москва предъявила претензии о возвращении ей, наряду с другим государственным имуществом за рубежом, и нескольких православных храмов. Русская эмиграция разных стран вела непримиримую борьбу за право оставить храмы за собой. Борьба велась с переменным успехом и продолжалась вплоть до второй мировой войны.

О хозяине и родственнике (с. 452). — Впервые — *РГ.* 1924. 30 ноября. № 187.

Советский гражданин (с. 454). — Впервые — *РГ.* 1924. 7 декабря. № 193.

С. 454. *Все это проделал Садул.* — Имеется в виду Садуль Жак (1881–1956) — французский политический деятель. Приехав в Россию в сентябре 1917 г. как сотрудник фран-

цузской военной миссии, он перешел на сторону большевиков. Стал одним из основателей Французской коммунистической партии. Был заочно приговорен к смертной казни. В 1924 г. вернулся на родину. Был предан военному суду и оправдан.

Прозревают (с. 455). – Впервые – *РГ.* 1924. 13 декабря. № 198.

С. 455. *...кавъяр...* – Икра *(фр.).*

С. 456. *...прелестная легкокрылая графиня де Ноай.* – Ноай Анна Элизабет (1876–1933), графиня – французская поэтесса.

Шуты гороховые (с. 457) – Впервые – *РГ.* 14 декабря. № 199.

Об отношении Куприна к футуризму и футуристам см. также его статью «Футуристы и большевики» (*НРЖ.* 1920. 7 февраля. № 30).

Поводом для статьи Куприна послужил приезд Маяковского в Париж 22 ноября 1924 г. 29 ноября в газете «Жюрналь» было опубликовано интервью с Маяковским.

С. 457. *Взошел на подмостки Владимир Маяковский...* – Куприн передает оставшиеся в памяти читателей русских газет 1913–1914 гг. общие впечатления о футуристических диспутах, лекциях и концертах, в которых Маяковскому принадлежала заглавная роль (ср. определение «футуризма» как плоского хулиганства в речи И. А. Бунина на юбилее газеты «Русские ведомости» осенью 1913 г.).

...положила начало мировой славе Горького, в тот день, когда он прикрикнул... – Этот инцидент произошел 29 октября 1900 г. в МХТ на премьере «Чайки». По этому поводу М. Горький объяснился в газете «Северный курьер» (1900. 8 ноября. № 363): «Я не употреблял грубых выражений... Мне, господа, лестно ваше внимание. Спасибо! – но я не понимаю его. Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник. Что интересного во внешности человека, который пишет рассказы?» (Горький М. Полн. собр. соч. Письма: Т. 2. М., 1997. С. 67).

С. 459. *Хлебников... Эренбург... А Есенин? А Маяковский? А Пастернак?* – Из упомянутых Куприным писателей к футуристам, помимо Маяковского, принадлежали Велимир Хлебников и Б. Л. Пастернак (в первый период творчества). Фамилии Есенина и И. Эренбурга употреблены Куприным, очевидно, потому, что в их «творческом поведении» присутствовал элемент эпатажа.

Иван Заикин (с. 461). – Впервые – *ИР.* 1925. № 22.

Заикин Иван Михайлович (1880–1948) – русский цирковой артист, спортсмен, один из первых русских авиаторов. 12 ноября 1910 г. совершил с Куприным в Одессе полет на аэроплане «Фарман». См. очерк Куприна «Мой полет» (1911). О многолетней дружбе Куприна с Заикиным, начало которой восходит к 1910 г., см. в кн.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 39, 44–47, 51, 75–76, 78.

Слагаемое (с. 461). – Впервые – *РГ.* 1925. 1 января. № 213; 3 января. № 214; 4 января. № 215.

С прозаиком и драматургом Михаилом Петровичем *Арцыбашевым* (1878–1927) Куприна связывали давние литературные отношения. В 1908–1917 гг. оба они были ближайшими сотрудниками литературного альманаха «Земля», который пытался объединить писателей-реалистов, чуждых определенному политическому направлению (марксистская и народническая критика рассматривала этот альманах как «безыдейный»). Личное общение между ними было нечастым в связи с тем, что Куприн постоянно жил в Гатчине, а Арцыбашев – в Москве. В 1918–1923 гг., после закрытия небольшевистских газет, журналов и издательств, Арцыбашев безвыездно жил в Москве, не участвуя в литературной жизни (от публикации своих произведений в изданиях, руководимых коммунистами, он категорически отказывался, открыто заявляя о полном отрицании советской власти), пробовал заниматься коммерцией. Летом 1923 г., воспользовавшись польским происхождением жены, вместе с ней принял польское гражданство и выехал из СССР. С августа 1923 г. жил в Варшаве. С сентября 1923 г. начал публиковать свои произведения в местной эмигрантской газете «За свободу» (публицистический цикл «Записки писателя» – с 1923 по 1927 г. опубликовал 112 статей этого цикла), которые быстро сделали его одним из идейных вождей «непримиримой», «активной» белой эмиграции, глашатаем белого террора. Куприн возобновил с ним переписку, несколько раз одобрительно отзывался о его публицистике; после смерти Арцыбашева от менингита в марте 1927 г. Куприн написал его некролог (см. статьи «Роковой конь», «Святая месть», «Венок на могилу Арцыбашева» в наст. изд.). О газете «За свободу» подробнее см. в примеч. к статье «Венок на могилу Арцыбашева». Арцыбашев переписывался с Б.В.Савинковым, лично встретился с

ним в августе 1924 г. в Варшаве, за несколько дней до его тайного возвращения в СССР. «Савинковской истории» посвящено пять статей из цикла «Записки писателя», опубликованных в газете «За свободу» в сентябре-октябре 1924 г.: «Савинков» (5 сентября); «Гады ползучие» (10 сентября); «Фельетонная совесть» (11 сентября); «Письмо Савинкова» (21 сентября); «Гоголевский черт и эсеровские ангелы» (9 октября). Историю своих отношений с Савинковым Арцыбашев описал в статье «Воспоминания» (За свободу. 1925. 15 марта).

С. 462. *Но вышел разлад.* — Речь идет о публикации статьи Арцыбашева в литературном сборнике «Галлиполи» (Берлин, 1924). Сборник являлся одним из элементов в развернутой сторонниками генерала Врангеля кампании по объединению белой эмиграции вокруг личности великого князя Николая Николаевича (Младшего). См. статьи Куприна «Зов», «Отрицание», «Люди дела» в наст. изд. В отличие от Куприна, Арцыбашев скептически относился к перспективам такого объединения, хотя и считал его необходимым (см. его статьи: Декларация Николая Николаевича // За свободу. 1924, 1 июля; Новая страница в книге нашего позора // За свободу. 1925. 15 ноября и др.). Использование имени Арцыбашева в «николаевском» сборнике вызвало его резкую отповедь, ниже цитируемую Куприным.

Старинный русский разлад, как раньше в вопросах о хождении посолонь, о двуперстии, о сугубой и трегубой Аллилуйе. — Имеется в виду церковный раскол, произошедший в XVII в. в Русской Православной Церкви после реформы патриарха Никона. Одним из ее положений было хождение священнослужителей по храму с запада на восток, т. е. против солнца, а не «посолонь» (по солнцу), как было принято раньше; крещение щепотью (тремя перстами) вместо ранее существовавшего двуперстия; сугубая (двукратная) Аллилуйя стала трегубой (трехкратной).

...в том числе... Бурцева, Минцлова... — Бурцев Владимир Павлович (1862–1942) — общественный деятель, публицист, историк. В 1908–1912 гг. прославился как разоблачитель Е. Азефа и А. Гартинга. Редактировал журнал «Былое» (1906–1907; 1908–1912) и газету «Общее дело» (1909–1910, 1917). В 1917 г. обвинял большевистских лидеров в сотрудничестве с Германией, требовал установления диктатуры генерала Корнилова. С мая 1918 г. — в эмиграции. В Париже возобновил издание «Общего дела». С 1920 по 1922 г.

привлек к сотрудничеству в газете Куприна. О Бурцеве см. также статью «Роковой конь» и примеч. к ней. Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933) – русский прозаик, историк, библиограф. С 1918 г. – в эмиграции.

С. 463. *...статья г. Ильина...* – Ильин Иван Александрович (1883–1954) – русский философ, публицист. Осенью 1922 г. выслан из Советской России, довольно быстро в эмиграции стал ведущим идеологом белого движения, лично близким генералу Врангелю.

С. 465. *По довольно точнымъ статистическимъ выводамъ профессора Анцыферова...* – Анцыферов Алексей Николаевич (1867–1943) – русский экономист, публицист. С 1920 г. – в эмиграции.

С. 466. *Предвиделъ это упорство... сначала одинъ Ленинъ. «На беломъ фронте мы победимъ... на заграничномъ должны и можемъ победить, но на крестьянскомъ проиграемъ».* – Неточная цитата из речи Ленина на XI съезде РКП(б) (Политический отчет Центрального комитета РКП(б) от 27 марта 1922 г.).

Н.В.Плевицкая (с. 470). – Впервые – *РГ.* 1925. 10 января. № 220. Подпись: Али-Хан.

Рецензия на один из многочисленных концертов исполнительницы русских народных песен *Надежды Васильевны Плевицкой* (урожд. Винниковой; 1884–1940), ставшей для многих русских, оказавшихся в эмиграции, символом утраченной России. Вместе с врангелевской армией Н.В.Плевицкая эвакуировалась из Крыма, некоторое время жила в Галлиполи, где вышла замуж за генерала корниловской дивизии Н.В.Скоблина. С 1922 г. вместе с мужем жила под Парижем. С помощью писателя И.Лукаша выпустила две автобиографические книги: «Дежкин карагод» (Берлин, 1925) и «Мой путь с песней» (Париж, 1930). В 1930 г. вместе с мужем была завербована иностранным отделом ОГПУ. В сентябре 1937 г. участвовала в похищении главы Российского Общевоинского Союза генерала Е.К.Миллера. После исчезновения мужа была арестована французской полицией. В декабре 1938 г., после громкого судебного процесса, на котором не признала себя виновной, была приговорена к двадцати годам каторжных работ. Умерла в заключении.

С. 470. *Давно большой залъ Гаво не былъ такъ переполненъ...* – Концертный зал Гаво (Grande Salle Gaveau) находился в Париже на rue de La Boétie, 9[e].

Добрый чародей (с. 471). – Впервые – *РГ.* 1925. 18 января. № 227.

Очерк посвящен 80-летнему юбилею писателя и журналиста *Василия Ивановича Немировича-Данченко* (1844–1936). Прославившийся своими военными корреспонденциями с русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Немирович-Данченко к эпохе революции 1917 г. был одним из плодовитейших (около 250 книг) и старейших русских писателей. Сумев в 1922 г. выехать из Советской России, Немирович-Данченко оказался в эмиграции старейшиной и неофициальным главой русского литературного зарубежья.

Вас. Ив. Немирович-Данченко (с. 473). — Впервые — *РГ.* 1925. 21 января. № 229.

С. 473. *...старый мой друг А. М. Федоров...* — Федоров Александр Митрофанович (1868–1949) — русский писатель, приятель Куприна и Бунина. Жил в Одессе. С 1920 г. — в эмиграции в Болгарии.

С. 474. *Помню... Людовика Нодо, Сыромятникова (Сигму).* — Нодо Шарль Людовик — французский журналист, в годы первой мировой войны и революции петроградский корреспондент французской газеты «Пти Паризьен». Сыромятников Сергей Николаевич (1864–?) — русский писатель и журналист консервативного направления. Печатался в газете «Новое время» под псевдонимом «Сигма».

С. 475. *Восстание карлистов, Хива, Туркестан, Турецкая кампания, Японская война, Турецко-славянская...* — Восстание карлистов — имеется в виду гражданская война в Испании 1872–1876 гг. Хива — имеется в виду завоевание Хивы русскими войсками в 1873 г. Туркестан — военная экспедиция (1880–1881) под руководством генерала М. Д. Скобелева, в результате которой Туркестан отошел к России. Турецкая кампания — русско-турецкая война 1877–1878 гг. Японская война — русско-японская война 1904–1905 гг. Турецко-славянская — первая Балканская война 1912–1913 гг. между союзными Болгарией, Сербией, Черногорией, Грецией, с одной стороны, и Турцией — с другой. Всего Немировичем-Данченко перечисляется не восемь, а семь войн.

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) — художник-баталист, участник Туркестанского похода, отличился под Самаркандом. Награжден орденом Св. Георгия (1867). В 1877 г. участвовал в русско-турецкой войне. Погиб во время войны с Японией.

Без заглавия (с. 476). — Впервые — *РГ.* 1925. 22 марта. № 281.

С. 476. *Издебский* Владимир Алексеевич (1881–1965) — скульптор и живописец.

...нехватки прошлогодней Олимпиады. — VIII Олимпийские игры проходили в Париже в мае-июне 1924 г.

С. 477. *Зайдут они, конечно, в «Pavillon Soviétique Archit. Melnikoff».* — Имеется в виду выдающийся архитектор-конструктивист Константин Степанович Мельников (1890–1974) и построенный по его проекту Советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1925 г. (открыт 4 июня), вызвавший восторг поклонников авангардизма в искусстве и негодование его противников.

...павильон русской промышленности на Лионской выставке. — Имеется в виду Лионская ярмарка 1925 г., в которой участвовала и Советская Россия.

С. 478. *Ларионов* Михаил Федорович (1881–1964) — живописец, график, театральный художник. Уехал из России в 1915 г. В 1938 г. принял французское гражданство.

Кислятина (с. 479). — Впервые — *РГ.* 1925. 17 мая. № 328.

Межевой знак (с. 481). — Впервые — *РГ.* 1925. 24 мая. № 333.

О Б.В.Савинкове и его отношениях с Куприным см. статью «Выползень» и примеч. к ней.

С. 482. *Убил ли он сам себя и как... Или его прикончили большевики...* — 14 мая 1925 г. в советской печати появилось сообщение о том, что Савинков, с конца августа 1924 г. отбывавший десятилетний срок заключения во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке, вечером 7 мая 1925 г. покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Одновременно было опубликовано датированное этим же числом — 7 мая — его письмо к председателю ОГПУ Ф.Э.Дзержинскому, в котором Савинков заявлял, что его дальнейшее пребывание в тюрьме для него невыносимо, и требовал своего освобождения, которое было обещано ему после раскаяния. И запоздалое сообщение о гибели (через неделю), и некоторые неясности в описании ее обстоятельств сразу же вызвали подозрения, что Савинков не покончил с собой, а был убит тюремщиками (позднее эта версия пропагандировалась В.Шаламовым и А.Солженицыным). Появившиеся в 1990-е годы публикации, в частности полный текст письма Савинкова к Дзержинскому, заставляют отказаться от этой версии. Савинков, скорее всего, действительно покончил с собой или был убит при попытке к бегству. См. публикацию Д.И.Зубарева «Человек, который хотел расширить человеческую свободу» (Независимая газета. 1995. 23 мая).

С. 482–483. *Я, например, думаю, что вся их работа ничего не принесла ни им, ни их врагам, ни России, кроме злобы, крови, взаимного истребления и замедления прогресса.* — В этой фразе отчетливо заметна полная перемена точки зрения Куприна на революционный террор по сравнению с доэмигрантским периодом. Ср. его рассказ 1918 г. «Гусеница» с восторженной характеристикой революционерок-террористок В. Фигнер, В. Засулич, М. Спиридоновой, М. Школьник и др.

С. 483. *Когда Дурново приехал в тюрьму к Балмашеву...* — Дурново Петр Николаевич (1844–1915) — в 1902 г. товарищ министра внутренних дел. Балмашев Степан Валерианович (1881–1902) — русский революционер. 2 апреля 1902 г. в Петербурге застрелил министра внутренних дел Д. С. Сипягина. На суде заявил, что совершил это по приговору боевой организации партии социалистов-революционеров; был повешен. Выстрел Балмашева ознаменовал начало новой волны революционного террора в России в XX в.

А Каляев, уже готовый бросить бомбу... останавливает свою руку... — Каляев Иван Платонович (1877–1905) — русский революционер. 4 февраля 1905 г. в Кремле убил генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича (дядю императора), бросив бомбу в его карету. На суде заявил, что счастлив умереть за народ. В воспоминаниях руководителя Каляева по боевой организации Б. В. Савинкова, опубликованных в 1908 г., говорилось о том, что первую попытку покушения на великого князя Каляев не осуществил, увидев в карете рядом с ним детей, а не «даму», о которой пишет Куприн.

Сикофанты (с. 484). — Впервые — *РГ.* 1925. 31 мая. № 339.

Сикофант — в античном мире — доносчик, вымогатель, клеветник.

С. 484. *...письмо, подписаное П. Коганом и Аросевым, двумя советскими мужами с улицы Гренель.* — По адресу Гренель, 79, в Париже находилось российское посольство. В октябре 1924 г., после признания Францией Советского правительства, бывший русский посол Маклаков был вынужден покинуть это здание и туда въехал первый посол СССР во Франции Л. Б. Красин. С этого момента здание советского посольства на рю Гренель стало вызывать пристальный интерес эмигрантской прессы. Коган Петр Семенович (1872–1932) — литературовед, литературный критик, до революции приват-доцент историко-филологического

факультета Санктпетербургского университета. После Октябрьского переворота – профессор московских вузов, с 1921 г. – президент Государственой Академии Художественных Наук. Летом 1925 г. руководил советским отделом Всемирной выставки в Париже. Аросев Александр Яковлевич (1890–1938) – революционер (большевик с 1907 г.), государственный деятель, прозаик. Один из руководителей вооруженного восстания в Москве в октябре-ноябре 1917 г. В 1920-х годах – на дипломатической работе, в 1934–1937 гг. – председатель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, вел активную работу по возвращению эмигрантских писателей, композиторов, художников в СССР. Куприн, называя его «незнакомцем, укрывшимся под псевдонимом», не прав: Аросев печатал под своей фамилией сборники рассказов и повестей начиная с 1920 г.

...международного съезда писателей... – Международный съезд писателей проходил в Париже в двадцатых числах мая 1925 г. 21 мая состоялся банкет международного съезда писателей. Среди русских писателей выступил на нем и Куприн.

...многие наши книги, за время невольного изгнания, были в Париже хорошо переведены, изданы и дружелюбно встречены французской критикой. – В 1922–1924 гг. в Париже вышло семь сборников прозы Куприна, переведенных, в основном, Анри Манго. Об отзывах французской критики на эти издания см.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 143–147.

С. 485. *...такие современные колоссы русско-советской литературы, как Маяковский и Всеволод Иванов. Ведь не может же быть, чтобы они были неизвестны Парижу и, следовательно, всей Франции?* – Произведения В.В. Маяковского и Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963) к этому времени еще не выходили на французском языке отдельными книгами, а лишь публиковались в левых периодических изданиях. Упоминание вызвано тем, что оба они находились в Париже, участвуя в работе Советского павильона на Всемирной выставке.

Знают... одного Есенина... – С.А. Есенин был в Париже вместе с Айседорой Дункан в 1922 и 1923 гг. Их пребывание там сопровождалось скандалами, с восторгом комментируемыми русской эмигрантской печатью.

Вересаева я не трогаю. Но Серафимович был всегда писателем с воробьиный нос. Начал же он свою новую карьеру доно-

сом... — Вересаев (наст. фам. Смидович) Викентий Викентьевич (1867–1945) — прозаик, по политическим убеждениям социал-демократ, меньшевик. В годы гражданской войны жил в Крыму. После ее окончания переехал в Москву, сохранял в своем творчестве известную общественную независимость. Характерно, что писатели-эмигранты, хорошо знавшие Вересаева до революции (в первую очередь Бунин и Куприн), выделяли его из общего ряда литераторов, оставшихся в СССР, и избегали осуждений в его адрес. Серафимович (наст. фам. Попов) Александр Серафимович (1863–1949) — прозаик, один из первых писателей, поддержавших Октябрьский переворот и вступивших в коммунистическую партию. Под «доносом» Куприн имеет в виду его статью «Братья писатели» (Известия. 1918. 12 января), за которую Серафимович был исключен из большинства московских литературных организаций.

С. 486. *А Криницкий? А Оль д-Ор?.. А Ясинский? А Окунев? Все они равноценны по голодной услужливости...* — Криницкий Марк (наст. имя и фам. Михаил Владимирович Самыгин; 1874–1952) — прозаик. Оль д-Ор — правильно Оль-д-ор (наст. имя и фам. Осип Львович Оршер; 1878–1942) — журналист, сатирик. Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — журналист, прозаик. Окунев Яков Миронович (1882–1932) — прозаик, журналист. Куприн объединяет их имена, поскольку все они, являясь до революции известными литераторами и журналистами, печатавшимися в буржуазных изданиях, переметнулись, по мнению Куприна, к большевикам из чисто корыстных соображений.

Люди дела (с. 486). — Впервые — *РВ.* 1925. 24 июля. № 39.

См. также статьи «Зов», «Не по месту», «Sic! Sic!» и примеч. к ним.

Остатний раз (с. 489). — Впервые — *РВ.* 1925. 5 августа. № 47.

С. 489. *«Парижский вестник»* — газета, издававшаяся в Париже советским посольством в 1925–1928 гг.

О шовинизме (с. 491). — Впервые — *РВ.* 1925. 13 августа. № 54.

С. 491. *...патриотизма в 1914 году при появлении манифеста.* — Имеется в виду манифест Николая II от 19 июля 1914 г. о войне с Германией.

С. 492. *«Дейтшланд юбер аллес».* — Германия превыше всего *(нем.).*

С. 493. *Дерулед* Поль (1846–1914) – французский писатель и политический деятель, пропагандист «реванша» – войны с Германией.

Пуанкаре Раймон (1860–1934) – президент Франции (1913–1920), один из организаторов антисоветской интервенции в годы гражданской войны.

Черняев Михаил Георгиевич (1828–1898) – русский военный и общественный деятель.

Шовинистом был и тот царь, который... в течение тринадцати лет... отводил властной рукой каждую предательскую руку... – Имеется в виду Александр III.

Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867–1934) – профессор, историк, участник украинского и белорусского национального движения.

...«пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...» – Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1828–1829).

Французская деревня (с. 494). – Впервые – *РВ*. 1925. 27 августа. № 65.

Очерк написан во время поездки Куприна в августе 1925 г. на юг Франции, в г. Ош. Тематически примыкает к циклу «Юг благословенный» (1927).

С. 494. *Жорес* Жан (1859–1914) – французский социалист, основатель газеты «L'Humanite» (1904).

Манжен Мария Эммануэль Шарль (1866–1925) – французский генерал.

С. 495. *Тогда еще не начиналась война с Марокко.* – Имеется в виду восстание арабов, вспыхнувшее в 1920-х годах на территории Марокко, объявленного в 1912 г. протекторатом Франции.

Мильеран Александр (1859–1943) – французский политический деятель, адвокат, публицист. В 1920–1924 гг. – президент Франции.

Посып-хан (с. 496). – Впервые – *РВ*. 1925. 30 августа. № 68.

С. 497. *...составлялась эта книга в те блаженные времена...* – В 1687 г.

...моргариновых дворян... – Т.е. дворян, владеющих совсем небольшими земельными наделами. Морг *(польск.)* – земельная мера (около 0,5 га).

С. 499. *Пушкин... пишет Вяземскому о том, что приятнее славы и дороже милости двора были для него слезы няни и сердечная встреча «моих хамов».* – Куприн неточно цитирует письмо Пушкина к Вяземскому от 9 ноября 1826 г.

Капля и камень (с. 500). — Впервые — *РВ.* 1925. 1 сентября. № 69.

С. 501. *Катон* Марк Порций Старший (234–149 до н.э.) — римский писатель, государственный деятель.

Роковой конь (с. 503). — Впервые — *РВ.* 1925. 6 сентября. № 74.

С. 503. *...в Румынии существует сигуранца, а в Польше экзекютива...* — Сигуранца и экзекютива — название политической полиции в соответствующих государствах.

...серию «Мыслей писателя»... — Публицистический цикл статей Арцыбашева, публиковавшийся в газете «За свободу», назывался «Записки писателя».

...немедленно срывается с места г-жа Кускова... — После Октябрьского переворота Е.Д. Кускова, оставаясь идейной противницей советской власти, постоянно выступала против вооруженной борьбы с ней, делая ставку на ее неизбежную эволюцию. Летом 1921 г. была привлечена Советским правительством к руководству Комитетом помощи голодающим. В августе 1921 г. арестована, летом 1922 г. выслана за границу. В эмиграции стояла на крайнем левом фланге, вела постоянную полемику с «непримиримыми», резко критикуя все попытки вооруженной борьбы с советской властью. Кускова и Арцыбашев были наиболее последовательными сторонниками противоположных тактических течений в антибольшевистской эмиграции. И поэтому естественно, что они в 1923–1927 гг. непрерывно полемизировали друг с другом. См. также примеч. к статье «Беженская школа».

С. 504. *...ни в брюсовское общество.* — Имеется в виду Всероссийский союз писателей, одним из председателей которого в 1918–1921 гг. был В. Брюсов.

С. 505. *Инако приехали в Россию Плеханов и Бурцев, инако – Ленин, Зиновьев и Красин.* – Куприн противопоставляет здесь позиции, занятые по отношению к мировой войне 1914–1918 гг. русскими революционерами-эмигрантами. В.Л. Бурцев и Г.В. Плеханов активно выступали за победу в ней России, Бурцев даже добровольно вернулся после ее начала из эмиграции в Россию, хотя знал, что будет там арестован, а Плеханов вернулся после Февральской революции через территорию союзных с Россией государств — Франции и Англии. Ленин же и Зиновьев во время войны выступали за поражение в ней России и после Февральской революции вернулись в Россию, проехав через территорию Германии в «пломбированном вагоне». Имя Л.Б. Красина

употреблено Куприным в этом ряду по ошибке — в годы войны Красин жил в России, занимал патриотическую позицию и снова вступил в большевистскую партию лишь в 1918 г. (в 1910–1917 гг. он членом партии не был).

Святая месть (с. 505). — Впервые — *РВ*. 1925. 9 сентября. № 76.

С. 506. *...проверке алгеброй гармонии...* — Парафраз из монолога Сальери: «Поверил я алгеброй гармонию» (А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»).

...из евангельских слов: «Мне отмщение, и Аз воздам». — Рим. 12:19.

С. 507. *...сам поэт поник венчанной головой с свинцом в груди и жаждой мести.* — Парафраз из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

...Данзас рассказывал, что по дороге домой... Пушкин несколько раз спрашивал о состоянии Геккерна и горячо обрадовался, что его противник не убит... — Куприн имеет в виду воспоминания К. К. Данзаса (1801–1870) в записи А. Н. Аммосова (Аммосов А. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863).

Электрификация и электрофига (с. 508). — Впервые — *РВ*. 1925. 25 сентября. № 90.

С. 509. *...ленинским нужником из золота.* — Речь идет о фразе Ленина: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира» (Ленин В. О значении золота теперь и после полной победы социализма // Правда. 1921. 6/7 ноября).

С того берега (с. 510). Впервые — *РВ*. 1925. 27 сентября. № 92.

Осенний салон (с. 512). — Впервые — *РВ*. 1925. 2 октября. № 96.

С. 514. *Боннар* Пьер (1867–1947), *Фландрен Жюль*-Леон (1871–1947), *Фужита* Леонард (1886–1966), *Марре Андре* (1885–1932), *Матисс Анри* (1869–1954), *Нери Пьер*, *Валлотон* Феликс (1865–1925) — французские художники.

С. 515. *Назимова* (наст. фам. Левентон) *Алла* Яковлевна (1879–1945) — актриса, продюсер, сценарист.

Донген Ван (Ян) (1883–1970) — французский скульптор.

Гончарова Наталия Сергеевна (1881–1962) — живописец, график, театральный художник.

Зак Евгений Савельевич (1884–1926) — художник.

Глюкман Григорий Ефимович (1898–?) – живописец, график.

Терешкович Константин Андреевич (1902–1978) – живописец, график.

С. 516. *...толстый, добрый Левинсон и длинный, заостренный Шлетцер.* – Левинсон Андрей Яковлевич (1887–1933) – критик, историк балета, литератор. Шлетцер (Шлецер) Борис Федорович (1881–1969) – журналист, философ, музыкальный критик.

О сплетнях (с. 516). – Впервые – *РВ.* 1925. 18 октября. № 110.

Старый начетчик (с. 521). – Впервые – *РВ.* 1925. 22 ноября. № 138.

С. 521. *...заслуженный статистик и старый народоволец Пешехонов...* – Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) – политический деятель, статистик, публицист. С 1904 г. – один из редакторов «Русского богатства». В октябре 1922 г. был выслан из России, однако не отказался от советского паспорта и выступил с брошюрой «Почему я не эмигрировал» (1923). Работал в советских представительствах за границей. Жил в Риге, Праге, Берлине.

...Осоргина я еще понимаю. – Осоргин (наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942) – прозаик, журналист. В 1906–1916 гг. и с 1922 г. – в эмиграции (был выслан из Советской России). Сохранял советский паспорт, печатался в эмигрантских газетах, стоял на их крайнем левом фланге. Отказался от советского паспорта в 1937 г.

...между серых листов «Русского богатства»... – «Русское богатство» – литературный, научный и политический журнал (Москва–Петербург, 1876–1918).

...жалкому Муйжелю. – Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924) – русский писатель-реалист. Первые публикации Муйжеля появились в журнале «Мир Божий» в 1904 г. по инициативе Куприна.

«Дни» – русская эмигрантская газета (1922–1933), выходила в Париже, позже в Берлине. С сентября 1928 г. – еженедельник.

Липкая бумага (с. 523). – Впервые – *РВ.* 1925. 29 ноября. № 144.

С. 523. *Мягков* Александр Геннадиевич (1870–1957) – русский инженер, общественный деятель, родственник Б. В. Савинкова (муж его сестры Веры). С 1921 г. жил в Праге.

С. 524. *...специалисты по загону на «тэнглъ фут»...* – Тэнгль фут – липкая бумага *(англ.)*.

...ловкий, циничный Ветлугин и восторженный, слюнявый Василевский. — Ветлугин (наст. имя и фам. Владимир Ильич Рындзюн; 1897 — после 1946) — журналист, прозаик. В 1922–1923 гг. сопровождал С. Есенина и А. Дункан в поездке по США. Остался жить в Нью-Йорке. Сотрудничал в просоветских изданиях. О Василевском см. рассказ «Допрос» и статью «Какая стыдливость!» и примеч. к ним.

...бывшего графа Толстого. — Имеется в виду А. Н. Толстой. Подробнее см. примеч. к эпиграмме «Кто он?».

Журнал «Смена вех» выходил в Праге в 1921–1922 гг. Его название стало символом для политического течения в эмиграции, призывавшего к признанию советской власти и сотрудничеству с ней.

...прямая дорога на Гренель. — Т. е. в советское посольство, располагавшееся на этой улице.

1926

Анатолий II (с. 527). — Впервые — *ИР.* 1926. № 10 (43).

Дуров Анатолий Анатольевич (1887–1928) — цирковой артист, дрессировщик, клоун, сын известного, стяжавшего мировую славу русского клоуна Анатолия Леонидовича Дурова (1865–1916), близкого друга Куприна. О знакомстве Куприна с А. Л. Дуровым и истории их долголетней дружбы см. подробнее в кн.: Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 59, 79, 80.

С. 527. *Скорее, он пошел по стопам своего дяди... Владимира.* — Дуров Владимир Леонидович (1863–1934) — артист цирка, дрессировщик, заслуженный артист РСФСР. Был близко знаком с Куприным с 1910 г. Автор скульптурного портрета Куприна.

На 1926 год (с. 528). — Впервые — *РВ.* 1926. 7 января. № 175.

С. 528. *...не желая обидеть ни Юлия Цезаря, ни папу Григория, я решил встретить мой новый год посредине обоих календарей.* — Имеются в виду основатели двух календарных систем — юлианской (действовавшей в Европе до конца XVI в. и сохранившейся в России вплоть до февраля 1918 г.) и григорианской (введенной папой Григорием в 1582 г. и принятой в католических и протестантских государствах). В XX в. григорианский календарь опережает юлианский на 13 дней.

С. 529. *...со словарем Ларусса...* — Имеется в виду известный словарь французской книгоиздательской фирмы «Ларусс».

...П.П.Потемкин собирается приступить к изданию ежедневного журнала, посвященного тому же полезному развлечению. — Потемкин Петр Петрович (1886–1926) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, шахматист. С ноября 1920 г. — в эмиграции. Журнал кроссвордов не был издан.

Белая горячка (с. 531). — Впервые — *PB.* 1926. 28 января. № 191.

«Условные рефлексы» (с. 533). — Впервые — *PB.* 1926. 4 февраля. № 197.

С. 535. *Ссылки на теорию И.П.Павлова беру из статьи В.В.Драбовича в «Последних новостях».* — Драбович В.В. Условные рефлексы: Теория ак. И.П.Павлова // Последние новости. 1924. 25 января. № 1769.

У русских художников (с. 535). — Впервые — *PB.* 1926. 6 февраля. № 199; 19 февраля. № 209; 24 марта. № 236.

С. 535. *Сорин* Савелий Абрамович (наст. имя Завель Израйлевич; 1878–1953) — живописец.

С. 536. *Шестов Лев* Исаакович (наст. имя и фам. Иегуда Лейб Шварцман; 1866–1938) — философ-экзистенциалист, литератор.

С. 538. *Аронсон* Наум Львович (1872–1943) — скульптор.

С. 541. *...портрет Пастера.* — Пастер Луи (1822–1895) — естествоиспытатель. Труды Пастера положили начало развитию микробиологии как самостоятельной науки.

Старевич Бронислав (по др. источникам Владислав) *Александрович* (1882–1965) — кинорежиссер-мультипликатор. С 1922 г. жил во Франции, основал собственную студию в Фонтене-су-Буа.

С. 542. *Старевич* Янина (псевд. Нина Стар) — младшая дочь Б.А.Старевича, игравшая в его сказках и фильмах.

С. 544. Об *А.И.Филиппове* см. примеч. к статье «Кривая нянька».

Гибель Николаевска-на-Амуре (с. 544). — Впервые — *PB.* 1926. 21 февраля. № 211.

С. 544. *...книга эта написана А.Я.Гутманом (Анатолий Ган).* — Имеется в виду книга Анатолия Яковлевича Гутмана (псевд. Анатолий Ган) «Гибель Николаевска-на-Амуре. Страницы по истории гражданской войны на Дальнем Востоке» (Берлин: Русский экономист, 1924). События, о которых говорит Куприн, подробно описаны Ганом в 9-й главе книги.

С. 547. *...в каждом уездном городишке и посаде были свои Тряпицыны и свои Нины Кияшко...* — В рецензированной Куприным книге и в самой рецензии речь идет об одном из наи-

более трагических эпизодов гражданской войны на Дальнем Востоке. В феврале-марте 1920 г. партизанский отряд, возглавляемый анархистами Яковом Тряпицыным (ум. 1920) и Ниной Лебедевой-Кияшко (1898–1920), захватил оккупированный японцами Николаевск-на-Амуре, уничтожил японский гарнизон, почти полностью сжег город и истребил его жителей. Это событие привело к новому вмешательству Японии в гражданскую войну на Дальнем Востоке. Тряпицын и Кияшко, по предложению Дальневосточного крайкома партии большевиков, были расстреляны в июне 1920 г.

Не по месту (с. 547). – Впервые – *РВ.* 1926. 9 марта. № 224.

С. 548. *Устинов Георгий* Феофанович (1888–1932) – ленинградский журналист.

А в «Бегемоте» Воинов... посвящает мне две заключительные, жалостные строчки: «...Но Александра Куприна / И до сих пор до боли жалко». – Воинов Владимир Васильевич (1882–1938) – поэт-сатирик. До революции жил в Петербурге и сотрудничал в журнале «Новый Сатирикон» и других изданиях петроградской прессы, где пересекался с Куприным. С 1919 г. примкнул к большевикам. В 1926 г. – заведующий редакцией юмористического приложения к «Красной газете» – «Пушка». Указанная цитата – из стихотворения Воинова «И до сих пор» (Бегемот. 1926. № 5 (4 февраля). С. 2).

С. 549. *...под водительством чухонского адмирала Максимова...* – См. примеч. к статье «Бескровная».

Sic! Sic! (с. 550). – Впервые – *РВ.* 1926. 7 апреля. № 247.

С. 550. *...желаю Зарубежному съезду всяческих успехов...* – Зарубежный съезд – крупнейшее политическое мероприятие – готовился почти два года (с 1924-го по 1926-й) сторонниками великого князя Николая Николаевича для выработки единой политической платформы антикоммунистической эмиграции и создания политического руководства. Съезд планировался как общеэмигрантский, имеющий представительство от всех политических и общественных течений, делегаты на него выбирались во всех центрах массового проживания русской диаспоры. Однако желаемого объединения не получилось. Часть эмигрантских групп (например, сторонники «императора» Кирилла Владимировича) на съезд приглашены не были, другая часть (республиканцы во главе с П. Н. Милюковым) от приглашения отказались. Съезд проходил в парижском отеле «Ма-

жестик» с 4 по 10 апреля 1926 г. Программные документы, содержащие призыв к освобождению России от «безбожной власти III Интернационала», были приняты, однако организовать политический центр эмиграции — своего рода правительство в изгнании — съезду не удалось.

Насмарку (с. 551). — Впервые — *РВ.* 1926. 23 апреля. № 261.

С. 553. *Марков II* — Марков Николай Евгеньевич (1866–1945) — курский помещик, один из основателей Союза русского народа («Черная сотня»), в 1907–1917 гг. — депутат Государственной Думы, имел там репутацию хулигана. С 1918 г. — в эмиграции. В 1921 г. возглавил Высший Монархический Совет. Участвовал в работе Зарубежного съезда.

С душком (с. 553). — Впервые — *РВ.* 1926. 2 июня. № 292.

Строгим (с. 555). — Впервые — *РВ.* 1926. 6 июня. № 296.

Три года (с. 558). — Впервые — *РВ.* 1926. 13 июня. № 302.

С. 559. *...единственным и искренно убежденным монархистом был между нами лишь Е. А. Ефимовский.* — Ефимовский Евгений Амвросиевич (1890–1964) — юрист, журналист, общественный деятель. До революции — кадет. В эмиграции — крайний монархист. В 1923–1925 гг. — один из редакторов «Русской газеты».

С. 560. *...посетил нашу редакцию Стефан Лозан, король парижских журналистов.* — О посещении Лозаном редакции «Русской газеты» см. подробнее в кн.: Куприна К. А. Куприн — мой отец. С. 151–152. О сотрудничестве Куприна в «Русской газете» см. статьи А. Черного «Тридцать пять лет» и Е. Ефимовского «Писатель-гражданин», посвященные 35-летию творческой деятельности Куприна (Русская газета. 1924. 20 декабря. № 204).

Саранча (с. 560). — Впервые — *О.* 1926. 17 июня. № 2.

С. 562. *...этих чувств нет... у шиберов.* — Шиберы — здесь — лавочники, спекулянты.

С. 563. *...подлинного Луи-Каторз...* — Имеется в виду стиль эпохи Людовика XIV.

После войны (с. 563). — Впервые — *РВ.* 1926. 4 июля. № 319.

С. 564. *...помним лиги свободной любви и компании «огарков»...* — Лиги свободной любви, или «санинцы» — объединения поклонников «свободной любви», идея которой вы-

водилась из скандально известного романа М.П.Арцыбашева «Санин» (1907). «Огарки» – повесть Скитальца (1906) с подзаголовком «Типы русской богемы». Название повести получило широкое распространение и стало нарицательным в значении «сексуальной свободы», вседозволенности.

Мой герой — правда (с. 566). – Впервые – *РВ.* 1926. 14 июля. № 327.

Кому было нужно? (с. 568). – Впервые – *РВ.* 1926. 1 августа. № 337.

С. 568. *...художник Бунин выставил в Москве картину...* – Вероятно, имеется в виду художник Бунин Наркиз Николаевич (1856–1912).

С. 569. *...пылкий журналист – Любошиц.* – Любошиц Семен Борисович (1859–1926) – московский журналист. Его выступления часто носили скандальный характер.

Он написал в «Красном знамени» незабвенное проклятие... – Имеется в виду памфлет «Прекрасная Франция» (1906). См. примеч. к очерку «Рубец».

С. 570. *...«ам сляв»...* – Славянская душа, славянин *(фр.).*

Слово святейшего (с. 571). – Впервые – *РВ.* 1926. 29 августа. № 341.

С. 573. *...трения... между митрополитами Евлогием и Антонием.* – Евлогий (Василий Георгиевский; 1868–1946), митрополит. С 1920 г. – в эмиграции. Назначен патриархом Тихоном главой Русской Православной Церкви в Западной Европе, до 1930 г. подчинялся Московской Патриархии. Антоний (Алексей Храповицкий; 1864–1936) – с 1917 г. митрополит Киевский, с 1920 г. – в эмиграции. В 1921 г. возглавил так называемый «карловацкий раскол», существующий до сего времени (Русская Зарубежная Церковь).

Заокеанская знаменитость (с. 573). – Впервые – *РВ.* 1926. 12 сентября. № 343.

Очерк содержит резкий протест против коммерческой рекламы и саморекламы русскими писателями-эмигрантами своих произведений и направлен, в частности, против Г.Д.Гребенщикова, который, по сведениям, имевшимся у Куприна, был не чужд подобной деятельности. *Гребенщиков Георгий Дмитриевич* (1883, по другим сведениям, 1882–1964) – русский прозаик, журналист. С сентября 1920 г. – в эмиграции. С 1924 г. постоянно жил в США, основал там русское издательство «Алатас». Автор многотомной эпопеи «Чураевы» (1922–1937), которую сам вы-

двинул на соискание Нобелевской премии. В рекламной кампании Гребенщикова активно участвовал его друг, художник Н.К.Рерих.

С. 573. *Тульпа Леонид* Васильевич — общественный деятель, поэт, педагог, создатель системы заочного обучения для детей русских эмигрантов в Америке.

С. 576. ...*«Ты выпытал в крестьянской доле...»* — Строка из стихотворения К.Д.Бальмонта «Георгию Гребенщикову» (1922).

Рерих Николай Константинович (1874–1947) — художник, философ, историк, религиозный и общественный деятель, печатался в издательстве «Алатас», помогал Гребенщикову в рекламе его произведений.

Проф. Н.И.Мишеев в номере 18-м журнала «Перезвон»... — Мишеев Николай Исидорович (1878–?) в № 18 журнала «Перезвоны» (Рига, 1925–1929) обратился с приветственной статьей к Гребенщикову «Вот дак царство! Вот дак государство!».

...*из его новой книги, которая будет называться «Первая помощъ человеку».* — Такая книга не была издана.

«Микула Буянович» — имеется в виду «Былина о Микуле Буяновиче» (Париж–Нью-Йорк: Алатас, 1924).

«Чураевы» — роман вышел в Париже — том первый «Братья» — в 1922 г.; том второй «Спуск в долину» — в 1923 г.; том третий «Веление земли» — в 1925 г.

«В просторах Сибири», «Родник в пустыне», «Путь человеческий», «Степные вороны» — сборники рассказов Гребенщикова, вышедшие в Париже и Берлине в 1922 г.

С. 577. ...*это всего лишъ беззубый лепет...* — Куприн не всегда так резко оценивал творчество Гребенщикова (см.: Куприн А.И. О литературе. Минск, 1969. С. 327).

Белые и пунцовые (с. 578). — Впервые — *РВ.* 1926. 10 октября. № 347.

С. 578. ...*при благосклонном участии парижских ажанов...* — Ажан — полицейский *(фр.)*.

С. 579. ...*в цветах сомон или «фрезэкразе»...* — Т.е. цвета семги или «давленой клубники» *(фр.)*.

Белый конь показывает на пробных галопах большую резвость, только разделяются мнения о том, как его назвать: Наполеон, Муссолини или Минин-Пожарский? — Куприн иносказательно говорит о полемике в среде антибольшевистской эмиграции относительно характера режима, который установится в России после неизбежного, как тогда казалось, падения большевиков: военная диктатура (Наполе-

он), фашизм (Муссолини), монархия (Минин и Пожарский).

Кусочек правды (с. 580). — Впервые — *РВ.* 1926. 24 октября. № 348.

Смехунчики (с. 582). — Впервые — *РВ.* 1926. 7 ноября. № 350.

С. 582. *...карт д'идантитэ...* — Удостоверение личности *(фр.).*

Славный урок (с. 584). — Впервые — *РВ.* 1926. 26 декабря. № 357.

1927

Домой (с. 586). — Впервые — *ИР.* 1927. 1 января. № 1(86).

Текст письма редакция журнала «Иллюстрированная Россия» предварила следующими словами: «Письмо это было адресовано А.И.Куприным лично редактору "Иллюстрированной России" М.П.Миронову. С разрешения автора печатаем это письмо в новогоднем номере». *Миронов Мирон Петрович* — редактор журнала «Иллюстрированная Россия». С 1922 г. — секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже.

Венок на могилу Арцыбашева (с. 587). — Перепечатано по тексту: Последние известия (Ревель). 1927. 11 марта. № 62. Под статьей обозначено: Париж, 4 марта.

Смерть М.П.Арцыбашева (см. о нем примеч. к очеркам: «Слагаемое», «Роковой конь», «Святая месть» в наст. изд.) стала событием в стане «непримиримой» русской эмиграции, глашатаем идей которой он был. Похороны Арцыбашева в Варшаве вылились в манифестацию антибольшевистской непримиримости, а его могила на Вельском православном кладбище стала местом паломничества эмигрантов-«активистов». Кроме Куприна некрологи Арцыбашеву написали А.Амфитеатров, А.Карташев. З.Гиппиус и Д.Мережковский откликнулись телеграммой: «Слава Герою, умершему за свободу России». Участие Куприна в этой траурно-политической кампании заставляет опровергнуть тезис о том, что в середине 1920-х годов Куприн отошел от политики» (см.: Русские писатели. 1800–1917. Т.3. М., 1994. С.235).

С. 588. *«За свободу!»* (в июле 1920 — октябре 1921 г. — «Свобода») — ежедневная русская газета, издававшаяся в Варшаве с ноября 1921 по март 1932 г. Основана во время польско-советской войны как орган Русского Политиче-

ского Комитета, руководимого Б.В.Савинковым. Фактическим владельцем газеты был Д.Философов. См. также примеч. к статье «Слагаемое».

Душа мира (с. 589). – Впервые – *РВ.* 1927. 10 апреля. № 372.

Русская душа (с. 591). – Впервые – *РВ.* 1927. 24 апреля. № 373.

С. 591. *Рыков* Алексей Иванович (1881–1938) – в 1924–1930 гг. – председатель Совнаркома СССР.

С. 591–592. *...по некрасовским словам, «Как ветром полу правую / Отворотило вдруг».* – Цитата из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1876–1877).

Рубец (с. 592). – Впервые – *РВ.* 1927. 31 июля. № 443.

С. 592. *...путешественник, полиглот и гастроном Максим Горький...* – Ирония Куприна видна из общеизвестного факта, что иностранными языками Горький не владел.

...покрыл черным словом Нью-Йорк и Америку... Проездом через Францию он грубо обложил и эту страну... – Имеются в виду памфлеты Горького «В Америке», «Мои интервью», «Прекрасная Франция» (1906).

«Презираю тебя, нищая российская страна. Презираю и ненавижу!..» – Эта тирада не имеет точного соответствия в сочинениях Горького. Наиболее близки к ней горьковские рассуждения о русском национальном характере, сформулированные в его статье «Две души» (1915).

С. 593. *«Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом!»* – Неточная цитата из письма Пушкина к Н.Н.Пушкиной от 18 мая 1836 г.

Оно было написано 18 октября 1836 года... – Куприн неточен. Цитируемое им письмо Пушкина к Чаадаеву было написано 19 октября 1836 г.

Красный гроссбух (с. 594). – Впервые – *РВ.* 1927. 4 августа. № 446.

С. 595. *Теперь начинается опять расстрел заложников...* – Имеется в виду объявление Советского правительства о расстреле «20 контрреволюционеров» в качестве возмездия за убийство в Варшаве советского полпреда П.Л.Войкова 7 июня 1927 г.

Полковник И.М.Ставский (с. 596). – Впервые – *В.* 1927. 17 сентября. № 837.

Шахматы (с. 599). – Впервые – *В.* 1927. 3 декабря. № 914.

Очерк посвящен знаменательному событию в жизни русской эмиграции: 29 ноября 1927 г. русский гроссмей-

стер Александр Александрович *Алехин* (1892–1946; с 1921 г. – в эмиграции), одержав победу в матче против кубинского гроссмейстера Х. Р. Капабланки, стал чемпионом мира по шахматам. Куприн интересовался шахматами еще до революции (см. рассказ «Марабу», 1909), в Париже поддерживал приятельские отношения с Алехиным. Участвовал в его чествовании в Русском клубе в январе 1928 г.

С. 599. *Чемпионы – Демпсей и Сики.* – Демпсей (Демпси) – см. примеч. к статье «Русские в Париже». Сики – американский боксер.

С. 600. *...один великий, отнюдь не династический, но все же сам себя короновавший император.* – Имеется в виду Наполеон Бонапарт.

С. 600–601. *«Уединясь от всех далеко...»* – Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 4, XXVI).

С. 601. *...Пушкин пишет Наталии Николаевне в одном из своих прелестных писем...* – Имеется в виду письмо Пушкина к жене от 30 сентября 1832 г.

...он пишет 4 сентября 1831 года в своих «Записках», вспоминая Вульферта... – Имеется в виду эпизод «Холера» (1831) автобиографической прозы Пушкина. Вульфертом Куприн ошибочно именует приятеля Пушкина А. Н. Вульфа.

...шахматные короли, старый Стейниц и лохматый милый Ласкер... – Вильгельм Стейниц (1836–1900) и Эммануил Ласкер (1868–1941) – чемпионы мира по шахматам в 1885–1894 и 1894–1921 гг.

1928

До обрыва (с. 603). – Впервые – *В.* 1928. 25 февраля. № 928.

С. 604. *Похабный мир в Брест-Литовске, запечатленный самоубийством генерала Скалона.* – Скалон Владимир Евстафьевич (?–1917) – русский генерал, был приглашен Советским правительством в качестве консультанта к участию в мирных переговорах с Германией в Брест-Литовске. Прибыв туда 29 ноября 1917 г., в тот же день застрелился.

...славные имена... Корнилова и Каледина, которые чудом избежали страшной участи генерала Духонина... – О Л. Г. Корнилове см. примеч. к статье «О преемственности». Каледин Алексей Максимович (1861–1918) – генерал. В 1917–1918 гг. – выборный атаман Донского казачьего войска. После Октябрьского переворота отказался признать

власть большевиков, под его защиту на Дон стекались офицеры и юнкера, составившие ядро Добровольческой армии. После неудач своей армии в боях с наступавшими большевиками 29 января 1918 г. покончил жизнь самоубийством. Духонин Николай Николаевич (1876–1917) – русский генерал. В сентябре-октябре 1917 г. – начальник штаба Верховного Главнокомандующего русской армии. 1 ноября 1917 г. после исчезновения Керенского объявил себя исполняющим обязанности Верховного Главнокомандующего. Отказался признать власть Совета Народных Комиссаров. 20 ноября 1917 г. убит в Могилеве захватившими Ставку большевиками-матросами.

Имена погибших со славою Маркова, Дроздовского и имя Покровского... – Марков Сергей Леонидович (1878–1918) – генерал, один из создателей Добровольческой армии, командир 1-й дивизии (после его гибели летом 1918 г. дивизию назвали в его честь «Марковской»). Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919) – в царской армии полковник. В феврале-апреле 1918 г. руководил тысячекилометровым походом белого Добровольческого отряда из Румынии на Дон. В Добровольческой армии – командир 3-й дивизии (после его гибели названа «Дроздовской»). Покровский Виктор Леонтьевич (1889–1922) – генерал-лейтенант. В январе 1918 г. сформировал на Кубани добровольческий отряд. В марте 1918 г. соединился с Добровольческой армией генерала Корнилова. В декабре 1919 – феврале 1920 г. командовал Кавказской армией. С 1920 г. – в эмиграции. Убит в Болгарии. О Покровском см. также статью Куприна «Дневники и письма» (Русская газета. 1924. 14 января. № 2).

С. 605. *...Миллер с севера...* – Миллер Евгений Карлович (1867–1939) – генерал-лейтенант. В январе 1919 г. вошел в качестве генерала-губернатора во Временное правительство Северной области (ВПСО). В мае приказом Колчака назначен главнокомандующим войсками Северной области, в сентябре – главным начальником края. С конца февраля 1920 г. – в эмиграции. В 1930–1937 гг. – председатель Российского Общевоинского Союза. В сентябре 1937 г. похищен в Париже агентами НКВД и доставлен в Москву. Расстрелян.

Донбасс (с. 605). – Впервые – *РВ*. 1928. 1 июля. № 576.

С. 605. *Великий Вольтер занимался несколько лет реабилитацией несправедливо казненного Калласа...* – Речь идет о знаменитом «деле Калласа», получившем широкий общественный резонанс благодаря вмешательству Вольтера. В

1762 г. тулузский суд вынес смертный приговор семидесятидвухлетнему протестанту Калласу, обвиненному в убийстве собственного душевнобольного сына, за то, что тот будто бы пожелал перейти в католичество. Отец Каллас был колесован, дети его разосланы на каторги и галеры. Вольтер, приступая к защите Калласа, поставил себе условие: не улыбаться все годы, пока жертвы тулузского суда не будут реабилитированы. В 1765 г. под воздействием писем, разосланных Вольтером по всей Европе и обращенных к «великим мира сего», парижский парламент отменил приговор суда.

Золя... выступил... в защиту Дрейфуса... — 13 января 1898 г. Эмиль Золя опубликовал в газете «Аврора» открытое письмо президенту республики Феликсу Фору в защиту капитана французской армии Альфреда Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу германского штаба и приговоренного к пожизненному заключению. Золя удалось доказать, что «письмо Дрейфуса» германскому генеральному штабу, послужившее главной «уликой» на суде, было сфальсифицировано. «Дело Дрейфуса» получило международную огласку и под давлением общественного мнения было принято к пересмотру. Однако до окончательного оправдания Дрейфуса, состоявшегося в 1906 г., Золя не дожил.

С. 606. *...наглого и кощунственного издевательства над правосудием, которое открыто разыгрывается теперь в России под видом следствия и суда по делу шахтенских служащих Донецкого бассейна?* — Имеется в виду проходившее в Москве в мае-июне 1928 г. слушание так называемого «Шахтинского дела» — по обвинению 51 советских и иностранных сотрудников угольных и металлургических предприятий Донбасса в шпионаже и вредительстве. «Шахтинское дело» — первое в серии показательных судов, состоявшихся в Москве в 1928–1938 гг., где подсудимые демонстрировали солидарность с обвинением и полностью признавали себя виновными в самых невероятных преступлениях.

Кто он? (с. 607). — Впервые — *РВ*. 1928. 26 августа. № 584. В рубрике «Наш альбом». Подпись: Али-Хан.

Эпиграмма Куприна посвящена А. Н. Толстому. Оказавшись в эмиграции одним из первых среди русских писателей (он приехал в Париж еще в июне 1919 г.), Толстой стал одним из организаторов литературной жизни русского зарубежья. В 1920–1921 гг. постоянно общался с Куприным. Занимал, как и Куприн, резко антибольшевистскую позицию. Его переход к сменовеховцам в 1922 г. и возвращение

в 1923 г. в Россию воспринимались в кругу русских писателей в Париже как поступок, вызванный исключительно корыстными соображениями. Это мнение подтверждалось литературными произведениями Толстого, опубликованными в СССР в 1920-х годах. Возможно, появление эпиграммы вызвано публикацией в 1927–1928 гг. романа А. Н. Толстого «Восемнадцатый год», в котором гражданская война изображена уже с советской точки зрения. В июне 1937 г., после возвращения Куприна из эмиграции, Толстой навестил его в Москве.

Когда надоест (с. 607). – Впервые – *РВ*. 1928. 26 августа. № 584.

С. 607. *...две строчки старых некрасовских стихов: «Злобою сердце питаться устало; / Много в ней правды, да радости мало...»* – Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (1854–1855).

В гостях у Толстого (с. 609). – Впервые – *ИР*. 1928. № 36 (173).

Очерк был написан Куприным специально для журнала «Иллюстрированная Россия» и приурочен к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, отмечавшемуся русской эмиграцией 28 августа (9 сентября) 1928 г. Одновременно с очерком Куприн пишет статью «Толстой», напечатанную газетой «Возрождение» (9 сентября, № 1195). Из более ранних заметок Куприна о Толстом следует назвать статью «О том, как я видел Толстого на пароходе "Св. Николай"» (впервые – в журнале «Современный мир», 1908, № 11).

С. 611. *Гальперин-Каминский* Илья Данилович (1858–1936) – переводчик русской художественной литературы на французский язык.

С. 612. *Нордау* (наст. фам. Дзидфельд) *Макс* (1849–1923) – немецкий критик, автор книги *«Entartung»* («Вырождение»), в которой доказывается психическая неполноценность писателей и художников-модернистов.

...типа, приблизительно, «Русской мысли» и «Русских ведомостей»... – «Русская мысль» – научный, литературный и политический журнал, издававшийся ежемесячно в Москве (затем в Петрограде) в 1880–1918 гг. «Русские ведомости» – политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1863–1918 гг.

«Большой Московский» – ресторан при Товариществе Большой Московской гостиницы, выстроенный в 1876 г. купцом Карзинкиным на месте трактира купца Гурина.

С. 613. *Павловский И.Я.* – см. примеч. к очерку «Честь имени».

...Катков телеграфировал... – Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – журналист и публицист. С 1856 г. и до конца жизни был редактором-издателем журнала «Русский вестник», на страницах которого с 1875 по 1877 г. печатался роман Толстого «Анна Каренина».

Ночные бабочки (с. 614). – Впервые – *РВ*. 1928. 9 сентября. № 589.

Очерк написан к 100-летию Л.Н. Толстого.

С. 614. *Но никогда мне не забыть этой ночи с 9-го на 10-е ноября 1910 года.* – Куприн получил известие о смерти Толстого уже после погребения писателя, состоявшегося 9 ноября 1910 г.

Я развернул наудачу первый попавшийся том. Оказалось – «Казаки». – Повесть «Казаки» – одно из наиболее любимых Куприным произведений Толстого. См. рассказ Куприна «Анафема» (1913) и роман «Юнкера» (гл. 14).

...кубанского Пана... – Имеется в виду роман Кнута Гамсуна «Пан» (1894) и его главный герой Томас Глан (Пан).

С. 615. *...столь похожего на микгланджеловского Моисея...* – Имеется в виду статуя Моисея, изваянная Микеланджело для гробницы папы Юлия II в 1515–1516 гг.

А наутро я получил из «Русского слова», от Руманова, телеграмму... – «Русское слово» – ежедневная газета, издававшаяся в Москве в 1897–1917 гг. Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960) – журналист; до 1917 г. – заведующий петербургским отделом газеты «Русское слово». С 1918 г. – в эмиграции.

1929

Помощь студентам (с. 616). – Впервые – *В*. 1929. 21 января. № 1329.

С. 616. *Сиротинин* Василий Николаевич (1856–1934) – профессор, врач-терапевт, председатель «Общества помощи больным и неимущим студентам».

Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886–1957) – писатель, философ, химик, состоял товарищем председателя «Общества помощи больным и неимущим студентам».

С. 617. *Вспомним времена хуверовских посылок...* – Имеется в виду существовавшая в Европе в 1921–1923 гг. под

председательством будущего президента США Г. К. Гувера благотворительная организация по оказанию продовольственной помощи голодающему населению Советской России (АРА). О Гувере см. статью «Третья стража» и примеч. к ней.

...жертвовали заводские «экипы»... — Экип — команда, коллектив *(фр.)*.

1931

Старый шут (с. 618). — Впервые — *ИР.* 1931. № 33 (326). Подпись: Али-Хан.

Заметка Куприна является непосредственным откликом на поездку Бернарда Шоу в Советскую Россию, совершенную им 20–30 июля 1931 г. в ходе кругосветного путешествия. См. также очерк «Прозревают» в наст. изд.

Король-демократ и герой (с. 619). — Впервые — *ИР.* 1931. № 35 (328).

С. 620. *Александр I Карагеоргиевич* (1888–1934) — с июня 1914 г. — правитель Сербского королевства, с декабря 1918 г. — Королевства СХС; король Югославии с 1921 г. Учился в Петербурге в Училище правоведения, затем — в Пажеском корпусе. Окончил образование в Белградском университете. 9 октября 1934 г. был тяжело ранен в Марселе хорватскими и македонскими террористами. В тот же день скончался. 10 октября Куприн с женой присутствовал на панихиде по королю Александру в парижском храме Св. Александра Невского

...приснопамятный Салоникский прорыв... — Имеется в виду операция сербской армии на Балканском фронте и боевые действия союзных армий стран Антанты в районе греческого порта Салоники.

С. 622. *Россия пригрела и его старого отца, короля Петра.* — Имеется в виду Петр I Карагеоргиевич, король Югославии в 1903–1921 гг. В 1914 г. король Петр вместе с семьей оказался в изгнании.

Россия первая поднялась на защиту Сербии в 1914 году... — 28 (15 июля) 1914 г. правительство Австро-Венгрии объявило королевству Сербии войну, обвинив его в укрывательстве террористов, убивших наследника австро-венгерского престола. Николай II, связанный с Сербией союзными отношениями, объявил всеобщую мобилизацию русской армии в поддержку Сербии, что стало причиной вовлечения России в первую мировую войну.

...русским эмигрантам тепло и уютно живется под милостивым крылом югославского короля. – Александр I с начала 1920-х годов предоставил русским эмигрантам в Югославии права автономии и самоуправления. В сентябре 1928 г. в Белграде под покровительством Александра I прошел Съезд писателей-славян. Здесь же с 30 сентября по 5 октября 1928 г. состоялся Съезд русских писателей и журналистов под председательством В.И.Немировича-Данченко. 5 октября король Александр наградил группу русских писателей – участников Съезда – орденами. Куприн, наряду с Е.Чириковым, З.Гиппиус, Б.Зайцевым, Е.Спекторским, получил орден Св. Саввы II степени. Газета «Возрождение» от 3 октября 1928 г. поместила на своих страницах републикацию из сербской газеты «Политика» «Куприн среди сербов», где, в частности, приводился следующий разговор между писателем и королем Александром, состоявшейся во время приема русских писателей королевской фамилией:

«– Я Вас знаю по Вашим произведениям.

– И я Вас знаю, Ваше Величество.

– Каким образом?

– Я люблю ходить по народным кабачкам и убедился, что народ любит своего короля».

Подробнее о пребывании Куприна в Югославии см.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. С. 165–167.

Петр Пильский (с. 623). – Впервые – *С.* 1931. 19 апреля. № 108.

Петр Моисеевич Пильский (1876–1941) – журналист, литературный и театральный критик. В период жизни Куприна в Гатчине (1909–1917) входил в его ближайшее окружение. В июне-июле 1917 г. редактировал в Петрограде вместе с Куприным газету «Свободная Россия». С 1920 г. – в эмиграции. Жил в Риге и Таллинне. Ведущий сотрудник газет «Сегодня» (Рига) и «Последние известия» (Таллинн). Автор предисловия к повести Куприна «Купол Св. Исаакия Далматского» (Рига, 1928). Куприн написал предисловие к роману Пильского «Тайна и кровь» (Рига, 1927).

Из письма Куприна В.Е.Гущику от 30 августа 1921 г.: «Он славный парень и мой хороший, добрый, старый, веселый друг. Ах, повеселились мы с ним в молодости!» (цит. по ст. Страницы живой истории: Неизвестные письма А.И.Куприна из Парижа в Таллинн // Радуга. 1987. № 6. С. 21).

С. 623. *Хвалил его... Н.К.Михайловский.* – Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, социолог, литературный критик, теоретик народничества.

С. 624. *...мы оба были у Дальского...* — О Мамонте-Дальском см. примеч. к рассказу «Обыск».

«Роман с театром» П.Пильского был издан в Риге в 1928 г.

С. 625. *В начале восемнадцатого года в одной из бесчисленных антибольшевистских газет... Пильский пишет чрезвычайно яркую статью... В самый день появления этой статьи Пильский был увезен в здание Революционного трибунала...* — Имеется в виду статья Пильского «Смирительную рубашку!» (Петроградское эхо. 1918. 22 (9) мая). В статье содержалось утверждение, что ряд правящих большевистских лидеров, фамилии которых не назывались, находились на лечении в психиатрических больницах. За эту статью, по решению Революционного трибунала, газета была закрыта без права выхода под другим названием. Сам Пильский был арестован, допрошен, но вскоре освобожден.

Иначе не избежать бы было ему офицерской поездки на баржах из Питера в Кронштадт. — В сентябре 1918 г. приговоренных к смертной казни контрреволюционеров, в том числе офицеров, вывозили на баржах в Финский залив и по дороге в Кронштадт топили.

1933

Иван Сергеевич Шмелев (с. 627). — Впервые — За рулем (Париж). 1933. Декабрь.

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) — русский прозаик, бытописатель старой Москвы. Особенно сблизился с Куприным в годы эмиграции. Описание жизни Шмелева во Франции во многом взято из писем Шмелева к Куприну от 1923 г. (см.: Куприна К.А. Куприн — мой отец. С. 236–242; там же (с. 235) — письмо Шмелева Куприну от 3 января 1934 г. с благодарностью за публикуемую статью). Подтекстом статьи является болезненная реакция и Куприна, и Шмелева на присуждение Нобелевской премии И.А.Бунину в ноябре 1933 г. Это присуждение, по мнению обоих, несправедливо возвысило Бунина над его сверстниками, собратьями по перу. См., например, фразу Куприна о Шмелеве как о «последнем и единственном из русских писателей» — хранителей русского языка.

О. Фигурнова

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ФЕЛЬЕТОНЫ, СТАТЬИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ, НЕКРОЛОГИ, ЗАМЕТКИ

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

Куприн А. И.

К92 Голос оттуда: 1919–1934: Рассказы. Очерки. Воспоминания. Фельетоны. Статьи. Литературные портреты. Некрологи. Заметки / Сост., вступ. ст., примеч. О.С.Фигурновой. – М.: Согласие, 1999. – 736 с.

ISBN 5-86884-070-4

Впервые в отечественной и зарубежной практике предпринята попытка собрать образцы позднего творчества Александра Ивановича Куприна (1870–1937), разбросанные по страницам русских периодических изданий Нарвы, Ревеля, Риги, Гельсингфорса, Парижа и находящиеся, главным образом, в малодоступных зарубежных хранилищах и российских коллекциях.

В книгу вошли тексты около двухсот произведений Куприна, никогда прежде в России не издававшихся и представляющих значительный художественный и культурно-исторический интерес. Во многом пророческие размышления одного из самых значительных русских писателей XX века и сегодня звучат предостережением нашим современникам.

УДК 882 ББК 84(2Рос=Рус)6

Александр Иванович Куприн

ГОЛОС ОТТУДА
1919–1934

Компьютерная верстка *Д. А. Глазков*
Корректоры *Г. В. Заславская, Л. М. Кочетова*

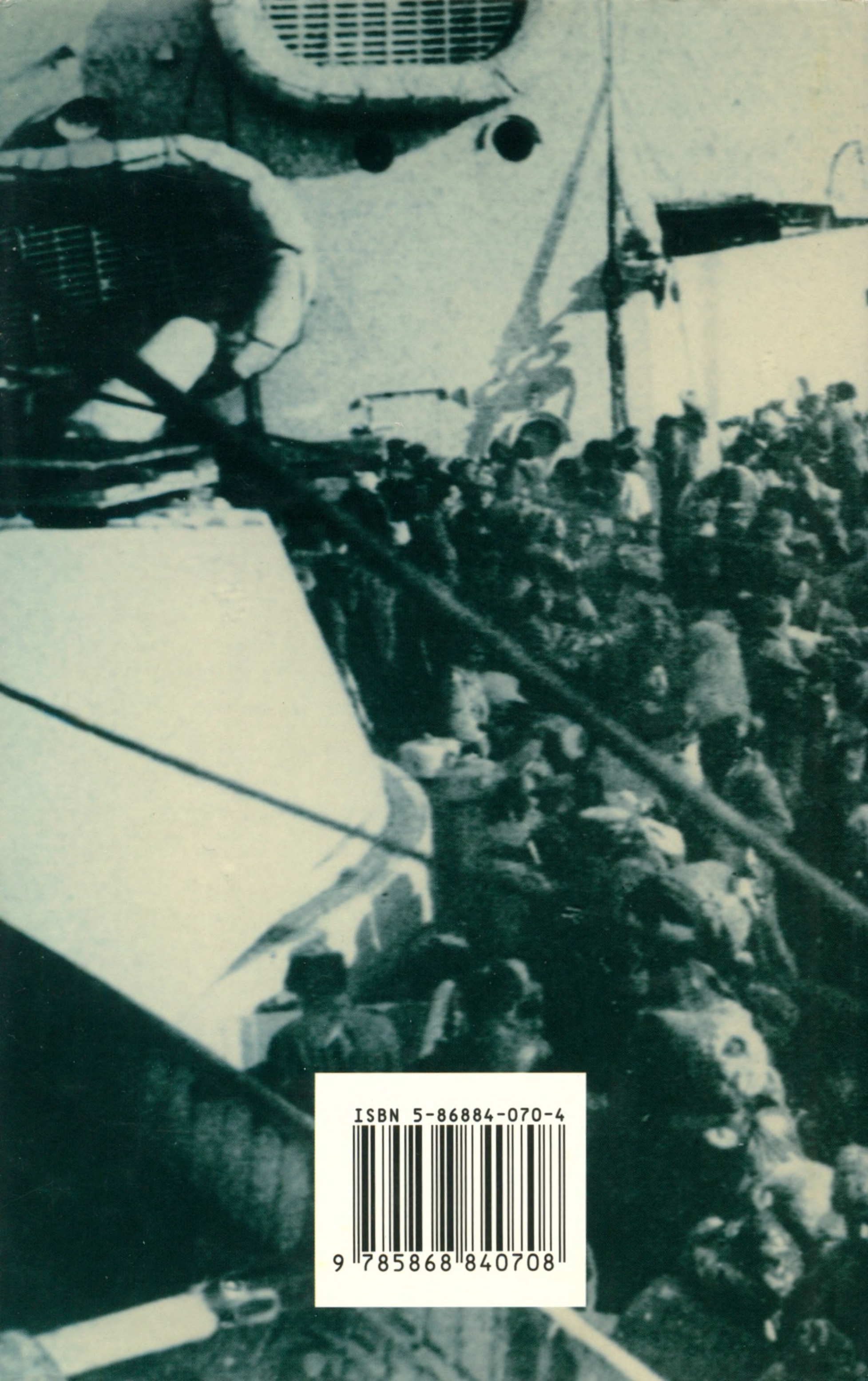
Книги издательства «Согласие»
Можно приобрести по адресу:
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28
Телефон: 959-20-60, факс: 959-20-47
Распространение в Европе: Buchgalerie «Soglasie»
Buttermarkt, 17, 50667 Köln, Deutschland
Telefon: (049) 221-257-82-40, Fax: 2203-52-331

ЛР № 040552 от 31 июля 1998 г.
Подписано в печать 12.04.1999 г.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная
Гарнитура Нью-Баскервиль. Печать офсетная
Усл. печ. л. 38,64. Уч.-изд. л. 32,65
Тираж 5000 экз. Заказ № 2586

АОЗТ «Согласие». 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28
e-mail: soglasie@mail.ru
http://www.user.cityline.ru/~amid/soglasie.html

ОАО «Типография "Новости"»
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46




ISBN 5-86884-070-4
9 785868 840708